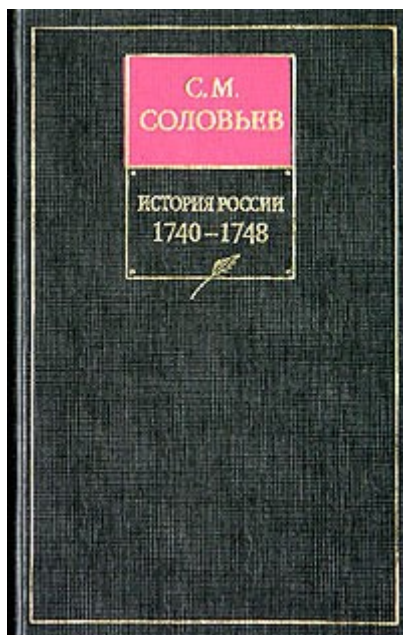


Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен. Книга XI. 1740–1748

История России с древнейших времен – 11



Аннотация

Одиннадцатая книга сочинений С.М. Соловьева включает двадцать первый и двадцать второй тома «Истории России с древнейших времен». Она освещает события со второй половины 1740 по 1748 г. периода царствования императрицы Елизаветы Петровны.

Сергей Михайлович Соловьев
«История России с древнейших времен»
Книга XI. 1740–1748

Двадцать первый том

Глава первая

Брауншвейгская фамилия

Устав о регентстве Бирона. – Странность в распоряжении о наследстве престола. – Распоряжения регента. – Ропот народный. – Неудовольствие гвардии. – Движение отдельных лиц против Бирона. – Ссора Бирона с принцем Антоном Брауншвейгским. – Сцена между ними в чрезвычайном собрании министров, Сената и генералитета. – Отношения Бирона к цесаревне Елисавете. – Бирон и Миних. – Миних арестует Бирона. – Анна Леопольдовна –

правительница; Миних – первый министр. – Пожалования. – Анна Леопольдовна и Юлия Менгден. – Миних и Остерман. – Движения против Миниха; его отставка. – Суд над Бироном и всеми помогавшими ему в достижении регентства. – Приговор над ними. – Страх перед Минихом. – Внутренняя деятельность правительства при Анне Леопольдовне. – Разлад между правительницею и ее мужем. – Движение против Остермана. – Лицар. – Внешняя деятельность правительства. – Обзор состояния Европы в конце 1740 года. – Отношения России к Австрии, Пруссии и Швеции. – Шведская война. – Сношения русского двора с прусским по поводу шведской войны. – Отношения России к Польше и Саксонии, к Турции, Персии, Дании, Англии и Франции. – Цесаревна Елисавета Петровна, ее положение при императрице Анне, при Бироне и Анне Леопольдовне. – Ее сношения с французским посланником Шетарди и шведским Нолькеном. – Положение Елисаветы во время шведской войны. – Движение гвардии. – Переворот 25 ноября 1741 года.

Императрица Анна скончалась; присягают внуку ее, императору Иоанну III Антоновичу; но император новорожденный младенец, кто же будет управлять? В сенатской типографии печатают устав о регентстве: покойная государыня распорядилась, будет регент. Устав вышел из типографии; в нем читают: «По воле божеской случиться может, что внук наш в сие ему определенное наследство вступить может в невозрастных летах, когда он сам правительство вести в состоянии не будет; того ради всемилостивейше определяем, чтоб в таком случае и во время его малолетства правительство и государствование именем его управляемо было чрез достаточного к такому важному правлению регента, который бы как о воспитании малолетнего государя должное попечение имел, так и правительство таким образом вел, дабы по регламентам, и уставам, и прочим определениям и учреждениям, от дяди нашего, государя императора Петра Великого, и по нем во время нашего благополучного государствования учиненным, как в духовных, военных, так в политических и гражданских делах поступано было без всяких отмен. К чему мы по всемилостивейшему нашему матернему милосердию к империи нашей и ко всем нашим верным подданным во время малолетства упомянутого внука нашего, великого князя Иоанна, а именно до возраста его семнадцати лет, определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога курляндского, лифляндского и семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные, и сверх того в какие бы с коею иностранною державою в пользу империи нашей договоры и обязательство вступил и заключил, и оные имеют быть в своей силе, как бы от самого всероссийского самодержавного императора было учинено, так что по нас наследник должен оное свято и ненарушимо содержать. Не менее же ему, регенту, по такой ему порученной власти вольно будет о содержании сухопутной и морской силы, о государственной казне, о надлежащих по достоинствам и по заслугам к Российской империи всяких награждениях и о всех прочих государственных делах и управлениях такие учреждения учинить, как он по его рассмотрению запотребно в пользу Российской империи изобретет. А ежели божеским соизволением оный любезный наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников преставится, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники первого по нем принца, брата его, от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны, и от светлейшего принца Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского, рождаемого, а в случае и его преставления – других законных из того же супружества рожденных принцев, всегда первого, и при оных быть регентом до возраста их семнадцати же лет упомянутому ж государю Эрнсту Иоанну, владеющему светлейшему герцогу курляндскому, лифляндскому и семигальскому; в таком случае, ежели б паче чаяния по воли божеской случиться могло, что вышеупомянутые наследники, как великий князь Иоанн, так и братья его, преставятся, не оставя после себя законнорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он, регент,

заблаговременно с кабинет-министрами, и Сенатом, и генералами-фельдмаршалами, и прочим генералитетом о установлении наследства крайнее попечение иметь и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора избрать и утвердить; и по такому согласному определению имеет оный Российской империи сукцессор в такой силе быть, якобы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих избран был. И яко мы вышеописанное определение по довольному и здравому рассуждению в пользу нашей империи и всех наших верных подданных учинили, того ради и чрез сие всемилостивейше повелеваем, чтоб все государственные чины в управлении по должностям своим дел оных регенту были во всем так, как нам, послушны и в пользу империи все его повеления и учреждения исполняли. А между тем неизменно уповаем, что оный определенный от нас регент по имеющей чрез многие годы к нам верной ревности оставшей нашей императорской фамилии достойное и должное почтение показывать и по их достоинству о содержании оных попечение иметь будет. И яко, с одной стороны, такое регентское правление его любви герцогу курляндскому натуральным образом не иначе как тягостно и трудно быть может и он сию тягость при

Этот акт был напечатан 18 октября; на другой день, 19 числа, печатают указ императора Иоанна III: «По указу его императорского величества, будучи в собрании, Кабинет, Синод, Сенат обще с генералами-фельдмаршалами и прочим генералитетом по довольном рассуждении согласно определили и утвердили: его высококняжескую светлость от сего времени во всяких письмах титуловать по сему: его высочество, регент Российской империи герцог курляндский, лифляндский и семигальский». И только через четыре дня вышел указ императора титуловать высочеством «вселюбезнейшего его государя отца принца Антона Ульриха».

Заметили странность в распоряжении о наследстве: в случае бездетной смерти императора Иоанна ему должны были наследовать родные братья его *от того же брака* Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Это распоряжение имело такой смысл, что если бы принц Антон и все сыновья его умерли или если бы Анна Леопольдовна развелась с принцем Антоном и вышла замуж за другого, то дети ее от второго брака лишались права на престол, следовательно, это право делалось принадлежностью не внука царя Иоанна Алексеевича, но принца Антона Брауншвейгского. Распоряжение о престолонаследии составлял Остерман, в котором трудно было предположить ненамеренное допущение такой странности; гораздо легче предположить, что Остерман, будучи самым ревностным приверженцем принца Антона и зная нерасположение к нему жены его, Анны Леопольдовны, хотел этим выражением – «от того же брака» – заставить ее сохранить брачную связь с принцем Антоном. Бестужев, писавший распоряжение о регентстве Бирона, должен был повторить это условие, чтоб не розниться с только что объявленным манифестом о престолонаследии. Более внимательные могли заметить и другую странность в упомянутых актах: при вопросе об избрании государя и о новом регентстве, в случае если бы Бирон сложил с себя звание регента, необходимо было участие кабинет-министров. Сената и генералитета, о Синоде ни слова; только когда надобно было дать Бирону титул высочества, то является и Синод.

Как бы то ни было, в первые минуты все эти распоряжения прошли беспрепятственно, и герцог курляндский стал управлять Российской империей; беспрекословное повиновение всех оправдывало последнее слово умирающей Анны своему фавориту: «Небось». Бирон начал милостями. Еще в царствование Анны был возвращен из ссылки князь Александр Черкасский и жил в своих деревнях; теперь регент возвратил ему камергерский чин и позволил приезжать из деревень в Москву и другие места и жить свободно, где захочет. Василию Кирилловичу Третьяковскому из конфискованного имения Волынского выдано 360 рублей, сумма, равная годовому жалованию Василия Кирилловича. Издан был манифест о строгом соблюдении законов, о суде правом, беспристрастном, во всем, повсюду равном, без богоненавистного лицемерия, и злобы, и противных истине проклятых корыстей; избавлены были от наказания преступники, кроме виновных по двум первым пунктам – воров, разбойников, смертных убийц и похитителей многой казны государственной. Сбавлено на 1740 год по 17 копеек с души. Сделано распоряжение, чтоб часовым в зимнее время давались шубы, ибо в великие морозы без шубы они претерпевают великую нужду. Бирона-фаворита упрекали за роскошь, введенную им в царствование Анны; Бирон-регент запрещает носить платье дороже четырех рублей аршин.

Из других распоряжений в регентство Бирона заметим следующие. Президент Коммерц-коллегии фон Менгден успокоился, уверившись, что немцы не пропадут, и представил в Сенат, что необходимо из кадетского корпуса взять в Коммерц-коллегию четверых кадет, двоих русских и двоих иностранцев, и быть им под особенным присмотром президента в офицерском ранге и с офицерским жалованьем, а когда несколько лет в коллегии послужат и окажут усердие в делах, то производить их на вакантные места в члены коллегии, чтоб не было нужды искать посторонних. Сенат, признав это дело «весьма полезнейшим», потребовал от Кабинета общего рассуждения, после которого предложение Менгдена было одобрено. При этом ни Сенат, ни Кабинет не обратили внимания на то, зачем потребовано кадет равное число из русских и из иностранцев? После уничтожения Главного магистрата в Петербурге оставалась ратуша, но еще в 1739 году велено было Сенату иметь рассуждение об учреждении в Петербурге магистрата; теперь Сенат доложил, что за многонужнейшими делами рассуждения о магистрате учинить невозможно; но до учреждения магистрата не соизволено ль будет определить ныне в ратушу одного члена с жалованьем; этому члену необходимо быть для того, что в нынешней ратуше без главного командира бурмистры, ежегодно переменяющиеся, не имеют ни попечения о распорядках городских, ни смелости к защите самих себя, отчего петербургские горожане пришли в крайнее изнеможение. Соизволение последовало, и таким членом от короны был сделан статский советник Языков.

Сенаторам действительно было не до рассуждения о петербургском магистрате: были дела многонужнейшие, общество волновалось под невыносимым гнетом стыда, оскорбленного народного чувства. Тяжел был Бирон как фаворит, как фаворит-иностранец; но все же он тогда не светил собственным светом и хотя имел сильное влияние на дела, однако, довольствуясь знатным чином придворным, не имел правительственного значения. Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иностранец, на которого привыкли складывать все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным; эта

ть, наброшенная на царствование Анны, этот позор ее становится полноправным преемником ее власти; власть царей русских, власть Петра Великого в руках иноземца, ненавидимого за вред, им причиненный, презираемого за бездарность, за то средство, которым он поднялся на высоту. Бывали для России позорные времена: обманщики стремились к верховной власти и овладевали ею, но они по крайней мере обманывали, прикрывались священным именем законных наследников престола. Недавно противники преобразования называли преобразователя иноземцем, подкидышем в семью русских царей; но другие и лучшие люди смеялись над этими баснями. А теперь въявь, без прикрытия иноземец, иноверец самовластно управляет Россией и будет управлять семнадцать лет. По какому праву? Потому только, что был фаворитом покойной императрицы! Какими глазами православный русский мог теперь смотреть на торжествующего раскольника? Россия была подарена безнравственному и бездарному иноземцу как цена позорной связи! Этого переносить было нельзя.

Даже иностранцы, недавно приехавшие в Россию, не могли не заметить, что на лице каждого из русских была написана горесть, вследствие чего надобно ожидать всевозможных беспокойств и смятений; русские понимали, что герцог курляндский унижил их государыню в глазах целой Европы и покрыл ее вечным стыдом, который она унесла с собою в могилу. В негодовании и горе они жаловались и на несправедливость, оказанную цесаревне Елисавете; говорили, что если уже регентом непременно должен быть иноземец, то более прав имел на него отец императора, принц Брауншвейгский; другие говорили, что если уже надобно подвергаться неудобствам государева малолетства, то почему же не призван на престол молодой герцог голштинский, который по летам своим мог бы гораздо скорее освободить Россию от регентства, чем Иоанн Антонович. Замечая всеобщее неудовольствие, иностранные министры писали об опасном положении регента и объясняли его желание занимать эту должность страхом очутиться в Митаве в кругу надменного и беспокойного дворянства, которое его ненавидит, страхом быть принуждену удалиться в свои имения Вартенберг в Силезии или Биген близ Франкфурта-на-Одере, где он был бы в руках австрийского или прусского правительств, одинаково ему враждебных. Уже толковали, что для утверждения себя в России Биронне ограничится регентством, что он соблазнится примером персидского Кулы-хана, который свергнул с престола молодого шаха и сам занял его место; уже толковали, что Бирон, равнодушный к цесаревне Елисавете, женится на ней и таким образом приобретет право на престол русский.

Эти толки усиливали всеобщее недовольство новым порядком, которое высказывалось в разных слоях общества при удобных случаях. Роптали, слыша, как в церквах после императора, его матери и цесаревны Елисаветы поминали иноверного герцога Курляндского. Роптала гвардия. Во всех дворцовых переворотах в России в XVIII веке мы видим сильное участие гвардии; но из этого вовсе не следует, что перевороты производились преторианцами, янычарами по своекорыстным побуждениям, войском, оторванным от страны и народа; не должно забывать, что гвардия заключала в себе лучших людей, которым были дороги интересы страны и народа, и доказательством служит то, что все эти перевороты имели целью благо страны, производились по национальным побуждениям. Гвардия была против Бирона; гвардейцы говорили громко,

публично: «Тецерь нечего делать, пока матушка-государыня не предана земле; а там, как вся гвардия соберется, то уж...».

Гвардия ждала погребения Анны, чтоб начать действовать против ее распоряжения относительно регентства. Но в гвардии были люди, которые по природе своей не могли долго ждать. Поручик Преображенского полка Петр Ханыков, стоявший в Летнем дворце на карауле во время кончины Анны, когда услышал, что правителем назначен Бирон, не утерпел и сказал: «Для чего так министры сделали, что управление империею мимо родителей императора поручили герцогу Курляндскому?» Через два дня, 20 октября, Ханыков приехал на стройку казарм и, увидавши сержанта своего полка Алфимова, опять не утерпел и сказал: «Что мы сделали, что государева отца и мать оставили? Они, думаю, на нас плачутся, а отдали все государство какому человеку, регенту! Что он за человек? Лучше бы до возраста государева управлять отцу императора или матери». Алфимов отвечал: «Это было бы справедливо». Согласие сержанта ободрило Ханыкова, он продолжал: «Какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите! У нас в полку надежных офицеров нет, не с кем посоветоваться и надеяться не на кого, разве вы, унтер-офицеры, станете об этом толковать солдатам. И я уже об этом здесь при строении казарм и в других местах многим солдатам говорил, и солдаты все на это позываются, говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали, и бранят нас, офицеров, также и унтер-офицеров, для чего не зачинают, что если им, солдатам, зачать нельзя, и, как был для присяги строй, напрасно тогда о том не толковали. А кабы гренадерам только сказал, то б все за мною пошли о том спорить: они меня любят; и офицеры, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать. Только я, скрепя уже свое сердце, гренадерам о том не говорил, для того что я намерения государыни-принцессы не знаю, что угодно ли ей то будет.

На другой день сержант Алфимов встречается еще с офицером Михайлою Аргамаковым, который говорит то же самое и еще сильнее плачет: «До чего мы дожили и какая нам жизнь? Лучше бы сам заколол себя, что мы допускаем до чего, и, хотя бы жилы из меня стали тянуть, я говорить этого не перестану». Алфимов тотчас передал Ханыкову, что нашелся надежный офицер, с которым посоветоваться можно. «Если бы я, – сказал Ханыков, – повидался с Михайлою Аргамаковым, посоветовался бы с ним и проведали бы от государыни принцессы, угодно ли ей это будет, то я здесь и Аргамаков на Петербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем и гренадерскую свою роту я привел бы к тому, чтоб вся та рота пошла со мною, а к тому б пристали и другие солдаты, и мы б регента и сообщников его, Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкого, убрали. Ко мне Трубецкой и добр был, только он с ними больше в тех делах сообщником имеется и у регента на ухе лежит; однако завтра пойду на Васильевский остров и увяжусь с Михайлою Аргамаковым. Слышал я от солдата Преображенского полка, который ходит к регентовым служителям, что регентово намерение есть ко всем милость показать, между тем и в Преображенский полк больших (высоких ростом) из курляндцев набрать, отчего полку будет красота: вот, ничего не видя, хотят немцев набрать и нас из полку вытеснить».

Ханыков в своих разговорах обнаруживал больше всего злобы на Остермана и князя Трубецкого и тем показывал, как мало в гвардии знали настоящие отношения и расположения лиц, стоявших наверху; это, разумеется, происходило

оттого, что высокопоставленные лица не отличались смелостью, не имея средств и способностей действовать впереди во имя известных интересов и убеждений, отличались осторожностью и скрытностью в такое смутное и тяжелое время, и если кому из них случалось проговориться, то, испугавшись, старался еще более притвориться усердным к существующему порядку, еще более надвинуть маску на лицо. Остерман был знаменит этою осторожностью, этим притворством, и, разумеется, никакие Ханыковы не могли проникнуть в глубину его души и усмотреть неприязнь к регенту, тогда как в действительности эта неприязнь была сильная: Бирон, и не будучи еще регентом, не мог переносить *оракула* и сначала подставил против него Волынского, а теперь Бестужева, вследствие чего Остерман перестал быть душою Кабинета; а в регентство Бирона он должен был опасаться еще худшего: с Бестужевым ему нельзя было ужиться, а Бестужев не Волынский. Люди более проницательные, чем Ханыков с товарищами, министры иностранные писали, что Остерман поставлен в унижительное положение, в каком до того времени никогда не был. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой в первом порыве негодования проговорился, перед кончиною Анны он имел неосторожность сказать: «Хотя герцога курляндского регентом и избирают, только, как скоро императрица скончается, мы это переделаем». Императрица скончалась, герцог курляндский был провозглашен регентом – и генерал-прокурор является одним из самых ревностных его приверженцев, и это не противоречило его прежнему заявлению; он говорил: «*мы* переделаем», а не «*я* переделаю», и так как множественного числа не оказывалось, то князь Никита в единственном числе служил Бирону, возбуждая этим неудовольствие патриотов.

Ханыков не знал, на кого особенно сердиться: погубил его не князь Никита Трубецкой, хотя, как ему казалось, и лежал на ухе у регента; погубил его и не хитрый иноземец Остерман, погубил его другой кабинет-министр, Бестужев-Рюмин, главный приверженец Бирона по тесной связи своих интересов с интересами регента, потому что Бестужев держался только Бироном и необходимо падал вместе с ним. 22 октября Алфимов был у другого сержанта, Акинфиева, и здесь встретился с вахмистром конногвардии Камыниным, который говорил: «Хотят ныне к солдатству милость казать и за треть жалованье выдать, доимку не взыскивать и, с которых доимка взята, возвратить; а из гвардейских полков дворян отпустить в годовой отпуск и вычетными из жалованья их деньгами хотят казармы достраивать и тем солдатство и всех приводят к милости. Чудесно, что господа министры допустили кого править государством! Вот мне и дядюшка Бестужев, а какой он министр? Вот коли бы Михайла Аргамаков сделал подписку...» Но агент-подстрекатель не дождался подписки и в тот же вечер донес дядюшке Бестужеву на Ханыкова, Аргамакова и Алфимова, которые на другой же день были арестованы; на пытке они не сказали ничего нового. Бестужев служил верную службу своему благодетелю – Бирону. Капитан Бровцын рассказывал кабинет-секретарю Яковлеву: «Однажды, будучи на Васильевском острове с несколькими солдатами, плакал я о том, что Бирон учинен регентом; увидя это, Бестужев погнался за мною с обнаженною шпагою, так что я насилу мог уйти в дом Миниха».

Другой кабинет-министр, *тело* Кабинета, князь Черкасский, не отстал от Бестужева в верной службе регенту. О движениях Ханыкова знали другие офицеры и действовали против Бирона, когда Ханыков был уже схвачен.

Служивший в Ревизион-коллегии подполковник Пустошкин еще 6 октября, когда узнали о назначении принца Иоанна наследником престола, имел со многими разговоры, что надобно от российского шляхетства подать челобитную о назначении регентом принца Брауншвейгского. 21 октября он был в гостях у кабинет-секретаря Яковлева и говорил о том же с другими гостями, причем хозяин Яковлев сказал: «Чем вам там пустое балякать, подите о том бейте челом чрез графа Остермана или князя Черкасского, а ежели меня спросят, то знаю я, на каком основании то делано». На другой день Пустошкин явился к князю Черкасскому и объявил, что их собралось много, между ними офицеры Семеновского полка, а из Преображенского поручик Ханыков и все они желают, чтоб правительство было поручено принцу Брауншвейгскому. Когда Черкасский спросил, кто его к нему послал, то Пустошкин отвечал, что послал его граф Михайла Головкин. От Черкасского Пустошкин отправился к графу Головкину и рассказал ему, в чем дело; Головкин отвечал: «Что вы смыслите, то и делайте: однако ж ты меня не видал и я от тебя сего не слыхал; а я от всех дел отрешен и еду в чужие края». Головкин был из числа вельмож, недовольных настоящим регентством; как родственник принцессы Анны по жене (урожденной Ромодановской, двоюродной сестры императрицы Анны по матери), он надеялся получить важное значение, если бы Анна была назначена правительницею; при ссоре принцессы с Бироном в последнее время царствования Анны Головкин стал на сторону принцессы и позволил себе «вольные речи» о фаворите, за что подпал гневу императрицы, а теперь, при регентстве Бирона, был от всех дел отрешен и ехал в чужие края. Головкин отрекся от всякого участия в предприятии против Бирона; но Черкасский пошел дальше: он отправился к регенту и донес на Пустошкина, который и был схвачен.

Офицеры, хотевшие свергнуть Бирона, рознились относительно вопроса, кому быть его преемником: одни указывали на мать, другие – на отца императора. Понятно, что не обошлось без движения между людьми близкими, домашними к принцу и принцессе Брауншвейгским. На другой день после взятия Пустошкина и Ханыкова с товарищами пришел донос на секретаря конторы принцессы Анны Михайлу Семенова в том, что он заподозревал указ императрицы Анны о регентстве, будто бы он не был подписан собственною ее рукою. Семенов на допросах указал уже на известного нам кабинет-секретаря Яковлева: тот признался, что действительно внушал Семенову сомнение насчет подлинности указа, признался, что не донес о разговоре своем с Пустошкиным и товарищами его, потому что «всегда имел усердие больше к стороне родителей его императорского величества, а правительство государственное желает, чтоб было в руках их же, родителей его императорского величества; Семенов внушал подозрение насчет указа для того, чтоб сообщено то было родителям его императорского величества, ибо он, Яковлев, чрез то уповал, в случае ежели бы государственное правительство чрез что ни есть перешло в руки их высочеств, дабы он, Яковлев, мог тогда избегнуть от следствия и беды и получить от их высочеств милость, ибо как по кончине ее императорского величества для проводывания, что о нынешнем правлении в народе говорят, надевая худой кафтан, хаживал он собою по ночам по прешпективной (Невскому проспекту) и по другим улицам, то слышал он, что в народе говорят о том с неудовольствием, а

желают, чтоб государственное правительство было в руках у родителей его императорского величества».

Легко понять, с каким чувством Бирон должен был узнать, что в гвардии движение против него, что в народе его не хотят иметь регентом, а хотят родителей императора. Принц и принцесса Брауншвейгские – заклятые его враги с тех пор, как Анна Леопольдовна отказалась выйти замуж за его сына; эти принц и принцесса пользуются расположением в войске и народе, для них хотят отнять у него регентство. Мы видели, что Бирон во время своего фавора привык раздражаться, выходить из себя при первом сопротивлении и не разбирать средств, чтоб отделаться от человека, осмелившегося стать к нему во враждебные отношения. Но теперь дело шло не о каком-нибудь беспокойном человеке, решившемся высказаться против фаворита, теперь дело шло не о каком-нибудь Волынском, теперь дело шло о могущественных соперниках, которые опираются на свои права, признаваемые войском и народом, и которые поэтому легко могут отнять у него власть, и больше чем власть; теперь Бирон действует уже по инстинкту самосохранения, а известно, как люди действуют, когда руководятся инстинктом самосохранения, особенно такие люди, как Бирон. Регент едет к герцогу Брауншвейгскому и начинает кричать на него, что он затевает смуту, кровопролитие, надеется на свой Семеновский полк, но его, Бирона, не испугает. Люди, которые кого-нибудь боятся, обыкновенно говорят этому кому-нибудь, что не боятся, что их нельзя испугать. Бирон повторил эту сцену с принцем и его женою, когда они приехали к нему: тут, когда принц без намерения положил руку на ефес своей шпаги, то Бирон принял это движение за угрозу и, ударя рукою по своей шпаге, сказал: «Я готов и этим путем с вами разделаться, если вы этого желаете».

Бирон не довольствовался вскрытием движений Ханькова, Аргамакова, Пустошкина, Семенова: ему хотелось узнать что-нибудь подробнее о движениях самого принца и принцессы Брауншвейгских. С этою целью он велел арестовать адъютанта принца Петра Граматина и подвергнуть допросу. Граматин показал, что когда во время предсмертной болезни императрицы Анны принцу Антону дали знать о подписке какой-то бумаги в Кабинете, то он говорил Граматину: «Чинится подписка в Кабинете: подписываются генералитет и гвардии офицеры, только о чем, неведомо, а меня не пригласили. Знать, они подписывают то, что мне ведать не следует, и, конечно, что-нибудь о наследстве престола подписывают. Сказывал мне прусский посланник Мардефельд, будто до возраста великого князя будет учинен для правления Тайный верховный совет и в том Совете будут заседать супруга моя, герцог курляндский, три кабинет-министра, фельдмаршал Миних, генерал Ушаков и кн. Куракин, а про меня ничего не упомянул, только я его речам не верю». Граматин сказал на это, что может быть и так, только лучше бы, чтоб правление государственное было поручено одной персоне, потому что наши министры между собою будут не согласны и чрез то государству не будет пользы. Принц поручил Граматину разведывать всячески о подписке. На другой день принц спросил Граматина, разведал ли он что-нибудь, и тот отвечал, что ничего не узнал; тогда принц сказал, что слышал о назначении регентом герцога Курляндского. После этого разговора Граматин вышел в другую комнату и нашел там секретаря Семенова, подле которого сел и спросил: «Что ты делаешь?» Тот отвечал: «Ох, что нам, братец, делать: худо у нас делается». «А что, разве ты

слышал что-нибудь?» – спросил Граматин. «Да, мы нынче остаемся овцы без пастыря; знаешь ли ты, для чего подписка в Кабинете чинится? Доложи ты его светлости герцогу Брауншвейгскому, чтоб я был к нему допущен; я обо всем скажу; пусть его светлость на меня изволит положить эту комиссию; я сделаю, что дело может быть и переделано, только чтоб вперед я был защищен его светлости милостию». Граматин пересказал все принцу; тому и хотелось войти в сношения с Семеновым, и трусил: «А что если он попадетя и объявит, что у меня был? Верно, у него есть какой-нибудь приятель у Андрея Ивановича Остермана, через него он это разведает». В таком трудном и опасном деле надобно с кем-нибудь посоветоваться, и принц посылает Граматина к брауншвейгскому посланнику Кейзерлингу спросить, как он думает, допускать ли к себе секретаря Семенова. Кейзерлинг присоветовал допустить Семенова, выслушать, обнадежив своею милостию и секретом. Но Семенов обещал переделать дело; можно ли на него в этом положиться? Граматин не верил, чтоб такой маленький человек мог сделать что-нибудь важное, и представил Кейзерлингу, что опасно положиться на Семенова относительно комиссии переделать то, что было подписано в Кабинете: «Когда ему поручится, а он не сделает и объявится, то после будет не без стыда». Кейзерлинг согласился, и принц только виделся с Семеновым, а никакой комиссии на него не возлагал.

19 октября принц завел с Граматиным разговор, что носятся слухи, будто императрица Анна завещание своеручно не подписала, подписано оно не ее рукою; императрица с начала своей болезни ни о каких государственных делах не говорила, тем менее о наследстве, все надеялась выздороветь. При этом принц сказал: «Надеюсь, что все бывшие нынче у регента министры могли заметить, с каким неудовольствием я был у него. Я намерен был нынче послать к Андрею Ивановичу Остерману за советом, чтоб завтра, когда при Летнем дворце соберутся на караул люди более тысячи человек, чтоб всех министров, которые будут в Кабинете, арестовать; только я этого уже не сделаю». Саксонскому посланнику Линару сам принц только рассказывал, что он спрашивал совета у Остермана и тот сказал: если принц имеет верную партию, то должен открыться и говорить; в противном случае лучше будет согласоваться с другими. Граматин также отвечал принцу, что решительные действия опасны: «Вашей светлости собою сказаться, что недовольны, не так прилично; разве когда государыня-принцесса изволит сказать, что недовольна, то и вашей светлости тогда о себе объявить пристойнее, а наперед надобно посоветоваться о том с министрами». Принц сказал на это: «Хотя я вижу, что супруга моя недовольна, однако она очень боится. Надеюсь, что о моем неудовольствии можно мне объявить Андрею Ивановичу Ушакову». Граматин отвечал, что можно, и тогда принц поручил ему переговорить об этом с адъютантом Ушакова Власьевым. Граматин увидел Власьева во дворце, в большой аудиенц-зале, и начал с ним разговор: «Что ты скажешь? Здорово живешь? Что у вас делается?» Власьев отвечал: «А что у нас делается? Ведь ты и сам знаешь, что у нас регент сделан. Что государыня принцесса и его светлость изволят об этом говорить?» «Сколько мне известно, – сказал Граматин, – они не очень довольны; только принц не знает, кому свое неудовольствие открыть из министров». «Да на что лучше нашего старика, – отвечал Власьев, – пусть ее высочество призвать изволит и о том объявить; он даст совет, как поступить». Когда Граматин передал эти слова принцу, тот велел ему сказать Власьеву, чтоб передал своему генералу

Ушакову желание принца повидаться с ним, только, чтоб пришел по какому-нибудь делу и дал бы знать, когда придет. Граматин переговорил с Власьевым, Власьев с Ушаковым, и тот обещал побывать у принца.

Между тем Кейзерлинг сдерживал рьяность придворных принца и принцессы Брауншвейгских. 19 октября Кейзерлинг был у принца и потом имел разговор с камер-юнкером Шелианом, который после этого разговора со слезами говорил Граматину: «Что нам делать, что посланника Кейзерлинга не можем уговорить, чтоб он присоветовал принцу спорить! Все говорит: молчите, молчите! А его светлости никакой опасности, чтоб молчать, нет; Кейзерлинг говорит, что когда принц станет спорить, то его могут арестовать; но кто может арестовать его светлость?» Граматин сказал ему: «Как его светлости начать спорить, когда государыня принцесса о том ничего говорить не изволит?» Шелиан отвечал: «Мы до того времени будем молчать, пока они с нами что хотят, то сделают». Граматин был у Кейзерлинга, когда тот получил известие, что принцу Брауншвейгскому дан титул высочества. Кейзерлинг сказал при этом: «Пусть они нас теперь повышают: я бы желал, чтоб они его светлость сделали генералиссимусом, а там мы их достанем». Тот же Кейзерлинг спрашивал Граматина: «Как ты думаешь, утвердится ли нынешнее определение о регентстве?» И когда Граматин отвечал, что, по его мнению, утвердится, то Кейзерлинг сказал: «Может быть, министры между собою впредь не будут согласны и чрез то последует какая-нибудь отменка. При вступлении императрицы Анны на престол сперва было сделано так и потом переделано в самодержавство». Граматин в заключение доносил, что принц Антон в последний разговор с ним сказал: «Видно, на то, что такое определение о регентстве сделано, есть воля божия, и я уже себя успокоил. Мы лучше хотим с супругою моею терпеть, нежели чрез нас государство беспокоить».

Принц Антон, по словам Граматина, успокоился; но Бирон не мог успокоиться. Принц Антон был недоволен, ему очень хотелось переменить постановление о регентстве, но недоставало смелости, уменья воспользоваться какою-нибудь благоприятною минутою; люди, к которым он обращался за советом – Остерман, Кейзерлинг, – сдерживали его, но не порицали его поведения, его желания, советовали только ждать удобного времени, составления многочисленной партии. А партия эта не могла составиться легко и скоро, волнение было сильное в гвардии; кроме названных лиц попался еще князь Иван Путятин, который рассуждал с своими товарищами, офицерами Семеновского полка, что государством следовало править принцу Брауншвейгскому; Путятин ходил во дворец, поручил там Шелиану передать принцу, что если его высочеству угодно, то некоторые из сенаторов его сторону держать будут; приезжал к капитану того же Семеновского полка Василью Чичерину с известием, что Аргамаков взят, и Чичерин отвечал: «И нам не миновать». Путятин сказал при этом: «Вот кабы полк был в строю, то бы, написав челобитную, и подали, чтоб государыня-принцесса приняла государственное правление».

Напуганный и раздраженный этими открытиями, Бирон стал выживать Брауншвейгских из России; не только другим лицам, но и самому принцу и принцессе Анне говорил, что хочет вызвать в Россию молодого принца голштинского Петра. Чтоб отнять популярность у Брауншвейгских, Бирон говорил, что принцесса Анна называет русских канальями, а муж ее хотел генералов и министров арестовать и побросать в воду.

23 октября дан был указ о ежегодной выдаче родителям императора по 200000 руб. в год, а цесаревне Елисавете по 50000 руб., но в тот же день принц Антон был призван в чрезвычайное собрание кабинет-министров, сенаторов и генералитета. Бирон изложил собранию все дело на основании показаний, сделанных приверженцами Брауншвейгской фамилии в Тайной канцелярии, и спросил принца, чего ему хотелось. Тот со слезами отвечал, что хотел произвести бунт и завладеть регентством. Тут Ушаков начал говорить: «Если вы будете вести себя как следует, то все будут почитать вас отцом императора; в противном случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. По своей молодости и неопытности вы были обмануты; но если б вам удалось исполнить свое намерение, нарушить спокойствие империи, то я, хотя с крайним прискорбием, обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величества». После этой грозной выходки управляющего Тайною канцеляриею начал говорить Бирон; говорил о своих правах, о действительности распоряжения покойной императрицы и кончил словами: «Так как я имею право отказаться от регентства, то, если это собрание сочтет вашу светлость больше меня к нему способным, я сию же минуту передам правление вам». Тут многие из присутствующих объявили, что просят герцога продолжать правление для блага всей земли. Тогда Бирон, указывая на лежавшее перед ним распоряжение покойной императрицы о регентстве, спросил Остермана: «Та ли эта бумага, которую вы сами относили к императрице для подписи?» Остерман отвечал утвердительно; но регент не удовольствовался этим ответом: он потребовал, чтоб все присутствующие подписали бумагу и приложили свои печати; все исполнили требование, равно как и принц Антон.

Бирон и на этом не успокоился: он боялся, что принц будет иметь возможность действовать на войско по своим военным чинам – подполковника Семеновского полка и полковника кирасирского Брауншвейгского полка; регенту непременно хотелось отнять у него эти должности; Миних, который не любил принца, охотно подслужился Бирону и велел брату своему от имени принца Антона написать просьбу об увольнении от всех военных должностей. Фельдмаршал Миних принес эту просьбу в Кабинет, причем просил, что если отошлют ее к Остерману, то чтоб переписали, ибо он не хочет, чтоб Остерман видел руку брата его и догадался, что все дело идет через него, фельдмаршала. В просьбе от имени принца Антона говорилось к имени императора: «Я ныне, по вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть». Принц Антон подписал просьбу, в которой он является таким нежным отцом, и 1 ноября дан был указ Военной коллегии, подписанный по обычаю: «Именем его императорского величества Иоганн регент и герцог». В указе говорилось: «Понеже его высочество любезнейший наш родитель желание свое объявил имевшиеся у него военные чины низложить, а мы ему в том отказать не могли, того ради чрез сие Военной коллегии объявили для известия».

Бестужев говорил одному иностранному дипломату: «Если бы захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так милосердно. Он отец императора, но вместе с тем и его подданный. Петр I подал пример, что вправе сделать отец против бунтующего сына, то же наоборот и совершенно логично прилагается и к

настоящему случаю; принцесса Анна это очень хорошо понимает; она бросилась на шею к герцогу Курляндскому с просьбою не давать гласности делу и обещала сама смотреть за мужем. До сих пор герцог Брауншвейгский рассчитывал на венский двор; но теперь он увидит, что эта опора бесполезна, потому что мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, но мы можем вообще сказать, что наше дело выиграно. Я рисковал головою и не имел ни минуты покоя в первые три дня после кончины императрицы, потому что я русский народ знаю: по первому толчку он в состоянии что-нибудь предпринять, но потом, как скоро эта минута пройдет, переходит к совершенному послушанию. Вот почему еще при жизни императрицы я изготавил манифест о регентстве, его напечатали в ночь по смерти императрицы вместе с присяжною формою, и сейчас же можно было приводить к присяге, прежде чем беспокойные головы имели время что-нибудь затеять. Если посудить, как велико само по себе это событие и как значительно народонаселение столицы, то нечего удивляться, что нашлось несколько недовольных; надобно удивляться одному, что не оказалось их более. Теперь для общего единения остается делать одно: награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в которых будет замечено дурное направление».

Людей неблагонамеренных, действовавших против Бирона, в пользу принца Антона или принцессы Анны, Яковлева, Пустошкина с товарищами, били кнутом в Тайной канцелярии, давали по 15, 16 и 17 ударов. Но явились доносы на приверженцев цесаревны Елисаветы Петровны. Во время присяги войска Иоанну Антоновичу как наследнику престола капрал Хлопов, встретившись с капралом Гольмштремом, сказал ему: «Присягали мы ныне ее императорского величества внуку, а государыни-принцессы сыну»; а потом, немного погодя, махнул головою на дом цесаревны Елисаветы и сказал: «Не обидно ль?» В тот же день Хлопов говорил своим товарищам русским: «Вот император Петр Первый в Российской империи заслужил и того осталось. Вот коронованного отца дочь, государыня-цесаревна, оставлена». Немец Гольмштрем донес на Хлопова; Хлопова взяли и отпустили, равно как и товарищей его, русских, виноватых в том, что не донесли; отпустили «для многолетнего его величества здравия, но только впредь в такие противные рассуждения отнюдь бы они не вступали». Привели в Тайную канцелярию счетчика из матросов Максима Толстова за то, что отказался присягать регенту. Толстой прямо объявил, что не пошел к присяге «для того, что государством повелено править такому генералу, каковы у него, Толстова, родственники генералы были. До возраста государева повелено править герцогу курляндскому, а орел летал да соблюдал все детям своим, а дочь его оставлена: император Петр Первый соблюдал и созидал все детям своим, а у него, государя, осталась дочь цесаревна Елисавета Петровна, и надобно ныне присягать ей, государыне цесаревне. О том между собою говорили лейб-гвардии Преображенского полка солдаты, идучи от присяги». Толстова сослали в Оренбург – наказание легкое, если принять во внимание то, что он презрительно отзывался о Бироне, не хотел присягать ему. Могло казаться удивительным такое снисхождение к приверженцам цесаревны Елисаветы. Мы видели, что уже и прежде ходили слухи о видах Бирона на цесаревну. Теперь сам Бирон грозит, что против Брауншвейгцев вызовет в Россию племянника цесаревны Елисаветы, принца Голштинского, и пошли новые слухи, что Бирон хочет женить на Елисавете сына своего, принца Петра, а дочь свою потом выдать за герцога

Голштинского. Как бы то ни было, говорили, что Бирон имел с цесаревною Елисаветою частые свидания, продолжавшиеся иногда по целым часам.

Бестужев думал или по крайней мере хотел заставить других думать, что опасность для Бирона прошла, потому что первая вспышка неудовольствия была потушена в самом начале. Вспышка была потушена, потому что недовольные не нашли себе вождей; но недовольных оставалось очень много, недовольно было все общество, весь народ. Не доверяя гвардии, призвали шесть армейских батальонов и 200 драгун. Чтоб гвардия не обиделась этою недоверчивостью, Миних произнес к ней речь, в которой говорил, что гвардейцы служат только высочайшим особам и что регент решился призвать на службу в Петербург армейских солдат, желая облегчить по службе гвардейцев. Но говорили, что речь не произвела ожидаемого действия. Драгуны сослужили службу: 24 октября ночью народ начал было собираться толпами в некоторых местах, но был разогнан драгунскими патрулями. Бирон поговаривал, что надобно преобразовать гвардию, зачем в ней рядовые солдаты из дворян: их можно определить офицерами в армейские полки, а их место занять людьми простого происхождения.

Даже и те, которые отказались быть вождями движения и выдали людей, неспособных дожидаться, и те не принадлежали к числу довольных, имевших сильные побуждения поддерживать регента, и когда Бестужев говорил «*мы*», то под этим «*мы*» должно было разумеать очень немногих – его да самого Бирона с братьями и Бисмарком. Это очень хорошо понимал человек, сильно недовольный тем, что не он занимает первое место, а Бирон, которого он считал ничтожностью в сравнении с собою, – это очень хорошо понимал Миних. Современники и люди близкие к Миниху объясняли его усердие в доставлении регентства Бирону тем, что он надеялся играть при таком неспособном регенте главную роль, надеялся получить звание генералиссимуса всех военных сил империи, сухопутных и морских. Но мы видели, что Бирон и прежде боялся Миниха и старался оттеснить его от источника власти как соперника, опасного по своей смелости, энергии, талантам и страшному честолюбию; понятно, что и теперь в Бироне-регенте не могла исчезнуть эта боязнь и он нисколько не был расположен увеличивать значение опасного человека; Миних был в ссоре с генералом Бироном, и регент брал сторону брата. Миних видел, что ошибся в своих расчетах, видел всеобщее сильное неудовольствие, видел, что недовольным недостает только вождя для низвержения ненавистного регента, и решился быть этим вождем. В свое имя он, разумеется, действовать не мог; всего ближе ему было действовать во имя принцессы Анны, матери императора.

Прежде он мог не желать регентства Анны вследствие неладов с принцем Антоном, находившимся под влиянием Остермана; прежде он мог предпочитать регентство Бирона; но теперь другое дело: принцесса и ее муж в невыносимо тяжком положении, ждут избавителя, и, разумеется, их благодарности к этому избавителю не будет границ.

7 ноября, как шеф кадетского корпуса, Миних представил Анне Леопольдовне несколько кадет, из которых она хотела выбрать для себя пажей. Когда кадеты были отпущены, принцесса со слезами на глазах стала говорить Миниху: «Вы видите, граф, как регент со мною обходится; я знаю от верных людей, что он думает выслать нас из России. Я готова к этому, я уеду; но употребите все свое влияние над регентом, чтобы по крайней мере мне можно

было взять с собою сына». В ответ Миних дает слово освободить ее от тирана, и принцесса говорит, что полагается на него одного. Свое участие в избрании Бирона Миних оправдывал тем, что если б Бирон не был сделан регентом, то никогда не побудил бы императрицу назначить себе преемника, отчего Россия была бы ввергнута в ужасное положение. На другой день утром Миних видится с принцессою опять и объявляет, что намерен схватить регента. Сначала принцесса поцеремонилась, начала говорить, как это фельдмаршал рискует жизнью своею и всего своего семейства; предлагала посоветоваться с Левенвольдом; но Миних отвечал, что она обещала положиться на него одного, и притом он не хочет никого вовлекать в опасность. Тогда принцесса начала хвалить великодушие и смелость фельдмаршала и сказала: «Ну хорошо, только делайте поскорее». Медленность не была в характере Миниха, да и не было выгоды медлить: притом Преображенский полк, в котором он был подполковником, должен был смениться на другой по караулам.

В тот же день, 8 ноября, Миних обедал у Бирона, который пригласил его приехать и вечером. Герцог был весь этот вечер беспокоен и задумчив. Вместе с Минихом сидел у него Левенвольд, который вдруг спросил фельдмаршала: «А что, граф, во время ваших походов вы никогда не предпринимали ничего важного ночью?» Миних сначала смутился этим вопросом, в котором как будто намекалось на его намерение, скоро, впрочем, оправился и отвечал: «Не помню, чтоб я когда-нибудь предпринимал что-нибудь чрезвычайное ночью, но мое правило пользоваться всяким благоприятным случаем».

Регент и фельдмаршал расстались в одиннадцать часов вечера, и Миних немедленно стал распоряжаться «чрезвычайным ночным предприятием». Возвратясь из дворца, он сказал своему первому адъютанту подполковнику Манштейну, чтоб был готов, потому что понадобится ему очень рано. Действительно, в два часа пополуночи фельдмаршал позвал к себе Манштейна; оба сели в карету и отправились в Зимний дворец, где жил император с отцом и матерью. Фельдмаршал и адъютант вошли в покои принцессы Анны через гардероб и велели разбудить фрейлину Менгден, фаворитку принцессы; Менгден, услышав от Миниха, в чем дело, велела разбудить принца и принцессу, но вышла к фельдмаршалу одна принцесса. Поговоривши с нею минуту, Миних велел Манштейну позвать к принцессе всех караульных офицеров, и, когда те вошли, принцесса обратилась к ним с жалобами на регента: «Мне нельзя, мне стыдно долее сносить все эти обиды, я решилась его арестовать и поручила это дело фельдмаршалу Миниху; надеюсь, что храбрые офицеры будут повиноваться своему генералу и помогать его ревности». Офицеры обещали исполнить волю принцессы, которая допустила их к руке и потом всех перецеловала. Сошедши с фельдмаршалом вниз, офицеры поставили под ружье караульных солдат, которым Миних объявил в чем дело; мы знаем, что солдаты только этого и дожидались; они крикнули в один голос, что рады идти всюду, куда он их поведет. Сорок человек солдат было оставлено при знамени, а с осмидесятью Миних отправился к Летнему дворцу, где жил регент.

Около двухсот шагов от дворца отряд остановился: Миних послал Манштейна к караульным офицерам объявить им о намерении принцессы Анны; те с радостью выслушали это объявление и предложили даже свою помощь при арестовании герцога. Тогда фельдмаршал велел Манштейну взять офицера и

двадцать солдат, войти во дворец, арестовать герцога и в случае сопротивления убить его. Манштейн, войдя во дворец, велел солдатам следовать за собою издали, чтоб не делать шума. Все караульные пропустили его беспрепятственно, думая, что старший адъютант фельдмаршала прислан к герцогу за каким-нибудь важным делом. Пройдя несколько комнат, Манштейн вдруг нашелся в большом затруднении: он не знал, где спальня герцога, и в то же время не хотел спросить об этом у лакеев, чтоб не поднять шума. Подумав с минуту, он решился идти вперед в надежде отыскать наконец спальню. Пройдя еще две комнаты, он очутился перед дверьми, запертыми на ключ; он попробовал, и двери отворились, потому что не были приперты задвижками внизу и вверху. Войдя в комнату, он увидел большую кровать, на которой герцог и герцогиня спали глубоким сном; они проснулись тогда только, когда Манштейн откинул занавесы у кровати и начал говорить. Муж и жена разом вскочили оба и начали кричать «караул!». Манштейн отвечал, что привел много караульных. Так как Манштейн стоял по ту сторону кровати, где была герцогиня, то Бирон соскочил на пол с намерением, как показалось Манштейну, спрятаться под кровать. Тогда Манштейн обежал кровать, бросился на Бирона, схватил его и крепко держал до тех пор, пока пришли солдаты. Когда они подошли к Бирону, чтоб взять его, тот стал обороняться, отмахиваясь кулаком направо и налево. В этой борьбе солдаты разорвали у него рубашку и сильно поколотили его, повалили на землю, засунули носовой платок в рот, связали руки офицерским шарфом, закутали в одеяло и вынесли в караульную; здесь набросили на него солдатскую шинель, посадили в карету Миниха, куда сел с ним офицер и повез в Зимний дворец. В то время как солдаты управлялись с Бироном, жена его выбежала в одной рубашке из дворца и, видя, как увозят мужа, бросилась за ворота на улицу; тут один солдат схватил ее, притащил к Манштейну и спрашивал, что с нею делать. Тот велел отвести ее во дворец, но солдату не хотелось с нею возиться: он бросил ее на кучу снега и ушел; капитан гвардии нашел ее в этом положении, поднял, велел одеть и проводил во дворец. Тот же Манштейн арестовал Густава Бирона, а другой адъютант Миниха, капитан Кёнигфельс, арестовал Бестужева, который подумал, что Бирон велел арестовать его, и спросил у Кёнигфельса: «Что за причина немилости регента?»

К шести часам утра все было кончено, и Миних явился к принцессе Анне с докладом, что все обошлось благополучно. Первым делом принцессы было послать за человеком, без которого считали невозможным решить какое-нибудь важное дело, – за Остерманом. Оракул, недовольный положением дел и чуя бурю в воздухе, несколько времени уже сказывался больным; и теперь, когда так рано прислали за ним от имени принцессы, велел отвечать, что нездоров; тогда Миних послал к нему генерала Стрешнева, родственника Остерману по жене, сказать, что есть обстоятельство, которое должно заставить его перемочь болезнь и приехать во дворец; это обстоятельство заключалось в том, что Стрешнев собственными глазами видел бывшего регента в караульне Зимнего дворца. Остерман перемог болезнь и явился поклониться восходящему светилу. А между тем все так привыкли верить в могущество Остермана, в его уменье таинственными путями устраивать перевороты, что сначала приписали ему низвержение Бирона. Шетарди, донося своему королю о перевороте, писал: «Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайных мер, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он

поступал всегда; верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана». Румянцев, получивши в Константинополе известие о свержении Бирона, писал Остерману: «Что касается до той с богом начатой перемены, не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели и, яко едиными усты, богу моление принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына отечества Российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено».

В Константинополе могли долго так думать; но в Петербурге скоро узнали, что единственным виновником переворота был не Остерман, а Миних. Возвратившись по совершении своего подвига домой, фельдмаршал призвал к себе сына своего и родственника барона Менгдена, председателя Коммерц-коллегии, и велел сыну писать список наград. Во-первых, принцесса Анна, которая должна быть провозглашена правительницею вместо Бирона, возлагает на себя Андреевский орден, а Миниха жалует в генералиссимусы, Сын заметил, что, может быть, этого звания желает муж правительницы, принц Антон, надобно бы об этом разведать; сын советовал просить лучше звания первого министра. Отец согласился, но потом задал вопрос, как Остерман будет терпеть над собою первого министра. Ему отвечали, что надобно повысить Остермана; но как? Фельдмаршал наконец припомнил, что в 1732 году, работая над новым положением для флота, Остерман намекал, что желал бы быть великим адмиралом. Решили пожаловать Остермана в великие адмиралы – звание почетное, но не опасное, не стесняющее первого министра. Казалось бы, всего естественнее было дать Остерману, как вице-канцлеру, звание великого канцлера, которого никто не имел с 1734 года, со смерти старого Головкина; но иностранными делами хотел заправлять Миних, и великим канцлером назначили не *душу*, а *тело* Кабинета – князя Алексея Михайловича Черкасского, хотя и было замечено, что Черкасский за свое поведение относительно Бирона заслуживает больше наказания, чем награды; вице-канцлером сделали графа Михайлу Головкина, человека близкого к новой правительнице и неопасного. Миних велел сыну написать бумагу о всех этих назначениях и отвезти во дворец для поднесения принцессе на утверждение, а чрез несколько часов приехал сам во дворец и узнал, что принцесса на все согласна. По приезде Миниха, Остермана и цесаревны Елисаветы началось во дворце долгое совещание, вследствие которого Бирон с семейством был перевезен в Александро-Невский монастырь; здесь они переночевали, а утром отправлены были в Шлюссельбург. Мы видели, что вместе с Бироном был схвачен и самый ревностный приверженец его, кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Судьба, видимо, преследовала этого человека, видимо, смеялась над ним жестокою насмешкою. После стольких усилий, хлопот пробился он наконец вперед, для того чтоб, заплативши за кратковременную честь страшным беспокойством, бессонными ночами, попасть из кабинет-министров под арест и ожидать самого печального решения своей участи. В самом начале блеснул было луч надежды: адъютант Миниха Кёнигфельс два раза приезжал к жене Бестужева и спрашивал ее, хочет ли она ехать с мужем на место ссылки. Та отвечала, что хочет; Кёнигфельс утешал ее, говорил, что фельдмаршал бьет себя в грудь и божится, что будет истинным другом ее мужу. К самому Бестужеву Миних прислал другого адъютанта своего, Манштейна, объявить, что принцесса Анна

приказала послать его в ссылку недалеко; Бестужев просил, нельзя ли ему видеться с фельдмаршалом, но Манштейн возвратился с ответом: «Видеться тебе с фельдмаршалом невозможно, ему недосуг, посылают вас в Кексгольм, и будете вы там, пока с другими разделяются, а потом и с тобою скоро перемена будет». «Попросите фельдмаршала, – говорил Бестужев Манштейну, – чтоб он меня не оставил, а помнил то, что он состоит в дирекции божией, как сам видит из моей судьбы: вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант». Бестужева сначала заключили в Нарвскую крепость, а потом перевели в Копорье. Двоих братьев Бирона, Карла и Густава, и генерала Бисмарка как *адгерента* бывшего правителя отправили в Сибирь.

На другой день, 9 ноября, Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницею, и никто не противоречил. Вышел манифест, подписанный Синодом, министерством и генералитетом: император Иоанн III объявлял, что хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог Курляндский, но ему велено было свое регентство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам и особливо велено «не токмо о дражайшем здравии и воспитании нашем попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного тому исполнения он дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать, и притом с употреблением непристойных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которым не только любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой, и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. И потому принуждены себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина оного герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оное правительство поручить нашей государыне-матери».

11 ноября вышел указ: «Ноября 10 дня всемилостивейше пожаловали мы: 1) любезнейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом, и хотя генерал-фельдмаршал граф фон Миних за его к Российской империи оказанные знатные службы и что ныне он уже первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал и в коллегии Военной президент к пожалованию б сего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всеижайшем к вышеупомянутому его высочеству почтении от сего высочайшего чина отрекается; притом же его высочество чин конной гвардии подполковника на себя принять изволит; 2) генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеописанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим и всему государству оказанной усердной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему бог живот и силу продолжит, в состоянии был нам ревностные услуги оказать, всемилостивейше пожаловали чин первого министра в наших консилиях; и как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, причем и супруге его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои невладеющие в нашей службе обретаются, супругами первенство иметь; 3) вице-канцлеру империи графу Остерману пожаловали чин давно состоящей вакансии генерал-адмирала, причем ему и

кабинет-министром быть по-прежнему; 4) действительно тайному советнику князю Черкасскому пожаловали чин также давно состоящей вакансии великого канцлера, и быть ему по-прежнему в Кабинете; 5) действительно тайному советнику графу Головкину пожаловали чин вице-канцлера и кабинет-министра». Левенвольду дана «знатная сумма» на расплату долгов. Фельдмаршал князь Трубецкой освобожден от взыскания 10000 рублей и получил пенсион. Генерал-кригскомиссар Лопухин освобожден от взыскания 12000 рублей. Ушаков, Головин и Куракин получили Андреевский орден.

Все были довольны; но при этой, по-видимому, всеобщей радости нашлись люди, которые предсказывали, что это не последний переворот.

Бирона захватил фельдмаршал Миних; Миних не мог провозгласить себя регентом и отдал свою ночную добычу матери императора, с тем чтоб под именем первого министра управлять Россиею. Характер новой правительницы действительно мог утверждать Миниха в его надеждах, ибо не было существа менее способного находиться во главе государственного управления, как добрая Анна Леопольдовна. Сильно доставалось ей в молодости от матери, герцогини Екатерины Ивановны, за дикость; императрица Анна имела полное основание считать племянницу неспособною к правлению. Не одеваясь, не причесываясь, повязав голову платком, сидеть бы ей только целый день во внутренних покоях с неразлучною фавориткою, фрейлиною Менгден! Фрейлина была очень довольна, что «мы попали в правительство». Как только схватили страшного, ненавистного герцога Курляндского, так правительница подарила своей фаворитке четыре кафтана Бирона да три кафтана сына его, Петра; Менгден занялась спарыванием с них позументов и отдала на выжигу; вышло из выжиги четыре шандала, шесть тарелок, две коробки. Но щедрость правительницы не ограничилась позументами: пошли подарки по 1000, по 2000, по 3000, иногда по десяти и по тридцати тысяч; дана была и мыза Обер-Пален в Дерптском уезде.

С Анною Леопольдовной и с фавориткою Миниху легко было ужиться, тем более что Менгден была его родственница. Ни один из русских вельмож, стоявших наверху, не мог быть ему опасен; но был человек, который привык считать себя необходимым в управлении Российской империею и привык считать себя первым по способностям и опытности: то был оракул Остерман. Бирон не любил Остермана и подставлял ему соперников: то Волынского, то Бестужева-Рюмина, но Остерман продолжал сохранять свое положение. Теперь Бирон в крепости, Бестужев-Рюмин в крепости, но первым министром – Миних, который не будет доволен одним титулом, который во всех делах, и особенно внешних, будет давать чувствовать свое значение первого министра; и действительно, первым его делом было отстранение Остермана от департамента иностранных дел возведением его в звание генерал-адмирала. Наблюдательные иностранцы писали к своим дворам: «Остерман никогда не терпел совместника в главном управлении делами России, а теперь он на месте далеко не на первом и может быть в отчаянии, видя фельдмаршала первым министром. Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчещенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала». Иностранцы предполагали, что Остерман для свержения Миниха решится действовать и в пользу цесаревны Елисаветы. Но для этого Остерману не нужно было так далеко ходить; ему не трудно было свергнуть Миниха и

посредством принцессы-правительницы, и ее мужа. Знаменитый фельдмаршал, покоритель Данцига, Очакова и Хотина, свергнувший регента, не имел ни в ком и ни в чем опоры, был бессильнее Бирона, ибо не был правителем, не имел в руках своих верховной власти, права всем распоряжаться, следовательно, не имел возможности распоряжаться в свою пользу, для своего утверждения и безопасности; правительница назначила его первым министром, правительница могла и лишить его этого звания, и никто не мог ей в том помешать, некому, было заступиться за фельдмаршала. Вся сила Миниха основывалась на расположении к нему Анны Леопольдовны; но какого рода было это расположение?

Это не была сильная привязанность к человеку, отсутствие которого производило бы около нее пустоту, без которого ей тяжело было обойтись; подавить привязанность к такому человеку очень трудно, для этого нужно по крайней мере очень много времени, ибо внушения, делаемые против такого человека, против его достоинства и верности, неприятно раздражают, с такими внушениями подходить опасно; но отношение Анны Леопольдовны к Миниху было совершенно другого рода: она не чувствовала к нему никакого особенного расположения, ей было скучно с ним, как со всяким другим, кроме Юлианы Менгден и еще кого-нибудь; единственное чувство, которое связывало ее с ним, — это было чувство благодарности за освобождение от Бирона; но благодарность — чувство тяжелое, если не поддерживается другими чувствами, если нужно беспрестанно говорить самому себе: «Я должен быть расположен к этому человеку, потому что он оказал мне услугу», тогда как внутреннего влечения к нему нет никакого. На таком-то непрочном основании утверждалось значение и могущество Миниха! Если бы и при этом Анне Леопольдовне постоянно внушали, что она должна держаться Миниха как человека верного и необходимого, то, конечно, она бы и держалась его и с течением времени привыкла к нему; но тут именно близкие люди употребляли все старания, чтоб уверить правительницу в неблагонамеренности и опасных замыслах фельдмаршала, знаменитого честолюбца, который не может быть доволен ничем: а можно ли сохранять благодарность к такому человеку, который все делает только для удовлетворения своему честолюбию и если вчера свергнул одного, то завтра свергнет так же легко другого, чтоб никто не стоял на его дороге? Миних даже опаснее Бирона, потому что даровитее и отважнее его. При таких внушениях без средств и охоты опровергать их медлить можно было только из чувства приличия, из страха, что скажут: человек оказал такую услугу, а ему отплатили неблагодарностью!

Если легко было подкопать хрупкое основание Минихова могущества, то Остерман, которому очень хотелось это сделать, не мог, да и не желал сделать это прямо, один. У него были хорошие помощники, и прежде всего принц Антон. Принц Антон, несмотря на свержение Бирона, был опять недоволен; Миних явно пренебрег им, ведя дело свержения Бирона с Анною Леопольдовою, ее именем, ее провозгласил правительницею, тогда как другие хотели правителем его, принца Антона. Ему дали звание генералиссимуса, но и то не с полным значением: фельдмаршал Миних не хочет признавать своего подчинения генералиссимусу, пишет к нему не так, как подчиненные должны писать к начальникам. Даже в самом указе о назначении принца генералиссимусом Миних включил оскорбительные выражения: хотя фельдмаршал граф Миних за знаменитые

услуги, оказанные им государству, имел право рассчитывать на место генералиссимуса, однако он отказывается от него в пользу герцога Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом первого министра. Принц замечает, что о важных делах фельдмаршал ему не представляет, представляет только о ничтожных. В печальном положении принц прибегает к оракулу: Остерман вполне разделяет его негодование и даже, говорят, первый возбуждает неудовольствие принца.

С Остерманом заодно действует издавна неразрывный с ним обер-гофмаршал Левенвольд. Есть также из русских один, близкий к правительнице человек и родственник, граф Михаил Головкин, который недоволен вице-канцлерством с подчинением Миниху и мечтает управлять всеми внутренними делами.

На беду свою фельдмаршал захворал тотчас после своего торжества: пищеварение совершенно расстроилось, поднялось колотье в боку. Говорили, что причиною болезни было приказание правительницы уменьшить глубокий траур, какой надел Миних по императрице Анне и какой носил бывший регент; говорили, что Миних недолго останется на своем месте, что его никто не любит и какое счастье было бы для России, для Анны Леопольдовны, для него самого и для его семейства, если б он теперь умер. Болезнь Миниха облегчила врагам его возможность действовать, как некогда болезнь оказала ту же услугу врагам Меншикова. В конце декабря иностранные министры уже пишут к дворам своим: «Трое самых главных лиц работают против Миниха: Головкин, Остерман и Левенвольд». Генварь и февраль 1741 года прошли в тех же работах. Каждый вечер принц Антон сидел у Остермана, и тот настаивал, чтоб принц жаловался жене на недостойное обращение с ним фельдмаршала. В генваре 1741 года правительница нашла на своем туалете письмо, написанное как будто за границу; в нем говорилось, как опасно ей полагаться совершенно на одну фамилию, и притом иностранную, вследствие чего состояние природных подданных ее сына не улучшится, хотя и нет более Бирона. С другой стороны, принц приступил с жалобами, и Миних получил указ сноситься с генералиссимусом обо всех делах и писать к нему по установленной форме. Это был тяжелый удар Миниху. Но Остерман готовит и другие удары, и, чтоб сделать их подействительнее, он уже не полагается на других, действует сам. В царствование императрицы Анны он по целым годам не выходил из своей комнаты; а теперь больного очень часто носят к правительнице. Оракул внушает Анне Леопольдовне, что первый министр несведущ в делах иностранных, которыми он, Остерман, управлял в продолжение двадцати лет; что по своей неопытности Миних может вовлечь Россию в большие неприятности; что он, Остерман, был бы очень рад сообщать первому министру все нужные сведения, но болезненное состояние мешает ему ездить к фельдмаршалу. Остерман внушает также, что Миних одинаково несведущ и во внутренних делах империи, потому что всегда был занят только военными делами.

И эти внушения подействовали: 28 генваря 1741 года кабинет-министры получили именной указ: «Так как некоторые из вас кроме присутствия в Кабинете делами других департаментов заняты и не столько времени к беспрестанному в Кабинете присутствию имеют, то рассудилось нам, дабы входящие в наш Кабинет дела вдруг и безостановочно течение свое имели, рассматривать дела по департаментам: 1) первому министру, генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху

ведать все, что касается до всей нашей сухопутной полевой армии, всех иррегулярных войск, артиллерии, фортификации, Кадетского корпуса и Ладожского канала, рапортуя обо всем герцогу Брауншвейг-Люнебургскому; 2) генерал-адмиралу графу Остерману ведать все то, что подлежит до иностранных дел и дворов, также Адмиралтейство и флот; 3) великому канцлеру князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину ведать все то, что касается до внутренних дел по Сенату и Синоду, и о государственных по Камер-коллегии сборах и других доходах, о коммерции, о юстиции. Каждый кабинет-министр рассматривает входящие в его департамент дела, но подлежащие до кабинетского и нашего решения отсылает в подлежащие места с запискою, а по надлежащим до Кабинета мнение свое подписывает и, так ли тому быть, сообщает прочим министрам для соглашения; если же по какому-нибудь департаменту случится такое важное дело, которое требует неотменного общего рассуждения, о таком тотчас учинить общий совет». Принц Антон говорил английскому посланнику Финчу: «Я имел горячие споры с фельдмаршалом. Хотя я много одолжен им в походах, хотя он может быть мне полезен на своем настоящем месте и недавно оказал услугу, однако из того не следует, чтоб ему быть здесь верховным визирем. Если он будет так умерен, что согласится на настоящие распоряжения (указ 28 генваря), то нет намерения делать ему какой-нибудь вред; но если он станет слушаться только неумеренного своего честолюбия и природной жестокости своего нрава, то может своею глупостью навлечь на себя гибель». Миних согласился на разделение департаментов, но от этого положение его не улучшилось. При докладах первого министра правительница казалась затрудненною множеством предметов, отговаривалась неимением времени, призывала на помощь принца Антона. Миних решился прекратить такое невыносимое для него положение дел требованием отставки, причем, как обыкновенно бывает в подобных случаях, надеялся, что испугаются, станут упрашивать и примут все его условия. Сначала правительница действительно была смущена этим требованием и отвечала, что не может обойтись без советов фельдмаршала; но фельдмаршал не довольствовался этим ответом и поставил условием продолжения своей службы, чтоб все было по-старому, как в первые два месяца правления Анны. Об этом надобно было подумать: принц Антон приезжает к графу Головкину с заднего крыльца, сидит с ним целый час, после чего выходит задним же крыльцом и отправляется к Остерману, куда приезжает и граф Головкин. Втроем совещаются они три часа, и вследствие этого совещания на обер-гофмаршала Левенвольда и на сына Миниха возлагается поручение объявить фельдмаршалу, что он получает столь желаемую им отставку. Принцесса Анна так объяснила причины этого решения: «Фельдмаршал неисправим в своем доброжелательстве к Пруссии, хотя я много раз объявляла ему свою решительную волю помочь императрице Марии Терезии; также мало обратил он внимания на внушение, чтоб исполнял приказания моего мужа, как мои собственные; мало того, он поступает вопреки и собственным моим приказаниям, выдает свои приказы, которые противоречат моим. Долее иметь дело с таким человеком – значит рисковать всем».

3 марта 1741 года принцу Антону приносят бумагу: «Указ нашему генералиссимусу: всемилостивейше указали мы нашего первого министра и генерал-фельдмаршала графа фон Миниха, что он сам нас просит за старостию и

что в болезнях находится, и за долговременные нам, и предкам нашим, и государству нашему верные и знатные службы его от военных и статских дел уволить и нашему генералиссимусу учинить о том по сему нашему указу. Именем его императорского величества Анна» Принц Антон на радостях распорядился: на петербургских улицах раздался барабанный бой, и народу торжественно читался указ об отставке первого министра. Миних страшно оскорбился: мало того, что ему объявили отставку, не дождавшись от него письменного прошения, теперь объявили об этом народу при барабанном бое! Анна Леопольдовна, у которой и без того лежал на сердце поступок с человеком, спасшим ее от Бирона и сделавшим правительницей, которая по слабости только уступила настояниям принца Антона, Остермана и Головкина, – Анна Леопольдовна сильно была недовольна распоряжением супруга и послала сказать Миниху, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду. Миних отвечал, что вполне удовлетворен, получивши такие знаки милости от правительницы. Несмотря на то, Сенат должен был отправить к нему троих из своих членов с извинениями.

Говорили, что отставке Миниха много способствовали показания Бирона. Действительно, и Бирон, и Бестужев в ответах своих складывали на Миниха вину избрания Бирона в регенты; кроме того, Бирон старался обвинить Миниха в чем только мог: в нерасположении к родителям императора и в опасных замыслах. Но дело в том, что Бирон начал выставлять с дурной стороны Миниха, когда узнал о падении первого министра. «Что он, Бирон, вступил в дело о правительстве, в том он, Миних, главнейшую имеет винность, ибо он первейше ему о том говорил, и непрестанно просил, и возбуждал, и понеже он, Бирон, всегда с ним в особливом дружелюбии пребывал, того ради инако подумать не мог, что он, Миних, его, Бирона, с таким горячеством к тому делу, которое наилучше выдуманно, присоветовать будет и по тому присоветованию его, Минихову, основание есть к сему худому делу. Сие все и другим много известно, но никто не дерзает все то сказать, что ведает, как ему, Бирону, и самому было, ежели б он, Бирон, сперва, как генерал Ушаков в Шлюссельбурге был, открыл то, что Миних впервые ему о том предлагал, то б он, Бирон, ныне, может быть, и в живых уже не был; он-де того не говорит, что он впервых на то мнение пришел, но он ему впервых предлагал, а слова и дело не одно, но великая в том стоит разность, ибо иной много говорит, а мало исправит, а он, Миних, действительно исправил, что другие говорили».

«Фельдмаршала, – продолжал показывать Бирон, – я за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времен себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россиею недовольна, и французские интриги распространяются и до всех концов света. Посол (Шетарди) инструкцию свою, которую он получил, никому не открывает, а фельдмаршалу он, однако же, сказывал, что он некоторую получил. Его фамилия впервые, сказывали мне, о прожекте принца Голштинского и о величине его, а нрав графа фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию, и притом десперат и весьма интересовав. Також слышал я от него, что Преображенская гвардия ныне его более любит, нежели при жизни блаженной памяти императрицы; також сказывал он мне однажды по кончине императрицы, что он некоторые полевые полки остановить или ближе к Петербургу приступить велел, на которых он надеяться может; а к чему он их употребить хотел, того он мне не сказывал и я его не спрашивал же. А

после того времени принял я в рассуждение, у него первый и люднейший гвардии полк и почти вся армия под командою, а потому ж пришли и вышеобъявленные обстояния: того ради восприял я намерение о сем его императорского величества высоким родителям объявить и мнение свое о фельдмаршале обеим их императорским высочествам я открыл бы, но, понеже его фамилия в милости обращалась, того ради в том отважиться не хотел. О Ханькове я твердо и свято помыслил, что он намерение свое не в пользу его императорского величества или высоких его родителей предвосприять хотел, но чаял я, конечно, и подлинно, что когда б он собрал великое число солдат, то б объявил принца Голштинского, чего ради приказывал я генералу Ушакову, також и Трубецкому наижесточайше экзаменовать, что не имел ли он какого другого намерения.

Еще приходит мне на память, что назад тому года с два принесли ко мне с почтового двора письмо, писанное к ее императорскому величеству блаженной памяти, и как я то письмо ее императорскому величеству вручил, то оное распечатала, и письмо было по-немецки, а ничьею рукою не подписано, а в оном доне сено, что принц Голштинский тайно в греческой религии обучается. Письма мои явно свидетельствовать могут, была ль когда у меня корреспонденция с голштинским двором, кроме того что, когда поздравительные письма к новому году ко мне писаны и я ему благодарствовал. Помнится, что он к императрице писал собственною рукою русское письмо, о котором ее императорское величество мне сказывала, что собственная его рука, и в оном покойный герцог весьма преклонительно ее просил, чтоб приказать ему 100000 рублей дать, ибо находится он в великом недостатке, и желал ее императорскому величеству в войне ее счастья и благословения. Притом просил он, чтоб его уведомить о ее императорского величества мнении, апробует ли она, ежели он намерение восприимлет между сыном своим и принцессою Курляндскою брак предложить; и как ее императорское величество мне оное сказывала, то отвечивал я: «Сие есть удивительный брак, дочь моя по милости вашего императорского величества может и без его сына мужа достать; мне королевского высочества в зятья не надобно, пускай он с богом его женит, где он хочет». Императрица отвечивала: «А мне он думает сим способом 100000 рублей достать», взяла письмо и бросила в камелек в Летнем доме, и говорила: «Вот тебе ответ! Он у Басевича выучился плутовать». Наконец, Бирон старался выставить Миниха эгоистом и неблагодарным, именно таким человеком, с которым, как выражалась правительница, всем рисковать можно. «Поступки его в свете уже известны, – говорил Бирон, – как фельдмаршал Флеминг в убожестве его принял и всякое добро ему делал, а он ему какую мзду воздать хотел! Граф Ягужинский много его защищал, а он его в несчастье привел и старался лишить живота и напоследок сослать в Сибирь; графа Остермана, который его всегда добрым показывал и защищал и верно с ним поступал, старался он десять лет лишить чести, живота и имени; графа Остермана старался он весьма со мною ссорить, токмо то не удалось. Ежели все его, фельдмаршаловы, действия, предвосприятые во время войны, в рассуждение приняты будут, то явно покажется, с осмотрительною ли осторожностью или отчаянием произведены. Когда бы в нем совесть была, то бы он втайне мне присоветовать мог, чтоб сей чин (регентство) сложил, что ему по правде и чинить было должно, для того что он первый мне к тому присоветовал. А что напоследок со мною учинил, и тоне от ревности к его императорскому

величеству или государству, но к тому возбудили и привели его три причины: 1) увидал, что народ был в беспокойстве, и для того хотел себя наперед показать, понеже когда бы дошло до следствия, то бы явно показалось, что он впервые мне предлагал и более в том побуждение чинил; 2) чтоб получить от его императорского величества милость и потом чрезмерную свою амбицию удовлетворить; 3) свою несытность насытить».

По поводу обвинения в намерении ввести в Петербург армейские полки, также взять из гвардейских полков, Преображенского и Семеновского, дворян и распределить их по другим полкам, а в гвардию набрать из мужиков Бирон также указал на Миниха: «О раскасовании гвардии полков и о намерении другими он не говорил, кроме того, что как при жизни ее величества, так и после говаривал он, что лучше в тех полках солдатом быть не из дворян, а дворян производить в офицерство, понеже оные чрез многие годы в солдатстве продолжают без произведения. О других полках, как припомнить он мог, сказывал ему генерал-фельдмаршал неоднократно, что он некоторые полевые полки привел к С.-Петербургу, ибо он на те полки надежен, а для чего он то чинил и в чем на них надежду имел, того не открыл». Наконец, Бирон набросил тень и на сына Минихова, гофмейстера, женатого на Менгден, сестре фаворитки: «Бестужеву о шпионах говорил ли я, что при дворе их императорских высочеств от меня имеются, того не упомяну, только я имел надежду на гофмейстера графа фон Миниха: он мне обо всем, что при дворе ее высочества обо мне или об чем другом новом услышит, за то, что я ему награждение чинить обнаджил, сообщать обещал, ибо ему лучший к тому случай был, что его своячина при ее высочестве в ближайшей милости находится, в чем и надежду на него имел; только он мне ничего не сообщал за краткостью времени до моего несчастья».

Старания Бирона сложить всю вину на Миниха несколько не облегчили его собственной участи. Генералитетская комиссия, состоявшая из восьми членов (графа Чернышева, Хрущова, Лопухина, Бахметева, Новосильцева, Яковлева, Квашнина-Самарина, Соковнина), 8 апреля приговорила казнить бывшего регента смертью, четвертовать и все имение отобрать в казну; но 14 апреля издан был манифест, в котором от имени императора говорилось: «Как мы по природному нашему великодушию и в рассуждении добровольного признания как всегда, так и ныне особливо к милости больше склонны, так указали мы его от смертной казни всемилостивейше освободить, а, напротив того, со всею его фамилиею, також и братьев его обоих, и зятя Бисмарка, которые в вине оскорбления величества явно с ним обще приличились, по отписании всего их имения на нас в вечном заключении содержать, дабы тяжкое оное гонение и наглые обиды, которые верные наши подданные от него претерпели, без всякого взыскания не остались, також всему тому, что нашему государству, и общему покою, и благополучию опасно и вредительно быть может, таким образом вдруг предупреждено было».

Этот любопытный манифест начинается воспоминанием о Годунове, который по искоренении древней фамилии российских царей избран на царство своими советниками и единомышленниками и привел было Россию к совершенному падению, если бы премудрый промысл божий этому не воспрепятствовал. Всякий легко мог понять, к чему клонилась речь о Годунове; но после Годунова поведена речь о двоевластии, бывшем при царе Михаиле, сказано, что народ, боясь прежних коварств, просил его величество принять в помощники и правители отца

своего, патриарха Филарета, которому был дан и титул великого государя, а от этого самого времени Российская империя высочайше процвела и распространилась. Если этим намеком хотели указать, что Россия процветет и распространится в правление матери императора, то намек был неудачен, потому что при царе Михаиле соправителем был отец. Очень может быть, что манифест был составлен Остерманом или по его мысли и нарочно был вставлен намек на необходимость быть правителем отцу императора.

Далее манифест обращается опять к сравнению Бирона с Годуновым и обвиняет герцога Курляндского в невинном пролитии крови и в мучительном заточении многих знатных особ духовного и светского чина, обвиняет в коварствах и интригах, направленных против родителей императора; обвиняет в том, что он, Бирон, «чрез своих креатур различные способы употреблял в Российской империи, яко самовластному государю быть, у нас самодержавную власть вовсе отнять и наших родителей от правления исключить». И здесь говорится о замысле исключить из правления обоих родителей. Потом Бирон обвиняется в получении не по достоинству своему неисчислимого богатства, тогда как в Россию прибыл в «мизерном состоянии».

Бирон был сослан в Пелым, где для него был выстроен дом, как говорят, по рисунку Миниха – знак, что судьба герцога Курляндского была решена уже давно, когда еще Миних был первым министром. Сосланы были его братья, свояк Бисмарк; но вместе с Бироном и Бисмарком арестован был русский человек, вполне преданный регенту, кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Одно из обвинений Бирону было: «Вы Бестужева всегда фаворитом имели и в Кабинет министров ввели с великим презрением и поношением прежних министров». И в обвинениях Бестужеву выставлено искание и получение благосклонности бывшего регента: 1) быв в Копенгагене, с Бироном корреспонденцию имел и во время первого его в С.-Петербург приезда искал он в нем, дабы чрез него получить кавалерию Александра Невского и прибавку жалованья, что и получил. Когда послан паки в Копенгаген, то он, Бирон, произвел его тайным советником и еще обещал произвести в кабинет-министры и отцу его в вине прощение исходатайствовать; 2) по повелению Бирона у датского двора старался, чтоб Бирону титул светлости придан был; 3) после вторичного приезда Бестужева в Петербург Бирон произвел его в кабинет-министры. Потом следуют обвинения в известном уже старании Бестужева доставить Бирону регентство и удержать его за ним. Бестужев вел себя дурно при допросах: сначала обговаривал Бирона, потом, когда Миних перестал быть в силе, начал признаваться, что наговаривал ложно на бывшего регента, желая угодить Миниху и получить посредством него облегчение своей участи; просил помилования для страдания спасителя, для здоровья и благополучия императора и родителей его. Но комиссия 27 января 1741 года определила: Бестужева четвертовать.

Бестужева четвертовать; но в том же самом старании утвердить за Бироном регентство сверженный регент обвинял и других. По его показаниям привлечены были к делу и оказались виновны: фельдмаршал граф Миних, канцлер и кабинет-министр князь Черкасский, генерал Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, адмирал граф Головин, генерал-прокурор князь Трубецкой, обер-маршал граф Левенвольд, тайный советник барон фон Менгден, тайный советник фон Бреверн, генерал-майор Албрехт. 24 апреля им было объявлено прощение;

объявление это оканчивалось так: «Хотя по оным явным обличениям, по силе прав государственных надлежало о таком вредительном нам самим и нашим родителям и спасаемом всей нашей Российской империи деле вконец доследовать, однако ж мы по природному нашему великодушию, из высочайшей нашей имп. величества милости вас во всем том прощаем в том уповании, что впредь по должности своей данной нам присяги верно и истинно поступать будете и к таким бездельным вредительным делам приставать не станете».

Бестужеву-Рюмину также было объявлено прощение, с тем чтоб подробно описал все, как Бирон достиг регентства; но по указу 22 мая он был сослан в отцовскую пошехонскую деревню на житье без выезда, а жене его и детям пожаловано на пропитание 372 души в Белозерском уезде, оставшиеся за раздачею.

Не сочли неблагоприятным, опасным для нового правительства дважды оскорбить главных лиц в государстве, оскорбить обвинением и прощением. Миниха простили вместе с другими; но в манифесте о винах Бирона обнародовано и обвинение человеку, свергнувшему Бирона; в числе вин бывшего регента читали: «Ведаю подлинно, что некоторая знатная персона по своим поступкам еще при жизни нашей государыни-бабки подозрительна была в том: 1) что с таким иностранным двором дружбою собязана, который Россию недоволен; 2) некоторых из россиян, честных, заслуженных людей, в несчастье привел и старался лишить живота и имения; 3) имел (Бирон) из его писем довольное основание, что упомянутая персона к российским честным людям и ко всей нации весьма зол, и о том по самое свое падение молчал и потакал, и, с ним крайнее дружество имея во всех своих делах и начинаниях, на него крепкую надежду полагал».

Бывшего первого министра постарались выставить «персоною, к российским честным людям и ко всей нации весьма злою» и, разумеется, должны были предполагать, что персона будет за это весьма зла. В страхе пред этою злостью не знали, что делать с Минихом, куда его девать. Удалить его в ближайшее ингерманландское поместье – опасно: будет знать обо всем, что делается в Петербурге, и по характеру своему не останется в покое. Назначить ему пребывание в его ливонских владениях? Но он там, окруженный своими, может предпринять что-нибудь в пользу шведов. В украинских? Но и прежде, при императрице Анне, недали ему главного начальства в Малороссии, дали Кейту, боясь, чтоб Миних не поднял козаков. Боялись оставить его в России, боялись выпустить за границу. Были даже внушения, что всего безопаснее сослать Миниха туда, где он не будет знать того, что делается в Петербурге, не будет в состоянии ни поднимать козаков, ни помогать шведам – сослать в Сибирь; и внушениям этим последовали бы, если бы фрейлина Менгден не заступилась за своего родственника. А боялись Миниха сильно: стража во дворце была удвоена; шпионы следили повсюду за фельдмаршалом и доносили о всяком его поступке; принц и принцесса Брауншвейгские каждую ночь меняли спальни до тех пор, пока Миних не перебрался из их соседства на другой берег Невы.

Регент Бирон сослан; Миних уже не первый министр, он и фельдмаршал только по имени, лишился всякого значения; Бестужев сослан. Кто же остался? Остался невредим тот, кого и прежде величали душою Кабинета. Остерман остался незаподозренным; даже и тело Кабинета, князь Алексей Михайлович

Черкасский, подвергся следствию и обвинен, ибо получил прощение в вине; один Остерман вышел чист, безучастен в деле Биронова регентства. Никогда еще Остерман не был так могуществен, как в первое время после падения Миниха. «Можно без преувеличения сказать, – писали послы иностранные, – что Остерман теперь настоящий царь всероссийский; он имеет дело с принцем и принцессою, которые по своим летам и по тому положению, в каком их держали, не могут иметь никакой опытности, никаких сведений». Теперь взглянем, в каком положении находились внутренние и внешние дела в руках первого министра Миниха и великого адмирала Остермана.

Мы видели, что по указу 28 января для отнятия слишком обширной власти у первого министра Кабинет был разделен на три департамента – военный, внешних дел вместе с морским и внутренних дел. По военному департаменту в правление Миниха вышел именной указ 31 января, подтверждающий распоряжение предшествовавшего царствования об отставке военных чинов по выслуге 25 лет, считая от 20. Как сказано в самом указе, он был вызван тем, что распоряжение императрицы Анны не исполнялось, ибо когда по окончании турецкой войны все бросились в отставку, то почли нужным затормозить движение, придумывая различные ограничения и затруднения, как, например, стали требовать, чтоб просящийся в отставку представлял аттестаты от всех полков, где бы ни служил. Поднялся, разумеется, ропот: дали льготу и отнимают, и вышел указ 31 января: «Ныне мы усмотрели, что служащему в полках шляхетству отставка не только таким, кои по выслужении определенных 25 лет, но и тем, которые за ранами и неисцельными болезнями, за совершенною старостью и дряхлостью, имея при себе от полков и генералитета аттестаты, об отпуске просят, почти всем генерально остановилась, а понеже мы, дабы шляхетские дома в экономии не упали, но от времени до времени в добром состоянии находиться могли, имеем прилежное попечение: того ради повелеваем шляхетству от воинской службы отставку чинить в нашей Военной коллегии с таким накрепчайшим притом подтверждением, дабы оная коллегия в той отставке поступала с довольным рассмотрением и свидетельством по аттестатам командующего генералитета, и от полков, и докторским, и лекарским и отставлены были такие, кои за совершенною старостью и дряхлостью и за неисцельными болезнями более полевой и гарнизонной службы снести не могут, такожде и те, кои просить будут об отставке по экономии, по выслужении, считая от рождения двадцати до сего назначенных 25 лет, не взыскивая при том таких затруднительных и почти невозможных аттестатов от всех полков, в коем бы кто ни служил».

Относительно дел внутренних и правительница, подобно своим предшественникам, должна была прежде всего издать популярный, но малодействительный указ против исстари знаменитой *волокиты*. В именном указе, данном Сенату 27 ноября 1740 года, говорилось: «Нам не безызвестно есть, коим образом не только в коллегиях и канцеляриях, но и в самом Сенате по подаваемым от наших верных подданных, а паче от людей бедных и неимущих челобитным не только в определенном сроке, но и чрез долго-прошедшие времена и годы решения не чинятся и те бедные челобитчики, таскаясь за теми своими делами, приходят в крайнее разорение и нищету и напоследок, не получа никакого решения, принуждены некоторые и вовсе от дел своих отставать, что нам слышать не иначе как зело прискорбно». Таким челобитчикам велено подавать просьбы

прямо на имя императора рекетмейстеру Фенину, «и те коллегии, и канцелярии, и самый Сенат, которые таких челобитчиков в указанные сроки не удовлетворяли, имеют быть за нерадение и волокиту штрафованы». Вслед за этим указом при Сенате учреждена была особенная комиссия для решения неоконченных дел. Велено подавать в Кабинет ежедневные рапорты о решенных делах не только в Сенате, как делалось и прежде, но во всех коллегиях и канцеляриях, «дабы мы могли видеть, с какою ревностью и попечением данные нами указы и высочайшая воля исполняются». Но 4 марта 1741 года вдруг вышел именной указ Кабинету: «Указали мы рекетмейстеру Фенину в той должности не быть и челобитчикам свои прошения подавать в тех местах, кому где по прежним указам повелено». Если мы обратим внимание на день выхода указа – 4 марта, а 3 марта дана отставка Миниху, то не можем не прийти к заключению, что позволение подавать жалобы на волокиту канцелярий, коллегий и самого Сената было делом первого министра, с падением которого падало постановление, исчезал и рекетмейстер Фенин.

Прежние указы против нищенства оказывались так же недействительны, как и указы против волокиты в судебных местах, и потому придумали запереться в Петербурге от нищих: в июне 1741 года Сенат приказал нищих обоего пола в С.-Петербург ниоткуда отнюдь не пропускать. Из указа видно, что нищие, приходившие в Петербург, были большею частью помещичьи крестьяне. На северо-западе их не пускали в столицу; на юго-востоке их по-прежнему пускали на Дон и Яик, и оттуда по-прежнему требовало их правительство по жалобам землевладельцев. Но нужно было принять меры против зла, которое делало нищими и горожан – купцов богатых: то было банкротство, и в декабре 1740 года издан был устав о банкротах, в предисловии к которому говорилось: «Известно есть, какие убытки и ущербы от банкротов общему народу, и особливо коммерции, происходят, ибо от тех кредиту ослабление и купечеству остановка чинится; а надежность и имение всякого торгового человека в сомнение приводится и напоследки множество безвинных людей в великие убытки и часто в крайнее разорение и в самую нищету приходят. И понеже весьма нужно, дабы оному вредительному злу всячески предупредить; того ради учинен сей устав, который частью с правами и обыкновениями других государств, в которых негоция расцветает, сходен, частью ж по обстоятельству дела тако потребен».

Относительно промышленности правительство сочло нужным обратить внимание на суконные фабрики, которые поставляли свои произведения на войско, а войсковое начальство подняло сильные жалобы против дурного качества сукон. Без сомнения, по настоянию первого министра в январе 1741 года Кабинету дан был именной указ исследовать, почему на русских фабриках делаются плохие сукна. Составлена была комиссия, которая нашла, что работы на фабриках производятся медленно от недостатка регламентов, как поступать рабочим людям, например, чтоб не по своей воле на работу и с работы ходить. Комиссия нашла, что надобно учредить над фабриками директоров, которыми в настоящее время могло быть двое: суконный фабрикант Степан Болотин да иностранец Шмит; Болотин в молодых годах иностранным языкам научился, в чужие края ездил, а потом занимался купечеством и суконными фабриками. Тут же комиссия представила и регламент суконным и каразейным фабрикам.

В декабре 1740 года правительница восстановила запрещение, «чтоб отныне вновь богатых с золотом и серебром и из других шелковых парчей и штофов дороже от трех до четырех рублей платьев никто из наших подданных (окроме трех первых классов и кто из придворных наших кавалеров сами пожелают) делать и носить не дерзал, яко же благополучное государствование всякого зависит не от чего иного, как от удовольствия и соблюдения от всяких излишностей своих подданных». Но что за смысл в выражении: дороже от трех до четырех рублей?

Еще в 1738 году медицинская канцелярия требовала резолюции послать в Париж молодых лекарей – шесть человек с годовым жалованьем каждому по 300 рублей, «чтоб там в хирургии и анатомии так утвердились, дабы при главных госпиталях в Российском государстве, а именно в С.-Петербурге, Москве и Кронштадте, для обучения подлекарей и лекарских учеников могли употреблены быть; а между тем, пока оные шесть лекарей в Париже выучатся, от оной канцелярии старание приложено будет, как наилучше возможно здешних хирургических школ содержать». Кабинет остановился на вопросе: каких молодых людей пошлет канцелярия в Париж, русских или иноземцев? Потому что иноземцы могут взять русские деньги и не возвратиться; поэтому в Кабинете последовала резолюция такая: «Справиться, молодые лекаря иноземцы или русские посылаются в Париж, и, если иноземцы в России родились и семейство имеют, таких, как природных русских, можно послать, однако взявши с отцов их или родственников подписку, что они возвратятся в Россию». Быть может, вследствие этого затруднительного условия, постановленного Кабинетом, только в 1741 году медицинская канцелярия представила молодых людей, годных для отсылки за границу, и то не более троих, из которых один русский – Ножевщиков, двое других – иноземцы, родившиеся в России, Минау и Цирольд. В инструкции им, между прочим, говорилось: «По приезду их в Париж наведываться им того ж часа о квартире его княжеского сиятельства принца Кантемира, а при отдании поклона предаться им в его защищение и протекцию, а потом отдать им г. профессору Гунольту отправленное к нему писание и в науке их поступать им по его советам и наставлению». Они должны были в продолжение трех лет обучаться анатомии, хирургии, лечению очных болезней, употреблению бандажей и как новорожденных принимать».

В Синоде по смерти Феофана Прокоповича первым членом был Амвросий Юшкевич, епископ Вологодский, и потом архиепископ Новгородский, далеко не могший заменить Феофана ни по способностям, ни по энергии. Все оставалось по-прежнему, хотя Юшкевич был противного Феофану направления. Только падение Бирона подало Синоду надежду на возможность исполнения двух самых сильных желаний. Мы видели меры Петра Великого против наполнения монастырей людьми, шедшими туда не по призванию; мы видели также, что меры эти после не исполнялись: позволяли себе для шутки постригать мальчиков без всякого приготовления; но когда при Анне взял верх Феофан Прокопович, то он, считая меры Петра относительно монашества своими собственными, восстановил их во всей строгости. В декабре 1740 года Синод просил всемилостивейшего указа постригать из разночинцев, уволенных от всех служб, особенно учительных людей, также из крестьян, которые в монастырях к экономическим и прочим исправлениям потребны, иначе монастыри совершенно опустеют и заведенные

училища останутся без учителей. Позволение последовало, но велено притом смотреть, чтоб постригали только в потребном числе, без всякого излишества, для чего посылать в Синод ежегодно рапорты: в том году из каких чинов сколько пострижено и сколько в каком монастыре церковей и монахов, чтоб Синоду можно было видеть, не будет ли где лишних монахов; а вперед Синоду иметь прилежное старание о сочинении порядочного штата всем монастырям, какому числу монахов в каком монастыре быть, что им из доходов употреблять, а остальные доходы употребить на госпитали, на школы, на содержание сирот, показав, какому числу где быть и что следует издерживать на их содержание.

Исполнение одной просьбы подавало надежду, что будет исполнена и другая. Мы видели, что с 1701 года архиерейские и монастырские имения находились в ведении Монастырского приказа, управлявшегося графом Ив. Мусиным-Пушкиным; потом, с учреждением Синода, они перешли в его ведение. В 1727 году все имения были отданы в ведомство архиерейских домовых вотчин и монастырей по принадлежности; но петровское разделение на вотчины, определенные на содержание архиерейских домов и монастырей, и на вотчины, доходы с которых шли на благотворительные учреждения, оставалось, и духовенство платило с последних вотчин денежные и хлебные доходы в коллегию Экономии. В 1740 году граф Платон Мусин-Пушкин подал доношение в Кабинет, что когда имения духовенства были в ведении Монастырского приказа, то архиерейские дома и монастыри были во всяком довольстве, сверх того, доходами с этих имений содержался в Москве большой госпиталь и за всем тем с 701 по 711 год в казне осталось более 1000000 рублей и доимок не было, вследствие чего потребовал, чтоб те вотчины, доходы с которых шли в коллегию Экономии, были и в полном ведомстве этой коллегии, а дома архиерейские и монастыри управляли бы только вотчинами, назначенными на их содержание, что и было исполнено. Теперь Синод представил, что бывший граф Мусин-Пушкин в своем доношении показал ложно, и просил, чтоб вотчины, доходы с которых шли в коллегию Экономии, по-прежнему находились в ведомстве монастырей, которые бы получали из них съестные припасы и пользовались работами крестьян, без чего монастыри содержаться и поддерживать свои строения не могут. И эта просьба была исполнена.

Выгораживая память императрицы Анны и обременяя ответственностью за все при ней сделанное фаворита ее, послали указы о возвращении ссыльных аннинского царствования: освободили из крепости Феофилакты Лопатинского, которого уже считали мертвым. Полумертвого Феофилакты привезли на новгородское подворье, очистили от грязи, в которой держали его в крепости, и Амвросий Юшкевич со слезами на глазах одел его в монашеское и архиерейское платье. Приехала цесаревна Елисавета и спросила Феофилакты, знает ли он ее. «Ты искра Петра Великого», – отвечал тот. Цесаревна отвернулась и заплакала; она оставила ему на лекарство 300 рублей; но лекарство уже не могло помочь: в мае 1741 года Феофилакт умер. Синод потребовал от Тайной канцелярии известия, где другие сосланные при Анне архиереи: Георгий Дашков, Сильвестр, Игнатий, Лев. Получен был ответ, что двое – Сильвестр и Георгий – уже умерли, Игнатий и Лев живы, их освободили из заточения и поместили в монастыре простыми монахами. Маркел Родышевский освобожден был из Тайной канцелярии и отослан в Синод для определения в монастырь. Освобожден из

ссылки Аврамов. Жене казненного фаворита Петра II князя Ивана Долгорукого княгине Наталье Борисовне из отписного имения свекра ее, князя Алексея, дано село Старое Никольское с деревнями в Вологодском уезде. Были пожалованы чинами все пострадавшие в последнее время при Бироне: Яковлев, Пустошкин, Ханыков и другие.

Но эти милости к опальным прежнего времени далеко не могли доставить Анне Леопольдовне такого народного расположения, которое поддержало бы ее колеблющееся правление. Для этого к милости нужно было присоединить твердость, деятельность и разумность, а этих-то качеств и недоставало правительнице. Все ждали, что по свержении Миниха власть перейдет в искусные руки Остермана. Действительно, к Остерману обращались как к первому министру.

В марте 1741 года Кейт писал ему из Глухова: «Я должен признаться, что без помощи генерал-майора Шипова, который хорошо знает канцелярский порядок и объясняет мне все то, что я не могу знать сам, я был бы в большом затруднении на моем месте, не имея возможности узнать о чем-либо от здешних кобачьих асессоров. Я осведомился здесь о поведении Шипова и не слышал на него ни одной жалобы; он не запирается, что берет подарки, т.е. безделицы, необходимые для стола, и я вижу, что давний обычай страны освящает это; но он клянется, что никогда не взял ни копейки денег, хотя ему часто их предлагали. Пред моим отъездом из Петербурга ваше превосходительство сказали мне, что вакантные места не должны быть замещены до тех пор, пока я буду на месте и не спишусь с вами. Я просмотрел лист кандидатов и нашел мало лиц, мне известных, так что мне невозможно представить своего мнения о их способностях. Если бы на место Камынина асессором в главную войсковую канцелярию я мог иметь полковника Ливена, то я уверен, что он был бы полезен. Я поставил своею обязанностью свободно открывать мои мысли вашему превосходительству, ибо вижу в этом единственное средство изучить истинные интересы этой страны относительно России; поэтому я должен вам сказать, что нахожу здесь скрытное нерасположение к русским; малороссияне думают, что дела пошли бы лучше, если бы в комиссии было несколько иностранцев. Я не вижу никакого препятствия удовлетворить этому желанию здешних жителей и потому предлагаю Ливена».

К Остерману обращался и донской атаман Данила Ефремов с такими, например, письмами: «Вашему высокографскому сиятельству неизвестно, каким образом не токмо бригадиры Иван Краснощок, Иван Фролов, яко по заслугам, но и дети Краснощоквы высочайшею его им. в-ства милостию награждены и большими медалями пожалованы, а я, нижайший, как о том уедал, то не мог без соизволения вашего высокографского сиятельства, яко издревле милостивого государя и отца, смелости принять в высшее место прошение взнесть, но токмо нижайше прошу, дабы чрез вашего высокографского сиятельства милостивейшее ходатайство против означенных бригадиров высочайшей милости не был оставлен, в чем отдаю себя во всемилостивейшее ваше покровительство и остаюсь с должнейшим моим рабским почтением, милостивейший государь, вашего высокографского сиятельства всепокорнейший раб».

Но очень скоро люди, бывшие поближе, чем Кейт и Ефремов, увидели, что Остерман не только не царь всероссийский, но даже и не первый министр, что ему

нужно употребить большее усилие, произвести новый, более трудный переворот, чем свержение Бирона и Миниха, чтоб стать таким всемогущим правителем, каким издали его представляли. Анна Леопольдовна сама не могла управлять, ей было скучно заниматься делами; но в то же время она не умела и не хотела найти человека опытнее, способнее других, на которого бы могла сложить все бремя дел, т.е., не производя никаких перемен, сложить все это бремя дел на Кабинет, а в Кабинете по удалении сначала Бестужева, а потом Миниха душою оставался по-прежнему Остерман, а кн. Черкасский – только телом, следовательно, Остерман становился на деле первым министром. Но Анна Леопольдовна, не умея управлять, скучая делами, хотела, однако, управлять, и это желание, естественно, поддерживали в ней приближенные люди, которые хотели управлять, по крайней мере вмешиваться в управление, играть видную роль, пользоваться важным значением. Такими приближенными людьми были фрейлина Менгден и граф Михайла Гаврилович Головкин, которые не любили Остермана, не хотели подчиняться ему. Вполне был предан Остерману, вполне подчинялся его влиянию принц Антон; но это только вредило Остерману во мнении правительницы и ее приближенных, потому что между мужем и женою были нелады. Отсюда естественное желание Остермана поднять значение принца Антона, а это желание только усиливало нерасположение к нему со стороны правительницы и людей к ней близких.

Для лучшего уяснения отношений, господствовавших при тогдашнем дворе, характера лиц и способа их действий приведет следующий рассказ.

У Амвросия Юшкевича сидит гость, действительный статский советник Темирязов; ведется разговор политический. «Остерман, – говорит хозяин, – делает в государстве многие неправды; думаю, что и в нынешней шведской войне он больше виноват; я на него многократно государыне говаривал, только к нему ничто не льнет». Темирязов: «Да и манифест о правлении великой княгини, чаю, он сочинял!» Архиерей: «Он, он! Да и регенту он все помогал, все действия его, только к нему ничто не льнет!» Темирязов: «Смотрите, преосвященный, как он регента сверстал с великою княгинею!» Преосвященный востропнулся, принес манифест: «Ради бога покажи, в которой речи он сверстанье учинил?» Темирязов показал ему, что по смыслу манифеста великая княгиня должна править на том же основании, как правил Бирон. «Поставь против этой речи точки, я малопамятен», – сказал ему архиерей. Темирязов поставил точки. «Хорошо, – продолжал преосвященный, – я пойду к государыне и покажу на него, Остермана, все, что это подлинно все его дело».

Дня через два Темирязов опять приехал к архиерею спрашивать, как идет дело. «Доносил я государыне об этом, – отвечал Амвросий, – она изволила сказать, что подлинно тем обижена, да не только тем, что с регентом ее сверстали и дочерей ее обошли; а про Остермана ничего не изволит говорить, к нему ничего не льнет; он и книгу у нас запечатал, *Камень веры*; я сколькократно на него просил государыню, чтоб ту книгу распечатать, только не мог милости получить, и поднесь книга запечатана, и во всем он все мешает через генералиссимуса, для того и мы ему противны, что он не одного снами закону. Знает ли тебя фрейлина Менгденова, она очень у великой княгини в милости». «Не знает», – отвечал Темирязов. «Ну так ты пойди к ней, – продолжал архиерей, – и про манифест, как сравнена великая княгиня с регентом, скажи, и ту речь покажи, и то ей подкрепи,

что все это – дело Остерманово; может, что она будет великой княгине на него представлять».

Темирязов не знал, как пройти к Менгден: архиерей послал келейника показать ему крыльцо, ведущее к ее спальне. Только что начал Темирязов объяснять фаворитке обиду, нанесенную принцессе Анне в манифесте, о сверстании с Бироном, как та перебила его: «У нас все это есть, мы знаем, постой-ка здесь», и сама ушла. Темирязов догадывался, что она пошла к правительнице. Возвратившись, Менгден начала говорить: «Сходи ты к Михайле Гавриловичу (Головкину), скажи ему, что он по приказу великой княгини написал ли, и буде написал, то бы привез, да и манифест, как сверстана великая княгиня с регентом, покажи, и что он тебе скажет, ты приди сюда и скажи». Темирязов отправился к Головкину; тот взял манифест, посмотрел и сказал: «Мы про это давно ведаем, я государыне об этом доносил обстоятельно; а написано или нет, скажи фрейлине, что я сам завтра буду во дворец».

Темирязов отправился к фрейлине, вошел к ней в спальню смотрит: вместо фаворитки сама правительница. «Что с тобой говорил Михайла Гаврилович?» – спросила Анна. Темирязов пересказал слова Головкина. Принцесса начала опять: «Мне не так досадно, что меня свертали с регентом; досаднее то, что дочерей моих в наследстве обошли; поди ты напиши таким манером, как пишутся манифесты, два: один в такой силе, что буде волею божиею государя не станет и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству; в другом напиши, что ежели таким же образом государя не станет, чтоб наследницею быть мне». Темирязов оцепенел от ужаса. Подыскаться под манифест Остермана он сумел, но самому написать два манифеста, самому вдруг из Темирязова сделаться Остерманом!.. «Чего ты боишься, – продолжала Анна, – ты государю присягал? Присягал также, чтоб у меня быть послушну?» «Присягал», – отвечал Темирязов. Анна была неумолима в своей наивной логике. «А коли присягал, – продолжала она, – то помни присягу и поди сделай и, сделав, отдай фрейлине, только этого не проноси, помни свою голову». С этими грозными словами несчастный Темирязов был отпущен. Что оставалось ему делать? Самому не написать, надобно посоветоваться с каким-нибудь знающим человеком; и вот Темирязов отправляется к секретарю Иностранной коллегии Познякову: так и так, выручи ради бога! «Что же делать, – отвечал Позняков, – не робей, много ныне непорядков происходит, да коли это приказано от правительницы, то сделать надобно». «Сделай ты, напиши», – стал умолять Темирязов. «Добро, – отвечал коллежский искусник, – я напишу и ужю к тебе завезу». Действительно, ночью Позняков явился к приятелю с манифестами; обрадованный Темирязов отвез их немедленно к фрейлине.

Между тем правительница призвала Остермана и спросила его, каким образом случилось, что в утверждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда в России за неимением принцев наследницами бывают? Тонем вопроса правительница давала знать Остерману, что она считает его виновником этого упущения. «Надобно подумать, – продолжала Анна, – как бы это поправить; приходил ко мне Темирязов и объявлял, что об этом и в народе толкуют». На другой день Остерман отправил к правительнице маленькое письмо. «Понеже, – писал он, – то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветовать, а именно с князем Алекс. Мих. Черкасским и архиереем

Новгородским?» Правительница отвечала собственноручно, что кроме этих лиц надобно призвать к совещанию и графа Мих. Гаврил. Головкина, потому что это дело от него происходит. Остерман послал к Головкину звать его к себе. Головкин приехал и, поговоря о деле, объявил, что денька два подумает и пришлет сказать, когда им всем съехаться. Наконец съехались у Остермана Головкин, Черкасский, Амвросий Юшкевич, но события не дали им покончить своих толков.

Мы видели, как народное чувство, оскорбленное господством иностранцев, высказалось тотчас же по смерти императрицы Анны, когда герцог Курляндский объявил себя регентом. Падение Бирона приняли с восторгом; но скоро увидели, что прежний порядок вещей оставался, только ослабел вследствие розни, усобицы его представителей. Как господство немцев было приготовлено усобицею между способными русскими людьми, оставленными Петром Великим, так теперь падение немецкого господства готовится раздором, усобицею между немцами, которые губят друг друга. Бирон свергнут Минихом; под Миниха подкопался Остерман; но Остерман не может господствовать: он встречает нерасположение в правительнице. Русские не любят Остермана как немца, не любят принца Антона за то же, следовательно, тем более должны быть расположены к Анне Леопольдовне и к графу Головкину, ее главному советнику, который уже выставился как противник Остермана. Какое выгодное положение для Анны Леопольдовны, если бы она умела пользоваться им! Но ее умение вести дела всего резче выказалось в сцене с Темирязовым, где она человека, с которым, вероятно, говорила в первый раз в жизни, заставляет писать манифесты, и в одном из них она должна быть объявлена наследницею престола в случае смерти сына. Головкин и его отношения к правительнице и к фрейлине Менгден также резко выказывались в деле Темирязова. Гораздо влиятельнее Головкина была эта фаворитка Менгден; но она была немка; немцы хлопотали, как бы посредством ее сблизить Остермана с правительницею и удалить Головкина. Остерман жаловался Менгдену, что граф Головкин старался его, Остермана, оставить в подозрении у правительницы и просил похлопотать, чтоб принцесса была к нему милостива. Менгден пошел к фрейлине и говорил ей, чтоб склоняла правительницу иметь более доверия к Остерману, чем к Головкину, потому что Остерман в делах больше понимает. От Головкина как человека больного и лишённого энергии не ждали многого; фаворитка, которая могла больше сделать, была немка; и немец Остерман, несмотря на то что к нему не благоволили, имел большую силу: к нему ничто не льнет, жаловался архиепископ Новгородский, не хочет выпускать книги Камень веры, и книга запечатана. Значит, немцы владеют по-прежнему, с тою только разницею, что прежде, при императрице Анне, был порядок, а теперь «много неурядков происходит». Но что всего хуже, будет новый Бирон. В 1735 году саксонский посланник при русском дворе граф Линар по требованию императрицы Анны был отозван своим правительством из Петербурга: причиною было то, что красивый Линар внушил нежное чувство племяннице императрицы Анне Леопольдовне. Теперь Линар является опять в Петербург, и нежные отношения его к правительнице не тайна. Для большего удобства в августе 1741 года Линар объявлен женихом фаворитки Менгден и отправился в Дрезден, чтоб устроить там свои дела, возвратиться в Петербург и вступить в русскую службу в звании обер-камергера. Линар повез с собою 35000 рублей, которые дала ему

невеста для положения в дрезденский банк. Линар уже получил Андреевский орден.

Для русских настоящее ничем не лучше прежнего: немцы так же владеют, только беспорядков много, и готовится уже новый Бирон. Это ожидание нового Бирона в Линаре всего более возмущало; чем слабее было правительство, тем громче высказывалось неудовольствие; даже женщины, которых иностранцы находили в России сдержаннее, чем в других странах, не стеснялись в своих речах. Вместе с русскими сильно возмущался и Остерман, потому что в Линаре ему готовился господин еще более тяжелый, чем Бирон: Линар был искуснее в делах иностранных; притом у него с Остерманом и прежде уже были неприятности, когда Линар в первый раз был в Петербурге. Миних, теперь заклятый враг Остермана, должен, естественно, присоединиться к Линару, с которым ему сблизиться легко чрез жену последнего. Чтоб предотвратить опасность, Остерман решается войти в сношения с Головкиным: он посылает к нему двоих своих родственников по жене, Стрешневых, которые более двух часов толковали с ним запершись. Чего не понимала Анна Леопольдовна, то понимает Остерман: он понимает, что идет сильное народное движение, с которым надобно считаться, и он готов на всевозможные уступки: еще в конце марта, уstraшенный движениями фрейлины Менгден в пользу сверженного Миниха и готовностью правительницы сблизиться с своим прежним первым министром, Остерман хлопочет, как бы отстранить Анну Леопольдовну и передать правление принцу Антону; но он знает нерасположение народа к последнему как немцу, иноверцу и потому ведет дело о принятии принцем православия. Любопытно, что в последние дни императрицы Анны иностранные министры знали о намерении обратить принца Антона в православие. Но понятно, что дело было трудное и потому откладывалось, когда опасность уменьшалась. Таким образом, с обеих сторон, на которые делилось правительство, не принималось быстрых и решительных мер по отсутствию лиц, способных на такие меры, ибо, самый даровитый между людьми, желавшими поддержать престол императора Иоанна, Остерман умел пользоваться обстоятельствами, делом чужих рук, умел ходить подземными, потаенными ходами, но был совершенно неспособен стать в челе решительного движения; единственный человек, способный к этому, Миних, был в опале, мог служить только страшилищем для принца Антона и Остермана и запасным орудием для правительницы и Юлии Менгден в крайнем случае. Войско, гвардия, могшие иметь сильное и решительное влияние при всяком важном событии, при всякой перемене, как показал пример восшествия на престол Екатерины I, восстановления самодержавия при Анне, свержения Бирона, гвардия не была на стороне правительства, которое не имело человека, который бы, с одной стороны, был ему предан, а с другой – пользовался любовью войска.

Такая слабость правительства, такое разъединение сил в нем не обещали прочности престолу Иоанна VI; это чувствовали и свои, и чужие, и последние употребляли всевозможные средства ускорить переворот для собственных целей.

Мы видели, что единовременно с императрицею Анною умерли государь австрийских земель император Карл VI и прусский король Фридрих Вильгельм I. Слабость русского правительства в царствование преемника Анны, внутренние смуты, поглощавшие все внимание, приходились именно в то время, когда в Европе поднималась сильная борьба и Россия не могла остаться ей чуждою, ибо

по отношениям к соседним державам, Швеции, Польше и Турции, у нее определились отношения и к другим европейским державам, а теперь готовился переворот в системе этих держав: владения австрийского дома, союзного России, назначились к разделу, что усиливало Францию, враждебность которой к России была очевидна. Императором Карлом VI прекращалась мужская линия Габсбургского дома: у него была только одна дочь Мария Терезия, выданная замуж за герцога Франца-Стефана Лотарингского, который по Венскому миру променял Лотарингию на Тоскану. Карл VI хотел, чтоб все владения Габсбургов достались нераздельно его дочери, он думал, что дипломатическим путем, путем уступок, обеспечит дочери наследство, склонит все дворы признать его распоряжение, так называемую прагматическую санкцию, но жестоко ошибался: уступками он только выказывал свою слабость и тем приманивал хищников. Принц Евгений Савойский говорил ему, что единственное средство упрочить наследство за Марию Терезию – это держать наготове 180000 войска.

Кто же могли быть эти враги, против которых, по мнению Евгения Савойского, наследница Габсбургов оружием должна была защищать свое достоинство? Разумеется, старый герой имел прежде всего в виду свое прежнее отечество, Францию, известную соперницу Габсбургов. Франция в описываемое время, казалось, возвратила свое прежнее значение, ослабленное в последние годы царствования Людовика XIV; особенно поднял ее Венский мир, блистательно окончивший бесславную для нее войну за польский престол: она выдала партию Лещинского в Польше, выдала Данциг, заставила тестя своего, короля, спасаться бегством, войска ее не ознаменовали себя никаким значительным делом, а между тем Франция приобрела Лотарингию. Конец венчает дело, и, по словам Фридриха II, с Венского мира Франция была решительницею судеб Европы. С войны за испанское наследство опасною соперницею Франции явилась Англия; но скоро можно было усмотреть, что ее влияние на дела континента вовсе не будет такое непосредственное, как влияние Франции. Англия по своему островному положению – отрезанный ломоть от континентальной Европы, – по своей конституции чужда завоевательных стремлений относительно Европы; вся ее деятельность обращена на другую сторону: она распространяет свои владения за океаном, ее господствующий интерес – торговый; она внимательно приглядывается и чутко прислушивается только там, где дело идет о ее торговых и промышленных выгодах, отчего политика ее принимает характер узкости и односторонности; Англия не любит войны, предпринимает ее только в крайности, когда прямо затронут ее господствующий интерес; любит вести войну чужими руками, давать деньги вместо войска и прекращать войну при первой возможности, когда опасность для ее господствующего интереса прошла. Интересы Ганноверской династии втягивали Англию в дела континента, но она сильно упиралась; и политика знаменитого министра двоих первых Георгов, Вальполя, явно обнаруживала основной характер национальной английской политики – стремление ограничиться тесным кругом насущных интересов страны, боязнь пред вмешательством в континентальные отношения, боязнь пред войною.

В конце 1739 года миролюбивая Англия объявила войну Испании, ибо затронут был господствующий интерес ее, интерес торговый. После долгой и упорной войны, бывшей следствием перемены династии и вмешательства чужих

держав во внутренние дела Испании, последняя стала пробуждаться от долгого сна, и средства пробуждающегося народа выказались в преемственной деятельности троих министров – Альберони, Риперды и Патиньо. Морские силы и торговля Испании начали увеличиваться, она готовилась выйти из страдательного положения, в каком до сих пор держали ее иностранцы относительно торговли. Это сильно не понравилось англичанам. «Я замечаю с большим неудовольствием успехи, которые делает Патиньо в своем стремлении усилить испанский флот», – писал английский посланник; он же наивно жаловался своему правительству на злокозненность Патиньо, «который старается отстранить все, что наносит вред Испании». Жалобы посланника находили сильные отголоски в Англии, и миролюбивый Вальполь не был в состоянии сдержать порывы народа, затронутого в своем главном интересе. Пробуждение Испании, ее упорное стремление утвердиться в Италии заставили обратить на неё внимание и рассчитывать на ее участие в войне за австрийское наследство, в которую она должна была вступить, опять имея в виду Италию. Должен был принять участие в войне и король сардинский с целью распространить свои владения на счет австрийских областей в Италии, на счет Милана. Сардинский король Виктор Амедей, по словам Фридриха II, был государем искусным в политике и ясно сознававшим свои интересы; политика Пьемонта состояла в том, чтоб держать равновесие между Австрией и обеими ветвями Бурбонского дома, французскою и испанскою, и этим приобретать средства к распространению своих владений.

Испания будет действовать в Италии; Франция также будет действовать с этой стороны, будет стараться привлечь к себе сардинского короля. Но Франция будет также действовать в Германии, здесь возбуждать против Австрии сильнейших владельцев. Кто же эти сильнейшие владельцы? Во-первых, курфюрст Саксонский, он же и король Польский. Саксония самая богатая страна Германии: она обязана своим богатством плодородию почвы и промышленности жителей; курфюрст получает 6 миллионов талеров ежегодного дохода, у него 24000 войска, но в случае нужды он может иметь еще 8000. Польша доставляла саксонскому курфюрсту королевский титул, но не прибавляла ничего к его силам, а личность курфюрста Августа II (короля Августа III) отнимала у Саксонии возможность играть видную роль. Вот портрет Августа III, хотя и писанный враждебною кистью Фридриха II, однако похожий: «Август был кроток по лени, щедр из тщеславия, без религиозных убеждений подчинялся своему духовнику и без любви преклонялся пред волею жены; кроме этих двух подчинений подчинялся еще любимцу графу Брюлю. Брюль отличался теми тонкостями и хитростями, которые составляют политику мелких владельцев; ни у кого не было больше платья, часов, кружев, сапогов, чулок и туфель. Цезарь отнес бы его к числу тех отлично завитых и раздушенных голов, которых нечего бояться».

Сильным владельцем в Германии считался также курфюрст Баварский. Бавария приносила пять миллионов талеров дохода; Франция платила курфюрсту субсидию в триста тысяч талеров; но курфюрст не мог выставить в поле более 12000 человек.

Но сильнее всех курфюрстов Германии был курфюрст Бранденбургский, носивший титул короля Прусского. В 1740 году народонаселение прусских владений простиралось до трех миллионов, доходы – до семи миллионов с половиною, а число войска – до 76000 человек, из которых почти 26000 были

иностранцы. Несоразмерность войска с количеством народонаселения была очевидна; войско было собрано прусским Калитою, королем-скопидомом Фридрихом Вильгельмом I, который копил войско точно так же, как копил деньги, видя в том и другом главные условия силы; он оставил своему преемнику 8700000 талеров в казне и ни копейки долгу. Накопленные силы требовали употребления, войско и деньги вызывали на войну, на завоевание, на приобретение новых сил. Разумеется, все здесь зависело от личности преемника короля-скопидома: деньги могли быть истрачены на пустые удовольствия; войско могло быть также истрачено или продано, как тогда водилось, могло исчезнуть в бесполезных войнах. Но преемником Фридриха Вильгельма был сын его Фридрих II, едва не казненный отцом за то, что отец с сыном не сошлись характерами. Фридрих II развил свои блестящие способности сильным вниманием к литературному движению XVIII века, развил свои способности посредством этого движения, не подчинившись ему в том, что не было полезно ему в его положении. Фридрих II философствовал, либеральничал себе на уме, писал против Макиавелли и не разбирал средств для достижения своих целей. Он решился воспользоваться вопросом об австрийском наследстве, чтоб употребить накопленные отцом войско и деньги для расширения своих владений. Но он видел, что средств Пруссии недостаточно для ведения успешной войны, и начал искать союзников. Вот его соображения: Франция кроме старинной ненависти к англичанам питала одинаковую вражду и к австрийскому дому; Франция хотела добыть Фландрию и Брабант и довести свои границы до Рейна. Такой план не может быть исполнен вдруг: надобно, чтоб он созрел от времени и чтоб обстоятельства ему благоприятствовали. Таким образом, Франция могла быть верною союзницею в войне против Австрии. Что касается других государств, то Испания и Австрия почти равны силами; но Испания может вести войну только с Португалией или с Австрией в Италии, тогда как Австрия может воевать всюду: у нее больше подданных, чем у короля испанского, и она может посредством интриги присоединить к своим силам силы Германской империи. Но Испания богаче Австрии; последняя, как бы ни обременяла налогами своих подданных, все будет нуждаться в иностранных субсидиях для войны; кроме того, она истощена турецкою войною, обременена долгами. Пруссия не так сильна, как Испания и Австрия, не может меряться с ними один на один, но может занять следующее за ними место. Пруссия может действовать, только опираясь на Францию или на Англию. Можно идти вместе с Франциею, которая всегда желает себе славы и австрийскому дому унижения. От англичан можно вытянуть только субсидии, которые они дадут, имея в виду собственные интересы.

Фридрих не ошибся относительно чувств Франции к австрийскому дому, но ошибся относительно военных средств Франции, которая была уже не прежняя. На ее престоле сидел Людовик XV, который уронил монархическое начало во Франции настолько, насколько оно было поднято знаменитым его предшественником; вместо короля, дряхлого в молодости своей, управлял дряхлый летами кардинал Флёрис, не любивший войны, старавшийся поддерживать значение Франции только средствами дипломатическими. Аристократия французская также одряхлела и не могла выставить ни одного замечательного полководца. Когда 20 октября 1740 года умер император Карл VI, во Франции произошло движение, но движение конвульсивное, которое лучше

всего выразилось в деятельности графа Белиля, вождя воинственной партии. Никакого заранее составленного плана действия не было.

Дочь Карла VI, Мария Терезия, приняла титул королевы Венгерской и Богемской, но курфюрст Баварский Карл предъявил свои права на габсбургское наследство как муж дочери старшего брата Карла VI, бывшего императора Иосифа I. Баварские претензии остались бы претензиями, если бы в Германии не было Фридриха II прусского. Когда другие еще думают и пишут, Фридрих начинает дело. Несмотря на то что Пруссия признала права Марии Терезии, или прагматическую санкцию, прусское войско в конце 1740 года вступило в Силезию под предлогом, чтоб другие претенденты на австрийское наследство не заняли этой провинции; в то же время Фридрих предложил Марии Терезии, что гарантирует прагматическую санкцию и поможет мужу ее, Францу Лотарингскому, получить императорскую корону, если она уступит Пруссии часть Нижней Силезии за 6 миллионов. Предложение было отвергнуто. Мария Терезия обратилась к державам, гарантировавшим прагматическую санкцию: помощи ниоткуда, а между тем пруссаки уже овладели большей частью Силезии. Удержит ли Фридрих свою добычу? Решение этого вопроса зависело от Франции и России. Во Франции Белиль настаивал на необходимости войны: правительство отдаст отчет потомству, если не воспользуется таким благоприятным случаем для окончательного сокрушения австрийского могущества; не нужно много войска, много денег для раздробления австрийских владений, и после этого раздробления в Германии не будет уже ни одного сильного государства, которое было бы опасно для Франции; надобно соединиться с Бавариєю, давнею союзницею Франции, дать курфюрсту Карлу императорскую корону, Богемию, австрийскую Швабию, Тироль, Верхнюю Австрию; Милан отдать второму сыну испанского короля, женатому на дочери Людовика XV; Марии Терезии оставить Венгрию, Нижнюю Австрию и Бельгию (которая, принадлежа к такому слабому и отдаленному государству, может быть всегда легкою добычею Франции). Старик Флёр был против войны, но за войну была, любовница королевская, придворные; дочь короля, жена испанского принца, присылала отцу слезные письма, требуя надела своему мужу в Италии на счет Австрии, – и Людовик XV объявил себя за войну; Флёр уступил.

Но что скажут на другом, противоположном, восточном краю Европы, в России? Фридрих II пред началом своей деятельности сделал смотр всем державам Европы, их средствам, чтоб уяснить себе, против кого можно успешно действовать и где искать помощи. Разумеется, он не мог забыть о России: он подходил с разных сторон к этой новорожденной загадочной империи, всматривался внимательно и заботливо, то успокаивал себя, то вдруг тревожился. Россия, казалось Фридриху в 1740 году, не имела достаточно значения в европейской политике, чтоб дать перевес той стороне, за которую она стояла. Влияние этой новой империи не простиралось далее Швеции и Польши. Петр I, чтоб цивилизовать свой народ, работал над ним как крепкая водка над железом, был и законодателем и основателем обширной империи; он создал людей, солдат, министров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать свой народ и свои удивительные таланты.

«В 1740 году Россия могла выставить в поле без усилия 170000 войска; флот ее состоял из 12 линейных кораблей, 26 кораблей низшего разряда и 40 галер.

Доходы империи простирались до 15 миллионов талеров – сумма умеренная в сравнении с громадным пространством страны; но в России все дешево. Самая необходимая для государей жизненная потребность – солдаты – не стоит здесь и половины того, что тратят на их содержание другие государства Европы. Петр I составил проект, какого не составлял ни один государь до него. Завоеватели стараются только о том, чтоб распространить свои владения, а Петр хотел сократить пространство своего государства, потому что последнее было дурно населено в сравнении с обширностью. Он хотел сосредоточить 12 миллионов жителей, расселенных по империи, между Петербургом, Москвою, Казанью и Украиною, чтоб это пространство было хорошо населено и обработано; остальные же области представляли бы пустыню, превосходную защиту от персиян, турок и татар. Смерть помешала великому человеку привести в исполнение этот план. После несчастий Карла XII и утверждения Августа Саксонского в Польше, после побед Миниха над турками Россия держала в своих руках судьбы Севера; русские были так страшны, что никто не мог ждать успеха в нападении на них, ибо, чтоб достигнуть до них, нужно пройти пустыни и можно было все потерять, если бы даже ограничиться оборонительною войною в случае их нападения. У них в войске множество татар, козаков и калмыков; эти кочевые орды хищников и зажигателей способны опустошить сильные, цветущие провинции, прежде чем регулярное русское войско вступит в них. Для избежания этих опустошений соседи уклоняются от столкновений с Россиею, а русские смотрят на союзы, заключенные ими с другими народами, как на покровительство, которым они удостаивают своих клиентов».

Фридрих как будто предчувствовал удовольствие, какое должны были впоследствии доставить ему татары, козаки и калмыки. Россия миролюбива, обращает внимание только на ближайших соседей; но именно для ближайших целей она определила взгляды свои и на отношения к другим государствам. Так, она держалась австрийского союза по одинаковости интересов относительно Турции и Польши и отвергала союз французский. В интересах России не допускать крайнего ослабления Австрии и преобладания Франции при союзах последней с Турциею и Швециею. Это хорошо понимали в Западной Европе и принимали свои меры: Франция держала наготове Швецию, чтобы при первой надобности спустить ее на Россию и таким образом отвести последнюю от подаяния помощи Австрии; прусский король спешит сблизиться с Россиею, предлагает ей оборонительный союз, зная, что у нее такой же союз с Австрией. Только смерть помешала императрице Анне подписать союзный договор с Пруссиею: враждебные отношения Швеции заставляли искать ближайшего к прибалтийским областям союзника; кроме того, на союзе настаивал Бирон, ибо в союзном договоре Пруссия гарантировала Курляндию. По смерти Анны Бирон – регент; он свержен, но первым министром становится фельдмаршал Миних, который не терпит Австрии за последний мир с Турциею. Миних явно выставляет себя другом Пруссии, требует союза с нею; Остерман представляет необходимость уже по существующим обязательствам охранять Австрию, на которую новый предлагаемый союзник намерен напасть, – и тогда в каком положении найдется Россия? Анна Леопольдовна пишет письмо Фридриху II, говорит о слухах, что прусские войска идут в Силезию, уверяет прусского короля в своей дружбе, но

выражает сильное желание, чтоб Фридрих удержался от возбуждения военного пламени в большей части Европы.

11 декабря его высокографское сиятельство, господин кабинетный первый министр, генерал-фельдмаршал граф фон Миних послал объявить другим членам Кабинета, что он в заключении прусского трактата никакого особенного затруднения не находит, только одно сомнительно: прусским министром сообщено, что король его с войском прямо пошел в Силезию, и поэтому еще надобно посоветоваться сообща, следует ли заключать с ним договор или нет? Вице-канцлер граф Головкин подал мнение, что Россия по существующим обязательствам с венским двором должна его защищать, и потому надобно повременить заключением прусского трактата, пока усмотрится, какое участие морские державы примут в защите Австрии и сама она чем будет отвечать на такое наглое нападение: может быть, венский двор с прусским полюбовно разделается, заплатив некоторую сумму денег? В донесении наших министров при иностранных дворах, особенно при венском, мы усмотрим, надобно ли нам за Австрию вступаться; но при этом не надобно спешить предложением действительной помощи, а дожидаться, будут ли морские державы действительными силами вступаться за венский двор или будут употреблять только добрые услуги. Здешнему министерству надобно принять в рассуждение нынешнюю систему в Европе, как недавно голландцы по смерти цесаря сделали, и, взяв за основание состояние здешнего государства (которое хотя и плохо вследствие тяжких войн, однако ныне случай есть совершенно его поправить), постановить между собою правила, каким образом по здешнему состоянию поступать с другими державами; составивши такой план, легко будет здешнему министерству и говорить с пребывающими здесь иностранными министрами, и содействовать интересам их дворов. Если венский двор станет требовать помощи по союзному договору, то отговариваться, что государство истомлено польскою и турецкою войнами и потому не может подать скорой помощи, а между тем надобно смотреть, что будут делать морские державы. Если прусский министр станет неотступно домогаться заключения союзного договора, то не удобнее ли будет весь этот договор с сепаратными артикулами показать австрийскому резиденту Гогенгольеру, и когда он объявит, что в нем нет ничего противного его двору, то договор и можно будет заключить.

Хотели дожидаться донесений русских министров при иностранных дворах, особенно из Вены. Ланчинский в начале 1741 года доносил о морских державах, что Голландия являет склонность помочь Марии Терезии, но притом желает, чтоб какая-нибудь другая держава прежде нее оказала эту помощь; притом находит трудность, что полки посылать далеко. Английский король показывает себя склоннее прежнего; но так как прошел слух, что с прусской стороны сделаны Марии Терезии выгодные предложения, то английский король прежде всего желает их сообщения; при этом советует полюбовно помириться, но без малейшего нарушения прагматической санкции, иначе какая-нибудь держава откажется от гарантии этой санкции под предлогом, что сама наследница Карла VI нарушила ее и таким образом освободила других от гарантии. У прусского короля в Силезии до 50000 войска да еще ожидается 20000, и потому страна может быть спасена только диверсиею с русской стороны, чего усиленно домогаются в Вене, ибо мирное посредничество России не помогает. Фридрих II, прочтя грамоту

русского министра, только поморщился, но от своих поисков не унялся. Франция молчит в Вене и интригует в Германии, располагает курфюрстами Баварским, Кельнским и Пфальцским, обещает Баварскому провозгласить его швабским королем и добыть ему часть австрийского наследства; курфюрсты Майнцкий и Трирский по слабости ничего не могут сделать, и, таким образом, Франция грозит всемирною бурбонскою монархией.

В Петербурге хотели воспользоваться затруднительным положением Марии Терезии и заставить признать императорский титул русских государей. Но австрийские министры и тут не сдались: государственный секретарь барон Бартенштейн сказал Ланчинскому, что надобно подождать. «Знаете, – сказал он, – сколько явных врагов и тайных недоброжелателей у нас в империи, особенно при предстоящем императорском избрании, самые маловажные обстоятельства толкуют злостно, а за такой поступок стали бы сильно кричать и подняли гонение». Петербургский двор требовал также, чтоб в переписке между обоими Дворами употреблялся не латинский, а немецкий язык, понятный правительнице и мужу ее. На это министры отвечали, что Венгрия есть первенствующее королевство в державе Марии Терезии, а короли венгерские исстари употребляли латинский язык. Ланчинский возражал, что латинский язык принадлежит римским цесарям, а Мария Терезия есть немецкая государыня, и Венгрия принадлежит ей как эрцгерцогине австрийской; но министры упорно стояли при своем, указывая, что французский посол не принял первой известительной грамоты о восшествии Марии Терезии на престол, потому что грамота была не на латинском языке. Министры жаловались: «У нас сильные враги и могущественные друзья; только первые на нас нападают действительно, а дружеская помощь еще далеко, тогда как без нее после двух несчастных, разорительных войн здешнему дому не устоять; один на другого ссылаются: английский король указывает на союз, который надеется заключить с петербургским двором. Итак, единственная надежда остается на Россию, которая должна сделать почин и ободрить приятелей наших».

На эти донесения в Петербурге отвечали: «Целый свет не может довольно надивиться слабому оборонительному состоянию венского двора; надобно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры. Всю тягость войны навалить на союзников невозможно. Королева венгро-богемская – главнейшая интересованная партия: от нее и главнейшие действия ожидаются, которым союзники должны помогать. Такие большею частию ответы получаем от всех дворов, где мы по верному нашему доброжелательству в пользу ее величества стараемся. Вы можете внушать, что ничто другие державы не может так склонить к поданию скорейшей помощи, как прямые и сильные действия с королевской стороны. На жалобы австрийских вельмож, что Россия оставляет их без помощи, можете отвечать, что если кому жаловаться, то нам; но, избегая неприятных объяснений, мы все предаем забвению. О Франции и сумнительных ее поступках мы уже давно с венским двором в конфиденции изъяснились; но жаль, что все наши изъяснения были мало уважены, и следствия этого теперь ясны. Швеция одною Францией против нас двигается; старанием Франции заключен против нас оборонительный союз между Швециею и Турциею; король прусский в надежде на Францию так смело и отважно поступает, ибо Франция одною миною и декларациею могла его удержать; курфюрста Баварского Франция содержит и явно прочит его в императоры, без сомнения желая доставить ему

притом и значительную часть австрийского наследства, ибо без этого императорское достоинство было бы ему тяжело; курфюрстов Кельнского и Пфальцского Франция утверждает в их противных положениях; Англия и Голландия должны смотреть на Францию, боясь от нее нападения, если станут помогать Австрии; сколько Франция помогла в бывших с Портою несогласиях и в нынешнем последнем случае, о том в Вене известно и в том состоят все плоды, которые мы все до сего времени от Франции имеем, и можно видеть, что она теперь ищет во всем свете зажечь военный огонь, а потом уже будет приводить в исполнение свои дальновидные намерения с наибольшею силою и с наименьшею тягостью и опасностью. Хотя жаль, что мы, отдавая сами себя и свои интересы в руки Франции, привели эту державу в такое опасное для нас состояние: однако дело уже сделано, и ничего другого не остается, кроме принятия сильных мер».

Между тем в апреле ожидали в Вене патриарха Пекского и администратора митрополии всего сербского и славянского народа: патриарх должен был приехать на поклон к новой королеве Марии Терезии, и Ланчинский имел указ из Петербурга, чтоб патриарх в своей капелле отслужил благодарственный молебен о здравии императора Иоанна, его родителей и цесаревны Елисаветы Петровны по приложенной печатной форме. Ланчинский доносил, что указ исполнен с большим торжеством: он, посланник, ездил на патриаршую квартиру шестернею; сначала была литургия с достодолжным поминовением по форме, потом сам патриарх, надев богатое облачение и драгоценную митру – дар государей русских, служил молебен с четырьмя архиереями – петервардейским, кроатским и двумя, выехавшими из турецкой Сербии; после молебна председатель патриаршей консистории говорил проповедь, приличную настоящему торжеству. За такой *гонор* Ланчинский угостил патриарха рыбным столом и после обеда проповеднику подарил на весь клир 50 червонных, «и все обошлось к прославлению имени императорского величества».

Когда в том же апреле Ланчинский донес своему двору, что в Вене обрадованы готовностью Англии и Голландии помогать венгерской королеве, то получил ответ: «С сожалением мы видим, что до сего времени все дворы, гарантировавшие прагматическую санкцию ограничиваются одними представлениями прусскому королю, а к самому делу или хотя к надежному уговору и плану важных действий в случае недействительности представлений еще никто не приступает. Все желают, чтоб мы наперед начали действительное нападение на Пруссию, ясно в том намерении, чтоб нас только затянуть, а сами наперед будут смотреть, как наши дела пойдут, и тогда уж станут свои меры принимать. Но таким поведением они будут только дела тянуть, на нас свалили всю тягость, тогда как мы одни достаточную силу для поправления дела употребить не в состоянии: ожидаем ежедневно шведского нападения; следовательно, наше вмешательство в войну повело бы только к тому, что противная сторона с большею силою наступила бы на австрийские земли; и так как тамошний двор не в состоянии обороняться, то отворились бы ворота и другим к нападению на владения Марии Терезии и низложению Австрийского дома, несмотря на наши действия, и потом, соединя свои силы с шведскими, враждебные державы станут действовать и против нас. Мы сами от души сожалеем, что шведские движения, происходящие по французским внушениям и за французские деньги, побуждают нас к сильному вооружению и препятствуют

употребить все наши войска в пользу общего дела. Вы можете о всем этом сообщить в конфиденции при удобном случае, в надежном месте».

На эти конфиденции австрийские министры отвечали печальными минами, пожатием плеч и замечанием, что в Швеции еще не решена война с Россиею. Тогда велено было Ланчинскому изложить подробнее поведение России со смерти императора Карла VI: «Тотчас по смерти цесарской, предусматривая все печальные следствия, какие должно иметь во всей Европе это горестное событие, мы обратились ко всем держарам, заинтересованным в вольности и равновесии Европы, с увещаниям принять заблаговременно нужные и серьезные меры для поддержания прагматической санкции, представляя свою готовность к общему соглашению; а как скоро узнали о намерении прусского короля вступить в Силезию, то, не дожидаясь никакого требования от венского двора, тотчас написали об этом прусскому королю в наисильнейших выражениях и, не довольствуясь этим, всем прочим державам живыми красками представили важность прусского предприятия, склоняя их к наискорейшему соглашению для общего с нами действия. Мы же, сверх того, тотчас сделали распоряжение, чтоб из разбросанного по всему государству войска собран был значительный корпус. Все это было сделано нами, пока еще не открыты были шведские движения, пока еще мы, подобно другим, не могли думать, что Франция намерена привести Швецию в состояние действительно начать с нами войну. Каким образом во всех этих делах со стороны других поступлено: о медленности, о заботливости каждой державы только о своих частных выгодах здесь распространяться не для чего; но верно одно, что от этого Франция получила свободное время и способы привести свои дальновидные и нами давно предусмотренные намерения к такой зрелости, что ныне явно со всех сторон может снять маску. Мы первые почувствовали ее злобу за наше постоянное союзническое усердие к австрийскому дому; мы ежедневно должны ожидать неприятельского нападения со стороны Швеции, которая кроме флота и галер уже придвинула к нашим границам 30000 войска; от этого нападения ничто на свете отвратить ее не может, кроме готовности с нашей стороны встретить ее с превосходными силами. Война должна быть самая серьезная, потому что шведский флот будет усилен французскими кораблями, а сухопутная, армия будет удвоена вследствие решения шведского крестьянского сословия. Напрасно в некоторых местах себя льстят, что эта шведская война еще не так близка: мы здесь, находясь меньше чем в 150 верстах от шведской границы, лучше о том рассуждать можем». Так как Франция показывала явно свое недоброжелательство и к королеве венгерской, то Ланчинский должен был представлять министрам Марии Терезии о необходимости скорейшего примирения с Пруссиею, хотя бы и с пожертвованием чего-нибудь, потому что «при продолжении войны о крепчайшем короля прусского соединении с Швециею сомневаться не надлежит».

Сильно стал домогаться Ланчинский примирения Марии Терезии с Фридрихом II, когда получил из Парижа от Кантемира известие, что сорокатысячное французское войско готово к переходу чрез Рейн для соединения с курфюрстом Баварским и для нападения вместе с ним на Богемию; он представлял австрийским министрам о неотлагаемой нужде привлечь в общий союз короля прусского, который так силен, что великий вес придаст поддерживаемой им стороне; представлял, что надобно спешить этим делом, чтоб

быть в состоянии сопротивляться Франции, Испании и Баварии, которые хотят разгромить австрийский дом. Министры признавали необходимость примирения с Пруссией, но спрашивали, как этого достигнуть, когда Фридрих II так возвысил свои требования, что без отдачи в вечное владение всей Нижней Силезии с Бреславлем не мирится; жаловались на Англию: в Ганновере заключена была конвенция об обновлении прежних договоров; но что ганноверские министры с трудом построили, то английские вдруг разорили; король обещал прислать на помощь королеве 6000 гессен-кассельцев и столько же датчан и не исполнил обещания, а если бы исполнил, то теперь прусского войска уже давно не было бы в Силезии; теперь Англия требует, что для общего блага надобно что-нибудь уступить Фридриху II из Силезии. Польский король не отказывался начать военные действия с определенного в английской конвенции времени; но Англия его удержала, следовательно, то государство, которое должно было подать пример другим союзникам и поручителям, остановило доброе намерение всех; а Франция поднимает войну против королевы под предлогом, что королева вступила в тайные обязательства с Англией. Королева не может исполнить требование Англии, т.е. уступить Фридриху II что-нибудь из Силезии, ибо это было бы противно интересам короля Польского как курфюрста: Саксония стоит коммерциею и мануфактурами, а король Прусский, как скоро получит часть Силезии, тотчас причинит немалый вред саксонской торговле и промышленности.

«Здесьнее смущение велико, – писал Ланчинский, – с горя говорят, что если поручители за прагматическую санкцию оставят королеву без помощи, то принуждена будет разделяться с тою стороною, где будет меньше потери, потому что утопающий и за бритву хватается; потом всякий свою очередь иметь будет, особенно Ганновер, а нам против Пруссии, Франции, Испании и Баварии одним стоять нельзя и ждать, чтоб баварец, вступив в Богемию, короновался там. Министры говорят, что если бы французская война против королевы была так же неверна, как и нападение шведов на Россию, то здешний двор в утеснении своем от прусского короля имел бы отраду».

Двор и министры иностранные находились все это время в Пресбурге. Когда в сентябре Ланчинский известил Марию Терезию, что Швеция объявила войну России, то королева отвечала: «Верю и надеюсь, что бог постыдит неприятеля, несправедливо нападающего». Потом, пожав плечами, продолжала: «Я сама нахожусь в таком же положении и без средств к сопротивлению; на меня нападают со всех сторон, и неприятель уже проник в сердце моих владений и грозит крайнею погибелью, а помощи ниоткуда не ожидаю. Однако у России собрано более 100000 войска, могла бы и мне сколько-нибудь на помощь уделить; шведы все русские силы на сухом пути занять не в состоянии, а действовать морем уже время прошло. Королю Прусскому Нижняя Силезия уже предложена, но недоволен: требует Верхней, и притом хочет оставаться нейтральным. Баварцы уже взяли Линц, Вене грозит осада: я остаюсь здесь, надеюсь на верность моих венгерцев. Буду принимать крайние меры, предавшись на волю божию. Донесите, что я больше всего надеялась и еще надеюсь на близкое родство и союз вашего государя».

Мы видели, что в конце 1740 года в Петербурге хотели подождать и заключением союзного договора с Пруссией, и вспоможением Австрии. Прусский министр Подевилль писал своему королю: «Россия, без сомнения, заступится за

Австрию, сделает диверсию в Пруссию; 40 эскадронов будут ли в состоянии прикрыть страну? не надобно ли прибавить к ним пехоты?» «Piano», – отвечал король: он уже распорядился, чтоб никакой диверсии не было. Фридрих прислал в Петербург хлопотать о союзе родственника Минихова Винтерфельда, подарил жене Миниха перстень в 6000 рублей, сыну 15000 талеров и имение в Бранденбурге; прусская королева прислала Юлии Менгден портрет свой, осыпанный бриллиантами. Но понятно, что враги Миниха, которые под ним подкапывались, обвиняли его в приверженности к Фридриху II, вредной для России и для Европы; это обвинение было очень важно в глазах принца Антона и его жены, которые были за Австрию. Между правительницею и первым министром были сильные столкновения из-за Пруссии и Австрии. «Вы всегда за прусского короля! – сказала с сердцем Анна Леопольдовна Миниху. – Я уверена, что как только мы двинем войска, то прусский король отзовет свои из Силезии». В феврале 1741 года английский посланник Финч имел разговор с принцем Антоном, который сказал ему, что прусский король употребляет в свою пользу сильные средства: предложил правительнице наследство Мекленбуцга после отца и дяди ее, ему, принцу, – Курляндию, но что эти предложения не произвели на них никакого впечатления; но Миних совершенно на стороне Пруссии. Прусский посланник Мардефельд предлагал 100000 крон Геннингеру, бывшему учителю правительницы, думая, что он имеет сильное влияние на ученицу; но тот отказался и тотчас объявил правительнице об этом предложении. Несмотря на то, Миних осилил: союз с Пруссиею был заключен.

От 20 января Бракебль доносил из Берлина, что король изъявил ему свое удовольствие о заключении договора между Россиею и Пруссиею и обнадежил, что если шведы предпримут что-нибудь против России, то он, несмотря на силезскую войну, как верный и истинный союзник, будет помогать России. Относительно Курляндии Фридрих II обещал действовать заодно с Россиею и поддерживать ее требование в Польше и при саксонском дворе; обещал ходатайствовать на имперском сейме, чтоб Священная Римская империя признала другую империю. Всероссийскую, признав за русским государем императорский титул. Но заключение оборонительного союза с Пруссиею ставило русское правительство в затруднительное положение: у него существовал издавна такой же союз с Австриею, на которую напал Фридрих II и которую, следовательно, она должна была защищать от него; Россия должна была делать новому союзнику неприятное для него представление, чтоб он удержался от нападения на другого ее союзника. Браклю послан был 28 февраля рескрипт: «Можете вы его королевскому величеству о нашем истинном высокопочитании к дружбе оного засвидетельствовать и обнадежить, что представления, кои мы ему о наступлении на герцогство Шлезинское учинить необходимо принуждены были, подлинно от верного, сущего и благого сердца произошли и нам ничего радостнее не было б, как чтоб его королевское величество склонным уступлением усильному нашему прошению нас в состояние привести изволил, ему при всех случаях в действе самом показать, коль высоко мы дружбу оного почитаем и коль зело мы в других случаях интересы оного по лучшей возможности поспешествовать склонны будем». В другом циркулярном рескрипте излагались побуждения, заставившие заключить союз с Пруссиею: «Ныне владеющее его королевское величество прусское тотчас по преставлении короля отца своего о возобновлении между

обоими дворами оборонительного союза желание свое объявил и у вселюбезнейшей государыни бабки нашей домогаться велел, на которое возобновление от ее величества со всякою склонностию поступлено и еще при жизни ее совсем на мере поставлено, но за приключившимся вскоре преставлением ее величества совершенно заключено быть не могло. Его королевское величество потом и у нас сие свое желание повторить повелел, и мы на такое возобновление столь вящею готовностью поступили, понеже: 1) весьма непристойно было одной державе, которая нашей дружбы и союза искала, в том в самом начале нашего государствования отказать; 2) сей союз просто оборонительный и никому к предосуждению не касается; 3) собственное наше истинное желание есть с королем прусским и бранденбургским домом ненарушимую добрую дружбу содержать; да сверх того, 4) справедливо уповать имели, что чрез возобновление сего союза при нынешних случаях в Европе генеральный покой еще столь наипаче утвердиться может. И хотя при самом совершении сего дела ведомость получена, коим образом король прусский намерение взял военною рукою в Шлезию вступить, о чем до того времени ни малейшее известие не имелось, однако ж и затем заключение оного остановить тем наипаче не заблагорассудили, понеже сей союз прежним с другими державами нашим обязательствам ни в чем силу не отнимает и мы еще надеяться могли, что наши доброжелательные королю прусскому чинимые представления для отвращения оного от такого дальновидного намерения чрез то тем вяще действительны быть могут, когда его величество усмотрит, что мы в прочем в совершенном добром согласии и соединении с ним быть истинно желаем».

От того ж числа был отправлен Браклю другой рескрипт, в котором говорилось: «О нашем с королем прусским возобновленном трактате мы уведомились, что об оном не токмо разным чужестранным министрам в Берлине открыто, но и многим дворам формальные нотификации о том учинены, и понеже сие сообщение не иначе как вообще и с здешним позволением учиниться надлежит, то мы желали же бы, что с королевско-прусской стороны по тому ж бы поступлено было, тем наипаче, ибо сие возобновление воспоследовало, когда здесь о учиненном вступлении в Шлезию еще никакой ведомости не было и сия с прусской стороны учиненная нотификация всякие непристойные толкования во многих местах произвела, хотя нашего намерения никогда не было чрез сей трактат нашим наперед сего с другими державами имеющим обязательствам наималейший ущерб приключить». Сам Миних не признавал возможным, чтоб Россия отказалась от своих обязательств относительно Австрии; Остерман, со слезами на глазах и вспоминая, что он природный пруссак, уверял прусского посланника Мардефельда, что Фридрих навлечет на себя и на Европу величайшие опасности, если будет настаивать на свои требования относительно Австрии; что русские интересы требуют непременно, чтоб Силезия оставалась за Австриею, и что венгерская королева (Мария Терезия) скорее уступит Нидерланды Франции, чем Силезию Пруссии. Таким образом, союз с двумя враждебными между собою государствами заставлял Россию в Берлине хлопотать, чтоб Фридрих II умерил свои требования, а в Вене, чтоб Мария Терезия уступила что-нибудь прусскому королю. Россия поневоле должна была принимать роль посредницы.

Фридрих II не отвергал посредничества России и Англии в примирении его с Австриею; но на каких условиях он хотел мириться, это видно из письма его к

Миниху от 30 января по поводу заключения союза с Россией: «Прежде я был бессоюзен и действовал, не открываясь никому; теперь у меня есть союзники, и я хочу уведомить их о всех моих намерениях, чтоб действовать с ними заодно». Описав свои успехи в Силезии и выставив, что только одна умеренность воспрепятствовала ему преследовать австрийские войска до самой Вены, Фридрих продолжает: «У меня нет намерения уничтожить австрийский дом, я хочу просто поддержать мои неоспоримые права на часть Силезии. Я надеюсь, что если венский двор обратит внимание на ваши советы и посредничество, то он признает мои права и даст мне возможность употребить в его пользу то самое оружие, которое он принудит меня обратить против него, если не признает моих прав. Вы видите, что я открываю вам свое сердце со всевозможною искренностью. Так я буду поступать всегда в отношении к вам». Миних платил королю такую же искренностью. Мардефельд писал, что Миних просит короля никак не доверять саксонскому двору; что в том же смысле говорил и герцог Брауншвейгский, давая знать, что в Дрездене идет дело о разделе Пруссии. Мардефельд утешал известием, что когда саксонский посланник граф Линар сообщил русскому министерству план раздела Пруссии, то ему отвечали, что это негодный проект, такие бумаги можно только в огонь бросить. Но вслед за тем тот же Мардефельд писал, что посланники австрийский (Ботта), английский (Финч) и саксонский (Линар) представили русскому министерству следующие вопросы: находит ли Россия желательным уничтожение австрийского дома? согласно ли с русскими интересами усиление могущества Пруссии? может ли Россия допустить, чтоб Пруссия покорением Силезии отрезала у нее всякое сообщение с Германиею и пограничными странами? не должно ли противодействовать этому в удобное время и надлежащими силами? не будет ли потому лучшим средством отделить от прусских владений хорошую долю, чтоб поставить Пруссию в уровень с ее соседями? Мардефельд доносил, что Остерман взялся склонить герцога Брауншвейгского к принятию этого предложения и уже курьер готов был отправиться в Дрезден с предписанием русскому посланнику при тамошнем дворе Кейзерлингу приступить к австро-саксонскому плану, но Миних отказался подписать рескрипт Кейзерлингу, грозясь сложить с себя все должности. Вслед за тем Мардефельд доносил о сильных колебаниях при петербургском дворе, о борьбе между Остерманом и Минихом, о возрастающем влиянии австрийского посланника маркиза Ботты; писал, что он отказался от обмена ратификации прусско-русского союза, ибо в русском экземпляре нашел двусмысленные выражения, вследствие чего разгорелась еще большая вражда в Кабинете, кончившаяся тем, что Миних потребовал отставки и получил ее.

Миних потерял место первого министра; Остерман, верный началу политического равновесия, твердит, что необходима осторожность с таким предприимчивым государем, как прусский король, и что малейшее раздробление австрийских владений нанесет удар Европе. Но Остерман занят внутренними делами, непрочностью своего положения, движениями Швеции, а между тем Бракеель явно держит сторону Пруссии, настаивает, что не следует вмешиваться в войну и помогать Австрии, что от невмешательства других держав война скорее прекратится. От 25 апреля Бракеель писал:

«Я совершенно удостоверен, что король прусский поныне еще ни в какие обязательства с Франциею и шведами не вступал и никак на это не решится без

самой крайней нужды; а между тем несомненно и то, что никакими представлениями и переговорами нельзя его склонить к очищению Силезии. Поэтому очень сомнительно, успеют ли силою в своем намерении державы, поручившиеся за прагматическую санкцию, т.е. успеют ли восстановить опять тишину и соблюдут ли целостность австрийских владений без малейшего ущерба. Венгерская королева имеет достаточные силы сравнительно с здешними, а в способах к ведению войны превосходит Пруссию, так что с одним Фридрихом II она может управиться. Пока Австрия и Пруссия одни ведут между собою войну, до тех пор пути к скорому примирению отворены и обе воюющие стороны сами утомиться могут; если же вся Европа приведена будет в движение, то легко произойдет тридцатилетняя война, по окончании которой римляне (католики) будут иметь пользу и удовольствие, потому что протестанты или совершенно искоренят друг друга, или по крайней мере обессилеют». Потом, донося, что Франция предлагает Пруссии 60000 вспомогательного войска, Бракель настаивает, что державы, которым усиление Франции может быть опасно, должны обратить все свои силы только против этой державы. Когда в Петербург стали приходить слухи, что прусский король входит в тесную связь с Швециею, то Бракель писал: «Не могу понять, на чем некоторые иностранные министры, находящиеся в Силезии, основывают свои утверждения, будто прусский король вступил в обязательство с Швециею? По крайней мере надобно великому государю или министерству его верить до тех пор, пока противное их уверениям не окажется беспрекословным; но король сам объявляет, что у него свободные руки, ни в какие обязательства еще не вступил, поэтому не вижу, для чего бы он стал вредить собственному интересу, отнимая у всех возможность верить себе? Если бы венский двор согласился на мир, то здешний двор охотно исполнил бы все обязательства свои против Швеции и Франции и на самом деле опроверг все подозрения».

Из Петербурга писали Браклю: «Прусские представления, как делаемые вам в Берлине, так и здесь, чрез посла Мардефельда, сопровождаются всегда такими внушениями, которые отзываются угрозами; объявляют, что при первом движении с нашей стороны Пруссия будет принуждена употребить другие меры, вступить в союз с другими державами. Мы думаем, что такие угрозы делаются очень не вовремя; всего менее мы могли их заслужить, потому что дружба России была очень полезна бранденбургскому дому: в недавнее время разве не Россия доставила ему Штетин и Померанию, хотя Пруссия ее за это покинула и заключила с Швециею отдельный мир; можно без похвальбы сказать, что Россия немало способствовала нынешней силе и значению королевско-прусского двора и, разумеется, имеет полное право желать взаимности. Здесь поступается с доброю верою, и верностью, и с наилучшим намерением; и хотя мы нынешнего прусского предприятия не одобряем или одобрять не можем и об этом свое мнение королю чистосердечно даем знать, однако наше поведение не заслуживает таких ненавистных угрожительных изъяснений; принятие благонамеренных представлений, кажется, было бы полезнее. Безумный поступок шведского министерства приписывается прусским предложениям, и подлинно известно, что Пруссия всюду делает различные внушения против нас». В Чем же состоял безумный поступок шведского министерства?

1 января Мих. Петр. Бестужев-Рюмин писал из Стокгольма, что ездил видеться с известным приятелем, которого нашел в большом смущении и печали: приятель объявил, что начало сейма не таково, как надеялись; в секретной комиссии, в двух чинах, дворянском и городском, большинство принадлежит противной стороне, и потому надобно стараться получить большинство в городском чине: так как там уже есть на нашей стороне человек шесть, то к ним надобно закупить персон восемь или десять, для чего надобно денег. Бестужев отвечал, что ему, приятелю, известно самому, с какою охотою император принимал все их предложения, не жалел ни труда, ни денег, и теперь он, Бестужев, готов сделать все, что может содействовать достижению известной цели, только бы русские деньги не понапрасну были истрачены, ибо что касается подкупа бюргеров, то бюргеры люди непостоянные, много обещают, и деньги берут от обеих сторон, и только обманывают, как на прошлом сейме случилось: мелкими суммами давать им денег вперед не следует, ибо они деньги возьмут и потом обманут, а надобно обещать каждому, смотря по человеку, известную сумму и накрепко их обнадежить, что, если они при справедливом деле непоколебимо с нами до конца останутся, тогда каждый обещанную сумму получит, а для уверения их показать им такое место, откуда они непременно деньги получат. Приятель согласился, но когда он стал советоваться с своими друзьями, те объявили, что с бюргерами не нужно вступать в дело, потому что в секретной комиссии все они из мелких городов и люди пустые, положиться на них нельзя; но лучше держаться дворянского чина, из которого в комиссии пятнадцать надежных людей, и если к ним закупить еще двенадцать или пятнадцать человек, то большинство будет на нашей стороне.

В Петербурге были недовольны Бестужевым, который сначала представлял дела в более благоприятном виде, чем как они впоследствии оказались. Бестужев объяснял неблагоприятный оборот смертью императрицы Анны, что потревожило друзей России и ободрило противную партию, которая поспешила воспользоваться случаем, разглашая всевозможные лжи. Бестужев писал, что присланные к нему десять тысяч червонных все употреблены и хотя на эти деньги желаемого большинства не получено, однако все же приобретена та выгода, что не допущено до примирения русской партии с противною, чего он, Бестужев, немало опасался, ибо противная партия сильно искала этого примирения при помощи французского посла; сам король как известному приятелю, так и другим друзьям России предлагал о примирении; но деньги и обещания поддержки в будущем не допустили до примирения, что и надобно продолжать, ибо главный русский интерес состоит в том, чтоб в шведском народе было всегда разделение. Король отдался в руки Гилленборгу, хотя и не от чистого сердца, но это все равно, ибо делает по его, а это вредит русским намерениям.

В феврале приятели объявили, что обещаниями ничего нельзя сделать, надобно немедленно употребить деньги для составления большинства в секретной комиссии. Бестужев дал деньги, но секретарь английского посольства объявил, что не даст денег до тех пор, пока при каком-нибудь важном решении большинство не окажется против министерства. Англичанин был прав: русские деньги пропали, потому что в том же феврале секретная комиссия оказалась враждебною России, вследствие чего пошли опять толки о войне и молодые офицеры стали говорить об ней как о деле решенном. Бестужев писал: «Когда здешнее министерство

усмотрит, что Россия решилась помогать королеве венгерской, то вступит с королем прусским во всякие интриги и коварства против России. От шведского короля ни доброго, ни худого ожидать не следует: как бы дела ни пошли, та или другая партия одолеет – ему все равно, лишь бы его величество с известною дамой в покое время свое проводить мог. Дела ныне находятся в кризисе; между обеими партиями разгорелась такая сильная вражда, что в последнем заседании в ригергаузе едва не дошло до кровопролития».

26 февраля в полночь один надежный приятель, первый секретарь канцелярии по иностранным делам барон Гильденштерн, вышел из дома русского посла вместе с мекленбургским концлейратом Кеппенем и вдруг был схвачен пятью людьми, а Кеппен возвратился рассказать Бестужеву об этом событии. Посланника схватила лихорадка и начался лом в ноге при этом известии: схваченный приятель был, по его мнению, человек самый добрый и честный, любимец всей доброй партии, происходил от одной из самых знатных фамилий, находился в родстве с графом Горном. Посланнику было очень чувствительно то, что пресекался источник известий, которым он пользовался в последние три года; схваченному будет поставлено в вину, зачем он при таких обстоятельствах был тайком у русского посланника; другие друзья сильно встревожатся и перестанут водиться с Бестужевым; Кеппен находится в опасности, потому что его считают шпионом русского посланника. У Гильденштерна нашли письмо от старика Горна, в котором тот благодарил его за точную корреспонденцию и давал знать, что все письма его сожжены. Вместе с захватом Гильденштерна произведено было несколько других арестов, которые навели ужас на партию мира. Бестужев писал от 5 марта: «Секретная комиссия вместе с министерством так деспотически поступают, что и в самодержавных государствах такого примера не бывало. Слышу, что несчастный Гильденштерн многих из нашей партии оклеветал; увидим, что дальше будет; только это злое министерство и его клики так жестоко здесь в городе простой народ против России и меня восстановили и озлобили, что сказать нельзя; а я с печали духом и телом болен; подагра возобновилась. Однако ездил я ко двору на обыкновенное собрание и более двух часов пробыл там бодро и смело. Мне дали знать, что на прошлой неделе в секретной комиссии решен вопрос о войне; надобно быть во всякой осторожности и готовности, ибо теперь всякого зла от них ожидать надобно. Друзей наших всегда такое мнение было, что если ни труды, ни деньги, ни терпенье, ни умеренность не помогут, то надобно смирить оружием, отнять Финляндию, что может быть окончено в одну кампанию; жители финляндские так шведским правительством скучают, что с охотою поддадутся России. Замечательно, что посол французский иначе стал теперь поступать, чем прежде, и недаром у противной партии обнаружился такой военный жар. Мои служители едва смеют выходить из дому; надобно опасаться, чтоб и мне самому какого оскорбления не нанесли. Кеппену велено выехать в 24 часа из Стокгольма и в 8 дней из Швеции за то только, что из моего дома вместе с Гильденштерном вышел и у меня беспрестанно бывал. Слышу, будто хотят на меня у вашего величества жалобы приносить, что я канцелярских служителей подкупаю и разделение в народе произвожу. Что касается подкупа, то, если б можно было, я подкупил бы весь их Сенат для интересов вашего величества; относительно же разделения в народе, хотя в девятилетнее мое здесь пребывание я сблизился со многими особами и мог бы ревностные услуги вашему величеству

оказать, если бы дела пошли иначе, но при нынешних обстоятельствах я стал здесь очень непотребен, ибо друзья мои чрез третьего и четвертого человека меня просили не только самому с ними не видаться, но и людей моих к ним не присылать. Я не в состоянии что-либо проведать; уведомляю об одном, чтоб у нас были осторожны. Все важные бумаги мои я передал голландскому министру».

19 марта Бестужев писал: «Так как велено флот экипировать, то ясно, что Франция шведов на то подвинула и денег дать обещала, ибо своими средствами шведы этого делать не в состоянии. Нет никакого сомнения, что Франция тут действует и коварство свое производит, дабы всегда содержать Россию в тревоге и опасении от здешней стороны и не дать ей возможности употребить свои силы в другом месте. Мы надеялись, что английские предложения субсидий произведут какую-нибудь перемену в делах, но вместо того секретарю английского посольства запрещено являться ко двору». 2 апреля Бестужев доносил: «Никакой швед ко мне в дом ходить не смеет, потому я здесь живу в таком положении, как будто Россия со Швециею действительно находилась в войне; бывшие в моей службе шведы меня оставили; простой народ всякими ежедневно вымышляемыми разглашениями возбуждается против России, а если бы кто эти лжи вздумал опровергать, то его сейчас называют изменником или русским, и последнее слово между простыми людьми считается бранным». Наконец, шведское правительство стало отказывать русскому государю в императорском титуле, утверждая, что этот титул давался всем предшественникам Иоанна III лично. Впрочем, апрель, май, половина июня прошли спокойно. Бестужев доносил, что, судя по приготовлениям, Швеция не может сделать против России ничего важного и вообще военные силы ее находятся в плохом состоянии. От 19 июня Бестужев писал: «Из всех здешних дел и поступков можно видеть, что граф Гилленборг хотя бы и хотел со мною объяснить или решить дело об императорском титуле, но не может, потому что все здешние военные движения и приготовления сделаны по побуждению французскому, Франция обещала заплатить за издержки, следовательно, министерство без позволения ее ничего сделать не может; притом же граф Гилленборг обещал войну здешним молодым людям и потому не может склониться на примирение с Россиюю в видах охранения своего кредита и своего положения. Наконец, министерство внушило народу, что Россия из страха пред войною отдаст Швеции по крайней мере Выборг». Бестужев прибавляет, что у шведов есть надежда на какую-то смуту в России. Русский агент Шевиус доносил о слухе между шведами, что в России будет бунт в пользу цесаревны Елисаветы, что фельдмаршал Леси с 60000 войска уже идет из Лифляндии к Петербургу, что к Леси, конечно, пристанет и большая часть гвардии, и тут-то для Швеции настанет желанное время ловить рыбу в мутной воде; говорили, будто цесаревна тайно отправилась из Петербурга в Москву, где будет дожидаться украинской армии и будет объявлена императрицею.

Потом стали говорить, будто шведский уполномоченный во Франции граф Тессин приехал в Швецию вместе с графом Морицом Саксонским, который с принцессою Елисаветою тайно сговорен, будто Елисавета уже в Финляндии, откуда вступит вместе с Морицом в Россию впереди шведской армии, а в России более половины войска на ее стороне. Вспомнили и о старом газетном слухе, пущенном при Анне для объяснения казни Долгоруких: толковали, что жених Елисаветы не Мориц, а Нарышкин, живущий во Франции. Шевиус ходил по

стокгольмским кофейным и слышал там толки молодежи, что мир между Россией и Турцией непрочен; как скоро Швеция объявит России войну, то и Турция сделает то же самое и поляки не утерпят, сядут на коней; Пруссия не поможет России, потому что ее удержит Франция. Шведы боялись одного Миниха, признавая за ним большие военные способности; но и насчет Миниха ходили слухи, что он или умер, или под арестом, или сослан.

3 июля Бестужев дал знать, что «шведская горячность к войне» начала усиливаться. Сейм все еще тянулся; когда депутаты духовного и крестьянского чинов спрашивали, к чему делаются такие издержки на вооружение, то получали в ответ, что военные приготовления Швеции ничего не стоят и Франция Швецию никогда не оставит, что Швеция должна воспользоваться нынешними благоприятными обстоятельствами, и для этого она должна быть вооружена, и вооружается она на чужие деньги. От 21 июля Бестужев уведомил, что 17 числа в Сенате было рассуждение, теперь ли начинать войну с Россией или нет. «Поэтому, – писал Бестужев, – да соизволит ваше величество во всякой готовности и осторожности быть. Если сначала шведам не удастся и они будут побиты, то и война может этим кончиться, ибо всему свету известно, что шведы войны долго выдержать не могут. Мне необходимо выехать отсюда как можно скорее, ибо нельзя ждать каких-либо объяснений и примирения». 28 июля явился к Бестужеву надворный канцлер и объявил, что король с четырьмя государственными чинами усмотрел себя принужденным объявить войну царю российскому. Причины войны в манифесте были объявлены следующие: русский двор во многих случаях мало уважал народные права самые священные; не упоминая об оскорбительных угрозах, он нарушил 7-й параграф Ништадтского мира, вмешиваясь непозволительным образом во внутренние дела королевства для возбуждения смуты и для установления престолонаследия по своей воле вопреки правам чинов. Русский двор постоянно говорил с Швецией языком высокомерным, неприличным между государствами равными и независимыми. Судам в России было именно запрещено удовлетворять справедливым жалобам шведских подданных – распоряжение, которого постыдились бы и варвары; запрещено вывозить хлеб в Швецию, тогда как это запрещение не касалось других народов. Есть столкновения, которые можно устранить путем переговоров, но за оскорбление можно удовлетворить только с оружием в руках: таково оскорбление, нанесенное убийством Синклера.

Русский манифест от имени императора Иоанна был выдан 13 августа; в нем, между прочим, говорилось: «Между неверными и дикими, бога не исповедающими погаными, не только между христианскими державами еще не слышано было, чтоб, не объявляя наперед о причинах недовольства своего или не учиня по последней мере хотя мало основанных жалоб и не требуя о пристойном поправлении оных, войну начать, как то действительно ныне от Швеции чинится». В изданном того же числа указе говорилось, что император, несмотря на вышеупомянутый со шведской стороны несправедливый, богу противный поступок, по великодушию своему повелел: шведским подданным со всем принадлежащим им имением, пока они отсюда и из других мест Российской империи в свое отечество выехать не могут, все милостивейшую протекцию и защиту показать; никто из русских подданных не должен делать им никаких обид, досадительства и вреда.

Главным начальником шведского войска в Финляндии был назначен граф Левенгаупт, сеймовый маршал, самый популярный в это время человек в Швеции. По своим обязанностям на сейме он мог приехать к войску только через четыре недели после объявления войны. В России по депешам Бестужева заблаговременно были приняты меры; так как нельзя было употребить первую военную знаменитость империи, Миниха, то вызвали знаменитейших после него генералов, Леси и Кейта; и первому как фельдмаршалу поручено было главное начальство над финляндским корпусом; другой корпус, менее значительный, был расположен у Красной Горки под начальством принца Гессен-Гомбургского с целью защищать Петербург; положено было также собрать небольшие корпуса в Лифляндии и Эстляндии под начальством генерала Левендаля.

16 августа выехал Леси из Петербурга и 18 прибыл в Выборг, куда вызвал к себе для совещаний генерала Кейта. Осматривали укрепления Выборга и артиллерию; и, назначивши генерал-майора Шипова обер-комендантом, Леси 20 числа отправился к войску, стоявшему в Каннаное. От перебежчика фельдмаршал знал, что шведские силы невелики, состоят из двух корпусов, из которых в каждом не более 4000 человек: один, под начальством генерала Врангеля, находился в трех милях от Вильманштранда, а другой, под начальством генерала Будденброка, – в шести милях от этого города, которого гарнизон не превышал 600 человек. Леси созвал военный совет, на котором положено с частью корпуса идти немедленно к Вильманштранду, взявши с собою только на пять дней провианта. Приблизившись к Вильманштранду, русские 22 числа остановились в деревне Армиле, а вечером подошел к городу шведский отряд, бывший под начальством Врангеля; число шведов, включая вильманштрандский гарнизон, простиралось, по русским известиям, до 5256 человек, по шведским – до 3500; у русских 9900 человек. На другой день Леси двинулся против неприятеля, который занимал очень выгодное положение, под пушками крепости; несмотря на то, русские шли на него прямо «с толь мноюю бодростью и храбростью, как добрым порядком чрез пригорок и долины». Вначале русское войско было встречено шведами с такою свирепостью, что принуждено было податься назад, но Леси остановил напор шведов, велевши коннице наступить на их фланг, после чего шведы были сбиты с возвышений и лишились своих пушек; это так ободрило русских, что они наступили на неприятеля с удвоенным мужеством и покончили трехчасовой бой поражением шведов. Преследуя неприятеля, бежавшего в крепость, русские прорвались до самого контрескарпа, и Леси послал барабанщика требовать сдачи города; но барабанщик был застрелен, и Леси велел жестоко штурмовать город, против которого действовали только что отнятые у шведов пушки. Через час осаждающие были в палисадах, и вслед за тем русские знамена уже развевались на валу. Командовавший шведским корпусом генерал Врангель попался в плен с семьей штаб-офицерами и 1250 рядовыми. Победителям досталось также 13 пушек с запасами, 2000 лошадей, а «те солдаты, которые штурмом в город вошли, равномерное знатное число добычи деньгами золотыми и серебряными, разную серебряною посуду, платьем, провиантом и иными разными вещами получили». Русские потеряли убитыми генерал-майора Уксуля, троих штаб- и одиннадцать обер-офицеров и с небольшим 500 человек рядовых.

Это было единственное значительное дело в кампании 1741 года; победители ограничились мелкою войною; Леси и Кейт возвратились в Петербург, где шли совещания о мерах на случай, если шведский главнокомандующий Левенгаупт предпримет зимою наступательное движение. О состоянии провиантской части в это время может дать нам понятие следующее известие. В октябре 1741 года генерал-прокурор дал Сенату предложение, что по указу Петра Великого велено было учредить в Петербурге и других остзейских местах запасные магазины, кроме того, на полевые и гарнизонные полки заготовлялось к наличному еще на год и восемь месяцев, почему такой нужды, какая теперь состоит в провианте, никогда не было. В 1731 году было положено провианта содержать меньше, как видно, вследствие тогдашнего мирного времени; а так как известно, какая при настоящем военном времени нужда в провианте и фураже, то прав. Сенату предлагается иметь рассуждение, в которых магазинах по скольку надобно держать провианта. По указу Петра Великого велено учредить должность генерального эконома, который должен был везде заботиться о хлебных запасах, чтоб в неурожайные годы народ голоду не терпел, причем взять иностранные уставы и прибавить своего. В указе 1736 года написано: генерал-провиантмейстер должен стараться о заготовлении провианта и фуража на армейские и гарнизонные полки и в запасные магазины и для отвращения казенного убытка заготовлять провиант в магазины у помещиков и крестьян, а не у подрядчиков, смотря по дешевизне, хотя б и лишнее было и нужды в тот год не было; но такого генерал-провиантмейстера и до сих пор нет; при армии генерал-провиантмейстер был, но он исполнял только то, что ему от генерал-кригскомиссара приказывалось; а с ноября 1740 года и никакого генерал-провиантмейстера нет. В сентябре 1740 года генерал-прокурор предлагал Сенату, не лучше ли в магазинах держать рожь, а муки только для внезапных расходов понемногу, ибо солдатам лучше раздавать свежий хлеб, а мука через год или два получает затхлость и горечь, для молотыбы же содержать мельницы и ручные жернова, сверх того можно молоть и на частных мельницах, но и этому предложению до сих пор рассуждения еще не было.

Как скоро Швеция объявила войну, то, разумеется, первым делом русского правительства было обратиться к союзнику, который обязан был помогать России против нападающей державы и давал такие торжественные обещания, что поможет непременно. 16 августа был изготовлен в Петербурге рескрипт Бракелю в Берлин с известием о шведской войне и с указом, чтоб ехал в Силезию к Фридриху II и требовал помощи в силу заключенного недавно оборонительного союза. В постскрипте к этому указу говорилось: «Хотя нельзя надеяться, чтоб король прусский склонился дать нам союзническую помощь, однако мы рассудили ее потребовать на следующих основаниях: 1) если б мы этого не сделали, то король мог принять дело так, что мы от союза наперед отступили; 2) требование наше может некоторым образом способствовать к тому, чтоб Пруссия не вступала в дальнейшие сближения с Швециею; 3) король не может объявить достаточно важной причины к отказу нам в помощи, ибо хотя мы старались отвратить его от силезского предприятия сильными увещаниями, однако против него по сие время не действовали».

По прибытии в Бреславль Бракель прежде всего имел разговор с министром Подевилем о договоре, заключенном между Пруссиею, Франциею и Бавариею против Австрии. Бракель заметил, что, конечно, новое обязательство Пруссии с

Франциею не повредит обязательствам Пруссии с Россиею. Подевильс стал обнадеживать его честью, что в договоре с Франциею ни одним словом не упомянуто о шведах, тем менее непосредственно с ними что-либо заключено. «Я знаю, – говорил Подевильс, – что носятся разные слухи; утверждают, будто наш король шведам деньги дал; но я желаю, чтоб тот талер, который дан шведам, сторел в моей душе. Вы можете смело обнадежить свой двор, что король наш предпочитает дружбу с Россиею всем прочим, будет постоянно и свято ее сохранять и с шведами ни в какой союз без ведома и соизволения России не вступит». 22 октября Бракель имел аудиенцию у Фридриха II в лагере. Король принял его очень милостиво, признал объявление войны шведами насильственным и несправедливым, признал и обязанности свои в силу последнего трактата; но при этом дал знать, что ему нет никакой возможности исполнить эти обязанности при настоящих обстоятельствах, так как он сам вплетен в упорную войну; параграф союзного договора, по которому он обязан был давать помощь, король изменял так, что и Россия освобождалась от обязанности помогать Пруссии, в случае если бы сама находилась в войне с другими державами; наконец, Фридрих велел Бракелю уверить императорское правительство его королевским словом и честью, что он ничего не предпринимал в предосуждение России, с шведами не вступал ни в какие соглашения, намерен оставаться с Россиею в союзе и уверен, что она в состоянии смирить своих врагов и без чужой помощи и потому легко может обойтись без прусского войска. После этого Бракель имел смелость, как выражается, со всяким почтением представлять королю злые следствия союза его с Франциею, которая прежнюю свою систему переменить не может, переменит только предмет ненависти и зависти: до сих пор домогалась она раздробления австрийских владений, и так как она этой цели теперь достигла, Римской империи дала особого цесаря, получила также возможность довести свои границы до Рейна, то не станет смотреть равнодушно на увеличение прусских сил, а будет стараться ослабить их или сама собою, или чрез посаженного ею цесаря. Бракель представлял необходимость скорейшего примирения Пруссии с Австриею и союза между ними против Франции, чему русский двор не откажется содействовать всеми своими силами. Король отвечал, что он против воли должен был вступить в союз с Франциею, и так как теперь французы с большими силами вошли в Германию и стоят недалеко от его собственных земель, то ему нельзя отступить от своих обязательств и подвергнуть свои Клевские и Вестфальские земли мщению французов.

Был еще другой союзник – король польский и курфюрст Саксонский. Относительно Польши первым делом нового правительства по свержении Бирона было поручить Кейзерлингу выведать у короля, какого он мнения насчет дальнейшей судьбы Курляндского герцогства. Кейзерлинг объявил королю, по каким «великим и важным» причинам герцог Курляндский отрешен от регентства Российской империи и что необходимо держать отрешенного регента под постоянным арестом, ибо герцог по беспокойному и запальчивому нраву при получении свободы не замедлит употребить во зло свое знание Российской империи. Король отвечал, что он готов помогать императору при новом избрании курляндского герцога, но советует не спешить, а составить сначала общий план. Потом начали пересчитывать разных принцев, и сам король, догадываясь, за кого

будет хлопотать Россия, предложил как угоднейшего ему кандидата принца Брауншвейг-Бевернского, родного дядю русского императора.

Вторым поручением, возложенным на Кейзерлинга, было осведомиться, чью сторону примет король-курфюрст в открывшейся борьбе на Западе; в Петербурге были получены известия, что Август III сносится с Франциею, хочет получить с ее помощью императорское достоинство, для чего намерен отказаться от польского престола в пользу Станислава Лещинского. Кейзерлинг в начале 1741 года спешил уверить свой двор, что король Август не думает об императорской короне и без соглашения с Россиею не вступит ни в какой союз, как уже он высказался, когда Фридрих II предложил ему свой союз; король желает поддержания прагматической санкции и спокойствия в империи: доказательством служат представления, сделанные прусскому королю, чтоб удержался от вступления в Силезию. Королева венгро-богемская требует 6000 вспомогательного войска на основании договора 1733 года; но король Август уклоняется от исполнения этого требования на основании того же договора, который говорит, что он освобождается от исполнения этого обязательства, если сам принужден будет вести оборонительную войну, а теперь военное пламя загорается подле границ королевских владений и опасность становится день ото дня очевиднее; король по близкому свойству не удаляется от теснейшего союза с Марию Терезиею, но может вступить в такой союз только вместе с Россиею и с условием получить от королевы вознаграждение за военные убытки, причем должен получить в заклад некоторые богемские волости. Донося об этом, Кейзерлинг прибавлял, что в Дрездене питают некоторое недоверие к венскому двору.

В половине марта Кейзерлинг донес, что король готов вступить в обязательство с королевою венгро-богемскою и все это дело предает в руки русского императора и короля английского. Дело о союзе четырех держав – России, Австрии, Саксонии и Англии – двинулось вследствие падения Миниха. Кейзерлинг объявил, что его император готов перенять на себя гарантию о вознаграждении убытков, которое венгро-богемская королева обязана будет сделать королю Польскому, готов приступить и к общим мерам и ждет только плана общих действий, а между тем войска его готовятся к немедленному выступлению в поход.

В марте приехал в Дрезден от русского двора в качестве полномочного посла тайный советник граф фон Сольмс; но Кейзерлинг остался, и оба вместе вели дела. В апреле оба министра уведомили свой двор, что между королем польским и Марию Терезиею заключен договор, по которому первый обязан помогать второй всеми своими силами, как скоро другие союзники двинут свои войска против Пруссии, и продолжать войну до тех пор, пока состоится мир с согласия всех союзников; притом король обязан при избрании императора подать свой голос в пользу мужа Марии Терезии, герцога Франца Лотарингского, и склонять к тому же других курфюрстов. Мария Терезия обещала за это по заключении мира с Пруссиею выплатить саксонскому курфюрстскому дому двенадцать миллионов ефимков в продолжение осьмнадцати лет; завоевания разделить поровну. Прошло четыре месяца, и в половине августа тайный кабинет-министр Брюль объявил Кейзерлингу и Сольмсу в конфиденции, что венский двор разменою ратификаций заключенного договора более четырех месяцев медлил, а в это время

обстоятельства чрезвычайно изменились; английский король дал знать, что договор с Австриею не время уже ратифицировать, а между тем король польский этим договором поставлен в очень неприятное положение: несмотря на то что уговорились содержать его в тайне, он уже известен Франции и Пруссии; наконец, должно прибавить, что королю Августу стоило несколько миллионов привести армию в военное положение, и если бы с самого начала поступили с прямою ревностью и соединением сил, то положение Европы не было бы теперь так опасно и сомнительно, прусского короля удержать было можно, пока он не вступил в соглашение с Франциею и Бавариею. Теперь французское войско уже вступило в германские границы; дворы кельнский, баварский и пфальцский соединились с Франциею, к ним пристали майнцский и трирский, так что теперь нет возможности препятствовать прусскому королю, который объявил, что если еще несколько недель не будет заключено мира, то он потребует всей Силезии. При таких деликатных и сомнительных обстоятельствах короли Польский и Английский не в состоянии что-либо предпринять, тем более что и время прошло соглашаться насчет плана, без которого общие действия союзных дворов не могут быть начаты и продолжены. Об этом уже сообщено в Вену отсюда и из Англии; но венский двор хочет идти своим особенным путем и старается удовлетворить Баварию чрез посредство Франции, чтоб иметь свободу действовать против Пруссии.

Что касается достоинства римского цесаря, то король Польский, если его справедливые требования будут удовлетворены, охотно даст свой голос в пользу герцога Лотарингского и будет стараться удалить баварского курфюрста от императорской короны, ибо при таком возвышении баварского дома саксонский дом будет лишен всякой надежды получить хоть малейшую долю австрийского наследства, на которое король имеет неоспоримое и большее право, чем курфюрст Баварский; уже из выражения, употребленного курфюрстом Баварским, – *можно и королю польскому кой-что уступить* – видно, как мало он обратит внимания на королевские права, когда будет императором. Поэтому здесь, пока еще руки свободны, можно бы принять решение послать тайно во Францию доверенного человека осведомиться у кардинала Флери, что Франция, хлопоча так усердно за баварского курфюрста, намерена дать королю из австрийского наследства. Впрочем, каково бы ни было здесь положение дел, король непоколебимо пребудет в своей дружбе к России и будет также стараться предупредить начинающуюся войну. Есть известие, что король прусский старается возбудить Порту против Польши; верно также, что настоящие шведские движения есть дело Пруссии и Франции: они обе дали шведам денег. Это показывает, чего Россия может надеяться от такого соседа, когда при злостном намерении силы его еще умножатся. Здесь как можно скорее желают знать, какое при настоящих обстоятельствах намерение России, так как столько времени потеряно и ничего полезного не сделано. К этому Брюль прибавил, что так как Европе грозит страшная опасность, грозит генеральная революция, то нельзя ли привести кардинала Флери к мысли о генеральном конгрессе, убедив его, что этим путем можно достигнуть того, чего иначе надобно искать сомнительным путем войны.

Вслед за этим конфиденциальным разговором было получено известие о разрыве между Россиею и Швециею. Кейзерлинг и Сольмс объявили королю, что император готов показать истинность своих союзнических намерений, сколько

допускают обстоятельства шведской войны, и, наоборот, твердо надеется, что и король не откажет в союзнической помощи. Август III отвечал, что никогда не удалится от дружбы с императором и о своих союзнических обязательствах еще очень помнит, но теперь сам находится в страшном беспокойстве и будет принужден искать помощи. Действительно, французский уполномоченный граф Белиль дал знать во Франкфурте, что саксонский двор должен ясно высказаться, чью сторону будет держать; оставить нейтральным его нельзя. С другой стороны, пришло известие, что в Польше коронный гетман затевает конфедерацию.

В конце сентября Кейзерлинг и Сольмс уведомили свой двор, что в воеводстве Бельзском, в округах Хелмском и Галицком уже составились конфедерации под предлогом умножения войска; но, по мнению послов, дело было затеяно не для умножения войска, а по проискам прусским и французским, потому что приверженцы коронного гетмана часто бывают у прусского резидента в Варшаве; русскому резиденту в Варшаве люблинский воевода дал знать, что суммою от 20 до 30 тысяч рублей он надеется удержать армию от конфедерации. Впрочем, в октябре послы сообщили утешительные известия, что старанием воеводы подольского Ржевуского в украинских воеводствах не только не состоялось никаких конфедераций, но воеводства эти протестовали против всех конфедераций, как запрещенных законом и вредных отечеству. Утвердив таким образом тишину в Украине, подольский воевода поехал в Хельм и там успел расстроить конфедерацию. Воеводство Познанское также протестовало против конфедерации; а Ленчицкое воеводство прислало к коронному гетману с запросом: для чего он собрал войско и куда идти намерен? Если против одной из соседних держав, то ему должно быть известно, что республика желает жить со всеми ими в мире; если же для других каких-нибудь целей, то ему также известно, что государственный устав запрещает собирать войско без ведома короля и Речи Посполитой. По мнению Кейзерлинга и Сольмса, такое доброе расположение воеводств было следствием недавнего проезда графа Понятовского чрез Великую Польшу и старания находящихся здесь обоих коронных канцлеров. Видя, что шляхта не хочет конфедерации, коронный гетман упал духом и начал представлять дело так, что он считал своею обязанностью собирать войско, видя повсюду в соседстве военное пламя и слыша об угрозах турецких и татарских. Но Кейзерлинг и Сольмс уверяли свой двор, что гетман действовал по наущениям прусским и шведским. Граф Брюль объявил послам, что меры, принятые королем против беспокойств и конфедераций в Польше, служат доказательством, что его величество не допускает в Польше ничего, что бы могло быть неприятно России; достоверно, что Швеция в последних беспокойствах принимала наибольшее участие, а Франция не могла принимать никакого, ибо странно было бы, чтоб эта держава, стараясь теснее соединиться с саксонским двором, в то же время хотела бы тревожить его в Польше. Брюль объявил и о результатах этого старания Франции насчет теснейшего соединения с Саксонию: заключен союз, говорил он, но, собственно, это не союз, а более приступление к трактату между Франциею, Баварию и Пруссиею относительно раздела австрийских наследных земель. Брюль извинял поведение Саксонии в этом случае тем, что король не упоминал о своих, хотя беспрекословных, правах на австрийское наследство до тех пор, пока не осталось более никакого способа к содержанию прагматической санкции и притом обнаружилась ближайшая опасность его наследственным землям.

Легко понять, что Франция и Швеция употребляли все усилия, чтоб заставить Турцию отвлечь русские силы; но, к счастью для России, туркам было не до Европы, ибо они трепетали за Азию, ожидая с часу на час нашествия грозного шаха Надира. Этот страх турецкого правительства пред Персиею дал возможность Румянцеву сохранить твердость в Константинополе, настаивать, что Азов не будет срыт прежде, чем определено будет место для новых крепостей и освобождены будут все пленные. Подкупленный Миралем, бывший прежде послом в России, давал знать, что твердостью все получить можно от Порты. В июне Румянцев доносил, что шведские посланники имеют частые свидания с министрами Порты, а венецианский посол по секрету сообщил ему, что Франция подкрепляет шведские интриги всем своим кредитом; ее посланник объявил Порте, что король французский дал шведам три миллиона субсидий и что турки должны сделать то же. Но Румянцев замечал, что визирь ласкает шведов только для того, чтоб возбуждать опасения в Петербурге; опасаться нечего, потому что турки заняты персидскими делами. 5 июля у Румянцева была конференция с великим визирем в присутствии *медиатора*, французского посланника графа Кастелляна. Визирь требовал исполнения условия о разорении Азова; Румянцев отвечал, что Азов будет разорен, когда турки отпустят всех русских пленников; визирь настаивал, что в мирном договоре условие об Азове не состоит ни в какой связи с условием об освобождении пленных; Румянцев возражал, что обязательство об Азове точно, но о пленных еще крепче того; следовательно, оба пункта должно исполнить, что все артикулы трактата в равной силе и вместе составляют один корпус трактата, который во всех пунктах равномерно исполнен быть должен. На это медиатор сказал, что хотя справедливо, что каждый трактат состоит из таких статей, которые все должны быть исполнены, однако всегда есть статьи главные, как, например, в настоящем договоре статья об Азове, ибо известно, что и война велась за этот город и весь договор основан на его разорении, следовательно, эту статью надобно исполнить прежде других, и ему кажется, что Россия против этого не может выставить никаких основательных причин.

Румянцев отвечал: «Всему свету известно, что война началась не за Азов, но о прошлом говорить нечего; я не спорю, что для Порты главная статья об Азове, а для России – о пленных, и потому обе статьи должны быть исполнены в одно время; русское требование справедливее турецкого тем более, что Порте давно объявлено: с русской стороны не сделают ничего, если турки не будут исполнять и с своей стороны обязательств». Медиатор заметил, что Россия обязалась разорить Азов в четыре месяца, считая с прошлого мая, тогда как обязательство насчет пленных обоюдное: как у турок находятся русские пленные, так у русских турецкие; причем секретарь французского посольства Пейсонель прибавил, что в России больше турецких пленных, чем в Турции русских. Румянцев отвечал, что число пленных нейдет к делу, важен вопрос, отдаст ли Порта всех пленных, тогда Россия немедленно Азов разорит. «Пусть разорят Азов, пленные сейчас же будут выданы», – говорил визирь. «Между словом и делом большая разница, – возражал Румянцев, – не только в провинциях, но и здесь, в Константинополе, ни одного пленника от турка не взято и жидам указа необъявлено». Конференция кончилась взаимными пререканиями. Румянцев обратился к помощи английского посла, чтоб возбудить сановников Порты против визиря, который, зная положение дел в Европе, хотел им воспользоваться, а французский посланник, естественно,

поддерживал его в этом, не желая скорым окончанием дела обезопасить Россию со стороны Турции. Но главным образом Румянцев надеялся на Персию и считал необходимым выказывать с своей стороны полную твердость и неуступчивость не разорять Азова до тех пор, пока турки исполнят все русские требования и признают императорский титул русского государя. Румянцев уверял свой двор, что от турок не может быть никакой опасности; шведские посланники добиваются субсидий, но, кроме красных слов, ничего не получают.

Но в Петербурге думали иначе, и Румянцев получил указ оканчивать дело как можно скорее, не останавливаясь в крайнем случае ни за сроками исполнения обязательств, ни за предварительным выбором мест к постройке новых крепостей. Румянцев отвечал, что исполнит указ, но прибавил: «Порте столько же, если еще не больше, нужно скорое окончание дел с Россией; хотя визирь по ненависти своей и желал бы всякие каверзы произвести, но султан внутри сераля и народ не хотят слышать ни о каких столкновениях с Россией, а французы с шведами, несмотря на все свои усилия, ничего не сделают». Но делать нечего, надобно было исполнить указ, и 27 августа Румянцев подписал конвенцию, в которой турки признали императорский титул русского государя, а с русской стороны положено немедленное разорение Азова, с обеих же сторон дано накрепчайшее обещание возвратить пленных.

Когда получено было известие о начатии войны между Россией и Швецией, то шведские посланники старались выставить ее с своей стороны оборонительною, чтоб заставить турок по договору подать помощь Швеции; но при Порте хорошо знали, что Швеция начала войну, и потому легко было отговориться от подания помощи, да и подать ее было нельзя войском по персидским отношениям и деньгами по неимению их в казне; но Вильманштрадская победа не понравилась в Константинополе, потому что здесь боялись усиления России. Румянцев писал, что если турки и освободятся от опасности с персидской стороны, то скорее нападут на австрийские владения, границы которых обнажены, ибо при Порте давно толкуют, что Белграду без Банната Темешварского быть нельзя. 28 октября великий визирь пригласил Румянцева на дружеский обед и между разным разговором, заведя речь о шведских делах, вдруг предложил посредничество Турции в примирении воюющих держав. Румянцев отвечал, что не имеет на этот счет никаких высочайших повелений. Румянцев писал к своему двору, что это предложение сделано единственно для того, чтоб отделаться от шведских требований помощи и выиграть время; принимать же турецкое посредничество не соответствует русским интересам, ибо нельзя думать, чтоб Порта вступилась за Швецию и подала ей помощь. Между тем переводчик русского посольства Пини приискал в канцелярии рейс-ефенди приятеля, подъячего, который сообщил «разные штуки», а именно копию с письма шведского министра Гилленборга к визирю и с предложений, поданных шведскими посланниками. Здесь Порту убеждали воспользоваться настоящими обстоятельствами и начать войну с Россией; выставляли, что Швеция объявила войну России в угодность Порте, и обещали не заключать мира до тех пор, пока Турция не получит желаемого ею удовлетворения; требовали, чтоб Турция не только помогла деньгами, но чтоб нынешний же год выслала татар на Россию и дала помощь Орлику для возмущения Запорожья, а о Персии бы не беспокоилась: Швеция помирит ее с

шахом Надиром; кроме того, обещали возбудить против России поляков. По заключении известной конвенции Румянцев выехал из Константинополя, оставив Вешнякова в качестве полномочного посла.

Турки сдерживались персиянами, знаменитым завоевателем Индии шахом Надиром: это заставляло Россию обращать особенное внимание на Персию. В марте отправлен был из Петербурга рескрипт к резиденту при персидском дворе Ивану Калушкину: «Вы должны стараться всеми средствами войти в кредит у шаха и при всяком случае уверять его в нашем истинном намерении жить в дружбе с Персидским государством, а между тем вы должны с крайним прилежанием выведывать о его движениях и намерениях. Отправленный от шаха ко двору нашему посол Магомет Усеин-хан прибыл в Астрахань с 126 человеками свиты и столькими же лошадьми, принят со всяким почтением и довольством в корму; в дорожные приставы дан ему подполковник Эгбрехт с приличным солдатским конвоем; но посол в дороге ведет себя самовольно и сурово, как будто в неприятельской земле, жестоко бьет палками и топорными обухами не только конвойных унтер-офицеров, рядовых и знатных донских старшин, но хотел бить палками и самого подполковника Эгбрехта за то только, что собранные для посла в подводы лошади случились малорослы; подполковник едва спасся от палок, которые уже были принесены к послу. Прежний персидский посол Хулефа, отпущенный из Петербурга, жил долго в Москве, а теперь в Тамбове ждет Усеин-хана и посылает к шаху лживые донесения, поносительные для нашей империи известия. Об этих поступках обоих послов вы должны сделать приличные представления при шаховом дворе, как по тамошнему положению дел наилучше рассудите». Калушкин доносил, что когда в мае месяце по возвращении Надира в Тегеран он был у него на аудиенции и подал две грамоты – одну от императора, а другую от правительницы, то шах взял только первую, а вторую велел держать у себя министру своему Мехтихану. Резидент писал: «Прежде хотя с трудом, однако можно было еще говорить о делах, а теперь так неслыханно возгордились как шах, так и все его министры, что и подступиться нельзя; шах только и говорит, что нет в свете государя, которого бы можно было с ним сравнить, на какое государство оборотит свою саблю, то сейчас же покоряется, причем ругает скверными словами то Великого Могола, то султана турецкого, не обходя их жен и детей, причем не говорит, а кричит во все горло. Подражая государю, министры и придворные, набранные вновь из последней подлости, ни с кем говорить не хотят. На твердость шахову к русской стороне вовсе положиться не смею; враждебные замыслы у него на нас уже были и теперь тайно продолжают; недавно приезжали к нему в лагерь депутаты: трое киргизов и четверо тухменцев, русские подданные, кочующие вместе с калмыками между Астраханью и Кизляром; именем всех аулов они объявили, что желают быть в службе шаха, не требуя от него ни оружия, ни лошадей, а только жалованья; обещали притом, что уговорят к тому же и калмыков. Надир принял их ласково, велел дать каждому по 200 рублей и отпустил с тем, чтоб они слово свое твердо держали и были готовы, когда дело до них дойдет. Что касается шаха, то слабый мой ум всех неслыханных его затей понять не может: 28 мая призваны были к нему армянские архиереи, католический епископ с патерами, жиды и муллы, которые евангелие и талмуд на персидский язык переводили. Когда один из армянских архиереев объявил шаху, что они окончили перевод св. писания, то шах

сказал: „Вы совершили богоугодное дело, за что будете нами пожалованы. Вы видите, что всевышний нам даровал величество, власть и славу и в сердце наше вселил желание рассмотреть различие столь многих законов и, выбрав из всех них, сделать новую веру такую, чтоб богу угодна была и мы бы оттого спасение получили; для чего столько на свете разных религий и всякий своею дорогою идет, а не одною; если бог один, то и религия должна быть одна?“

«Шах, – писал резидент, – одержим постоянно неутолимым гневом, едва не каждый день казнит и ослепляет по несколько знатных управителей. Недавно ширазские старшины подали просьбу, чтоб шах определил к ним прежнего губернатора. Надир так на них за это рассердился, что велел привести их пред себя и пять человек задавил; потом опомнился и спросил, какое их преступление. Когда ему объяснили, в чем состоит их просьба, то он велел прогнать их от себя палками». Новый Навуходоносор обезумел от своих успехов. «Стоило мне, – говорил он, – лягнуть одною ногою, и вся Индия рушилась с престолом Великого Могола, следовательно, если обеими ногами лягну, то весь свет в пепел обращу. Между всеми нашими неусыпными трудами мы заботимся и о спасении души; мы не можем послушаться вдохновения божия и не дать всем такой веры, которая была бы приятна и мусульманам, и христианам».

Калушкин не переставал остерегать свой двор насчет враждебных намерений Надира. Резидент следовал за шахом в поход против лезгинцев больной, претерпевал крайнюю нужду. Однажды в августе месяце, разговаривая с афганским предводителем, Надир вдруг стал Кричать: «Персия скверная, достойна ли ты такого великого государя иметь? Един бог на небе, а мы единый государь на земле, ибо ни один монарх на свете о нас без внутреннего страха слышать не может. Если бы теперь саблю нашу на Россию обратили, то легко бы могли завоевать это государство; но оставляем его в покое по той причине, что нам от этого завоевания пользы не будет: во всей России больше казны расходуется, чем собирается, о чем я подлинно знаю; следовательно, надобно такого государства искать, где бы нам была прибыль». Калушкин был тем более раздражен этою выходкою, что питал глубокое презрение к персидскому войску, составленному из всякой сволочи, не имевшей никакого понятия о военном деле. Слух о движении русских полков к Кизляру заставил Надира приутихнуть; точно так же остыла у него охота к войне с турками, когда последние приняли меры для защиты границ своих. Поход Надира в Дагестан кончился неудачно: горцы успешно защищались в своих неприступных убежищах, и шах с большим уроном должен был поспешно отступить от Аварских гор, плача от досады, произнося хулы на бога. Безвременно ночью иногда по два и по три раза выходил он из женских шатров в переднюю палатку и сидел часа по два: тут, кто б ему ни пришел на память, приказывал звать к себе и казнить; кричал, что счастье начинает от него отступать и потому произведет последний опыт: или сам пропадет и все свое войско погубит, или добьется того, что весь Дагестан обратит в пепел, велел собрать вдруг девять миллионов рублей денег и 25000 войска; наконец, Надир призвал к себе индейского волшебника, чтоб тот предсказывал ему будущее. По этому поводу Калушкин писал: «Напрасно он столько труда принимает, потому что и без волшебства знать можно, что он скорее все свое войско растеряет и сам пропадет, нежели лезгинцев покорит».

На шаха Надира России можно было так же полагаться, как на Фридриха II: отношения были одинакие к обоим завоевателям, и восточному, и западному; но персидский шах по крайней мере сдерживал турок, а прусский король, несмотря на союзный договор, никого не сдерживал. Но оставался еще союзник, король датский.

Весною 1741 года на осведомление русского посланника Корфа датское министерство отвечало, что если шведы начнут неприятельские действия против России, то король не преминет исполнить свои союзнические обязательства, впрочем, надобно надеяться, что до такой крайности не дойдет. Министр фон Шулин основывал свои надежды преимущественно на том, что у шведов нет денег и не знает он в Европе такой казны, которая была бы к их услугам; делают же вооружения шведы в угоду некоторым державам, чтоб удержать Россию от подания помощи венгерской королеве. Когда же дело доходило до подробнейших изъяснений о помощи, то Шулин отвечал, что Дания по своим обязательствам и с Швециею не может ничего начать, прежде чем шведы действительно нападут на Россию и прежде чем истекут от этого времени назначенные в договоре три Месяца. Из этих слов Корф заключал, что фон Шулин не столько старается о сохранении тишины на севере, сколько хочет показать свое усердие французскому двору, и если Швеция объявит войну России, то к этому понудит ее поведение Дании. Шулин уверял Корфа, что датский министр при шведском дворе делает последнему уже четвертое представление против движения войск в Финляндии, а Бестужев из Стокгольма уверял, что никаких представлений небыло сделано. «Я опасаюсь, – писал Корф в июле, – что здешний двор будет отрицаться от исполнения договоров. Угодничество французскому двору и зависть к России с некоторого времени довольно вышли наружу и нет сомнения, что при случае окажутся наделе».

В августе, когда Швеция объявила России войну и русские посланники Корф и Чернышев потребовали исполнения союзных обязательств, то им отвечали, что король отправил к своему министру в Стокгольм инструкцию, чтоб он самым настойчивым образом предложил со стороны Дании добрые услуги для восстановления мира, и если шведы отклонят эти предложения, то король обнадеживает по прошествии назначенного срока подать действительную помощь России, к чему теперь, особенно для вооружения флота, время уже прошло и надобно ограничиться одними переговорами. В конце сентября посланники доносили, что датский двор хотя не будет явно помогать шведам, но нимало не склонен также выполнять и союзнические обязательства с Россиею. Для приличия тянули время, представляя русским посланникам, что ведутся переговоры с Швециею и в случае неудачного исхода их король непременно даст помощь России, если в Германии между тем не произойдет ничего особенного, ибо французы, по последним известиям, намерены расположиться до ольденбургских границ, а Флёр и Белиль публично сказали, что отыщутся способы для удержания датского короля от подания помощи России против Швеции. Если так пойдут дела, то Дания не в состоянии сопротивляться сильной Франции, пред которою все преклоняются. Когда в начале ноября русские министры представили, что определенный в договоре срок, именно три месяца по объявлении войны, уже прошел и Дания по букве трактата обязана дать помощь, то Шулин отвечал, что Швеция господствует на Балтийском море, а французы

находятся у границ ольденбургских, и помощь Дании, т.е. присылка эскадры, зависит от того, будет ли Англия помогать России. Русское правительство должно откровенно объявить датскому, как условлено у России с Англиею: если британская эскадра явится весною на Балтийском море, то, быть может, приняты будут меры соединить с нею и здешнюю эскадру; в противном случае не видится возможности провести здешние корабли: они непременно попадутся в шведские руки, отчего Дания потерпит вред, а Россия ничего не выигрывает.

Старые союзники отказывались помогать, но была в Европе держава, которая более других толковала о необходимости поддержать политическое равновесие, не дать Франции самой и посредством других раздробить австрийские владения, то была Англия, интересы которой были совершенно одинаковы с интересами России; между этими державами, естественно, должен был образоваться крепкий союз.

В Лондоне князь Иван Щербатов объявил, что его двор намерен поддерживать прагматическую санкцию и в этом поступать согласно с королем английским. Министры Георга II отвечали, что и английский король желает того же самого, но как начать поддержку прагматической санкции, насчет этого ожидается изъяснение от русского двора, потому что никто из соседей не осмелится подняться против прусского короля прежде России. В парламенте члены обеих партий единогласно говорили, что надобно поддерживать прагматическую санкцию, а как поступить, время научит. Щербатов доносил, что король и все министры спрашивали его ежечасно о дальнейших решениях России. Министр Марии Терезии в Лондоне граф Остейн сказал Щербатову по секрету, что, по его мнению, Роберт Вальполь вбил королю в голову, что венский двор не может собрать войско для сопротивления прусскому королю. Роберт Вальполь говорил ему, Остейну, чтоб Мария Терезия подумала, как бы лучше сговориться с прусским королем, потому что опасно начать неприятельские действия и неизвестно, как Россия намерена поступить, а французский король начинает иметь соглашение с прусским. После этих слов Остейн потребовал аудиенции у короля, чтоб узнать ясно, будет ли Англия действительно помогать венскому двору. По мнению Щербатова, Остейн напрасно горячился: Вальполь не желает новой войны, рад был бы прекратить и старую, притом же у него новые хлопоты: противная партия в парламенте намерена представить адрес королю об удалении Вальполя от всех должностей. На аудиенции у короля Остейн настаивал, как нужно подать Марии Терезии скорую помощь, ибо поддержание Австрийской монархии в целом объеме необходимо для всей Европы; если не отнята будет сила у короля Прусского, то он со временем и к другим соседям визит с войском сделает, что прежде других может случиться с королем Английским в немецких его владениях. Георг II отвечал, что он думает совершенно так же и намерен действовать против прусского короля, но прежде всего надобно узнать наверное, каким образом намерена поступить Россия. Получив донесение об этом ответе от Щербатова, Остерман написал ему: «Оная королевская декларация собою явна; а что до нас надлежит, то вам уже давно дано знать и тамошнему двору сообщить ведено, что мы для содержания прагматической гарантии готовы с его королевским величеством во все пристойные и потребные меры вступить и действительный концерт учинить. Вы можете о том тамошним министрам, однако ж всегда в потребной конфиденции и без разглашения о том другим министрам,

сообщить. Графу Остейну одному можете вы о вышеписанном сообщить, однако ж с подтверждением, чтоб, кроме у одних английских министров, инде нигде о том какое употребление не учинил, яко ж он сам ведает, что от секрета все зависит. С прусским министром можете вы дружеское свое обхождение неизменно продолжать и о делах, до государя его касающихся по какому его вопросу, сказать, что вы к войне никаких инструкций и указов не имеете».

Шведские движения заставили Россию забыть о прагматической санкции и требовать от Англии высылки эскадры в Балтийское море; но в начале июля Щербатов донес, что в этом году ждать английской эскадры нечего, ибо уверены, что и французская эскадра в этом году в Балтийское море также не отправится. На это донесение Остерман отвечал, что если Россия просит у Англии эскадры в помощь против Швеции, то это потому, что английский интерес одинаково с русским требуют предупреждения Северной войны: если войны миновать нельзя, то необходимо кончать ее как можно скорее, а посылка эскадры одинаково служит к тому и другому; «через предупреждение или скорое окончание войны мы получим свободные руки и будем в состоянии помогать общему делу». Но Англия стояла на своем и в заключаемом с Россией союзном договоре постановила пункт, что во время войны с Испаниею за неимением кораблей не пошлет эскадры в Балтийское море, но вместо того будет давать России ежегодно по сто тысяч фунтов стерлингов. Договор не был ратификован. В таком же положении находились дела и по объявлении шведами войны.

Россия и Англия сближались по одинаковости враждебных отношений своих к Франции. Неприязненные действия последней против России были очевидны, и, несмотря на то, дипломатические сношения между двумя дворами не прерывались, русский посланник находился в Париже, французский – в Петербурге.

Вице-канцлер граф Головкин обратился к великому адмиралу графу Остерману с откровенным мнением, «что зело потребно бы было всячески стараться себя из рук Франции вывезть в рассуждении ее тайных неприятельских поступков. Великий адмирал отвечал во взаимной конфиденции, что находит мнение вице-канцлера очень основательным, но так как Франция была посредницею при заключении мира между Россией и Портою и приняла на себя его гарантии, то мнится, что при нынешних конъюнктурах не надобно ее огорчать никаким наглым поступком, но всячески менажировать, ибо хотя она теперь тайно нам злодействует, однако наружно всякую дружественную апаренцию оказывает; но, когда мы что-либо явно ей учиним, тогда она уже наружным образом нам вредить может, итак, лучше ее злости истинною твердостью удерживать, нежели самим в чем-либо зачинщиком быть, чтоб весь свет видел, какую мы к ней умеренность показываем, и лучше тайное злодейство ее ныне сносить, нежели явно ее на себя подвигнуть».

В марте Остерман писал в Париж Кантемиру: «По нашему мнению, французское намерение ни к чему иному клонится, кроме чтоб наперед военный огонь везде запалить, а потом, получа чрез то свободные способы, свои дальние виды тем скорее и лучше в действие производить. Сие наше мнение от того не отдалено, что вы уже неоднократно в прежних своих реляциях доносили и в нынешней надежно подтверждаете, а именно, что Франция действительно против венского двора оружие употреблять не станет, и по тем же от вас самих

объявленным резонам мы и ныне в том с вами утверждаемся; однако ж по некоторым надежным же секретным ведомостям является: 1) что между Франциею, Гиспаниею и курфюрстом Баварским противу дому австрийского действительное согласие учинено; 2) что вследствие того великая сумма денег к баварскому двору от Гиспаниии действительно уже заплачена, из которой чрезвычайные в Баварии происходящие сильные вооружения чинятся; 3) что из Алзаций под образом дезертирования много людей из французского войска в Баварию отпускаются; 4) что Франция действительно 30 тысяч своего войска к нему, курфюрсту Баварскому, во вспоможение послать намерена; 5) что такожде короля прусского к себе присоединить намерение имеет; 6) и дабы австрийский дом вовсе и нашего вспоможения лишить, то Швецию на нас поднимают, которой для того и два миллиона денег обещали. Сия ведомость от доброй части тем, что ныне в Швеции происходит, подтверждается. Мы вам о том для того пространно сообщаем, дабы вы, будучи там на месте, толь наипаче обо всем том подлинно проведать в состоянии были и надлежаще стараться могли, что надлежит до ваших поступков при всех таких обстоятельствах. Подлинно оные наиглавнейше в том состоять имеют, что с крайним прилежанием и тамошние поступки, и происхождении смотреть и заблаговременно и обстоятельно обо всем доносить».

Чтоб вызвать какое-нибудь объяснение, в конце марта Кантемир обратился к кардиналу Флэри с предложением, что император готов вступить в соглашение с французским королем об общих мерах для исполнения гарантии прагматической санкции; император тем охотнее открывает свое намерение королю, что из всех донесений его, Кантемира, усмотрел доброе расположение короля к Марии Терезии и к сохранению европейской тишины и что если две такие сильные державы примут общие меры, то исполнение гарантии будет легко. Кардинал отвечал с сердцем, что король не может и не должен принимать никаких мер к поправлению дурного положения королевы венгерской; удивительно, что от короля требуют помощи Марии Терезии, к чему он вовсе не обязан; эту тягость нести должны те державы, которые приняли на себя гарантию прагматической санкции, а французский король прагматическую санкцию не гарантировал; Франция хотя и не объявляла войны англичанам, однако находится с ними не в такой дружбе, чтоб вместе с ними принимать общие меры в пользу королевы Венгерской.

«Такая неожиданная и дикая речь» привела Кантемира в великое удивление. Кардинал, отвечал он, не мог забыть, что между королем и покойным Карлом VI заключен союзный договор, в котором Франция за большие уступки со стороны Австрии гарантировала прагматическую санкцию; договор этот так нов, что и чернила на нем еще не высохли; кардинал не может также забыть, сколько словесных и письменных обнадеживаний сделано французским правительством как министрам венского двора, так и находящимся здесь министрам других держав о святом исполнении этих обязательств. Эти обнадеживания нимало побудили и русский двор к принятию известного решения, и теперь он, Кантемир, не знает, как согласить настоящий ответ кардинала со всем предшествовавшим и как донести об этом своему государю. Правда, отвечал кардинал, король заключил с покойным императором упомянутый договор, но договор этот в совершение не приведен, ибо покойный император не только обещанной имперской ратификации не доставил, но сам старался ее задержать, заставя вюртембергского посланника

на регенсбургском сейме протестовать против выдачи этой ратификации. Таким образом, король Французский нисколько не обязан исполнять договор; что же касается до обнадеживаний, сделанных французским правительством по смерти императора Карла VI, то никто не может доказать, что Франция поступала вопреки им. Кантемир возразил, что не знает, что происходило на регенсбургском сейме, но знает, что покойному императору не было никакой пользы останавливать ратификацию, которая, впрочем, и не нужна, потому что прагматическая санкция касается не империи, а частных владений австрийского дома. «Объекции сии, – пишет Кантемир, – будучи такого основательства, что ничего к опровержению их резонабельно привести не можно, господин кардинал такие смешные и несостоятельные резоны против них употребил, что стыдно об оных и упоминать: столь они были беспутны и без всякого основания. Когда кардинал, уже отложив всякий стыд, прямо выговорил, что король санкцию прагматическую не гарантировал, никакого сомнения уже не остается, что всем способом вредить королеве венгерской намерены. *Квестия* (вопрос) потому о том только идет, чтоб знать, когда и каким образом свою злую склонность в действие произвести намерены». Кантемир думал, что Франция действительно войны против Марии Терезии не объявит и не будет препятствовать державам, которые станут помогать Австрии против прусского короля, но будет стараться возбудить междоусобную войну в Германии и потом под предлогом защиты союзных себе германских государей ввести свое войско в империю для приобретения новых областей и для исполнения дальнейших своих видов, которым трудно предвидеть границу. Отсюда Кантемир заключает, что необходимо пресечь эти виды благовременным предупреждением; удивляется при этом медленности морских держав, которые больше всех имеют причину опасаться следствия прусских успехов, нарушения всей европейской системы разделением областей австрийского дома.

3 мая Кантемир имел любопытный разговор с кардиналом Флэри. Кардинал упомянул, что в Швеции усматривается военное движение. Кантемир отвечал, что с русской стороны не пренебрежено ничем для сохранения северной тишины и если начнется война, то весь свет должен признать правду России. Кардинал сказал, что он сам не понимает, как шведский двор может отважиться на войну с Россией, ибо силы обеих держав вовсе не равны, и потом начал распространяться в обычных своих рассуждениях о недостатке доверия в Европе, о подозрительности, господствующей между державами, о распространяющемся повсюду духе несогласия, который должен произвести страшное кровопролитие; кардинал высказывал свое миролюбие и сожаление, что все его труды для сохранения европейского спокойствия были напрасны. Кантемир заметил, что тяжкий ответ отдадут те, которые подали повод к наступающим бедам. Флэри продолжал в том же проповедническом тоне, что не только войною, но и другими язвами бог людей наказывает: в один и тот же год видим и жестокою зиму, и неурожай, и болезни; что он не может понять, как эти язвы не остановили высокомыслия войнолюбивых людей, и, что всего хуже, при такой общей склонности к войне нельзя найти ни одного посредника, который бы привел всех к доброму согласию; напротив, всякий спешит принять участие в войне, которая до него, собственно, не касается. Кантемир заметил, что все дела можно было бы окончить полюбовно, если бы тому не помешало внезапное нападение пруссаков

на Силезию, ибо другие державы по договорным обязательствам и для собственной безопасности не могут не принять участия в войне; что же касается посредничества, то Франции всего лучше принять его на себя по известной правоте и миролюбию его, кардинала. Флэри отвечал на это, что он вовсе не оправдывает поступка короля Прусского, но есть известие, что Пруссия удовольствуется одною Нижнею Силезиею, если венгерская королева покажет склонность к примирению, и, быть может, королева и показала бы эту склонность, если б другие державы не ободряли ее надеждою помощи. Впрочем, как он, кардинал, ни склонен к умиротворению, его добрые услуги были бы совершенно бесплодны, ибо хотя Франция и находится со всеми другими державами в мире, однако многие смотрят на нее подозрительно, повторяя старинные бредни об ее стремлении ко всемирной монархии и на основании этих бредней заключая друг с другом союзы и принимая ненужные меры. Кантемир отвечал, что от кардинала зависит уничтожить такое предубеждение, удаляясь от войны, тем более что Франция очень сильна, и никакая держава напрасно раздражать ее не решится. «Хотя я не придаю никакого значения сладким словам кардинала, – писал Кантемир, – однако счел своею обязанностью донести об этом разговоре, из которого видно, с каким искусством он производит свои внушения, клонящиеся к тому, чтоб отклонить союзников от подания помощи королеве Венгерской, ибо это будет препятствовать видам Франции, как, например, вооружение морских держав помешает приобретению Люксембурга или другой какой-нибудь части австрийских Нидерландов».

Полученные Кантемиром известия о вооружении в Бресте эскадры, назначаемой в Балтийское море, побудили русского посланника иметь новое объяснение с кардиналом. Флэри отвечал, что эскадра не получила еще назначения и в Балтийское море отправлена не будет, если король датский обнадежит, что при начатии войны на севере сохранит нейтралитет Балтийского моря, и если англичане не отправят в то же море своей эскадры; впрочем, король не намерен принимать ни малейшего участия в войне между Россиею и Швециею; он, кардинал, особенно жалеет, видя такую горячность со стороны шведской, и по чистой совести может засвидетельствовать, что его советы шведскому министерству клонились к сохранению тишины. Кантемир отвечал, что Россия никак не может принять этих если, ибо Дания и Англия связаны с нею обязательствами союзного договора и потому не могут остаться нейтральными, когда шведы нападут на русские области. Кардинал отвечал, что он уже упомянул о намерении французского двора не принимать участия в войне между Швециею и Россиею и Франция тем охотнее будет содержать доброе согласие с Россиею, что нет причин к жалобам против русского двора; но английское высокомерие становится нестерпимо, и он без осуждения от всего света не может позволить английскому двору вступаться в дела всей Европы, усиливать свое влияние, стараться повсюду властвовать, поэтому не знает, не будет ли принужден сопротивляться предприятиям англичан на севере. Можно было бы обойти всякое затруднение, остановя отправление английской эскадры в Балтийское море, тем более что русский государь имеет свои морские силы и шведский король подлинно не в состоянии противиться России. Известно, что в последней войне между Франциею и цесарем русское войско было прислано на помощь цесарю и, несмотря на то, между Россиею и Франциею разрыва не последовало. На это

Кантемир сказал: «Что касается английских поступков, то это дело мне не принадлежит, равно я не вступаю в исследование, как должна в этом случае вести себя Франция; я и прежде никогда не отзывался о французских вооружениях, когда они не касались интересов моего государя; и теперь я не говорю о таких движениях английских, которые не имеют связи с русскими интересами; но судите сами, имеете ли вы право препятствовать поданию помощи России от кого бы то ни было. Дело отправления вспомогательного русского войска покойному цесарю совершенно другое: между Россиею и покойным цесарем существовал давний оборонительный союз, и вы сами стали бы порицать русский двор, если бы он не исполнил своих обязательств; но между Франциею и Швециею никакого подобного обязательства нет, как вы мне сами объявили. Потом в последней войне между Франциею и Австриею Франция первая напала, а в войне между Россиею и Швециею, если она откроется, первые нападут шведы». Кардинал отвечал, что еще сам не знает, какое примет решение, и начал распространяться о своем миролюбии и жаловаться, что все его труды для сохранения спокойствия в Европе остались тщетными вследствие честолюбия англичан.

В июне Кантемир получил от своего двора приказание внушить кардиналу, что от него одного зависит заключение оборонительного союза с Россиею, который нимало не будет препятствовать подобным договорам России с другими державами. Кантемир отвечал, что нельзя иметь никакой надежды, чтоб Франция захотела искать пользы России или по меньшей мере захотела союзом с нею ослабить тревогу на севере; напротив, дела зашли так далеко, что по требованию французского интереса Россия должна быть занята защитой своих областей, чтобы не иметь возможности помочь венгерской королеве, против которой во Франции готовят явную войну. «Мне дано знать, – писал Кантемир, – что уже заключен договор между Франциею и Пруссиею, что французское войско будет отправлено в Баварию, чтоб вместе с тамошним курфюрстом идти в Богемию; что в меморию, где исследуются интересы французского двора, главным основанием положено раздробление австрийских владений; Богемия должна достаться курфюрсту Баварскому, который будет императором, Италия – королю Испанскому и частью Сардинскому, Силезия – королю Прусскому, а часть Нидерландов – самой Франции; для исполнения этого проекта Главным средством поставляется ослабление России и Англии, которые одни в Европе могут помешать ему. Автор мемории советует начать войну против Англии и в Германии, а между тем шведскому двору дать не только субсидии для нападения на Россию, но даже войска и корабли; также постараться устроить союз между Швециею, Даниею и Пруссиею, наконец, возбудить против России турок и персиян и действовать против России до тех пор, пока Россия потеряет все приобретенное ею по Ништадтскому миру».

В августе Кантемир имел свидание с кардиналом по поводу объявления шведами войны против России. Кардинал повторил прежние уверения, что французский двор не принимал никакого участия во всех шведских движениях, что объявление войны считает делом безрассудным, что он не раз представлял шведскому посланнику графу Тессину, что Швеция не может надеяться на успех в войне против России, а на чужую помощь напрасно бы полагалась, но все понапрасну, потому что настоящая война есть дело народной ярости, которую шведское министерство унять не в состоянии; что он, кардинал, должен

признаться, что русский двор сделал все для избежания войны. Относительно движения французского войска в Германию Флери сказал, что с крайним сожалением должен был согласиться на это в видах предупредить английское нападение и что желал бы кровью своею купить возможность избежания всеобщей войны. Когда Кантемир заметил, что союзники королевы венгерской не делали никаких военных приготовлений, то кардинал с горячностью отвечал: «Не должно думать, чтоб я не знал о том, что в свете делается; я знаю хорошо, какие были виды и намерения англичан, которые, не довольствуясь господством на море, желают предписывать законы Европе и на сухом пути раздавать короны по своей воле; если теперь Англия не действует, то это должно приписать движению французских войск. Впрочем, я сам до сих пор не знаю, к чему наше войско будет употреблено, но объявляю министрам иностранным и от своих французов не скрываю, что как скоро представится случай к любовному соглашению, то я его не упущу и сердечно сожалею, что не вижу ни одной державы, которая бы предложила свое посредничество, потому что все в настоящей распре приняли участие. Королева Венгерская – государыня весьма похвальных свойств, о ее несчастии я сам сожалею; но чрезмерно она своего мужа любит и своим упорным уклонением от мира с Пруссиею привела европейские дела в нынешнее состояние; теперь же о примирении ее с прусским королем нечего и думать, потому что он уже слишком далеко зашел в своих предприятиях». «Понеже, – писал Кантемир, – нынешние здешние поступки довольно показывают, что всякое чувство стыда на сторону отложено, нечаянная перемена во всем случиться может, и для того предосторожность всегда нужна».

Остерман писал Кантемиру в октябре: «Поступки Шетарди так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда; только это надобно исходатайствовать таким образом, чтоб французское министерство, при нынешнем своем счастье и без того ни на кого не смотрящее, не получило повода к преждевременному разрыванию с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому надобно поступать в этом деле, смотря по тамошним склонностям, министерскому нраву и обращениям дел, и притом на ваше благорассуждение оставляем, не можете ли чрез того благосклонного к вам приятеля, о котором в реляциях своих упоминаете, тамошнему министерству между прочим искусно внушить, что поступки Шетарди и интриги совершенно открылись, и потому он для французских интересов здесь более уже не может быть полезен и что вследствие его поведения никто не желает с ним знакомства, все избегают его как только можно, без явного озлобления».

Открылась интрига Шетарди; открылось, что он хлопотал об ускорении переворота, о свержении существующего правительства.

Мы видели, что в России были недовольны существующим правительством и это неудовольствие усиливалось и громче высказывалось вследствие слабости правительства, которого не любили и не уважали. Но как и в чью пользу должен был совершиться переворот? Бирон, недовольный отцом и матерью императора Иоанна, грозил им герцогом Голштинским, родным внуком Петра Великого: кто же теперь был настолько могуществен, чтоб действовать в пользу ребенка, жившего далеко, в чужой стороне, привезти этого ребенка в Россию и посадить на престол? У герцога Голштинского была в России родная тетка, дочь Петра Великого, и это было единственное лицо, во имя которого можно было произвести

переворот. Мы видели, что в инструкции Шетарди было прямо указано на цесаревну Елисавету, велено выведать о значении ее приверженцев и т.п. Мы довольно часто упоминали об Елисавете при описании царствования Петра II, когда она своим влиянием на племянника не давала покоя людям, борющимся за волю молодого императора. По восшествии на престол Анны Елисавета, чтоб не возбудить подозрения и гонения императрицы, очень хорошо понимавшей, какую опасную соперницу имеет она в дочери великого дяди, должна была вести себя так, чтоб о ней не было слышно: ей оказывали внешний почет, но зорко следили за ее поведением. Миних по поручению императрицы поместил к ней в дом урядника Щегловитого в качестве смотрителя за домом, и Щегловитый доносил, кто бывал у цесаревны и куда она выезжала; чтоб следить за нею по городу, он нанимал особых извозчиков. Анну не переставал беспокоить внук Петра Великого, маленький герцог Голштинский. «Чертушка в Голштинии еще живет», – обыкновенно говорила она; но понятно, что она должна была рассчитывать на тесную связь между интересами тетки и племянника.

Елисавета была почтительна к императрице, к Бирону. Она сохраняла свою красоту; но уже никто не говорил больше о ее живости и веселости, которые не шли теперь к опальной дочери Петра Великого. Елисавета не могла не знать, что за нею наблюдают, и потому жила скромно, уединенно среди своего маленького двора. Эта полузатворническая жизнь, боязнь принимать живое участие в событиях, боязнь сноситься с важнейшими деятелями государственной жизни, да и самая невозможность сноситься с ними, ибо, конечно, они почтительно удалялись от опальной и потому опасной цесаревны, – все это должно было препятствовать умственному развитию и развитию энергии Елисаветы; десять лет ей предоставлено было жить одним чувством. Указывали на ее фаворитов; но несогласно с характером нашего сочинения упоминать о делах и людях темных, не имевших влияния на ход исторических событий. Мы должны упомянуть о фаворите Елисаветы Алексее Григорьевиче Разумовском, сыне простого козака, взятом в придворные певчие; утверждали, что Елисавета была с ним обвенчана. Разумовский был человек без способностей и без энергии, но, будучи доволен своим выгодным положением, не вмешиваясь в дела, он не вредил никому и ничему, а этого уже было очень много, и мы обязаны отдать честь Разумовскому, сказавши, что он как фаворит представлял противоположность фавориту Анны – Бирону. До нас дошла только одна жалоба на Разумовского – что он был непокоен в хмелю; но, как видно, невыгоду от этого беспокойства чувствовали люди очень близкие, которые умели и вознаградить себя за претерпенное. Из будущих важных деятелей при дворе цесаревны находились двое братьев Шуваловых, Александр и Петр Ивановичи, и Михайла Ларивонович Воронцов. Эти люди уже принадлежали ко второму поколению русских деятелей XVIII века, причисляя к первому поколению Петра Великого, непосредственно им вызванных к деятельности, им воспитанных; Шуваловы с товарищами были дети тех отцов, которые являются при Петре, некоторые в довольно значительных должностях, но не первостепенных. При дворе цесаревны давно уже занимал видное место медик Лесток. Вызванный при Петре Великом в числе других надобных по своему искусству, иностранец Лесток при Петре же был сослан в Казань по жалобе на неосторожное поведение его с дочерью одного придворного служителя. По возвращении из ссылки он опять является при дворе, и по смерти Екатерины I мы

видим его именно при дворе цесаревны Елисаветы. Деятельный, веселый, говорливый, любивший и умевший со всеми сблизиться, всюду обо всем разведать, Лесток был дорогой человек в однообразной жизни двора опальной цесаревны. Но кроме развлечения, которое мог доставлять Лесток в скуке, кроме привычки к человеку, необходимо близкому как медику, Елисавета имела право полагаться на Лестока: когда в начале царствования Анны Миних по иноземству предлагал Лестоку наблюдать за цесаревною и доносить обо всем, Лесток не согласился.

Развлечением, хотя и не совсем приятным, служили для Елисаветы хозяйственные занятия. Она должна была содержать свой двор доходами с имений, находившихся в разных местностях; доходы были незначительны, а расходы большие по необходимости поддерживать значение высокой особы, по необходимости не отпускать с пустыми руками просителей, по необходимости являться прилично к большому двору, при котором господствовала разорительная роскошь. Понятно, что приискание хорошего управителя вотчинами, было делом большой важности для Елисаветы; это всего лучше видно из писем ее к Воронцову, бывшему в Москве в начале 1739 года: «Прошу вас, как приедете к Москве, то имейте старание, чтоб вам прямо спознать Воронина, каков он, понеже я ни на кого такую надежду не имею, как на вас: так как себе верю, понеже много абрабации (апробации) имела. Также и об Чистом прошу уведомиться, каков он, и уведомить меня, понеже немалая остановка имеется... Об Воронине прошу вас призвать к себе и спросить от себя, не будет ли ему обидно, чтоб секретарем у меня быть, понеже он ноне в комиссарах; а я, ей, не знаю, которой у них чин большей. И ежели он вам скажет, что он желает, то можете ему после сказать, что будто вы надеетесь, что вотчины все ему во управление вручатся, и что он вам скажет на сие?»

Нужно было искать хороших людей еще и потому, что смена дурных могла повести к большим неприятностям: человек, навлекший неудовольствие цесаревны, всегда мог быть уверен, что правительство будет смотреть на него с сочувствием, особенно если он не поспеет на известия, неблагоприятные для Елисаветы или людей, к ней близких. Вот любопытное прошение Елисаветы императрице Анне, написанное в 1736 году и подписанное: «Вашего и. в-ства послушная раба Елисавет: понеже бывший в моей канцелярии судьей Степан Корницкой, преступя вначале должность христианского закона и забыв показанные от меня ему благодеяния, а наипаче презрев указы вашего и. в-ства, всякие непорядочные дела отправлял, многие взятки с крестьян и с других людей брал и затем упушал доходы, получаемые с деревень, волочил многих челобитчиков, ходя за делами напрасно, и во всю бытность свою ни единого дела к окончанию не привел; посылаемые мои указы в канцелярию, не токмо по оным исполнения чинил, но в одном из оных выскреб написанную речь и, переправя, написал, как ему надобно было для его пользы, которое его преступление великого наказания достойно по указам вашего и. в-ства. Еще в самом следствии о управителе Висинге, на которого показано было на несколько тысяч рублей похищенных денег, делал ему всякое похлебство, брал взятки, и с резолюций моих посылал к нему точные копии, и многие другие бесчисленные продерзости являл. Я велела его взять под караул, чтоб сдал порученные ему дела, и по сем, исследовав о нем, хотела донести вашему и. в-ству, что с ним повелите указом

учинить. А оной арест ему для того учинила без соизволения вашего и. в-ства, надеючись на сие, что всякий помещик может так поступать с своим подчиненным, ежели пред ним явится в похищении. И оной Корницкой освобожден по указу вашего и. в-ства чрез генерала Ушакова. И оное мне все сносно, токмо сие чрезмерно чувствительно, что я невинно обнесена пред персоною вашего и. в-ства, в чем не токмо делом, но ни самую мыслию никогда не была противна воли и указам вашего и. в-ства, ниже впредь хочу быть. Того ради для оправдания моего пред вашим и. в-ством всепокорнейше прошу всемилостивейше приказать о нем исследовать или его возвратить ко мне, где по окончании следствия о всем нижайше донесу сама вашему и. в-ству». Участие страшного Ушакова в деле показывает, какое значение придавалось ему по крайней мере вначале. Могло быт что Корницкой позволял себе подобные поступки в надежде на сильное покровительство, будучи агентом Ушакова.

Смерть Анны произвела некоторое изменение в тяжких, натянутых отношениях Елисаветы к большому двору. Правительство оказалось слабым, начались смуты, перевороты. Регент Бирон, рассорившись с отцом и матерью маленького императора, грозит им герцогом Голштинским и с какою бы то ни было целью очень внимателен и любезен к цесаревне Елисавете, увеличивает ее содержание (что, впрочем, советовал и Остерман), оказывает снисхождение к людям, уличенным в преданности дочери Петра Великого. Падение Бирона могло только ухудшить положение Елисаветы, ибо не стало во главе управления человека, к ней расположенного: цесаревна поспешила убрать портрет своего племянника, герцога Голштинского, который повесила было у себя во дворце тотчас по смерти Анны Иоанновны. Собственно, от Анны Леопольдовны нечего было опасаться; но дело не в Анне Леопольдовне: Миних, Остерман – старые злодеи, от которых уже терпела Елисавета; они и всякий другой, кто будет править Россию, поддерживая престол Иоанна VI, будут вместе с тем подозрительно смотреть на Елисавету, следить за нею, и эта подозрительность должна усиливаться с возрастанием ее опасного племянника. А между тем обнаруживается всеобщее неудовольствие, и Елисавета не может не заметить, что недовольные обращаются мало помалу к ней, от нее ждут избавления от бестолкового и ненационального правительства.

Опальное положение, уединенная жизнь Елисаветы при Анне послужили к выгоде для цесаревны. Молодая, ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшая разные чувства, кроме чувства уважения, исчезла. Елисавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь спокойный, величественный, царственный характер. Редко, в торжественных случаях, являлась она пред народом, прекрасная, ласковая, величественная, спокойная, печальная; являлась как молчаливый протест против тяжелого, оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное напоминание о славном прошедшем, которое теперь уже становилось не только славным, но и счастливым прошедшим. Теперь же при виде Елисаветы возбуждалось умиление, уважение, печаль; тяжелая участь дала ей право на возбуждение этих чувств, тем более что вместе с дочерью Петра все русские были в беде, опале; а тут еще слухи, что нет добрее и ласковее матушки цесаревны Елисаветы Петровны. Таким образом, с значением дочери Петра Великого соединились теперь большие права, но вместе и большие, страшные обязанности. От нее чего-то ждут, она должна что-то исполнить. Но с

кем и как? Самые видные немцы перессорились, губят друг друга и тем дают возможность русским взять верх; но зато и у русских нет человека, который бы мог стать в челе движения, который бы мог, хотя в ночном нападении, как Миних, овладеть Брауншвейгскою фамилиею и провозгласить нового императора или императрицу, герцога Голштинского или тетку его. Елисавета должна была сама стать в челе движения, сама направить народ или войско против нелюбимого правительства. Но как могла решиться на это женщина, прошедшая столько лучших лет жизни в бездействии, робкая, загнанная, привыкшая униженною уклончивостью спасаться от гнева и преследования сильных? Женское ли это дело производить перевороты, свергать правительство, водить войско? Легко понять, что Елисавета будет медлить, ждать человека.

Правительство думало, что Елисавета может взойти на престол с помощью того же человека, который свергнул и Бирона, т.е. Миниха. В январе 1741 года, когда Миних был еще первым министром, майор гвардии Альбрехт призвал аудитора Барановского и объявил ему именной указ: «Должен ты быть поставлен на безызвестный караул близ дворца цесаревны Елисаветы Петровны, имеешь смотреть: во дворец цесаревны какие персоны мужеска и женска пола приезжают, також и ее высочество куды изволит съезжать и как изволит возвращаться – о том бы повседневно подавать записки по утрам ему, Альбрехту. В которое время генерал-фельдмаршал во дворец цесаревны прибудет, то б того часа репортовать словесно о прибытии его ему ж, майору Альбрехту; а если дома его, Альбрехта, не будет, то отрепортовать герцогу Брауншвейг-Люнебургскому. Французский посол когда приезжать будет во дворец цесаревны, то и об нем репортовать с прочими в подаваемых записках».

После отставки Миниха, когда его еще больше стали бояться, принц Антон поручил секунд-майору Василью Чичерину выбрать до десяти гренадер с капралом, одеть их в шубы и серые кафтаны и наблюдать: если Миних пойдет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец; если же пойдет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее. Принцу донесли о разных толках между солдатами и женскою дворцовою прислугою. Рассказывали, что Миних был однажды у цесаревны и, припадши к ее ногам, просил, что если ее высочество ему повелит, то он все исполнить готов. На что Елисавета будто бы сказала ему: «Ты ли тот, который корону дает кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». По другому рассказу, Елисавета отвечала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно и на что она имеет право, и потом Елисавета обошлась с Минихом очень милостиво и провожала до крыльца. Принц Антон в простоте сердечной поверил, что все так было, и говорил английскому резиденту Финчу, что от Миниха надобно отделаться, что он уже предлагал свои услуги Елисавете.

Миних не сблизился с Елисаветою. Он понимал, что вступление на престол Елисаветы будет иметь следствием торжество национального дела, что при ней иностранцу не удастся играть первенствующей роли. Все его симпатии были в пользу Брауншвейгской фамилии; он ждал своего времени, когда вражда принцессы Анны и фрейлины Менгден к принцу Антону и Остерману разгорится до высшей степени и принцесса Анна снова потребует его помощи для низложения ненавистного Остермана. Только брат фельдмаршала, гофмаршал

Миних, на всякий случай старался делать всевозможные угодения цесаревне; но братья не жили дружно.

Миних не ездил к цесаревне Елисавете, но французский посланник ездил.

Мы видели, какая инструкция была дана маркизу Шетарди перед отъездом его в Россию; видели, что Елисавета была указана как единственное лицо, в пользу которого нужно было действовать для свержения немецкого правительства и для оттеснения России опять на восток. И Шетарди не спускает глаз с Елисаветы. Во время Биронова регентства ему нечего предпринимать: Елисавета спокойна, довольна быстрой переменой к лучшему в своем положении; ему, видимо, не нравится это заискивание регента у цесаревны, он подозревает его в каких-то дерзких замыслах; с другой стороны, французский посланник не имеет побуждений очень сильно тревожиться: у Бирона нет ни досуга, ни желания помогать Марии Терезии против Франции и Пруссии. Но дело переменялось по свержении Бирона: венский двор получил сильную надежду на помощь от России, а это заставляло Францию, с одной стороны, поднимать Швецию для задержания России, с другой – поднять в России внутренние волнения, затем правительственный переворот, чтоб также занять Россию дома и потом помочь Швеции одержать верх в борьбе, ибо иначе слабая Швеция не могла надеяться на успех; наконец, теперь и Елисавета недовольна, следовательно, более возможности сделать ее доступною внушениям французского посланника. Шетарди уверяет ее в добром расположении к ней своего короля, в готовности его оказать ей помощь. Но эта помощь непосредственно может быть оказана ближайшею державою, Швециею, и потому шведский посланник Нолькен вводится также к цесаревне для необходимых переговоров; для сношений Елисаветы с обоими посланниками вне дворца употребляется Лесток. Нолькен обещает помощь, но требует вознаграждения, требует, чтоб Елисавета на письме обещала вознаградить Швецию при своем восшествии на престол. Елисавета не соглашается дать письменное обязательство. Для Шетарди интерес Швеции не на первом плане: ему хочется, чтоб как можно скорее произошел переворот, который обеспечит невмешательство России в европейские дела и, следовательно, даст Франции всю свободу распоряжаться ими. Шетарди внушает Лестоку, что Елисавета не должна медлить, что ей должно воспользоваться счастливым расположением, которое начинает выказываться в народе, и не дать русским привыкнуть к настоящему правительству. В разговорах такого рода, разумеется, не отзывались доброжелательно о Брауншвейгской фамилии. Говорилось, что маленького императора намеренно никому не показывают. Лесток уверял, что цесаревна убеждена в этом и нарочно часто навещает малютку и уже позаботилась о средствах знать все, что бы ни случилось с ним. Лесток рассказывал Шетарди, что Иоанн слишком мал для своего возраста, что в нем с некоторого времени обнаружались признаки сокращения нервов, что у него запоры с самого рождения и никакое лекарство не могло возбудить в его организме обыкновенных отправления, что малютка непременно умрет от первой сколько-нибудь значительной болезни.

Шетарди знает, что в народе сильное расположение к Елисавете, что можно легко составить партию: но около кого из сильных и способных людей будет составляться эта партия, кто будет ее главою, кто двинет ее в решительную минуту во имя дочери Петра Великого? Елисавета остановилась на Ушакове,

объявила Шетарди, что она доверяет преданности страшного начальника Тайной канцелярии и считает его даже расположенным стать во главе ее партии. На основании этих слов Шетарди приглашает Ушакова к себе, чтоб начать сношения, но Ушаков делает неучтивость, не едет к французскому посланнику. В Версале это сильно обеспокоило: там подумали, не открыт ли заговор Елисаветы; притом же узнали, что и Нолькен также беспокоится, потому что Лесток не явился на три назначенные ему свидания. Заговор не был открыт; но и Шетарди находился в большом беспокойстве: врага венского двора – Миниха не было более во главе правительства, следовательно, приходилось удерживать Россию от подания помощи Марии Терезии шведскою войною; но Швеции надобно помочь внутренним волнением, надобно заручиться у будущей императрицы вознаграждением Швеции. Елисавета отказывается дать письменное обещание, но если бы и согласилась, то Шетарди и Нолькен не знают, в каком смысле должно быть написано это обещание, не знают, чего требовать от Елисаветы. «Мы можем только по догадкам судить о тех предметах, которые были бы более пригодны Швеции», – писал Шетарди. Он считал шведскую войну необходимостью и в то же время считал преждевременным начинать ее летом 1741 года. «Верно, – писал он в марте, – что австрийский дом не имеет более надобности бороться с нерасположением к нему Миниха; что прусский король теряет в последнем усердного приверженца; что влияние венского двора на петербургский будет теперь так сильно, как никогда прежде; что граф Остерман никогда не был так силен, как теперь; что независимо от его привязанности к венскому двору он в Ништадтском договоре обожает свое создание и для поддержания его будет всячески стараться не дать Швеции возможности к усилению. Я заключаю из этого, что никогда не было так нужно для Швеции нанести решительный удар; всякая минута дорога; надобно спешить извлечь выгоды из внутреннего волнения и известного расположения (в России к Елисавете); но не должно и думать о начале дела нынешним летом, разве только будут значительные силы. Ошибочно представляют себе страшилищем Московское государство. Я не скрою выгоды его положения, не скрою, что оно может выставить значительные силы для оборонительной войны, что оно легко может приобретать припасы дешевою ценою, но я убежден, что соединенный датско-шведский флот может легко помешать русскому флоту выйти из гаваней и, следовательно, шведские берега будут безопасны от высадок, которые причинили так много вреда в последнюю войну. Шведы могут действовать с успехом со стороны Выборга, особенно если Дания согласится сделать диверсию небольшим корпусом войск в Эстонии. Этот один план быстро смирит надменность и жестокость русских: порукой в том их характер и политика. За исключением некоторых государств, с которыми они не желают столкновений, они в опьянении от своего величия, которое в том и состоит, что весь свет не может к ним явиться и они хотят предписывать законы всей Европе. При малейшем поражении они перейдут также быстро из одной крайности в противоположную и будут уважать чрезмерно других. К этим доводам, которые одни заставляют исчезнуть страшилище, прибавьте, что можно легко быть уверено в диверсии со стороны турок, которые могут это сделать без объявления войны; что прусский король, как только представится ему возможность, не может не признать своих интересов, что Пруссия может возвыситься именно как северная держава и возможность произвести враждебное

движение против России облегчается нерасположением, которое русский двор выказывает к прусскому королю».

В то время как Франция хлопотала о произведении правительственного переворота в России для отвлечения ее от вмешательства в европейские дела, Англия хлопотала о том, как бы обезопасить существующее правительство и дать ему возможность в союзе с морскими державами помочь Австрии и тем воспрепятствовать видам Франции. Английский министр иностранных дел лорд Гаррингтон 17 марта писал своему резиденту в Петербурге Финчу: «Король получил сведения: шведский тайный комитет ободрен и побужден к вооружению известием от Нолькена, что в Петербурге образовалась сильная партия, которая готова поднять оружие и соединиться с шведами в пользу цесаревны Елисаветы, как только шведские войска покажутся на границах. План окончательно постановлен между ним и агентами цесаревны при содействии Шетарди». Гаррингтон предписывал Финчу противодействовать франко-шведским замыслам, которые в случае удачи отдадут весь Север в распоряжение Швеции и, следовательно, приведут его в полную зависимость от Франции. Финч повез это известие к Остерману и имел случай наблюдать, как хитрец, притворившись, что принимает сообщение совершенно равнодушно, ничему не верит, в то же время старался выведать все малейшие подробности. Но скоро Остерман не почел более нужным притворяться пред английским резидентом по общности интересов. Остерман хорошо знал, что агентом цесаревны при переговорах ее с Нолькеном служит Лесток, которого Нолькен для большего удобства пригласил лечить себя. Остерман спросил мнения Финча, не будет ли полезно арестовать Лестока. Финч отвечал, что не годится это сделать по одному только подозрению, возбужденному сообщенным от него известием; правительство должно действовать по более верным указаниям, иначе Елисавета получит только справедливый предлог к жалобам. У правительства не было более верных указаний; но Остерман сильно беспокоился, особенно по дурным отношениям правительницы к мужу, а следовательно, и к нему. Когда Финч уговаривал его не заниматься так усердно шведскими делами, потому что Швеция только страшит войною, а на самом деле не решится объявить ее, то Остерман отвечал: «Не будь сообщенного вами известия, то мы вовсе не заботились бы о Швеции». По словам принца Антона Финчу, Остерман признавался, что правительство не достигло еще желаемой твердости. Принц хотел сам принять начальство над войском в случае шведской войны, но Остерман не соглашался, боясь, что в его отсутствие Миних с помощью Юлии Менгден опять войдет в силу. Что правительница во всяком случае берегла Миниха, рассчитывала на него, это было ясно. Когда один из друзей Финча сказал при ней, что носится слух, будто Миниху будут возвращены все должности, то она отвечала: «Этому не бывать: любят измену, но не любят изменников; нельзя доверять ему так много, хотя и можно употребить его с пользою для того, чтоб держать людей в страхе и принудить их к исполнению своей обязанности». Кого разумела правительница под этими людьми? Остерман мог думать, что скорее всего она могла разуметь его.

При внутреннем разладе в правительстве, который отнимал у него руки и позволял врагам действовать перед его глазами, оно менее всего могло положиться на войско, которое было на стороне цесаревны. При дворе знали, что по свержении Бирона три гвардейские полка шли ко дворцу в убеждении, что

императрицею будет провозглашена их матушка Елисавета Петровна; тот же дух оказался в гарнизонном полку на Васильевском острове и в Кронштадте; здесь опасались восстания, потому что солдаты кричали: «Разве никто не хочет предводительствовать нами в пользу матушки Елисаветы Петровны?» При дворе знали, как Елисавета любима в гвардии, знали, что цесаревна постоянно крестит детей у гвардейцев, радушно принимает, угощает отцов и матерей своих крестников; у ней был дом (Смольный, или Смоляной, двор) подле гвардейских казарм; в этот дом она часто ездила ночевать, и здесь-то видели ее гвардейские офицеры и солдаты. При дворе говорили в насмешку: «У цесаревны Елисаветы ассамблеи для Преображенских солдат». Правительница считала все это пустяками, не стоящими внимания; но Остерман и, следовательно, покорный ученик его, принц Антон, сильно тревожились. Между тем Шетарди продолжал видеться с Лестоком, который в марте передал ему, что цесаревна очень обижена правительницею. Елисавета просила, чтоб правительство заплатило за нее 32000 долгов, с которыми ей нет возможности разделаться даже и при помощи 50000 рублей, назначенных ей Бироном. В просьбе не отказали, но заподозрили, что деньги нужны для чего-нибудь другого, а не для расплаты с долгом, и потому потребовали, чтоб цесаревна представила счета купцов, которым должна. Елисавета представила счета, и по ним оказалось долгу вместо 32000 сорок три тысячи; принуждены были заплатить лишнее и вдобавок подали повод к раздражению и жалобам.

Елисавета была откровенна и с Нолькеном. Так, она рассказала ему свой разговор с правительницею по поводу отставки Миниха. Анна спросила ее, знает ли она об этом; Елисавета отвечала, что трудно было бы не знать о том, о чем говорит весь город. «А что же говорят в городе?» – спросила Анна. Елисавета отвечала, что вообще удивлены, как это она согласилась на отставку. «Любя вас нежно, – продолжала цесаревна, – не могу скрыть от вас, что вы поступили дурно, тем более что вас обвинят в неблагодарности и вы лишаетесь человека, на которого могли совершенно положиться после того, что он для вас сделал». Тут правительница рассыпалась в сожалениях и в оправдание свое приводила только, что она не соглашалась на удаление Миниха от дел, но принц Антон и Остерман не давали ей покою. Рассказавши об этом, Елисавета прибавила: «Надобно иметь мало ума, чтоб высказаться так искренно; она очень дурно воспитана, не умеет жить, и к этому у нее есть еще хорошее качество – быть капризною так же, как и герцог Мекленбургский, ее отец». Елисавета рассказала Нолькеному кое-что и о принце Антоне, именно то, что должно было особенно заинтересовать его и Шетарди по отношениям политическим: сама правительница рассказывала ей, что принц Антон прыгал, как ребенок, когда получил известие о рождении сына у Марии Терезии; он говорил, что это событие тем более имеет значение для России, что оно снова обеспечивает Австрии преимущество сохранить императорскую корону. «Здесь только думают оказать помощь венгерской королеве, – говорила цесаревна, – а между тем сильно боятся Швеции, хотя и скрывают этот страх от правительницы. Я была на днях свидетельницею, как Головкин уверял ее, что никогда Швеция не была так слаба, что в ней ужасная бедность и одна надежда у вас на помощь Франции, у которой у самой денег нет и ей приходится думать о себе только, а не другим помогать». Но когда Нолькен, ободренный такою откровенностью, начинал дело об обязательствах со стороны

Елисаветы относительно вознаграждения Швеции за помощь, то она упорно отмалчивалась. Шетарди и Нолькен объясняли эту нерешительность Елисаветы тем, что она советуется с своею партией, которая представляет ей, как она сделается ненавистною в глазах народа, если откроется, что она призвала шведов на Россию, особенно если она должна будет хотя чем-нибудь пожертвовать в вознаграждение за корону; притом же Швецию не для чего побуждать к тому, что она должна сделать для собственных выгод.

Нолькену не удалось. В апреле сам Шетарди стал убеждать Лестока, что Елисавете необходимо дать шведам письменное обязательство. На уверение посла, что король его заботится только о цесаревне и ее выгодах, Лесток от имени Елисаветы объявил, что она относительно внешних средств полагается совершенно на волю королевскую; относительно же внутренних – ограничивается суммою в 100000 рублей на случай, если б в решительную минуту понадобилось привлечь на свою сторону того или другого. Шетарди отвечал, что король охотно доставит средства на покрытие издержек, как только будет указано, каким образом можно будет при этом сохранить тайну. Потом посол перешел к настоящему делу: отдаленность препятствует королю действовать непосредственно, он может вооружить только своих союзников, соседей России, т.е. шведов, которые сами хорошо расположены к цесаревне; но у них все зависит от сейма: пусть цесаревна обещает существенные выгоды и этим даст шведскому королю возможность убедить подданных к начатию войны. Лесток отвечал, что цесаревна не скрывает от себя невозможности побудить шведов даром оказать ей помощь. «Итак, – сказал Шетарди, – пусть же она подтвердит то, что считает необходимым; пусть передаст мне на письме, что хотела бы она устроить в случае успеха предприятия. Бумага никогда не выйдет из моих рук. Король, мой государь, уведомленный только о ее содержании, будет в состоянии принять меры убедить шведов, и, когда успех увенчает дело, его величество может взять на себя оценку обещаний принцессы и, ставши посредником между нею и Швециею, укрепит мир, столь необходимый между двумя соседственными государствами. Я так сильно желаю видеть цесаревну в положении, которого она сама может и должна желать, что не скрою от вас ни одной из причин, которые должны побудить ее к исполнению того, что я сказал. Вам не безызвестно, каким образом поступает русский двор с Швециею в продолжение многих лет. Терпение имеет пределы. Предпринятые Швециею вооружения, кажется, доказывают это. Зачем цесаревне допускать, чтобы они принесли пользу другим, а не ей? Не обманывайтесь: правительница, принц Брауншвейгский и граф Остерман чувствуют, что они здесь иноземцы, а правительство такого рода для поддержания себя очень неразборчиво в средствах, мало смотрит на жертвования, лишь бы отделаться от войны и купить мир у шведов, которые не упустят воспользоваться таким случаем; что из этого выйдет? Цесаревна потеряет все и не будет иметь ни малейшей надежды на будущее. Я пойду далее и скажу вам, что если шведы не вступят заранее в соглашение с цесаревною на прочных основаниях, то они выскажутся в пользу внука Петра I. Не имея в том препятствия, они вернее возведут на престол герцога Голштинского, тогда как Цесаревна увидит себя лишеною принадлежащего ей и удаленною от трона навсегда. Другое соображение, менее важное, но все же могущее иметь влияние на успех ее планов: она довольна стараниями, которые видит с моей стороны, но положение, в которое я поставлен, и встречаемые мною

затруднения, вероятно, должны ускорить мой отъезд, и у цесаревны, лишенной и без того помощи, будет менее одним человеком, которому, как доказал опыт, она могла совершенно довериться «.

Сыграно было на всех струнах. Лесток отправился с этими внушениями к Елисавете и в следующее свидание принес ответ, что цесаревна очень тронута доказательствами усердия, постоянно показываемого посланником; она желала бы отплатить ему, следуя его внушениям, но она всегда будет опасаться упреков от своего народа, если для достижения престола нанесет ему ущерб какими-нибудь уступками. Лесток именем Елисаветы спрашивал у Шетарди, нельзя ли будет удовлетворить шведов значительною суммою денег, которая была бы в состоянии вознаградить их за издержки и потери. «Цесаревна надеется, – продолжал Лесток, – что вы войдете в ее положение и согласитесь, что как дочь Петра I она должна соблюдать крайнюю осторожность относительно завоеваний своего отца, стоивших ему так дорого». «Король, – отвечал Шетарди, – хочет одного – видеть цесаревну на престоле – и готов оказать содействие, если только она даст ему возможность к тому. Его величество, как бы ни был рад подать помощь, будет, впрочем, одинаково доволен, каким бы способом цесаревна ни достигла престола. Следовательно, ей надобно обдумать, может ли она этого достигнуть своими собственными средствами. Если может, тем лучше: развязка будет более славна для нее, и помощь иностранная сделается ей бесполезною». «Но как вы хотите, чтоб она сама этого достигла?» – возразил Лесток. «В таком случае, – отвечал Шетарди, – опять дело цесаревны обдумать, может ли она надеяться на счастливый исход дела без помощи шведов. Надобно, чтоб она доставила королю средство служить ей или совершенно отказалась бы от надежды царствовать. Она тем более должна увериться в этой истине, что не может не признать, как поддается русский народ тяжести слепого рабства, и лишь только она отложит исполнение своего намерения, то этот же народ так привыкнет повиноваться настоящему правительству, что не будет более отличать иноземца, завладевшего властью, от законного государя».

Этими объяснениями переговоры надолго прекратились. Лесток не являлся к Шетарди; а между тем Нолькен получил от своего правительства дозволение на отъезд из Петербурга, с тем, однако, что предварительно достанет от Елисаветы письменное удостоверение, без которого секретный комитет ничего не может сделать. Несмотря на молчание Елисаветы, Шетарди настаивал, что для Швеции необходимо объявить войну; он писал: «Если бы даже шведы не могли ожидать себе помощи изнутри России, то я тем не менее убежден в необходимости для них воспользоваться этою минутою. Россия была очень привержена к австрийскому дому, отныне она будет предана ему окончательно, а если венский двор будет здесь посредственно царствовать, то от этого будет постоянный вред для Швеции и ее союзников. Напротив, если принцессе Елисавете будет проложена дорога к трону, то можно быть убежденным, что претерпенное ею прежде и любовь ее к своему народу побудят ее удалить иностранцев и совершенно довериться русским. Уступая склонности своей и народа, она немедленно переедет в Москву; знатные люди обратятся к хозяйственным занятиям, к которым они склонны и которые принуждены были давно бросить; морские силы будут пренебрежены, и Россия мало-помалу станет обращаться к старине, которая существовала до Петра I и которую Долгорукие хотели восстановить при Петре II, а Волынский – при Анне.

Такое возвращение к старине встретило бы сильное противодействие в Остермане; но со вступлением на престол Елисаветы последует окончательное падение этого министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от могущественного врага, который всегда будет против них, всегда будет им опасен. Елисавета ненавидит англичан, любит французов; торговые выгоды ставят народ русский в зависимость от Англии; но их можно освободить от этой зависимости и на развалинах английской торговли утвердить здесь французскую».

Шетарди напрасно старался убедить свой двор в выгодах правительственного переворота в России: версальский двор и без него понимал эти выгоды, понимал, что Елисавете трудно дать обязательство вознаградить Швецию из отцовских завоеваний; но он понимал также, что Швеция может надеяться на успех только в случае движения Елисаветиной партии, а об этом движении Шетарди не мог уведомить. Стали ходить зловещие слухи, что правительство знает о заговоре и медлит только для того, чтоб вернее захватить заговорщиков. Со стороны принца Антона, т.е. со стороны Остермана, явились попытки привлечь гвардейцев на свою сторону благодеяниями. Принц велел позвать к себе капитана Семеновского полка, ревностного приверженца Елисаветы, и в присутствии генерала Стрешнева, зятя Остермана, спросил: «Что с тобою? Я слышу, ты грустишь, разве ты недоволен?» Капитан отвечал, что имеет причины грустить: у него большое семейство и маленькое имение, далеко, около Москвы, что лишает возможности извлекать из него доход. «Я ваш полковник, – сказал на это принц, – и хочу, чтоб вы благоденствовали и были моими друзьями; обращайтесь ко мне с откровенностью, и я всегда буду поступать так, как теперь». При этих словах принц подал ему кошелек с 300 червонцами. Стрешнев был тут не даром: когда капитан вышел от принца, он подошел к нему и начал расхваливать и принца, и жену его, указывал, как вся Европа уважает их, доказательство – такой съезд иностранных министров в Петербурге, какого прежде не бывало; а цесаревна не пользуется уважением ни иностранных государей, ни своего народа, и кто не хочет попасть в беду, тот должен держаться настоящего правительства. Шетарди и Нолькен справедливо заключили, что вся эта история показывает, до какой степени дошли слабость и трусость правительства. Но в их глазах, и в противном лагере не было храбрее. Лесток объявил присланному к нему секретарю Нолькена, что ему нельзя больше бывать у посланника, что как скоро он придет к нему, то будет арестован при выходе; даже у себя, разговаривая с секретарем, он обнаруживал сильное беспокойство: при малейшем шуме на улице он кидался к окну и считал себя погибшим; про цесаревну говорил, что она должна бояться яда или какого-нибудь насилия. А между тем во Франции сердились на медленность, с какою шло дело в Петербурге; министр писал Шетарди: «Дело Елисаветы нечувствительно клонится к упадку; она действует так, как будто переменяла намерение, в чем не смеет, однако, признаться; я не могу скрыть своего опасения, что Елисавета отступит в ту самую минуту, когда шведы приступят к делу; это подвергнет страшной опасности шведские предприятия и чрезвычайно повредит нам; с одной стороны, не будет никакой диверсии в пользу шведов от волнения приверженцев Елисаветы, с другой – нарекания падут на нас, потому что мы побуждали Швецию высказаться и действовать».

Шетарди складывал вину на Нолькена, который подал своему двору слишком много надежд, на робость Лестока и Елисаветы. «Напрасны старания вылечить

людей от страха», – писал он. Во второй половине мая один из агентов Нолькена приходил сказать ему, что гвардейские офицеры выходят из терпения и просят выразить цесаревне, что ее молчание удивляет их, что она должна разъяснить им, как они могут услужить ей. В начале июня гвардейские офицеры, подстерегая минуту говорить с цесаревною, приступили к ней в Летнем саду, и один начал говорить: «Матушка! Мы все готовы и только ждем твоих приказаний, что наконец велишь нам». «Ради бога молчите, – отвечала Елисавета, – чтоб вас как-нибудь не услышали; не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно: время еще не пришло; я велю вам тогда сказать заранее».

Нолькен уезжал и на прощальной аудиенции у Елисаветы употребил все свое красноречие, чтоб убедить Елисавету дать ему письменное обязательство, совершенно необходимое для него как оправдательный документ, на основании которого он мог решительно говорить в Стокгольме, – и все понапрасну. Елисавета относилась очень холодно к делу, давала заметить, что не помнит хорошенько, в чем оно состоит, что Лесток неясно передавал ей содержание требований Нолькена. Тот с удивлением заметил, что копия, писанная Лестоком месяца три тому назад, находится у нее на руках. Елисавета отвечала, что не знает, где теперь эта бумага. «Подлинник у меня в кармане, – сказал Нолькен, – и в одну минуту дело может быть окончено, потому что стоит только вашему высочеству подписать и приложить свою печать». Но Елисавета отвечала, что теперь она этого не может сделать, потому что тут находится придворный, на которого она не полагается. Отказываясь дать письменное обязательство, цесаревна уверяла Нолькена в своей благодарности Швеции за ее доброе расположение, уверяла, что первые движения с шведской стороны произведут немедленное действие в России, что она ждет только этой минуты, чтоб положить конец предосторожностям, которые принуждена соблюдать теперь. Нолькен хотел убедиться по крайней мере, действительно ли партия Елисаветы сильна и ждет первого движения со стороны шведов: он спросил, точно ли капитан гренадеров, получивший 300 червонных от принца Брауншвейгского, встретил ее несколько дней тому назад на дороге и предлагал ей располагать его ротою; точно ли между 160 гвардейскими офицерами 54 готовы стоять за нее. Елисавета отвечала утвердительно и обещала за себя и за свою партию действовать мужественно, как скоро шведы доставят возможность действовать наверное. На прощание она сказала, что на другой день прилетит к Нолькену Лесток; посланник надеялся, что медик привезет письменное обязательство; Лесток приехал, но желанной бумаги не привез: привез только письмо для доставления племяннику Елисаветы, герцогу Голштинскому.

Лесток оправдывался пред Нолькеном, уверяя, что исправно передавал все ему поручаемое, но что цесаревна сердилась на него по несколько дней за напоминание о письменном обязательстве, что он не мог настаивать при мысли, что Нолькена могли схватить, несмотря на его посланнический характер, и письменное обязательство, найденное между его бумагами, погубило бы Елисавету и ее приверженцев. Нолькен предложил ему хороший подарок, и Лесток обещал за это употребить последнее усилие и приехать еще раз. Но посланник ждал его напрасно и выехал из Петербурга 23 июня. Шетарди писал своему двору: «Я действительно полагаю, что ничего нельзя ожидать от

приверженцев Елисаветы до тех пор, пока они не увидят, что их поддерживают. Я надеялся и могу надеяться, что они, судя по недовольству и волнениям, здесь царствующим, не изменят своим обещаниям. Трудно будет потом найти подобные обстоятельства, если пропустить их теперь. Признаюсь, однако, что чрезвычайная, слабость принцессы Елисаветы и нерешительность ее относительно людей, к которым она должна была бы иметь всего более доверенности, стоят того, чтоб ее удалить от престола и возвести на него молодого герцога Голштинского. Но это противоречило бы главной цели, ибо в таком случае, пожалуй, одно иностранное правительство заменится другим; тогда как если Елисавета будет на троне, то любезная России старина одержит, вероятно, верх. Быть может (и весьма было бы желательно не обмануться в этом), в царствование Елисаветы при ее летах старина успеет укорениться настолько, что племянник ее привыкнет к ней и когда вступит на престол, то не будет уже иметь понятия ни о чем другом».

Шетарди не обманывался, что в движении в пользу Елисаветы дело шло о национальном интересе, национальной чести, что иностранного правительства больше не хотели; это было так очевидно, что даже иностранцу нельзя было ошибиться. Но француз жестоко обманывался, предполагая, что торжество национального интереса будет иметь следствием возвращение русских к допетровским временам; странно, как он, понимая деликатность Елисаветы относительно отцовских завоеваний, не понимал, что те же самые побуждения заставят дочь Петра сохранять и развивать все сделанное при Петре: в такое странное заблуждение Шетарди мог быть приведен только сильным национальным движением, кидавшимся в глаза, и неумением разобрать, в чем заключалась сущность этого движения.

В июле приверженные к Елисавете гвардейские офицеры были сильно обеспокоены слухами, что цесаревну хотят выдать замуж за брата принца Антона, принца Людовика, назначавшегося, как мы видели, в герцоги Курляндские. Действительно, правительнице было внушено насчет выгод этого брака: с одной стороны, Елисавета будет привязана к Брауншвейгскому дому, с другой – удалена в Курляндию. Но Елисавета объявила, что никогда не выйдет замуж; успокоила на этот счет и офицеров. Правительнице очень тяжело было, однако, расстаться с этим планом; она в это время разрешилась от бремени дочерью Екатериною: лежа в постели после родов, она приняла однажды поутру обер-гофмаршала Левенвольда и наедине говорила ему: «Приехал сюда брат герцога-генералиссимуса, и желается мне его в брачный союз привести с цесаревною Елисаветою; не можете ли вы с тою пропозициею идти к ней?» Левенвольд, зная, что это будет понапрасну, отговорился, что ему неприлично идти с пропозициею; не соизволит ли она сама о том с цесаревною поговорить.

Нолькен, уезжая, передал дело секретарю посольства Лагерфлихту. В конце июля Елисавета дала ему знать, что если шведы будут еще медлить, то расположение умов может измениться; надобно спешить, потому что правительство не щадит ни обещаний, ни наград для приобретения себе приверженцев. Против шведов решено действовать быстро, но этого нечего бояться: русские дадут слабый отпор, как скоро шведы явятся защитниками прав Петра I. Лагерфлихт сейчас же передал это Шетарди, и тот велел отвечать, что если дела идут не так быстро, то виновата она сама: отказавшись подписать обязательство, она лишила тайный комитет в Стокгольме возможности

действовать с желаемую быстротою; впрочем, в ее власти поправить дело, поспешив дать письменное обязательство. Елисавета велела отвечать Лагерфлихту, что страх выдать себя и своих, в случае если бы дела пошли дурно, решительно не позволяет ей подписать требования, но что она подпишет, когда дела примут хороший оборот и она будет в состоянии делать это безопасно. Ее обещания заключаются в следующем: 1) вознаградить Швецию за военные издержки, считая со времени первого транспорта войск в Финляндию; 2) давать Швеции субсидии во все продолжение своей жизни; 3) предоставить шведам все торговые преимущества, которыми пользуются англичане; 4) отказаться от всех трактатов и конвенций, заключенных между Россией, Англией и австрийским домом, и ни с кем не вступать в союзы, кроме Франции и Швеции; 5) содействовать во всех случаях выгодам Швеции и тайно ссужать деньгами, когда она будет в них нуждаться. Донося своему двору об этом, Шетарди писал: «Видно, с каким старанием хотела в этих статьях избежать всякого намека на земельные уступки».

Наконец шведы объявили войну, и Шетарди писал своему двору о внушениях, которые он получил из дворца Елисаветы: «Считают очень важным, чтоб герцог Голштинский был при шведской армии, не сомневаясь, что русский солдат положит перед ним оружие в минуту сражения: так сильно в нем отвращение сражаться против крови Петра I. Думают, что было бы очень полезно публиковать в газетах, что герцог Голштинский в армии или по крайней мере в Швеции. Желают, чтоб между войсками и внутри страны было распространено письмо, в котором бы указывалось на опасность для религии при иноземном правлении». Шетарди требовал также, чтобы шведы издали прокламацию, что они восстали для поддержки прав потомства Петра I. В конце августа Шетарди имел разговор с Елисаветою на придворном балу. Недалеко стоял принц Людвиг Брауншвейгский, и Елисавета начала насмешками над ним и выходками против мысли выдать ее за него замуж. «Эти люди, – говорила она, – думают, что у других нет глаз, когда сочиняют такие прекрасные проекты; сами-то слепы: правительница говорила мне недавно шутя, что, без сомнения, скоро будут думать, что граф Линар и девица Менгден сделаются новыми герцогом и герцогинею Курляндскими». Елисавета жаловалась на высокомерный тон, который уже принял Линар, на оскорбительные поступки с нею: так, за обедом при дворе по случаю дня рождения императора принц Антон и брат его были посажены за стол обер-гофмаршалом, а она – простым гофмаршалом. Цесаревна объявила Шетарди, что ее партия увеличивается и в числе самых усердных приверженцев своих она может считать всех князей Трубецких и принца Гессен-Гомбургского, что в Ливонии все недовольны и преданы ей, что, судя по расположению умов, предприятие будет иметь счастливый успех.

Через несколько времени после этого Шетарди в лесу под Петербургом имел свидание с поверенным цесаревны, который объявил ему, что все гвардейские солдаты, отправленные в поход, привержены к Елисавете. Она приказала каждому из них дать по 5 рублей, и на замечание относительно такой щедрости она выразила правительнице крайнее удивление, что считают новостью то, что она делала открыто во все времена для тех солдат, у которых крестила детей. Поверенный заметил Шетарди, что хотя цесаревна для покрытия этих издержек удержала жалованье у всех своих придворных, но денег у нее все же нет, тогда как

в настоящие минуты надобно быть щедрою, поэтому цесаревна была бы очень обязана королю, если б он мог ссудить ее 15000 червонных. Шетарди немедленно мог выдать только 2000. Потом поверенный стал перечислять людей, недоброжелательных к цесаревне, и больше всего дурно отзывался об Остермане; из его слов можно было видеть, что с восшествием на престол Елисаветы тот лишится всех своих должностей: цесаревна видела в нем человека неблагодарного, позабывшего, что он обязан всем ее отцу и матери. Наоборот, Бирон должен ожидать всего хорошего при перемене правительства. Шетарди был очень рад слышать о дурном расположении цесаревны относительно Остермана, но ему не понравилось слишком доброе расположение ее к Бирону. Превознося благодарность Елисаветы как признак прекрасной души, он начал, однако, внушать поверенному, что будет совершенно достаточно, если Елисавета возвратит свободу Бирону, даст ему средства жить прилично и спокойно в каком-нибудь русском городе, даже возьмет детей в службу; но она повредит себе, возбудив сильное неудовольствие, если захочет снова приблизить его ко двору. Поверенный заметил, что цесаревна и сама хочет только ограничиться тем, что советует посланник. Таким образом, Елисавета с своими приближенными уже толковала о том, как, сделавшись императрицею, накажет людей, к ней нерасположенных, и наградит тех, которые заслужили ее благодарность. Следовательно, надежда сменяла страх, и можно думать, что страх нарочно усиливали пред Нолькеном и Шетарди, чтоб отговориться от неприятных объяснений по известным обязательствам, требуемым Швециею. Надежду поддерживала слабость правительства, доказательством которой служил явный ропот, вольные суждения о его действиях. Шведская война в народе, миролюбивом по преимуществу, как русский, сильно увеличила неудовольствие, которое особенно должно было пасть на Остермана, не умевшего сохранить мир, и обычным припевом ропота служило то, что от иностранца нечего ждать хорошего для России, что Остерман брал деньги с иностранных дворов. Шведской войны не было бы, если б Остерман следовал системе Петра Великого, заключил тесный союз с Франциею и Пруссиею: тогда нечего было бы бояться ни шведов, ни турок. Теперь шведская война, когда еще не оправились после турецкой; турки могут опять подняться, пожалуй, поднимутся и персияне, а башкиры и калмыки воспользуются этим, чтоб свергнуть русское подданство. Что же изо всего этого выйдет? То, что, может быть, завтра вместо Антоновича будет на престоле внук Петра Великого: это уже тем выгоднее, что герцог Голштинский на возрасте, через три года может царствовать сам. Недовольные сравнивали настоящее с недавним прошедшим, с царствованием Анны, с бироновщиною, и находили возможность отдавать преимущество этому прошедшему: тогда кадили только двум идолам, а теперь обязаны кадить дюжине. Правительница с своими фаворитами и фаворитками уничтожает то, что делает ее муж с Остерманом, эти оплачивают тем же. Правительница становится день ото дня неприступнее, а цесаревна Елисавета принимает так, что, войдя к ней, не хочется уйти. Хорошего впереди ждать нечего, правительница не терпит мужа: часто Юлия Менгден запрещает ему входить в комнату принцессы. Других бегают от дикости: правда, что дика, и мать бивала ее за дикость; с одним Линаром не дика. Линар женится на Юлии Менгден; но и Бирон женился на девице Трейден; разница в том, что дети Бирона, Петр и

Карл, хотя были дети Анны, но до России им не было никакого дела, а теперь, быть может, русский престол достанется Линаровым детям.

Но вот война, возбудившая такое неудовольствие, идет успешно: шведы разбиты при Вильманштранде. Правительство торжествует; во дворце Елисаветы сильное раздражение против подобных союзников, против Нолькена, который обманул, не сделал ничего: герцога Голштинского нет при шведской армии, нет манифеста, что шведы действуют в пользу потомства Петра Великого, а манифест имел бы громадный успех. Елисавета обратилась к Шетарди за подробностями о Вильманштрандской битве: нет ли каких обстоятельств, которыми можно было бы воспользоваться для успокоения ее приверженцев. Шетарди успокаивал тем, что шведов было очень мало, что не следует приходить в отчаяние от первой неудачи и предполагать, что вдруг можно было сделать все то, что было условлено с Нолькеном. В половине сентября Елисавета виделась сама с Шетарди: она начала разговор благодарностью Людовику XV за ссуду 2000 червонных, просила уверить короля, что она во всю жизнь свою постарается доказывать ему свою благодарность и просит его содействия для окончания дела. Шетарди уверял ее в помощи своего короля, но требовал, чтоб она и сама помогала делу, чтоб ее партия действовала. «Действия моих приверженцев будут безуспешны, – отвечала Елисавета, – пока с шведской стороны не будет сделано всего того, что обещано. Русский народ способен к привязанности и самоотвержению, но его трудно заставить решиться. Чтоб побудить его к решительному действию, всего лучше издать манифест, что шведы идут на помощь потомству Петра Великого. Король также должен убедить Швецию, чтоб в ее войске находился герцог Голштинский. Офицеры и солдаты, отправлявшиеся в Финляндию, высказывали на этот счет необыкновенное одушевление; чтоб оставить их в уверенности относительно присутствия герцога в шведском войске, я говорила им, чтоб не убивали по крайней мере моего племянника. Он возбуждает живейшие беспокойства правительницы, как бы она ни старалась скрывать их. Вот что случилось накануне отъезда Линара в Саксонию. Он присутствовал на совещании, бывшем у Остермана. Принц Антон, возвратившись оттуда, сначала все глубоко вздыхал, а потом громко сказал, что напрасно не следовали советам Линара. Эти советы состояли в том, чтоб подвергнуть меня допросу насчет тайных сношений с Швециею и во всяком случае заставить меня подписать отречение от престола. Но в этом *случае* правительница оказалась рассудительнее их. «К чему это послужит, – отвечала она также со вздохом, – разве нет там чертенка (разумея герцога Голштинского), который будет всегда мешать нашему спокойствию?»»

В конце разговора Шетарди спросил Елисавету, говорила ли ей пять или шесть месяцев тому назад госпожа Каравак (жена придворного живописца) о браке. Елисавета отвечала, что эта женщина действительно бывает у нее, но никогда не имела случая делать ей подобные предложения. «Но какой же это брак?» – «С французским принцем», – отвечал Шетарди. «Я могу вас уверить, – сказала Елисавета, – что это пустой слух, нет ни одного слова правды. Вы должны быть тем более уверены в том, что я давно решила никогда не выходить замуж и тем менее буду слушать предложения Каравак, что было бы неблагоразумно обижать правительницу и ее мужа, потому что я прямо отвергла довольно глупое предложение, сделанное мне принцем Людовиком Брауншвейгским». «Это было

сказано так определенно, что не представлялось возможности настаивать», – писал Шетарди. Французский жених был принц Конти.

Толкуя с Шетарди об осторожности, с какою обязана была поступать, Елисавета под влиянием своего нового положения и слабости правительства не могла иногда сдерживаться. Так, в октябре она не могла сдержаться относительно Остермана, которого считала главным своим врагом, которого боялась как самого умного приверженца настоящего правительства, следовательно, как самого способного повредить ей; ненависть была слишком велика к человеку, обязанному всем отцу и матери и более всех вредившему дочери; страстная натура брала верх над благоразумием, заставлявшим не высказывать своих чувств врагу, еще сильному. Персидский посланник привез дары всем членам царского дома и желал вручить их лично; но ему не позволили этого сделать относительно Елисаветы. Та сильно обиделась и, приписывая дело Остерману, сделала против него жестокую выходку пред гофмаршалом Минихом и генералом Апраксиным, которые явились к ней с дарами: «Скажите графу Остерману: он мечтает, что всех может обманывать; но я знаю очень хорошо, что он старается меня унижать при всяком удобном случае, что по его совету приняты против меня меры, о которых великая княгиня по доброте своей и не подумала бы; он забывает, кто я и кто он, забывает, чем он обязан моему отцу, который из писцов сделал его тем, что он теперь; но я никогда не забуду, что получила от бога, на что имею право по моему происхождению». Эта выходка произвела сильное впечатление; иностранные министры поспешили передать о ней своим дворам.

Елисавета могла безнаказанно делать выходки против Остермана: человек, которого недавно величали царем всероссийским, должен был теперь бороться за сохранение своего значения и при настоящем правительстве. Главный враг его граф Головкин не был опасен по своей недаровитости, болезненности и отсутствию энергии; но Головкину помогали другие: генерал-прокурор князь Трубецкой и австрийский посланник Ботта, который, видя, что Остерман холодно относится к интересам Марии Терезии, передался на сторону Головкина и сделался его гувернером, по выражению английского посланника Финча. Но борьба с Остерманом была трудна, особенно в такое смутное время; и как прежде Бирон для противодействия Остерману ввел в Кабинет сперва Волынского, а потом Бестужева, так и теперь партия, противная Остерману, для той же цели решается призвать снова Бестужева. В движении против Остермана, который «запечатал Камень веры», Головкин и Трубецкой нашли верного союзника в новгородском архиепископе Амвросии Юшкевиче; всем вместе удалось уговорить правительницу возвратить Бестужева из ссылки. И вот Алексей Петрович снова в Петербурге и прежде всех иностранных министров делает визит маркизу Ботта.

Между тем одно из желаний Елисаветы было исполнено: Шетарди привез ей манифест, изданный шведским главнокомандующим графом Левенгауптом для «достохвальной русской нации», которой объявлялось, что шведская армия вступила в русские пределы только для получения удовлетворения за многочисленные неправды, причиненные шведской короне *иностранными* министрами, господствовавшими над Россией в прежние годы, для получения необходимой для шведов безопасности на будущее время, а вместе с тем для освобождения русского народа от несносного ига и жестокостей, которые позволяли себе означенные министры, чрез что многие потеряли собственность,

жизнь или сосланы в заточение. Намерение короля шведского состоит в том, чтоб избавить достохвальную русскую нацию для ее же собственной безопасности от тяжкого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнью и имуществом, а со шведами сохранять доброе соседство. Этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и для собственных целей будут господствовать над русскими и их соседями-союзниками. Вследствие таких справедливых намерений его королевского величества должны и могут все русские соединиться со шведами, и, как друзья, отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величества, и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления.

Елисавета очень обрадовалась манифесту, но в противном лагере он, разумеется, произвел противоположное действие. Обер-гофмаршал Левенвольд услышал об нем от принца Антона, а потом, когда приехал к Остерману, то хозяин прочел его ему и начал рассуждать, что в манифесте о чужестранных весьма противно написано и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии; другого теперь делать нечего, как лучшую военную предосторожность взять, и надобно определить, что, где такие манифесты явятся, в народе их не разглашать, а собирать в Кабинет, и чтоб он, Левенвольд, донес об этом правительнице. Левенвольд согласился. При свидании с правительницею она спросила его, слышал ли про манифест. Левенвольд отвечал, что слышал и что он о чужестранных, о министерстве и о незаконном наследстве очень остро написан и касается самой фамилии, причем упомянул о мере против распространения манифестов, указанной Остерманом. Принцесса сказала на это: «Правда, очень остро писан», и тем дело кончилось. Остерман, однако, не позабывал о манифесте: от имени русского главнокомандующего он написал письмо к Левенгаупту, что манифест, подписанный его именем, оставлен в деревне шведским отрядом; по всему видно, что манифест выдан подложно под его именем, потому что такие манифесты между христианскими и политическими народами не в употреблении. Член Иностранной коллегии и правая рука Остермана, Бреверн принес это письмо Левенвольду, с тем чтоб тот отдал его правительнице. Анна Лоопольдовна, взявши письмо, сказала: «Хорошо» – и оставила его у себя.

Остерман напрасно беспокоился насчет манифеста; цесаревна Елисавета напрасно радовалась ему: нет сомнения, что он не произвел бы никакого действия, если бы даже и был распространен.хлопоты о манифесте, хлопоты о присутствии молодого герцога Голштинского при шведском войске происходили со стороны Елисаветы от желания, чтоб дело началось как-нибудь и именно началось в войске. Мы уже упоминали, в каком затруднительном положении находилась она: у нее было множество приверженцев, за нее была гвардия, и, однако, не было человека, который бы стал во главе движения, сделал бы для нее, во имя ее то, что сделал Миних для Анны Леопольдовны. Елисавета должна была сама начать дело, сама вести солдат: легко понять, как ей трудно было на это решиться, как она должна была медлить и ждать, не начнут ли другие, не встанет ли войско в Финляндии, возбужденное манифестом или присутствием внука Петра Великого в шведской армии. Но долее медлить было нельзя. 23 ноября в понедельник был

обыкновенный прием (куртаг) во дворце; Шетарди заметил, что правительница, долго ходив взад и вперед, отправилась в отдаленную комнату, куда велела позвать Елисавету, которая, возвращаясь оттуда, имела взволнованный вид. На другой день поверенный сообщил Шетарди, что разговор, так взволновавший цесаревну, шел об нем: описавши его самыми черными красками, Анна объявила, что решилась просить короля об его отозвании из Петербурга, и внушала Елисавете, что она не должна более принимать такого человека. Елисавета отвечала, что это ей трудно сделать: можно сказать посланнику раз, два, что ее нет дома, нельзя сказать этого в третий раз; вчера, например, Шетарди подъехал к ее дому в ту самую минуту, когда она, выйдя из саней, входила к себе. Правительница, не обратив внимания на эту отговорку, продолжала настаивать на своем. Тогда Елисавета сказала: «Можно сделать гораздо проще: вы правительница, прикажите Остерману сказать Шетарди, чтоб не ездил ко мне более». Правительница отвечала, что так нельзя сделать, нельзя раздражать таких людей, как Шетарди, и подавать им явный повод к жалобам. Елисавета возразила, что если Остерман, будучи главным министром, имея повеление правительницы, не смеет этого сделать, то она, цесаревна, тем менее решится на это. Правительница, раздосадованная противоречием, приняла повелительный тон; Елисавета в свою очередь возвысила голос.

Разговор этот трудно выдумать: по всем вероятностям, он был веден на самом деле и был передан Шетарди исключительно так, как всего более должен был интересоваться его. Но, как видно, была вторая половина разговора, которая должна была гораздо сильнее взволновать Елисавету; по другим известиям, правительница сказала ей: «Что это, матушка, слышала я, будто ваше высочество имеете корреспонденцию с армиею неприятельскою и будто ваш доктор ездит к французскому посланнику и с ним факции в той же силе делает; в письме из Бреславля советуют мне немедленно арестовать лекаря Лестока; я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, что если Лесток окажется виноватым, то вы не рассердитесь, когда его задержат». Елисавета отвечала: «Я с неприятелем отечества моего никаких альянцев и корреспонденций не имею, а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю».

Это был первый серьезный разговор с правительницею, из которого Елисавета должна была понять всю опасность своего положения. Если уже Анна Леопольдовна решилась высказаться, то чего ждать со стороны Остермана; правда, Анна Леопольдовна в разладе с мужем и Остерманом; но общая беда легко может их соединить, и правительница в своих решениях против Елисаветы будет точно так же оправдываться, как и в решениях против Миниха: «Муж и Остерман не давали мне покоя». Лестока возьмут, станут пытаться, и чего он тогда не наскажет на себя и на Елисавету! Таким образом, разговор с правительницею 23 ноября должен был побудить Елисавету действовать; событие следующего дня не оставило ей возможности сколько-нибудь еще промедлить своим движением.

24 ноября в 1 часу пополудни правительство отдало приказ по всем гвардейским полкам быть готовыми к выступлению в Финляндию против шведов на основании, как говорили, полученного известия, что Левенгаупт идет к Выборгу; но во дворце Елисаветы поняли так, что правительство нарочно хочет удалить гвардию, зная приверженность ее к цесаревне, и люди близкие, Воронцов,

Разумовский, Шувалов и Лесток, начали настаивать, чтоб Елисавета немедленно с помощью гвардии произвела переворот. Легко понять, чего стоило женщине, не привыкшей к деятельности, уступить этим настояниям. Елисавета представляла своим советникам всю опасность предприятия, на что Воронцов сказал: «Подлинно, это дело требует немалой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого». Эти слова могли подстрекнуть самолюбие Елисаветы; но надобно признать, что Елисавета, согласившись вести гвардию, действительно доказала, что она дочь Петра Великого. Разумеется, больше всех торопил Лесток, который каждую минуту ждал, что придут арестовать его; он требовал, чтоб немедленно было послано за гренадерами. После, уже будучи в изгнании, он рассказывал одному французскому путешественнику, будто Елисавета никак не соглашалась начать дело и он убедил ее тем, что показал две картинки, нарисованные наскоро на игральных картах: на одной была представлена Елисавета в монастыре, где ей обрезают волосы, на другой – вступающею на престол при восторгах народа; Лесток предложил ей на выбор то или другое, и Елисавета выбрала последнее. Лесток мог рисовать подобные картинки на картах: это было совершенно в его духе; но, разумеется, Елисавета в решительную минуту не имела нужды в таком детски наглядном убеждении: она давно знала, что ей грозят монастырем.

Послали за гренадерами; те явились между 11 и 12 часами ночи и сами первые объявили Елисавете, что должны выступить в поход и потому не будут более в состоянии служить ей, и она совершенно остается в руках своих неприятелей, так нечего терять ни минуты. На вопрос Елисаветы, может ли она на них положиться, гренадеры отвечали клятвенными уверениями в преданности. Елисавета заплакала, велела им выйти из комнаты, а сама начала молиться на коленях пред образом Спасителя; есть известие, что в эту-то страшную минуту она дала обещание не подписывать никому смертных приговоров. Помолившись, она взяла крест, вышла к гренадерам и привела их к присяге, сказавши: «Когда бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей, а теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду». Был уже второй час пополудни 25 ноября, когда Елисавета, надев кирасу на свое обыкновенное платье, села в сани и отправилась в казармы Преображенского полка в сопровождении Воронцова, Лестока и Шварца, своего старого учителя музыки. Приехавши в гренадерскую роту, извещенную уже заранее о ее прибытии, она нашла ее в сборе и сказала: «Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною!» Солдаты и офицеры закричали в ответ: «Матушка! Мы готовы, мы их всех перебьем». Озадаченная таким диким выражением усердия, Елисавета сказала: «Если вы будете так делать, то я с вами не пойду». Умерив этими словами излишнее усердие, Елисавета велела разломать барабаны, чтоб нельзя было произвести тревоги, потом взяла крест, стала на колени, а за нею и все присутствующие, и сказала: «Клянусь умереть за вас; клянётесь ли умереть за меня?» «Клянемся», – прогремела толпа. «Так пойдёмте же, – сказала Елисавета, – и будем только думать о том, чтоб сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало».

Елисавета отправилась из казармы в Зимний дворец; она ехала в санях, окруженная гренадерами. Действия Миниха при аресте Бирона служили примером: мало было арестовать Брауншвейгскую фамилию, нужно было прежде

или по крайней мере одновременно арестовать людей, к ней приверженных, могших быть опасными для возникающей власти. Начали с Миниха: с дороги отправлен был отряд арестовать его в его доме, где караульный унтер-офицер был уже предупрежден. Проходя Невским проспектом, арестовали графа Головкина и барона Менгдена. Достигши конца проспекта, послали 20 гренадер объявить домовый арест обер-гофмаршалу Левенвольду и его клиенту морскому генерал-комиссару Лопухину, тогда как 30 других гренадер отправлены были арестовать Остермана. Здесь, на конце Невского проспекта, когда уже стали приближаться к Зимнему дворцу, гренадеры посоветовали Елисавете для избежания шума выйти из саней и идти пешком; но едва она сделала несколько шагов, как они стали говорить ей: «Матушка! Так не скоро дойдем, надобно торопиться». Елисавета ускорила шаги, но без привычки ходить скоро никак не могла поспеть за гренADERами. Тогда они взяли ее на руки и донесли до дворца.

Здесь Елисавета отправилась прямо в караульную, где солдаты спросонку, не будучи предупреждены, не знали сначала, что такое делается. «Не бойтесь, друзья мои, – начала им говорить цесаревна, – хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд и теперь терплю и народ весь терпит от немцев. Освободимся от наших мучителей». «Матушка, – отвечали солдаты, – давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем». Но четыре офицера по недоумению или нежеланию не высказались одинаково с солдатами; тогда Елисавета велела арестовать их, причем должны были схватить ружье у одного солдата, который направил было штык на офицера. Покончивши в караульне, Елисавета отправилась во дворец, где не встретила никакого сопротивления от караульных, кроме одного унтер-офицера, которого сейчас же и арестовала. Войдя в комнату правительницы, которая спала вместе с фрейлиною Менгден, Елисавета сказала ей: «Сестрица, пора вставать!» Правительница, проснувшись, сказала ей: «Как, это вы, сударыня!» Увидавши за Елисаветою гренадер, Анна Леопольдовна догадалась, в чем дело, и стала умолять цесаревну не делать зла ни ее детям, ни девице Менгден, с которою бы ей не хотелось разлучаться. Елисавета обещала ей все это, посадила ее в свои сани и отвезла в свой дворец, за ними в двух других санях отвезли туда же маленького Иоанна Антоновича с новорожденною сестрою его Екатериною. Рассказывали, что Елисавета, взявши свергнутого ею императора на руки, целовала и говорила: «Бедное дитя! Ты вовсе невинно; твои родители виноваты».

Дворец цесаревны наполнился гостями: привезли принца Антона вместе с его приятельницею фрейлиною Менгден; привезли еще двоих друзей – Миниха и Остермана, которым обоим досталось от солдат во время арестования: Миниху за то, что его сильно не любили солдаты; Остерману за то, что он вздумал сопротивляться словами: хотел испугать солдат, что они жестоко пострадают за свой поступок, причем неучтиво отозвался об Елисавете. Вздумали сопротивляться президент Менгден с женою и также были избиты солдатами. В домах под арестом остались: незванный жених принц Людвиг Брауншвейгский, граф Головкин с женою и сестрою графинею Ягужинскою, графиня Остерман с детьми и братьями Стрешневыми, камергер Лопухин с семейством и генерал Альбрехт. Елисавета велела призвать принца Гессен-Гомбургского и поручила ему ведать военные силы Петербурга и охранять с ними порядок. Двадцать гренадер сели на лошадей и поскакали в разные концы города для сбора остальных

гвардейских полков; Воронцов, Лесток и Шварц отправились на санях с гренадерами к знатнейшим лицам, духовным и светским, с вестью о случившемся событии и с приглашением ехать немедленно во дворец цесаревны. Фельдмаршал Леси явился сейчас же с уверениями в готовности служить крови Петра Великого; приехал и другой фельдмаршал, князь Трубецкой, адмирал Головин. Явились и статские чины – канцлер князь Черкасский, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-прокурор князь Трубецкой, кабинет-секретарь Бреверн, самый доверенный человек Остермана, но не хотевший теперь разделять участи своего милостивца, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Черкасский, Бревен и Бестужев занялись сочинением следующего манифеста:

«Божиею милостию мы, Елисавет Первая, императрица и самодержица всероссийская, объявляем во всенародное известие: как то всем уже чрез выданный в прошлом, 1740 году в октябре месяце 5 числа манифест известно есть, что блаж. памяти от великие государыни императрицы Анны Иоанновны при кончине ее наследником всероссийского престола учинен внук ее величества, которому тогда еще от рождения несколько месяцев только было, и для такого его младенчества правление государственное чрез разные персоны и разными образы происходило, от чего уже как внешние, так и внутрь государства беспокойства, и непорядки, и, следовательно, немалое же разорение всему государству последовало б, того ради все наши как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки, всеподданнейше и единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасных беспокойств и непорядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всемилостивейше воспрять соизволили и по тому нашему законному праву по близости крови к самодержавным нашим вседражайшим родителям, государю императору Петру Великому и государыне императрице Екатерине Алексеевне, и по их всеподданнейшему наших верных единогласному прошению тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейше воспрять соизволили, о чем всем впредь со обстоятельством и с довольным изъяснением манифест выдан будет, ныне же по всеусердному всех наших верноподданных желанию всемилостивейше соизволяем в том учинить нам торжественную присягу».

К 8 часам утра манифест, форма присяги, форма титулов – все было готово. Елисавета надела Андреевскую ленту, объявила себя полковником трех гвардейских пехотных полков, конной гвардии, кирасирского полка и приняла поздравление особ высших классов; потом вышла на балкон и была встречена громким восклицанием народа; несмотря на жестокую стужу, прошлась и между рядами гвардии, после чего, возвратившись во дворец, принимала знатных дам. В начале 3 часа новая императрица с торжеством переехала из своего старого дома в Зимний дворец и, немного отдохнув, отправилась в церковь к молебну; тут окружили ее Преображенские гренадеры и стали говорить: «Ты, матушка, видела, как усердно мы сослужили тебе свою службу; за это просим одной награды – объяви себя капитаном нашей роты, и пусть мы первые присягнем тебе». Елисавета согласилась.

Большинство ликовало, но были и недовольные, те, которых интересы были связаны с интересами павшего правительства или по крайней мере людей, павших с ним вместе. Мы уже встречались с князем Яковом Шаховским, видели его

отношения к Бирону. Похвалы Волынского, с которым он сблизился, оттолкнули от него Бирона; Волынский обещал ему сенаторство, но после гибели его Шаховской должен был довольствоваться местом советника главной полиции. Сделавшись регентом и желая усилить себя способными людьми, Бирон вспомнил о Шаховском и сделал его управляющим полициею; когда новопожалованный благодарил герцога, тот сказал ему: «Вот, князь Шаховской! Я не забыл дружбу дяди твоего и что я тебя любил; а ты променял было меня на Волынского. Но я все забыл, и будьте уверены, что я всегдашний ваш доброжелатель». Шаховской наивно отвечал: «Мне весьма было надобно благосклонность к себе Волынского честными поведением сыскивать: понеже кабинет-министр, который первейшие государственные дела производит, поверенность и всегдашний к монархине с своими советами доступ имеет, всегда в состоянии просветить или затемнить тех службы и добрые поведения, которые еще далеко за их спинами находятся». Бирон показал благосклонный вид. Падение Бирона понизило Шаховского из начальника полиции в товарищи его, но ненадолго: князь Яков приходился сродни жене графа Головкина, который приблизил его к себе и доставил сенаторское место. День 24 ноября молодой сенатор провел у Головкина по случаю именин жены его: «В обеде, так и в ужине более ста обоего пола персон, а по большей части из знатных чинов и фамилий торжествовали, употребляя во весь день между обеда и ужина, также и потом в веселых восхищениях танцы и русскую пляску с музыкою и песнями, что продолжалось с удовольствием до первого часа, за полночь по домам разъехались. Что ж до меня касалось, то и я уже тут весь же день, как домашний, иногда в потчевании знатнейших гостей, в числе коих и все иностранные министры были, то по несколько хозяину, одному в своей комнате с болезнями борющемся, компанию делал». Шаховской, возвратясь от Головкина, заснул в приятных мыслях, что он уже сенатор и любимец «многомогущего министра» и потому может надолго считать себя счастливым и безопасным от всяких злоключений; но был разбужен стуком в ставень спальни и криком сенатского экзекутора, чтоб ехал как можно скорее во дворец цесаревны, которая изволила принять престол российского правления. Шаховской вскочил и сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, но скоро увидел, что народ толпами бежит по направлению ко дворцу Елисаветы. Шаховской отправился туда же.

Несмотря на то что ночь была темная и мороз большой, улицы были наполнены людьми, полки гвардии шеренгами стояли в ближних ко дворцу улицах и раскладывали огни от стужи, а другие потчевали друг друга вином, и среди шума разговоров громко раздавались восклицания: «Здравствуй, наша матушка императрица Елисавета Петровна!» Шаховской должен был оставить карету и пешком продираться сквозь толпу с учтивым молчанием, слыша более грубых, чем ласковых слов. В дверях дворца увидел он товарища своего сенатора князя Алексея Дмитриевича Голицына; сенаторы спросили друг друга, как это сделалось, и оба отвечали – не знаю. Протеснившись в третью комнату, они остановились, увидав многих знатных господ; тут подошел к ним камер-юнкер цесаревны Петр Иванович Шувалов, поцеловался в знак всеобщей радости и кратко рассказал о случившемся. Едва Шувалов успел окончить свой рассказ, как выбегает из другой комнаты генерал Василий Федорович Солтыков, нерасположенный ни к Шаховскому, ни к Голицыну. Он схватил Шаховского за руку и, громко смеясь, сказал: «Вот сенаторы стоят!» Шаховской отвечал:

«Сенаторы, сударь!» Солтыков захохотал еще громче и закричал: «Что теперь скажете, сенаторы?» Эта сцена привлекла толпу зрителей, и, чтоб выйти из своего странного положения, Шаховской начал говорить Солтыкову: «Что это значит, что вы теперь в такое время, когда все радуются, так нас атакуете? Не находите ли на нас какой метки? Или по высочайшему повелению так с нами поступаете; так бы соизволили нам надлежащим образом объявить; а мы во всем по незазренной совести без боязни отвечать готовы». Солтыков усмирился и отвечал с ласковою улыбкою: «Я, друг мой, теперь от великой радости вне себя и поступил так по дружеской любви, а не по какой другой причине: я вам сердечно желаю всякого благополучия и поздравляю со всеобщею радостью». При этом он расцеловал Шаховского в обе щеки и поспешно скрылся в другую комнату.

Глава вторая

Царствование императрицы Елисаветы Петровны. Конец 1741 и 1742 год

Манифест с объяснением прав Елисаветы на престол. – Намерение относительно Брауншвейгской фамилии. – Приезд герцога Голишинского в Россию. – Возвышение Алексея Петровича Бестужева-Рюмина и Черкасова. – Первые милости. – Возвращение ссыльных. – Лейб-компания. – Суд над Остерманом, Минихом, Левенвольдом и другими; их ссылка. – Восстановление Сената в прежнем значении, какое он имел при Петре Великом. – Управление иностранными делами. – Деятельность Сената. – Отношение к иностранцам. – Драка в Петербурге с иностранными офицерами. – Духовенство. – Выходки проповедников против низвергнутого правительства. – Деятельность Синода. – Финансы. – Промышленность. – Указ о жидях. – Меры относительно крестьян и дворовых людей. – Отъезд двора в Москву. – Коронация Елисаветы. – Милости. – Назначение наследником престола Петра Федоровича. – Распоряжения относительно Москвы. – Заговор Турчанинова. – Положение правительственных лиц в начале царствования Елисаветы. – Их отношения к делам европейским. – Переговоры с Швециею и возобновление войны. – Волнение в русском лагере, направленное против иностранцев. – Возобновление переговоров. – Сношения с Франциею, Англиею, Даниею, Австриею, Пруссиею, польско-саксонским двором, Турциею и Персиею.

Мы видели, что в манифесте 25 ноября обещан был другой манифест, «с обстоятельством и с довольным изъяснением». Обещанный манифест вышел 28 ноября. В нем прежде всего указывается на порядок престолонаследия, определенный завещанием Екатерины I и утвержденный присягою всего народа; здесь в случае бездетной смерти Петра II престол переходил к цесаревне Анне и ее потомству, после – к цесаревне Елисавете, после Елисаветы – к великой княжне Наталье Алексеевне; мужескому полу дано предпочтение пред женским, но зато постановлено, что никто не принадлежащий к православному исповеданию или имеющий другую корону не может быть наследником. На основании этого пункта по смерти Петра II Елисавета была единственною законною наследницею; но

недоброжелательными и коварными происками Андрея Остермана духовная Екатерина по смерти Петра II была скрыта, ибо тогда все важнейшие дела были в его руках; происками его же, Остермана, желавшего удалить Елисавету, как знавшую многие его коварные и вредные государству поступки, избрана была на престол Анна Иоанновна. Когда в 740 году Анна разболелась смертельною болезнью, он же, Остерман, сочинил определение о наследстве, по которому престол переходил к сыну принца Антона Брауншвейгского от мекленбургской принцессы Анны и к большому оскорблению и удалению от престола Елисаветы определен был порядок престолонаследия в Брауншвейгской фамилии. Анна подписала определение, будучи уже в крайней слабости. Все были принуждены присягать Иоанну Антоновичу, потому что гвардия и полевые полки были в команде графа Миниха и принца Антона. Принц Антон с женою присягали сами соблюдать и сделанное покойною императрицею определение о регентстве, но потом с помощью графов Остермана, Миниха и Головкина, презря свою присягу, эти определения нарушили, правительство империи в свои руки насильством взяли; принцесса Анна Мекленбургская не устыдилась назвать себя великою княгинею всероссийскою, отчего не только большие беспорядки, крайние утеснения и обиды начались, но даже отваживались утвердить принцессу Анну императрицею всероссийскою еще при жизни сына ее. Тогда Елисавета соизволила воспрять родительский престол по прошению всех верноподданных, «а наипаче и особливо лейб-гвардии нашей полков». Манифест оканчивался так: «и хотя она, принцесса Анна, и сын ее, принц Иоанн, и их дочь, принцесса Екатерина, ни малейшей претензии и права к наследию всероссийского престола ни по чему не имеют, но, однако, в рассуждении их, принцессы и его, принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойств и из особенной нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинить огорчений, с надлежащею им честью и с достойным удовольствием (удовольствованием), предав все их вышеписанные к нам разные предосудительные поступки крайнему забытию, всех их в их отечество всемилостивейше отправить повелели».

В минуту издания этого манифеста Елисавета действительно хотела отправить Брауншвейгскую фамилию как можно скорее из России. Она говорила Шетарди: «Отъезд принца и принцессы Брауншвейгских с детьми решен, и, чтоб заплатить добром за зло, им выдадут деньги на путевые издержки и будут с ними обходиться с почетом, должным их званию». Елисавета хотела назначить им более или менее значительное годовое содержание, смотря по тому, как они будут вести себя в отношении к ней; оставляла принцессе орден Св. Екатерины, принцу Антону, его сыну и брату – Андреевский орден. Но в то же время она послала в Киль за племянником своим, молодым герцогом Голштинским; ею овладело беспокойство, допустят ли его спокойно приехать в Россию, и в этом беспокойстве ей пришла мысль или была внушена другими – задержать Брауншвейгскую фамилию в дороге и в Риге, до тех пор пока герцог Голштинский достигнет русской границы. Поэтому Василий Федорович Солтыков, провожавший Брауншвейгскую фамилию, получил указ, что хотя в инструкции и велено ему было в города не заезжать, однако по некоторым обстоятельствам теперь это отменяется, и он должен продолжать путь как можно тише и останавливаться дня по два в одном месте. За герцогом Голштинским был отправлен майор барон

Николай Фридрих Корф, который благополучно и привез герцога в Петербург 5 февраля 1742 года вместе с обер-гофмаршалом его Брюммером и обер-камергером Бергхольцем. Императрица немедленно надела на племянника Андреевскую ленту с бриллиантовою звездою, а герцог дал учрежденный отцом его орден Св. Анны Разумовскому и Воронцову. 10 февраля праздновалось рождение герцога: ему исполнилось 14 лет. Мы видели, что во втором манифесте выставлено было распоряжение Екатерины, по которому после Петра II престол принадлежал герцогу Голштинскому; Елисавета получала право с устранением племянника только потому, что он не был православного исповедания. Но императрица отказывается от брака и намерена объявить племянника наследником престола; для этого необходимо, чтоб герцог принял православие, и, пока это условие не выполнено, внук Петра Великого величается его королевским высочеством, владетельным герцогом Голштинским.

С первых же дней нового царствования было видно, что с переменою лиц произойдут немедленные перемены и в учреждениях. Нет души Кабинета – Остермана, нет помину и о самом Кабинете, упоминается чрезвычайный совет по внешним и внутренним делам – *«учрежденное при дворе министерское и генералитетское собрание»*. В этом собрании нет Остермана, Миниха, Головкина, но нет новых назначений с целью заменить выбывших, особенно Остермана. Кто будет вести внешние сношения в такое трудное время, когда вся Европа в пламени и изо всех сил стараются втянуть в пламя и Россию? Никто, разумеется, за телом Кабинета – великим канцлером князем Черкасским не признавал способности заменить душу Кабинета – Остермана. И падшее правительство для противодействия Остерману нашлось вынужденным возвратить из ссылки Алексея Петровича Бестужева; новое правительство, естественно, должно было остановиться на том же Бестужеве для совершенной замены Остермана. Говорят, что Лесток особенно располагал Елисавету в пользу Бестужева, и прибавляют, будто императрица пророчила Лестоку, что он выводит Бестужева на свою голову. Мы не поручимся, что пророчество не выдуманно после своего исполнения; но ходатайство Лестока нам очень понятно, ибо вспомним, что во время своей беды старик Бестужев завел связи со двором цесаревны Елисаветы, и именно с Лестоком. Это самое обстоятельство заставляло, разумеется, и саму Елисавету благоприятно смотреть на Бестужевых. Потом Бестужев был поднят, сделан кабинет-министром в конце царствования Анны, когда Бирон, покровитель Бестужева, рассорился с Брауншвейгскою фамилиею и поэтому сближался с Елисаветою, с которою никогда не ссорился; сближение это усилилось во время регентства; понятно, что Бестужев, которого интересы были тождественны с интересами Бирона, должен был также сблизиться с цесаревною и ее двором и, разумеется, сумел это сделать. Регентство Бирона возбуждало в новой императрице очень приятное воспоминание; понятно, что в этом воспоминании Бестужев должен был занимать видное место.

Таким образом, благосклонность Елисаветы к Бестужевым даже и без внушений Лестока объясняется легко, и доброе расположение Лестока объясняется также легко, само по себе. 29 ноября дан был Сенату именной указ, чтоб Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину «для его известно неповинного претерпения» старшинство иметь с того времени, как он от императрицы Анны Иоанновны в тот чин пожалован, именно с 25 марта 1740 года. И в тот же день

был дан указ о повышении человека, который в самом начале был одним из главных членов бестужевской партии, – Черкасова: прежде бывший тайный кабинет-секретарь Иван Черкасов был пожалован в действительные статские советники и назначен при дворе ее величества при отправлении комнатных письменных дел. Бестужеву легко было напомнить Елисавете о Черкасове, верном слуге ее отцу и матери, подвергшемся гонению после их смерти, с тех пор как и она сама стала терпеть беды.

Наступило 30 ноября, первое торжество в новое царствование, и торжество особенно важное в настоящем случае, ибо напоминало великого родителя императрицы, – наступил орденский праздник Андрея Первозванного. После литургии в придворной церкви императрица пожаловала Андреевскую ленту троим генерал-аншефам – Румянцеву, Чернышеву и Левашову – и действительному тайному советнику Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину; уже имевшим ордена Ушакову, графу Головину и князю Куракину – золотые цепи ордена; кроме того, кавалеры прежнего двора цесаревны Петр и Александр Шуваловы, Воронцов и Разумовский сделаны действительными камергерами. Потом в разные числа 1741 и начала 1742 года пожалованы: Герман Лесток за его особливые и давние услуги и чрезвычайное искусство первым лейб-медиком в ранге действительного тайного советника с назначением главным директором над медицинскою канцеляриею и всем медицинским факультетом с жалованьем по семи тысяч рублей. Бестужев и Черкасов не могли забыть своих приятелей: Исаак Веселовский из ассессоров произведен в действит. стат. советники и определен в коллегия Иностранных дел; подполковник артиллерии Авраам Петров Ганнибал произведен в генерал-майоры, сделан обер-комендантом в Ревеле и получил 569 душ крестьянских; Михайла Петр. Бестужев-Рюмин пожалован в обер-гофмаршалы.

Вместе с указами о наградах Сенат получил указы о возвращении пострадавших в прежнее царствование. 4 декабря князья Василий и Михаила Владимировичи Долгорукие, возвращенные из заточения, восстановлены в прежних чинах и за старостью отставлены от службы; но 23 декабря князь Василий Владимирович сделан президентом Военной коллегии. Князю Сергею Мих. Долгорукому и графу Платону Мусину-Пушкину позволено выехать из деревень – первому в Петербург, а другому – в Москву. Федор Соймонов выпущен из деревень с позволением жить, где пожелает; секретарю Суде позволено из Москвы выехать в Петербург. Вспомнили о знаменитой свояченице Меншикова Варваре Арсеньевой, освободили ее из монастыря, в который она была сослана в 1728 году, и позволили жить в Москве, в котором захочет монастыре. 8 января детям Волынского возвращено все конфискованное имение отца; а чрез десять дней последовал указ об освобождении из ссылки Бирона, братьев его и Бисмарка, об увольнении их из службы и о возвращении Бирону силезского имения Вартенберга, отданного было Миниху. Матрос Максим Толстой, который в 1740 году не хотел присягать Иоанну Антоновичу и за то был истязан, изувечен, произведен в армейские капитаны, уволен в отставку за увечье и награжден пятьюстами рублей. Понятно, что теперь старые доносы на опальных аннинского царствования не считались более заслугами, и доносчик на Долгоруких, Сибирского приказа секретарь Осип Тишин, за непорядочные и противные указам

поступки, за неспособность и пьянство отставлен был от должности, с тем чтоб никуда не определять.

Мы видели, что Елисавета согласилась на просьбу гренадерской роты Преображенского полка быть ее капитаном. В последний день 1741 года состоялся именной указ: «Понеже во время вступления нашего на всероссийский родительский наш престол полки нашей лейб-гвардии, а особливо гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность так показали, что мы оною их службою, помогающе нам всемогущему господу богу, желаемый от всего государства нашего успех в восприятии престола безо всяких дальностей и не учиня никакого кровопролития получили; и яко же мы в том благодарны есть господу богу, подателю всех благ, за неизреченную его милость к нам и всему государству нашему, так, имея во всемилостивейшем нашем рассуждении и верную службу вышеписанных, не можем остаться, не показав особливою нашей императорской милости к ним». Милость состояла в том, что офицерам гвардии и двух полков – Ингерманландского и Астраханского – выдана была денежная сумма, равнявшаяся третнему жалованью; солдатам выдано было на Преображенский полк 12000 рублей, на Семеновский и Измайловский – по 9000, на конный – 6000, на Ингерманландский и Астраханский – по 3000. Гренадерская рота Преображенского полка получила название лейб-компания, капитаном которой была сама императрица, капитан-поручик равнялся полному генералу, два поручика – генерал-лейтенантам; два подпоручика – генерал-майорам, прапорщик – полковнику, сержанты – подполковникам, капралы – капитанам. Потом унтер-офицеры, капралы и рядовые пожалованы были в потомственные дворяне; в гербы им внесена надпись: «За ревность и верность». Обер- и унтер-офицеры и рядовые лейб-компания получили деревни и некоторые – с очень значительным числом душ, например адъютант Грюнштейн – 927 душ; 258 человек рядовых получили каждый по 29 душ. Богатое пожалование Грюнштейну объясняется тем, что он был постоянно на первом плане между гвардейцами, усердствовавшими Елисавете. Сын саксонского крещеного еврея Грюнштейн 18 лет приехал в Россию искать счастья, начал торговать, накопил денег, отправился в Персию, где прожил 11 лет, но, возвращаясь оттуда с значительным состоянием, был в степи ограблен, избит и оставлен замертво двумя астраханскими купцами; очнувшись, был захвачен в плен татарами, как-то освободился от него и, возвратившись в Россию, начал дело против ограбивших его купцов, но хлопотал понапрасну, потому что противники задаривали судей. В отчаянии Грюнштейн поступил рядовым в Преображенский полк и перешел из лютеранства в православие. В последний же день 1741 года отняты были всякого рода пожалования у тех, которые получили их не от коронованных государей, т.е. в царствование Иоанна VI, кроме тех, которые были произведены в чины по удостоению командирскому.

Обер-офицеры и солдаты лейб-компания получили деревни из отписных имений тех лиц, которые были арестованы в ночь на 25 ноября. Главным из них был Остерман – оракул трех царствований. Мы видели, что суд, и суд неправый, над ним уже был произнесен во втором манифесте о воцарении Елисаветы, где на него сложена была вина скрительства распоряжений Екатерины I и, таким образом, устранения дочери Петра Великого от престола; поэтому уже никто не мог ждать помилования знаменитому министру. Над Остерманом накопилось много ненавистей. В восшествии на престол Елисаветы выразилось противодействие

порядку вещей, господствовавшему в два предшествовавшие царствования, когда на главных местах с главным влиянием на дела военные и гражданские явились иностранцы. В последнее время Остерман оставался представителем этого порядка, самым видным и влиятельным из людей иностранного происхождения, о котором внутри России говорили, что он немец и потому запечатал «Камень веры», с именем которого и за границу соединяли мысль о немецком управлении Россией. После переворота 25 ноября люди, стоявшие наверху и стремившиеся ко власти, все были враждебны Остерману, все имели с ним старые счеты; друзей не было, тем более что характер знаменитого дипломата отталкивал, а не привлекал, такие характеры осуждают людей на одиночество. Таким образом, за Остермана не могло быть ходатаев у новой императрицы, все спешили наперерыв вооружать ее против него, всеобщую ненавистью оправдать ее личное нерасположение, а это нерасположение, как мы видели, было велико. Елисавета не любила Остермана, потому что с его стороны не встречала к себе ни малейшего сочувствия, на которое считала себя вправе как дочь Петра Великого, выведшего Остермана; с Петра II между Елисаветой и Остерманом должны были начаться столкновения, борьба за влияние; при Анне примирения быть не могло, в последнее время к нерасположению присоединился страх. Елисавета более чем кого-либо боялась Остермана, а это чувство не располагает к любви; мы видели, что Елисавета даже не могла сдерживаться и позволяла себе выходки против Остермана, который платил тем же; при всей своей осторожности и скрытности он не мог удержаться и, когда пришли арестовать его, сделал выходку против Елисаветы, что, разумеется, не могло содействовать к смирению гнева новой императрицы.

Комиссия, которой было поручено производить следствие над Остерманом с товарищами, состояла из генералов Ушакова и Левашова, тайного советника Нарышкина, генерал-прокурора князя Трубецкого и князя Михаила Голицына. Остермана спрашивали, зачем он не приводил в действие распоряжения Екатерины I о престолонаследии и участвовал в выборе Анны Иоанновны. Он отвечал, что во время болезни Петра II был при нем безотлучно и находился в таком состоянии, что себя не помнил; за ним прислали и объявили, что избрана Анна; при этом он представлял цесаревну Елисавету; но не согласился. В царствование Анны словесные от императрицы предложения при нем и Бироне были неоднократно, чтоб Елисавету, сыскав жениха, отдать в чужие края, и от него о том письменные проекты были. В угождение императрице Анне он писал проект об отлучении Елисаветы и герцога Голштинского от престола. На обвинение в том, что покровительствовал иностранцам в предосуждение русским людям, Остерман отвечал: чужих наций людей в российскую службу больше и больше принимать и их в знатные достоинства производить и награждать, а российских природных от произведения отлучать и их всякой милости лишать не старался, в чем он ссылается на поданное им по требованию бывших регента и правительницы о государственном правлении мнение, в котором о произведении и награждении российского народа перед чужестранцами во всяких случаях именно написано. Спрашивали, для чего принцессе Анне внушал, чтоб Лесток в крепость посадить и допрашивать. Остерман отвечал: для того, что в письме и предостережении, присланном из-за границы, Лесток именно упомянут; но он, Остерман, мнение объявил, чтоб принцесса для показания к цесаревне Елисавете конфиденциально сообщила ей об этом и, если не хочет одна этого сделать, чтоб

изволила в присутствии кабинет-министров исполнить. Когда принцесса дала ему знать о своем разговоре с цесаревною Елисаветою, то он отвечал, что, по его мнению, цесаревна действительно о том не знает, причем было ему приказано стараться об отзыве из Петербурга подозрительного французского министра Шетарди.

Но был вопрос, на который оракул не нашел ответа: «В доме у тебя в письмах найдено по делу Волынского некоторые из комиссии подлинные дела и черные экстракты, да сверх того к оскорблению и обвинению Волынского. Явилось собственное твое мнение и прожект ко внушению на имя императрицы Анны, каким бы образом сначала с Волынским поступить, его арестовать и об нем в каких персонах и в какой силе комиссию определить, где между прочими и тайный советник Неплюев в ту комиссию включен; чем оную начать, какие его к погублению вины состоят и кого еще под арест побрать; и ему, Волынскому, вопросные пункты учинены; для чего ты Волынского так старался искоренить?» Остерман отвечал: «Виноват и согрешил. Неплюев к тому делу по представлению моему определен для того, что он, Неплюев, был мне приятель, дабы чрез него о всем в том происхождении ведать мог, ибо Волынский против меня поднимался». Остерман дополнил свои показания тем, что относительно наследства дочерей принцессы Анны советовал делать дело чрез прошение народное, о чем просил Левенвольда внушить принцессе.

Вторым государственным преступником был фельдмаршал Миних, находившийся со врагом своим Остерманом в одинаковом положении. Остерман приобрел себе только врагов, а не друзей своею недоверчивостью, скрытностью, своею таинственною речью, которой никто не понимал, страшным честолюбием, вследствие которого он не допускал ни высшего, ни равного, если только они не были в умственном отношении ниже его, стремлением заправлять всеми делами, оставляя другим только подписывать их. Миних, по-видимому, представлял противоположность Остерману своею живостью, своею обильною и откровенною речью; но если нынче он обошелся с человеком так ласково, так сердечно, что тот не нахвалится и готов идти за него в огонь и воду, то завтра он обойдется с тем же самым человеком так не по-человечески, что навсегда оттолкнет его от себя; смесь хороших и дурных качеств и отсюда постоянная смена хороших и дурных поступков не давали никому ручательства в прочности отношений своих к фельдмаршалу и заставляли сторониться от него, тем более что этот человек не разбирая средств, прокладывая себе дорогу к чему-нибудь, толкая всех встречных. Таким образом, и Миних не мог найти заступника.

Сама Елисавета кроме невнимания могла обвинять его и в поступках прямо враждебных: он приставлял к ней шпионов в царствование Анны. Было еще любопытное обвинение: гвардейские гренадеры показали, что Миних, приглашая их арестовать Бирона, упоминал о цесаревне Елисавете и ее племяннике герцоге Голштинском. Об этом записаны два несогласных показания, из которых в одном говорится: «Бывшие при арестовании Бирона на карауле гренадеры объявили, что, пришед-де оный фельдмаршал к караулу, говорил им: „Хотите ли вы государю служить – ведайте, что регент есть, от которого государыне цесаревне, племяннику ее, принцу Иоанну, и родителям его есть утеснение, и надобно-де его взять“, и спрашивал их: „Ружья у вас заряжены?“ На что они отвечали: «Готовы *государю* с радостью служить». И пошли, и взяли; а потом уже они, видя, что на

другой день дело не туда пошло, руки опустили. И того ради оному Миниху представлены тех гренадеров девять человек, которые нынче в лейб-компании, и сказали, что-де он им, тогда бывшим на карауле, именно пред фрунтом о государыне императрице Елисавете Петровне и принце Голштинском говорил. На что он, граф Миних, отвечал, что он таких речей, как они объявляют, не говаривал. И в том обе стороны на очной ставке на своих словах сначала утверждались, но потом, когда от них, лейб-компании прапорщика, вахмистров и рядовых, он, граф Миних, в том уличен стал, то он признался, говоря, что понеже он слабую имеет память, яко же для того и об отставке от службы просил, то такие слова, какие они показывают, он тогда, как ныне припоминает, говорил и что в том за своим беспамятством прежде не признался, в том признает себя винна и просит о милосердии, а те слова, без сомнения, говорил для того, чтоб тогда тех гренадер в исполнение воли принцессы Анны тем больше анкуражировать». В этом показании есть ложь об утеснении Бироном цесаревны и ее племянника, но нет обмана, ибо прежде всего Миних спрашивает, хотят ли солдаты служить государю, и после всего солдаты говорят, что готовы с радостью служить государю; другого государя, кроме того, которому они присягали, никто разуметь не мог. Другое показание говорит яснее: Миних, подойдя к караульным, сказал, что ежели они хотят служить цесаревне Елисавете и ее племяннику, так шли бы с ним арестовать Бирона, «ибо-де, кого хотите государем, тот и быть может, хотя принц Иоанна или герцога Голштинского», что они, слыша все, согласно сказали, что ее величеству (Елисавете) служить охотно желают.

Под одну опалу с такими видными людьми, как Остерман и Миних, подпал и относительно темный человек, обер-гофмаршал Левенвольд. Обязанный своим возвыщением фавору Екатерины I, он выдвинул Остермана, которого, как мы видели, бестужевская партия иначе не называла как «клеатурою (креатурою) Левольда». Теперь Левенвольд пал вместе с своей креатурой, ненавидимый русскими как сильный по своему придворному положению член немецкой партии, без сочувствия и со стороны немцев, которые не могли найти в нем ничего хорошего, не могли толковать, что Россия много потеряла в Левенвольде, как толковали, что Россия не заменит Остермана и Миниха. Наконец, Левенвольд заслужил личное нерасположение Елисаветы, хотя и оправдывался, что действовал по приказанию правительницы, но такие оправдания в подобных случаях не принимаются. «К нынешней государыне, – говорил Левенвольд, – я всегда имел свое должнейшее почтение, а что в торжество дня рождения принца Иоанна для нее при публичном столе поставлен был стул с прочими дамами в ряд, то сие учинено по приказу принцессы, а не по моему рассуждению, и хотя я при том ей представлял, что не обидно ли то будет цесаревне, однако ж она мне именно приказала, чтоб тарелку положить так, как выше написано, и я-де как сама выйду, то уже сделаю, что надобно». Головкин, Менгден, Темирязов, Яковлев допрашивались как слишком усердные слуги падшего правительства. По окончании следствия, 13 января, Сенат получил указ «судить их по государственным правам и указам». Кроме сенаторов для этого суда приглашены были и другие лица, президенты коллегий. По выслушании экстрактов из дела долго рассуждали, потом начали собирать голоса с младших: Остермана приговаривали к смертной казни просто; князь Василий Владимирович Долгорукий имел слабость произнести смертную казнь колесованием. Миних

приговорен был к четвертованию, Головкин, Менгден, Левенвольд и Темирязов – к отсечению головы.

Бестужев, или находившийся еще под впечатлением недавнего суда и приговора над ним самим, или желая показаться великодушным пред иностранцами, говорил секретарю саксонского посольства Пецольту, что приговор, произнесенный судною комиссиею над Остерманом с товарищами, ужасен, что канцлер князь Черкасский и генерал-прокурор князь Трубецкой настояли, чтоб Остерман был приговорен к колесованию, а Миних к четвертованию, но что он, Бестужев, надеется на милосердие императрицы и вместе с Лестоком употребит все старание, чтоб это милосердие оказалось именно в этом случае.

17 января утром по всем петербургским улицам раздавался барабанный бой: народу объявили, что на следующий день в 10 часов утра будет совершена публичная казнь над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка. 18 числа с раннего утра толпа уже начала собираться на Васильевском острове, на площади перед зданием коллегий: здесь Астраханский полк окружал эшафот, на котором виднелось роковое бревно (плаха). Арестанты в то же утро были переведены из крепости в здание коллегий. Как только пробило 10 часов, их начали выводить на площадь. Впереди всех показался Остерман, которого по причине болезни в ногах везли на извозничьих санях в одну лошадь, на нем был небольшой парик, черная бархатная фуражка и старая короткая лисья шубка, в которой он обыкновенно сидел у себя дома. За Остерманом шли: Миних, Головкин, Менгден, Левенвольд и Темирязов. Когда они все поставлены были в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и внесли на эшафот, где посадили на стул; сенатский секретарь начал читать приговор, который Остерман должен был выслушивать с обнаженной головою. Бывший великий адмирал обвинялся в утайке духовной Екатерины I, в составлении проектов, где доказывал, что Елисавета и племянница ее не имеют права на престол, и предлагал для предотвращения всяких опасностей выдать Елисавету замуж за чужестранного убогого принца, а «паче всего» дерзнул составлять проекты о приобщении к наследию русского престола дочерей мекленбургской принцессы Анны. Он же, Остерман, учинил императрице еще разные озлобления; кроме того, не представлял о лучшей предосторожности к защите государства; в важных делах с прочими поверенными персонами откровенных советов не держал, но обыкновенно поступал по собственной воле; к некоторым важным делам в предосуждение всего российского народа употреблял чужих наций людей, а не российских природных и, будучи в своем министерстве, имея все государственное правление в своих руках, многие славные и древние российские фамилии опровергать и искоренять, у монархов во озлобление приводить, и от двора многих отлучать, и жестокие и неслыханные мучения и экзекуции как над знатными, так и над незнатными, не щадя и духовных персон, в действо производить, и между российскими подданными несогласия вселить старался и т.п. После прочтения приговора солдаты положили Остермана на пол лицом вниз; палачи обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор. В эту минуту подходит к осужденному тот же секретарь, вынимает другую бумагу и читает: «Бог и государыня даруют тебе жизнь». Тут солдаты и палачи подняли его, снесли с эшафота и посадили на

прежние сани, на которых он оставался все время, как читали приговоры его товарищам.

Миниху читали, что он не защищал духовной Екатерины I, хлопотал больше других о возведении Бирона в регенты, того же Бирона низверг для частных своих выгод, причем обманул солдат, сказавши им, что регент притесняет цесаревну Елисавету и ее племянника и кого они хотят государем, тот и быть может – принц Иоанн или герцог Голштинский; делал нынешней императрице многие озлобления, приставлял шпионов наблюдать за нею, командуя армиею, не берег людей, позорно наказывал офицеров без суда, расточал государственную казну. Головкин, Левенвольд и Менгден обвинены в стараниях в пользу принцессы Анны; кроме того, второй – в расточении суммы, сбиравшейся от казенной продажи соли, а третий – в злоупотреблениях по президентству в Коммерц-коллегии; Темирязов – за известные нам движения в пользу бывшей правительницы. Всем этим лицам объявлено было помилование без возведения на эшафот. В Остермане после помилования не заметили никакой перемены, кроме некоторого дрожания рук; Миних вел себя во все время мужественно и гордо, Левенвольд спокойно и прилично, в Головкине и Менгдене зрители заметили малодушие. Когда народ увидел, что во вчерашнем объявлении его обманули, никому не отрубили головы, то встало волнение, которое должны были усмирить солдаты. Некоторые могли быть недовольны тем, что не видали, как рубят головы людям; другие могли быть недовольны тем, что недавно рубили же головы Долгоруким, Волынскому, за что же помилованы Остерман, Миних и Левенвольд; но историк должен заметить, что после кровавых примеров аннинского царствования никто из людей, враждебных и опасных правительству, не был казнен смертью, при допросах никого не пытали.

Сибирь назначена была местом ссылки избавленных от смерти лиц (Остерману – Березов, Миниху – Пелым), только для Левенвольда назначен был Соликамск. Отправить их из крепости в ссылку поручено было не раз упомянутому уже нами князю Якову Шаховскому, который за дружбу с Головкиным исключен был из списка сенаторов и определен обер-прокурором в Синод. Шаховской оставил нам рассказ, как он исполнил свое печальное поручение. Вошедши в казарму, где содержался Остерман, он нашел его лежащим и громко жалующимся на подагру; увидав Шаховского, он изъявил сожаление о своем преступлении и прогневлении государыни и окончил просьбою поручить покровительству императрицы детей его. Жена его отправилась вместе с ним в ссылку. «О ней, – говорит Шаховской, – кроме слез и горестного стенания, описывать не умею».

Отправив Остермана, Шаховской пошел в казарму Левенвольда и «лишь только вступил в оную казарму, которая была велика и темна, то увидел человека, обнимающего мои колени весьма в робком виде, который притом в смятенном духе так тихо говорил, что я и речи его расслушать не мог, паче же что вид на голове его склокоченных волос и непорядочно оброслая седая борода, бледное лицо, обвалившиеся щеки, худая и замаранная одежда нимало не вообразили мне того, для кого я туда шел, то подумал, что то был какой-нибудь по иным делам из мастеровых людей арестант же. Итак, оборотясь, говорил офицеру, чтоб его от меня отвели, а показали б, в котором угле в той казарме бывший граф Левенвольд находится; но как на сие сказали мне, что сей-то самый граф Левенвольд, то в тот

момент живо предстали в мысль мою долголетние его всегдашние и мною часто виданные поведения, в отменных у двора монарших милостях и доверенностях, украшенного кавалерскими орденами, в щегольских платьях и приборах, в отменном почтении пред прочими... В смятенных моих размышлениях пришел я к той казарме, где оный бывший герой (Миних), а ныне наизлосчастнейший находился, чая увидеть его горестью и смятением пораженного. Как только в оную казарму двери передо мною отворены были, то он, стоя тогда у другой стены, возле окна, ко входу спиною, в тот миг поворотясь в смелом виде, с такими быстро растворенными глазами, с какими я его имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях порохом окуриваемого видеть, шел ко мне навстречу и, приближаясь, смело смотря на меня, ожидал, что я начну. Я сколько возмог, не переменяя своего вида, так же как и прежним двум уже отправленным, все подлежащее ему в пристойном виде объявил и довольно приметил, что он более досаду, нежели печаль и страх, на лице своем являл. По окончании моих слов, в набожном виде подняв руки и возвед взор свой к небу, громко сказал он: „Боже, благослови ее величество и государствование ее!“ Потом, несколько потупя глаза и помолчав, говорил: „Когда уже теперь мне ни желать, ни ожидать ничего иного не осталось: так я только принимаю смелость просить, дабы для сохранения от вечной гибели души моей отправлен был со мною пастор“. А как уже все было к отъезду его в готовности, и супруга его, как бы в какой желаемый путь в дорожном платье и капоре, держа в руке чайник с прибором, в постоянном виде скрывая смятение своего духа, была уже готова. Всего тягостнее было для Шаховского исполнить свое печальное поручение относительно „благотворителя“ своего, графа Головкина, которого он нашел в казарме в самом печальном положении: „Горько стенал он от мучащей его в те же часы подагры и хирагры и оттого сидел недвижимо, владея только одною левою рукою. Я подошел к нему ближе и, крепясь, чтоб не токмо в духу вкорененная, но и на лице моем написанная об нем жалость не упустили слез из глаз моих, что по тогдашним обстоятельствам весьма было бы к моему повреждению, объявил ему высочайший указ. Он, жалостно взглянув на меня, сказал, тем он более ныне несчастливейшим себя находит, что воспитан в изобилии и что благополучия его, умножаясь с летами, взвели на высокие степени, не вкушая доныне прямой тягости бед, коих теперь сносить сил не имеет“.

Кроме Остермана, Миниха, Головкина, Левенвольда, Менгдена и Темирязева к более легким наказаниям приговорены были: сын фельдмаршала обер-гофмейстер Миних; родственник жены Остермана тайный советник Василий Стрешнев, за шпионство при дворе по приказу Остермана; генерал Хрущов, за подслуживание тому же Остерману; действительный статский советник Андрей Яковлев, за «крайнюю и ближайшую конфиденцию» с Остерманом; директор канцелярии принца Антона Петр Граматин; секретарь Семенов, «обретавшийся всегда при графе Остермане в партикулярной его услуге»; секунд-майор Василий Чичерин, за шпионство за Елисаветою; секретарь Поздняков, поплатившийся за услугу, оказанную Темирязеву в сочинении манифестов.

Самые влиятельные члены прежнего управления лишены своих мест, сосланы – кто же заменит их? 12 декабря 1741 года явился именной указ, в котором читали, что императрица усмотрела нарушение порядка государственного управления, как он был при отце ее: происком некоторых вновь изобретен

Верховный тайный совет; потом сочинен Кабинет в равной силе, как был Верховный совет, только имя переименовано, от чего произошло многое упущение дел государственных внутренних всякого звания, а правосудие уже и весьма в слабость пришло. Поэтому для отвращения прежних не порядков императрица повелевала, чтоб правительствующий Сенат имел прежнюю свою силу и власть, как было при Петре Великом; повелевала все указы и регламенты Петра Великого накрепчайше содержать и по ним неотменно поступать, не отрешая и последующих указов, кроме тех, которые с состоянием настоящего времени несходны и пользе государственной противны. Сенаторами были назначены: генерал-фельдмаршал князь Иван Трубецкой, великий канцлер князь Черкасский, обер-гофмейстер граф Семен Солтыков, генерал Григорий Чернышев, генерал Ушаков, адмирал граф Головин, обер-шталмейстер князь Куракин; действительные тайные советники Алексей Бестужев-Рюмин и Александр Нарышкин; генерал-лейтенанты князя Голицын (Михайла) и Урусов, Бахметев; тайный советник Новосильцев; действительный статский советник князь Алексей Голицын. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой и обер-прокурор Брылкин утверждены в своих должностях; в коллегиях, канцеляриях и конторах как в резиденциях, так и в губерниях должны быть учреждены прокуроры с их прежнею должностью. Управление иностранными делами поручается канцлеру князю Алексею Черкасскому и действительному тайному советнику Алексею Бестужеву-Рюмину, который возводится в вице-канцлеры, тайному советнику Бреверну быть в прежней должности при иностранных делах; а когда случится какое важное дело, то в конференциях с ними должны присутствовать адмирал граф Головин и обер-шталмейстер князь Куракин. Как Сенат, так и министры иностранных дел будут иметь заседания во дворце (в императорском доме), в особых апартаментах, и в заседаниях этих, смотря по надобности, сама императрица будет присутствовать. Кабинет упраздняется, и вместо того будет при дворе Кабинет в том значении, как был при Петре Великом, и вести дела в нем будет действительный статский советник Иван Черкасов.

После этого указа в конце декабря 1741 и в продолжение 1742 года Елисавета семь раз присутствовала в Сенате, приходила иногда в одиннадцатом, иногда в исходе десятого, а иногда и в девятом часу утра, оставалась часа по три. Генерал-прокурор предложил восстановленному Сенату, не соизволит ли для самонужнейших государственных дел положить в неделю один день, в который сенаторам всем съезжаться пораньше, а именно пополуночи в седьмом часу; приказали съезжаться в пятницу и не позже семи часов. В конце 1741 и в продолжение 1742 года Сенат сделал несколько постановлений, которые обнаруживают особенное направление. В Сибири случилось страшное происшествие: четырнадцатилетняя девочка убила двух других маленьких девочек, а в Уложении и последующих указах не было означено, до которых лет дети освобождаются от пытки и смертной казни; надобно было делать постановление, и генерал-прокурор объявил, что по указу Петра Великого в таких случаях Сенат обязан был собрать все коллегии и сообща мыслить и толковать. Коллегии были собраны в лице своих президентов и некоторых членов; генерал-прокурор предложил дело и потом поставил на стол песочные часы, по которым дано времени на рассуждение два часа; по довольном рассуждении сенаторы и коллежские президенты и члены согласно объявили свое мнение, что

малолетними надобно считать до 17 лет; до этого возраста преступники, подлежащие ссылке, кнуту или смертной казни, от них освобождаются, подвергаются только наказанию плетью и отсылке на 15 лет в монастырь на покаяние. В одно из заседаний, в которое присутствовала императрица, генерал-прокурор представил, что во многих делах в титуле императорском являются описки по простоте и виновные отсылаются в Тайную канцелярию и страдают, а в делах происходит остановка. Императрица указала: о таких погрешностях впредь более не следовать, описки переправлять, только подтвердить, чтоб писали осмотрительно. В другое присутствие свое в Сенате императрица указала: за ложное сказывание слова и дела кнутом не бить и крестьян отдавать помещикам, а посадских – в слободы. По делу московского священника при церкви Сергия в Рогожской Михайлы Степанова Сенат приказали: за учиненное им смертное убийство работницы его смертной казни не чинить, а послать его св. Синоду в дальний монастырь на покаяние для того: хотя он в духовной декастерии в двух расспросах и показал, что работницу ножом зарезал, помня ее продерзости и за похвальные ее слова, но в Сыскном приказе с трех розысков и огня утвердился, что зарезал в беспамятстве и умысла в том не было, а в декастерии показал он с принуждения судей и секретаря для того, что они обещали ему, ежели повинную принесет, в Сыскной приказ не отсылать, а отдать под начал в монастырь; в обыску об нем 49 человек показали, что он в разные времена от пьянства в беспамятстве бывал, отчего в той церкви недели по две и по три не служивал, а сверх того показали, что он человек добрый и наперед сего в подозрениях не бывал.

Во вступлении на престол Елисаветы выразилось народное движение, направленное против преобладания иноземцев, утвердившегося в два последние царствования. Ссылка Остермана, Миниха, Левенвольда и Менгдена показывала, что это господство прекращается при новом правительстве. Иностранные дипломаты по своей неопытности, по незнанию хода русской истории, да и по незнанию общего хода исторических явлений не понимали, в чем дело, и толковали об нем каждый по-своему, соответственно с интересами, для охранения которых были присланы к русскому двору. Немцы тужили о падении немцев, в которых видели представителей связи русского двора с своими дворами, враждебно смотрели на новое правительство, не предсказывали ему добра, утверждали, что Россия не выпутается из затруднительных обстоятельств без Остермана и Миниха, толковали о их возвращении. Француз Шетарди смотрел иначе на дело. С самого вступления России в систему европейских держав Франция почуяла в ней опасную соперницу, которая, поддерживая против нее слабейших, особенно помогая извечной ее сопернице Австрии, будет мешать ей в стремлении к игемонии в Европе. Для Франции Россия была незваная, непрошенная гостыя в Европе, и проводить ее назад, к Азии, выжить русский двор из Петербурга назад в Москву, стало заветною целью французской политики. Шетарди хлопотал о низвержении Брауншвейгской фамилии посредством Елисаветы именно с этою целью, с восторгом видел вражду Елисаветы к Остерману и раздувал эту вражду, наговаривал, что императрица должна заменить русскими всех немцев на дипломатических постах при иностранных дворах. Блестящий маркиз не понимал, что дочери Петра Великого гораздо труднее отказаться от основного внутреннего дела отца своего, чем от завоеванных им

областей, а он знал, что и последнее было для нее невозможно; маркиз не догадывался, что русские люди по ясному сознанию чисто русских интересов, какое они получили благодаря Петру, ревностнее немцев будут поддерживать новое значение России в Европе. С первых же дней царствования Елисаветы было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был и решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а правило Петра было всем известно: должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их в службу, но не давать им предпочтения пред русскими, и важнейшие места в управлении занимать исключительно последними. Елисавета в этом отношении высказалась ясно в заседании Сената 15 февраля 1742 года: когда ей было доложено о приеме в службу инженер-подполковника Гамбергера, также об определении его в инженерный корпус, то она указала: генерал-фельдцейхмейстеру в инженерном корпусе освидетельствовать, есть ли в подполковничий чин из российских к произведению достойные, и буде из российских в тот чин достойного не найдется, то объявленного Гамбергера в науках его свидетельствовать и представить ее величеству.

Можно было опасаться волнений в низших слоях народонаселения, где уже давно с воцарением Елисаветы соединяли изгнание всех иноземцев из России; еще в царствование Анны здесь толковали: «Государыня цесаревна Елисавета Петровна имеет ссору с ее императорским величеством за иноземцев, что ее императорское величество жалует иноземцев золотыми, а ее высочество медными монетами. И ее императорское величество изволила ее высочество призвать к себе и изволила сдавать ей, цесаревне, Российское государство, только-де ее высочество говорила, ежели-де ее императорское величество на три года учинит черни льготы, да иноземцев всех из государства вышлет, потом-де ее высочество государство принять изволит». Теперь цесаревна приняла государство, но иноземцев не высылала, хотя они и жили постоянно между страхом и надеждою, слыша угрозы от солдат; иностранные министры писали к своим дворам, что солдаты позволяют себе насилия, особенно против немцев, но не приводят ни одного примера насилия.

До нас дошло известие только об одном столкновении, бывшем в Петербурге 18 апреля 1742 года на гулянье под качелями на Адмиралтейской площади. Гвардейские солдаты Семеновского полка подрались с разносчиком, который продал им гнилые яйца, а потом подрались между собою; армейские офицеры из иностранцев, фон Роз, Гейкин, Зитман и Миллер, бывшие подле в биллиардном доме, вышли разнимать их; когда один из солдат начал бранить их непристойными словами, то один из офицеров ударил его, тогда солдаты толкнули офицеров, и драка усилилась; офицеры побежали назад, в биллиардный дом, солдаты – за ними, и на крыльце дома началась опять драка: офицер обнажил шпагу и порубил солдату ладонь. Увидев кровь, солдаты рассвирепели и наперли на крыльцо, причем еще двое солдат были ранены. Офицеры ушли и заперли за собою двери, но солдаты разломали их; тогда офицеры побежали на потолок (полати или чердак) и загородили вход на него скамьями и стульями; бывший в том же доме штаб-лекарь Фусади спрятался вместе с хозяином дома в особую каморку. Солдаты пошли на потолок, где кроме означенных сидели и другие офицеры, бывшие в биллиардном доме, все иностранцы; солдаты лезли, браня офицеров

непристойными словами, также шельмами, канальями, иноземчишками. Офицеры побежали с потолка в слуховое окно на кровлю и спустились на другой двор; но на потолке остались капитан Браун, флигель-адъютант Сотро и служитель Брауна – Кампф, которые стояли с обнаженными шпагами и не пускали солдат; однако солдаты, к которым присоединились теперь и другие люди, ворвались и начали бить немцев кулаками и топтать ногами; Сотро был порублен шпагою по голове и сброшен с потолка вниз, также был стащен вниз и избит Браун, найдены и избиты лекарь Фусади и хозяин биллиардного дома Берлар; побоище это сопровождалось грабежом и битьем посуды. Офицеры показали при следствии, что солдаты, нападая на них, говорили: «Велено вашу шведскую каналью всех уходить; вы, шведские канальи, здесь от нас не отсидитесь, это нам не Очаков брать, у нас указ есть, чтоб вас всех перерубить, надобно всех вас, иноземцев, прибить до смерти; вас, немецких собак, всех сегодня перевешают». Народ внизу кричал: «Надобно иноземцев всех уходить».

Но дело кончилось одними криками. Драчунов схватили, и они на следствии показали, что все наделали в пьянстве, злого умысла не имели. Судная комиссия приговорила: главных виновников колесовать, других, менее виновных, – повесить, третьих – бить кнутом, гонять сквозь строй. Приговорила и офицеров наказать, посадить в тюрьму на два и на три месяца за то, что не должны были связываться с солдатами, а послать за караулом и арестовать их, потом в биллиардной не соблюли должных правил обороны. Сенат, принимая во внимание, что виновные совершили преступление без злого умысла, представил императрице, не соизволит ли облегчить казни. Елисавета приговорила четверых главных драчунов сослать на сибирские заводы в вечную работу, остальных отправить в дальние гарнизоны.

Понятно, что изменению отношений к иноземцам и падению Остермана должно было обрадоваться духовенство. Мы видели, как новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич жаловался на Остермана и не ограничивался одними жалобами. Показания Темирязева о том, как Амвросий хлопотал в пользу принцессы Анны, могли бы навлечь большую беду на светское лицо, но преосвященного новгородского не тронули, ибо кроме известного благочестия новой императрицы было бы слишком неблагоразумно начинать царствование гонением на самого видного архиерея и ревнителя православия, тем более что хлопоты Амвросия были, собственно, не в пользу Анны Леопольдовны, а против еретика Остермана. Амвросий спешил отблагодарить Елисавету за снисхождение. 18 декабря 1741 года, в день рождения императрицы, Амвросий говорил проповедь, причем указ Анны Иоанновны, чтоб длинных проповедей не говорить, был забыт. Амвросий эту проповедь ввел в обыкновение начинать прославление Елисаветы прославлением Петра Великого, а прославлять Петра можно было за то же, за что прославляли его и прежние ораторы: «Когда он воевал, учил воевать воинство; когда учил воинство, устраивал благополучие внутреннего гражданства; когда устраивал благополучие гражданства, и о духовном своем чине промышлять не оставил. Видел он совершенно ово из древних историй, ово же и сам своим уже искусством, как народ российский тогда был неславный и посмеятельный; видел, как был вовсе темный в науках и непросвещенный: и того ради великою суммою снискивал людей ученых, держал их во всяком довольстве и почтении, посылал своих подданных для науки и

всякой экспериенции в иностранные государства, старался везде заводить училища духовные и политические, снабдевал их весьма мудрыми и славными учителями» и проч. Событие 25 ноября оратор рассказывал таким образом: «Пошла (Елисавета) к надежным своим и давно уже того желающим солдатам, и объявила им свое намерение, и кратко им сказать изволила: знаете ли, ребята, кто я и чья дочь? Родители мои, вселюбезнейшие Петр Великий и Екатерина, трудились, заводили регулярство, нажили великое сокровище многими трудами; а ныне все то растащено; сверх же того еще и моего живота ищут. Но не столько мне себя жаль, как вседражайшего отечества, которое, чужими головами управляемое, напрасно разоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает. Кому же верно служить хотите? Мне ли, природной государыне, или другим, незаконно мое наследие похитившим? И как то они услышали, того ж часа все единогласно закричали: тебя, всемилостивейшая государыня!» и проч.

Но всего замечательнее в проповеди изображение поведения иностранцев, управлявших Россией. «Смотри, какую дьявол дал им придумать хитрость. Во-первых, на благочестие и веру нашу православную наступили; но таким образом и претекстом, будто они не веру, но непотребное и весьма вредительное христианству суеверие искореняют. О, коль многое множество под таким притвором людей духовных, а наипаче ученых истребили, монахов порасстригали и перемучили! Спроси же, за что? Больше ответа не услышишь, кроме сего: суевер, ханжа, лицемер, ни к чему годный. Сие же все делали такою хитростью и умыслом, чтоб вовсе в России истребить священство православное и завести свою нововымышленную беспоповщину. Разговору большого у них не было, как токмо о людях ученых: о боже! как-то несчастлива в том Россия, что людей ученых не имеет и учения завести не может! Не знающий человек их хитрости и коварства думал, что они то говорят от любви и ревности к России; а они для того нарочно, чтоб, где-нибудь сыскав человека ученого, погубить его. Был ли кто из русских искусный, например художник, инженер, архитектор или солдат старый, а наипаче ежели он был ученик Петра Великого, тут они тысячу способов придумывали, как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвести и таким образом или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно необходимо и самому умереть от glada за то одно, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого. Под образом будто хранения чести, здоровья, интереса государства, о! коль бесчисленное множество, коль многие тысячи людей, благочестивых, верных, добросовестных, невинных, бога и государство весьма любящих, втайную похищали, в смрадных узилищах и темницах заключали, gladem морили, пытали, мучили, кровь невинную потоками проливали! Сей их обман народ незнающий помышлял, что они делают сие от крайня верности; а они, таким-то безбожным образом и такою-то завесою покровенные, людей верных истребляли. Кратко сказать: всех людей, добрых, простосердечных, государству доброжелательных и отечеству весьма нужных и потребных под разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равных себе безбожников, бессовестных грабителей, казны государственныя похитителей весьма любили, ублажали, почитали, в ранги великие производили, отчинами и денег многими тысячами жаловали и награждали. Было то воистину, что и говорить стыдно, однако то суцая правда! Приидет какой-нибудь человек иностранный, незнаемый (не говорю о честных и знатных персонах, которые по

заслугам своим в России всякие чести достойны, но о тех, которые еще в России никогда не бывали и никаких заслуг ей не показали), такого, говорю я, нового гостя, ежели они усмотрят, что он к их совести угоден будет, то хотя бы и не знал ничего, хотя б не умел трех перечесть, но за то одно, что он иноземец, а наипаче, что их совести нравен, минув достойных и заслуженных людей российских, надобно произвести в президенты, в советники, в штапы и жалованье определять многие тысячи. И такой-то совести были оные внутренние враги наши! Такой-то сатанинской верности! Многим казалось, что они верно служат, воюют за церковь Христову, подвизаются за отечество; а они таким образом приводили Россию в бессилие, в нищету и в крайнее разорение. Воспомяните себе только недавно минувшую войну турецкую: сколько они без всякой баталий и сражения старых солдат гладом поморили, сколько в степях жаждою умертвили, да сколько ж сот тысяч церковников и других рекрут перебрали, и все они почти напрасно для одной только их добычи и суетной корысти, головы свои положили; но те все то делали притворно, под образом верности. Многократно заслуги свои представляли, похваляя свою к России верность и доброжелательство, но лгали бессовестно на свою душу; ибо ежели бы они были прямые отечеству доброхоты, так ли бы нарочно людей наших на явную смерть посылали; так ли бы только тенью, только телом здесь, а сердцем и душою вне России пребывали? Такими они сами оказали себя, когда все свои сокровища, все богатство, в России неправдою нажитые, вон из России за море высылали и тамо иные в банки, иные на проценты многие миллионы полагали».

В тот же день и в том же духе в Москве говорил проповедь ректор тамошней академии, архимандрит Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский. «Все мы, – говорил проповедник, – чрез десятилетие и более нечувственные дерева быхом, не примечая, како созревше сильное семя Петрово; запамятовали были, коим образом Петр Великий обрете нас подобных древу лесному, криву, суковату, дебелу, ожелтелу, неотесанну, ни на какво дело неудобну, своими руками коль в красные статуи переделал, да еще и не бездушные... О пречудная вещь! Возрасте семя Петрово, под его же ветвями нам, россиянам, отраду и прохлаждение давно надлежало было прияти; но мы отягчены всеми наругательствы, страждуще гоними, гоними и мучими, мучими и вяжеми, вяжеми и уязвлени, отечества и правоверия лишаеми, дремлюще, благовонно-лиственного сего не видехом древа. Древо сие человекаяды птицы, Остерман и Миних, с своим стадищем начали было сещи и терзати; обаче мы дремлюще не видехом, ниже чувствовахом, доколе же само сие сельное семя нас не пригласи спящих: доколе дремлете? доколе страждати имате?.. Доселе дремахом, а ныне увидехом, что Остерман и Миних с своим сонмищем влезли в Россию, ако эмиссарии дьявольские, им же, попустившу богу, богатство, слава и честь желанная приключишаси, сия бо им обетова сатана, да под видом министерства и верного услужения государству Российскому, еже первейшее и дражайшее всего в России правоверие и благочестие не точию превратят, но и, искореня, истребят... Яко же бо Дии и Ермии во языцах, так Остерман и Миних были в России кумиры златые, им же совести не устыдешася, яко болваном, и жрати, своя совести воли их закалающе в жертву; но уже сокрушишася о камень Петров... Жертвенники, образы и жрецы вааловы Остерман, Миних и снузники тех, их же и кроме нас, яко скудельнии идолы, сам сокрушит господь».

Кирилл Флоринский в доказательство вражды к православию бывшего правительства приводил то, что в Москве, в Китай-городе, возвышается армянская церковь. Синод разделял взгляд Флоринского и в январе 1742 года исходатайствовал у императрицы указ – упразднить армянские церкви в Петербурге, Москве и Астрахани, кроме одной каменной в последнем городе, и впредь не позволять их строить. Синод представил о необходимости уволить священников и причт от хождения к рогаткам на караулы, на пожары и от всяких других полицейских обязанностей, исполнение которых мешает исправлению треб церковных; 7 апреля просьба Синода была исполнена. Обер-прокурором Синода был назначен, как мы видели, князь Яков Шаховской. Он так описывает свое вступление в новую должность: «Явился я в собрание св. Синода, и вступление то мне было не неприятно, ибо того места, так же как и при Сенате, находящийся такого ж ранга экзекутор, уже ожидая моего прибытия, встретил меня на лестнице с несколькими секретарями и прочих нижних чинов канцелярских служителями, с почтением рекомендовался и, очищая мне дорогу, проводил меня до той палаты, где присутствует собрание св. Синода; двери обе половинки отворились, и при тех встретил меня обер-секретарь. Первый издал во оную палату мой взгляд мне был весьма приятен: она изрядно была убрана, и за столом сидели по обеим сторонам, как помнится мне, восемь или девять духовных особ, архиепископов и епископов и несколько архимандритов, мужей, как своими отменными одеждами, так и благочинными видами привлекающих почтение, и лишь только я приближался к концу того стола, они все в постоянном и ласковом виде встали со своих стульев и один по другому, и в первых преосвященный новгородский архиепископ Амвросий яко старший член, меня поздравлением в том новом чину как в том присутствии сотоварища своего разными словами приветствовать начали, и напротив тех на мои учтивые им о себе рекомендации представляемые весьма ласково мне ответствовали; потом они сели на свои стулья и начатое одно дело, коего для моего входу чтение было остановлено, к решению им представленное, велели читать, а я,, увидя для меня по-надлежащему в той же палате приготовленный небольшой стол, подошел, чтоб за него сесть, и, увидя на нем только чернилицу и несколько листов белой бумаги, приказал обер-секретарю, чтоб он духовный регламент, последующие тому в закон указы, также прежде бывших в Синоде обер-прокуроров инструкции и до той должности касающиеся указы и еще же о нерешенных находящихся в Синоде делах, о колодниках и о казенных деньгах обыкновенные реестры мне представил. Обер-секретарь, духовный регламент с своего столика взяв, мне подал, а об указах и о реестре нерешенных дел объявил, что те хотя в собрании и есть, но не весьма обстоятельны, и просил, чтоб я на несколько дней ему в том дал сроку, дабы он все наисправнейшим образом сочинить и мне подать мог; а что-де до прежних здесь бывших обер-прокуроров дел касается, то оных-де как инструкций, так прочих никаких их должностей производств ни одной строки нет, и притом в долгих речах рассказывал мне, как от бывших пожаров и от прочих разных приключений в канцелярии Синода дела многие утрачены и что ныне от разных препятствий дела без описей в разных палатах по ящикам и сундукам содержатся и архивы нет».

Новый обер-прокурор нашел указы Петра Великого, чтоб в церквях во время службы никаких разговоров и хождений для прикладывания к мощам и иконам не

было и с нарушителей брать штраф в церковную казну. Шаховской представил Синоду, что эти указы не исполняются, и вследствие этого представления посланы подтвердительные указы. Смотреть за соблюдением указов и собирать штрафы Сенат назначил определенных в монастыри отставных офицеров, которые должны были записывать штрафы в шнурованные книги при священниках и причетниках, чтоб утайки не было. Синод определил разрешить постройку и возобновление церквей, но позволять освящать их только тогда, когда окажется, что они построены как следует, снабжены всем нужным и священник с причтом будут иметь достаточное содержание. Синод жаловался Сенату, что сибирский губернатор не исполняет указа Петра Великого, которым запрещалось брать духовных людей в светские судебные места без сношения с духовным начальством; Сенат подтвердил указ, распространив его на служителей архиерейских домов и приказчиков.

Но в ноябре 1742 года в Сенат поступила жалоба от коллегии Экономии: архиерейскими домами и разными монастырями остаточных и распроданных вотчин оброчных доходов не только за прошлые годы, начиная с 1730, но и за минувший 1741 и за текущий 1742 по 14 июня не доплачено 44324 рубля; нарочно посланный капрал Старков взыскал на Спасском ярославском монастыре доимку 1806 рублей и готов был ехать в Москву, но келарь этого монастыря Иосиф и строитель Феофилакт запретили его отпускать, подводы с монастыря сбили, Старкова, браня всячески, хотели бить смертно и выборному целовальнику для отдачи той казны в Москву ехать не велели.

Дело шло о деньгах, о доходах. В начале царствования Елисаветы, которая провозглашала, что будет во всем руководиться правилами великого отца своего, один солдат очень грубо выразил правило Петра относительно денег, доходов государственных и был отведен в Тайную канцелярию, которая не поняла, что под грубым выражением заключалась великая похвала. Солдат сказал, что Петр Великий из-за копейки давливался. Сенат, восстановленный дочерью в том значении, как был при отце, должен был помнить, что при отце одною из главных обязанностей его было: «Деньги как можно собирать». При вступлении на престол Елисаветы из подушного сбора сложено было по 10 копеек с души на 1742 и 1743 годы, что составляло более миллиона рублей, «в таком рассуждении, дабы верные наши подданные платежом на прошлые годы доимочных подушных денег исподоволь исправлялись». Но Елисавета получила в наследство войну, и в августе 1742 года главный комиссариат донес Сенату, что, несмотря ни на какие подтверждения как прошлогодних доимочных денег, так и за первую половину текущего года в недоборе большая сумма, так что одним полкам остзейской экспедиции не дослано более 200000. Сенат определил за такую нескорую высылку положить штраф на губернаторов и вице-губернаторов по 100 рублей, на провинциальных воевод – по 50, на городских – по 25 рублей, на губернских и провинциальных секретарей – по 25 рублей, на городских и с приписью подьячих – по 12. Оказалось, что виновата не одна администрация, но «вначале сами помещики, а на них смотря или и норовя им, губернаторы, и воеводы, и определенные к таким сборам управители, которые послаблением своим к тому неплатежу повод подали». Вследствие этого повелено: заплатить в четыре месяца без всякого отрицания, а кто не заплатит, у того вычитать из жалованья или править с штрафом по 10 копеек с рубля, деревни отписывать бесповоротно; кто

при сборе в малом чем уличен будет, тот бы не надеялся ни на какие свои заслуги, «ибо яко вредитель государственных прав и народный разоритель по суду караем будет смертью». Но к концу года увидели, что денег неостанет на войну, и потому прибегли к средству Петра Великого, которое он употреблял в крайних случаях: 11 декабря, присутствуя в Сенате, императрица подписала указ о вычете на один год из жалованья духовных, военных, статских и придворных чинов: у архиереев и генералов – по 20 копеек с рубля, у штаб-офицеров и архимандритов – по 15, у обер-офицеров и игуменов – по 10, у обер-офицеров гарнизонных, статских, придворных и мастеровых, не имеющих рангов, и духовных нижних чинов – по 5. В том же заседании Елисавета подписала указ, чтоб никто не носил золота, серебра, шелковое платье носили по классам, а кружева – не свыше трех пальцев. Еще в начале года Елисавета, находясь в Сенате, устно приказала: фейерверку быть только в день коронации, а в новый год, в день рождения, тезоименитства и восшествия на престол императрицы, также в день рождения и тезоименитства герцога Голштинского быть одной иллюминации.

Сенат признал, что для прекращения финансовых беспорядков и отягощений необходимо произвести новую ревизию, и представил императрице, не соизволил ли она «для удовольствия всех помещиков и пресечения донныне происходимых непорядков и в платеже отбывательства и запущения впредь доимок учинить вновь ревизию и на будущее время производить ее через 15 лет, чем все непорядки, а особливо держание беглых и своевольные переводы, пресекутся, а бедные и неимущие помещики, кои сами, и жены, и дети в доимках под караулом содержатся и помирают, от такого бедствия освободятся». Императрица согласилась. Сенат представлял известие о большой убыли народонаселения: так, по ведомостям из губерний, с 1719 по 1727 год было показано выбылых 988456 душ, в том числе умерших – 733158, беглых – 198876, взятых в рекруты – 53928, да с 1727 по 1736 год взято было в рекруты 147418 человек.

В указе 12 декабря 1741 года было повелено: правление внутренних всякого звания государственных дел иметь на основании, учиненном указами Петра Великого, кроме тех, которые с состоянием настоящего времени не сходны и пользе государственной противны. При Петре для надзора и направления горной и фабричной промышленности были учреждены Берг- и Мануфактур-коллегии; при Анне, как мы видели, эти коллегии были упразднены и соединены с Коммерц-коллегиею, хотя для управления горными заводами учрежден был генерал-берг-директориум в пользу барона фон Шомберга, и для надзора за частными фабриками учреждены были особые директора, получавшие жалованье и ездившие их осматривать. Теперь Сенат нашел, что эти перемены не были к лучшему: Шомберг задолжал казне и объявляет, что заплатить не в состоянии. Относительно фабрик нельзя надеяться, чтоб Коммерц-коллегия, имея много своих дел, могла смотреть за ними так же прилежно, как особое учреждение, и потому Сенат представлял, не соизволил ли императрица восстановить Берг- и Мануфактур-коллегию. Соизволение последовало 7 апреля 1742 года, а 25 июня Елисавета, находясь в Сенате, одобрила его решение: генерал-берг-директора фон Шомберга, призвав в Сенат, объявить, чтоб он имеющиеся на нем казенные деньги 134944 рубля 13 копеек заплатил немедленно, а в платеже 99635 рублей 73 копеек на срок дал надежных порук; если же объявится, что платить нечем и порук нет, то описать имение, а самого взять под караул. По выходе императрицы

Шомберг был призван в Сенат и объявил, что денег заплатить и порук поставить не может, вследствие чего арестован и приказано содержать его в квартире его под караулом, пожитки запечатать, посторонних людей к нему не пускать, бумаги и чернил не давать. Означенный начет на Шомберга составилась из сумм, которые он должен был заплатить за отданные ему Лапландские и Гороблагодатские заводы.

Относительно фабрик правительство занимали два вопроса: во-первых, чтоб фабричные произведения поставлялись в казну желаемого качества, например сукна на войско, писчая бумага в правительственные учреждения; во-вторых, заботились об определении отношений содержателей фабрик к рабочим, потому что со стороны первых обнаружилось стремление притеснять последних. Так, Сенат распорядился, чтоб мастеровым людям Казанской суконной фабрики заработанные деньги давались так же, как платили, когда она была в казенном содержании и потом, при содержателе Микляеве, а именно: ткачам – по 6 копеек с аршина; прядильщикам – по 3 копейки за фунт, тогда как настоящий содержатель Дреблов начал платить ткачам по 5 копеек, а прядильщикам – по 2 копейки; потом было постановлено платить на суконных фабриках работнику по 6 рублей за половинку сукна. Шерсть покупали тогда по рублю двадцати копеек. Относительно писчей бумаги возобновили указ Петра Великого, чтоб в присутственных местах собирали в передел драную, негодную бумагу и отдавали в Коммерц-коллегию весом, а вместо нее брали из этой коллегии годную бумагу по указной пропорции. В царствование Анны велено было брать в синодальную типографию бумагу с фабрики Затрапезного; но теперь Синод представил, что для печатания книг бумага Затрапезного очень толста, надобно бумагу тоньше, чтоб книги могли выходить «субтильнее» и не вредили своею толщиною переплетам; притом бумага Затрапезного дороже, чем на других фабриках. Императрица указала: брать бумагу во все места у русских фабрикантов добротой против бумаги Затрапезного или лучше и дешевле. Армянин Нырванов представил образцы разных сортов шелка наилучшей доброты, добываемого на его заведениях в Кизляре и Астрахани, и получил привилегию на заведение в Астрахани фабрики шелковых, полушелковых и бумажных материй.

По-прежнему считали нужным поднимать промышленность, поощрять заводчиков и фабрикантов, давая им чины, что было тогда нужно и для обеспечения личности и труда от насилия людей чиновных, хотя, с другой стороны, новый богатый чиновник мог увеличивать собою число насильников. По смерти известного фабриканта Затрапезного фабрика его перешла к зятю его, капитану Лакостову; этому Лакостову позволено было выйти в отставку, «дабы та яко знатная в Российском государстве фабрика не пришла в неисправление, но чрез его прилежное смотрение могла быть приведена в лучшее состояние; а для большей в смотрении оной фабрики ревности он пожалован рангом майорским». За тщательное производство и размножение железных и медных заводов статский советник Акинфий Демидов пожалован в действительные статские советники, а брат его, дворянин Никита, – в статские советники. Шелковой фабрики содержатель Яков Евреинов – в советники Мануфактур-коллегии за его службу, что он был консулом в Испании и что прежде того был послан Петром Великим в чужие края для обучения купечеству и мануфактурам. Парусной и бумажной фабрики содержатель Афанасий Гончаров пожалован в коллежские асессоры за распространение этих фабрик, особенно бумажной, в пользу государства.

Шелковый фабрикант Семен Мыльников и бумажный фабрикант Василий Короткий – директорами своих фабрик с рангом коллежского секретаря. Подали просьбу мастеровые люди, посланные учиться за море, шестеро, все из дворян и один из них даже князь (Нарецкий); обучались они кто замочному, кто столярному полатных уборов, кто столярному кабинетному делу, были они при дворе и в разных городах, уволены в дома до указа; теперь некоторые из них просили, что желают быть по-прежнему у работ при дворе, а другие просили дать им на пропитание. Сенат решил отослать их в канцелярию от строений, которая должна определить их к казенным работам, каждого по его искусству, и дать им потребное число учеников. Относительно распоряжений по торговле в 1742 году мы должны заметить только именной указ 2 декабря о жидях: «Во всей нашей империи жидам жить запрещено; но ныне нам известно учинилось, что оные жида еще в нашей империи, а наипаче в Малороссии под разными видами жительство свое продолжают, от чего не иного какого плода, но токмо яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно, того для повелеваем: из всей нашей империи всех мужеска и женска пола жидов со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь ни для чего не впускать, разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания».

Что касается сельской промышленности, то люди, ею занимавшиеся, по-прежнему указывали на невыгоду своего положения побегам. Сенат был извещен, что многие дворовые люди и крестьяне, отбывая от помещиков своих и разглашая, будто по указу ее величества велено всякого чина людей принимать на Дон, записывать в козаки и селить в донских козачьих городках, бегут не только дворами, но целыми деревнями; в донских козачьих городках их принимают и селят на козацких землях. Сенат приказал послать на Дон грамоту – смотреть Донскому Войску накрепко и ни под каким видом беглых крестьян и служилых людей не принимать, а которые до сих пор есть беглые, всех выслать на прежние жилища. Вслед за тем Муромского уезда помещики, приказчики и старосты объявили о побеге множества крестьян с женами и детьми; с января по июль 1742 года убежало более 1000 душ, из некоторых дач все без остатку побегали. В монастырском троицком селе Горках сотский поймал 53 человека беглых, которые показали, что шли в козачьи городки на Медведицу и Дон по слухам, что принимает там беглых козак, прозванием Краснощекий, всякому дает награждение по 5 рублей да льготы на 5 лет. Крестьян били кнутом и батошьем для сыску беглых отправили на Дон майора с 300 драгун. Крестьяне подмосковной деревни Мамотовой подали императрице челобитную на помещика своего Иевлева, что живет он недобропорядочно, держит наложницу, одного купца жену, и их по науке ее разоряет, бьет и мучит напрасно; от такого разорения многие люди разбежались и подушных денег платить некому. Крестьяне сельца Бачурина Московского уезда просили на помещика своего Ладыженского в разорении и смертных убийствах. Сенат приказал рассмотреть и решение учинить по указам, а по указам таких помещиков удаляли от управления крестьянами. По поводу ревизии императрица утвердила сенатский доклад: которые дворцовые, монастырские и помещичьи крестьяне, сбежав, поселились в низовых городах на государевых, монастырских и купленных ими землях целыми слободами, тех на прежние жилища не ссылат, а писать в тех местах, где поселились; если

помещичьи крестьяне, бежав от одного помещика, поселились целыми слободами, тех также не высылать, а которые хотя поселились и целыми слободами, да разных помещиков, тех высылать на прежние жилища. Мы видели, что при Петре Великом для скорейшего пополнения новообразованного постоянного войска позволено было крепостным людям вступать в солдаты; но после Петра это было строго запрещено; теперь, по вступлении на престол дочери Петра, между крепостными распространился слух, что опять позволено им записываться в вольницу, и они порознь и целою толпою стали подавать императрице просьбы о принятии в военную службу, другие прямо бежали от помещиков для поступления в солдаты; но они жестоко ошиблись в своей надежде; за таковое их вымышленное и противное указам дерзновение учинено им на площади с публикою жестокое наказание: которые подавали челобитные немалым собранием, тех били кнутом и пушице из них заводчики сосланы в Сибирь на казенные заводы в работу вечно, а которые подавали челобитные порознь, тех били плетьюми, других – батогами и по наказании отданы помещикам.

Заседания правительствующих мест, Сената и Синода, в 1741 году происходили частью в Петербурге, частью в Москве, куда спешила отправиться Елисавета для коронации, которая должна была скрепить дело 25 ноября. 7 января 1742 года в Сенате уже было положено, чтоб приготовлениями к коронации занялись граф Семен Андреевич Солтыков и новгородский архиепископ Амвросий по образцу, как делались подобные приготовления в 1724, 1728 и 1730 годах; а к ним на помощь послать из Иностранной коллегии статского советника Петра Курбатова, который в означенные годы был употреблен к таким приготовлениям. Парчи, бархаты, позументы, бахромы и все прочее покупать с русских фабрик в Москве и из рядов; если же чего готового не сыщется, велеть на фабриках сделать вновь, а чего сделать не могут, о том писать в Сенат. На издержки по приготовлениям отпустить на первый случай 30000 рублей. Для делания балдахинов отправить в Москву мастера, француза Рошабота, также придворных мастериц. Триумфальные ворота строить первые в Земляном городе, на Тверской, под смотрением Московской губернской канцелярии из доходов губернии; вторые – в Китай-городе, у церкви Казанской богородицы, под смотрением св. Синода из доходов коллегии Экономии; третьи – на Мясницкой, строить московскому купечеству на свое иждивение под смотрением губернской канцелярии.

23 февраля Елисавета выехала из Петербурга и 26 числа в пятом часу пополудни приехала в село Всесвятское, в семи верстах от Москвы. Здесь императрица отдыхала 27 число, а между тем к следующему дню учреждали церемонию торжественного въезда. 28 числа, в пять часов пополуночи, на Красной площади раздались девять пушечных выстрелов и начался благовест в большой Ивановский колокол. В десятом часу императрица приехала из Всесвятского в Тверскую-Ямскую слободу, где пересела в парадную карету, и начался въезд в порядке, мало изменившемся до наших времен. Когда в Успенском соборе Елисавета стала на императорском месте и племянник ее, герцог Голштинский, на царицыном месте, новгородский архиепископ Амвросий произнес речь:

«Прииде, о Россия, твоего благополучия твердое и непоколебимое основание; прииде крайнее частых и весьма вредительных перемен твоих окончание и

разорение; прииде тишина твоя, благосостояния и прочих желаний твоих несомненная надежда... Церковь православная радуется, яко своего благополучия крепкую получила защитницу, радуется и весь правительствующий сигклит, что как чести и достоинства своего утверждение, так и живой образ милости и правосудия от нее восприимлет. Горит пламенем любви и несказанные ревности к своей природной государыне и все воинство, яко праведную обид своих в произведении рангов отмстительницу и мужественную в освобождении России от внутренних разорений героину приобрести сподобилось. Радуются и гражданские стати, что уже отныне не по страстям и посулам, но по достоинству и заслугам в чины свои чают произведения... Хотя ныне и вся Россия от радости торжествует, однако град сей, который есть якобы прямым всех градов российских сердцем, наибольшую в себе радость ощущает, для того что он все радости причины и прерогативы в себе содержит...

Но, о Россия, посмотри притом и на себя недремлющим оком и рассуди совестно, как-то бог милосердый не до конца гневается, ниже в век враждует. Наказал было тебя праведный господь за грехи и беззакония твои самым большим наказанием, т.е. отъятием Петра Второго, первого же внука императора Петра Великого, и коль много по кончине его бед, перемен, страхов, пожаров, ужасных войн, тяжких и многотрудных гладов, напрасных смертей и прочих бесчисленных бедствий претерпела еси: буди убо впредь осторожна, храни аки зеницу ока твоего вседражайшее здравие ее императорского величества, також и его королевского высочества; а притом бойся всегда бога и страшного суда его; трепещи крепких и неизбежных рук божиих, бежи от греха, яко от лица змиина, перестань беззаконствовать, обманывать, насильствовать, пьянствовать, блудствовать, похищать, обидеть, прелюбодействовать и прочих творить грехов и беззаконий, да не паки понудиши бога к наказанию. К тому же еще буди благодарна дивному промыслу божию, который на тебе бог милосердый явственно и чувственно показывает, когда на место Петра Второго, первого же внука императора Петра Великого, послал тебе второго внука тем же именем и такими же добродетелями сияющего. Приими сего всерадостным сердцем и благоприятною душою, да по имени его и сама каменна будеши, и во всяких случаях вредительных перемен не убоишися, и паки на Петровом имени, аки твердом и нерушимом камени, утвердившися безопасна вовеки пребудеши... Сокровище дражайшего в свете сыскать невозможно, как то, от чего все наше благополучие и вечное зависит спасение; а такое сокровище есть не иное, токмо вера истинная, православная, кафолическая. Тую убо веру самых небес дражайшую, тое сокровище, неоцененное благочестие наше привезе нам в дар наша всемилостивейшая мать отечества: ибо как скоро на престол вступила, так того ж времени Синоду доброе свое и суще императорское намерение объявить изволила: надобно нам начинать с богом и от бога, и как мы утаением сего от премудрых и разумных и откровением младенцем честь и власть императорскую от него получили, так, во-первых, его ж божественную честь и славу хранить, защищать и распространять одолжаемся.

О слова преполезного! Слова императорских уст достойного! И что словом сказать изволила, тое ж самым делом исполнила, ибо книгу «Камень веры», во тьме неведения заключенную, на свет произвесть и освободить повелела, которая книга, как, например, всякому искусному мастеру инструменты, воину оружие, плавающему корабленику на море кормило, так оная нам нужная, полезная и

весьма потребная, и смотри, какую на нас врази наши домашние стратагемму, или, просто сказать, хитрость, безбожные свои войны выдумали. Читали они в книгах царских первых подобный сему Филистинов умысел: тыи понеже непрестанную с Израилем войну имели и многократно от него побеждены бывали, иного способу к побеждению и крайнему завоеванию Израиля не сыскали, как только сей: оружие им делать запретили и готовое у них отобрали. Так подобным образом и наши внутренние неприятели с нами поступали. Ведали они совершенно, что наша вера есть крепкая и непобедимая, понеже стоит не на простом человеке, но на твердом краеугольном камени, т.е. на Христе, сыне бога живого. И како ее победить невозможно, как только отнять у нас оборону, оружие и меч духовный, т.е. слово божие, веру хранящее и защищающее, как задумали, так и сделали. Готовые книги во тме заключили, а другие сочинять под смертною казнию запретили. Не токмо учителей, но и учения, и книги их вязали, ковали и в темницы затворяли, и уже к тому приходило, что в своем православном государстве о вере своей и уст отворить опасно было: в тот час беды и гонения надейся... О коль много должны мы благодарить вашему императорскому величеству за толикие труды и подвиги, которые как в очищении веры и святых почитании, так и в освобождении своего вселюбнейшего отечества подъять соизволила!»

После посещения соборов Архангельского и Благовещенского императрица опять села в парадную карету и тем же порядком отправилась к зимнему своему дому, что на Яузе; когда подъехала к триумфальным синодальным воротам, то встретили ее сорок воспитанников Славяно-греко-латинской академии в белом платье, с венцами на головах, с лавровыми ветвями в руках, и пропели кантату, из которой мы выпишем несколько стихов, вторивших словам церковных проповедников:

Приспе день красный,
Воссияло ведро,
Милость России
Небеса прещедро
Давно желанну
Зрети показали;
Прочь все печали!
Ни одно, ни два,
Но многая лета
Все дождь проливал
И не было света.
Когда бог велел
Ветром умолчати,
Тишина стала,
Кто мог против стати? и проч.

Днем коронации было назначено 25 апреля. В комиссию о коронации отпущено сверх прежних 30000 рублей еще 20000 да на фейерверк 19000; иллюминации велено быть по прежним примерам 8 дней, на Ивановской и прочих колокольнях – от коллегии Экономии, а во дворце, на Красном крыльце и около – из дворцовой канцелярии. Архитектор Иван Бланк, строивший триумфальные

ворота, устраивал троны в Успенском соборе и Грановитой палате, также иллюминацию и фонтаны; медали вырезывал мастер Рейбиш.

В день коронации тот же новгородский архиепископ Амвросий говорил императрице поздравление, в котором, между прочим, прославлял подвиг 25 ноября: «И кое ж большее может быть великодушие, как сие: забыть деликатного своего полу, пойти в малой компании на очевидное здравие своего опасение, не жалеть за целость веры и отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля и сидящих в гнезде орла российского ноцных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать, коварных разорителей отечества связать, побороть, и наследие Петра Великого из рук чужих вырвать, и сынов российских из неволи высвободить и до первого привести благополучия – несть ли убо сие всему свету удивительно?»

По поводу коронации объявлен был длинный лист пожалований, из которых укажем следующие: принц Гессен-Гомбургский произведен в генерал-фельдмаршалы; Андреевский орден получили: генерал-фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий, генерал Василий Солтыков, обер-гофмаршал Михаил Бестужев-Рюмин, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой, сенатор Александр Нарышкин, обер-гофмаршал при герцоге Голштинском Брюммер. Фаворит Разумовский, бывший уже действительным камергером и лейтенантом лейб-компаний, сделан обер-егермейстером и получил Андреевский орден; действительные камергеры и лейб-компаний лейтенанты Воронцов, Александр и Петр Шуваловы получили орден Александра Невского. Кроме того, возведены в графское достоинство родственники императрицы по матери – Гендриковы и Ефимовские, генерал Григорий Чернышев – и забытый отец двоих сыновей, которых никогда не могли забыть, Петр Бестужев-Рюмин, вследствие чего обер-гофмаршал и вице-канцлер становились также графами. Старый друг и сострадальник этой фамилии Черкасов был возведен в бароны. Вице-канцлер Алексей Петр. Бестужев еще 22 марта получил в свое заведование почту по наследству от Остермана.

Знатнейшие опальные прошлых царствований были возвращены; но помнили, что были менее значительные, и 27 сентября был дан указ: «Ее и. в-ству известно учинилось, что в бывшие правления некоторые люди посланы в ссылки в разные отдаленные места государства и об них, когда, откуда и с каким определением посланы, ни в Сенате, ни в Тайной канцелярии известия нет и имен их там, где обретаются, неведомо: потому ее и. в-ство изволила послать указы во все государство, дабы, где есть такие неведомо содержащиеся люди, оных из всех мест велеть прислать туда, где ее и. в-ство обретаться будет, и с ведомостями, когда, откуда и с каким указом присланы». В декабре бывший тайный кабинет-секретарь Эйхлер пожалован в статские советники и уволен от службы. Тогда же князю Юрию Долгорукову отданы все его деревни другим не в образец, «понеже он за ее и. в-ство страдал».

После коронации двор оставался в Москве до конца года. В древней же столице 7 ноября вышел манифест о назначении наследником престола племянника императрицы герцога Голштинского Петра, «яко по крови нам ближайшего, которого отныне великим князем с титулом „его императорское высочество“ именовать повелеваем». При этом объявлено, что наследник принял

благочестивую веру греческого исповедания. В церквах поминали после императрицы «наследника ее, внука Петра Первого», благоверного государя великого князя Петра Федоровича».

Долгое пребывание двора в Москве должно было заставить обратить внимание правительства на не очень удовлетворительное состояние древней столицы. Сенат рассуждал, что полиция имеет весьма слабое и нерадетельное смотрение и что ей по должности ее поручено, все то от нерадетельного ее смотрения опущено: караулы содержатся весьма слабые, и во многих местах происходит воровство, драка, в жилье стреляют из ружья, и чистоты в городе почти никакой нет, мосты починиваются очень слабо. Полицмейстерская канцелярия отвечала, что полиция исполняет свои обязанности с крайним попечением, сколько человеческая возможность допускает, но встречает следующие препятствия: 1) в полицейской команде офицеры многие стары и неспособны, отчего проистекает некоторое упущение и медленность; 2) для искоренения непорядков велено полиции иметь две роты драгун да роту солдат, а теперь драгун и солдат только по 50 человек, и таким малым числом по обширности здешнего места усмотреть всех беспорядков скоро нельзя; 3) при отправлении полицейских обязанностей немалые конфузии происходят от гвардейских полков и прочих команд, которые у полицейских отбивают людей, взятых под караул, и самих их бьют, даже отбивают арестантов с съезжих дворов; в квартирах своих, несмотря на запрет, печи топят, срывая с них печати и запрещая печатать, с квартиры на квартиру переходят сами собою, вследствие чего от обывателей происходят жалобы. Сенат сделал распоряжение, чтоб полиция была удовлетворена.

Но в то время когда заботились о безопасности жителей Москвы, вдруг разнесся слух, что императрица небезопасна во дворце своем. Слух подтвердился, когда 15 июля, в день освящения церкви в московской академии, ректор Кирилл Флоринский в проповеди своей сделал выходку против внутренних врагов Елисаветы. Проповедь была на текст: «Не творите дому Отца моего дому купленного»; оратор представил Россию в виде храма, созданного Петром Великим, по смерти которого в этом храме некоторые завели торговлю. Торговля не прекратилась и по восшествии на престол дочери Петра: «Как же ужасно и подумать, – говорил оратор, – яко осмимесячию не претекшу, егда провозсия на престоле отчи венценосица Елисавет, и уже на ино торжники прелагаются. Странная весть: давно ли вожделенная – и уже ненавидима Елисавет; давно ли в сердцах и в устнех сладка – и уже горька Елисавет; давно ли оживотворившая нас, уже опасна жизнь ей посреде дому; давно ли обрадовавшая нас – и уже в слезах опечаляема посреде дому; давно ли мать (и еще всемилостивейшая, яко и истинно есть) – и уже тяжка и немилосердна. О непостоянство злоковарных торжников!.. Но ащи тыи, злобою воспящаеми, о благостыне ее величества немотствуют, то поне вы, прежде расточеннии и заточеннии, ныне же всегда бедствующим состраждущие, матере Елисаветы милостию возвращеннии и уже мнози собраннии от Сибири, Иркута, Камчадала, от многих трудно и именуемых стран и от подземленных недр мертвецы прежде живые: поне вы со мною признайте, что не иной ради причины лукавым торжником государства Елисавет ненавидима, горька, тяжестна кажется и не мать, яко и благая отеческая расточенная собирая, узаконенное отцом возобновляя и вас, бедствовавших,

возвращая, – словом, вся отеческая в первобытное состояние приводя, не попускает долее злодеям, да дом отеческ и ее величества наследный соделывают домом купли и вертепом разбойническим... Что же, ваше императорское величество, долго терпите, и на торжницах государства, сие есть чудное премудрые экономии вашего величества дело, по разуму притчи Христом реченные: оставите купно обоя расти до жатвы, да не како восторгая плевелы, восторгнете купно с ними и пшеницу».

Дело состояло в следующем: камер-лакей Александр Турчанинов, Преображенского полка прапорщик Петр Ивашкин, Измайловского полка сержант Иван Сновидов составляли заговор с целью захватить и умертвить Елисавету и племянника ее, герцога Голштинского, и возвести на престол свергнутого Иоанна Антоновича; они говорили, что Елисавета и сестра ее Анна прижиты вне брака и потому незаконные дочери Петра Великого. Дело тянулось до декабря, когда виновных высекли кнутом и сослали в Сибирь, у Турчанинова вырезавши язык и ноздри, а у двоих товарищей его только ноздри.

В декабре двор переехал в Петербург, чего с нетерпением ждали послы европейских держав, требовавших вмешательства России в дела Запада.

Ко времени вступления на престол Елисаветы ход европейских дел уяснился вполне. До сих пор, по убеждению образованных людей в Европе, политическое равновесие в ней поддерживалось уравниванием сил между австрийским и Бурбонским домами как самыми могущественными на континенте: как только одна сильнейшая держава брала явный верх над другою и таким образом нарушала равновесие, остальные державы должны были соединяться для вспомоществования слабейшей и для восстановления равновесия. Теперь это нарушение равновесия было очевидно: пользуясь прекращением мужеской линии Габсбургского дома, Франция хочет низложить окончательно свою постоянную соперницу Австрию разделением ее владений, с тем чтобы в Германии не было более обширной, сильной и потому опасной для Франции державы; Бавария, Саксония уже вошли в виды Франции; чтоб поделить австрийские земли, прусский король, не имея родственных прав, пользуется правом сильного и спешит добыть себе богатый кусок из добычи и таким образом пока действует в видах Франции. Успехи Фридриха II показывали ясно, что наследнице Габсбургов не управиться без посторонней помощи с врагами, грозившими ей со всех сторон. Кто же должен помочь ей? В конце XVII и начале XVIII века, когда Франция также нарушила политическое равновесие, против нее составили союз, восстановивший равновесие. Почин дела тогда принадлежал морским державам, Голландии и Англии, благодаря особенно деятельности Вильгельма Оранского. И теперь Англия и Голландия хлопчут о восстановлении политического равновесия; но вместо Вильгельма III в Англии бездарный Георг II, который только заботится о своем Ганновере и для его охранения, для его нейтралитета готов на всякую сделку. Морские державы только толкуют, что политическое равновесие нарушено, что необходимо помочь Марии Терезии, но сделать ничего не могут, ибо им непременно нужно прикрепиться к какой-нибудь сильной континентальной державе. Такою была Россия, и понятно, что теперь Петербург или Москва, смотря по тому, где находится императорский двор, становятся средоточием европейской дипломатической деятельности, ареною, где министры различных европейских дворов борются друг с другом, кто осилит, кто склонит

русское правительство помочь Марии Терезии и тем поддержать европейское равновесие или кто заставит его содействовать окончательному нарушению равновесия прямо или косвенно, посредством невмешательства.

Кто же осилил?

Разумеется, здесь должен был решиться вопрос: созрела ли Россия для своей великой роли, которую указал ей Петр Великий, понимают ли русские государственные люди ее интересы в связи с общими интересами Европы, руководятся ли этим ясным пониманием или только своими мелкими, личными интересами и Россия будет вступать в войну, заключать союзы и миры, смотря по тому, какая придворная партия одержит верх или сколько денег русское министерство получит от того или другого двора?

До сих пор направителем русской политики был иностранец, слава ее успехов принадлежала ему; но теперь его нет, и должен решиться вопрос, может ли русский человек заменить Остермана. Так как ход европейских дел достаточно выяснился, то можно было уже определить, в чем должна состоять политика России, может ли она продолжать свое невмешательство. В предшествовавшее царствование шведская война освобождала Россию от решения этого трудного вопроса; но теперь все показывало, что война эта должна скоро кончиться, и надобно было определить свои отношения к государствам, которые были опаснее для России, чем Швеция. Было ясно, что Россия как член европейской семьи государств не должна была спокойно сносить нарушения политического равновесия в пользу Франции, которая была виновницею шведской войны, от интриг которой Россия никогда не могла быть покойна ни в Польше, ни в Турции; согласно ли было с русскими интересами допустить, чтоб Австрия сошла на степень мелких государств и Франция распорядилась бы как хотела в Германии и чрез Саксонию получила влияние в Польше? Следовательно, необходимо было поддержать Марию Терезию и не отдавать Саксонию, а вместе с нею и Польшу в руки французам. Но кроме Франции, средства которой скоро оказались несоответствующими ее стремлениям, явилась опасность ближайшая: под боком у России прусский король, который своими дарованиями и энергиею превосходил все коронованные лица Европы, обнаружил намерение во что бы то ни стало усилить свое государство; неразбочивость средств делала его еще более опасным. Со времен Петра Великого выгодное положение России обеспечивалось слабостью соседей – Швеции, Польши, Турции; следовательно, прямые интересы ее требовали остановить властолюбивые замыслы Фридриха II, а для этого необходимо было поддерживать против него Австрию и Саксонию.

Программа России, следовательно, была проста и ясна, большинство, почти все главные деятели, были согласны относительно ее; программа, как увидим, и была выполнена в главном, т.е. в поддержке Австрии и Саксонии и в остановке завоевательных стремлений Пруссии. Но программа была выполняема медленно, с колебанием, особенно в первые годы царствования Елисаветы. Эта медленность и колебание зависели от разных причин. Переворот 25 ноября произвел новизну в отношениях между правительственными лицами. Того давления, какое прежде оказывали на дела авторитеты Миниха и Остермана и значение Бирона, не было более. Люди, которые прежде сдерживались этими авторитетами, теперь явились свободными, самостоятельными деятелями и, спеша пользоваться своею свободою и самостоятельностью, необходимо сталкивались друг с другом.

Самыми даровитыми и деятельными людьми, стоявшими наверху в описываемое время, были братья Бестужевы и генерал-прокурор князь Никита Трубецкой. Назначение Алексея Петровича Бестужева вице-канцлером показывало ясно, что в нем хотят видеть преемника Остерману по делам внешним; звание генерал-прокурора при восстановлении Сената в прежнем его правительствующем значении давало Трубецкому самое широкое влияние по делам внутренним. По-видимому, можно было бы разделить, но люди не любят дележа. Мы видим, что при Анне Леопольдовне Трубецкой был за Бестужева; но тогда он хотел иметь в нем орудие против Остермана и мог рассчитывать, что Бестужев, обязанный ему и не имея другой подпоры, будет только его орудием. Но со вступлением на престол Елисаветы отношения переменились: Бестужев сейчас же начал искать себе подпоры и возобновлять старые связи с людьми, приближенными к новой императрице, людьми, принадлежавшими к цесаревнину двору, – с Разумовским, Лестоком и Воронцовым. Это должно было оттолкнуть от Бестужева Трубецкого, который соединился теперь с великим канцлером князем Черкасским, чтоб не давать воли Бестужеву, который в их глазах был выскочка, интриган, если хотел действовать самостоятельно, а не быть покорным слугою их сиятельств. Князь Черкасский, освободившись от Остермана, вдруг захотел быть настоящим канцлером, заправлять внешними делами, вместо того чтоб положиться во всем на способного, опытного и деятельного вице-канцлера. Эти претензии неспособного и ленивого старика, раздражая Бестужева, могли только вредно действовать на дела. Князь Трубецкой считал себя вправе смотреть вначале на Бестужевых как на перебежчиков во враждебный лагерь, изменников русскому делу за то, что позволили себе соединиться с Лестоком. Генерал-прокурор считал переворот 25 ноября неполным, пока иностранцы еще занимали важные места в войске и были в приближении у государыни. Он вооружился против фельдмаршала Леси, который, по его словам, от старости не знает, что делает; говорил, что генерала Левендаля надобно отдать под суд за его действия во время шведской войны; но больше всего он был враждебен Лестоку, который по своему приближению имел большое влияние на дела; вражда разгорелась до такой степени, что Трубецкой и Лесток жаловались друг на друга императрице и публично объявляли себя заклятыми врагами. Разумеется, враги. Трубецкого не щадили его: говорили, что генерал-прокурор заправляет самовольно внутренними делами и поступки его представляют ряд насилий и несправедливостей. Низложив всех, кто стоит ему на дороге, особенно немцев, он хочет ограничить верховную власть и устроить престолонаследие по своей воле. Быть может, нерасположение его к немецкому дворику герцога Голштинского подавало повод к последнему заключению: Трубецкого упрекали в том, что он не угождает никому, кроме духовенства и гвардии.

Елисавета, будучи от природы умна и наблюдательна, не могла не заметить очень скоро борьбы между своими вельможами; она отнеслась к ней спокойно; будучи одинаково хорошо расположена ко всем ним, считая их всех нужными для своей службы, она не хотела жертвовать одним для другого. Эти люди, стремившиеся овладеть ее доверием, ее волею, как обыкновенно бывает, не понимали, сколько гарантии для них заключается в этом спокойствии, в этой ревности императрицы относительно их; они обыкновенно упрекали ее в непостоянстве, в том, что, выслушав нынче мнение одного и, по-видимому,

согласившись с ним, завтра, выслушав другого, она переменяет прежнее мнение; упрекали ее в скрытности и хитрости. Не имея блестящих способностей, образования, приготовления, опытности и привычки к делам правительственным, Елисавета, разумеется, не могла иметь самостоятельных мнений и взглядов, исключая тех случаев, где она руководилась чувством. Выслушивая одно мнение, она принимала его и по живости характера не могла удержаться от выражения своего одобрения; не торопясь решать дело по первому впечатлению, она выслушивала другое мнение и останавливалась на новой стороне дела; приведенная в затруднение, сравнивая и соображая, она, естественно, медлила и тем приводила в раздражение людей, желавших, чтоб их мысль была приведена как можно скорее в исполнение. Они кричали, что императрица не занимается государственными делами, отдает все свое время удовольствиям. Мы не станем отрицать, чтоб в этих жалобах не было значительной доли правды. Елисавета могла быть и ленива, и предана удовольствиям; мы заметим только, что указания на эти недостатки идут от людей, находившихся в раздраженном состоянии, страстно желавших спешить; мы заметим только, что были и другие причины медленности: укажем на трудность решения дел при разноречии мнений, при спокойном, ровном отношении к людям, высказывавшим разноречивые мнения.

Относительно внешних дел политика, единственно возможная при тогдашнем положении Европы, единственно сообразная с интересами России, единственно национальная, т.е. сохранение политического равновесия, недопущение, с одной стороны, Франции, а с другой – Пруссии усилиться на счет Австрии и Саксонии, – эта политика вначале встретила противодействие в личных отношениях Елисаветы к тем или другим дворам, в ее симпатиях и антипатиях к дворам и представителям их в России. Мы видели, что европейские державы, разделившись на две группы – противников и защитников австрийского дома, должны были посредством своих представителей бороться при петербургском дворе за союз или по крайней мере нейтралитет России. Так как сочувствие Брауншвейгской фамилии было на стороне Австрии, то, разумеется, особенным расположением правительства пользовались представители держав, защищавших Марию Терезию; представители этих держав со своей стороны должны были желать добра Брауншвейгской фамилии именно за ее сочувствие к Австрии и неприязненно относиться ко всему ей враждебному, следовательно, и к цесаревне Елисавете, на торжество которой они должны были смотреть как на торжество Франции и Пруссии. Английский посланник Финч сообщил Остерману о движениях Елисаветы; посланник Марии Терезии Ботта имел самые сильные побуждения быть на стороне Брауншвейгской фамилии и враждебно относиться к Елисавете; со стороны Саксонии, представляемой Линаром, Елисавета не могла ждать для себя ничего хорошего, следовательно, и сама не могла быть расположена к ней; прусский посланник Мардефельд ведет себя осторожно, не сближается с Елисаветой; но по свержении Миниха у Пруссии с русским правительством небольшие лады, следовательно, Фридриху II было легко приобрести расположение Елисаветы; самым сильным расположением новой императрицы должна была, разумеется, пользоваться Франция и ее представитель Шетарди. Таким образом, людям, которые были убеждены, что внешние отношения России несколько не должны были измениться с переворотом 25 ноября, людям, которые были настолько честны, что хотели следовать

национальной русской политике, несмотря на то что ее поддерживал ненавистный им Остерман, – этим людям прежде всего надобно было выдержать борьбу с симпатиями и антипатиями императрицы.

Шетарди, который так хлопотал о возведении на престол Елисайеты, был очень неприятно поражен, когда узнал о перевороте 25 ноября, потому что этот переворот был произведен без его ведома, гораздо раньше, чем он рассчитывал, и одними русскими средствами, безо всякой помощи шведов, что ставило Францию и ее посланника в Петербурге в крайне затруднительное положение.

В первые дни по вступлении на престол Елисаветы французского посланника, о преданности которого новой императрице теперь все знали, окружал необыкновенный почет. Финч писал своему двору, что если первый поклон императрице, то второй Шетарди. Быть может, какой-нибудь Бестужев и понимал, что торжество не будет продолжительным, и в предвидении страшных затруднений для Шетарди не желал быть на его месте; но толпа смотрела иначе. Гвардейцы, разнуздавшиеся от милостей императрицы и позволявшие себе бесцеремонное обращение, считали Шетарди своим товарищем в деле, ими совершенном. Очевидец рассказывает, как однажды двое из них пришли к французскому посланнику поздравить его с Новым годом, бросились целовать его, целовали ему руки, говорили, что считают его за отца родного, а короля его за самого надежного друга России; просили его уговорить государыню поскорее ехать в Москву и вызвать герцога Голштинского; просили, чтоб поскорее приезжала в Россию французская принцесса, которую надобно привести в русскую веру и выдать замуж за герцога, а что герцог будет наследником престола, за это они ручаются. Шетарди напоил их вином, дал им денег.

Первый и самый важный вопрос, представившийся новому правительству, был вопрос о шведской войне. Шведы объявили, что они начали войну для восстановления прав потомства Петра Великого; теперь эти права были восстановлены, следовательно, причины к войне не было более; так как шведы, потерпевши неудачу в самом начале войны, не оказали новому русскому правительству никакой помощи в перевороте 25 ноября, то на Елисавете не лежало никакой обязанности в отношении к Швеции. Если Франция хотела упрочить свое влияние в России, то она могла это сделать, не иначе как поступивши с Швециею так же бесцеремонно, как поступила с нею Англия перед Ништадтским миром, т.е. показать, что Швеция служила только орудием для известных целей; Франция должна была представить Швеции, что, потерпевши неудачу и не помогши Елисавете при вступлении ее на престол, она должна воспользоваться этим воцарением Елисаветы, чтоб с благовидностью окончить войну, которую продолжать с успехом не в состоянии. Вместо того Франция хотела непременно, чтоб Швеция получила от России какое-нибудь вознаграждение; но этим могла только раздражить Россию, заставляя ее ни за что делать уступки, произвести охлаждение в Елисавете, касаясь так неделикатно самого чувствительного для нее вопроса. а Швецию могла только ввести в новую беду и вместо приобретения заставить ее только потерять земли.

Первым, самым естественным делом новой императрицы было обратиться к Шетарди, чтоб он помог прекратить войну как не имеющую более смысла. Шетарди дал знать Левенгаупту бывшему с войском на дороге к Выборгу, о вступлении на престол Елисаветы, чем война должна прекратиться. Но

Левенгаупт отвечал, что не будет причиною кровопролития, если его удостоят, что Швеция получит выгодный мир. Шетарди опять написал ему, что удовлетворение относительно выгодного мира заключается в природной правоте и искренности русской государыни, и брал на себя ответственность за прекращение военных действий. Шетарди объяснял свой поступок уверенностью, что Швеция не может с успехом вести войну. Россия, по его мнению, была не та, какою была неделю тому назад. Ее силы удвоились от переворота; конфискованные имения арестованных лиц дадут средства продолжать войну без отягощения народа. Народ, одушевленный любовью к родине, будет вести войну с ожесточением; шведы изгладят память о своей услуге, оказанной известным манифестом, и увековечат в русских ненависть к себе; как ни храбро шведское войско, Левенгаупт не приведет назад в Швецию ни одного человека. Кроме того, он получил сведения о жалком состоянии шведского войска и потому считал себя вправе изумиться, что Левенгаупт хочет заключить мир не иначе, как если Россия уступит Швеции все завоевания Петра Великого. Как бы то ни было, Левенгаупт возвратился к Фридрихсгаму, хотя сначала грозил продолжать поход, если ему не отдадут предварительно Выборга и Кексгольма.

Между тем освобожденный из плена шведский капитан Дидрон был отправлен к шведскому королю с известием о восшествии на престол Елисаветы. От 30 декабря граф Левенгаупт прислал Шетарди письмо: «Король, мой государь, узнав чрез капитана Дидрона о восшествии на престол принцессы Елисаветы (*madame la princesse*), приказал мне немедленно засвидетельствовать всю ту радость, которую причинила ему такая приятная и желанная весть. В исполнение этого прошу ваше превосходительство взять на себя уверение в уважении и преданности, которые его величество питает к этой великой государыне, и в удовольствии, которое он ощущает, видя ее на престоле, принадлежащем ей по рождению и заслуженном высокими ее качествами. Король вполне убежден, что эта государыня ответит на его чувства своим расположением к тем средствам, которые бы могли дружбу государей сделать согласною с интересом и безопасностью обоих государств. Король очень чувствителен к милости, оказанной ее величеством капитану Дидрону; он жаждет случая засвидетельствовать свою совершенную благодарность, а на первый раз приказал мне освободить русских пленников, находящихся в Фридрихсгаме». В заключение письма Левенгаупт просил Шетарди сообщить русской государыне именем королевским о кончине королевы Ульрики Элеоноры. От русского двора Шетарди вручена была нота с обозначением, в каком смысле он должен был отвечать на письмо Левенгаупта: поступок императрицы с капитаном Дидроном может убедить короля в усердии, с каким ее величество ищет случаев засвидетельствовать ему свое совершенное уважение и пользуется настоящим случаем для повторения его величеству искренних уверений, что она ничего так не желает, как вполне соответствовать добрым намерениям и расположениям, высказанным в письме графа Левенгаупта.

Обменяться учтивыми выражениями было легко, но приступить к делу примирения было очень трудно. Как чувствовала эту трудность виновница войны Франция, видно из письма Амелота к графу Кастеллану, посланнику в Константинополе, от 12 января 1742 года: «Теперь еще рано начертать план наших действий относительно России. Восшествие на престол принцессы Елисаветы нам

выгодно в настоящую минуту потому, что немецкое правительство было совершенно преданно венскому двору; а новая царица обнаруживает расположение к Франции и требует ее посредничества для окончания шведской войны. Но до сих пор все это только одни слова, и его величество король как прежде, так и теперь желает чести и безопасности шведов. Они не могут заключить мира, не приведя по меньшей мере в безопасность своих границ, и я предвижу, что Россия может согласиться на это только из страха перед союзами, могущими образоваться против нее. Поэтому вы должны поддерживать расположение, которое Порта начала оказывать в пользу Швеции».

Согласно с этим Шетарди получил сильный выговор в письме от Амелота:

«Я был очень изумлен, что на другой день после переворота вы решились писать к гр. Левенгаупту о прекращении военных действий. Еще более изумило меня то, что вы хотели взять на свою ответственность все последствия этого. Я не могу примирить такого образа действий с знанием намерений короля, какое вы имеете, и с вашими собственными известиями о худом состоянии московской армии, которая нуждалась в необходимом и которая, по вашему мнению, неизбежно потерпит поражение при первой встрече со шведами. Ваши письма были наполнены известиями о слабости русского правительства, которое до сих пор внушало почтение иностранцам только наружным блеском, скрывавшим внутренние язвы. Каким образом могло случиться, что в 24 часа изменилось все и русские сделались столь страшными, что шведы могут найти себе спасение только в доброте царицы, которая может их уничтожить? Король думает совсем иначе, и более правдоподобно, что поспешность, с какою воспользовалась царица вашим значением, чтоб остановить гр. Левенгаупта, скорее проистекала от опасения, внушенного слухами о походе этого генерала, чем из желания угодить королю и быть осторожною с народом, дружественным с Францией. Вы были введены в заблуждение известиями о дурном положении шведской армии, известиями, страшно преувеличенными и даже ложными в существенном.

Но предположим, что известия были справедливы, и в таком случае вы никогда не должны были останавливать гр. Левенгаупта, когда царица отказалась дать просимые им обеспечения. Пусть бы лучше шведская армия была разбита наголову. Ошибка генерала не падала бы на министерство, которое не имело времени взять назад данных им приказаний. И тогда мир был бы заключен так же выгодно, как вы заставляете надеяться теперь, потому что не позволяете даже догадываться о желании царицы что-нибудь уступить, а Швеция не могла бы ни в чем нас упрекать. Когда же, напротив, Левенгаупт одержал бы верх, то царица сочла бы себя счастливою, если бы королю угодно было доставить ей мир. Не скрываю от вас, что вся шведская нация раздражена до крайности и не сомневается, что король хотел пожертвовать ею. Я посылаю сегодня курьера в Стокгольм, чтоб стараться успокоить там умы и дать знать, как это и есть и действительности, что перемена государя в России нисколько не изменяет ни чувств короля к Швеции, ни видов Франции. И точно, если король всегда желал переворота в России только как средства облегчить шведам исполнение их намерений и если этот переворот произвел противное действие, то надобно жалеть о трудах, предпринятых для его ускорения. Честь короля обязывает поддерживать шведов и доставить им по крайней мере часть обеспечений и преимуществ, на которые они надеялись: его величество не должен допускать,

чтоб они терпели от последствий вашего слова... Если война продолжится, то шведы не останутся без союзников... Важно, чтоб заключение мира между Россией и Швецией было в наших руках. Пусть царица остается в уверенности насчет благонамеренности короля; однако не нужно, чтоб она слишком обольщала себя надеждою на выгодность мирных условий».

Вследствие таких взглядов на дело в Версале Шетарди должен был по присланной ему инструкции объявить в Петербурге следующее: «Швеция принялась за оружие как для получения удовлетворения в обидах, нанесенных ей прежним немецким правительством России, так и из желания возвратить себе прежние свои провинции. Обязательства, в которые король французский вошел относительно Швеции, не могут быть условны, и так как король хлопотал за государыню, ныне царствующую в России, именно помогая Швеции, то ее величество не может сердиться на него за то, что он нашелся в необходимости служить шведским интересам. Шведы надеются получить от благодарности ее величества то, что прежде они думали получить только силою оружия. Надежда графа Левенгаупта основана не на химерах, доказательством чему послужит кампания будущей весны, если, по несчастью, война продолжится. Левенгаупт на основании слов Шетарди удержал поход свой, вследствие чего на Францию возлагается ответственность за слово, данное ее посланником. Король французский находится в большом затруднении: с одной стороны, по личной склонности он желает быть полезным ее величеству, содействовать ее славе и благополучию ее царствования; а с другой стороны, он связан с Швецией, самую старинную союзницу Франции, и если покинет ее, то изменит самым формальным своим обязательствам. Кажется, Швеция никогда не согласится на безвыгодный для себя мир. Король французский может умерить шведские претензии; но, как он надеется также, ее величество поймет, что надобно чем-нибудь пожертвовать, если хотят привести дело к скорому примирению».

11 января Шетарди прочел это самой императрице в присутствии Лестока, переводившего по-русски те места, которых она не понимала. Елисавета отвечала, что она употребила бы все средства, указанные ей французским королем, для выражения своей благодарности шведам, если бы только дело не касалось уступок, противных ее славе и чести; пусть сам король будет судьей: что скажет народ, увидя, что иностранная принцесса, мало заботившаяся о пользах России и ставшая случайно правительницею, предпочла, однако, войну стыду уступить что-нибудь, а дочь Петра I для прекращения той же самой войны соглашается на условия, противоречащие столько же благу России, сколько славе ее отца и всему, что было куплено ценою крови ее подданных для окончания его трудов. Шетарди должен был повторять, что французский король поднял шведов для доставления престола ей, Елисавете, и она должна помочь королю выйти из затруднительного положения, в какое он попал из-за нее. Елисавета отвечала, что король поступил бы точно так же, как она, т.е. ни за что не согласился бы нарушить уважение к памяти отца.

Из Версаля Шетарди, между Прочим, было внушено, чтоб он не раздражал русских министров, производя переговоры непосредственно с самою императрицею, и потому Шетарди просил позволения у Елисаветы прочесть то же заявление и вице-канцлеру Бестужеву. В это время Шетарди считал Бестужева наравне с Лестоком человеком, способным действовать в интересах Франции по

враждебности отношений его к великому канцлеру князю Черкасскому, которого взгляд на европейские дела уже высказался решительно, именно в пользу Австрии, тогда как Бестужев еще не высказывался против Франции, вероятно имея в виду воспользоваться ее услугами в шведском деле. На этом основании Шетарди еще прежде хотел выдвинуть Бестужева и отстранить враждебного Черкасского; он представил императрице, что иностранные министры затрудняются иметь сношения с кн. Черкасским, который не знает ни одного иностранного языка, и желают избрания министра, к которому бы они могли непосредственно обращаться. «Еще не время, – отвечала Елисавета, – впрочем, что вам за нужда? Вы будете вести переговоры прямо со мною, а другие иностранные министры пусть делают как знают».

Бестужев выжидал, как поведет себя Франция в шведском деле; прямо давал знать Шетарди, что находится в затруднительном положении от неизвестности насчет этого, от неизвестности, будет ли война или мир с Швециею, тогда как представители Австрии и Англии, Ботта и Финч, не дают ему покоя, склоняя на свою сторону. Шетарди предложил ему ежегодную пенсию в 15000 ливров за то, что король очень доволен его намерениями в пользу Франции; Бестужев отказался, объявив, что еще ничего не сделал, чтоб иметь право на благосклонность королевскую, что он безо всякого вознаграждения готов служить интересам короля, поскольку они согласуются с выгодами его государыни. Лесток, пришлец, не могший питать сильного сочувствия к России, имевший очень смутное понятие о ее интересах, – Лесток не дожидался, окажутся ли интересы Франции тождественны с интересами России, и принял пенсию, обещаясь заслужить ее.

Заявление, прочитанное Шетарди Бестужеву, вывело вице-канцлера из нерешительного положения, показав, что от Франции нечего ждать добра для России. Он прямо объявил Шетарди, что нельзя начинать никаких переговоров иначе как на основании Ништадтского мира, и он заслуживал бы смертную казнь, если бы стал советовать уступить хотя бы один вершок земли. «Надобно вести войну! – сказал Бестужев. – Вот чего каждый из нас должен требовать для славы государыни и народа. Мы будем вести войну; однако думаю, что, не прибегая к такой крайности, мы можем доставить обеспечение Швеции и даже быть ей полезными в ее видах. Не нам одним она уступала земли, и не выгоднее ли будет для нее возратить уступленное другим?» «Не намекаете ли вы на Бремен и Верден, не хотите ли их возратить шведам?» – сказал, смеясь, Шетарди. «Можно всегда сговориться, – отвечал Бестужев, – мы искренне желаем Швеции добра, желаем приобрести ее дружбу. Если французский король водворит спокойствие на севере, войдет с нами в тесный союз, заведет прямую торговлю и упрочит все это кровными связями, то, располагая Россиею и Швециею, он будет в состоянии дать европейским делам какое ему угодно направление. Помогите искренним намерениям, и не будем упускать минут, чтоб прекратить напряженное положение; напишите скорее королю то, что внушает мне усердие к его службе».

Вследствие заявления Шетарди созвана была конференция из троих известных нам членов совета по внешним делам; приглашены были также генерал-прокурор и фельдмаршал Леси; императрица сама присутствовала; решение было единогласное – что никакая земельная уступка невозможна, и Шетарди получил ответ: обиды, причиненные Россиею, не известны, а действия

России в пользу Швеции довольно явны; намерение Швеции отобрать свои прежние провинции крайне несправедливо, противно Ништадтскому миру и союзу 1735 года, от которых Россия отступить никогда не может. Как бы надежда графа Левенгаупта ни была основательна, однако если война продолжится, то и мы должны будем поступать по правилам и обычаям воинским. Какое право Швеция имеет требовать исполнения обещаний от Франции – оставляем этот вопрос, как нам не принадлежащий, на решение этих обеих держав. Швеция может не соглашаться на безвыгодный мир, а Россия не согласится ни на малейшее нарушение Ништадтского мира.

Соответственно этому объявлению решено было возобновить и продолжать войну со всевозможной энергиею. В начале марта военные действия возобновились. В шведской армии страшно переполошились. В Финляндии явился манифест императрицы Елисаветы, в котором жители страны приглашались не принимать участия в несправедливой войне и в случае если бы они захотели отделиться от Швеции и составить независимое государство, то императрица обещала свое содействие; в манифесте говорилось, что и сама Швеция не может найти ничего дурного в этом отделении, ибо, имея между собою и Россию независимое государство, избавится от всяких беспокойств и опасений. Решительность России заставила Францию понизить тон.

19 марта Шетарди спросил князя Черкасского, не может ли он уполномочить его донести своему государю, что ее величество обещает, как и прежде, будучи цесаревною, обещала, приискать Швеции такие выгоды, которые бы не нарушали Ништадтского договора, принимая в рассуждение, сколько эта предпринятая шведами война содействовала ее величеству в получении родительского престола. Канцлер отвечал, что, не зная о таком обещании, он не может ничего ему на то сказать, а донесет императрице; только может его уверить, что твердое намерение ее величества состоит в том, чтоб ни пяди земли не отдавать. Если шведы хотят заставить верить, будто они начали войну в пользу ее величества, когда она была еще цесаревною, то без явного для себя стыда объявить этого не могут, ибо всем известно, что Швеция еще при императрице Анне готовилась к войне против России, решение было принято, и действительно в 1739 году войска были перевезены в Финляндию. Шетарди имел бесстыдство отвечать: «Могу обнадежить подлинно, что когда уже шведы войну объявили, то отстали от первого своего намерения возратить хотя сколько-нибудь из прежде у них завоеванного и другого ничего не имели ввиду, как только содействовать вступлению на престол ее величества; я могу это доказать всем тем, что тогда в высочайшем секрете происходило, также и какие обещания ее величество изволила давать еще в сентябре месяце».

Двор переехал в Москву для коронации; Шетарди также отправился туда; в Москву же приехал для ускорения мирных переговоров бывший уже при русском дворе шведским посланником Нолькен и поместился в доме Шетарди. 2 мая Нолькен был приглашен на конференцию в дом великого канцлера, где кроме князя Черкасского присутствовали генерал Румянцев и обер-маршал Михайло Петрович Бестужев, брат которого, вице-канцлер, не был по болезни. На слова князя Черкасского к Нолькену, что присутствующие готовы выслушать его предложения, тот отвечал, что он может вести переговоры о мире; но так как французское посредничество принято ее величеством, то он, Нолькен, без

присутствия Шетарди ни в какие изъяснения вступить не может. Нолькену возразили, что императрица никогда не требовала и не просила французского посредничества, но только добрых услуг и если он, Нолькен, уполномочен вести переговоры, то ничье посредничество не нужно. «Добрые услуги и посредничество одно и то же, – сказал Нолькен, – и мне прискорбно встретить затруднения по этому предмету; я прислан с тем, чтоб вести дело в присутствии и при посредстве Шетарди, что могу засвидетельствовать своею инструкциею; поэтому, не теряя времени, послать бы за Шетарди, чтоб нам можно было вместе приступить к доброму делу, а без Шетарди мне говорить нельзя». «Посредничество и добрые услуги далеко не одно и то же, – отвечал Черкасский, – и вам как бывшему посланнику это должно быть очень хорошо известно. Добрые услуги Шетарди должен оказывать вам особо, а не в присутствии вашем и только в случае каких-нибудь столкновений между обеими сторонами может делать свои представления как русскому, так и шведскому двору. Кроме того, французское посредничество не может быть принято и потому, что, как всему свету известно, Франция и Швеция находятся в тесном союзе и объявлено, что Франция не оставит Швецию в настоящем затруднительном случае; понятно, следовательно, что такое посредничество невозможно. Впрочем, и самой Швеции честнее, когда она сама о своих делах будет вести переговоры и приведет их к концу». «Все это так, – отвечал Нолькен, – но у меня руки связаны, и потому прошу подать мне помощь именно формальным отстранением французского посредничества». Ему отвечали, что Шетарди нечего требовать: Россия не приглашала Францию к посредничеству, а просила только добрых услуг.

5 мая происходила вторая конференция, на которой Нолькен продиктовал для донесения императрице следующее: «Решение вопроса о французском посредничестве тесно связано с принципом, который должен служить основанием переговоров. Этот принцип есть не иное что, как намерения и виды Швеции, объясненные в манифесте, изданном под именем генерала графа Левенгаупта. В этих-то самых видах и намерениях Франция согласилась с Швециею. Небо их благословило, возложивши корону на главу ее всероссийского величества, к великому удовольствию означенных союзных держав и всего русского народа. Уповается, что ее величество не захочет отвергнуть правду этого принципа. Со времени благополучного восшествия на престол намерения Швеции и Франции оставались одни и те же, следовательно, остается только облечь дело в формальность договора. Взявши такое основание, нельзя придумать здравой причины, почему бы можно было продлить затруднение насчет французского посредничества, тем более что с восшествия на престол ее величества мирные заявления с обеих сторон передавались посредством французского посланника». Конференц-министры отвечали, что такие несправедливые замечания вместо ускорения мира отдаляют его; они не смеют всего того и донести ее величеству, ибо на каком основании он упоминает о манифесте графа Левенгаупта и дает, хотя скрытно, понять, будто ее величество получила родительский престол благодаря шведам и французам, чего никто в Российской империи не признает. Нолькен отвечал: «Прошу доложить дело на решение императрицы; впрочем, смело говорю, что король, государь мой, и весь народ шведский начали эту войну не против ее величества, что доказывается тою радостью, какую весь шведский народ почувствовал, услышав о восшествии ее величества на престол; каждый

думал, что война уже прекращена, и я ехал сюда вести переговоры с приятелями, а не с врагами. Смело говорю, что причины и цели войны те самые, которые истолкованы в манифесте графа Левенгаупта. Я не говорю, чтоб шведы ее величество на престол посадили, но нельзя же отрицать, чтоб они этого не желали, и так как Франция для того же с ними согласилась, то необходимость ее посредничества в настоящем мирном деле осязательна».

На это министры отвечали, что напрасно он ссылается на такой постыдный манифест; ни одного человека в России, тем менее их, министров, он не уверит в том, чтоб шведы начали войну в пользу ее величества: каждому известно, как давно они искали случая напасть на Россию и какие происки чинили при разных дворах уже после восшествия ее величества на престол; а можно ли принять французское посредничество – пусть он сам рассудит, выслушав то, что маркиз Шетарди сообщил вице-канцлеру графу Бестужеву как извлечение из рескрипта, полученного им от 4 января. Это сообщение было прочтено, и внимание Нолькена остановлено особенно на первом пункте, где говорится, что Швеция начала войну для возвращения уступленных ею по Ништадтскому миру провинций, и на том пункте, где говорится, что Франция нарушила бы свои наиторжественнейшие обязательства, если б оставила Швецию. Министры спросили Нолькена, согласно ли это сообщение с тем, что он теперь провозглашает, в чем старается уверить, и в таких ли беспристрастных отношениях должен находиться посредник. Хотя бы и подлинно ее величество просила французского короля о посредничестве, то после упомянутого сообщения имела бы полное право от него отказаться.

Нолькен был смущен этими словами, с минуту молчал, не зная что сказать; потом начал, что хотя прежде, быть может, некоторые и были того мнения о цели войны, как заявлял Шетарди, однако удивительно, каким образом маркиз об этом сообщил вице-канцлеру, а ему, Нолькену, не сказал. Усматривая, что ее величество считает делом чести не уступать ничего Швеции, надобно приискать другие способы для вознаграждения за понесенные шведами в войне убытки, и если что-нибудь Швеции уступится, то уступка будет сделана приятелями для показания дружбы ее величества к Швеции, со стороны которой дружески требуется обеспечить безопасность границ. На это министры ему отвечали, что Россия как держава, потерпевшая нападение, имеет право требовать от Швеции вознаграждения за военные убытки, а не наоборот; об уступках нечего и думать: ее величество ни пяди земли отдать не изволит и по милости всевышнего нужды не имеет этого делать, соизволит держаться во всем Ништадтского мира, разве Швеция для безопасности границ уступит России остальную Финляндию, и если Нолькен искренно желает прекращения войны, то, оставя все споры о целях, с которыми начата война, приступим прямо к делу, не вмешивая Шетарди, который не может быть допущен к посредничеству. Этим и кончилась конференция.

12 мая Нолькен объявил министрам, что по внимательном обсуждении дела он нашел всего лучше отправиться из Москвы назад в Швецию, где засвидетельствует о миролюбивом расположении русского правительства и желании его вести переговоры прямо с Швецией без французского посредничества, которое, как он слышит здесь, и требовано не было, тогда как в Швеции ни королю и никому другому об этом не известно, все были убеждены, что ее величество требовала французского посредничества и приняла его, на каком основании он, Нолькен, и был прислан сюда. В конфиденции же Нолькен

объявил министрам, что он в Стокгольм не поедет, но остановится в Фридрихсгаме у генерала Левенгаупта.

Нолькен отправился из Москвы и действительно остановился в Фридрихсгаме, откуда 6 июня прислал в лагерь к фельдмаршалу Леси с унтер-офицером и барабанщиком известие о своем прибытии и письмо на имя Шетарди для пересылки в Москву. Унтер-офицер и барабанщик были помещены при команде конной гвардии в ставке генерал-майора Ливена. Но в тот же день среди гвардейских пехотных полков раздался крик: «К ружью! Шведы, шведы!» На этот крик всполошились было и армейские пехотные полки, но были удержаны своими полковниками. Тогда в гвардейских полках выстрелили из ружья, солдаты бросились к ставке Ливена, вытащили шведов, урядника и барабанщика, прибили их жестоко; а другая толпа кинулась в палатки ротмистра конной гвардии Респе и поручика Иксуля и вытащила их обоих с криком: «Немцы изменяют и переписываются с шведами!» Между тем четверо гвардейских солдат, севши на лошадей, помчались по лагерю, крича: «Надобно немцев всех побить!» Услыхав это, генерал Кейт выбежал из палатки с тростью, велел кирасирам и конной гвардии построиться с ружьем, а пехотной гвардии закричал, что если из ружья не выступят, то велит по ним стрелять. Это утешило пехоту, после чего Кейт распорядился взятием под караул зачинщиков, которые, лежа связанные, бранили свою братью, солдат: «Вот вы теперь смотрите, как нас изменники-немцы вяжут, и не вступитесь, а прежде не так было говорено». Так рассказывал в Москве присланный от Леси поручик Штакельберг; но в рапорте генерала Кейта фельдмаршалу Леси рассказывалось дело так:

«6 июня, в Троицын день, большая часть гвардейских офицеров обедали у меня; тут гвардии майор Чернцов репортовал мне о ропоте гренадер на то, что берется в поход только по три гранаты на человека, и я в тот же час приказал употребить крайнее старание, взять в поход все гранаты и о том дать знать гренадерам и тем их успокоить. Но в то самое время как я этим распоряжался, входит прапорщик гвардии Алексеев и репортует, что в лагере начинает умножаться шум и между солдатами проносится слух, что ядра по большей части не по пушечным калибрам, в конной гвардии патроны без пуль и в лагере в ставке генерал-майора Ливена находятся шпионы. За Алексеевым является гвардии майор Солтыков и репортует, что в лагере большой беспорядок: гренадеры пришли в лагерь конной гвардии и отбили шведского унтер-офицера и барабанщика, взяли их из палатки Ливена и отвели в свой лагерь, ищут также с криком офицера своего Иксуля. Я в ту же минуту побежал сам с находившимися у меня офицерами в их лагерь. Подходя к лагерю конной гвардии, я увидел толпу гренадер, также гвардейских и армейских солдат без ружья, при одних шпагах, а при самом входе в лагерь встретил одного гренадера и троих солдат пешей гвардии, которые вели ротмистра конной гвардии Респе; я отнял у них ротмистра и тотчас велел взять их под караул; чтоб навести на своевольников побольше страху, я приказал гвардии майору сейчас велеть сыскать попа, который бы исповедовал виновных, назначенных к немедленному расстрелянию; офицерам приказал идти к своим ротам и перекликать всех солдат, записывая отсутствующих. Услыхав это, все солдаты, бывшие в лагере конной гвардии, побежали в свои роты. Сам я с генерал-майором Чернцовым отправился перекликать пешую гвардию и нашел шведского унтер-офицера и барабанщика в

гренадерской палатке и при них двоих гренадер с примкнутыми штыками на часах; часовые эти поставлены были по приказу подпоручика Щербакова, чтоб охранять шведов от дальнейших оскорблений; я велел их отвести обратно в лагерь конной гвардии. После переключки я приказал всем солдатам разойтись по палаткам, что и было исполнено, причем несколько человек я велел арестовать, потому что на них было указано как на зачинщиков смуты».

Для исследования дела и суда над виновными отправлен был к армии генерал Александр Иванович Румянцев, и «хотя, как сказано в указе 14 апреля 1743 года, все по суду смертной казни и прочих определенных наказаний достойны, однако мы по нашему природному милосердию от казни смертной и наказания оных освобождаем». Виновные 17 человек были разосланы или на сибирские заводы в работу вечно, или в дальние гарнизоны солдатами.

Скоро Румянцев должен был заняться другим делом. 23 июля фельдмаршал Леси получил письмо от Нолькена из Борго, в котором тот уведомлял его, что съездил в Стокгольм, сообщил своему правительству о ходе переговоров в Москве и теперь возвратился в Финляндию в качестве комиссара и полномочного министра для ведения мирных переговоров. С русской стороны эти переговоры поручены были Румянцеву, к которому после придан был генерал Любрас, равно как и с шведской стороны первым уполномоченным назначен был сенатор барон Цедеркрейц, а Нолькен остался вторым. Местом конгресса назначен был Абов. Все эти сношения и переговоры не останавливали военных действий. Воевали одни русские, потому что беспрепятственно опустошали страну, причем особенно отличались донские казаки под начальством своего старшины Краснощекова, пожалованного в бригадиры. В конце июня Леси подошел к Фридрихсгаму, и шведы поспешно покинули эту крепость, зажегши ее. Левенгаупт поспешно отступил за Кюмень, направляясь к Гельсингфорсу; русские беспрепятственно заняли Борго вследствие «обыкновенной робостной ретирады неприятеля» и отправились за шведами к Гельсингфорсу; с другой стороны, без сопротивления сдался Нейшлот посланному к нему отряду под начальством князя Мещерского; примеру Нейшлота последовал Тавастгуз. В августе месяце Леси настиг шведскую армию у Гельсингфорса и отрезал ей дальнейшее отступление к Або, пройдя по дороге, проложенной некогда по приказанию Петра Великого и указанной теперь фельдмаршалу финским крестьянином; в то же время русский флот запер шведов со стороны моря, Левенгаупт и Будденброк оставили армию, отозванные в Стокгольм для отдания сейму отчета в своих действиях. Принявший по их отъезде начальство над армиею генерал Бускет заключил с русскими капитуляцию, по которой вся армия должна была переправиться в Швецию, оставив русским всю артиллерию; финскому войску позволено было разойтись по домам. 26 августа капитуляция была выполнена и русские вошли в Гельсингфорс. Шведская армия, заключившая эту капитуляцию, простиралась до 17000 человек; русская армия превышала ее не более как на 500 человек. Современник, оставивший нам описание этой войны, говорит: «Поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне». Вследствие отъезда шведской армии из Финляндии столица этой страны Або была занята русскими.

В Стокгольме отдали под суд генералов, которые и поплатились жизнью за свое непонятное поведение; но этим дела поправить было нельзя; возобновление

войны для отнятия у русских Финляндии было невысказано; надобно было мириться, и мириться не на условии земельной уступки со стороны России: вопрос шел о том, какими средствами можно получить от России наименее тяжкие условия мира, удержать Финляндию, хотя и не всю. Средство было найдено: в наследники шведского престола избрали герцога Голштинского, племянника русской императрицы. С этим известием в конце года приехали в Россию три шведских депутата: зюдерманландский губернатор граф Бонде, конференц-советник барон Гамильтон и камергер барон Шефер. Созванный по этому случаю в доме фельдмаршала Долгорукого совет 25 декабря решил, что, не отдаляясь от миросклонных оказательств, наилучший способ к получению скорейшего покоя состоит в показании неотменной твердости во всех поступках, почему неприятель принужден будет, все свои хитрые коварства оставя, прямо к делу приступить; и нынешняя присылка предпринята с целью оболъщения, чтоб получить обратно Финляндию или постановлением прелиминарий удержать Россию от приготовления к военным действиям на будущую весну. На конференции 28 декабря депутатам были предложены следующие условия мира: удержание Россиию всего завоеванного, вознаграждение за военные убытки или вместо этого вознаграждения выбор в наследники шведского престола епископа Любского, дяди герцога Голштинского. Один из депутатов, барон Гамильтон, отвечал с жаром, что никогда Швеция не согласится на такие условия и так как им, депутатам, нельзя отдалиться от оснований Ништадтского договора, то они просят паспорта для возвращения в Швецию, где донесут, как Россия, пользуясь своими успехами, хочет вмешиваться во внутренние шведские дела и нарушать их вольность, за которую каждый швед готов умереть. Барон Шефер хотя поумереннее, но повторил то же самое.

От слов до дела было далеко. Продолжение войны для Швеции было невозможно; торжество России над «мироломным» неприятелем было полное, и этим торжеством она была обязана твердости своего правительства, которой не могли поколебать личные отношения ни самой императрицы, ни ее министров. Шведские дела выказали ясно отношения Франции к России и повели к разрыву между Бестужевым и Лестоком. Последний, получая пенсию от французского двора, остался ему предан и действовал против русских интересов как теперь по отношению к Швеции, так после по отношению к Пруссии; Бестужев, убежденный в несовместимости французских и прусских стремлений с русскими интересами, должен был вступить в открытую борьбу с человеком, чрезвычайно опасным по своему приближению к императрице по необходимости, какую она в нем чувствовала вследствие привычки.

Бестужева сильно раздражало это приближение Лестока, возможность говорить с государынею во всякое время, удобство разрушать то, что было построено министром во время нечастых докладов о государственных делах. Бестужев горько жаловался саксонскому резиденту Пецольду: «Государыня отличается непостоянством усвоивать себе мнение, смотря по тому, в какую минуту оно ей предложено, также высказано ли оно приятным или неприятным образом. Лесток серьезно и в шутку может говорить ей более, чем всякий другой. Когда государыня чувствует себя не совсем здоровою, то он как медик имеет возможность говорить с нею по целым часам наедине, тогда как министры иной раз в течение недели тщетно добиваются случая быть с нею хоть четверть часа.

Недавно у государыни сделалась колика, как это с нею часто бывает; позван был Лесток, и чрез несколько времени ввели к императрице Шетарди, с которым у них было какое-то тайное совещание, а когда пришли министры, она начала им объявлять новые доказательства, почему дружба Франции полезна и желательна для России, стала превозносить Шетарди, его преданность и беспристрастие. Положим, что Шетарди предан и беспристрастен; но князь Кантемир пишет из Парижа в каждом донесении, чтоб ради бога не доверяли Франции, которая имеет в виду одно – обрезать крылья России, чтоб она не вмешивалась в чужие дела: могу ли я после этого по долгу и совести быть за Францию? И не заслуживаю ли я вместе с братом сожаления, когда государыня, несмотря на мой прямой способ действия, слушается все-таки Лестока и Шетарди, которые для своих целей прибегают ко всяким неправдам и клеветам. Мне известно, что мое падение составляет цель некоторых лиц, но я полагаюсь на свое правое дело».

Пецольд должен был выслушивать и другую сторону. Лесток говорил ему: «На меня нападают за отношения к Шетарди; но я люблю хорошее общество, а нигде нельзя с таким удовольствием поговорить, поесть, попить и поиграть, как у этого министра; с другой стороны, я много обязан Шетарди за услуги и денежную помощь, которые он оказал как мне, так и государыне; наконец, я убежден, что дружба Франции очень полезна и выгодна для России. Прежде всего нужно было прекратить шведскую войну, и я присоветовал государыне обратиться к французскому королю и просить его о посредничестве. Великий канцлер и вице-канцлер считают это каким-то преступлением с моей стороны, разглашают, будто я присоветовал поступок, противный достоинству и интересам государыни, тогда как нужно было продолжать военные действия в Финляндии зимою; даже внушали государыне, что я получаю от французского двора деньги, о чем она мне сама сказала. Лучше было бы, если бы канцлер и вице-канцлер обратили внимание на собственные грехи. Сюда прибыла депутация от башкирцев, и канцлер задержал ее с лишком два месяца, не представляя императрице. Башкирцы обратились ко мне, и я узнал, что так как они имели справедливую жалобу на астраханского губернатора Татищева, то последний прислал канцлеру подарок в 30000 рублей, чтоб он оставил их просьбу без последствий. Я доложил об этом государыне, и она спросила с сердцем: если великий канцлер молчал, то почему же вице-канцлер ничего не делал? Я по этому поводу рассказал ей, что делается в Иностранной коллегии: великий канцлер из зависти все дела переносит к себе домой и оставляет их у себя целые недели и даже месяцы, прежде чем вице-канцлер что-нибудь узнает о них; а вице-канцлер отличается большою скромностью и сам никогда не решится доложить дело. Отсюда ясно видно, что я до сих пор не имел ни малейшего желания вредить Бестужеву, напротив, всегда заступался и просил за него, начиная с того что доставил ему место и голубую ленту. Я никогда не был высокого мнения об его уме: но что же делать, когда нет способнейшего?

Я надеялся, что он будет послушен и что брат его, обер-гофмаршал, совершенно его образует; но жестоко ошибся в своем расчете: оба брата – люди ограниченные, трусливые и ленивые и потому или ничего не делают, а если делают, то руководятся предрассудками, своекорыстием и злобою, чем особенно отличается вице-канцлер; теперь они находятся под влиянием генерала Ботты, и, по их мнению, императрица не должна оставлять без помощи королеву

венгерскую. Императрица давно уже это заметила и теперь открыла мне, что подозревает вице-канцлера в получении от королевы Венгерской 20000 рублей; это подозрение подкрепляется тем, что Бестужев каждый раз то бледнеет, то краснеет, когда она при нем скажет что-нибудь против Ботты. Время, следовательно, должно показать, кто из нас более подкуплен – я или вице-канцлер – и чьи советы были полезнее. С тех пор как существует союз между здешним Кабинетом и венским, Россия не получила ни малейшей от него пользы и скорее получила вред, как оказалось в последнюю турецкую войну. Кроме того, вице-канцлер наводит на себя подозрение тем еще, что усиленно настаивает на отъезде Брауншвейгской фамилии из Риги за границу; хотя это и обещано в манифесте, но поступлено опрометчиво, без достаточного обдумания дела; в настоящее время никто, желающий добра государыне, не посоветует этого, и, пока я жив и пользуюсь каким-нибудь значением, бывшая правительница не выедет из России. Россия все-таки Россия, и так как это не последнее обещание, которое не исполняется, то императрице все равно, что об этом будут говорить в обществе». Выходка Лестока относительно способностей обоих братьев Бестужевых показывала, до какой степени уже разгорелась в нем вражда к ним. Шетарди высказывался так же резко: «Остерман был плут, но умный плут, который отлично умел золотить свои пилюли; теперешний же вице-канцлер просто полусумасшедший: что же касается обер-гофмаршала. то он, может быть, и не глуп, но слишком слепо доверяет Ботте». Но Шетарди должен был, по крайней мере на время, уступить полусумасшедшему человеку; он уехал из России, сочтя невозможным оставаться долее после того, как его не допустили посредничать при мирных переговорах с Нолькеном. Елисавета простилась с ним как со старым приятелем, не утратившим нисколько ее расположения, но дружбе французского двора не верила более.

Бестужев, указывая на враждебные намерения Франции, ссылаясь на депеши князя Кантемира.

7 января 1742 года Кантемир писал императрице: «Здесьнее министерство от счастливой перемены в России ожидает полезных для французских интересов последствий и если в вашем имп. в-стве найдет склонность, соответственную здешним намерениям, то не сомневаюсь, что будет показано самое искреннее расположение ко вступлению в теснейшие обязательства с Россиею. Все движения здешней политики имеют целью королеву венгерскую и англичан. Главные усилия Франции клонятся к конечному ниспровержению силы австрийского дома, и все те державы, которые поставляют препятствия этим усилиям, считаются здесь не менее враждебными, и не меньше желают здесь их ослабления. Потому всегда здесь на Россию неприятными глазами смотрели, поднимали против нас неприятелей, чтоб препятствовать ей вступаться за австрийский дом. На том же главнейшим образом основана здешняя ненависть и против англичан, умалчивая о том, что эта ненависть усиливается могуществом англичан, на море и процветанием их торговли. Из этого ваше имп. в-ство изволите усмотреть, что если ваше величество намерены содержать прежние обязательства с венским и английским дворами, то не можете себя льстить дружбою с здешним, и нетрудно предвидеть, что в деле примирения России с Швециею спешить здесь не станут, пока вашего величества намерения совершенно не высмотрят».

Относительно примирения с Швецией Кантемир писал в марте: «Предложения Франции нисколько не сходны с часто повторенными обнадеживаниями об истинном доброжелательстве королевском к вашему величеству. Кроме этих предложений Франция составляет проект о тройном союзе между нею, Швецией и Даниею. Франция побуждает Порту против России; из этого ясно, что древний здешний проект об уменьшении русских сил не выходит из головы. Я обязан подтвердить, что всякая предосторожность против здешних хитростей не только прилична, но и очень нужна, потому что на здешние обнадеживания полагаться никак нельзя. Верно то, что одна опасность со стороны Англии и Голландии может остановить отправление здешней эскадры в Балтийское море, чего шведское министерство сильно добивается. С другой стороны, опасение общей войны не допустит здешнее министерство убавить свои сухопутные силы отправлением хотя малой части их на помощь Швеции. Но от этой невозможности вредить России нельзя заключать, что Франция к нам доброжелательна».

В апреле, когда получены были известия о возобновлении войны между Россией и Швецией, Флёр и Амелот встретили Кантемира выговорами за то, что решение возобновить войну было принято русским правительством вопреки слову, данному императрицею маркизу Шетарди. Кардинал соблюдал при этих жалобах учтивость; но Амелот не взвешивал своих слов, называя поступок России не очень честным (*peu honnete*) и внезапным нападением (*surprise*). Донося об этом своему двору, Кантемир повторяет обычный припев: «Из этого изволите иметь новую причину наиболее увериться в здешнем злобном намерении относительно интересов венских, от которого, думаю, никогда не отстанут, поставляя главным правилом, что французский интерес требует умаления силы русской».

За охлаждением нового русского правительства к Франции по делам шведским, естественно, следовало сближение его с Англиею, причем для России опять на первом плане были шведские отношения, а для Англии – общеевропейские. Переворот 25 ноября ни на кого не произвел более неприятного впечатления, как на Финча, который в восшествии на престол Елисаветы видел торжество Шетарди и Франции, разрушение всех надежд, которые его государство полагало на вмешательство России в борьбу за австрийское наследство с целью помочь Марии Терезии. Кроме того, Финч не мог оставаться в России, ибо новая императрица не могла приязненно относиться к человеку, дававшему на ее счет предостережения прежнему правительству. На его место в Петербург был прислан Вейч.

В то же время произошла перемена относительно представителя русского двора в Лондоне: на смену князя Ивана Щербатова приехал действительный камергер Семен Нарышкин. Министерство Вальполя пало вследствие доведенной им до крайности политики невмешательства, непригодной в описываемое время и для Англии. Новый министр иностранных дел лорд Картерет встретил нового посла словами: «Хотя ваш приезд сюда приятен, только король очень был доволен князем Щербатовым». Когда Нарышкин спросил Картерета, не прикажет ли он ему что-нибудь написать к высочайшему двору в Петербург, тот отвечал: «Его величество король ничего так не желает, как дружбы с ее императорским величеством; мы довольно знаем силу России в делах европейских. Многие ищут

дружбы вашего двора, но никакой союз не будет так согласен с интересами России, как союз ее с морскими державами, который и Петр Великий старался содержать для сохранения европейского равновесия; надеюсь, что и ее величество не оставит этих великих правил. Ни из какого государства не приходит к вам столько пустых кораблей для нагрузки вашими товарами, как из Англии; из других земель могут приходиться к вам корабли с вином и другими пустяками, но такая торговля столько чистых денег у вас не оставит, как наша». В марте месяце Нарышкин получил приказание из Петербурга засвидетельствовать в общих выражениях неизменную склонность России к содержанию дружбы с королем английским, объявить, что императрица велела рассмотреть составленный союзный договор между Россией и Англией, но что это дело еще не кончено за разными хлопотами, случившимися по восшествии ее на престол и за отъездом в Москву; Нарышкин должен был избегать дальнейших изъяснений насчет нынешней политической системы, насчет вспоможения королеве Венгерской.

В конце апреля Картерет объявил Нарышкину, что король, запрещая ему входить в откровенное объяснение, велел только вскользь поручить просить императрицу для ее собственных интересов возвратиться как можно скорее из Москвы в Петербург: одно пребывание в последнем городе будет равняться 30000 вспомогательного войска по близости к европейским событиям, ибо можно спасти королеву Венгерскую и всю Европу одними советами императрицы королям прусскому и польскому. Приезд в Петербург уничтожит слухи, рассеянные французами для ободрения турок и шведов, будто в России входят в моду старинные взгляды, будто выбивают всех иностранцев из службы и оставляют Петербург для Москвы. Если окажется справедливым слух, что императрица хочет по обещанию ехать в Киев, то все лето пройдет в бездействии, следовательно, пройдет в пользу врагов европейского спокойствия. Если императрица захочет обратить внимание на нас, то втроем с голландцами мы можем успешно сдержать бурю европейскую. Возобновление шведской войны побудило русский двор говорить несколько определеннее с английским, опять начать дело о высылке английской эскадры в Балтийское море для защиты своих торговых судов. Картерет отвечал на это Нарышкину: «Наши купцы этого не требуют, потому что довольны письменным объявлением, данным мне шведским министром от имени королевского, что наши торговые корабли могут смело идти во все гавани русские, причем я сказал шведскому министру прямо, что эти корабли повезут в Петербург сукно для обмундирования русской армии. Так как Швеция всегда дорожит Англией, то можно положиться на обещания шведского короля. Если же наша торговля потерпит хотя малое стеснение, то сумеем отмстить эскадру, которая уже на всякий случай приготавливается. Неприлично Англии послать 5 или 6 кораблей; если пошлем, то 15, 20 или больше. Посылка эта единственно зависит от императрицы: если изволит войти в наши виды, то корабли будут готовы так скоро, как захочет; а истинные интересы российско-английские требуют полного согласия в общем и усиленном вспоможении королеве Венгерской».

Чтоб побудить Россию поскорее войти в виды Англии, лорд Картерет писал Вейчу 8 июня: «Королю неизвестно влияние г. Лестока, который природный подданный его величества как курфюрста Ганноверского; поэтому королю угодно, чтоб вы выведали, как он расположен к своей родине и не согласится ли оказать

услугу королю, который в таком случае уполномочивает вас обещать ему от нас пенсию. Таким же образом повелевается вам поступить в рассуждении обоих Бестужевых. Ни один из этих господ не имеет причины совеститься принять от короля такого рода милость, ибо ничего более от них не требуется, как только содействия к заключению между морскими державами и Россиюю теснейшего союза для восстановления спокойствия на севере и обеспечения свободы Европы, что все совершенно согласно с истинным интересом России». На это Вейч отвечал 9 сентября: «Я не щадил здоровья и денег для приобретения дружбы Лестока, просиживал с ним целые ночи, играл в большую игру; он уверял меня, что будет стараться о теснейшем союзе между Россиюю и Англиею; я предложил ему пенсию, и он принял ее». Пенсия была в 600 фунтов стерлингов.

В конце ноября Вейч сделал русскому двору конфидентное представление, что его двор очень желает иметь откровенное сообщение о намерениях императрицы в рассуждении шведских дел, восстановления старого министерства и английского влияния, объявляя со стороны Англии всякую готовность к соглашению с Россиюю и к принятию с нею общих мер. Вейчу отвечали, что такое доброжелательное намерение со стороны короля приятно императрице и для приведения этого намерения в исполнение она готова действовать с Англиею сообща в Швеции. Так как при сеймах в этой стране много помогают деньги, то императрица определила со своей стороны 40000 рублей. Нарышкину в Лондон дали знать, что Россия желает доставить шведское наследство администратору голштинскому епископу Любскому. Нарышкин должен был открыть это желание лорду Картерету и требовать содействия, причем для сильнейшего склонения короля к этому содействию предложить брачный союз епископа Любского с английскою принцессою; для окончательных переговоров об этом деле должен был приехать в Лондон голштинский министр Бухвальд. Нарышкину наказано было поступать в этом деле с величайшею тайною, чтоб не испортить его рановременным разглашением. На сообщения Нарышкина Картерет отвечал, что французы назначают 40000 фунтов в Швецию для того, чтоб сейм выбрал наследником престола герцога Цвейбрикенского, а если Россия даст сорок тысяч рублей да Англия столько же, то выйдет только 20000 фунтов: даст ли императрица еще денег по требованию необходимости? Нарышкин отвечал: «Надеюсь, что императрица не остановится за деньгами для исполнения своего желания». Потом Картерет сказал: «Наше намерение было доставить шведское наследство брату нынешнего шведского короля». Нарышкин отвечал, что это было бы чрезвычайно трудно, во-первых, по причине разноверия, ибо шведы не хотят кальвиниста; во-вторых, по народному нерасположению к особе принца Гессенского; в-третьих, французская партия никак на это не согласится. Следовательно, чтоб не потерять окончательно влияния в Швеции, Англии остается один способ – помогать России в доставлении наследства епископу Любскому, который может жениться на принцессе английской. Картерет, согласился с этим и сказал: «Только бы нам выжить от вас французов, а то мы много для вас сделаем». Картерет дал понять, что его королю очень хочется быть посредником в примирении России с Швециею, тем более что Франции в этом посредничестве было отказано. На донесение Нарышкина об этом Бестужев заметил: «Когда одному отказано, никому другому никоим образом быть не можно».

Между тем обещанный пересмотр союзного договора был окончен, и 11 декабря в Москве он подписан с английской стороны Вейчем, а с русской – Бестужевым и Бреверном. В случае нападения от кого-либо на короля английского русская императрица немедленно посылает ему на помощь 10000 пехоты и 2000 конницы; а в случае нападения на Россию английский король высылает ей на помощь эскадру из 12 кораблей при 700 пушках. По взаимному соглашению эта помощь может быть заменена с обеих сторон 500000 рублей в год. Если одна из договаривающихся сторон во время нападения на другую сама будет находиться в войне, то не обязана подавать помощи. Англия не обязана помогать России в войнах с турками и другими восточными народами; Россия не помогает английскому королю в случае нападения на его владения, вне Европы находящиеся; в Европе король не посылает русского войска в Италию, Испанию и Португалию.

После заключения договора Вейч писал Картерету: «Лесток получает от Франции пенсию; но должно отдать ему справедливость, что он был мне очень полезен, ибо ускорил заключение нашего договора».

Мы видели, как в предшествовавшее царствование помогла России Дания, с которою давно был заключен оборонительный союз. Теперь, когда в России произошел переворот, столь полезный для голштинского дома и, следовательно, столь опасный для Дании, на союзную помощь ее еще менее можно было рассчитывать.

В первых числах января 1742 года Корф и Чернышев писали из Копенгагена, что переговоры с Англиею о продолжении субсидского трактата не получили успеха, потому что происшедшая в России правительственная перемена, с которою связан интерес герцога Голштинского, требует всего внимания и осторожности датского двора и потому последний, естественно, желает более тесного соединения с Пруссиею и Швециею, чем с Англиею. В январе же Чернышев должен был отправиться в Берлин, и в Копенгагене остался один Корф, который доносил, что исполнения союзного обязательства, т.е. помощи против Швеции от Дании, ожидать нельзя, но недолжно думать также, чтоб Франция могла склонить Данию к войне против России, потому что слабое состояние войска и финансов не может допустить к тому Данию.

Дании, следовательно, опасаться было нечего; с Англиею оборонительный союз; но союзница постоянно толкует о необходимости поддержать свободу Европы, помочь Марии Терезии, и об этом толкует не один английский посланник, не один английский министр иностранных дел; об этом толкуют русские министры, в этом согласны и Трубецкой, и Черкасский, и Бестужевы, несмотря на вражду их друг к другу. Но императрица не хочет слышать об этой помощи; она не может преодолеть враждебного чувства к Австрии, которая представляется ей тесно связанною с Брауншвейгским домом. Тотчас по вступлении своем на престол она рассказала Шетарди, что австрийский посланник Ботта при содействии князя Черкасского уже потребовал помощи для своей королевы в 30000 войска. «Я, – сказала Елисавета, – велела ему отвечать, что сама принуждена вести войну и первое правило – думать прежде о себе. Я желала бы знать, на что полезен союз с австрийским домом и какое из него сделать употребление?» «Очень небольшое в настоящее время, – отвечал Шетарди. – Вы можете припомнить, что я имел честь говорить вам год тому назад.

Если бы не было вас и если бы не выказали вы мужества, то венский двор, всегда надеявшийся руководить Россией по своему усмотрению, успел бы возложить корону на главу сына принца Брауншвейгского и этим dokonчил бы дело, над которым начал работать с 1711 года, при помощи брака царевича с принцессою Беверн». Таким образом, искусно поддерживалось это представление о необходимой связи между домами австрийским и Брауншвейгским. Елисавета знала, что от венского двора шли внушения прежнему правительству, чтоб объявить ее незаконною дочерью Петра Великого и заключить в монастырь. Поэтому неудивительно, что Елисавета не могла удержаться от выходок против венского двора; так, когда по поводу поздравлений с коронациею возник спор между посланниками о старшинстве, то она сказала: «Ботта не имеет ни малейшего основания много о себе думать: когда он будет слишком важничать, то может отправляться туда, откуда пришел, так как мне дороже дружба тех, которые в прежние времена не оставляли меня, чем расположение его нищей королевы». Когда князь Черкасский и Бестужев вдвоем уведомили императрицу об интригах Франции в Турции, то она отвечала, что ничему не верит, а знает, что в руках Ботты 300000 рублей для подкупа ее министров.

Но разумеется, эти выходки не мешали формальным учтивостям.

По восшествии своем на престол Елисавета отправила грамоту королеве венгро-богемской с уверениями «в истинной и ненарушимой склонности». Мария Терезия отвечала Ланчинскому, что всегда радуется и принимает участие, когда узнает о каком-нибудь благополучном происшествии в России; с великим удовольствием слышит уверения в неотменной дружбе и союзе и со своей стороны равным образом поступать не преминет. В заключение королева спросила: «Ведь вы меня уверили в неотменном союзе?» И когда Ланчинский повторил уверение, то сказала: «Радуюсь». Когда в обществе узнали о петербургском перевороте, то начались разные толки. Одни испугались и с горестью говорили: сколько перемен в такое короткое время! последняя перемена принесет здешнему дому большой вред, потому что все это сделала Франция своими интригами чрез своего посла, обещая помирить Россию с Швециею; таким образом, наша королева от нынешнего русского правительства помощи ожидать не может и после мира у России с Швециею. Другие говорили, что прежнее правительство, несмотря на близкое родство, не помогало королеве, тянуло больше к прусскому королю, с которым у него было также свойство; теперь скорей можно получить помощь, потому что мать нынешней царицы заключила с покойным цесарем союз и нынешняя царица не уничтожит дела матери своей. России нечего обязываться с Франциею за мир с Швециею: Россия – государство сильное само по себе, людное и самодержавное, с Швециею управиться может и во французском союзе не нуждается.

Мы видели, что Мария Терезия нашлась в отчаянном положении, когда Франция прямо объявила себя против нее, когда король прусский заключил союз с курфюрстом Баварским с целью присоединить Силезию к Пруссии, а Верхнюю Австрию, Тироль и Богемию – к Баварии. В это время, по словам Фридриха II, на севере произошло одно из самых выгодных и решительных событий: Швеция объявила войну России и этим отвлечением русских сил уничтожила все планы короля английского, короля польского и принца Антона Ульриха, направленные против Пруссии. Король Август был увлечен потоком и соединился с курфюрстом

Баварским для уничтожения австрийского дома. Французы и баварцы уже вошли в Австрию, потом двинулись в Богемию, куда с другой стороны вошли саксонцы; курфюрст Баварский был избран императором под именем Карла VII. Тогда Мария Терезия решилась освободиться от самого опасного врага своего, прусского короля, и заключила с ним мир в Бреславле с пожертвованием Силезиею.

Ланчинский воспользовался избранием курфюрста Баварского в императоры, чтоб поднять дело об императорском титуле русской государыни, надеясь, что венский двор согласится теперь на это, потерявши надежду удержать Римско-германскую империю за собою; государственный секретарь объявил Ланчинскому, что королева пошлет Елисавете грамоту с императорским титулом, причем прибавил, что Мария Терезия надеется на русскую помощь и Россия не найдет вернейшего союзника, как венский двор, а Франция как другие державы обманывает, так и для России ничего не сделает; если Россия допустит государство королевы до разрушения, то нанесет вред самой себе. Другие значительные лица толковали Ланчинскому, что его государыня вдруг может приобрести себе бессмертную славу тремя великими делами: успокоением Европы, удовлетворением Швеции в другом месте, а не на счет России, поданием помощи австрийскому дому, который гибнет от напавших на него со всех сторон неприятелей. Со шведами надобно заключить договор на основании Ништадтского, ибо Россия не может желать приобрести что-нибудь в каменистой и болотистой Финляндии; сверх того Швеции надобно указать на Померанию, где она может получить себе вознаграждение, а для ее обнадежения русская государыня должна послать свое войско в Померанию, чем подаст помощь королеве, отвлекая прусские силы для защиты Штетина и других городов; эта посылка войска против Пруссии заставила бы Англию и Голландию объявить себя против Франции и дать субсидии Швеции. Не знаем, какую выгоду думает получить русский двор от дружбы с прусским королем; нам кажется, что надобно обратить внимание на чрезмерное увеличение силы этого государя, который скоро будет в состоянии вывести в поле 150000 войска, который давно имеет аппетит на Курляндию. Франция остриет зубы на Россию от зависти; сделавши в Германии все по-своему с помощью короля прусского, она в союзе с тем же королем может предпринять что-нибудь и против России.

В июне Ланчинский донес, что Австрия принуждена заключить мир с Пруссиею на тяжелых для себя условиях. Канцлер королевы граф Улефельд говорил Ланчинскому: «Англичане приступают к нам с ножом к горлу, чтоб мы помирились с Пруссиею, и мы уступаем все, что прусский король запросил; наилучший алмаз из королевинной короны выхватывается, а на постоянство мира надеяться нельзя: может быть, по-прежнему невзначай разорвет мир и нападет. Но что же делать? Крайняя нужда заставляет! Денег никаким способом больше собрать не можем».

Фридрих II, которому полезнее всего было видеть продолжение войны между Россиею и Швециею, что мешало этим державам принимать участие в борьбе за австрийское наследство, – Фридрих II был точно так же недоволен старанием Шетарди прекратить русско-шведскую войну, как и само французское правительство; но, не зная, что Шетарди позволил себе вмешаться в дело без ведома своего правительства, Фридрих сердился на французский двор, изумлялся

странности его поведения. «Я не понимаю, – писал он Мардефельду, с какой стати Франция так усердно хлопочет о прекращении войны, тогда как ей вовсе не выгодно тушить пламя, вздутое ею самою с таким трудом, а, напротив, выгодно занимать русских шведами и препятствовать тем и другим вмешиваться в европейские дела». С другой стороны, Фридрих боялся, чтоб Франция, помилив Россию со Швецией, не стала располагать силами этих держав, не употребила эти силы для принуждения его, Фридриха, подчиниться ее распоряжениям, ибо он очень хорошо знал, что Франция не променяет сильную Австрию на сильнейшую Пруссию, что ей нужно раздробление Германии на мелкие государства. Мардефельд своими донесениями утверждал его в этом страхе перед Франциею, и Фридрих, как утверждают, от этого поспешил выйти из войны.

Что касается непосредственных сношений нового русского правительства с Пруссией, то Елисавета тотчас по восшествии на престол написала прусскому королю, что будет пользоваться всяким случаем все более и более удостоверять его величество в своей истинной и ненарушимой склонности. Бракель был отозван с своего поста и вскоре после того умер; на его место был назначен чрезвычайным посланником камергер граф Петр Григорьевич Чернышев. Новый посланник получил такой рескрипт от 26 декабря: «Так как король прусский пред недавним временем чрез министра своего Мардефельда велел под рукою потребовать отзыва Бракеля, которым он не очень был доволен, то и вы пристойным образом имеете нашим именем представить королю, чтоб он показал нам взаимное снисхождение, отозвал от нашего двора своего министра Мардефельда». Но Мардефельд не был отозван, и Фридрих II употребил все усилия, чтоб заискать расположение новой императрицы. Он рассчитывал, что великий канцлер князь Черкасский не проживет долго, что вице-канцлер Бестужев имеет сильных врагов и не пользуется особенным расположением императрицы, что важное назначение в управлении иностранными делами готовится человеку, близкому к императрице, графу Воронцову, женатому на любимой родственнице Елисаветы по матери Анне Карловне Скавронской, и вследствие этих расчетов осенью 1742 года Воронцов получает от Фридриха орден Черного орла; при этом Мардефельд объявил, что король, принимая во внимание заслуги господина камергера и то, что он имеет честь быть женатым на родственнице императрицы, желает эту наградою выразить свое высокое уважение к ее величеству.

В сношениях с польско-саксонским двором опять прежде всего стал на очереди вопрос курляндский; с переменами в Петербурге переменился и кандидат на курляндский престол: вместо принца Брауншвейгского императрица велела Кейзерлингу хлопотать об известном нам принце Гессен-Гомбургском, фельдмаршале русской службы, и король Август по-прежнему отвечал, что очень рад исполнить желание императрицы, тем более что питает приязнь и склонность к назначаемому ею кандидату.

Прежний герцог Курляндский – Бирон был оставлен на житье в Ярославле; но был еще старый претендент на герцогство, который теперь вздумал возобновить свои искания, – граф Мориц Саксонский. Императрица была за принца Гессен-Гомбургского, но Лесток и Шетарди были против него, тютому что этот немецкий принц по женитьбе своей на дочери фельдмаршала Трубецкого принадлежал к враждебной им стороне. Лесток чрез Кейзерлинга дал знать Морицу, чтоб он приезжал в Россию, и Мориц явился в Москву после коронации и

остановился у Шетарди, который давал для него богатые обеды и ужины. Елисавета приняла очень милостиво старого жениха, танцевала с ним, брала на прогулки, но этим все и кончилось. После переговоров с министрами великий канцлер объявил Морицу, что посещение его приятно императрице; но что касается курляндского дела, то ее величество уже раз рекомендовала принца Гессен-Гомбургского и не может отступить от своей рекомендации. Впрочем, так как она не намерена делать насилия ни королю польскому, ни республике, ни курляндцам и требует только одного, чтоб Курляндия сохранила свои старые права и вольности, то ее величество никогда не будет действовать против графа Морица. С этим ответом граф и отправился из Москвы.

Кейзерлинг давал знать на основании тайных сообщений гетмана польского князя Радзивила и других благонамеренных поляков, что многие, особенно же староста Сапега, получающий французскую пенсию, стараются курляндское и другие малые дела раздуть и раздражить поляков, причем внушают о шведской помощи и больших суммах, которые дадутся другими державами, так что, пользуясь настоящими обстоятельствами, республика может усилиться и прийти в прежнюю славу. Эти люди внушают также, что граф Брюль и патер Гварини, духовник короля, преданы России, но что сам король иначе думает. Так как об этом сказал Кейзерлингу сам Брюль, то посол внушил ему, как было бы полезно удостовериться поляков относительно истинных чувств короля к России, что легко сделать по поводу посольства, имеющего отправиться к императрице для поздравления с восшествием на престол. Брюль обещал исполнить это. Потом Кейзерлинг начал внушать коронному гетману Потоцкому, как настоящее положение Европы может повредить спокойствию республики, для поддержания которого необходимы известные союзы; республика граничит с четырьмя сильными соседями, и потому надобно смотреть, какое соседство ей особенно может быть полезно. Разумеется, русское, потому что императрица находится в особенной дружественной склонности к республике и желает большего утверждения ее тишины и безопасности. На это гетман отвечал, что, и по его мнению, для спокойствия и безопасности республики ничего не может быть лучше дружбы с Россией. Действительно, в этом духе составлена была инструкция Огинскому, отправлявшемуся послом в Петербург с поздравлением. По случаю замешательств в Европе король не мог приехать в Польшу и потому созвал польский Сенат в пограничном городе Фрауштадте. Туда съехалось множество польской знати, и Кейзерлинг мог удостовериться, что усиление Пруссии произвело на поляков самое неблагоприятное впечатление, и хотя, по выражению посла, в республиканском государстве легко найти друзей и приверженцев, однако из польских вельмож никто не является прусским приверженцем, кроме воеводы бельзского. Из страха пред Пруссией поляки обнаруживали сильную любовь и доверенность к своему королю. Гетман Потоцкий, всегда бывший во главе противной двору партии, теперь с своими друзьями вполне выражался в пользу короля и даже подарил ему из собственного войска несколько сот человек. Из страха же пред Пруссией объяснялось и расположение к России. Несмотря, однако, на это общее расположение, Кейзерлинг не отвергал возможности, что шведские приверженцы, хотя и незначительные, будут в состоянии произвести некоторые волнения, и потому советовал составить сильную русскую партию под начальством люблинского

воеводы Тарло, которому надобно помочь деньгами; да и гетман Потоцкий намекнул, что ему недоплачена пенсия; хорошо было бы утвердить его в добрых намерениях. Шведский эмиссар полковник де Бона ездил по вельможам польским, предлагал деньги, чтоб составили генеральную конфедерацию, сулил войско, запасы и требовал, чтоб Лифляндия была театром войны против России, представлял, что после трудно будет дожидаться более благоприятных обстоятельств. Узнали, что стольник литовский Петр Сапега старается в пользу шведов, набирает для них войско и обучает его, уговаривает шляхту, суля офицерские места с шведскими пенсиями. Молодой Орлик писал отцу своему в Яссы, что Россия потеряла в Финляндии больше половины войска от болезней, что в России находится сильная партия в пользу сверженного императора. «Увидим, – писал Орлик, – что произойдет на будущем сейме; всего желательнее было бы внушить королю польскому, чтоб он соединился с народом и не упустил самого удобного случая к освобождению своего королевства от русского притеснения и к возвращению завоеванных Россией польских областей: чрез это он получил бы успех в своих частных видах относительно наследственности польской короны в его доме». Но королю не с кем было соединяться: народ в Польше, т.е. шляхта, в огромном большинстве не сочувствовала шведским внушениям, и де Бона был схвачен в Данциге. В конце июля Кейзерлинг писал, что нечего опасаться относительно Польши и великий гетман будет вести себя постоянным вследствие милости, оказанной ему императрицею.

Другая соседняя держава, Турция, казалось, была доступнее враждебным, т.е. французским и шведским, внушениям. Вешняков в начале 1742 года уже доносил, что французский посол внушает Порте, будто шведы начали войну с Россией в ее пользу, всячески старается, чтоб турки помогли шведам деньгами и позволили татарам впасть в русские пределы; но турки не давались в обман. «Я, – писал Вешняков, – всякое французское коварство и слабость Порте довольно истолковал, в чем английский посол немало помогает, которого дружбою и конфиденциею ныне зело доволен». В половине апреля Вешняков доносил, что война у турок с Персией – дело решенное, поэтому Порта так занята и затруднена, что ни о чем другом и подумать не может, хотя с французской стороны и внушается, что Порта должна поддержать Швецию в войне ее с Россией именно для того, чтоб быть безопасною от России во время своей войны с Персией; хотя шведский посланник Карлсон хлопотал о заключении союза между Турцией и Пруссией, в силу которого Пруссии позволено было бы набирать войско в дунайских княжествах; молдавский господарь Гика был на стороне Карлсона.

В сентябре Миралем сообщил Вешнякову, что по французским настояниям визирь принужден был доложить султану о необходимости помочь Швеции по обязательствам союза если не открытою силою, то по крайней мере деньгами. Султан сильно рассердился на визиря за этот доклад, сказал, что жалеет, что не велел отрубить голову бывшему рейс-ефенди, который был главным виновником этого нелепого союза у Турции с Швецией, обманул его, султана, уверениями, что Швеция такая же великая держава, как и Россия. «Когда я был в войне с Россией, – продолжал султан, – то Швеция была спокойна, а когда Франции понадобилось Россию удержать, то Швеция войну начала. Не хочу и слышать об этом шведском союзе; у меня с Швецией договор такой же, какой со всеми христианскими державами. Не смей мне вперед упоминать об этом деле,

противном интересам моим и закону, потому что казна моя должна употребляться только в пользу магометанства и подданных моих, а не на субсидии гяурам; нет мне нужды, хотя и пропадут».

Вследствие этого Порты отвечала кардиналу Флэри, что она не имеет никакой обязанности помогать Швеции, которая сама объявила войну России, не давши Турции заранее знать о причинах войны и не требуя добрых услуг для ее предотвращения, что должно было сделать по договору. Разорвать с Россией султан никак не может, потому что последняя держава не подала ни малейшей причины к неудовольствию. Притом если бы Турция захотела нарушить мир с Россией, то Франция должна ее от этого удерживать, как поручительница за мир. Стало быть, французское ручательство не годится, когда сама Франция побуждает к нарушению гарантированного ею мира по причине дел своих между христианами, в которые Порты отнюдь мешаться не хочет. Кроме того, находясь накануне войны с Персией, неблагоразумно было бы возбуждать против себя Россию, такую сильную державу, которая четвертою долею своих сил не только защитилась от Швеции, но и совершенно ее низложила, остальные же силы свои она употребила бы против Порты, вступив в союз с шахом. Причины, объявленные Швециею, не могут произвести не только войны, но даже холодности, следовательно. Порты должна признать эту войну несправедливою со стороны Швеции и потому не может в нее вмешиваться. На внушения шведского посла, что Швеция начала войну для Порты, отвечать много нечего: если Швеция так усердствует Порте, то ей следовало бы начать войну, когда Турция воевала с Россией, а не два года спустя после заключения мира. Порты имеет полное право рассердиться на такие внушения, в которых ясно видно неуважение к ней, ибо рассчитывается на ее неразумие и легковерие. Наконец, если бы Порты и хотела что-нибудь сделать из уважения к Франции, то теперь уже поздно.

Из Персии приходили прежние диковинные вести. Когда резидент Калушкин объявил шаху Надиру о вступлении на престол Елисаветы, тот отвечал, что слышит об этом со всякою приятностью и желает, чтоб держава ее имп. величества вовеки была непоколебима; что русский престол по закону и по праву крови только ей и принадлежал, как дочери Петра Великого; что он давно желал этого события, потому что о добродетелях императрицы он давно знает. В знак своей радости он велел подарить резиденту 1000 рублей и кафтан с кушаком и чалмою, студенту Братищеву – триста рублей, толмачу – двести. Но после этих учтивостей Надир сейчас же заявил следующие требования: 1) чтоб отпустили назначенных для Персии и задержанных в Кизляре 200 лошадей и чтоб дозволено было покупать в России и большее число лошадей и верблюдов; 2) чтоб прислали ему девять мореходных судов, из которых три были бы вооружены и наполнены артиллерийскими припасами, снабжены матросами и пушкарями, чтоб с их помощью он, шах, мог искоренить своих бунтовщиков, живущих на острове Каспийского моря; 3) чтоб остальные семь судов были нагружены хлебом, для закупки которого он пошлет нарочных в Астрахань; хлеб должен быть доставлен в ближайшия к его лагерю гавани. Лагерь находился по-прежнему около Дербента, и множество персидского войска помиралось от стужи и голода, не говоря уже об истребительных битвах с лезгинцами, которые в последней битве едва не захватили в плен самого шаха. Калушкин по-прежнему не пророчил Надиру ничего доброго, кроме окончательного разорения Персии от безумного

дагестанского похода, в продолжении которого шах упорствует; резидент писал, что единственное средство умерить его требования – это двинуть войско к границе и потом не обращать на завоевателя Индии никакого внимания. Угодать Надиру, исполнять его требования вовсе не согласно с русскими интересами, ибо если суда раз попадут в его руки, то возвратить их будет очень трудно; пока шахово желание завести на Каспийском море персидский флот продлится, до тех пор русские суда всегда будут находиться в беспокойстве. Персияне всегда будут делать разные происки для получения с них людей и материалов. Калушкин, опасно заболевший от неприятностей, трудов и всякого рода лишений в Персии, жаловался на Остермана, который заставлял его терпеть все это, чтоб не раздражать Надира, тогда как снисхождением и ласкою с этими варварами ничего сделать нельзя; все представления резидента, чтоб поступать с Персиею смело и решительно и тем внушать уважение, были презрены Остерманом. Калушкин советовал даже прекратить на несколько времени торговые сношения с Персиею и тем усмирить шахову гордость; пусть персидские купцы ездят в Астрахань: этим русские купцы освободятся от насилий, которые они терпят в Персии.

Калушкин умер; но представления его были приняты новым русским правительством, тем более что оскорбления, нанесенные русскому консулу в Ряще Арапову, убеждали в необходимости переменить ласку на угрозу. Преемник Калушкина переводчик Братищев писал в июле, что известие о постоянном движении русских войск к Кизляру испугало Надира и сбавило спеси. И Братищев, подобно Калушкину, постоянно писал, что персиян бояться нечего: «Смею рабски донести, что для укрощения такого беспокойного соседа никакой трудности не предвидится; для завладения всем персидским лагерем нужно 10, много 15 тысяч регулярного войска да столько же нерегулярного. Множество знатных персиян, даже придворные ближние евнухи, усердно желают подчиниться России; дербентцы, горожане и сельские жители, боясь истребления от тирана, денно и ночью просят у бога избавления и подчинение России сочтут за великое счастье; одним словом, во всей Персии едва ли найдется один человек, который бы не имел склонности к русскому подданству».

В октябре Братищев доносил, что шах намерен напасть на Кизляр, прибавляя, что все горские народы нетерпеливо желают с русской стороны наступления на шаха. Донесения Братищева о всеобщем неудовольствии подтвердились тем, что открыт был заговор родного сына Надирова против жизни отцовской, а сын на допросе обвинял отца, что тот хотел его отравить. «Шах, – писал Братищев, – в неумеренной запальчивости находится и редко дела выслушивает, только твердит о преступлениях сына, причитая что попадетса под язык. Весь лагерь трепещет, и никто не смеет подступить с докладами к суровому тирану». Надир велел ослепить сына. В ноябре и начале декабря Братищев продолжал писать о враждебных намерениях шаха против России; но потом уведомил, что намерения эти отменяются по советам любимца шахова мирзы Зеки и главного муллы, который внушал, что русские будут действовать против Персии сухим путем и морем, андреевцы и кабардинцы вооружатся как русские подданные; наконец, Россия поднимет дагестанцев и турок; в Кизляр русский генерал с большим войском уже прибыл. Во второй половине декабря снова предостережение от Братищева относительно враждебных намерений Надира, который от других

слышит внушения, что на Россию легко напасть, и между такими находится англичанин Эльтон, построивший себе корабль на Каспийском море; на этом корабле Эльтон изъявлял готовность перевозить людей и съестные припасы в случае похода шахова на Россию; но, как видно, самым сильным побуждением к походу в Россию служило для Надира желание загладить бесславие неудачного похода против горских народов.

Глава третья

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1743 год

Новые возвращения ссыльных. – Деятельность Сената. – Донесение прокуроров о беспорядках в разных учреждениях. – Подрядчики в Сенате. – Финансы. – Комиссия о воровском клейме. – Меры относительно торговли и промышленности. – Крестьяне. – Восстание мордвы. – Меры относительно новокрещеных инородцев. – Раскольники. – Столкновение Сената с Синодом. – Меры относительно религиозного образования. – Намерение удалить церкви иностранных исповеданий с Невского проспекта в Петербурге. – Приготовления к путешествию императрицы в Москву и Киев. – Дела внешние. – Конгресс и мир в Або. – Последующие отношения России к Швеции. – Сношения с Францией. – Лопухинское дело. – Сношения с Австриею и Англиею. – Интриги в Петербурге.

В самом начале царствования Елисаветы возвращали из ссылки и восстанавливали в прежнем значении недавних опальных, о которых память была свежа и которые могли иметь усердных напоминателей. Только в начале 1743 года вспомнили о верном слуге Петра и Екатерины: Антон Девьер, «который безвинно страдал», пожалован был прежним чином генерал-лейтенанта, графским достоинством и орденом Александра Невского. Семеновского полка прапорщик Алексей Шубин, сосланный, как утверждали, императрицею Анною за связь его с Елисаветою, был пожалован в Семеновский же полк премьер-майором, и притом генерал-майором за то, что «безвинно претерпел многие лета в ссылке в жестоком заключении».

Неизвестно, по какому поводу в самом начале года Сенату было запрещено начинать дела по предложениям, письменным или словесным, без письменного указа за рукою императрицы. Елисавета в продолжение года четыре раза присутствовала в Сенате, занятия которого в этом году увеличились донесениями прокуроров о беспорядках, происходивших по разным учреждениям. Так, генерал-прокурор предложил донесение прокурора Берг-коллегии Василья Суворова, что в конце прошлого, 1742 года президент этой коллегии, приехав в присутствие и не собрав членов, один сочинил и подписал определение о свободе из-под караула на поруки заводчика Белова; это определение после вице-президент, один советник и два ассессора закрепили, но два другие советника и один ассессор подали особое мнение, что Белова освободить нельзя. Тут дело кончилось, но через месяц с чем-нибудь явилось определение за руками президента, вице-президента и ассессоров, чтоб представить об освобождении

Белова в Сенат, тогда как остальные члены коллегии не имели никакого понятия, когда этот приговор сочинен и подписан, секретарской руки на нем не было, и потому полагали, что он сочинен и подписан вне коллегии. Прокурор словесно и письменно протестовал против такою ведения дела; но его не послушали, возвратили ему его протест назад и послали в Сенат донесение об освобождении Белова.

Сенат приказал: впредь Берг-коллегии поступать порядочно, а не так, как она ныне учинила, а против прокурорского доношения, что протокол явился сочинен вне коллегии, взяв от коллегии ответ, исследовать. В Коммерц-коллегии определено было для осмотра поташных заводов отправить асессора Красовского, а потом в журнале записано, чтоб для этого отправить из Нижегородской губернии офицера, а прежнее определение о Красовском отменить. Прокурор остановил новое решение, требуя исполнения старого, коллегия не согласилась, и Сенат высказался в пользу прокурора. Архангельской губернии прокурор донес, что секретари ходят в канцелярию всякий по своей воле, отчего колодников держат очень долго, а челобитчикам напрасная волокита и разорение; кроме того, вследствие нехождения секретаря доимка осталась без взыскания, и когда прокурор стал взыскивать на секретаре, то тот отвечал очень неучтиво: «А от губернатора в том ему никакого сокращения не учинено». Прокурор коллегии Экономии доносил, что члены в заседании все никогда не бывают, а которые и бывают, что один без другого хотя бы и неважных дел не слушают, отчего дела тянутся долго. Архангельский губернский прокурор доносил, что в Архангельске и Вологде в правлении полицейской должности не только великое упущение или слабое смотрение, но вовсе надлежащая полицейская должность оставлена, от полиции остается одно название, а исправления никакого нет. В апреле генерал-прокурор предлагал Сенату: усмотрено, что обретающиеся в Москве президенты и члены в коллегии, канцелярии и приказы приезжают очень поздно, не ранее девятого часа пополудни, и потому дел решается очень мало: приказали подтвердить накрепко, чтоб приезжали и уезжали в указанные часы. Но это подтверждение не действовало: ноября 1 генерал-прокурор предложил, что сегодня в исходе седьмого часа пополудни посылал он по коллегиям, канцеляриям и конторам осмотреть, присутствующие имеют ли заседание по регламенту, но посланные не нашли не только никого из судей, но и секретарей; кроме Военной коллегии и губернской канцелярии, никого нигде не было. Опять посланы указы, чтоб съезжались по генеральному регламенту, в противном случае будут платить штраф. О беспорядках в разных коллегиях доносили прокуроры; но Главный комиссариат сам известил Сенат о своем странном распоряжении: без следствия и не требуя указа от Сената он послал указ в Белгородскую губернию об отрешении от должности севского воеводы. Начальник комиссариата должен был за это просить прощения у Сената.

Любопытную черту из деятельности Сената описываемого года составляют переговоры его с подрядчиками на кронштадтские работы. 3 июня допущены были в собрание Сената каменного дела подрядчики; сенаторы долго уговаривали их взять кладку каменных стен канала и теску плит с платою посаженно, но подрядчики не соглашались, говоря, что на такую посаженную работу каменщики нейдут и они их набрать не могут, а помесечно возьмут за шесть рублей на человека, и когда в дело вступят, то, рассмотрев обстоятельно работы, через месяц

надеются взять и посаженно. Сенат находился в большом затруднении, потому что именным указом запрещено было при этой работе нанимать каменщиков за помесечную или поденную плату, кроме необходимых мест. Однако делать нечего, видя упорство подрядчиков, Сенат решил нанять их помесечно, с тем чтоб через месяц по рассмотрении тех работ нанялись посаженно и поштучно, к чему определенные к работам офицеры должны их прилежно склонять. Сенаторы опять принялись уговаривать подрядчиков, чтоб помесечно просили цену настоящую, представляли, что им при этом строении никаких притеснений, обид и удержки заработанных денег не будет; если же хотя малая от кого-нибудь будет обида, то позволяется им приходить прямо в Сенат с жалобою. Но подрядчики меньше шести рублей на человека в месяц не взяли, представляя, что они не надеются нанять каменщиков за меньшую цену и боятся такой же беды, как до сих пор два подрядчика за непоставку по договору каменщиков лет девять держатся под караулом в конторе кронштадтских строений. Тогда сенаторы объявили им последнюю цену – по 5 рублей на месяц, причем объявлен им высочайший указ, что, кроме Кронштадта, каменщики другой работы в Петербурге не сыщут нигде. С этим подрядчики были отпущены; а в контору кронштадтских строений послан указ: велено прислать в Сенат ведомость, какие именно два подрядчика, в каком деле содержатся и почему так долго не выпущены. 6 июня подрядчики опять явились в Сенат и объявили, что из шести рублей более 10 копеек им уступить нельзя, потом сбавили еще 5 копеек. Сенат доложил императрице; но до 21 числа высочайшей резолюции на этот доклад не последовало, и потому Сенат приказал Адмиралтейской коллегии иметь крайнейшее старание в приискании других каменщиков и плотников. Муку в казну покупали куль в 9 пудов по 2 рубля; крупу четверть в 8 пудов по 2 рубля 80 копеек. Сенат уговаривал купцов, 19 человек, уступить, но не уступили, потому что уплата должна была производиться в следующем, 1744 году.

Работы становились дороги, а финансовая машина по-прежнему шла медленно. Президент штатс-конторы внес в Сенат доклад, что контора на разные нужнейшие расходы должна отпустить большие суммы денег, но ей должна коллегия Экономии 141024 рубля да Сибирский приказ 105562 рубля и по неоднократным указам из Сената до сих пор ничего не платят, объявляя разные отговорки. Доимки но выплачивались; угрозы губернаторам и воеводам не помогали; принялись за Камер-коллегию: ей предписано, чтоб она сама, не складывая на губернаторов и воевод, старалась о взыскании доимок и бездоимочном сборе настоящих доходов, в противном случае штраф будет наложен на ее членов и секретарей. Сенат узнал, что губернаторы, воеводы и приказные люди берут даром казенные питья из кабаков, а из таможен – дрова и свечи; последовало запрещение. Один немец предложил завести клейменные карты, брать с них пошлину по 15 копеек с игры и клейменные отдавать на откуп, но Сенат отверг предложение, потому что указами Петра Великого и Анны Иоанновны игра в карты на деньги была запрещена.

Возобновили, как было при Петре, Берг- и Мануфактур-коллегии; естественно было возобновить Главный магистрат, учрежденный преобразователем для «соборания рассыпанной храмины», и в мае описываемого года Главный магистрат восстановлен; обер-президентом его был назначен князь Василий Хованский. Новый год начался учреждением следственной комиссии о

воровском клейме. Комиссия усмотрела, что многие из приличившихся по тому делу иностранных купцов ввозимые в Россию из-за моря товары клеймили поддельными клеймами, также из пакгауза многие товары по согласию с таможенными служителями воровски вывозили и вместо них ввозили другие, недорогие товары. Купцы повинились, и всех их освободили, с тем чтоб они сумму утаенных пошлин, в какой сами признались, именно 21000 рублей, заплатили вдвое в одну неделю. Преступление было прощено, лишь бы поскорее дали денег. Так и в другой раз, когда дело пошло о скорейшей. выручке денег, то отступили от правила возвращаться к постановлениям Петра Великого и оставили в силе указ Анны Леопольдовны. Петр Великий оставил казенными товарами только поташ и смольчуг, а прочие товары «уволит в народ»; но в правление Анны Леопольдовны смолу сделали опять казенным товаром. Теперь на основании указа о восстановлении распоряжений Петра Великого хотели было и смоляной торг уволить в народ; но соблазнились, рассчитавши прибыль от казенного торга, и оставили смолу за казною. Только там, где дело шло о религиозном интересе, Елисавету нельзя было соблазнить никакою выгодою. Сенат подал доклад, что от прошлогоднего указа о недопущении жидов в империю торговля как в Малороссии, так и в Остзейских областях потерпела большой ущерб, а вместе с тем потерпит и казна от уменьшения пошлин. Императрица написала такую резолюцию: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Остались верны правилу Петра Великого развивать торговлю распространением просвещения, здравых понятий о торговле между купцами. Коммерц-коллегия президент объявил Сенату, что коллегия поручила секретарю Академии наук Волчкову перевести экстракт из Савариева лексикона о коммерции с французского на русский язык, которого несколько уже и переведено, а остальное Волчков обещается перевести, только требует за такое многотрудное дело 500 рублей; коллегия представляет, не угодно ли будет во славу императора Петра Великого и для пользы русскому купечеству в будущем эту книгу перевести и означенные деньги выдать, ибо от перевода ее может произойти только государственная прибыль и слава России. Приказали: означенный экстракт со всякою исправностью секретарю Волчкову перевести, и ему пятьсот рублей, ежели меньше не возьмет, выдать.

Для увеличения доходов сочли нужным устроить особое управление казенными рыбными промыслами на Нижней Волге и Яике: главным командиром астраханской рыбной конторы назначен был вице-президент Раевский, в его команде были начальники саратовской и гурьевской рыбных контор; товарищем главного командира в Астрахани назначен московский купец Мыльников на пять лет до будущего усмотрения; для размножения промыслом назначено было 55000 рублей, а Мыльников обязался, что казна будет получать ежегодно прибыли не меньше 50000 рублей. На юго-востоке правительство занималось устройством прибыльных рыбных промыслов; на Северном океане частные люди ходили промышлять на отдаленный Шпицберген, подвергаясь страшным опасностям. В описываемом году доставлены были в Петербург из Любека от русского резидента 12 человек крестьян Мезенского уезда, которые для моржового промысла были на «окиане острове Груманте», где их судно великим волнением разломало надвое и потопило, а они спаслись на «щерботе» и взяты на голландский корабль, на котором привезены были в Амстердам к русскому резиденту, а оттуда в Гамбург и

Любек. Адмиралтейская коллегия выдала им паспорта для возвращения на родину и на дорогу наделила сухарями для их бедности.

Относительно некоторых отраслей промышленности приходили к печальному убеждению, что передача казенных заводов в частные руки повредила производству.

В июне императрица дала указ Сенату, что производство кирпича и черепицы никуда не годится: кирпич худ, а черепицу только для виду делают, крепости в ней никакой нет, где употреблена на кровли, везде течет насквозь и трескается; в такое дурное состояние производство пришло после кончины родителей императрицы, когда казенные заводы вовсе уничтожены и в частные руки отданы, а частные владельцы не соблюдают старых обрядов при работе: глину заранее не готовят, не мнут ее как следует, сараев не имеют и пр. Для возобновления этого производства чрез архитектора Осипа Дрезина выписаны из Италии мастера кирпичного и черепичного дела два человека, которые с названным архитектором отыскивали годную глину на казенных землях по обе стороны Невы-реки на московской стороне, где и следует устроить новые заводы, а для обучения тому мастерству дать солдатских детей из гарнизонной школы. Суконное и полотняное производство шло хорошо в частных руках. Воронежский купец Постовалов завел в Воронеже суконную фабрику в 1739 году, употребив на нее 40000 капитала; теперь она явилась в добром состоянии, и Постовалову позволено было завести еще бумажный завод, а для вспоможения правительство дало ему казенный каменный дом в Воронеже, липскую суконную фабрику, которая не пошла в руках иностранца Ариольти, инструменты и мастеровых людей с фабрик, отнятых у Сахарова и Плотникова за «неразмножение их суконных фабрик»; позволило купить деревню до 50 дворов, с тем, чтобы крестьян, кроме фабрики, не употреблять никуда. За эти милости Постовалов обязан был приготавливать мундирные сукна и каразеи – на первые годы не меньше 30000 сукон в год, а впредь с умножением. Относительно выделки полотен возобновлен был указ Петра Великого, чтоб деланы были широкие полотна, какие требовались за границу. С казенной почепской фабрики продано было купцу Тиммерману 6500 кусков по 4,31 копейки за кусок. 16 декабря императрица, присутствуя в Сенате, устно приказала, чтоб Коммерц-коллегия вместе с магистратом рассмотрели, отчего как шелковые, так и другие товары сильно вздорожали.

Шведская война прекратилась; но положение европейских дел не давало ручательства за продолжительное сохранение мира, не позволяло надеяться на значительное уменьшение расходов на войско. Кроме того, восстанавливая во всем распоряжения Петра Великого, должны были позаботиться о любимом его учреждении – флоте, который, как доносили, находился в жалком положении. В конце года корабельный подмастерье Острцов подал императрице донос на Адмиралтейство, что оно и флот находятся в весьма слабом состоянии: магазины опустошены, гавани в Кронштадте корабельными днищами засорены и обмелели, для вычищения их машин нет, мачтовые леса без остатку погноены, люди при флоте и верфях безмерно загнаны; когда флот должен выходить в море против неприятеля, тогда провиант закупают, пива варить подрядом начинают, смолу купить приискивают, купеческие суда для перевозки нанимают, а все с немалою передачею казны.

Внешняя война прекратилась, но войско надобилось для внутренней войны – для войны с разбойниками, театром которой по-прежнему служила восточная окраина Европейской России. В самом начале года Сенату докладывано, что по челобитью казанских землевладельцев для поимки беглых крестьян и для искоренения воров по рекам Волге, Медведице, Карамышу и в саратовской степи определено послать штаб-офицеров с командою. Донской атаман донес, что все козачьи хутора, в которых беглецам не без пристанища было, искоренены, а беглых, скрывавшихся в станицах и лесах, отправили в крепость Св. Анны, в Царицын и другие места. Но осенью нижегородская губернская канцелярия доносила, что в тамошней губернии являются воры и разбойники великими компаниями, сухим и водяным путями, а канцелярия за неимением солдат искоренить их не может. Сенат велел из стоящих поблизости полков определить пристойную команду. По петербургской дороге было воровство и разбои, недалеко от Москвы разбили морского офицера. В самой Москве крестьянин Зацепляев, собравшись с гренадером лейб-компания Телесниковым и с дворовыми людьми, всего десять человек, ездили за Калужские ворота и Донской монастырь для разбою в два дома.

Кроме погони за разбойниками в той же Нижегородской губернии войско должно было выдержать бой с мордвою, восставшей по следующему случаю: нижегородский архиерей Димитрий (Сеченов), объезжая епархию, в Терюшевской волости, в селе Сарляях, велел разорить мордовское языческое кладбище, находившееся подле церкви; за это мордва собралась и напала на архиерея, который едва отсиделся в погребе у священника, пока подоспели христиане из окрестных деревень. Димитрий, донося об этом происшествии, писал, что бунтовщики не мордва, а старые русские идолопоклонники, по-мордовски говорить не умеют, а говорят ярославским наречием, рознясь от русских нижегородцев. Как бы то ни было, в Терюшевскую волость отправился премьер-майор Юнгер с командою, велено ему мордву склонять к покорности, и если не склонятся, то репортовать, а без указа с ними военною рукою не поступать. Но Юнгер не имел возможности исполнить указа, ибо репортовать было нельзя, когда мордва встретила его с луками, рогатинами и огнестрельным оружием в числе 1000 человек и начала стрелять в его команду. Юнгер должен был вступить в бой и поразил неприятеля: у мордвы побито 35 человек, живых взято 136, в том числе раненых 31, а в команде ранено 5 человек. После этого мордва стала просить прощения; Юнгеру велено было заводчиков и пущего Несмеянку прислать в губернскую канцелярию, остальных простить и объявить им, что, если кто хочет принять христианскую веру, пусть подаст просьбу епископу Димитрию. В губернскую канцелярию прислано было 130 человек заводчиков. Главный из них, новокрещен Несмеянко-Кривой, за то что отступил от христианства, сняв с себя крест, расколол икону, приговорен к сожжению; но к архиерею Синод должен был послать указ, чтоб неволею никого не крестил и не озлоблял.

Обруселые, если не русские, язычники нападают на архиерея, вступают в битву с войском правительства, новокрещеный снимает с себя крест, рубит икону и становится главою восстания идолопоклонников! Мы видели, что в царствование Анны лучшим средством для успокоения областей старого Казанского царства считали распространение и утверждение христианства между

иноверными его жителями, и в 1740 году назначен был для этого дела в Казань Димитрий Сеченов, тогда еще архимандрит. При Елисавете он представил в Синод, что в местах, населенных новокрещенными, необходимо построить по меньшей мере 30 деревянных церквей, ибо новообращенные от русских сел живут в расстоянии осьмидесяти, ста и более верст, и что на это церковное строение надобно употребить 9000 рублей, считая каждую церковь в 300 рублей. Сенат нашел, что эта сумма велика, что коллегия Экономии должна отпустить только половину, а издержка сократится тем, что церкви будут строиться местными жителями, даже и теми, которые не захотят креститься; указал, как приобрести подешевле книги, колокола, утварь. По доношению того же Сеченова Синод представлял, что до построения церквей нужно к Каждым 250 дворам посвятить по два священника, по одному дьякону и по три церковника, которые будут наблюдать за строением церквей, новокрещенных будут обучать закону божию, а детей их грамоте и всячески стараться вводить между ними христианские обычаи, а требы исправлять хотя при часовнях; жалованье им давать: священникам – по 30 рублей и по 30 четвертей хлеба, дьяконам – по 20 рублей и по 20 четвертей хлеба, а церковникам – по 15 рублей и по 15 четвертей хлеба. По указу 1740 года велено было новокрещенных переселять из тех деревень, где они живут вместе с иноверцами; но Сеченов представил, что в деревнях новокрещенных бывает большинство и переселение будет им убыточно и зазорно, как будто за принятие св. крещения они лишаются старинных своих жилищ, что отвратит многих иноверцев от крещения; следовательно, гораздо лучше переселять иноверцев, которые, не желая лишиться прежних своих домов и земель, придут все к св. крещению *самовольно*. Сенат согласился с этим представлением. Согласился и на возобновление старого распоряжения, чтоб принимавшие крещение холопы и крестьяне иноверных землевладельцев освобождались от крепостной зависимости, а если сами землевладельцы примут христианство, то получают по-старому своих холопей и крестьян; чтоб принявшие крещение освобождены были на три года от всех поборов, которые должны быть разложены на оставшихся в иноверии; чтоб те из них, которые живут по кабалам у заимодавцев, были от них освобождены; чтоб те из иноверцев, которые содержатся под караулом по маловажным делам и захотят принять крещение, освобождались из-под караула без всякого наказания. По донесению Сеченова, в 1741 и 1742 годах было обращено в христианство 17362 человека.

Иноверцев освобождали из-под караула и не подвергали наказанию, если они принимали крещение, причем не возбуждалось подозрения насчет побуждений. Иначе смотрела раскольничья контора на обращавшихся в православие раскольников. В Сибири, в Кузнецком уезде, 18 человек раскольников сожгли сами себя; некоторые, хотевшие последовать их примеру, были схвачены и обратились в православие: но раскольничья контора представила Сенату, что они обратились, «знатно избывая истязаний»; что надобно их расспросить под плетями о сгоревших 18 человеках и сообщниках их; так как они, не объявивши начальству, допустили этих 18 человек до самосожжения, то подвергаются смертной казни; но так как они обратились в православие, то следует их для острастки другим наказывать кнутом. Сенат приказал: конторе поступать по точным указам, имея которые ей не следовало и представлять в Сенат; обратившихся раскольников не трогать, только смотреть, чтоб они твердо пребывали в православии. Сенат

должен был также умерить ревность архангельской губернской канцелярии: архиерейская домовая канцелярия дала ей знать, что в Мезенском уезде и других местах многочисленными скитами живут потаенные раскольники обоего пола, монахи и бельцы; доносчик признает их из шляхетства, или из знатного купечества, или из подрядчиков, которые, может быть, бежали, забравши из казны большие суммы. Губернская канцелярия отправила премьер-майора с командою забрать всех раскольников с пожитками и отправить в Архангельск, а строение их сжечь; если же они будут сопротивляться, то силою их склонять и увещевать, если же вознамерятся отбиваться, то по ним стрелять и захватывать. Сенат приказал: послать указ, чтоб поступали весьма осмотрительно, без разорения и грабежей, и отнюдь бы не вступали в бой под опасением военного суда; поступать во всем так, как повелевают прежние указы о раскольниках; а для чего и по каким указам губерния распорядилась, чтоб команда по раскольникам стреляла и пожитки забирала, прислать доношения с первою почтою.

Так как Синод потребовал освобождения из-под караула и от наказания за небольшие вины тех иноверцев, которые примут крещение, то Сенату естественно было обратиться к Синоду с вопросом, не следует ли раскольников, уличенных в важных преступлениях, освобождать от смертной казни, если они обратятся в православие. С таким вопросом обратился Сенат по поводу обращения из раскола крестьянина Степанова, совершившего смертоубийство. Синод отвечал, что он не находит правил св. отец, чтоб освобождать от смертной казни убийц, когда они обратятся к св. церкви, ибо обращение к благочестию от вечной только смерти избавляет, а временная по винам смерть присуждается гражданскими законами. Но спустя короткое время – новый случай: разбойник крестьянин Петров был приговорен к смерти, на исповеди объявил себя раскольником и обратился в православие; нижегородский епископ Димитрий представил, чтоб его не в образец другим к лучшему исправлению для спасения душевного от смертной казни освободить и заточить в монастырь. Так как являлось архиерейское представление, то Сенат счел нужным сообщить в Синод и требовать, «чтоб св. Синод благоволил, рассмотря, коим образом в таком случае с оным Петровым поступить надлежит, сообщил прав. Сенату свое рассуждение». Синод дал любопытный ответ: «Ежели реченный Петров от смертной казни учинится свободен, то св. Синод в монастырь для покаяния его определит». Сенат приказал: о том колоднике до будущего указа обождать. Кроме сношений по иноверческим и раскольничьим делам Сенат имел с Синодом несколько неприятных объяснений. Коллегия Экономии разослала по монастырям Ростовской епархии отставных служилых людей; но ростовский архиерей Арсений Мацеевич не принял их на том основании, что прежде отставные содержались на монашеские порции, которые оставались вследствие сокращения числа монахов по распоряжению Петра Великого, а теперь все эти порции издерживаются новопостриженными монахами; в доношении своем Арсений позволил себе резкие выражения о воеводах и вообще о светских правителях. Синод послал Арсению указ, чтоб вперед под опасением штрафа не употреблял подобных поносительных слов; но Сенат не был этим доволен и грозил, что если Синод не пресечет таких поступков, то он, Сенат, доложит императрице.

Другое объяснение было по поводу возобновленного указа о надзоре за соблюдением тишины во время богослужения. Синод прислал в Сенат ведение,

что в указе о безмолвии в церквях находится лишнее против указа Петра Великого и несогласное с духовным регламентом, именно что у сбора штрафных денег должны быть в церквях и монастырях отставные офицеры и солдаты, ибо это дело принадлежит церкви и ее пастырям и должно быть в ведении архиереев и священников с причтом. Приказали объявить Синоду, что определение Сената сделано в силе указа Петра Великого, равно как и синодского рассуждения 11 января 1723 года; в указе Петра говорится: брать штраф по рублю с человека, не выпуская из церкви, и употреблять на церковное строение, для чего употреблять кого пристойно из людей добрых; ясно, что велено употребить людей светских, а не духовных, и при жизни Петра Великого были у этого сбора светские люди; духовным особам и церковнослужителям смотреть за разглагольствующими во время службы божией Сенат признает неудобным, что отдается на особое рассуждение св. Синода.

Через несколько месяцев Синод жаловался, что тверской воевода Давыдов обидел тверского епископа Митрофана, посылал брать в провинциальную канцелярию к суду двоих семинарских учителей. Воевода, спрошенный Сенатом, отвечал, что поручик Фохт подал ему следующую жалобу: пасынок его, пятилетний Семен Воейков, гулял у городского вала, и учителя семинарии, взяв его в архиерейский дом и затаща к себе в келью, чинили над ним ругательское мучение, обнажа, били батожем смертно; по свидетельству, открылось, что ребенок действительно избит и оттого болен; Фохт объявил, что он двукратно просил архиерея на учителей, только никакого решения не сделано, потому что эти учителя состоят с его преосвященством в близком родстве. Сенат приказал объявить Синоду, что никакой в том деле продерзости со стороны воеводы признать не может. Синод возражал, что он не признает ответа воеводы Давыдова вероятным, истины познать без исследования не по чему, а учителя тверские ездили в чужие государства и обучались своим коштом на разных диалектах, так что достойными учителями оказываются, и если им не дать удовлетворения, то и другие ученые люди в великую Россию приезжать для преподавания в школах будут очень опасаться; а по регламенту семинарские учителя светскому суду не подлежат. Тверской архиерей жаловался на своего воеводу, а коломенский воевода жаловался на своего архиерея Савву, который запретил приходскому священнику исправлять требы в деревне Свитягине по злобе на ее крестьян, оспаривавших у него землю; вследствие этого запрещения родильницы оставались без молитв, умершие – без погребения.

Но Сенат не мог не согласиться с Синодом относительно требования расширения религиозного образования. Синод представил, что российские дворяне и прочих чинов люди детей своих обучают из *российских книг* только чтению Часовника и Псалтыря, а потом употребляют в разные светские науки, а чтоб знать всеблагото бога и нашу к нему должность и догмат православной христианской веры, в чем истинный путь спасения нашего состоит, тому едва ли кто обучать старается. Синод требовал, чтоб обучали букварю и катехизису, без знания которых ни в какие чины не повышать. Сенат не только согласился, но и приказал с отцов, не радящих о таком обучении детей своих, брать штраф – с шляхетства по десяти, а с прочих по два рубля.

Дорогая для Синода книга «Камень веры» была распечатана; но Синод не довольствовался этим и хотел запечатать книги, которые пришли в Россию счужа

в то время, как «Камень веры» была запечатана. Он представил Сенату, и Сенат издал указ: книгу «О истинном христианстве» Арнта, напечатанную в 1735 году на русском языке в Галле, и книгу «О кончине христианского жития» безымянного автора как не свидетельствованные Синодом отбирать у всех в Синод и впредь таких книг, напечатанных за границею на русском языке, в Россию как русским, так и иностранцам ни под каким видом не вывозить, чего на границах и при портах, наблюдая накрепко, не пропускать. Русским, находящимся за границею для обучения и прочих дел, объявить и впредь отпускаемым подтвердить, чтоб они таких книг на русский язык отнюдь не переводили, и внутрь империи никаких богословских книг с других языков на русский без позволения Синода переводить запретить.

Соответственно духу переворота 25 ноября показалось неприличным, что церкви иностранных исповеданий находятся в Петербурге на самом видном месте – на Невском проспекте. Императрица велела приискать для них другие, более отдаленные места. Места были приисканы, составлены планы и сметы издержкам построения, и решили доложить государыне, не соизволит ли указать оставить кирхи до будущего времени на прежних местах, потому что по смете на строение новых денежной казны надобна сумма немалая, а в настоящее время деньги потребны на самонужнейшие расходы.

С октября двор начал собираться в Москву. Сенат приказал: для шествия ее имп. величества в Москву поставить по станциям ямских и от купечества по 200 лошадей с каждой станции; но чтоб находящиеся по той дороге ямщики и купцы одни от поставки подвод не понесли излишнего отягощения, то в помощь к ним росписать по способности прочие города и села расстоянием от той дороги хотя в 200 верстах; смотреть, чтоб купечество и ямщики лошадей ставили с хомутами, вожжами и дугами и кормили их, чтоб были сыты. Для шествия же господ министров, сенаторов, Синода, придворных и прочих чинов и чужестранных министров поставить на тех же станциях уездных по 500 подвод. Потом велено было к двумстам подводам прибавить еще по 100 на каждой станции с ямщиков и купечества. Из Москвы императрица намеревалась ехать в Киев, и потому велено было исправлять дорогу, строить дворцы по станциям; но потом нашли, что малороссиян нельзя отягощать постройкою дворцов по причине недостатка в лесе, и потому велено от Глухова до Киева приготовить только погреба для питей и припасов.

Императрица собиралась в Москву, чтоб праздновать там мир со Швециею. На каких же условиях был заключен этот мир?

Мы видели, в каком отношении находилась императрица Елисавета и ее главные вельможи к иностранным делам в конце 1742 года. Благодаря явному пристрастию к Швеции, выказанному французским правительством, благодаря тому, что с французской стороны была задета самая чувствительная струна, именно отношения Елисаветы к Швеции перед ее воцарением, Лесток и Шетарди проиграли дело против русских вельмож, и Шетарди должен был оставить Россию. В начале ноября 1742 года приверженцы Франции были обрадованы смертью великого канцлера князя Алексея Михайловича Черкасского, который под конец жизни заглаживал старые грехи, стоя твердо за русские интересы: но все же его смерть послужила более в пользу, чем во вред, этим интересам, отдавая их в руки даровитого и энергического Бестужева, который становился теперь

самостоятельным. Впрочем, в первое время по смерти Черкасского никто не был уверен, что Бестужев получит верховное заведование иностранными делами. Мы знаем, что у вице-канцлера были сильные враги, которые должны были употребить все усилия, чтобы оттолкнуть его от места великого канцлера. Но для этого им нужно было указать императрице человека, который был бы достойнее или по крайней мере столько же достоин этого места, как и Бестужев. Указывали на Румянцева; но Елисавета не считала его способным и опытным: может быть, он добрый солдат, да худой министр, писала она. По своему обыкновению, Елисавета отложила трудное дело, не назначила никого пока великим канцлером; но Бестужев в прежнем звании вице-канцлера стал самостоятельно заведовать иностранными делами, и Бреверн продолжал служить ему верным помощником, каким был прежде и для Остермана.

Шетарди не было; но у Лестока нашелся другой товарищ, столь же опасный для Бестужева и русских интересов, как и Шетарди: то был голштинiec Брюммер, гофмаршал двора великого князя наследника Петра Федоровича. Провозглашение Петра Федоровича наследником произошло внезапно; никто до последней минуты не знал об этом, кроме Лестока, Брюммера и новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича: ясно, что боялись сопротивления, неудовольствия с чьей-то стороны. Но у Брюммера на сердце было еще другое дело, чисто голштинское, — это выбор в наследники шведского престола, от которого отказался великий князь, дяди его, епископа Любского, администратора Голштинии за малолетством Петра Федоровича. Разумеется, Брюммеру и Лестоку легко было убедить Елисавету в необходимости поддерживать избрание голштинского герцога со стороны России: близкая родственная связь между наследниками русского и шведского престолов обезопасит Россию со стороны Швеции и упрочит мир на севере; при этом в Елисавете действовало и печально-нежное воспоминание: дело шло о помощи родному брату того герцога Голштинского и епископа Любского, который был женихом ее и был отнят у нее смертью. Лесток, разумеется, сильно содействовал Брюммеру в этом деле, ибо за избрание епископа Любского Швеция могла получить более выгодный мир, которым Лесток отслуживал Франции за ее пенсию. И русские люди могли желать избрания герцога Голштинского в наследники шведского престола, но с условием, чтоб за это не было дорого заплачено, чтоб не пострадал ближайший русский интерес при заключении мира со шведами, ибо родственные связи между государями далеко не всегда служат ручательством за союз между государствами. Понятно после этого, как важно было назначение уполномоченных на Абовский конгресс. Назначение Румянцева первым уполномоченным было неприятно Бестужеву: Румянцев был избранник противной стороны, кандидат ее на канцлерство для оттеснения Бестужева. Вторым уполномоченным Бестужев хотел видеть сенатора князя Голицына; но Лесток постарался о назначении генерала Любраса. Императрица сначала не хотела Любраса, выставляя, что он немец, но Лесток нашелся и возразил: «Отец вашего величества вел переговоры в Ништадте через немца же». Елисавета подписала назначение Любраса.

Мы видели, с каким ответом относительно мирных условий отправились из Петербурга шведские депутаты, приезжавшие объявлять об избрании герцога Голштинского в наследники шведского престола. В январе 1743 года начался Абовский конгресс. От 30 числа Румянцев писал, что между шведскими

уполномоченными Цедеркрейцем и Нолькеном примечено несогласие; поэтому он, Румянцев, улуца после обеда удобный час, вступил с Цедеркрейцем в откровенный разговор о прошедшем и открыл, к своему сожалению, что сенатор многого не знает, а что и знает, то от Нолькена, в котором, следовательно, заключается вся сила; поэтому надобно опасаться, что на конгрессе много будет лишних споров и затруднений, ибо Нолькен, будучи одним из зачинщиков войны, естественно, должен защищать свое дело. Румянцев сказал Цедеркрейцу: «Как жаль, что товарищ у вас не такой честный человек, как вы». Цедеркрейц отвечал на это просьбою обходиться с ним откровенно, сказать прямо, в чем состоит намерение императрицы относительно мира, Румянцев повторил то, что было объявлено шведским депутатам в Петербурге. Цедеркрейц сказал на это, что если нельзя иметь на шведском престоле герцога Голштинского, то другого кандидата не остается, как дядя его епископ Любский; только советовал для лучшего успеха выражаться на конференциях так, что епископа Любского рекомендует герцог Голштинский, прибавляя, что императрице также это будет приятно. «Эта рекомендация, – говорил Цедеркрейц, – государственным чинам не так противной покажется».

Что же касается Финляндии, то Цедеркрейц объявил, что Швеции без нее обойтись нельзя. Впрочем, Румянцев писал, что мирные переговоры будут идти только тогда успешно, когда будут подкреплены оружием, и надобно приготовляться к будущей кампании таким образом, чтоб неприятель имел в виду разорение шведских берегов. Румянцев внушил Цедеркрейцу, что в случае благополучного окончания дела он может быть уверен в благодарности русского двора. Цедеркрейц по первому же разговору *податен* явился, «только, – писал Румянцев, – вся сила в руках у Нолькена, и он дело ведет как хочет, почему хотя при случае денежная дача лакомому к деньгам Цедеркрейцу была бы и небездействительна, однако теперь еще рано». 16 февраля Румянцев донес, что шведские уполномоченные решительно отказались заключить мир на условия, кто чем владеет (*uti possidetis*), объявили, что король и государственные чины лучше дойдут до всяких крайностей, чем согласятся на это; причем шведы старались выпытать, какая именно будет уступка со стороны России в случае избрания епископа Любского. Румянцев просил императрицу снабдить его по этому обстоятельству дальнейшими предписаниями, прибавляя, что в деле наследства надобно опасаться от шведов какого-нибудь коварства, обещают для получения Финляндии и потом обманут; к достижению мира один способ – твердость со стороны России.

22 февраля императрица велела подать мнение об условиях мира с Швециею следующим лицам: фельдмаршалам князьям Долгорукому и Трубецкому, графу Леси и принцу Гессен-Гомбургскому; сенаторам: адмиралу графу Головину, обер-шталмейстеру князю Куракину, действительному тайному советнику Нарышкину, генерал-лейтенантам князьям Голицыну и Урусову, тайному советнику Новосильцеву, действ. статскому советнику князю Голицыну; членам Иностранной коллегии: вице-канцлеру графу Бестужеву-Рюмину, тайному советнику Бреверну, действ. статским советникам Ивану Юрьеву и Исааку Веселовскому, кроме того, генералу Левашеву, графу Михайле Бестужеву-Рюмину, князю Никите Трубецкому; генерал-лейтенантам: князю Репнину, Игнатьеву и Измайлову. Фельдмаршал князь Долгорукий представил мнение, что из

Финляндии можно уступить шведам только отдаленную Остерботнию; если же они изберут наследником своего престола герцога Голштинского епископа Любского, то можно им будет уступить и Абовскую область. По мнению фельдмаршала князя Трубецкого, надобно было стараться всеми силами удержать всю Финляндию: «Возвратить ее Шведской короне ни по каким правильным причинам невозможно, ибо в противном случае не только всему свету подастся повод рассуждать не к пользе и не к славе оружия ее величества, но и для благополучия и безопасности Российской империи весьма надлежит, чтоб граница была отдалена, ибо опасность от близкой границы нынешняя война доказала; наконец, обыватели финляндские, видя, что их страну возвратили шведам, в другой раз будут противиться всеми силами русским войскам». Но если шведы никак не согласятся отдать всю Финляндию, то заключить мир с удержанием части Финляндии по Гельсингфорс и Нейшлот; или удовлетворить шведов денежною суммою; или выговорить условие, чтоб Финляндия была отдельным владением под властью нейтрального государя; значительную уступку из завоеванного можно сделать только в том случае, когда шведы выберут на престол епископа Любского. По мнению фельдмаршала Леси, из Финляндии можно было уступить только Остерботнию, как область отдаленную, каменистую, болотную и нехлебородную. По мнению адмирала Головина, если нельзя удержать всю Финляндию по Ботнический залив с *живою границею*, то надобно оставить за Россию Гельсингфорс и всю Нейляндскую провинцию: гавань Гельсингфорсская очень способна для стоянки военных судов, которые могут в ней зимовать без малейшего препятствия, могут по нужде и зимой выйти в море, притом в соленой воде кораблям лежать прочнее и легче. По мнению князя Куракина, надобно было удержать по крайней мере Абовскую область. По мнению Нарышкина, можно было уступить от Вазы к северу. По мнению генерал-лейтенанта князя Михаила Голицына, нужно было преимущественно удержать приморские места.

Вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин представил такое мнение: «Вся почти Европа, равно как соседи наши турки и персы, открытыми глазами смотрят, какое мы доставим себе вознаграждение и удовлетворение за наглую со шведской стороны нарушение мира и нанесенные России тяжелые военные убытки: поэтому слава императрицы, российского народа и государственный интерес требуют приложить всевозможное старание для заключения мира на условии *чем кто ныне владеет* (uti possidetis), хотя бы это стоило великой суммы денег (до двух миллионов); для показания же на весь свет, что Россия в удержании Финляндии ищет не расширения государства своего или умножения доходов, но единственно тишины на севере, то можно позволить одним шведским подданным свободную и беспошлинную торговлю в Финляндии. Если же шведы никак на это не согласятся, то на Абовском конгрессе установить такую форму правительства в Финляндии, которая бы устранила всякие с обеих сторон неприятельские столкновения, на что исходатайствовать от других держав гарантию; это предложение все финляндцы охотно будут поддерживать чрез своих депутатов на конгрессе, не желая отдать себя на жертву мстительности шведов. В крайнем случае заключить мир с удержанием Абова или Гельсингфорса с приличным округом, причем выговорить, чтоб финляндцы имели право выселиться из шведских владений в русские. В доказательство необходимости этого условия припомню только, какую гибель понесли в недавнее замирение с турками волохи,

а при возвращении шаху персидских провинций грузинцы и армяне, положившись на данное им с нашей стороны обнадеживание, и впредь при новой войне с соседями едва ли уже можно будет их склонить какими-нибудь обещаниями. Наконец, необходимо низвергнуть настоящее шведское министерство, устроившее войну, и восстановить старое, миролюбивое; в противном случае Россия никогда не будет покойна; настоящее министерство вместе с Франциею всегда будет интриговать, турок или других неприятелей против России возбуждать и, приведя нас постороннею войною в слабость, опять нечаянно и вероломно мир нарушит».

По мнению Бреверна, Финляндия так важна для Швеции, что хотя бы она и принуждена была, ее на время уступить, то никогда не перестанет хлопотать о ее возвращении, и потому Россия будет находиться в постоянном беспокойстве; притом и другие державы не будут равнодушно смотреть на такое расширение русских границ и такое ослабление Швеции; для защиты Финляндии нужно будет содержать в ней войско; войско понадобится большое по обширности страны, а прокормить его будет трудно, потому что страна разорена, на финские же войска надеяться нечего; Россия нуждается в мире, а если война ее с Швециею продлится и в Германии восстановится спокойствие, то другие державы могут вмешаться в нашу войну для ловли рыбы в мутной воде; поэтому весьма желательно, чтоб мирные переговоры еще до начала будущей кампании были приведены к благополучному окончанию, тем более, что военные действия подвержены счастью и несчастью. По мнению графа Михаила Бестужева, надобно удержать Финляндию и заплатить за нее деньгами по примеру Петра Великого. Если шведы на это никак не согласятся, то смотреть, в каких отношениях находится Россия к соседним государствам, особенно к Пруссии, которая опаснее для нее всех других, и если опасности нет, то продолжать войну; если же есть опасность, то заключить мир с удержанием Гельсингфорса с округом и с условием, чтоб шведы провозгласили наследником своего престола епископа Любского; если же и на это не согласятся, то назначить епископа Любского владетельным князем Финляндии под русским покровительством. Мнения остальных не представили ничего особенно замечательного.

Между тем шведские уполномоченные объявили Румянцеву и Любрасу, что епископ Любский изберется наследником престола на таких только условиях: Россия возвратит Швеции все завоеванное, заключит с нею оборонительный и наступательный союз; ибо в случае выбора епископа Любского, администратора Голштинского, война с Даниею необходима, если только Россия не гарантирует Дании Шлезвига, в каком случае три северные двора могут вступить в союз; наконец, Россия должна дать шведам субсидию. Румянцев сказал, что на такие предложения один ответ: незачем здесь больше жить, надобно разъехаться: какие шведы получили над русскими выгоды, чтоб такие идеи себе делать и субсидий просить? В деле наследства они вольны поступать как хотят, только императрица никогда всей Финляндии им не возвратит.

В начале марта русские уполномоченные получили письмо от голштинского посланника Бухвальда, находившегося в Стокгольме. Бухвальд писал, что предстоит опасность, чтоб шведы мимо администратора Голштинского не выбрали на престол принца Датского или Биркенфельдского, вследствие чего советовал не медлить мирными переговорами, объявив шведам выгодные для них условия. Румянцев написал по этому случаю Бестужеву: «Можно рассудить, что

Бухвальду в том нужды нет, хотя бы мы и Новгород отдали, только бы его герцог королем избран был. Бога ради, государь мой братец, надобно недреманным оком на такие неосновательные пропозиции смотреть и ее величеству с истолкованием всего того, что он пишет, представить, дабы впредь от них такие ветреные мнения отнять. Правда, он страшает нас выбором кронпринца Датского; но хотя бы это и правда была, то лучше нам против Швеции и Дании в войне быть, нежели бесчестный и нерезонабельный мир на основании Ништадтского заключить».

На основании решения, принятого в Петербурге, Румянцев и Любрас объявили шведским уполномоченным, что в случае выбора епископа Любского императрица оставит за собою добрую часть Финляндии, а им уступит нарочитую, в противном же случае не уступит ничего; если Дания нападет на них за избрание принца Голштинского, то, естественно, честь заставит Россию помочь им; впрочем, нельзя сомневаться, что по заключении между Россией и Швецией мира Дания никогда не решится напасть на них. 28 марта шведские уполномоченные объявили, что чины склонны к избранию в наследники епископа Любского, но желают знать, что императрица соизволит для них за это сделать; чины ласкают себя надеждою, что императрица, принимая во внимание шведские нужды, доставит им и соответственные тому выгоды и прикажет заключить мир на основании Ништадтского; король надеется, что Россия возьмет надлежащие меры относительно других держав, именно относительно Дании, или гарантирует ей Шлезвиг, или заключит с Швецией оборонительный союз против всех, которые восстанут на нее за выбор епископа Любского. Русские уполномоченные отвечали, что шведы первые должны объявить, что они уступают России из Финляндии; шведы назначили землю по Мейделакс; Румянцев и Любрас возразили, что и по Кюмень мало. Шведы говорили, что если Россия хочет разделить Финляндию пополам, то Швеция должна отдаться в руки Дании, избрать датского принца. Русские уполномоченные объявили им уступку Осторботнии, Аланда и Биорнеборгского уезда. Шведы обнаружили при этом удивление и ужас и объявили, что для пользы мира лучше не писать об этом в Швецию, ибо там сейчас же приступят к избранию нового кандидата.

Румянцев писал в Петербург, что надежда на мир слаба, что шведы не удовольствуются и последним рубежом – по Нюландию, по которую позволено ему было уступить. К Бестужеву Румянцев писал: «Извольте взять сии дела в здравое рассуждение, каким образом сие дело к концу приводить, понеже я здесь не могу знать намерения ее величества ниже вашего рассуждения, что вам более надобно: мир или война? Ежели первое, то надобно еще кондиций прибавить к уступке, а без того другое само собою дойдет, только заблаговременно извольте стараться приуготовлениями к тому как корабельным, так и товарным флотом, дабы ранее выйти могли, а без того великие пакости они нам поделывать могут. У нас здесь военных людей очень мало, около Абова и до самых Ваз не будет 4000; провианта в Абове и Вазах только по июнь месяц». Между тем Бухвальд писал из Стокгольма, что известие о русских условиях произвело там отчаяние, начались сильные военные приготовления и уполномоченным предписано разорвать конгресс, если не услышат более выгодных предложений.

10 апреля Румянцев и Любрас объявили шведам уступку Финляндии по Нюланд как ультиматум, а 30 апреля писали императрице, что мирный конгресс скоро должен рушиться, ибо из Швеции нет никакого ответа насчет ультиматума, а

потому ничего не остается как усмирять гордого неприятеля силою оружия. Бухвальд в начале мая писал, что в Швеции никогда не согласятся на уступку по Нюланд, ибо считают эту провинцию и Фридрихсгамскую гавань столь важными, что с потерей их остальная Финляндия ничего не значит. «Здесь, – писал Бухвальд, – с прежним усердием продолжаются военные приготовления, армия будет от тридцати до сорока тысяч человек. (Угрозы! – заметил Бестужев на поле, – столько нет!) Флот будет состоять из двадцати четырех военных кораблей. (Неправда! – заметил Бестужев.) Если Дания достигнет здесь своих целей, то немедленно пришлет 10000 человек, которых она наготове держит в Норвегии для соединения с шведскими войсками, и вместе будет действовать в Вестерботнии; остальные же датские войска будут употреблены для нападения на Финляндию с аландской стороны». На это Бестужев заметил: «Прежде ни о чем не писал, а ныне с разными угрозами!» Бестужев вообще был недоволен ведением дела; не был доволен Бухвальдом, который думал только об интересах голштинского принца и страдал русское правительство для того, чтоб оно поспешило уступить всю Финляндию на условии избрания епископа Любского; Бестужев не был доволен и Румянцевым, которого упрекал в излишней торопливости, и отвечал ему не очень ласково на его письма. Разобиженный Румянцев писал ему: «Я никогда не думал, чтоб ваше сиятельство на мое покорное письмо так недружески ответствовали: хотя б что и противно, может быть, неискусством пера моего усмотреть изволили, то б дружески, а не с такими выговорами дали мне знать». Когда Румянцев и Любрас написали в Петербург, что нет надежды на уступку шведами Нюландии, то Бестужев заметил: «Худые пророки!»

Но Бестужеву бороться было трудно: императрица сильно желала возведения на шведский престол епископа Любского, все сильно желали мира, и 24 апреля собрание рассудило следующее: «По настоящим ныне в Европе конъюнктурам и состоянию здешней империи весьма желательно и нужно, чтоб война прекращена была полезным миром для того: если в немецкой земле настоящая война прекратится, а шведы мимо епископа Любского выберут в наследники престола кронпринца Датского или принца Биркенфельдского, то опасно, чтоб Пруссия, Польша, Дания, Франция, Турция и другие державы не вмешались в войну между Россиею и Швециею и не стали помогать шведам; притом продолжать войну тяжело будет для России, потому что империя и без того уже несколько лет в беспрерывной войне находится. Поэтому если епископ Любский действительно признан будет наследником шведского престола, то Россия может оставить за собою Кюменогорскую область, включая сюда Фридрихсгам и Вильманштрандт, также Савалакс и Нейшлот с их дистриктами, ибо эти области прикрывают Выборгский, Кексгольмский и Олонецкий уезды».

На это мнение императрица отвечала: «Лучше нам оставить за собою малое, да нужное, а шведам уступить большее и им полезное, а нам ненужное, а именно: нам оставить за собою Нюландскую провинцию и Кюменогорскую область, что очень нужно для сообщения с нашим эстляндским, ингермандским и корельским берегом; из Кексгольмии столько оставить за нами, сколько заняла граница, учиненная по Ништадтскому миру, а шведам уступить в прибавок к прежней уступке Тавастию всю и Савалакс. Итак, шведам большая часть Финляндии останется, а нам меньше, но нужнее для удержания соседей от неприятельских нападений, которых ожидать надобно от лежащих по морю мест, а не на Олонец и

Кексгольм. Противу опасности от имеющих вступить в нынешнюю против нас войну предлагается от нас собранию: во-первых, помощь божия, от многих лет государство наше в правде защищающая; да и опасности теперь еще на деле не видно, а если б и оказалась, то имеем на границах войско. Что государству нашему от продолжающейся войны не без тягости, и на оное ответственем, что оное все как было, так и будет по предвидению божию; однако ж видели и видим, что господь бог в правде государству нашему свою помощь подавал и подают; сего и впредь от его ж благословения ожидать имеем. Мы ничего иного от собранных не желаем, токмо дабы поступали и ныне с тем же духом крепости, который явили нам в собственных своих мнениях». Собрание отвечало, что указанные императрицею условия оно признает за наилучшие и благодарит за откровение высочайшего намерения.

В половине мая пришел из Швеции ответ, что король не может уступить Нюландии, а только Кюменогорскую область. Русские уполномоченные по указу из Петербурга согласились на уступку Нюланда, но потребовали к Кюменогорской области Савалакса и Карелии и в случае несогласия объявили, что уезжают; это было 14 июня. Между тем в Петербурге 8 июня собрание рассуждало об уступке Савалакса и решило, «чтоб не допустить кронпринца Датского на шведский престол и помочь в достижении его принцу Голштинскому, *в рассуждении слабой негоциации здешних на конгрессе министров, из их же собственных реляций усмотренной*», уступить шведам Савалаксию, ограничившись Кюменогорскою областю с Фридрихсгамом, Вильманштрандом и Нейшлотом с уездами».

Об этом заседании собрания Алексей Бестужев-Рюмин писал Черкасову любопытное письмо: «При вчерашнем собрании в двух пунктах жестокий спор учинил генерал-прокурор, которому последовал Ушаков и князь Мих. Мих. Голицын: 1) в том, что в мнении написано было, что ежели города Нишлота уезд в нашу сторону подался, а в неприятельскую ничего нет, чтоб выговорено было прибавить из Савалаксии к городу Нишлоту пять или по последней мере три мили, против чего крепко закричали, ничего больше требовать не надлежит, хотя б не токмо по полисады, но и под самую стену граница была, и так перекричали, что оставлено просто на всякую удачу; 2) внесено было в мнение, что в рассуждении слабой негоциации министров здешних на конгрессе, как из реляций их усмотрено, то надлежит Савалаксию уступить, и хотя все о слабой негоциации рассуждали и осуждали, однако наконец перекричали, чтоб из концента выкинуто было, даже потом фельдмаршал князь Долгорукий и генерал граф Чернышев с прочими, кроме вышеозначенных и Бахметева, вновь за то ухватились, чтоб оное внести, и согласились по обеде у него ж, фельдмаршала, вновь съехаться, куда приехав, изготовя два инструмента, один со внесением спорного пункта, а другой с выпусчением оного, кто что подписать по чистой своей совести заблагорассудит. Генерал-прокурор полутора часами назначенного времени позже приехал, что между тем со внесением спорного пункта девять персон и генерал Ушаков подписали, оставя ему место: за то жестоко прогневался на всех, а особливо на меня и всю коллегию, для чего, не дождавшись его, подписали, хотя ему и представлено было, что и другой инструмент готов без внесения спорного пункта, на волю его предается, который по чистой своей совести подписать заблагорассудит, однако ж, с час еще гневаясь, наконец обще с князем Голицыным и Бахметевым, которые в том же сильно спорили, с неспоряющимися равномерно

подписались. Могу поистине сказать, что от помянутых спорщиков и крикунов сего собрания совет подобен был козацкому кругу».

Посмотрим теперь, что делалось в Або. Здесь 15 июня Нолькен приехал к Любрасу и со слезами просил отмены в условиях, которую уполномоченные взяли бы на себя. Румянцев и Любрас отвечали, что взять на себя отмену условий они никак не согласны, но только в надежде на апробацию императрицы назначают новые условия: уступку России всей Кюменогорской области, половины Карелии и Нейшлота. «Запрос о части Карелии мы сделали для того, – писали Румянцев и Любрас, – чтоб тем легче шведы согласились на отдачу Нейшлота, и притом не желая упустить ничего, чем бы можно было получить от них побольше». Шведы не хотели уступить побольше и после жарких споров написали проект договора: шведы обязывались избрать в наследники престола принца Голштинского, уступить Кюменогорскую область со всеми устьями реки Кюмени; о Нейшлоте шведские уполномоченные обязались в надежде на апробацию, точно так, как русские насчет Савалакса и Карелии, хотя они имели указ императрицы об уступке этих земель; Россия обязывалась принять меры для защиты Швеции, если б последняя подверглась нападению вследствие заключения такого договора с Россию, «как о том прежде говорено». Относительно этого обязательства Румянцев и Любрас писали: «Сей пункт всех тяжелее для нас был, ибо в указе вашего величества в том отказать велено и только тогда на то поступлено, когда увидели действительно, что уже разрыв всего от того зависит и потому оный так, по нашему рабскому мнению, изображен, что ваше величество ничем не обязует, ибо пристойные меры не в одном оружии, но и в негоциации разумеются; а более того заключение: „Как о том говорено“, все опровергает соответственно тому, как от нас сказано, что ваше величество никаких обязательств в мирное дело включить не намерены».

На этом основании составлен был подписанный 17 июня «Уверительный акт», на который поступить, писали уполномоченные, «мы по рабскому нашему ревностному усердию к высочайшим вашего величества интересам и отечеству дерзнули наипаче для того, чтоб конгресс по точному указу вашего величества до разрыву не допустить и шведское с Даниею соединение отворотить». «Уверительный акт» едва успели вовремя привезти в Стокгольм, потому что далекарлийские крестьяне в числе осьми тысяч ворвались 22 июня в столицу, с тем чтоб провозгласить наследником принца Датского; картечи заставили крестьян разбежаться, а так как «Уверительный акт» был уже получен 19 числа, то 23-го король, Сенат и все четыре государственных чина единогласно выбрали коронным наследником Голштинского принца Адольфа Фридриха, и одновременно с провозглашением этого избрания объявлен был и мир с Россию. Императрицею мирный договор был подписан 19 августа: «Свейский король уступил ее имп. величеству и наследникам ее и последователям всероссийского императорского престола в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей войне завоеванную из Великого княжества Финляндского провинцию Кюменегор с находящимися в оной городами и крепостями Фридрихсгам и Вильманштрандт и, сверх того, часть кирхшпиля Пюттиса, по ту сторону и к востоку последнего рукава реки Кюмени или Келтиса обстоящую, который рукав между большим и малым Аборфорсом течет, а из Савалакской

провинции город и крепость Нейшлот с дистриктом и со всеми принадлежностями и правами».

Относительно войны, оконченной Абовским миром, до нас дошло любопытное сочинение, неизвестно кем написанное, в форме разговоров между двумя солдатами. Во время стоянки армии у Аландских островов перед заключением мира солдат Симон говорил своему товарищу Якову:

«Для чего мы столько долго в пустом месте стоим, где не можно на пищу ничего достать купить, да и вода самая нужная и нездоровая? А видим, по островам финского скота шатается много без пастухов, и жителей в деревнях нет, а брать его не велят, и от такова недовольствия в полках весьма больших умножилось, да и мрут, а главные наши командиры о довольстве нашем не стараются и в хорошие места не переводят; бог им судит! С великою бы мы охотою против неприятеля с ружьем померли, нежели ныне здесь от недовольствия. Если бы таким образом случилось шведам войти в наши российские места, то бы они по своей гордости и к нам зависти не точию скот наш не пощадили, но и жен и детей наших мучительски обругали и церкви осквернили, как то в прежде бывшую войну от них в Малороссии было. Разве мы скота их хуже? *Яков* : Фельдмаршал человек хотя и добрый, да так уже ему иного по старости лет и в ум не придет, а генералитет говорить о том опасаются, чтоб не досадить еще; подлинно мы знать не можем, каковы дела происходят в Стокгольме и на мирном конгрессе в Абове. *Симон* : В каком состоянии эту нашу со шведами войну надеялись быть, как бы прежние российские правители у нас еще целы были, и чем бы то она окончилась, страшно и спрашивать. *Яков* : Памятуешь ли прошлые годы, когда пошли мы в Польшу для избрания нынешнего короля Августа III на место отца его? Был у нас главным командиром генерал Лессий, который ныне фельдмаршал: хотя иноземец, только человек добрый. А как пришли под Гданск, тогда приехал к нам генерал-фельдмаршал Миних, природный немчин и не нашей веры, стал жестоко с нами, российскими солдатами и с офицерами, поступать и, не рассуждая о государственных наших убытках и о погибели нашего народа, во многие нехитростные тогда партии посылал, а паче под Вилборг, напившись пьян, лучших тогда изо всей армии гренадеров и мушкетеров ночью на приступ командировал, откуда малое число назад в лагерь пришли, да и то почти все переранены; и тут множество добрых солдат погубил, а пользы никакой не получил... С турками войну объявили и поручили главную армию в команду ему же, Миниху, а генерала Лессия пожаловали в фельдмаршалы и Азов брать послали. Вот стали у нас оба фельдмаршалы иноземцы, чего с начатия России и при милостивейшем отце нашем императоре Петре Великом не было. Пошли мы под командою его, Миниха, в Крым, вышли в степь пустую, и стал Миних российских людей перебирать, штаб- и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать и самых старых и заслуженных полковников пред фрунтом армии под ружьем водить, а все за безделицу: увидит, что у офицеров галстук небелый или ненапудренный, а в степи кому на это смотреть... Вот Петра Великого законы начали уничтоживать... Провианту у нас уже ничего не стало; люди стали ослабевать и с голоду помирать; Миних на то ни на что не смотрит. Хотя многих мертвых старых солдат, пред собою лежащих, видит, никогда не сожалел, ибо не его крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворян он ни одного в

свойстве себе не имеет – чего их жалеть? Не вечно думал в России жить, только бы ко двору о своих храбрых поступках реляцию сообщить и от того славу и богатство себе получить. И при дворе в то время кому было рассуждать? Главные правители – немцы, его други и родственники, а российских генералов, сенаторов они тогда за людей не почитали, того и смотрели, как бы кому голову отсечь, а по малой мере в ссылку сослать. О невозможности российских людей Он, Миних, и слышать не хотел и часто говаривал: «А, а батушка! у русских людей невозможности нет...» Дворяне бедные, которые в полках служили, так загнаны были, что уж ничего не желали, только бы сыскать дорогу в отставку, понеже их в чины не производил, а кого и производил, разве за недостатком немцев, и как он, Миних, так и прочие тогдашние генералы-немцы ругали их и обижали, дураками и скотом прозывали и до того довели, что в ином полку ни одного российского офицера не было, и откуда какой немчин приехал, пожалуй, его генералом, полковником, штаб-офицером, а по последней мере в капитаны, также в штатские чины; уже они всех российских дел управители стали, и в Курляндии гезелей и мясников немного осталось – все в офицерах. В Митаве случилось с нарочитым купцом мне говорить, и дошла речь до офицерства, он мне сказал: «У вас-де в армии бывших при мне гезелей и разночинцев больше дюжины в штаб-офицерах ныне служат: разве у вас российских достойных дворян не стало?» *Симон* : Скажи, пожалуй, были ли с ним, Минихом, в тех походах наши российские генералы и для чего ему, Миниху, о таких непорядочных поступках не говорили? *Яков* : Тогда с ним были почти все генералы-немцы, его союзники и единой веры, а именно: два Бирона, Левендаль и прочие, а российских полковых генералов один Румянцев, и хотя он человек добрый, храбрый и умный, свидетельствованный министр и любимый генерал-адъютант государя императора Петра Великого и ныне со шведами в Абове на конгрессе мир учинил; да что ему было делать? Вся пленipotенция Миниху предана: российских полковников расстреливал, а генералов в солдаты писал; Румянцев так от него всегда ожидал смертной напасти. В то время будучи в хотинском походе, призвал Миних к себе с прочими генерала Румянцева на консилиум; Румянцев намерению его прекословил, а предлагал о целостности российского интереса, за то Миних так на него осерчал, что из палатки своей такого честного и верного человека нечестно выслал да неоднократно на него к двору писал и бездельные следствия за ним учинял; только сего доброго человека и Российского отечества сына за его правду и добрые дела от такого злоковарного человека сам бог закрыл и до гибели не допустил... После же оной турецкой войны, как объявили нам о кончине покойной императрицы Анны, а Бирона правителем Российского государства, так у меня, братец, по коже подрало, как медвежьим ногтем: вот теперь бедная Россия попала из лихорадки в горячку; прости, наша православная вера, церковные учителя! И так десять лет почти молчали, а ныне уже и ничего говорить не будут. Прости, российское верное дворянство, Петром Великим наученное солдатство! Десять лет вы забыты и уничтожены были, а ныне конец вам и всем славным делам вашим приходит. Простите, от Петра Великого насажденные фабрики и мануфактуры и все премудрые науки: чужеземцы обладают! Вот скоро велят нам забыть законы и дела Петровы, а учинять новые интриги. Притом же и прочие мои братья, верные Российского отечества дети, сердечно и болезненно о том сожалели по законной наследнице государыне цесаревне Елисавете Петровне, еже

ей-ей, братец, многожды со слезами воспомянули: не родителя ли ее все то, чем ныне иноплеменники владеют?.. Вот после того услышали вскоре, что Миних Бирона арестовал и в ссылку послал со всей его креатурой, в том числе и пруссак Бисмарк; а мы, российские солдаты, сошлись, между собою тихонько пошептали: стал гонить черт дьявола, и обоим не миновать; да рубил татарин татарина, а оба в России не надобны... Всемогуший бог коварные советы языков разоряет, духом своим святым возводит дух Петра Великого, живущий в дочери его; подал ей вырвать из чужих рук скипетр отца ее и избавить от насилия и обиды, учиненной российскому дворянству и всему народу, которых он, Петр Великий, научил и кровавым своим потом и трудами людьми учинил, которых прежние наши немецкие правители порицали, что нет из русских достойного ни одного человека и ни в какой чин не годны; а Петр Великий из своих природных россиян учреждал генералов-фельдмаршалов, генералов-адмиралов, министров, сенаторов и президентов, да интерес его в целости сохраняли и многими народами обладали».

Мир с Швециею был заключен; но по его поводу вооружилась Дания, и на спрос шведского посла, что значат эти вооружения, ему отвечали, что они предпринимаются для собственной безопасности, ибо по письмам из Гамбурга, Киля и Стокгольма от Дании потребуют возвращения Шлезвига, что об этом толкует Бухвальд. Получив донесение об этом из Абова, Бестужев заметил: «Сии скоропостижные голштинские угрозы впутать могут в новую войну, которая без всякой прибыли удаления ради еще тяжелее прежней будет». Шведское правительство требовало, чтоб корабельный русский флот подался поближе к Зунду для воспрепятствования выходу датского флота и обеспечения переезда герцога-администратора в Швецию; требовало также, чтоб шедшая из Архангельска эскадра и бывшая в Зунде возвратилась в Немецкое море и крейсировала против Норвегии для воспрепятствования датскому транспорту, а зимовать она могла бы в шведской гавани Марштранде. На это Бестужев заметил: «Время позднее, разве людей поморить и флот разорить; к тому ж в чужой гавани кроме отваги (опасности) содержать зиму не в одни сто тысяч рублей станет». Румянцев и Любрас писали императрице: «Сколько мы из слов шведов здесь заключить могли, они не прочь, чтоб его имп. высочество (Петр Федорович) Голштинию Дании уступил, ибо они уже толковали, что по законам Римской империи греческой веры государь в Германии владеть не может; из этого видно, что шведы рады были бы этим способом датский двор удовлетворить и успокоить». Шведские уполномоченные в Абовене переставали толковать об опасности и требовать русской помощи; кроме флота стали требовать, чтоб Россия высадила в Швецию и сухопутное войско от семи до осьми тысяч не только против датчан, но и для поддержания внутренней тишины в Швеции; объявляли, что у них есть полки, на которые положиться нельзя, что датский двор полагает надежду, во-первых, на партию между крестьянами, которая непременно соединится с датским войском; во-вторых, на какую-то большую революцию в России, ибо датские министры сказали шведскому послу, стращавшему их силою России: «Правда, Россия сильна, но она привыкла к революциям, и он, посол, не знает, какая в ней скоро перемена может последовать».

Вследствие этих известий лица, которые прежде собирались для обсуждения мирных условий, 22 августа получили указ императрицы: «Понеже получили мы от наших полномочных министров из Абова реляции, что шведы в случае ныне

чинимого от датчан к нападению приготовления просят нашей помощи: того для повелеваем по оной реляции иметь совет, что и как возможно делать к помощи шведам, и чтоб оное с нашею честью и интересом государственным сходно могло быть и чтоб оной совет учинить немедленно и нам донести, ибо время коротко остается. Елисавет». Рассудили согласно подать ее величеству мнение: 1) не соизволено ль будет ныне 30 галер под командою генерала Кейта обратно отправить к Гельсингфорсу и быть им там до наступления больших холодов и тогда перейти к Ревелю и там зимовать. 2) Корабельному флоту под начальством адмирала Головина пробыть сентябрь в море, идти ему до Карлскроны и по возможности далее для соединения со шведским флотом и для прикрытия транспорта избранного наследника шведской короны, а в случае нападения датского флота на шведов защищать последних и никаких датских транспортов к шведским берегам не допускать. Но 3 сентября собрание уже решило: генералу Кейту с полками на галерах идти немедленно от Гельсингфорса к Стокгольму и там зимовать.

Герцог-администратор, получивши от русского двора на проезд 50000 рублей, благополучно достиг Стокгольма, куда с поздравлением к нему отправлен был из Копенгагена действительный камергер Николай Корф. 21 ноября Корф имел аудиенцию у принца, который объявил ему, что он такой милости от императрицы не достоин, что к нему прислан он, Корф, с поздравлением и за свое настоящее положение после бога он должен благодарить одну императрицу; благодарность эту словами он изобразить не может и поручает себя императорской милости и покровительству. 30 ноября два русских полка, Ростовский и Казанский, имели торжественный вход в Стокгольм с музыкою и распущенными знаменами. Старый король выражал большое удовольствие, и все удивлялись бодрому и военно-храброму виду солдат, которые, несмотря на продолжительное и трудное пребывание на галерах, шли бодро и в хорошем порядке. Король говорил: «Я очень доволен, что прежде смерти имею счастье видеть перед собою и под своею командою войска столь могущественной и славной императрицы, и в случае нужды я никому не уступлю чести командовать ими». Получая от Корфа и Кейта грамоту императрицы, король целовал ее.

Бывшая до сих пор в гонении партия противников русской войны торжествовала и хотела упрочить свое торжество совершенным отстранением французского влияния как в Швеции, так и в России. Члены этой партии вместе с саксонским резидентом Вальтером уверяли Корфа, что Шетарди хвастается получением полного успеха в Петербурге милостью императрицы, но в то же время *продерзостно* отзывается, что если Елисавета не захочет принять его внушений и проектов, то он знает средство свергнуть ее, как прежде помогал ее возведению на престол, хотя в последнем случае помогала ей более судьба, чем он, потому что ему, собственно, нужно было произвести в России внутренний раздор и замешательства. Шетарди же отзывался, что он в силу своего кредита при императрице поднял Бестужевых, Бреверна и Воронцова для привлечения их на французскую сторону; но так как они вместо благодарности за то, что он вывел их из грязи, не оказали никакого содействия его видам, то он будет стараться лишить их кредита и привести в немилость, и если можно, то лишит их доброго имени и жизни. Члены старой русской партии просили Корфа, чтоб к ним прислан был министр, который бы мог добрых патриотов защищать и подкреплять, а

приверженцев Франции держать в узде. Добрые патриоты указывали на Михайлу Бестужева как человека, знающего французскую партию и интриги.

Франция выдала Швецию, как прежде выдала Польшу, хотя, с другой стороны, надобно заметить, что во Франции никак не могли думать, что Швеция так позорно повела свои дела в Финляндии. Как бы то ни было, Франция не могла подать ей никакой помощи, потому что сама дурно вела свои дела в войне с Мариєю Терезиею. Относительно севера Франции теперь оставалось одно – хлопотать при русском дворе, чтоб он не соединился с морскими державами для подания помощи королеве венгерской: относительно же Швеции стараться, или по крайней мере показывать вид, что старается, доставить Швеции наименее невыгодный мир под условием требуемого Россиею избрания Голштинского принца в наследники шведского престола. После отъезда Шетарди полномочным министром Франции в Петербурге остался Дальон. бывший в России и при Шетарди, знавший хорошо дела и людей. Но в Петербурге жалели о Шетарди. Императрица скучала, не встречаясь более с человеком, который умел так забавлять своими шутками и рассказами; Лесток и Брюммер, разумеется, не упускали случая усиливать желание видеть снова веселого собеседника.

Еще в конце 1742 г. Кантемир получил от своего двора рескрипт, в котором приказывалось ему домогаться всевозможными способами о возвращении маркиза Шетарди в Россию, и если этого достигнуть нельзя, то молчать о назначении другого министра на место Дальона. Никаких домогательств, по-видимому, употреблять не было нужды: сам Шетарди охотно соглашался на возвращение. Амелот также, и, однако, проходили месяцы, а Шетарди не возвращался; быть может, мешало этому условие, без сомнения придуманное Бестужевым, что императрица не примет Шетарди в официальном значении, если в присланных с ним королевских грамотах ей не будет дан императорский титул. Медленность Шетарди оскорбила императрицу, так что она запретила Кантемиру настаивать на его возвращении в Россию. В январе 1743 года умер кардинал Флэри от старости и с горя, что Франция запуталась в войну, из которой не могла выйти с честью и пользою. Король объявил, что первого министра более не будет. Между тем у Кантемира с Амелотом шли важные объяснения относительно избрания наследника шведского престола; Амелот объявил, что Франция исключает только принца Гессен-Кассельского по преданности его английскому двору; всякий же другой принц будет одинаково приятен Франции; король особенно желает, чтоб его поведение в этом деле было приятно русской государыне, и потому было бы очень нужно дать поскорее сюда знать о ее намерениях. Кантемир доносил своему двору, что для Франции всего был бы приятнее принц Цвейбрюкенский, но если он невозможен, то она охотно признает и герцога епископа Любского. Кантемир старался сблизиться с генерал-контролером Орри по его сильному влиянию на дела. Орри заявил, что он всегда был в пользу дружбы Франции с Россиею, но теперь находит препятствие к этой дружбе в союзных договорах России с Англиею и королевою венгро-богемскою, также в запрещении русским подданным носить платье из богатых материй, что вредит французской торговле и, конечно, внушено англичанами. Кантемир возражал на это, что союзы России с иностранными державами суть союзы оборонительные, безо всякого предосуждения для третьей державы, что он сам, Орри, должен согласиться, как при нынешнем положении

северный союз с Англиею выгоден для России, а союз с королевою венгерскою нужен для всего христианства для сдержания турецкого могущества; что же касается до запрещения употреблять богатые материи на платье, то оно основано на одной пользе русского народа и не есть следствие каких-нибудь чуждых внушений. Орри согласился с справедливостью этих объяснений и полагал, что нужно начать с трактата дружбы между Франциею и Россиею, а затем приступить к союзному или торговому.

Но прежде всего нужно было решить шведское дело. Кантемир наконец объявил Амелоту, что кандидат императрицы есть епископ Любский, в пользу которого, однако, Россия будет употреблять только добрые услуги. «Это я понимаю, – отвечал Амелот, – но вот чего не понимаю: русский двор находится с английским двором в более тесной связи, чем с здешним, и, несмотря на то, здешний двор готов содействовать желанию русской государыни, тогда как английский министр в Стокгольме не жалеет ни денег, ни трудов, чтоб не допустить до избрания епископа Любского: хотелось бы мне знать, каким образом русский двор в этом случае соглашается с английским?»

Кантемир отвечал, что тут нет ничего удивительного: каждому государю естественно желать, чтоб избрание пало на человека, ему приятного, и разногласие в одном деле не ведет еще к нарушению согласия в других, если для достижения своих целей дворы употребляют только добрые услуги. Амелот спросил также, будет ли дело избрания соединено с делом примирения, потому что в таком случае желаемая Россиею особа, смотря по мирным условиям, может надеяться успеха, и если бы условия были выгодны для шведского двора, то он бы, Амелот, стал советовать шведскому министерству не отлагать избрания епископа Любского. Кантемир отвечал, что не знает, намерена ли императрица связать эти два дела, но, сколько может судить, не думает, чтоб она намерена была дорого купить избрание епископа Любского. При этом Кантемир писал своему двору: «Из всех этих часто повторяемых внушений Амелота я заключаю: первое, что из боязни усиления партии принца Гессен-Кассельского стараются тревожить русский двор и заставить его препятствовать английскому проекту: второе, что желали бы здесь каким-нибудь образом восстановить свой кредит в Швеции, соединив дело примирения с делом избрания, в надежде, что таким способом можно будет шведскому двору доставить более выгодные условия, и в последнем отношении я признаю согласным с русскими интересами не подавать Амелоту никакой надежды; хотя я замечаю теперь в здешнем министерстве лучшее расположение к России, однако я остаюсь при прежнем своем мнении, что во всех поступках французского министерства преследуется одна своя польза, определяемая врожденным народу высокомыслием; следовательно, легко будет отложить дело вступления в союз с здешним двором, учтиво избегая по этому делу объяснений с министрами. Здешнее лучшее расположение к России происходит от дурного состояния здешних дел или от желания разлучить Россию с прочими державами. По первому обстоятельству мне кажется, что, каковы бы ни были поступки русского двора, здешний принужден сносить их терпеливо, да и жалобы его можно принимать равно душно».

После заключения Абовского мира Кантемир писал: «Насколько ваше императорское величество больше славы получает и насколько основывается тишина в государстве вашем и безопасность на будущее время, настолько двор

здесь менее доволен такою удачею вашею, ибо, с одной стороны, предусматривается, что кредит французский на севере должен очень убавиться, а с другой – бояться, что ваше величество получаете возможность помочь королеве венгерской, что было бы верхом здешних несчастий. Этому страху я должен приписать усиленное внимание ко мне здешнего министерства. Состояние здешних дел столь плохо, что никакими усилиями не могут привести в безопасность свои границы; государство истощено деньгами и людьми, военные силы недостаточны, министерство слабое и для таких важных действий неспособное, генералы неискусные, народ бедный и недовольный. король пренебрегает делами».

В августе Кантемир обедал у генерал-контролера Орри, который, заведя речь о движении короля датского против Швеции. сказал: «Принимая во внимание слабость короля датского и отсутствие всякой надежды на помощь какой-нибудь иностранной державы, надобно опасаться, что он надеется на какую-нибудь революцию в России. О такой революции приходят слухи со всех сторон, как уже ее величеству отсюда много раз было сообщено, и я считаю нужным еще повторить, чтоб ее величество обратила должное внимание на эти слухи». Кантемир отвечал, что он получил от своего двора доказательство ложности всех этих слухов. Извещая об этом разговоре, Кантемир писал: «Прежние поступки здешнего двора не позволяют мне допустить, чтоб подаваемые отсюда известия о предстоящей революции в России происходили от здешнего доброго расположения к вашему величеству. Известно, каковы были всегда здешние происки против наших интересов при Порте: в Швеции и других местах по смерти кардинала Флери злоба здешняя прекратилась бы, если бы ваше величество совершенно предалось в здешние руки, как тогда, и надежду имели; но теперь нельзя ожидать никаких знаков здешней благосклонности, когда здесь почти уверены, что Россия к будущей весне присоединит свое войско к войску союзников королевы венгерской; следовательно, здешние сообщения о революции делаются или для того, чтоб, заставив ваше величество заботиться о внутренней тишине государства, отнять у вас охоту присоединиться к союзникам королевы венгерской, или отвратить от себя всякое подозрение, в случае если б действительно в России произошла какая-нибудь смута».

Донесения Кантемира служили твердою опорою для Бестужева, который прямо представлял императрице, что на французские отношения надобно смотреть на основании донесений Кантемира: он один может доставлять верные сведения, а никак не петербургские советники императрицы, которые издали не могут иметь ясного понятия о делах. Бестужев намекал на Лестока и Брюммера, к которым, естественно, примыкал и Дальон, пользовавшийся по старой памяти расположением императрицы. В начале июля Дальон доносил своему правительству следующее: «29 июня был бал, на котором ее величество мне рассказывала, что она, гуляя накануне в своем саду, встретила гвардейского солдата, который подошел к ней со слезами на глазах и объявил, что разглашается, будто бы она своих верных подданных хочет оставить и уступить корону племяннику своему. Я, говорила Елисавета, никогда в таком удивлении не была и сказала солдату, что это совершенная ложь и позволяю ему каждого, который станет то же говорить, застрелить, хотя бы то и фельдмаршал был. Она рассказывала это и г. Брюммеру, который ей представил, что подобные

разглашения имеют одну цель – возбудить несогласие между нею и великим князем; из этого видно, как нужно приставить к молодому принцу таких людей, на которых она могла бы совершенно положиться. А я ей сказал, что этот слух носится уже недели с три».

Дальон хвалился своему правительству, что он вместе с Брюммером и Лестоком имел важное влияние на решение шведских дел, невзирая на кредит Бестужевых и интриги английского посланника Вейча. «Мы все проекты о супружестве между епископом Любским и английскою принцессою опровергаем. Господа Брюммер и Лесток мне сказали, что они недавно склонили царицу писать принцу, чтоб он не думал более об этом браке. Оба по моему наущению и собственным выгодам удвояют усилия, чтоб низвергнуть Бестужевых; они с нетерпением ожидают возвращения уполномоченных из Абова, которые должны открыть довольно тайн и неправильных поступков; намерение Брюммера и Лестока состоит в том чтоб по низвержении Бестужевых поручить заведование иностранными делами генералу Румянцеву, господину Нарышкину, который уже сюда едет, и князю Кантемиру, которого возвратят из Франции». Действительно, камергер Семен Нарышкин, посланник в Лондоне, был отозван оттуда; но Кантемира, страдавшего смертельною болезнью, возвратить не успели. Уведомляя свой двор об уменьшении кредита обер-гофмаршала Мих. Петр. Бестужева, Дальон писал: «Кредит гофмаршала, правда, много упал, но он опять поднимется; это такой человек, которого поневоле надобно будет чрез неприятелей его погубить, или же он в этом государстве будет играть важную игру». В половине августа Дальон доносил: «Царица имеет твердое намерение поддерживать в Швеции принца Голштинского, хотя нет таких способов, каких бы вице-канцлер тайно не употреблял, чтоб удержать ее от серьезного вмешательства в дело, но голос его и шайки его уже очень слаб теперь. В случае перемены в министерстве генерал Румянцев будет иметь большое участие в новых распоряжениях, и хотя он сам по себе не склонен к французам, но можно обнадежиться его женою, интриганкою и очень ловкою госпожою. Вейч уже начинает за ней ухаживать».

«Голос Бестужева и его шайки очень слаб теперь». Отчего же произошла эта слабость?

21 июля по Петербургу разнесся слух, что открыт какой-то важный заговор. Лесток прискакал из Петергофа в Петербург: императрица, находившаяся в этот день инкогнито в Петербурге, осталась здесь, не поехала в Петергоф, хотя лошади уже были приготовлены; ночью по улицам разъезжали патрули. Прошло три дня в беспокойном ожидании; наконец 25 числа, в пятом часу пополуночи, генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Трубецкой и капитан гвардии Григорий Протасов арестовали подполковника Ивана Лопухина, сына бывшего генерал-кригс-комиссара Лопухина, близкого человека к Левенвольду и попавшего под опалу вместе с ним; к матери Ивана Лопухина Наталье приставлен караул, и письма их запечатаны. В тот же день спрошены были доносчики – поручик лейб-кирасирского полка Бергер, родом курляндец, и майор Фалькенберг – и объявили следующее: поручик Бергер сказал, что 17 числа был он в вольном доме, где был также и подполковник Иван Степанов Лопухин; из вольного дома пошли они в дом к Лопухину, где хозяин наедине жаловался ему на свою обиду: «Был я при дворе принцессы Анны камер-юнкером в ранге полковничьем, а теперь определен в подполковники, и то не знаю куда; каналы Лялин и Сиверс в

чины произведены; один из матросов, а другой из кофешенков за скверное дело. Государыня ездит в Царское Село и напивается, любит английское пиво и для того берет с собою непотребных людей... ей наследницею и быть было нельзя, потому что она незаконнорожденная. Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его, очень к императору склонен, а нынешней государыне с тремястами канальями ее лейб-компания что сделать? Прежний караул был и крепче, да и сделали, а теперь перемене легко сделаться; если б и тогда Петру Семеновичу Солтыкову можно было выйти, то он бы и сам ударил в барабан; за то его тогда и от двора отрешили. Будет чрез несколько месяцев перемена; отец мой писал к матери моей, чтоб я никакой милости у государыни не искал, поэтому и мать моя ко двору не ездит, да и я, после того как был в последнем маскараде, ко двору не хожу». Идучи с Бергером 21 числа мимо дома фельдмаршала князя Трубецкого, Лопухин бранил последнего, также принца Гессен-Гомбургского, и говорил: «Нынешняя государыня больше любит простой народ, потому что сама просто живет, а большие все ее не любят».

По доносу Фалкенберга Лопухин говорил: «Нынешние управители государственные все негодные, не так как прежние были Остерман и Левольд, только Лесток – проворная каналья. Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся». На вопрос Фалкенберга, скоро ли это будет, отвечал: «Скоро будет». Фалкенберг при этом сказал ему, что когда дело благополучно кончится, то он бы его вспомнил, и Лопухин обещал вспомнить. Фалкенберг спросил: «Нет ли кого побольше, к кому бы заранее забежать?» На это сначала Лопухин ничего не отвечал, только пожал плечами; но потом сказал, что австрийский посланник маркиз Ботта императору Иоанну верный слуга и доброжелатель.

В тот же день Лопухин был допрошен в присутствии Ушакова, Трубецкого и Лестока и повинился: «Говорил в поношение ее величества, что изволит ездить в Царское Село для того, что любит английское пиво кушать; я же говорил, что ее величество до вступления родителей ее в брак за три года родилась; и те слова употреблял, что под бабьим правлением находимся, а больше того никаких поносительных слов не говорил, а учинил ту продерзость, думая быть перемене, чему и радовался, что будет нам благополучие, как и прежде». Относительно Ботты Лопухин заперся и сказал: «Фалкенберг говорил: „Должно быть, маркиз Ботта не хотел денег терять, а то бы он принцессу Анну и принца выручил“. – И я против того молвил, что может статья». После очной ставки с доносителями Лопухин во всем повинился. От него потребовали, чтоб открыл все о злых умыслах; он попросил времени обдумать и на другой день, 26 июля, сказал: «В Москве приезжал к матери моей маркиз Ботта, и после его отъезда мать пересказывала мне слова Ботты, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне. Ботта говорил, что и прусский король будет ей помогать, и он, Ботта, станет о том стараться. Те же слова пересказывала моя мать графине Анне Гавриловне Бестужевой, когда та была у нее с дочерью Настасьей. Я слышал от отца и матери, как они против прежнего обижены: без вины деревня отнята, отец без награждения отставлен, сын из полковников в подполковники определен».

Привели к допросу мать Наталью Федоровну Лопухину; она объявила: «Маркиз Ботта ко мне в дом ездил и говаривал, что отъезжает в Берлин; я его спросила: зачем? Конечно, ты что-нибудь задумал? Он отвечал: так хотя бы я что и

задумал, но об этом с вами говорить не стану. Слова, что до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне, я от него слышала и на то ему говорила, чтоб они не заварили каши и в России беспокойств не делали и старался бы он об одном, чтоб принцессу с сыном освободили и отпустили к деверю ее, а говорила это, жалея о принцессе за ее большую ко мне милость. Ботта говорил также, что будет стараться возвести на русский престол принцессу Анну, только я на это ему, кроме объявленного, ничего не сказала. Муж мой об этом ничего не знал. С графинею Анною Бестужевою мы разговор имели о словах Ботты, и она говорила, что у нее Ботта то же говорил». Лопухину допрашивали в ее доме.

Допросили графиню Анну Гавриловну Бестужеву, жену Михайлы Петровича (вдову Ягужинскую, урожденную графиню Головкину). Та сказала только: «Говаривала я не тайно: дай бог, когда бы их (Брауншвейгскую фамилию) в отечество отпустили!» Но дочь ее, Настасья Ягужинская, подтвердила показание Лопухиной. После этих допросов Ивана Лопухина, его мать и Бестужеву посадили в крепость, а дочь Бестужевой оставили в доме под караулом. В крепости Наталья Лопухина призналась: «Такие разговоры Ботта и при муже моем держал, и как мы его подлиннее допрашивали, то он отозвался: вот захотели, чтоб я вам, русским, и о том рассказал! Причем меня и выбранил».

Иван Лопухин был приведен в застенок, где прибавил, что Бестужева говорила его матери: «Ох, Натальюшка! Ботта-то и страшен, а иногда и увеселит». 27 июля поручик Машков объявил, что Лопухин говорил ему: «Сказывал матери моей Александр Зыбин, что принцессу скоро отпустят в отечество брауншвейгское, а с нею и прежний ее штат, в том числе и молодого Миниха; я для того и от службы отбываю, что, как это сделается, и я при ней по-прежнему буду камер-юнкером. Не бойся, Машков! Может быть, принцесса по-прежнему будет здесь, и тогда счастье получим. А ежели принцесса освобождена не будет, то надеюсь, что война будет; а когда меня пошлют, то я драться не буду, а уйду в прусское войско: разве мне самому против себя драться? Думаю, что и многие драться не станут». На другой день призван был к допросу Зыбин и сказал: «О принцессе и принце от Натальи Лопухиной я слышал: она их жалела и желала, чтоб им быть по-прежнему; от таких слов я ее унимал, говоря, что я могу от них пропасть, на что она сказала: разве тебе будет первый кнут?»

В тот же день была очная ставка Бестужевой с Лопухиными, и Бестужева призналась во всем, что показали Лопухины. 29 июля были допрошены конной гвардии вице-ротмистр Лилиенфельд, того же полка адъютант Степан Колычов и жена камергера Лилиенфельда Софья Васильевна. Двое первых не показали ничего нового; Софья Лилиенфельд объявила: «С маркизом Боттою я встречалась в домах Бестужевой и Лопухиной и слышала, как он с сожалением говорил, что принцесса неосторожно жила, отчего и правление потеряла, всегда слушалась фрейлины Юлии, на что мы ему отвечали, что то совершенная правда, сама она принцесса пропала и нас погубила, в подозрение нынешней государыне привела. Говаривали при мне графиня Бестужева с Лопухиной, что ее величество непорядочно и просто живет, всюду беспрестанно ездит и бегаёт. Говаривали про принцессу: лучше б нам было, когда б она была; может быть, это и сделается, а когда не сделается, то хотя б ее отпустили». Софья Лилиенфельд оговорила камергера князя Сергея Васильевича Гагарина, но тот во всем заперся, равно как и камергер Лилиенфельд. Иван Лопухин поднят был на дыбу и получил

одиннадцать ударов, но не прибавил ничего больше к своему показанию. 11 августа его снова пытали, дали 9 ударов, и опять никаких новых признаний.

Отец его Степан Лопухин в допросе сказал: «Маркиз Ботта у меня часто бывал и говаривал о принцессе, что лучше б и покойнее было, если б она оставалась правительницею, а теперь такие беспорядки происходят, министров прежних всех разослали, после императрица будет о них и тужить, да взять будет негде; на это и я говорил, что правда, но говорил, что и тогда было не совсем хорошо, завладели было немцы, потому что принцесса никуда не выхаживала. Что ее величеством я недоволен и обижен, об этом с женою своею я говаривал и неудовольствие причитал такое, что безвинно был арестован и без награждения рангом отставлен; а чтоб принцессе быть по-прежнему, желал я для того, что при ней мне будет лучше, а что присягу свою презрел, в том приношу мою пред ее величеством вину. Говорил я про сенаторов, что ныне путных мало, а прочие все дураки, что дела не делают и тем приводят ее величество народу в озлобление. Когда император Петр II скончался, тогда меня призвали фельдмаршал князь Голицын, князь Дмитрий Голицын да фельдмаршал князь Долгорукий и спрашивали, не подписывал ли его величество какой духовной? И я сказал: не видал. И притом они имели рассуждение, кого выбрать на престол, и сперва говорили о царице Евдокии Феодоровне, что она уже стара, потом о царевнах Екатерине и Прасковье, что их нельзя, сказав некоторые слова непристойные; потом о ее величестве молвил из них, помнится, фельдмаршал князь Долгорукий, что она родилась до брака, и за тем, и за другим, сказав еще некоторые непристойные слова, выбрать нельзя, и потом положили намерение к выбору императрицы Анны». 17 августа Степан Лопухин был поднят на дыбу, висел десять минут и ничего нового не сказал. Потом подняты были на дыбу жена его Наталья и графиня Бестужева и также не прибавили ничего к прежним показаниям.

Следователи спрашивали императрицу, что Софья Лилиенфельд больна (беременна) и потому нужно ли делать ей очную ставку с оговоренными ею? Елисавета собственноручно написала: «Сие дело мне пришло в память, когда она Лилиенфельдова жена показала на Гагарина и жену его, то надлежит их в крепость всех взять и очную ставку производить, несмотря на ее болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше чтоб и век их не слышать, нежели еще от них плодов ждать».

Кроме упомянутых лиц привлечены были к делу князь Иван Путятин, подпоручик Нил Акинфов, дворянин Николай Ржевский. Учрежденное в Сенате генеральное собрание (в котором были и духовные лица: троцкий архимандрит Кирилл, суздальский епископ Симон, псковский епископ Стефан) 19 августа положило сентенцию: Лопухиных всех троих и Анну Бестужеву казнить смертью, колесовать, вырезав язык. Ивана Мошкова, Александра Зыбина, князя Ивана Путятина, Софью Лилиенфельд казнить смертью – Мошкова и Путятин четвертовать, Зыбину и Лилиенфельд отсечь голову за то, что, слыша опасные разговоры, не доносили. Камергера Лилиенфельда за нерадение о том, что слышал от жены, лиша всех чинов, сослать в деревню; вице-ротмистра Лилиенфельда, подпоручика Акинфова и адъютанта Колычова определить в армейские полки; дворянина Ржевского высечь плетью и написать в матросы. Императрица изменила эту сентенцию таким образом: троих Лопухиных и Анну Бестужеву

высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку; Мошкова и Путятинна высечь кнутом, Зыбина – плетьюми и послать в ссылку, Софью Лилиенфельд, пока не разрешится от бремени, не наказывать, а только объявить, что велено ее высечь плетьюми и послать в ссылку. Имение всех означенных конфисковать. Прочим учинить по сентенции, только Ржевского написать в матросы без наказания. Эзекуция учинена была на публичном месте, перед коллежскими апартаментами. В Сибири сосланных держали под караулом; на содержание давали каждому в день по рублю; но Ивану Лопухину, Мошкову и Путятину давали по 50 копеек; для прислуги при Степане Лопухине с женою было отправлено четыре человека, двое мужчин и две женщины, из них один повар; при Анне Бестужевой и Софье Лилиенфельд – по четыре человека при каждой, при Зыбине – два человека, при Иване Лопухине, Мошкове и Путятине – по одному; прислуга получала по десяти копеек на день.

Люди, дурно отзывавшиеся о поведении императрицы, жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежду на это восстановление, были наказаны. Но кто возбуждал в них эту надежду, *увеселял* их? Маркиз Ботта – посланник венгерской королевы.

В сентябре Ланчинский изложил канцлеру Улефельду причины неудовольствия своего двора на маркиза Ботту. Улефельд, выслушав все молчаливо и с печальным лицом, сказал: «Никак я этого не ожидал: как государственный канцлер, имея в руках все реляции маркиза Ботты, могу засвидетельствовать, что он ревностно исполнял и исполняет инструкции королевы относительно дружественных и союзнических чувств ее к вашей государыне; в его реляциях не видно ни малейшего неудовольствия или злого намерения, о происшествиях же рассказывает просто, как что было». Ланчинский отвечал, что жалоба не на реляции, а на богомерзкие, неоднократные в конфидентных обхождениях имевшиеся разговоры, на предрезостные слова, ругательные выражения и злостные намерения, которые должны быть исследованы в Берлине. Улефельд возражал, что надобно и другую сторону выслушать, знатного ранга персон. Несколько времени спустя Улефельд объяснил Ланчинскому, что королева очень огорчена неудовольствием императрицы, которой дружбу особенно ценит и старается поддерживать союзнические обязательства; но маркиза Ботту до выслушания от него ответа ни обвинить, ни оправдать не может, в чем полагается на правосудие императрицы. Ланчинский отвечал, что, по имеющимся достовернейшим доказательствам, Ботта оправдаться не может.

В октябре Ланчинский имел разговор с самою королевой. Жалобным голосом начала речь Мария Терезия: «Неприятели мои для повреждения нашей с российскою императрицею дружбы нанесли на маркиза Ботту затайные, но тяжкие вины; а он человек разумный; как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела?» Ланчинский отвечал, что его государыня никак бы не поверила известиям о таких поступках Ботты, если б не были ей представлены ясные доказательства. Королева возразила: «Что касается доказательств, то преступники из страха могли наказать на Ботту, а другое нанесено от моих неприятелей, и как мне им пожертвовать, не выслушавши его оправданий? И в Константинополе, и в Швеции усердно старалась я в пользу вашей императрицы: однако неприятели своими ковами и внушениями явно берут

верх». Граф Улефельд говорил Ланчинскому, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем победе своего войска, и хвалятся, что теперь могут разрушить дружбу и союз между Россией и Австрией.

Когда Ботта приехал из Берлина, то из Вены в Петербург пошло требование подробных доказательств его вины, а между тем ко всем министрам королевы при иностранных дворах разослан был циркуляр, в котором оправдывали Ботту и нарекали на русский двор, который вопреки справедливости выставил его виновным в манифесте о преступлении Лопухиной. Циркуляр возбудил сильное раздражение в Петербурге, что видно из рескрипта императрицы к Ланчинскому:

«Мы никак не могли думать, чтоб старание оправдать Ботту зашло в Вене так далеко, что отложили в сторону всякое уважение к нам и над нашею собственною особою захотели выместить за мнимую несправедливость, оказанную Ботте. Партия, кажется, неравная – мы и маркиз Ботта; однако Ботту во что бы то ни стало хотят оправдать, тогда как невинность его и несправедливость нашей жалобы основывается на одном – на установленной при венском дворе беспорочной репутации маркиза; повреждение этой репутации считается нарушением всех естественных народных прав, тогда как оскорбление нашей высочайшей особы поставляется очень легким делом. Невинность Ботты в Вене доказывается: 1) приобретенною репутациею; 2) данными ему от королевы указами; 3) свидетельством берлинского двора и обстоятельствами тамошнего министерства Ботты; 4) отсутствием письменных улик; против маркиза имеются только допросные речи некоторых преступников, которые будто по принуждению, по интригам и пристрастью или в надежде избежать тяжкого наказания весьма легко могли быть приведены к ложному оговору. Что касается первого пункта, то мы не хотим оспаривать прежних услуг маркиза Ботты; утверждаем только одно, что у нас он мало старался о поддержании своей великой репутации, ибо он не только при прежнем здесь правлении довольно известным и явным образом во многие интриги против нас вмешивался, но продолжал такой же способ действия и после нашего законного вступления на престол. Мы никогда не сомневались, что данные ему от королевы указы и инструкции предписывали ему совершенно другой способ действия; но это его несколько не оправдывает, напротив, подвергает наказанию; что касается его поведения при прусском дворе, то, по объявлению последнего, хотя маркиз Ботта и не сделал самому королю никаких обвиняющих его предложений, однако в разговорах с другими очень часто отзывался о необходимой вскоре революции в России. Наконец, относительно недостаточности доказательств вины, взятых из допросных речей, которые могли быть вынужденны, мы приказали объявить венскому двору, что мы сами при допросах присутствовали и сами можем засвидетельствовать, что они происходили в должном порядке и ни малейшего принуждения или каких-нибудь других неправильностей не было; думаем, что такое свидетельство и положительное обнадеживание может идти за достаточное доказательство. Остается недостаток письменного изобличения; но во многих случаях виновные изобличаются и без письменных свидетельств; а с другой стороны, и письменные свидетельства не всегда бывают свободны от возражений и споров; следовательно, в письменных уликах необходимости нет, особенно в настоящем случае, когда содержание советов у Ботты и его сообщников было так опасно, что нельзя ожидать собственноручных писем от Ботты, а если бы они были, то сообщники

его не могли их сохранять; также нельзя предполагать, чтоб Ботта вел переписку с своими сообщниками, когда он мог иметь с ними довольно частые свидания, да и все дело состояло только в безбожных и достойных наказания расположениях, желаниях, разговорах и советах, ибо все такие интриги были и всегда будут бессильными произвести в нашей империи прямую против нас революцию; мы считаем Ботту достойным наказания за предерзостные и возмутительные разговоры и советы против нашей особы и величества, причем он был не только участником, но и главнейшим руководителем. Нам было бы приятно, если б венский двор, прекратя всякие проволочки и сомнительные обнадеживания, дал краткий и точный ответ о своих намерениях, какого удовлетворения мы должны от него ожидать».

Но в Вене не хотели спешить таким решительным ответом и говорили Ланчинскому, что королева связана уложениями, из которых выступить не может; по делу Ботты наряжена судная комиссия, и если бы можно было предвидеть заранее, что маркиз будет обвинен, то королеве было бы очень приятно наказанием его освободиться от такого неприятного дела и удовлетворением русской императрицы получить продолжение ее дружбы: для королевы особа одного из подданных ничего не значит! Но что если бы комиссия оправдала Ботту? В здешнем уголовном праве определено, во сколько могут обвинить человека показания разыскиваемых лиц, а Ботту надобно судить по здешним, немецким правам. Он присягает, что имел дозволенные сношения только с двумя женщинами, со стариком Лопухиным более пяти или шести раз в доме его не говорил, а с молодым никогда, в доме Лилиенфельда более одного раза в год не был, а других людей, замешанных в дело, не знает. Собственное свидетельство императрицы принимается с должным уважением; но возлагается надежда на мудрое рассуждение ее величества, что преступники и в присутствии своих государей осмеливаются говорить неправду для облегчения себе наказания и что те, которых маркиз Ботта вовсе не знал, разумеется, могли сказать только неправду.

В Вене говорили, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем выигранному сражению. Кантемир писал императрице: «Министерство здешнее вложило себе в мысль, что после открытия вредных и богомерзких умыслов маркиза Ботты здешний двор должен всеми способами искать, чтоб тем обстоятельством (от которого по меньшей мере холодноности меж вашим имп. величеством и королевою венгерскою ожидают) пользоваться, и при таких обстоятельствах присутствие Шетардиево при дворе вашего имп. величества признавают весьма нужным». Шетарди отправился тайком в Россию, и Кантемир писал: «Тому его потаенному отсюда отъезду весь город со мною дивится, и всем такой его поступок кажется чрезвычайным».

Легко понять, что противоположное впечатление дело Ботты должно было произвести в Лондоне. Здесь в начале года торжествовали заключение союзного договора с Россиею. Лорд Картерет говорил Нарышкину, что надобно стараться поднять в Швеции прежнее министерство. «Через это, – говорил он, – наша партия усилится естественными друзьями для наилучшего успеха наших желаний. Король прусский очень беспокоится, слыша о нашей дружбе с вами». Английский министр в Петербурге Вейч объявил министрам императрицы, что его король готов действовать в Швеции заодно с Россиею, но должно соблюдать большую

осторожность в таком деликатном деле, как предложение наследника вольным шведским чинам, чтоб не придать этим силы французской партии; надобно поступать не торопясь и прежде всего составить себе сильную партию. О браке между епископом Любским и английскою принцессою не сказал ни слова. В Англии хотели прежде всего знать, будет ли жених иметь состояние; Картерет говорил Нарышкину, что когда епископа Любского выберут в наследники шведского престола, то великий князь Петр Федорович должен ему уступить хотя часть голштинских земель, потому что как шведский наследник епископ больше пяти или шести тысяч ефимков годового содержания не получит. Нарышкин отвечал, что об этом уведомит голштинский посланник, который скоро приедет в Лондон, так как прежде назначенный в Англию Бухвальд отправился в Стокгольм. Относительно издержек в Швеции, необходимых для составления сильной партии в пользу епископа Любского, Нарышкин объявил, что Россия денег не пожалеет. Но дело шло не об одних деньгах: в Англии не понравились мирные условия, предложенные сначала русскими уполномоченными в Абоуе; здесь желали, чтоб Россия легкими условиями достигла мира и избрания своего кандидата в наследники шведского престола и, таким образом освободившись от войны, могла вмешаться в европейские дела согласно видам Англии.

Картерет говорил Нарышкину: «Уступками вы можете достигнуть желаемого; но если вы доведете шведов до крайности своими запросами, то принудите их отдаться Дании». Нарышкин отвечал, что нельзя ожидать соединения двух народов, так страшно ненавидящих друг друга, как шведы и датчане; России же необходим Ботнический залив. Картерет продолжал: «От всего сердца желаем, чтоб ваши дела на Севере окончились поскорее; со стороны Персии и Турции вы безопасны, в Европе Россия могла бы играть важную роль, помогая королеве венгерской вместе с нами; а Франция всеми силами будет стараться, чтоб ваши дела не оканчивались». Наконец, Картерет просил Нарышкина донести императрице, что гофмаршал великого князя Брюммер переписывается с Нолькеном и эта переписка приводит в негодование друзей России и Англии; кроме того, Бухвальд обнаруживает холодность к английскому посланнику в Стокгольме, ласкает французскую партию, дает ей деньги; та деньги берет, но действует не в его пользу. При следующих свиданиях с Нарышкиным Картерет продолжал твердить: «Лучше б вам не делать больших запросов, а заключить мир прочный; можно иметь хорошую границу и без всей Финляндии». Когда Нарышкин указывал на датские вооружения, имевшие целью поддерживать избрание кронпринца Датского в наследники шведского престола, и требовал для удержания Дании посылки английской эскадры в Балтийское море, то Картерет отвечал: «Если б Франция послала свою эскадру в Балтийское море, то мы тотчас бы велели своей за нею следовать; а Дания не страшна, ее намерения химерические; захочет ли она возобновить калмарский союз без Финляндии? Ей дорого станет кормить Швецию без этого герцогства; это было бы все равно как взять жену без приданого; притом Дании объявлено от нас, что если она нападет на Россию, то мы по союзу с последнею пошлем нашу эскадру. Мир с Швециею и избрание епископа Любского зависят от императрицы: если будет отдана вся Финляндия, то сейчас же будет избран епископ, а если по реку Кюмень, то мир будет заключен, но в наследники шведы выберут, кого хотят». Когда Нарышкин настаивал, чтоб английскому посланнику в Копенгагене посланы были указы

увещевать датское правительство оставаться в покое, то Картерет отвечал с неудовольствием: «Ведь мы знаем, что надобно делать в таких случаях: наши интересы предписывают нам быть всегда с Россией, только нам неприлично страшить Данию».

Когда Нарышкин объявил королю Георгу о заключении мира со шведами, то король с благосклоннейшим лицом отвечал: «Надеюсь, что я ничего не испортил в этом важном деле, когда присоветовал ее величеству уступить большую часть завоеванной Финляндии для истинного блага России, ибо ее величество имеет и без того довольно земли; а если бы опоздали заключить мир, то в короткое время был бы избран принц Датский». Лорд Картерет говорил: «Хотя французы вам на нас и наносят, будто мы хотели войну затягивать, но вашим министрам довольно известно, что если мы решались вашему двору в чем поперечить, то одними советами прекратить как можно скорее войну пристойными уступками. Прежде вашего проекта о наследстве шведском для голштинского принца мы прочили это наследство принцу Кассельскому; но когда узнали ваше намерение, то я не так прост был, чтоб трудиться над невозможным делом. Для вас нет ничего выгоднее, как усиливать свою торговлю дружбою с нами, потому что у вас много всякой-всячины, кроме денег; с другой стороны, для своей безопасности от турок вы должны скреплять союз с королевою венгерскою». Мы видели, что дело шло о браке епископа Любского, теперь наследного принца Шведского, на английской принцессе Луизе; но в то время как шли выборы епископа Любского и мирные переговоры в Або, Луизу просватали за наследного принца Датского, что не могло быть приятно русскому двору, особенно вследствие датских движений, грозивших Швеции и Голштинии.

У Нарышкина по этому случаю было объяснение с Картеретом, который с обычной своей бесцеремонностью говорил: «Шлюсь на всех: что может быть лучше, как выдать принцессу Луизу за принца Датского? Он самодержавный, а у епископа Любского нет никакой земли; Россияне захочет сделать его самодержавным или полновластнее, чем нынешний король; у него самого немного денег, а Швеция большого содержания ему не даст. Если б он и другую нашу принцессу взять захотел, то надобно знать наперед, какое содержание ему будет даваться». На замечание Нарышкина, что содержание будет достаточное, Картерет возразил: «Разве вы половину будете давать, а шведы не очень богаты. Мы в датском браке ничего не ищем, кроме приличного мужа для нашей принцессы; это дело чисто семейное, мы от этого не будем ни больше любить, ни больше ненавидеть датский двор; вот он теперь просит 80000 фунтов стерлингов, а мы не намерены дать больше 40000, т.е. более нашего обыкновенного приданого... Дивлюсь я, чего вы боитесь: что вам Дания может сделать! Изволила б императрица заключить договор с королевою венгерскою да вступила с нами в союз для ее обороны: этим закрепится согласие с нами в истинную славу ее императорского величества... Я уверен, что Дания ничего не сделает против России; только претензии великого князя (Петра Федоровича) на Шлезвиг ее беспокоят, оттого и все эти шумные приготовления – все для сохранения Шлезвига: хотят побудить Швецию, чтоб она просила великого князя отказаться от своих претензий. Может быть, и Франция ее подучает».

В то время как английский министр твердил, что Россия должна помочь королеве венгерской, в Англии узнают, что на эту помощь рассчитывать нельзя

вследствие Лопухинского дела; мало того что это дело дает врагам Бестужевых удобный случай низложить их, что Шетарди спешит в Россию, чтоб ускорить низвержение Бестужевых, порвать английский союз и отдать Россию в руки Франции. Вейч писал Картерету по поводу лопухинского дела: «Я вижу, что неприятели обер-гофмаршала Бестужева усиленно стараются вплести его в несчастье жены. Если они в своих происках успеют, то мне очень горько будет видеть, что императрица лишится советов чрезвычайно искусного и честного министра, Он и брат его, вице-канцлер, присоветовали императрице в начале ее царствования не принимать французской медиации в шведских делах. Обер-гофмаршалу объявлено, чтоб он остался на своем загородном дворе до окончания дела жены, а вице-канцлеру императрица продолжает по-прежнему оказывать милость, ибо весь двор хорошо знает, что он сильно противился браку обер-гофмаршала на графине Ягужинской и что этот брак произвел холодность между обоими братьями».

О стараниях погубить Бестужевых видно из письма Дальона к Амелоту от 20 августа: «Я ни на одну минуту не выпускаю из виду погубления Бестужевых. Господа Брюммер, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Первый мне вчера сказал, что готов прозакладывать голову в успехе этого дела. Князь Трубецкой надеется найти что-нибудь, на чем бы мог поймать Бестужевых; он клянется, что если ему это удастся, то уже он доведет дело до того, что они понесут на эшафот свои головы». Не в одном Петербурге, и в Стокгольме усердно трудились над погублением Бестужевых. Картерет писал Вейчу: «Французы теперь в Стокгольме стараются достать фальшивые экстракты из допросов Гилленштерна на последнем сейме и прибавить к ним такие вещи, которые должны повредить господину Бестужеву. Так как они хотят эти фальшивые документы переслать императрице, то вы уведомьте об этом тамошнее министерство и употребите все средства для открытия такого наглого и ужасного обмана. Отправленные в Петербург шведские депутаты получили инструкцию: сначала разными лестными предложениями склонять Бестужевых к французской стороне; если же увидят, что успеть в этом нельзя, то употреблять всякие интриги и раздать до 100000 рублей, которые Франция заплатить хочет, чтоб подкопать кредит Бестужевых».

Но Бестужевых сломить было трудно. Из лопухинского дела враги их не могли извлечь ничего, что бы могло набросить хоть тень сомнения не только на вице-канцлера, но и на обер-гофмаршала. Императрица была убеждена в невинности и верной службе обоих братьев; Разумовский и Воронцов были за них; за них был и самый видный из архиереев, новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, успевший приобрести значительный вес при дворе набожной Елисаветы. Когда увидали, что из лопухинского дела Бестужевы выходят чисты, то Лесток начал внушать императрице, что если жена обер-гофмаршала будет наказана, то мужа ее и его брата необходимо будет переместить на такие должности, где бы они не имели возможности отомстить. Елисавета возразила, что она знает верность и привязанность к себе обоих братьев, да и другие люди убеждены в том же относительно их. Последние слова взорвали Лестока, и он решился сказать, что он знает только одного человека, который защищает Бестужевых, — это именно Воронцов; но Воронцов по молодости своей не в состоянии судить об этом деле, и потому на его

свидетельства нельзя полагаться. Елисавета передала об этой выходке Воронцову, а тот – Бестужеву. Лесток не унялся и несколько раз подступал к императрице с своими внушениями против Бестужевых, но всякий раз Елисавета выпроваживала его.

Защищаемый от Лестока Разумовским и Воронцовым, вице-канцлер нашел средство собственной защиты и нападения на врагов во вскрытии и переводе с цифирного языка депеш иностранных министров и получаемых ими от своих дворов рескриптов – средство, разумеется, не придуманное самим Бестужевым, но заимствованное от западных соседей. Почт-директор Аш и академик Тауберт трудились над дешифровкой депеш; вице-канцлер извлекал нужные ему места, снабжал их своими примечаниями и подносил императрице. Разумеется, главное внимание его было обращено кроме депеш Дальона на депеши Мардефельда, потому что он сильно подозревал Пруссию во враждебных замыслах против России, и на депеши Нейгауза посла императора Карла VII, императора милостью Франции и Пруссии и потому тесно связанного с этими обеими державами. Вскрыта и прочтена была депеша Нейгауза, в которой он писал императору по поводу лопухинского дела, что обер-гофмаршал Бестужев может быть удален от двора, тогда как он по уму своему управляет всеми поступками брата вице-канцлера. На это последний заметил: «Вице-канцлер, не видав брата своего 22 года, от 1720 по 1742, собственным своим умом министерство свое управлял». Нейгауз доносил своему двору, что вице-канцлер совершенно предан Австрии и Англии. Бестужев замечает: «Сие злоумышленное внушение Нейгаузу учинено весьма уповательно от подобно такого, который не устрашится дерзнуть и у самой ее и. в-ства против своего знания и совести оклеветать, якобы он, вице-канцлер, от королевы венгерской подкуплен. Всеведущему единому все откровенно, какие и более оклеветания учинены и еще продолжаются. Оный да буди вскоре судиею и воздателем всякому по делам его».

В октябре Нейгауз давал знать своему двору, что Мардефельд получил от своего короля повторительные указы объявить русским министрам, как было бы прискорбно Фридриху II, если б Россия продолжала отвергать все способы для установления доброго согласия между нею и императором Карлом. На это Бестужев заметил: «Прусский двор всеми удобь вымышленными способами старается, чтоб российско-императорский с римско-императорским двором соединить, дабы чрез оное российско-императорский двор у древних союзников в подозрение, а наконец и в несогласие привести и оным в тайных своих предвосприятях пользоваться». В каких тайных предвосприятях Бестужев подозревал Пруссию, видно из письма его к барону Черкасову от 30 апреля 1743 года: «От стороны турецкой можно быть спокойным, а ежели Франция намерена какую в России впредь диверсию учинить, не было бы то учинено королем прусским, на которого подлинно надлежит смотреть недреманным оком... Он может подкупить курляндское шляхетство, чтоб выбрали герцогом брата его; а если прусский король в шведскую войну не вмешается, то Дания вместе и с Франциею не опасны».

Из депеш Нейгауза открылось, что его поддерживали Брюммер и Лесток, из которых последний пересказывал ему отзывы императрицы о его действиях. Бестужев заметил по этому поводу: «Вместо того что было надлежало о всем том, что Нейгаузен Лестоку и Брюммеру открыл, верно ее и. в-ству донести, а они

напротив того, против своей совести, что от ее и. в-ства ни слышали, ему, Нейгаузену, и другим иностранным министрам сообщали».

Но Бестужеву очень трудно было бороться с Фридрихом II, который умел пользоваться случаем для приобретения расположения императрицы. Как только в Берлине получено было известие о вскрытии лопухинского дела, Фридрих писал своему министру Подевильсу: «Надобно воспользоваться благоприятным случаем; я не пощажу денег, чтоб теперь привлечь Россию на свою сторону, иметь ее в своем распоряжении; теперь настоящее для этого время, или мы не успеем в этом никогда. Вот почему нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать, ибо когда мы хорошо уцепимся в Петербурге, то будем в состоянии громко говорить в Европе».

От Фридриха пошли в Петербург добрые советы, из которых императрица могла видеть все искреннее участие прусского короля к ее особе: Фридрих советовал заслать подальше Ивана Антоновича со всем его семейством, удивлялся медленности и нерадению, с каким поступают в таком важном деле; советовал, что если Елисавета хочет иметь наследника престола великого князя Петра в своих руках, то б не женила его на принцессе из могущественного дома, а, напротив, из маленького немецкого дома, который обязан будет императрице своим счастьем. Так как Ботта после Бреславского мира переведен был своим двором из Петербурга в Берлин, то Фридрих по поводу лопухинского дела потребовал от Марии Терезии, чтоб она отозвала Ботту и от прусского двора. Этот поступок был представлен Мардефельдом в Петербурге как доказательство самого сильного сочувствия его короля к Елисавете, и та была очень довольна. Если верить донесениям Мардефельда, она торжественно за столом сказала, что прусский король – наисовершеннейший монарх в свете. Мардефельд догадывался, что его депеши прочитываются, и страшно сердился, забывая, что Бестужев в этом отношении брал себе за образец «наисовершеннейшего монарха в свете». Он писал к своему двору: «Все выходящие из здешней империи письма продолжают вскрывать. Надеюсь, что те, которые в моих письмах нюхают, со временем сами носом в грязь попадут. Я бы этому только смеялся, если бы плуты не причитали мне то, что читают в письмах членов своей шайки. Я не драчлив и не задорлив, но со временем, удостоверившись, кто этим промышляет, проколю каналью шпагою».

Наконец враги Бестужевых были обрадованы приездом могущественного союзника – Шетарди. Мардефельд писал своему двору 29 ноября: «Шетарди непременно преодолет всех своих политических соперников и оставит их с длинным носом. Он у меня обедал и нынешним вечером будет ужинать». Императрица приняла очень хорошо своего старого знакомого и приятного собеседника, хотя приняла его как простого дворянина, ибо, не привезши грамот от короля с императорским титулом для Елисаветы, он, как тогда выражались, должен был остаться *бесхарактерным*, т.е. не мог получить значения как посланник. Скоро после его приезда императрица послала ему розгу, велевши сказать, что он должен быть наказан, как маленький ребенок, за неосторожную игру с порохом. Шетарди действительно перевязал себе руку, объявляя, что обжег ее порохом. Но все знали, что рука болела у него не от пороха. Никто не был так взбешен приездом Шетарди, как Дальон, потому что видел в нем человека, который оттеснит его на задний план, порвет начатую им работу и в случае успеха

выставит одного себя его виновником. Дальон не мог сдержать своей досады и, явившись к Шетарди, начал делать ему выговоры, зачем он возвратился в Россию, где его весь народ ненавидит; Воронцов пересказал Бестужевым все, что он, Шетарди, говорил об них дурного, потому он не может надеяться никакого успеха, и он, Дальон, один может здесь служить с пользою для Франции. Шетарди вспылал и с своей стороны начал попрекать Дальона не очень честными делами. Дальон крикнул в ответ, что Шетарди – каналья; Шетарди дал ему пощечину, Дальон бросился на него с обнаженною шпагою, Шетарди схватил ее, чтоб удержать удар, и обрезал себе руку; прибежали слуги и развели борцов; но рука долго не заживала у маркиза.

Эта история, впрочем, нисколько не отняла у Шетарди возможности действовать заодно с Брюммером, Лестоком и Мардефельдом против Бестужевых. Но и вице-канцлер принимал свои меры. 23 декабря во время доклада вице-канцлер подал императрице просьбу:

«От самого почти начала даже до сего времени обретаясь при вашего имп. в-ства все милостивейше поверенных мне делах, принужден от неприятелей моих, не знаю, по какой-либо злобе или с зависти, претерпевать мерзкие нарекания и разные богу противные оклеветания, иногда якобы я закуплен был от Австрии, иногда от Англии подкуплен, а иногда, смотря по обстоятельствам, вашему интересу противным, то и от датчан. Однако ж те же мои неприятели должны и принуждены по совести своей сами признавать, что при божеском благословении еще до сего времени как в европейских, так и в азиатских мне поверенных делах ничего нигде нимало не упущено или бы пренебрежено было... Дерзновение взял к вашим монаршеским стопам себя повергнуть всеподданнейше, прося от таких оклеветаний, что и в бывшую богомерзкую конспирацию меня приплетают, монаршескою своею властью оборонить, повелеть о том исследовать, от кого в какое время и какие о мне произведены ни были... И по таким злоумышленным внушениям ежели ваше имп. в-ство какое обо мне сумнение или недоверенность возыметь соизволите, то какого успеха в делах можно ожидать, ибо я не токмо в превеликую оттого робость приведен буду, но и все от чистого моего сердца произносительные труды и усердствования весьма отвергнуты и в ничто превращены будут». Просьба была подана для вызова уверений, что никакого сумнения и недоверенности возыметь не будет соизволено. Уверения, конечно, были даны, потому что Бестужев остался в прежнем значении. Бестужев оставался теперь один, потому что брат его, обер-гофмаршал, вследствие дела жены должен был на время оставить двор и Россию; но он отправился за границу с дипломатическим поручением, отправился в Берлин, самый важный пост, где мог всего успешнее своими наблюдениями охранять интересы России и свои собственные.

И русские министры, и послы иностранные с надеждою и страхом ехали в Москву, где императрица намерена была прожить 1744 год. В древней столице должен был решиться вопрос, кто победит – Шетарди или Бестужев, – вопрос, занимавший всю Европу.

Глава четвертая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1744 год

Деятельность Сената в 1744 году. – Беспорядки в коллегиях и канцеляриях. – Недостаток в соли. – Дело о суконных фабриках. – Недостаток рабочих рук. – Разбои. – Усмирение крестьян. – Деятельность Синода: распоряжения о новокрещенах. – Раскол. – Хлыстовщина. – Уничтожение коллегии Экономии. – Воеводы и архиереи. – Исправление библии. – Вопрос о женитьбе великого князя-наследника. – Императрица останавливается на принцессе Ангальт-Цербстской. – Письма Брюммера к ее матери. – Участие Фридриха II в деле. – Приезд цербстских принцесс в Москву. – Отношение принцессы-матери к партиям. – Обручение. – Высылка Шетарди из России. – Поездка императрицы в Киев. – Внимание сосредоточивается на прусских отношениях.

16 января 1744 года Елисавета присутствовала в Сенате, а 21-го отправилась в Москву, где в продолжение года присутствовала еще три раза в Сенате. В этом году Сенату случилось решить собственное дело: донесли на служителя графа Головкина – Татаринова, что он в сердцах на одного из своих товарищей, толковавшего, что подаст прошение в Сенат, выбрал это учреждение неприличными словами. Сенат приказал высечь Татаринова кнутом нещадно в страх другим, подведя статью Уложения о бесчестии бояр, окольных и думных людей, нанесенном простыми людьми.

Немедленно по приезде в Москву генерал-прокурор уже начал жаловаться Сенату, что члены присутственных мест поздно являются на службу. Прокурор Мануфактур-коллегии донес, что присутствующие даже очень редко ездят, отчего в делах волокита, и колодники, которых набралось 32 человека, держатся без всякого решения; Сенат приказали: призвать всех членов коллегии в Сенат и учинить *реприманд*, а которые не придут под предлогом болезни, к тем послать сенатского экзекутора с доктором освидетельствовать. 3 августа генерал-прокурор объявил Сенату, что нынешнего числа по осмотру коллегий и канцелярий найдено огромное число членов, не явившихся в указанные часы; приказали: призвать их в Сенат, сказать реприманд и подтвердить, что если не станут съезжаться в указанные часы, то непременно будут штрафованы. Реприманды и угрозы не помогали; 20 сентября генерал-прокурор опять подал длинный лист неявившихся: велено им подать ответы, почему не явились; 9 октября Трубецкой заявил, что ни одного ответа еще не подано, а между тем накануне найдено опять большое число неявившихся, и в тот самый день, 9 октября, солдат, посланный в Юстиц-коллегию с требованием взноса одного дела, возвратясь, объявил, что в коллегии нет ни одного человека.

Узнаны были чрез прокуроров и другие беспорядки. В Коммерц-коллегии между президентом князем Юсуповым и вице-президентом Мелиссино происходили многие споры, вздоры и крики; Мелиссино подал доношение о великом нападении на него князя Юсупова и произношении ругательных слов. Новгородский прокурор донес, что в Новгороде счетов о сборе подушных денег не составлено и в указные места неотослано с 737 по 743 год, провиантских за многие годы, крепостных за 12 лет и в доимке находится с 730 по 743 год таможенных и кабацких 476884 рубля, канцелярских 13270 рублей, и хотя он

губернской канцелярии многократно предлагал, только она объявляет, что по многим запущениям прежних губернаторов и приказных служителей им теперь за многими текущими делами счетов прежних годов исправить нельзя. Прокурор спрашивал, не приказано ли будет для составления и свидетельства запущенных счетов определить особое число приказных служителей и к ним особливую надежную персону? Сенат приказал определить такую персону.

В самом начале года Сенат и генерал-прокурор должны были обратить все свое внимание на большую беду для народа – недостаток в соли, потому что соль, шедшая из пермских Строгановских варниц, остановилась за мелководьем. 13 февраля тайный советник барон Строганов с братьями подал в Сенат доношение, чтоб правительство помогло им, ибо они потерпели убыток, именно: чтоб велено набрать 9500 рабочих, не упуская времени, а без такой помощи в поставке соли исправиться им невозможно, вольных рабочих людей с печатными паспортами достать нельзя. Стали торговаться; Строганов уступил, согласился, чтоб правительство дало ему 5000 рабочих, нарядив с обывателей за его жалованье, потом сбавил свое требование на 4500 рабочих. Сенат согласился и отправил для скорейшего доставления соли генерал-майора Юшкова. А между тем народ терпел недостаток в соли, увеличиваемый скупщиками из солдат, которые продирались первые к магазинам, оттесняя черный народ. Генерал-прокурор объявил Сенат, что в Москве из лавок казенную соль продают больше разночинцам, солдатам и скупщикам, а крестьянство и прочие подлые люди едва могут купить, некоторые же за теснотою никак не достанут; что он, генерал-прокурор, 9 февраля в одиннадцатом часу утра ездил к лавкам, но уже продажи соли не застал, нашел у лавок крестьян и прочей подлости многое число, которые ему объявили, что уже несколько дней не могут добиться купить соли. По предложению генерал-прокурора Сенат приказал: казенную соль в лавках продавать одному только крестьянству и прочим подлым людям целый день; солдатам из лавок не продавать, а по требованию Военной коллегии и прочих команд отпускать соляной конторе помесечно за деньги, чтоб солдаты под предлогом своей покупки другим и скупщикам лишнею ценою перепродавать не могли; также не продавать из лавок в знатные и прочие дома и разночинцам, чтоб крестьянству и прочим подлым в покупке соли остановки и задержания не было, а продавать им с соляного двора, а ежели целовальники продадут соль скупщикам, а скупщики будут ее перепродавать лишнею ценою, то как целовальников, так и скупщиков бить кнутом нещадно. По городам отправлены были чиновники для открытия и преследования скупщиков. Наконец, поспешили привезти в Москву запасы соли из Петербурга.

Но хлопоты о соли этим не кончились. В мае барон Александр Строганов объявил, что ему с братьями к завару соли на 1745 год дрова свозить и прочих приготовлений делать нельзя за многотысячными убытками, к вознаграждению которых никакого обнадеживания не имеют; в феврале у поставки заморозной соли с Балахны до Ярославля принуждены были давать за провоз по 5 копеек с пуда, а им положено на всякие расходы по 3 1/2 копейки; также за провоз в нынешнем году соли до Москвы от Нижнего подрядчики явились и просили по 5 1/2 копеек с пуда, а теперь и сыскать их не могут, тогда как указная им цена с расходами положена по 5 копеек пуд; и они не только не могут делать приготовлений к завару 1745 года, но не знают, чем окончить завар и нынешнего

года; также не в состоянии отправить соль, уже пришедшую из Нижнего и верховые города, и просят, чтоб принято было решение о принятии их промыслов в казну, а в нынешнем году за передачу при поставке соли обладежить милостивым награждением, без чего им в поставку вступить никак невозможно.

Строганов предложил вопрос, слишком трудный для решения. Сенат отмалчивался, и следствия оказались нехороши. В сентябре призваны были в Сенат тайный советник Александр да действительный камергер Сергей бароны Строгановы и выслушали объявление, что соль, отпущенная из Нижнего в Москву в мае и июне месяцах, не только вся ими не поставлена, но и та, которая уже пришла в ближние к Москве места, стоит целый месяц, а в Москву не привозили, отчего произошел недостаток в продаже народу.

Сенат приказывал, чтоб они в доставке соли в Москву приложили крайнее старание, в противном случае непременно будут штрафованы. Строгановы отвечали, что они от соляных промыслов несут великий убыток, и просили, чтоб сенаторы выслушали сделанную из прошения их выписку об увольнении их от содержания соляных промыслов. В ноябре Сенат объявил барону Александру Строганову, чтоб он готовил соль и поставил в 745 году до Нижнего и верховых городов. Строганов отвечал, что они подали челобитную императрице о снятии с них соляных заводов, а по определению Сената, сколько возможности есть, исполнение чинить должен, в случае же невозможности будет доносить, в чем и подписался.

Мы видели, что в прошлом году на доклад Сената о подрядах на кронштадтские работы не последовало высочайшей резолюции. Подряды были нововведением, ибо до сих пор для казенных построек прибегали к принудительной высылке рабочих из областей. И теперь, так как дело не состоялось, вздумали возобновить тот же старый обычай: генерал Любрас, заведовавший кронштадтскими работами, просил в апреле месяце Сенат, чтоб приказано было выслать 1033 человека каменщиков самых добрых, а не таких, какие были высланы в 1742 году, когда и половины добрых не набралось. Но Сенат отвечал: наряда каменщиков из провинции за упущением времени и за наступившею рабочею порою сделать нельзя, и прежде из высланных явилось более половины неспособных, только последовало народное отягощение безо всякой пользы; нанимать помесечно добровольным договором.

Много хлопот было Сенату с поставкою сукон с русских фабрик в армию. Главный комиссариат донес, что московские суконные фабриканты подписались доставлять сукно по образцам, сделанным на фабрике Болотина, обязались поставить 178500 аршин; но когда поставили, то браковщики в годные отбраковали у Болотина из 1800 – 1509, у Серикова из 200 – 38, у Третьякова из 80 – 27, да и то, кроме фабрики Болотина, выбраковано с большой натяжкой. Но президент Мануфактур-коллегии объявил, что брак комиссариата ему сомнителен. Военная коллегия предлагала, что за такими спорами между комиссариатом и Мануфактур-коллегиею не лучше ли брак поручить одной Мануфактур-коллегии или суконные фабрики отдать в полное ведение Главного комиссариата. Сенат приказал: сукно свидетельствовать Главному комиссариату вместе с Мануфактур-коллегиею, а фабрикантов обязать делать по образцам и лучше; если же станут делать хуже, то будут наказаны не только уменьшением цен, но с них будет взыскан весь убыток, какой потерпит казна от выписывания иностранных

сукон. Чрез несколько месяцев комиссариат опять жаловался на негодность сукон, кроме болотинских, тогда как плата производится всем равная, отчего Болотину немалая обида; справедливость требует цену прочим понизить, а Болотину повысить. Сенат приказал: купцам, торгующим сукнами в рядах, оценить, насколько представленные сукна ниже ценою образцов, по той цене и выдавать деньги, что будет служить вместо штрафа; а Болотину цены не прибавлять, ибо цена определена указом ее имп. в-ства, именно по 58 копеек за аршин. В конце года вопрос о поставке сукон опять возобновился, и Сенат приказал: принудить Болотина с товарищами ставить сукно на 745 год по образцам 743 года и по 58 копеек за аршин, потому что образцы сам Болотин на своей фабрике сделал; прочим же фабрикантам, которые по этим образцам ставить сукон не могут, ставить по новым образцам, сделанным на фабрике Серикова, и так как эти образцы ниже, то платить им только по 56 копеек за аршин. Болотину с товарищами выдать займы без процентов на поправление и усиление фабрики их 30000 рублей, разложив уплату на 10 лет при поставке сукон. Фабриканты упоминаются преимущественно московские, потому что Москва становилась фабричным городом по дешевизне содержания сравнительно с Петербургом. Так, московский купец Залесский снял у фабриканта Солодовникова две шелковые фабрики – одну в Петербурге, а другую в Москве – и просил перевести петербургскую в Москву, ибо по дороговизне в Петербурге содержать невозможно. Мануфактур-коллегия представила об этом Сенату, который отвечал, что позволение ясно само собою и беспокоить Сенат таким представлением не следовало.

Мы уже не раз должны были упоминать, что в промышленной деятельности, как в других отправлениях народной жизни, и в новой России главным препятствием служил недостаток рук; несмотря на сознание достоинства и выгоды вольнонаемного труда, он часто был невозможен. Московские суконные фабриканты – Болотин, Еремеев, Третьяков, Сериков – представили Мануфактур-коллегии, что им нельзя укомплектовать своих фабрик рабочими людьми: вольных набрать негде, продажных без земель и особенно малолетних купить негде, помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных; на фабриках же настает большая нужда в малолетних от 10 до 15 лет, которые должны быть в прядильщиках. То же самое объявляли шелковые и другие фабриканты, что главное препятствие для них – недостаток рабочих. На основании этих объявлений Мануфактур-коллегия представила Сенату, не соизволит ли он для удовлетворения русских фабрик разночинцев, которые будут являться при нынешней ревизии (церковничьих детей, незаконнорожденных, вольноотпущенных), отдавать всех без изъятия из платежа подушных денег на фабрики. Сенат не согласился, потому что по инструкции ревизии велено таких разночинцев приписывать по желанию их в посады и цехи, годных брать в солдаты, а если в посады, цехи и в службу не пожелают, то к помещикам и на фабрики.

Для честного труда рабочих рук не было; а между тем столько рук были заняты нечестным промыслом, против которого правительство не могло с успехом действовать опять по недостатку людей. Всякий раз, как оно обращалось к полиции с выговором, та отвечала, что не в состоянии охранять порядок по недостаточности Войска, находящегося в ее распоряжении. Но всего чаще

заводчиками беспорядков, виновниками преступлений являлись люди из войска: сила, даваемая оружием, вела грубых людей к тому, чтоб пользоваться этой силой против безоружных сограждан. В Петербурге убит был малороссийский шляхтич Лещинский, живший в доме графа Чернышева, стоявшими в том доме на карауле солдатами. За Москвою-рекою солдаты ночью вломились в дом купца Петрова, жену его и племянницу били смертно, кололи шпагами и пожитки пограбили. Сенат признал, что при следствии полицеймейстерская канцелярия поступила слабо и неосмотрительно; она должна была, как скоро узнала о разбое, послать для следствия члена своего, а в полки гвардии и в Военную коллегия сообщить с требованием, чтоб у всех драгун и солдат осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков и все ли в ту ночь были на квартирах неотлучно. 27 июля императрица, присутствуя в Сенате, объявила, что главная полиция слабое смотрение имеет; в Москве не только непотребства, но и многие воровства происходят, в домах обывательских, приходя, крадут; также умножилось нищих, которые работать могут и, под образом разных болезней притворяясь, милостыни просят; во многих местах рогаток нет и ходят по ночам без фонарей, а во время торжества о замирении с Швециею во многих домах не только иллюминаций, но и свеч в окнах не было. Но полицию оправдывали происшествия, подобные тому, какое случилось 8 сентября: в пятом часу пополудни за Яузою у Земляного вала начался кулачный бой, полицейская команда два раза его разгоняла, но гвардейские солдаты велели биться ученикам разных фабрик и прочим чинам, и когда прибыл патруличный разезд и начал останавливать бой, то народ, схватив из огорода колья и камень, бросился на вахмистра патруличной команды и прибил его до полусмерти; зачинщиком драки был измайловский солдат.

Так было в столице, что же в областях?

В Дмитровском уезде, в сельце Семеновском, принадлежавшем майору Докторову, указаны были разбойники и смертоубийцы из его крестьян; для взятия их был отправлен офицер с командою; но они возвратились без успеха; привезли 14 человек своих солдат, больных от побоев, нанесенных Семеновскими крестьянами. Послан был другой офицер добрый с командою; ему было приказано: если крестьяне станут сопротивляться, то для страха палить пыжами и накрепко стараться, чтоб разбойники были взяты без кровопролития; если же и после этого будут сопротивляться, то поступать как с злодеями. Из Астрахани писали, что на три купеческие рыбные ватаги приезжали в двух лодках разбойники, больше 50 человек, и, ограбя ватаги, побрали большие морские лодки, также пушки, порох, говоря, что намерены ехать в море. В ветлужской вотчине графа Головкина селе Никольском, Баки то ж, убили приказчика, разграбили казенную палатку, все это днем и в вотчине, где считалось 1668 человек крестьян. В половине года Сенату дано было знать, что по большим дорогам и не в дальнем расстоянии от Москвы, особенно по владимирской дороге, разбои умножаются, разбивают не только проезжих, но нападают на деревни. Генерал-майор Шереметев объявил, что ночью пришли в Сокольскую его волость, в село Воскресенское, разбойники, двор его разбили, деньги взяли, приказчика били и жгли; в той же волости выжгли две деревни; атаману шайки прозвание Кнут. Обер-президент Главного магистрата князь Хованский объявил, что разбойники приходили многолюдством в суздальское его село Пестяково: церковь, его двор и крестьянские дворы выжгли, пять человек крестьян убили до смерти,

четверо лежат при смерти. Вследствие этих заявлений Военная коллегия распорядилась: по Волге, от Твери до Астрахани, расставлены были в известных расстояниях войска, назначенные для преследования разбойников; с тою же целью расставлены были войска по Оке, от Калуги до Нижнего, также в Белгородской, Воронежской и Архангельской губерниях. Сенат приказал исследовать о прежних сыщиках, для чего они своею слабостью допустили таких злодеев к умножению их компаний, также почему губернаторы и воеводы не старались об их искоренении. Через месяц Сенат получил извещение, что по доносу известного уже ему сыщика Ивана Каина пойманы в Москве три разбойника и один атаман; разбойники объявили, что атаман Кнут, который прежде назывался Посулихин, со всею воровскою станицею, которая разбойничала около Нижнего, находятся на приплывших в Коломну купеческих судах. Немедленно отправлены были в этот город 50 драгун.

Войско должно было действовать и против возмущившихся крестьян. В селе Рогачеве и других селах и деревнях, принадлежавших Никольскому монастырю на Песноше, приписному к Троицко-Сергиевой лавре, крестьяне отказались повиноваться монастырскому начальству, посланного усмирить их капитана покололи, солдат прибили, и Сенат распорядился послать штаб-офицера *из русских*. Этому удалось усмирить крестьян, которые объявили, что причиною неповиновения был слух, будто крестьяне приписных монастырей объявлены свободными. В другом месте, в псковской Велейской вотчине графини Анны Бестужевой, крестьяне самовольно выбрали себе управителя Трофимова, а прежнего управителя, Залевского, выгнали. Усмирять их отправился из Пскова с командою подполковник Головин, который сначала послал небольшую команду, чтобы схватить *самозванного* управителя с сообщниками; но крестьяне вышли навстречу в числе 150 человек с ружьями, копьями и бердышами и начали стрелять в солдат; те, отстреливаясь, убили одного крестьянина, шестерых захватили, прочие разбежались. На другой день была отправлена новая команда, которая, подошед к крестьянской толпе, стала было уговаривать ее к сдаче; но крестьяне отвечали выстрелами и ранили одного солдата; солдаты, начавши стрелять, ранили девицу и поймали пять человек, в том числе мать Трофимова; прочие снова разбежались. Схваченные крестьяне объявили, что с ослушниками находится солдат Измайловского полка и производит многие злодейские поступки. На третий день крестьяне в числе 300 человек напали на команду, состоящую из 126 человек, и убили одного солдата да ранили троих; солдаты начали палить, крестьяне побежали, и поймано их было 22 человека. После этого сопротивление прекратилось, крестьяне начали записываться, что приходят в покорение, и записалось их 731 человек. Управитель со старостою и целовальником сначала скрывались; потом Трофимов был пойман, но ушел из-под караула, скинув оковы, явился в Москву и лично подал просьбу императрице на Головина; Сенат отправил его в Сыскной приказ.

У Синода были свои борьбы.

13 апреля происходило общее заседание обоих правительствующих учреждений, Сената и Синода, по поводу просьбы казанских татар о позволении возобновить сломанные мечети. По справке оказалось, что в Казанской губернии было сломано из 536 мечетей 418, причем казанский архиерей объявил, что ему синодальным указом 1743 года запрещено допускать постройку новых мечетей и

построенные после запретительных указов мечети везде велено разобрать. Из Астраханской губернии донесено, что ломать мечети опасно: магометане, старые подданные, могут разбрестись, а у других охота к выходу в Россию отнимется. Приказали: мечети сломать и вновь не строить в тех местах, где будут жить русские и новокрещены, чтоб им соблазна не было, а иноверцев из тех деревень перевести в другие, где одни магометане живут. Если все мечети сломать, то опасно, чтоб не дошел слух в те государства, где между магометанами живут люди греческого исповедания и построены св. церкви (не произошло бы там церквам какого утеснения?), и потому велеть построить татарам в Казани в Татарской слободе две мечети; также повсюду строить мечети в тех деревнях, где одни татары, нет русских и новокрещен и где жителей от 200 до 300 человек; а если по этому расчету останутся лишние мечети, то сломать немедленно.

Для покровительства новокрещенам и побуждения иноверцев к принятию христианства отправлен был в Казанскую губернию советник Ярцев. Он донес, что новокрещены, терпят обиды от всяких людей: держат их у себя в работе и берут на них крепостные записи; а если кто из них пожелает освободиться, то хозяева на этих безгласных новокрещен, которые не только ябеднических дел, но и русского языка мало знают, подают в городах челобитные, и по происку хозяев воеводы поступают с новокрещенами немилостиво, держат подолгу в тюрьмах и принуждают к миру с хозяевами, т.е. принуждают опять давать на себя крепости; которых по настоянию Ярцева освободили, то без всякого награждения; у них же проезжие люди берут подводы без подорожных и без платежа прогонов, берут конские кормы и съестные припасы. Иноверцы страшно их обижают: принуждают платить вместе с собою подати, хотя новокрещены освобождены от этого платежа на три года; отдают в рекруты за некрещеных; клеветают на них в канцеляриях, вследствие чего новокрещен забирают и держат долгое время под караулом, бьют до полусмерти; Ярцев подает об этом промемории, но воеводы не обращают на них никакого внимания. Сколько не хвалит Ярцев воевод, столько же превозносит нижегородского архиерея Димитрия, который, по его словам, в своей епархии в обращении иноверцев и в охранении новокрещен от обид неусыпное рачение имеет. Ярцев требовал для себя конвоя, потому что когда придет в иноверческую деревню с конвоем, то желающие креститься могут объявлять себя без страха, а без конвоя опасно и вызывать желающих принять христианство, ибо во многих местах некрещеные сопротивлялись указу и его, Ярцева, ругательски бранили и хотели бить, а команды его солдат и били; без конвоя иноверцы не слушаются и на определенные им к переселению места не переходят. Из иноверцев всего более противятся принятию христианства магометане. Во многих уездах некрещеные выбирают в сотники, старосты и выборные, начальствуют таким образом над новокрещенами и делают им несносные обиды, бьют немилостиво и собирают всякие подати. Сенат приказал: для такого богоугодного дела определить в Казанскую, Нижегородскую и Воронежскую губернии по одному офицеру, которым быть под начальством Ярцева; они должны смотреть, чтоб новокрещенам никаких обид и озлобления не было.

Другая забота – раскол. В Волоколамске поймано было двадцать человек крестьян, которые пробирались за польскую границу, на Ветку, подговоренные пушкарским сыном из Ржевы Володимеровой Ямщиковым, который за провожанье до Ветки подрядился взять с них по пяти рублей с семьи; он же

научил их молиться по-раскольничьи. Движение, которое мы видели в царствование Анны, не прекратилось, несмотря на строгие меры правительства. В Богословской пустыни, в 60 верстах от Москвы, у строителя, в особой пустой келье в саду, происходило сборище, на котором, между прочим, присутствовала княжна Дарья Федоровна Хованская. Все сидели по лавкам, мужчины по одну сторону, женщины – по другую, и пели стих: «Дай к нам, господи, дай к нам, Иисусе Христе, дай к нам, сыне божий, помилуй нас! Пресвятая богородица, упроси об нас сына своего и бога нашего, да тобою спасет души наши многогрешные на земле!» Во время пения купец Иван Дмитриев, вскоча с лавки, затрясся и вертелся кругом более часа и говорил присутствующим: «Верьте мне, что во мне действует дух св. и что я говорю не от своего ума, но чрез духа св.», и, подходя, кого знал, называл именем: «Бог помочь тебе, братец или сестрица; как ты живешь? Молись богу по ночам, а блуда не твори, на свадьбы и крестины не ходи, вина и пива не пей и, где песни поют, не слушай, где драки случатся, тут не стой». Кого именем назвать не умел, того называл: «Велмушка, велмушка! помолись за меня!» Отходя от них, говорил: «Прости, мой друг, не прогневал ли я в чем тебя?» Потом тот же Иван Дмитриев взял ломоть хлеба, изрезал в куски и, положив на тарелку вместе с солью и налив в стакан воды, раздавал присутствующим, приказывая есть на руке, прихлебывать с водою и прикладываясь к стакану, творя крестное знамение. После этого все присутствующие, взяв друг друга за руки, вертелись вокруг, вспрыгивая, что у них называлось *корабль*; вертелись по солнцу, причем пели прежнюю молитву и бились обухами и ядрами, поставляя в этом сокрушение плоти; княжна Хованская, испугавшись этого битья, вышла с своими людьми вон и после не приходила, а прочие продолжали вертеться и биться во всю ночь и на рассвете разъехались. Строитель Дмитрий был схвачен и показал, что был научен штофной фабрики учеником Александром Голубцовым, когда еще был на искусе в московском Андреевском монастыре в 732 году. Голубцов свел его за Язу в сборище, состоявшее из 10 человек, где молились двуперстным крестом; Голубцов вертелся и говорил, что первое крещение им было водою, а второе духом и, кто вторым крещением не крестится, тот и в царство небесное не войдет. Строитель показал, что во время действия одни бились обухами, а другие резались ножами, вставленными в палки. Открылось, что и после разгрома еретиков, бывшего в царствование Анны, сборище продолжалось в Ивановском монастыре. Хотя еретики отвергали законный брак и находившимся в браке запрещали совокупляться (совокупление – грех, устави-де то напрасно Адам и Ева), однако учитель-сборщик Григорий Сапожников имел связь с согласницею Федосьею Яковлевою. На сборище, бывшем в доме Григорья Сапожникова, хозяин вертелся и говорил: «Молитесь богу, идет на вас гнев божий, взяты будете под караул, будете мучены и биты, нападут на вас архиереи и судьи, а вы их не вините и не кляните и потерпите, а потерпя, бог и всемиловитейшая государыня освободят». Федосья Яковлева показала: слышала она от согласных своих, что есть у нас в Ярославле, наш государь батюшка, крестьянин Степан Васильевич, который содержит небо и землю, и мы его называем Христом, а жену его Афросинью Госпожою Богородицею; учителем Степана и жены его был крестьянин Астафий Ануфриев. Для помощи в борьбе с расколом Синод исходатайствовал у императрицы позволение издать две книги – «Розыск о раскольничей брынской

вере» Димитрия Ростовского и «Возражения на ответы выгорецких раскольников Феофилакта Лопатинского.

В описываемом году Синод имел удовольствие получить следующий указ: коллегию Экономии отставить, и все доходы синодальных, архиерейских и монастырских вотчин отдать в ведомство и управление св. Синода по прежнему со всеми расходами, на что было положено и употреблялось из тех доходов при Петре Великом, исключая один только Заиконоспасский училищный монастырь, который содержан будет на особую сумму. Кончились столкновения с коллегиею Экономии, но продолжались столкновения с воеводами. Воеводский товарищ в Переяславле-Залесском князь Щепин-Ростовский бранил и мучил одного священника, который от этого заболел и умер. Сенат приказал накрепко исследовать и Щепина взять в Москву. Через несколько времени Синод представил в Сенат длинный список, присланный казанским епископом Лукою, – список побоям, которым подверглись духовные лица от светских, причем Синод жаловался, что губернаторы и воеводы продолжают привлекать к своему суду духовных людей. С другой стороны, вятский архиерей Варлаам дал пощечину воеводе Писареву. Воевода жаловался, что на него напали архиерейские служки и школьники с дубьем, но он их разогнал и двоих схватил; когда воевода допросил схваченных, то явился к нему в канцелярию сам архиерей, стал бранить скаредною бранью и, наконец, дал пощечину. Архиерей показывал, что у него на обеде 6 декабря был воевода и сын его, Измайловского полка подпоручик, приехавший в отпуск. Сын заставил певчих петь вечную память и, взяв кубок с пивом, говорил купцам: «Здравствуйте, господа каналы, хлыновское купечество!» Потом приходил к келье архиерейского казначея и хотел его бить плетьюми. 9 числа воеводский сын зашиб архиерейского секретаря до полусмерти, а на улице были схвачены целовальник и хлебник семинарские и взяты в воеводскую канцелярию для розыска; пьяный воевода с сыном велели уже и огонь в застенке разложить для пытки. Тогда архиерей поехал в воеводскую канцелярию, но на его увещание воевода отвечал неучтивыми словами, за что архиерей ударил его по ланите.

По приезде в Москву в феврале месяце Синод получил тяжелый для себя указ императрицы: «Понеже дело исправления библии, к печатанию оной вновь давно уже зачатое, и поныне не совершено, а нужда в том церковная и народная велика: того для сим нашим указом повелеваем, дабы св. Синода все члены в сию святую четырехдесятницу в исправлении оной библии к печатанию оной вновь трудились от получения сего нашего указа каждый день поутру и пополудни, кроме недельных дней, чтоб, ежели возможно, оное исправление окончить к празднику св. Пасхи, а по окончании оное исправление библии объявить нам, но не печатать оную вновь исправленную без нашего указа, токмо потребные к тому печатанию вещи приготавливать, а особливо бумага чтоб была употреблена на оное печатание, сделанная на российских фабриках советника Затрапезнова и асессора Гончарова и на других к тому делу годная. К сему ж делу повелеваем употребить и кроме членов синодальных духовного чина людей ученых. Для исправления текущих дел по синодальной должности, которых в пост меньше других времен бывает, отрядить, несколько из членов же синодальных, которые имеют о приключившихся иногда важных делах Синоду доносить и решение требовать». К празднику Пасхи исправление библии не было кончено, и в июле Амвросий Новгородский подал просьбу императрице уволить его от исправления библии по

причине болезни, «потому что головою весьма немощен, а дело требует довольного рассуждения». Дело затянулось, как увидим, на несколько лет.

Елисавета не могла обратить большого внимания на это неисполнение своего указа, потому что была занята в это время важным семейным делом, которое по тогдашнему напряженному состоянию Европы не могло остаться свободным от политических интриг. Императрица, обеспокоенная сочувствием к Брауншвейгской фамилии, высказавшимся в деле Турчанинова и потом в деле Лопухина, хотела как можно скорее устроить брак наследники престола великого князя Петра Федоровича. Но легко понять, как важен был вопрос о выборе невесты и для своих, и для чужих. Брюммеру, Лестоку, Мардефельду, Шетарди нужно было, чтоб молодая великая княгиня, ее родственники и приближенные, которые с нею приедут в Россию, не пошли наперекор их влиянию и видам, чтоб не содействовали видам Бестужева. Выбор последнего уже пал на саксонскую принцессу Марианну, дочь польского короля Августа III, ибо этот брак вполне соответствовал его политической системе, союзу между морскими державами, Россию, Австрию и Саксонию для сдержания Франции и Пруссии. Как только в противном лагере узнали о намерении Бестужева относительно саксонской принцессы, так поспешили найти другую невесту: то была София-Августа-Фредерика, дочь принца Ангальт-Цербстского, находившегося в прусской службе, и Елисаветы Голштинской, сестры епископа Любского, избранного в наследники шведского престола.

10 декабря 1743 года Шетарди писал Амелоту: «Саксонский посланник Герсдорф не мог получить 25000 вспомогательного русского войска за английские субсидии благодаря Лестоку и Брюммеру. Герсдорф предлагал также брак между великим князем и дочерью польского короля. Брюммер и Лесток, проведав об этом, представили царице, что принцесса из сильного дома едва ли будет склонна к послушанию, надобно избрать такую, для которой бы брак был подлинным счастьем. Употребили и духовных лиц для внушения, что принцесса-католичка будет опаснее для православия, чем протестантка, и предложили принцессу Цербстскую. Лесток вчера вечером приходил ко мне сказать, что дело сделано и царица послала секретно 10000 рублей к принцессе Цербстской, чтоб поскорее ехала сюда». Брюммер в письме к принцессе-матери от 17 декабря нового стиля писал следующее: «Надеюсь, ваша светлость вполне уверены, что с самого приезда моего в Россию я не перестану трудиться для счастья и величия наияснейшего герцогского дома (голштинского). Успел ли я в этом или нет, пусть судят другие. Питая давнее глубокочитание к особе вашей светлости и всегда желая уверить ее в моем уважении на деле более, чем пустыми словами, я думал дни и ночи, нельзя ли сделать что-нибудь блистательное в пользу вашей светлости и вашей знаменитой фамилии. Зная великодушие вашего сердца и благородство ваших чувств, я не колеблюсь ни минуты открыть вашей светлости дело, которое прошу содержать в глубочайшей тайне, по крайней мере на первое время. В продолжение двух лет, как я нахожусь при этом дворе, я имел часто случай говорить ее имп. величеству о вашей светлости и о ваших достоинствах. Я долго ходил около сосуда и употреблял разные каналы, чтоб довести дело до желанного конца. После долгих трудов наконец, думаю, я успел, нашел именно то, что пополнит и закрепит совершенное счастье герцогского дома. Теперь надобно, чтоб ваша светлость завершили дело, счастливо мною начатое. По приказанию ее имп.

величества я должен вам внушить, чтоб ваша светлость в сопровождении старшей дочери немедленно приехали в Россию. Ваша светлость, конечно, поймете, почему ее величество так сильно желает видеть вас здесь как можно скорее, равно как и принцессу, вашу дочь, о которой рассказывается так много хорошего. Бывают случаи, когда глас народа есть именно глас божий. В то же время наша несравненная монархиня прямо приказала мне уведомить вашу светлость, чтоб принц, супруг ваш, ни под каким видом не приезжал вместе с вами. Чтоб ваша светлость не были ничем затруднены, чтоб вы могли сделать для себя и для принцессы, вашей дочери, несколько платьев, чтоб могли предпринять путешествие без потери времени, я имею честь присоединить к своему письму и вексель. Правда, сумма умеренна; но надобно сказать вашей светлости, что это сделано нарочно, чтоб выдача большой суммы не кидалась в глаза людям, наблюдающим за нашими действиями. Чтоб ваша светлость не нуждались в необходимом по приезде сюда в Петербург, я распорядился, чтоб купец, именем Людолфом, выплатил вашей светлости две тысячи рублей в случае надобности. Я ручаюсь, что по счастливом прибытии к нам ваша светлость не будет ни в чем нуждаться».

Брюммер определял в письме, сколько людей должна была взять принцесса с собою: одну штатс-даму, две горничных, повара (мебель, необходимую в этой стране, по выражению Брюммера), одного офицера для распоряжений почтою и троих или четверых лакеев. Брюммер учил принцессу, как она должна объяснять причину своего отъезда в Россию: «Вашей светлости стоит только сказать, что долг и учтивость требуют от вас съездить в Россию как для того, чтоб поблагодарить императрицу за необыкновенную благосклонность, оказанную герцогскому дому, так и для того, чтоб видеть совершеннейшую из государынь и лично поручить себя ее милостям. Чтоб ваша светлость знали все обстоятельства, имеющие отношение к этому делу, имею честь сообщить, что король прусский знает секрет; в воле вашей светлости говорить с ним об этом или не говорить; что же касается меня, то я почтительнейше советовал бы вашей светлости поговорить с королем, ибо в свое время и в своем месте вы почувствуете следствия, какие естественно от того произтекут. Г. Лесток, который, конечно, работал вместе со мною и который очень предан интересам герцогского дома, просил меня засвидетельствовать вашей светлости его глубочайшее уважение. Я должен отдать ему справедливость, что он относительно интересов вашей светлости вел себя как честный человек и ревностный слуга».

21 декабря Брюммер послал новое письмо, чтоб принцесса спешила как можно скорее, кovala бы железо, пока горячо. Навстречу путешественникам отправлен был камергер Нарышкин, вручивший в Риге принцессе-матери новое письмо от Брюммера, который писал: «Императрица ежедневно осведомляется, не имею ли я известий о вас, проехали ли вы Данциг, когда можете приехать в Москву; я отвечаю, что если бы ваша светлость имели крылья, то воспользовались бы ими, чтоб не терять ни минуты». Брюммер умолял принцессу принять его советы и при первом свидании с императрицею оказать ей чрезвычайное и более чем совершенное уважение (*une deference extraordinaire et plus que parfaite*), именно поцеловать у нее руку. Брюммер извещал также, что великий князь ничего не знает о приезде тетушки и сестрицы.

Жених ничего не знал о приезде невесты, а прусский король очень хорошо знал об этом и в конце декабря писал принцессе-матери, чтоб поскорее ехала в Россию, где для ее дочери готовится знаменитая судьба; хвалился, что мысль о браке между ее дочерью и наследником русского престола исходит от него; требовал сохранения величайшей тайны, так чтобы ни принц, ее муж, ни русский посланник в Берлине Чернышев ничего не знали об этом. Принцесса отвечала, что ставит себе законом повиноваться советам его величества; и только в одном случае не могла вполне им последовать – не могла скрыть цели своей поездки от мужа. Сам Фридрих так описывает свой взгляд на дело и свое участие в нем: «Из всех соседей Пруссии Русская империя заслуживает наибольшее внимание как соседка самая опасная: она сильна, она близка. Будущие правители Пруссии также должны будут искать дружбы этих варваров. Король употребил все средства для снискания дружбы России. Императрица Елисавета была намерена тогда женить великого князя, своего племянника, и хотя ее выбор не был еще решен, однако она всего более склонялась на сторону принцессы Ульрики, сестры короля (прусского); но саксонский двор желал выдать за великого князя принцессу Марианну, вторую дочь короля Августа. Ничего не могло быть противнее прусскому интересу, как позволить образоваться союзу между Россией и Саксониєю, и ничего хуже, как пожертвовать принцессою королевской крови, чтоб отеснить саксонку. Придумали другое средство. Из немецких принцесс, могших быть невестами, принцесса Цербстская более всех годилась для России и соответствовала прусским интересам. Ее отец был фельдмаршалом королевской службы, ее мать – принцесса Голштинская, сестра наследника шведского престола и тетка великого князя русского. Мы не войдем в подробности переговоров: довольно знать, что надобно было употреблять такие усилия, как будто дело шло о величайшем интересе в мире. Сам отец невесты противился браку: будучи ревностным лютеранином, какие бывали в первые времена реформы, он не хотел позволить своей дочери сделаться шизматичкою и согласился только тогда, как один священник, отличавшийся большою терпимостью, доказал ему, что греческая религия почти то же самое, что лютеранская. В России Мардефельд умел так хорошо скрыть пружины, которые он приводил в действие, от канцлера Бестужева, что принцесса Цербстская приехала в Петербург к великому удивлению Европы и была принята в Москве императрицею с явными знаками удовольствия и дружбы».

В этом рассказе очевидны преувеличения, старание выставить свое участие в больших размерах, чем как оно было на самом деле. Странно предположить, чтоб первая мысль об этом браке принадлежала прусскому королю, а не Брюммеру при известной преданности последнего к «герцогскому дому». Брюммер мог сделать Мардефельда поверенным своей тайны; но Мардефельду нечего было тут делать: все пружины приводились в действие Брюммером и Лестоком, да и много пружин приводить в действие было не нужно: в Елисавете была жива нежная память о покойном женихе, ей приятно было родную племянницу этого жениха иметь женою своего родного племянника; чувство было удовлетворено и ум также, потому что действительно при тогдашних европейских делах всего выгоднее было избрать невесту для великого князя из незначительного дома, которого интересы не могли иметь влияния на политические соображения; брак заключали в своей семье. Тайну было сохранить легко, ибо дело шло между тремя, четырьмя лицами,

одинаково заинтересованными в сохранении тайны. Что дело было вовсе не трудное, видно всего лучше из того, что Фридрих не умеет указать ни на одну трудность, кроме сопротивления отца невесты.

Как бы то ни было, 3 февраля 1744 года принцесса Цербстская с дочерью приехала в Петербург, а 9 февраля – в Москву. Исполняя советы Брюммера, принцесса поцеловала руку императрицы и сказала: «Повергаю к стопам вашего величества чувство глубочайшей признательности за благодеяния, оказанные моему дому». Елисавета отвечала: «Я сделала малость в сравнении с тем, что бы хотела сделать для моей семьи ; моя кровь мне не дороже вашей». Завязался оживленный разговор, который императрица вдруг прервала и вышла в другую комнату; потом принцессе сказали, что Елисавета, найдя в ней необыкновенное сходство с братом ее, не могла удержаться от слез и вышла, чтоб скрыть их.

Легко понять, как приезд цербстских принцесс неприятно поразил Бестужева, который незадолго перед тем лишился своего товарища Бреверна, умершего скоропостижно в январе. Принцесса-мать, естественно, обратилась к людям, в которых видела своих Друзей, покровителей, – к Брюммеру, Лестоку, Мардефельду, Шетарди, – а эти люди указали ей в Бестужева злого врага, которого она больше всего должна бояться. Таким образом, число врагов вице-канцлера увеличилось, и это увеличение произошло именно в то опасное для него время, когда враги употребляли все старания для его низвержения или по крайней мере ограничения его власти. В начале января Шетарди писал Амелоту: «Мы, Мардефельд, Брюммер, Лесток, генерал Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, их приверженцы и я согласились стараться произвести в канцлеры генерала Румянцева, который, будучи главным в коллегии, будет иметь силу сдерживать Бестужева. Если же это намерение не удастся, то надобно будет из Иностранной коллегии устроить совет или кабинет с таким числом членов, при котором вице-канцлер не мог бы всем завладеть».

Все эти движения против Бестужева происходили преимущественно в пользу Фридриха II, которому теперь было необходимо привлечь Россию в союз с собою или по крайней мере заставить ее быть нейтральной. Успехи Австрии в войне с императором Карлом VII и несостоятельность Франции, не могшей защитить своего союзника, возбуждали сильное беспокойство в Берлине, ибо если дать Австрии усилиться, то она не оставит Пруссию в покое, пока не отнимет у нее Силезии. Саксония в злобе на Пруссию и Францию за то, что они ее обманули, за то, что Пруссия, получив Силезию по Бреславскому миру, не помогла королю Августу получить никакой доли в добыче, – Саксония сблизилась с Австриею. Для того чтоб сдержать успехи Австрии и сохранить Силезию, Фридрих считал необходимым снова напасть на Марию Терезию под предлогом помощи, которую он обязан был подать императору. Но как взглянут на этот предлог в России? Чтоб здесь взглянули на него благоприятно, для Фридриха необходимо было уничтожить партию людей, которые толковали об опасных замыслах прусского короля, а в числе этих людей был Бестужев. Фридрих писал Мардефельду: «Осторожность и благоразумие требуют непременно, чтоб я предупредил врага (Австрию), который хочет меня предупредить. Я не вижу безопасности ни для себя, ни для империи, если дела останутся в том же положении, в каком они теперь. Если я должен буду воевать с одною венгерскою королевою, то всегда выйду победителем. Но для этого необходимое условие (*conditio sine qua non*) –

низвержение Бестужева. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и без вашего счастья; от ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома». В то же время Фридриху нужно было высвободить из-под влияния России Швецию, заменить здесь русское влияние прусским, чтоб в случае нужды употребить Швецию против России точно так же, как недавно употребила ее Франция. Для достижения этих целей в России и Швеции служили ему два брака: брак наследника русского престола на принцессе Цербстской и брак наследника шведского престола на его родной сестре Ульрике. Сам Фридрих говорит в своих мемуарах: «После того как императрица решилась выбрать принцессу Цербстскую в невесты великому князю, не было уже большого труда заставить ее согласиться на брак прусской принцессы Ульрики с наследником шведского престола. На этих двух браках Пруссия основывала свою безопасность».

Но у Фридриха была еще забота относительно России. Зная личное нерасположение Елисаветы к Австрии и Саксонии, он не думал, чтоб она решилась оказать деятельную помощь Марии Терезии и королю Августу против Пруссии; следовательно, для Пруссии было важно, чтоб русский престол остался за Елисаветою и за ее племянником, женатым на преданной Пруссии принцессе Цербстской; отсюда старание Фридриха II отнять у Брауншвейгской фамилии возможность получить опять русский престол, ибо австрийские симпатии этой фамилии были хорошо известны. Еще в конце 1743 года, разговаривая с Чернышевым о деле Ботты, Фридрих поручил посланнику переслать императрице искренний совет «удалить находящуюся теперь в Лифляндии Брауншвейгскую фамилию в такие места, чтоб никто не мог узнать, куда она девалась, и таким образом в Европе позабыли бы об ней; сделать это легко, потому что ни одна держава за нее не вступится» Шетарди писал Амелоту в январе 1744 года: «Мардефельд получил от своего короля указ требовать у царицы секретной аудиенции, открыть ей о близкой опасности, которая ей угрожает, просить ради бога подумать об ее отвращении, домогаться удаления Бестужевых и представить необходимость возвратить принца Антона Брауншвейгского в Германию, а жену и детей его разослать в разные места России, так чтобы ни одна живая душа не знала об их отъезде и куда они отправлены; иначе если принц Иван и его семейство останутся жить подле Риги, то Англия, Дания, венский двор и Саксония не замедлят исполнить свое намерение, на котором они основывают лучшие свои надежды. Такой совет царица могла получить только от отца родного, ибо если она поступает несправедливо и употребляет во зло свою власть, задерживая вольного принца (Антон Брауншвейгского), то здравая политика давно требует поступить именно так в рассуждении жены его и детей, число которых увеличилось рождением другого принца, как мне царица сказала по секрету. По моему мнению, совет короля прусского искренен, принимая в соображение страх его пред Россию: он знает слабость царицы и уверен, что в ее царствование русские будут иметь предпочтение». Отечественный совет был исполнен: Брауншвейгская фамилия переведена в Раненбург. В то же время Шетарди внушал своему правительству, что не надобно жалеть денег на подкупы, что кроме Лестока, которому он увеличил подарок, назначенный королем, на 2000 рублей, кроме двух дам надобно подкупить духовника императрицы и членов Синода по их влиянию на суеверную Елисавету.

В то время как Брюммер и Шетарди с компаниею так усердно подкапывались под Бестужева в надежде на помощь, которую им окажет принцесса Цербстская, вдруг в половине марта они были поражены страшным беспокойством: молодая принцесса опасно занемогла. О причинах болезни и ходе ее пусть расскажет она сама, потому что в этом рассказе мы впервые можем познакомиться с будущей Екатериною *Великой* (Catherine le Grand), в четырнадцатилетней девочке можем увидеть проблески той сильной воли и ясного понимания своего положения, которыми впоследствии отличалась знаменитая императрица. «В десятый день после моего приезда в Москву императрица уехала в Троицкий монастырь. Мне уже дали троих учителей: Симона Теодорского для наставления в греческой религии, Василья Ададунова – в русском языке и Лоде для обучения танцам. Чтоб скорее успеть в русском языке, я вставала ночью, и, когда все спали мертвым сном, я заучивала тетрадки, оставленные мне Ададуновым. Так как в комнате было тепло и я не имела никакой опытности насчет климата, то я занималась, как была в постеле, босиком. И вот на пятнадцатый день я схватила болезнь, от которой чуть было не отправилась на тот свет. В то время как я одевалась, чтоб идти с матерью обедать к великому князю, стало меня знобить. С трудом упростила я мать позволить мне лечь в постель. Когда она возвратилась с обеда, то нашла меня почти без чувств, в страшном жару и с нестерпимою болью в боку. Она вообразила, что у меня оспа, послала за лекарями и хотела, чтоб они лечили меня от оспы. Лекари утверждали, что надобно мне пустить кровь. Она не хотела об этом слышать, говоря, что брата ее уморили в России кровопусканием, тогда как у него была оспа, а она не хочет, чтоб и со мною то же случилось. Мать и лекари спорили, я лежала без чувств, в жару, стоная от страшной боли в боку, а мать бранила меня, зачем я так нетерпелива. Наконец на пятый день моей болезни приезжает императрица от Троицы, прямо из кареты в мою комнату и застает меня без чувств; с нею был Лесток и еще другой лекарь. Выслушав их мнения, она велела пустить мне кровь. Как только кровь пошла, я очнулась и, открыв глаза, увидала, что императрица держит меня в своих объятиях. 27 дней я была между жизнью и смертью; наконец нарыв в правом боку прорвался, и я стала выздоравливать. Я тотчас заметила, что поведение матери во время моей болезни произвело на всех очень дурное впечатление. Увидавши, что мне дурно, она хотела послать за лютеранским пастором; когда мне об этом сказали, я отвечала: „Это зачем? Позовите лучше Симона Теодорского, я охотно буду с ним говорить“. Призвали его, и он говорил со мною в присутствии всех, и все были очень довольны нашим разговором. Это очень расположило ко мне императрицу и весь двор. Императрица часто плакала обо мне».

По словам Шетарди, люди, неохотно смотревшие на брак великого князя с принцессою Цербстскою и желавшие видеть невестою наследника принцессу Саксонскую, имели неосторожность обнаружить свою радость во время болезни молодой принцессы Цербстской. Это сильно рассердило Елисавету, и она сказала Брюммеру и Лестоку, что приверженцы саксонского брака ничего не выиграют и если б она имела несчастье потерять такое дорогое дитя, то все же саксонской принцессы никогда не возьмет. Брюммер на случай несчастья имел в виду другую невесту для великого князя, принцессу Дармштадтскую на которую также указывал Фридрих II, на случай если Цербстская принцесса не поправится.

Молодая принцесса Цербтская выздоравливала, и подкопы под Бестужева продолжали вестись всеми способами. Император Карл VII возвел Разумовского, Брюммера и Лестока в графы Священной Римской империи; прусский король обласкал и одарил молодого брата Разумовского, Кирилла Григорьевича, который воспитывался в Берлине. Но гораздо важнее было привлечь на свою сторону человека более влиятельного, чем Разумовский, – Воронцова. Шетарди представил Брюммеру, Лестоку и Мардефельду что в настоящее время Воронцов пользуется полною доверенностью императрицы и поэтому не надобно упускать ни минуты для привлечения его на свою сторону, иначе Бестужев возьмет верх. Пусть Лесток, оставя личные отношения, объявит Воронцову, что он постоянно питал к нему дружеское расположение, но не мог иметь к нему доверенности, видя его преданным Бестужеву, злему врагу императрицы и голштинского дома. Таким заявлением легче будет открыть глаза Воронцову насчет вице-канцлера, а потом возбудить его честолюбие, указавши на возможность для него быть великим канцлером и употребить его орудием для низвержения Бестужева. Лесток и Брюммер объявили, что они с своей стороны готовы действовать в этом смысле, а Мардефельд, не теряя времени, отправился к Воронцову закидывать свои сети. «Я приехал к вам, – начал он говорить Воронцову, – чтоб открыть тайну моего сердца. Я не могу без сердечной боли выносить того положения дел, в котором находится Россия, и единственный способ помочь беде – это ваше вступление в министерство. Искренность ваших намерений и доброта вашего сердца будут вас руководить лучше и надежнее всякого знания и опытности в делах, и потому императрица найдет в вас помощь, которая отвратит приготовляемые ей опасности. Она нашла бы сильную помощь и в дружбе короля моего государя, но теперь нас стараются ссорить. Вице-канцлер явно объявил себя против нас, и я вам объявляю, что и я его более жалеть не буду. Объявляю вам, что, пока он один управляет иностранными делами, мой двор не будет иметь никакого доверия ко всему тому, что бы императрица ни делала и мне ни говорила». «Из этого выходит, – заметил Воронцов, – что его надобно отправить к какому-нибудь иностранному двору или определить больше членов в совет иностранных дел, а если я один с ним буду, то он и меня погубит, когда он такой человек, каким вы его мне описываете».

«Первый путь самый разумный, – отвечал Мардефельд, – но и во втором случае, кого бы вы ни определили, они всегда будут зависеть от вас, потому что вы пользуетесь доверием императрицы; сначала они помогут вам своею опытностью, а потом вы и без них можете обойтись. По своей дружбе к вам я обязан и то вам заметить, что вы должны упрочивать свое счастье; но может ли оно быть прочно в том случае, когда принцесса Анна опять вступит на престол, что легко может случиться при настоящем ходе дел. Может ли ваше счастье почитаться твердым и тогда, когда преемником императрицы будет великий князь? Поверьте, он вам не простит того, что вы были в тесной дружбе с неприятелем его дома; не верите мне – спросите великого князя самого. Таким образом, вы можете утвердить счастье свое и своих детей только старанием об утверждении престола императрицы и порядка престолонаследия, установленного ею в России и Швеции. Король мой государь уже почтил вас орденом Черного Орла, прислал вам портрет свой, украшенный алмазами; будьте уверены, что он этим не ограничится». Чтоб Воронцов мог увериться в истине слов Мардефельда, великому князю было

внушено сказать Воронцову, что Бестужев – враг голштинского дома и что об этом сказала ему сама императрица.

Но Бестужев, стоявший, по-видимому, одиноко пред своими врагами, имел в руках могущественное средство защиты: все эти депеши Шетарди были перехвачены, цифирь разобрана с помощью академика Гольдбаха, и вице-канцлер имел возможность поднести императрице при докладе все эти любопытные вещи с своими замечаниями и оправданиями. Так, против того места, где Шетарди писал, что он и приятели его надеются на помощь принцессы Цербстской, Бестужев заметил: «Неслыханное гонение и старание к невинному погублению вице-канцлера, так что французским двором король прусский побужден министра своего Мардефельда инструктировать обще с маркизом Шетардием стараться его, оклеветав, погубить, и как они безбожно поступают, что уже и чистою душою мутят, принцессу Цербстскую к тому же склонить, и когда на такое безбожество поступили, то, без сомнения, вероятно, что и его императорского высочества государя великого князя против его, вице-канцлера, толь наипаче преогорчили, и, в таком будучи грустном и печальном состоянии, только утешение на правосудие ее имп. величества, что всещедрым своим покровом не допустит его, вице-канцлера, невинным быть сакрифисом (жертвою)».

Шетарди писал, что Бестужев в ярости от приезда принцессы Цербстской и до того забылся, что сказал: «Посмотрим, могут ли такие брачные союзы заключаться без совета с нами, большими господами этого государства». Шетарди писал также, что Бестужев склонил на свою сторону московского архиерея, который стал представлять императрице незаконность брака великого князя на принцессе Цербстской по причине родства и указывать на другую невесту, принцессу Саксонскую. На это Бестужев заметил: «Какого зла в свете и вымыслить не можно, такое маркиз Шетардий с своими сообщниками Лестоком и Брюммером умышленно вице-канцлеру приписует. Сие их богомерзкое и вымышленное оклеветание удостоверительно доказать можно, когда ее имп. величеству высочайше угодно будет московского архиепископа или всякую иную духовного чина особу под клятвою спросить, учинено ли было ему или кому иному какое-либо ни есть от вице-канцлера о супружестве с принцессою Цербстскою внушение, или хотя по меньшей мере имел ли вице-канцлер с кем-нибудь из них какие партикулярные разговоры, наименьше же какие о сем соглашения».

В одной из своих депеш Шетарди выразился, что Бестужев и его партия показывают такую же ярость и против берлинского двора, какую против Франции. На это Бестужев заметил: «Правда, что вице-канцлер не больше верит прусскому, яко французскому двору, да оный же и опаснее французского по близости соседства и великой его умножаемой силе; однако же вице-канцлер ни против одного, ни против другого, хотя они обще его и погубить стараются, ни малейшей ярости не показывал, но токмо во всем присяжную свою должность исполнял». По поводу допроса лифляндца Штакельберга, который в Кенигсберге в гостинице дурно отзывался о России и предсказывал ей новую революцию, Шетарди писал, что кроме Ушакова они надеются назначить для допроса еще генерал-прокурора князя Трубецкого. Бестужев замечает: «По обыкновенной двора своего системе, яко иностранный министр, не токмо прибирая себе партии, во все внутренние дела мешается, но уже и до того приводит, чтоб и по делам Тайной канцелярии

вмешиваться: предается ее имп. величеству во всевысочайшее рассуждение, что наконец из того воспоследовать может?»

Шетарди хвалился, что он написал проект ответа, какой должен быть послан генералу Кейту в Швецию по тамошним делам, что пред собранием совета по иностранным делам он совещался с своими приятелями, как бы провести свой план, и план был действительно проведен с некоторыми прибавлениями. Бестужев замечает: «Что иностранный министр российско-императорскому генералу, а ныне яко и министру, ответ (чем указ разумеется) сам проектировал и сочинял, толь весьма непонятно, что о тех следствиях, которые из того воспоследовать могут, ум и разум их восходит рефлекцию учинить. О таком в свете неслыханном деле, чтоб от иностранного министра наставление принимать, как по его видам в советах поступать, еще примеру нет; а чему такие персоны, которые тайности открывают, достойны и какого впредь от такого собранного совету ее имп. величеству и государству пользы ожидать можно, во всевысочайшее рассуждение подвергается. Неслыханное в свете дело, чтоб в совете по проекту иностранного министра оканчивалось и все, что в оном прибавлено или происходило, ему точно известно. Генерал Кейт в сумнении будет, по каким указам ему исполнять: по отправленным ли из коллегии Иностранных дел или, как по Шетардиеву составлению, о сентиментах ее имп. величества ему знать дается». Шетарди писал, что Елисавета будет поступать вопреки собственным интересам, если не расстанется со своим вице-канцлером, который признает спасение России только в союзе с морскими державами, королевою венгерскою, королем Августом и их приверженцами, и без всякого зазрения объявил себя против Франции, короля прусского и против всего того, что держится французского и берлинского двора. На это Бестужев заметил в оправдание своей политики: «Древняя российская и толь паче государя Петра Великого система».

Но самое сильное оружие для себя Бестужев нашел в тех местах депеш, где Шетарди делает выходки против самой императрицы, будучи раздосадован тем, что Елисавета, обращаясь с ним как нельзя лучше, однако, не входит в его планы и не жертвует своим вице-канцлером в угоду франко-прусской партии. Шетарди жалуется постоянно на слабость Елисаветы, на ее лень, отвращение к делам; она, по его словам, принимает мнения своих министров только для того, чтоб избавиться от труда думать; доброта ее – доброта, дурно понимаемая и основанная всегда на слепой доверенности к другим. Елисавета имеет в виду одни удовольствия и желает мира для того, чтоб беспрепятственно им предаться и тратить на них деньги, поглощаемые войной. Любовь, чистый пустяк какой-нибудь, наслаждение переменять четыре или пять раз в день туалет, удовольствие видеть себя внутри дворца окруженною лакейством есть ее главное желание. Всякий человек выше тех, которые ее окружают ежедневно, уже ее беспокоит; мысль о малейшем занятии ее пугает и сердит. Лень и страх найти в новых министрах методу, не столько благоприятную для ее распущенности, заставляют ее удерживать при себе вице-канцлера и т.п. Все эти места из депеш были представлены Елисавете.

В мае императрица отправилась в другой раз к Троице, взявши с собою великого князя, обеих принцесс Цербстских, Лестока и Воронцова. Молодая принцесса заметила, что с некоторого времени императрица холодно обращается с ее матерью. Однажды у Троицы после обеда, когда великий князь пришел в

комнаты принцесс, императрица также вошла к ним и вызвала принцессу-мать в другую комнату, куда за ними пошел и Лесток. Великий князь и молодая принцесса уселись на окно дожидаться возвращения старших. Ждали очень долго; наконец является Лесток, подходит к великому князю и принцессе, которые чему-то смеялись, и говорит: «Ваше веселье сейчас прекратится». Потом, обратившись к принцессе, сказал: «Укладывайте ваши вещи, вы немедленно отправитесь восвояси». «Отчего это?» – спросил великий князь. «Узнаете после», – отвечал Лесток и вышел. Потом вошла императрица с рассерженным лицом, вся красная; за нею шла принцесса с красными заплаканными глазами. Когда при их входе великий князь и молодая принцесса спешили слезть с высокого окна, императрица рассмеялась, поцеловала их обоих и ушла.

В связи с этой сценой была другая. 6 июня рано утром, в половине шестого часа, на квартиру маркиза Шетарди явились генерал Ушаков, князь Петр Голицын, двое чиновников Иностранной коллегии – Веселовский и Неплюев – и секретарь коллегии Курбатов. Шетарди вышел к ним в парике и полушляфроке, и Ушаков объявил ему, что прислан по указу ее имп. величества для некоторого объявления. Это объявление было прочитано Курбатовым и заключалось в том, что Шетарди предписывалось выехать из Москвы в 24 часа. Шетарди потребовал доказательств, на которых основано объявление, и Курбатов прочел ему все экстракты из его писем, где он говорил о необходимости подкупать светские и духовные лица и дурно отзывался об императрице. Выслушавши экстракты, Шетарди сказал, что ему остается только исполнить волю ее величества, и *хотя он сожалеет о принятой ее величеством об нем резолюции, но когда она принята, то он с благодарением чувствует ту милость, с каковою ее величество ему соизволение свое объявить повелеть соизволила* ». «При происшествии всего вышеписанного, – говорится в рапорте Ушакова, – явно было, что он, Шетардий, сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменился. При прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова во оправдание свое сказать или что-либо прекословить мог. На оригиналы только взглянул и, увидя свою руку, ниже больше смотреть не хотел, будучи при всем том весьма смутен, и образ лица его, також и неокончаемые речи, и дрожащий голос, показуя его вину и робость, чтоб иногда больше с ним учинено не было, как то последние его, Шетардия, подчерченные слова сказуют. Яко же и видно было, что тяжчайшего с ним поступка по вине своей ожидал».

Бестужев в восторге писал Воронцову к Троице, посылая ему копию с ушаковского рапорта: «Из приложенной при сем копии ваше превосходительство усмотреть изволите благополучное окончание комиссии Андрея Ивановича Ушакова, чем имея честь поздравить, поистине доношу, что такой в Шетардии конфузии и торопости никогда не ожидали. Конфузия его была велика; не опомнился, ни сесть попотчивал, ниже что малейшее в оправдание свое принести; стоял, потупя нос, и во все время сопел, жалуясь не малым кашлем, которым и подлинно не может! По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько противу его доказательств было собрано, и когда оные услышал, то еще больше присмирел, и Оригиналы когда показаны, то своею рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел».

После Бестужева больше всех должен был обрадоваться английский посланник лорд Тироули, сменивший Вейча; он писал лорду Картерету: «Я не

имел покойной минуты, пока шло дело Шетарди, потому что поставлен был вопрос: кому победить – Англии или Франции? Когда мы открыли императрице его поступки и представили его не только опасным, но и с самой смешной стороны, то это очень скоро на нее подействовало. Цербстская принцесса, которую я прозвал *королевой-матерью* (это прозвище вице-канцлеру так понравилось, что он ее иначе не называл), кажется, предвидела падение Шетарди: говорят, что она за несколько дней перед тем плакала. Падение Шетарди уже было решено до поездки Елисаветы к Троице, а во время поездки поддерживал ее в этом намерении Воронцов. Теперь надобно смотреть, как подействует это происшествие на тех, с которыми он жил в тесной дружбе, – на Брюммера, Лестока, Трубецкого и Румянцева с женою».

Чрез десять дней он писал: «Главная цель наша теперь – продолжать подрыв, причиненный французским интересам высылкою Шетарди, и низложить окончательно французскую партию, особенно Лестока и Брюммера; надеюсь, что мы в том успеем, но на это нужно несколько времени. 16 числа (июня) я был у вице-канцлера, и он мне сказал, что сию минуту отправил курьера в Берлин и Стокгольм с указами его брату и посланнику в Швеции Любрасу не вступать более в переговоры о четверном союзе между Россией, Пруссией, Швецией и Францией, равно и о другом союзе, который предложен Мардефельдом, – о тройном союзе между Россией, Пруссией и Швецией, к которому должна была приступить и Франция; что цербстская принцесса после отъезда Шетарди убеждала императрицу заключить этот последний союз; но Елисавета заставила ее молчать, сказав, что ей вовсе не пристало вмешиваться не в свои дела, что на то есть министры, которые докладывают ей, императрице, о сношениях с другими державами. Я было хотел, – продолжает Тироули, – сберечь королю пенсию, которую Лесток так мало заслуживает, и говорил о том с вице-канцлером, но тот советовал для скртия подлинных моих о нем мнений продолжать выдавать пенсию». Потом, впрочем, Бестужев переменял мнение, опасаясь, чтоб Лесток не отказался от пенсии и не стал этим хвастать, тем более что Фридрих II распустил слух, будто Тироули привез в Москву 600000 червонных.

Принцессе Цербстской сделано было внушение не смешиваться не в свои дела; но Лесток напрасно напугал молодую принцессу, объявив ей, чтоб она укладывала свои вещи для возвращения на родину: императрица несколько не изменила относительно ее своих намерений. К концу июня архимандрит Теодорский должен был окончить свои наставления в вере. Принцесса Цербстская, мать, писала своему мужу в апреле: «Я подлинно могу засвидетельствовать, что их (т.е. православное) учение, кроме некоторых наружных церемоний, совершенно с нашим сходно, поклонение святым у них не приемлется, добрые же дела принимаются за знак веры». Принцесса-дочь писала отцу в мае: «Так как я не нахожу почти никакого различия между религиею греческою и лютеранскою, то я решилась переменить исповедание». 28 июня было совершено миропомазание принцессы, названной Екатериною Алексеевною. В «Петербургских ведомостях» помещено было такое известие из Москвы по этому случаю: «Ее высококняжеская светлость принцесса Ангальт-Цербстская, будучи по сие время ежедневно наставляема от некоторого архимандрита в православном исповедании греческие веры, сего дня пред полуднем в здешней придворной церкви, в высочайшем присутствии ее имп. величества и его имп.

высочества государя великого князя, при собрании всего духовенства, генералитета и знатнейших придворных персон приняла публично исповедание православного греческого закона; после чего от преосвященного архиепископа Новгородского св. миром помазана и именована Екатерина Алексеевна. По совершении сей церемонии ее имп. величество пожаловала светлейшей принцессе аграф и складень бриллиантовый ценою в несколько сот тысяч рублей. Впрочем, невозможно описать, коликое с благочинием соединенное усердие сия достойнейшая принцесса при помянутом торжественном действии оказывала, так что ее имп. величество сама и большая часть бывших при том знатных особ от радости не могли слез удержать».

На другой день, 29 июня, в день именин великого князя, последовало обручение его с Екатериною Алексеевною, которая получила титул великой княжны. По этому случаю мать ее писала: «Ее имп. величество имела намерение посадить меня за обед вместе с собою и молодою четю под балдахином; но отъявленный враг, которого мы имеем в ее совете и для которого весь этот день был невыносим (Бестужев), или будучи столь глупым и вообразив, что я буду сопротивляться и этим сопротивлением навлеку негодование императрицы, или желая нанести удар моему тщеславию, привел в действие столько пружин, что посланники заявили претензию обедать вместе с императрицею под балдахином в шляпах, если я буду там обедать, ибо они могут уступить место только великому князю и его невесте, а что касается до меня, то они должны идти впереди». Вследствие этого принцесса обедала одна на хорах.

26 июля великий князь с невестою и ее матерью отправились в Киев, а на другой день отправилась туда же сама императрица и возвратилась в Москву 1 октября. В этом путешествии ее сопровождал новопожалованный вице-канцлер и новопожалованный граф Священной Римской империи Воронцов, а Бестужев, пожалованный в канцлеры, оставался в Москве. Доходы Бестужева были недостаточны для поддержания с честью его нового достоинства, и потому он обратился к императрице с просьбою пожаловать ему земли в Лифляндии, приносящие 3642 ефимка годового дохода. По этому случаю он писал Воронцову, что если императрица не исполнит его просьбы, то он принужден будет «в старую деревянную конуру влезть, держать там по-прежнему с иностранными министрами конференции, да и при случае императорским столом их трактовать».

Но гораздо важнее для нас переписка его с Воронцовым по поводу дел иностранных.

Легко понять, какое впечатление должна была произвести на французский двор высылка Шетарди. В Париже в это время уже не было более Кантемира: он умер 31 марта, оставив дела в ведении секретаря Гросса.

30 июня Гросс объявил управлявшему иностранными делами С. Флорантэну, что Шетарди покусился не только подкупать светские и духовные лица, но осмелился даже бесстрашным и дерзостным образом описывать ее императорское величество и поносить, что дало императрице право поступить с ним как с простым провинившимся иностранцем. При этом императрица надеется, что король не только не одобрит поступка Шетарди, но признает умеренность и снисхождение ее величества в том, что она не захотела воспользоваться положением Шетарди как человека, не имевшего никакого дипломатического характера, и потому будет продолжать дружбу с Россиюю; императрица же с своей

стороны готова отвечать тем же, готова во всяком случае оказывать его величеству внимание и особенное почтение: С. Флорантэн, перебивая несколько раз речь Гросса, отвечал, что Шетарди до сих пор считался человеком благоразумным, значит, неприятели его наконец успели одержать победу. Гросс заметил, что императрица поступила так с Шетарди не по чьей-либо клевете, но на основании оригинальных его писем, и сам он в оправдание свое ничего привести не мог; когда ему сделано было объявление о решении императрицы, то он изменился в лице, пришел в величайшее смущение, считая себя счастливым, что с ним так великодушно поступили. С. Флорантэн возразил, что перемена в лице не всегда знак виновности: она может произойти от удивления; что с Шетарди поступили изменническим образом, взявши у него ключ к цифрам. Гросс отвечал на это, что ключа не брали, но нашелся способ иметь его.

Но в России перестали теперь обращать главное внимание на Францию. Бестужев объявлял прямо, что Пруссия опаснее Франции «по близости соседства и великой умножаемой силе».

Мы знаем, что в Берлине в это время находился в качестве чрезвычайного посланника брат канцлера граф Михайла Петрович Бестужев-Рюмин; он так доносил (от 28 июня) о впечатлении, какое произвела в Берлине высылка Шетарди: «Когда я графу Подевилльсу о сем деле пристойное объявление учинил, а он письменную декларацию читал, то по лицу и разговорам его признать можно было, что сия ведомость его потревожила и ему весьма чувствительна была, ибо он мне притом такие вопросы чинил, которые, как мне кажется, тогда и гораздо неприличны были, а именно: подлинно ли маркиз де ла Шетарди выехал, не оставил ли он по себе какого секретаря и будет ли путь свой продолжать через Берлин? На это я ему ответствовал, что оному из вашего императорского величества империаума действительно выехать велено, а чтоб по нем остался какой секретарь, мне о том неизвестно; неизвестно также и то, чрез какие места он поедет, потому что в этом его воля. Потом за обедом у саксонского министра Бюлау Подевилльс никак не мог себя принудить, чтоб скрыть, как прискорбно ему было известие о высылке Шетарди, так что сидевшие за столом могли это приметить. Второй государственный министр, фон Борк, принял известие спокойнее и сказал, что французы так уже привыкли: кто даст им один палец, то они непременно захотят взять и всю руку. Впрочем, вашего императорского величества великодушие и умеренность в отношении к Шетарди, виновному в таких предерзостных и важных преступлениях, здесь все довольно выхвалить не могут и признают, что оказанная в сем деле особливая твердость и мудрый поступок к бессмертной славе и к наивысшему прославлению вашего императорского величества и особенно к наибольшему респекту и консидерации при всех европейских дворах служить могут. Что прусский двор в интригах Шетарди имел немалое участие, тому доказательством быть может следующее: 1) я уведомлен, что король был очень озабочен известием о Шетарди, ибо ожидал совершенно других вестей; здесь огорчены не тем, что Шетарди выслан из России, но тем, что он не успел в своем намерении и такая сильная партия не могла низвергнуть министерства. Если барон Мардефельд далеко вмешался с Шетарди в деле и от вашего величества будет принесена на него жалоба, то со стороны короля не будет никакого затруднения относительно его отозвания из Петербурга. Из этих сообщений видно, что Мардефельд с Шетарди действовал

сообща; 2) генерал Любрас, которому король оказывает особенную ласку, сказывал мне, что король спрашивал его, нет ли в России какого нового заговора, ибо он получил известие, что там еще неспокойно, все находится в великом волнении, и по прошествии трех или четырех дней он надеется с варочным курьером получить известие о некотором важном событии, причем король внушал, что британский посол привез для этого 200000 фунтов стерлингов. Вчера некоторые из моих старых знакомых и друзей дали мне знать, что они чрезвычайно рады высылке Шетарди, ибо теперь они могут надеяться, что король их останется в покое, чего здесь все желают. Из таких разговоров легко можно видеть, как здешний двор боится России, которая одна только может удержать прусского короля от дальнейших замыслов».

От 14 июля Бестужев прислал следующее любопытное донесение: «Приезжал ко мне тайный советник фон Рот и говорил мне именем королевским, как его величество мною доволен, но не доволен братом моим: 1) зато что все русские министры при иностранных дворах с прусскими министрами обходятся не откровенно; 2) за то что вице-канцлер препятствует заключению тройного союза между Россией, Пруссией и Швецией. При этом говорил, что Англия хвастает, будто ее посланник повез с собою 600000 червонных для подкупа вице-канцлера и других и будто эти деньги отданы вице-канцлеру на раздачу. Король велел все это мне объявить, чтоб я частным образом относился к брату с таким обнадеживанием, что если он не будет противиться видам его величества, то король обоих нас будет благодарить и при первом случае сам об этом со мною будет говорить, что третьего дня и действительно случилось. Позван я был на бал и ужин с прочими иностранными министрами к королеве, где и король присутствовал. Его величество подошел ко мне и стал говорить очень тихо, чтоб никто не слышал; говорил то же самое, что и фон Рот, только с тою разницею, что английский посланник лорд Картерет хвастал, будто 100000 гиней переведено в Россию для составления партии и будто эти деньги даны моему брату для раздачи кому заблагорассудит. Я отвечал, что, быть может, Англия и хвастает, о том не спорю; но трудно поверить, чтоб такие деньги отданы были брату моему, и если бы это было правда, то брат мой заслужил наихудшее наказание. Я спросил, угодно ли его величеству, чтоб я обо всем этом донес моей государыне. Король отвечал: я вам это говорю не для того, ибо я вмешиваться и компрометировать себя не хочу, но отпишите частным образом к брату своему, остерегите его, чтоб он знал, каков английский двор, вразумите его, чтоб он был ко мне доброжелательнее».

Фридриху II было очень нужно, чтоб русский канцлер был к нему доброжелательнее. Успехи австрийцев в Эльзасе заставили его начать войну ранее, чем он хотел. Его план состоял в том, чтоб вторгнуться разными путями в Богемию, но для этого нужно было пройти чрез саксонские владения. Так как прусский король объявлял, что он начинает войну только для того, чтоб подать помощь императору Карлу VII, то последний прислал грамоту курфюрсту Саксонскому, требуя свободного пропуска союзных прусских войск; но Фридрих II не стал дожидаться разрешения саксонского правительства и ввел свои войска в его владение, направляясь на Прагу; Август III протестовал против такого нарушения своей территории, но понапрасну; легко понять, какое впечатление произвел этот поступок прусского короля на союзников Марии Терезии.

Уведомляя свой двор о новых движениях прусского короля против Австрии, Бестужев писал от 21 июля: «И при нынешнем своем состоянии Пруссия представляет для своих соседей немалую опасность; а если король по известному своему старанию распространять свои границы при каждом удобном случае еще более себя усилит, то по влиянию, какое он тогда получит в Польше и Швеции, станет очень опасен для России; таким образом, не только вашего величества интерес, но и безопасность настоящая и будущая требует не допускать здешний двор до большего усиления, тем более что одна Россия в состоянии это сделать, и, по моему мнению, в таком важном деле надобно заблаговременно принять меры, ибо когда время упустится, то пособить уже будет некогда». Вслед за тем Бестужев писал: «Ваше величество усмотреть изволите, в каких гордых терминах, и полагаясь только на свою силу, здешний двор нынешний свой „мироломный демарш“ неосновательными резонами пред беспристрастным светом оправдать ищет; все сие осязательно покажет, сколь мало впредь на здешние обязательства и трактаты полагаться можно».

Указывая постоянно на страшное приращение прусских сил, Бестужев писал: «Когда я еще в молодых моих летах здесь в академии был, то помню, что в то время дед нынешнего короля более 20000 войска не имел; покойный король увеличил его до 80000, а нынешний до 140000, и если еще границы свои распространит, то доведет до 200000. Хотя король прусский старается всевозможными ласкательствами ваше величество усыпить и тем отвратить от принятия какого-нибудь участия в нынешних европейских делах; но как скоро достигнет своей цели, приобретет еще что-нибудь, то, уже не говоря о том, что может присоединить к своему государству и польскую Пруссию, получит в Польше и Швеции по свойству и соседству великое влияние, а потом по честолюбивым своим видам, может быть, будет стараться посадить одного из своих братьев на польский престол, и не только сам, вместе с Франциею будет хлопотать, чтоб привести Россию в прежние границы, но не преминет возбудить против нее шведов и поляков. Я слышал заподлинно, что когда кто-то спросил короля, не будет ли настоящему предприятию препятствия со стороны России, то король отвечал: „Я от России так безопасен, как младенец во чреве матери“. В том же смысле Бестужев писал и брату своему канцлеру: „При нынешнем уже позднем времени года думаю, что всего лучше напугать здешний двор и удержать от нападения на Австрию сильными представлениями с моей стороны и разглашением, что наш двор намерен дать королеве венгерской должную по союзному договору помощь и велено войскам готовиться к походу, также и козакам (которых здесь сильно боятся). По обязательствам нашим к Австрии и по собственному нашему интересу необходимо принять меры, соответствующие чести и достоинству императрицы, тем более что здешний двор играет договорами и по своему принципу ничего не считает святым и ненарушимым: с такою наглостью и пренебрежением разорвал он Бреславский договор, гарантированный Россиею и Англиею; здесь вошло в обычай нападать на своих союзников в то самое время, когда их обнадеживают в непременной к ним дружбе; мне, mon cher frere, кажется необходимым, что если у нас еще никакой прямой системы не принято, то чтоб вы теперь вместе с товарищем своим, принявши твердую и самую полезную для России систему, составили план и по нему поступали. На сих днях граф Подевильс дал мне знать, что король ему сказывал,

будто я его обнадежил, что наш двор в нынешние европейские дела мешаться не будет. Я отвечал, что я такого обнадеживания королю никогда не делал и не мог делать, не имея указа от своего двора. Это недоразумение могло произойти оттого, что когда король говорил со мною об обманах английского двора и как австрийский двор обманул нас Белградским миром, то прибавил: я думаю, что ваш двор в настоящие европейские замешательства впутываться не будет? Я отвечал, что мне намерение ее величества вовсе не известно, а впрочем, мой двор желает, чтоб тишина на севере нарушена не была. Я пишу вам об этом потому, что вам известно, как здесь умеют затевать и запираются“.

В Лондоне 9 августа лорд Картерет сказал князю Щербатову: «Король прусский снял маску, начал делать насилия курфюрсту Саксонскому и наступать на королеву венгерскую вопреки Бреславскому договору. Представьте императрице, чтоб изволила обратить внимание на такие поступки короля прусского и по силе союзов с другими державами немедленно предпринять меры для недопущения его усиливаться новыми завоеваниями, ибо это усиление может быть вредно и самой России». В сентябре сам король говорил Щербатову «с сильнейшими изображениями», как много нынешние европейские дела зависят от решения русской императрицы, как легко она может их поправить, остановив движения короля прусского. Но еще до получения этих внушений, 11 августа, Бестужев писал Воронцову в Киев «о нечаянных и вредных поступках» короля прусского.

«Вспомните только, – писал канцлер, – что я толикократно вам об нем говорил, и исследуйте оное зрело, то вы найдете, что я правду сказывал. А когда и ее имп. величество труд воспрять соизволит оное всевысочайше припамятовать, еже я почти всегда, когда счастье имел со всенижайшими докладами быть, представлял, то я уверен нахожусь, что ее имп. величество сама всемиловитивейше признает, что я не напрасно всегда говаривал, что королю прусскому много верить ненадобно и что его поведение и поступки натуральнейшим предметом и наидостойнейшею аттенциею нашему отечеству быть имеют. Сей король, будучи наближайшим и наисильнейшим соседом сей империи, потому натурально и наиопаснейшим, хотя бы он такого непостоянного, захватчивого, беспокойного и возмутительного характера и нрава не был, каков у него суще есть, и хотя бы мнения и действия его так известны не были, как об оных ныне весь свет знает по всему тому, еже оный в краткое время его правительства видел. Он первым начинателем злоключительной войны в Германии был. Сия война худою верою с наиласкательнейшими дружбы и вспоможения обнадеживаниями начата и с такою же худою верою окончена: сей принц прекращением оной Францию, императора и короля польского, курфюрста Саксонского, учиня партикулярный мир, в жертву предал и тем себе Шлезию приобрел. По заключении и восстановлении Бреславльским трактатом мира ваше сиятельство сами знаете, с каким чрезвычайным рачением и с коликим притворством он здесь о приступлении ее имп. величества к сему трактату домогался. Едва оное с здешней стороны воспоследовало, то он сей трактат паки добровольно без всякой причины (преступя данное свое слово ни прямым, ни посторонним образом в войну не вмешиваться) нарушил. Можно ли после сего такому принцу веру отдавать, который свои обещания наиторжественнейшие, трактаты и обязательства столь мало держит? Чего другие державы от того себе обещать могут? И чего мы

ожидать имеем, когда сему всегда новыми проектами наполненному принцу понравится с нами таким же образом поступать? Ее имп. величества честь и слава требуют принятые с союзниками своими обязательства ныне исполнить. А хотя бы ее имп. величество таких обязательств и не имела, то, однако ж, интерес и безопасность ее империи всемерно требуют такие поступки, которые изо дня в день опаснее для нас становятся, индеферентными не поставлять, и ежели соседа моего дом горит, то я натурально принужден ему помогать тот огонь для своей собственной безопасности гасить, хотя бы он наизлейший мой неприятель был, к чему я еще вдвое обязан, ежели то мой приятель есть. Ее величество тем соблюдет славную систему государя Петра Первого, которая нашему отечеству толико блага принесла. Сие ее империю в такой кредит приведет, что никто впредь не осмелится оную задрать; сверх же того мы сим других держав дружбу себе приобретем, еже для предку всегда весьма нужно есть. Коль более сила короля прусского умножается, толь более для нас опасности будет, и мы предвидеть не можем, что от такого сильного, легкомысленного и непостоянного соседа толь обширной империи приключиться может. Те новые союзы, которые помянутый король супружеством принца-наследника с его сестрою в Швеции учинил, достойны всякого примечания, и ваше сиятельство из взятых с собою протоколов об учиненных мною всенижайших докладах довольно усмотрите, колико я ее имп. величеству представлений чинил, что такое супружество Всероссийской империи чрез долго или коротко предосудительно быть может... Польза и безопасность империи в том состоит, чтоб своих союзников не покидать, а оные суть морские державы, которых Петр Первый всегда соблюдать старался, – король польский, яко курфюрст Саксонский и королева венгерская – по положению их земель, которые натуральный с сею империю интерес имеют».

Воронцов отвечал приятными известиями, что присланный в Киев к императрице от Августа III граф Флеминг был принят очень благосклонно и сама Елисавета сказала ему на прощание: «Обнадежьте его величество, что я всегда верною и истинною его союзницею пребывать и в случае какого нападения на его земли скорою помощью поспешить не оставлю». Воронцов прислал также копию с своего мнения об иностранных делах, которое он подал императрице, и это мнение оказалось совершенно согласным со взглядами Бестужева.

В своем мнении Воронцов предполагает, что Фридрих II имеет тайные виды – завоевать Богемию и поделить ее с императором: «В таком усилении короля прусского и что он хитрый, скрытный и конкерантный нрав имеет, кто порукою по нем есть, что он против России ничего не предприимет? Буде станет против Польши действовать и не токмо отбирать пристойные к себе города и земли, но и, конфедерации заведя, короля польского с престола свергнет и такого властью и силою своею посадит, от которого сам в покое останется, а против России всякие неоконченные еще споры и претензии на Украину, Смоленск и Лифляндию производить и тем беспокоивать; тогда что будем делать? Ежели сему препятствовать, то без помощи других держав одним не управиться, да и не поздно ли уже будет начинать препятствовать, когда никто из посторонних держав в состоянии не будет сопротивление сделать? К сему ж прибавить можно, что шведы и датчане против нас спокойны останутся ли? И тако ежели во всех сих предприятиях королю прусскому помешательства не делать, то какие от того произойти могут несчастья и конечное потеряние Лифляндии и прочие опасности,

о том и вздумать страшусь. Теперь подумать надобно, что не токмо по наущениям французским и прусским для облегчения своим войскам (и ежели подлинно осведомимся, как объявляют, что король прусский посылал нарочного эмиссара в Турки для заключения альянции и возбуждения против королевства Венгерского и России войны), и сам салтан турецкий, и персияне не упустят полезной для себя конъюнктуры, чтоб в войну не вмешаться и против России не начать, дабы оную со всех сторон поубавить, тогда каким образом себя оборонять можем? Когда все дружеские державы, как выше упомянуто, в несостояние приведены будут и помощи дать не возмогут, тогда по человеческому разуму никакого спасения уже иметь не видится. И хотя ваше имп. величество персонально от злого намерения и поступков мерзкого Ботты немало огорчены находитесь; токмо для общего интереса государства вашего сие падение дома королевы венгерской допустить весьма опасно в рассуждении том, что в случающихся весьма часто непостоянных переменях европейских, к тому ж и для чинимой диверзии войсками своими какой-либо войны с турецкой стороны она нужна для России, быть может, тем наипаче, что все сии усиления и аванжажи, которые короли прусской, испанской, французской и цесарь и еще некоторые другие немецкие малые князья в нынешней войне получают; оные все вашему имп. величеству спасибо никто не скажут, только явную оплошность все признают и, наконец, все вышеписанные несчастья, конечно, наводить не оставят, для того что они на великую силу России с немалою завидливостью смотрят и все всячески того ищут, чтоб в прежние границы оную привести и чтоб такой силы и помешательства впредь делать отнюдь в Европе и нигде иметь не могла». Воронцов предлагал следующие меры: 1) поставить себя в неоплошную позитуру, расположить на границах Лифляндии и Польши значительное войско, после чего императрица объявит себя посредницею между воюющими сторонами; 2) войти в соглашения с русскими союзниками, пригласив и Голландию; чтоб союзники «не увалили всю тягость на Россию, надобно установить план действия»; 3) русский посланник в Польше должен внушить королю и магнатам, что императрица готова помочь им в случае нападения на их области или в случае составления конфедерации.

Бестужев был в восторге от этого мнения. «Я в приятное удивление приведен, – писал он Воронцову, – что ваше всеусердно-рабское рассуждение по причине нынешних европейских замешательств не токмо с моим, но и со мнением прочих нашей коллегии членов толь точно сходствует, что мы все вместе ничего лучше и с интересами, славою и честью ее имп. величества сходственнее сочинить не могли б... И ежели сей заносчивый сосед (я думаю, король прусский) немного усмирен не будет, то мы его, как ваше сиятельство зрело рассуждаете, чрез долго или коротко в нашей Лифляндии с вящшею силою, нежели у него теперь есть (хотя он уже и так весьма опасен), увидели б». Бестужев указывал на Швецию, Воронцов – на Польшу: и здесь, и там нужно было, по их мнению, бороться с интригами прусского короля.

Еще в конце 1743 года отправлены были в Стокгольм деньги на содержание русского войска, чтоб отнять у недовольных причину жаловаться на лишние тягости. Генерал Кейт, имевший по отъезде Корфа назад в Копенгаген и дипломатическое поручение, передал своему двору известие о впечатлении, произведенном в Стокгольме щедростью императрицы: наследник сказал ему, что он считает русскую государыню единственною виновницею своего благополучия,

и последняя щедрота утверждает его на том месте, на которое возведен ее величеством. Сам король с радостным видом сказал Кейту, что императрица изволит жаловать к новому году богатые подарки и что трудно найти благодарные слова, соответствующие ее милости, но что он, находясь с младенчества в военной службе, теперь, несмотря на старость, чувствует в себе довольно силы отслужить шпагою за милость императрицы, лишь бы только представился для того благоприятный случай, что вместе с ним вся Швеция вечно будет обязана императрице и никогда не забудет оказанной себе милости. Сенаторы говорили, что теперь зажметя рот зломыслящим, которые перетолковывали в дурную сторону присылку русского вспомогательного корпуса. Кейт писал, что присылка денег так же важна, как и присылка войска, ибо чрез присылку денег от Дании отпадет большая часть ее приверженцев, а только на них-то она и могла надеяться, если бы вздумала напасть на Швецию.

Но в то же время в Петербург пришла не очень приятная весть из Стокгольма: король объявил Кейту о намерении наследного принца вступить в брак с сестрою прусского короля, требуя согласия на то императрицы. Сам наследный принц обратился письменно к императрице, «как сын к матери», с просьбою о согласии на этот брак, который «совпадает с его расположением к берлинскому двору». Елисавета в январе 1744 года отвечала: «Сие дело такой природы есть, что оное главнейше зависит от собственного вашего королевского высочества благоизобретения и согласия его королевского величества и шведских государственных чинов; тако нам все то, еже к наивысшему вашему благосостоянию и укреплению между его величеством и вашим высочеством отеческих и сыновних сентиментов служить может, приятно и угодно будет». Родственный союз наследного принца с берлинским двором мог казаться тем опаснее, что со стороны шведского народа нельзя было ожидать доброго расположения к России, почему и наследный принц для приобретения народной любви мог подвергаться сильному искушению стать неблагодарным к своей благодетельнице, тем более что дела с Даниею улаживались. 1 апреля Кейт писал, что Гилленборг и Нолькен уже спрашивают, когда русский вспомогательный корпус намерен возвратиться в отечество; в народе стали поговаривать, будто императрица хочет оставить два или три полка наследнику вместо гвардии. Эти толки, по мнению Кейта, пошли от недоброжелателей, которым хочется внушить народу, что наследный принц, не доверяя шведам, намерен для своей безопасности держать чужое войско. Кейт доносил, что в Швеции две господствующие партии – французская и английская, из которых первая сильнее второй, заключают в себе большую часть дворянства и почти всех горожан; духовенство разделено между ними почти поровну, а крестьяне еще не совсем отстали от мысли соединения с Даниею. «Из всех сих факций, – писал Кейт, – я не могу сказать, чтоб которая совершенно интересы вашего имп. величества наблюдала; король невеликую партию имеет, которая ничего важного учинить не в состоянии. Что ж, ваше имп. величество, повелевать мне изволите искусным образом внушить о дальнейшем пребывании здесь корпуса войск императорских, то по истине сие есть струна, наивысочайшей осторожности подлежащая; всенижайше дозволения прошу оное внушение на несколько времени поудержать, кое время свободно проволочь можно будет чрез распорядки, сними по их же воле учиняемые. Я в состоянии буду до конца мая месяца, не подавая нималого шведам

сумнения, посадение войск на галеры проволочь, и в случае вашего имп. величества соизволения, чтоб здесь оному корпусу дале пробавиться, тогда претекст недостатка провианту может мне служить причиною ожидать здесь оного из России присылки».

Мир между Швециею и Даниею был заключен окончательно, и шведское министерство обратилось к Кейту с внушением, что русские войска, теперь более ненужные, могут отправиться из Швеции – хорошо, если уйдут до жатвы, а еще лучше до сенокоса, – и когда Кейт объявил, что ежечасно ожидает присылки провианта, то министерство обязалось немедленно выдать провиант из своих магазинов; когда же Кейт объявил наследному принцу, что получен указ императрицы о выходе русского войска из Швеции, то принц отвечал: «Очень рад, потому что долгое ваше здесь пребывание народ приписывает мне и начал уже на меня роптать».

Кейт должен был оставить Швецию вместе с русским войском, и чрезвычайным министром в Стокгольм был назначен генерал Любрас, участвовавший в Абовском конгрессе и, как видно, неприятный и подозрительный Бестужеву, следовательно, надобно заключить, что его назначение было делом противной канцлеру партии. Любрас поехал через Берлин, откуда от 25 июня писал императрице о разговоре своем с королем. Фридрих II объявил ему, что он очень беспокоится насчет русского двора, ибо императрица подвергается многим противностям и опасностям от замыслов злостных и неверных людей. В том же донесении Любрас писал, что он был у короля в Потсдаме двое суток и имел с ним долгие разговоры, о содержании которых донесет впоследствии. На это Бестужев заметил: «В двой сутки не одумался писать, что с ним король разговаривал, а может быть, что ведомость о Шетарди и „всю реляцию Любраса отменит“».

Наконец реляция Любраса пришла от 28 июня: король повторял, что он сильно беспокоится о делах при русском дворе; но какие бы интриги ни производились, лишь бы только императрица могла удержаться на престоле. «Я наверно знаю, – говорил Фридрих II, – что теперь при дворе и в народе такое сильное волнение, что скоро что-нибудь нечаянно должно выйти наружу. У меня в руках доказательство, что лорд Тиравлей имеет у себя больше 600000 червонных для подкупа. Я с нетерпением ожидаю своего курьера. Что у вас в министерстве? Кто будет великим канцлером?» Фридрих нарочно напугивал русский двор, чтоб он не мешался в европейские дела; ибо всего более боялся этого вмешательства, всего больше продолжал бояться нерегулярных русских войск и потому расспрашивал Любраса о козаках и калмыках.

Из Берлина Любрас отправился в Копенгаген, где датский король говорил ему: «Римская империя находится в плохом состоянии, и если король прусский будет продолжать прежнее поведение, то не только многим имперским князьям предстоит близкая гибель, но и все соседи подвергаются опасности нападения, если заблаговременно не приведут себя в оборонительное состояние. Прусский король одного за другим поглотает, а тогда черед дойдет и до сильнейших, чего и Россия имеет основательную причину ожидать». Любрас сказал на это, что если его величество сам сознает необходимость восстановления спокойствия общего, и особенно на севере, то, разумеется, и будет содействовать этому сильнейшим образом. Король отвечал: «Буду содействовать этому всеми силами, и главное

средство здесь – постоянное доброе согласие между Россией и Даниею, от чего зависит и истинный интерес обоих государств; все зависит от императрицы». На прощание король повторил, что его искреннейшее желание быть с императрицею в добром согласии, и со слезами на глазах, смотря на небо, прибавил: «Кто внушает императрице иное, тот ей недоброхот».

В Стокгольм приехал Любрас только 25 октября и в ноябре уже доносил, что французская партия сильно увеличилась и ежедневно умножается по прибытии из Пруссии кронпринцессы; французский посланник Ланмари действует в Стокгольме и провинциях свежими, недавно полученными деньгами, чтоб к сейму своих креатур заготовить. Скоро Любрас донес также, что от прусского посла сделано предложение оборонительного союза между Пруссией и Швециею, но что король велел наперед дать знать об этом русскому двору. Наследный принц обнадеживал Любраса, что будет изо всех сил стараться не допускать ничего, что могло бы быть противно воле императрицы: это будет его постоянным правилом. Любрас начал толковать с сенаторами патриотической (т.е. русской) партии, что если Швеция будет в постоянной дружбе с Россией, то ни от кого никогда неприятельского нападения ожидать причины не имеет, а следовательно, и нет ей нужды в постороннем оборонительном союзе; а если прусский король вследствие продолжающихся германских смут подвергнется от кого-нибудь нападению, то Швеция принуждена будет в этой войне принять союзническое участие. Патриотические сенаторы, разумеется, были одного мнения с Любрасом; но, когда он стал делать свои представления наследному принцу, тот отвечал, что по обнадеживанию от прусского двора союз этот имеет главною целью поддержать его, принца, на шведском престоле и будет обязателен только по окончании настоящей войны в Германии. По мнению Любраса, «оное токмо для одного амюзирования инсинуировано».

В таких обстоятельствах члены русской партии требовали, чтоб Россия как можно скорее заключила союзный договор с Швециею, чтоб предупредить Францию и Пруссию; и здесь главное затруднение состояло в том, что Швеция не могла без субсидий заключить ни с кем союзного договора, а для России было тяжело платить субсидии. В половине декабря Любрас извещал, что с помощью французской и прусской партий в провинциях являются эмиссары, которые назначаемых на будущий сейм депутатов уговаривают ввести самодержавие, внушая, что бедственное состояние Швеции происходит главным образом от республиканских учреждений и необходимого их следствия – несогласия: войско и крестьяне особенно к этому склонны, между мещанами многие того же мнения, а к этим чинам обыкновенно пристаёт и духовенство; кронпринц, посаженный женою и приверженцами самодержавия, будет благоприятствовать этому делу, а не препятствовать ему, он уже добыл себе полковничий чин в гвардии. Мелкое дворянство желает самодержавия, богатое одно не желает; но, во-первых, его немного, потом и оно желает усиления королевской власти, именно как было при Густаве Адольфе, только чтоб король не мог объявлять войны, заключать мира, налагать податей, что должно остаться во власти чинов. Любрас, признавая эту перемену, весьма предосудительную интересам России, предлагал внести в союзный договор условие, чтоб настоящая форма шведского правительства оставалась нетронутою, а чтобы шведам было не обидно, требовать и с их стороны гарантии настоящего образа правления в России.

Что касалось польских дел, то в продолжение 1742 и 1743 годов ко двору Елисаветы приходили постоянные жалобы русских людей в польских владениях на гонения от католиков. Несколько раз Кейзерлинг жаловался министрам и самому королю, и все понапрасну. В конце 1743 года он старался «живо представить» королю, что совесть русских людей, находящихся в его подданстве, жестоко оскорбляется хулами на их веру, что происходит неслыханным в христианстве образом; такие нехристианские поступки чувствительно оскорбляют императрицу, которая считает своею обязанностью вступаться за единоверцев, тем более что она имеет на это и право по мирному договору, что русские люди при соединении Литвы с Польшею пришли с своею верою, свободное отправление которой подкреплено потом королем и сеймами. Король отвечал, что ему очень прискорбно слышать о продолжении таких беспорядков и наглостей относительно жителей греческой веры. «И по прежним вашим жалобам, – говорил король, – я писал к обоим канцлерам, польскому и литовскому, чтоб они постарались о прекращении этих притеснений. Злоба к людям чуждых вер заставляя притеснять невинных, не обращая никакого внимания на общее благополучие, на законы, на договоры. Таких ревнителей в Польше немало, которые поступают тем смелее, чем больше тамошние законы благоприятствуют злоупотреблению свободой. Напишу еще к коронному канцлеру, чтоб вступился за жителей греческой веры». Грамота к канцлеру была действительно написана, но этот канцлер был католический епископ. К вельможам польским Кейзерлинг писал с угрозою, что императрица не оставит своих единоверцев без защиты и употребит средства, равносильные злу; министрам напомнил, что в 1599 году уже было соглашение между русскими и протестантами, чтоб стоять сообща за свободу веры. Коронный канцлер отвечал, что жители греческой веры сами неправы, обращаясь с своими жалобами к русскому двору, а не к польскому министерству. Кейзерлинг возражал, что жалобы людей греческой веры на всех сеймах слушаны, но ни на одном не выслушаны так, чтоб жалобщики были успокоены.

Приближалось время сейма, и в марте 1744 года коронный канцлер Залуский написал Кейзерлингу, что король больше всего желает теснейшего союза между Россиею и Польшею, что он будет склонять к этому союзу чинов республики, причем король обнадежен, что представленное на сейме умножение войска не только не будет противно императрице, но она будет содействовать проведению этого предложения, ибо через это республика придет в состояние содействовать России в общих видах. Кейзерлинг писал к своему двору, что увеличение войска составляет предмет желания и требования всей нации и противиться этому делу публично нельзя. Но другой вопрос: откуда взять для этого средств? По этому предмету на предыдущем сейме происходили бесконечные споры; почти каждый день подавались новые предложения и отвергались; время прошло, и сейм разошелся, не постановив ничего. Человек, который бы захотел прямо противодействовать общему желанию умножения войска, навлек бы на себя всеобщую ненависть. Итак, если Пруссия захочет воспрепятствовать этому умножению, то она может только подкупать сеймовых депутатов, чтоб чрез них мешать соглашению о средствах, или, если это будет невозможно, сейм разорвать под каким-нибудь другим предлогом. О воеводе бельзском Потоцком давно уже известно, что он совершенно предался прусскому двору, и надобно ожидать, что на будущем сейме он будет действовать в видах этого двора; то же утверждают о

старом Тарло, воеводе сендомирском; но это еще требует подтверждения. Может быть, у Пруссии в Польше и больше приверженцев, но не между сенаторами и знатью, а в мелкой шляхте или при армии; следовательно, важного влияния на дела иметь не могут. Кейзерлинг дал знать королевскому министерству, что императрица вовсе не намерена препятствовать умножению войска, предоставляя это дело благоусмотрению короля и республики. Это объявление было принято с большим удовольствием.

В мае Кейзерлинг переехал из Дрездена в Варшаву, потому что двор переехал туда же. Здесь посланник был встречен жалобами православных: в Дрогичине в Троицын день студенты по приказу префекта Ушинского напали на православный крестный ход, бросали грязью в духовенство, мирян били дубинами, разодрали хоругви, разбили иконы; в воеводстве Новоградском отняты были у православных две церкви и отданы униатам. Кейзерлинг подал опять королю промеморию, настаивая на принятии сильнейших средств к прекращению зла; король поручил дело коронному канцлеру, а тот передал Кейзерлингу рескрипт к ректору дрогичинского иезуитского коллегіума с предписанием не трогать православных. Король заявлял, что если бы прекращение этих религиозных преследований находилось в его силе и власти, то оно давно бы уже последовало. Кейзерлинг не мог нахвалиться дружеским расположением к России короля, министерства и польских вельмож.

Но в конце июля внимание было отвлечено от этих польско-русских дел движениями прусского короля. Кейзерлинг дал знать, что приехал в Варшаву прусский министр Валленрод с требованием пропуска прусских войск чрез Саксонию в Богемию; но этим дело не ограничивалось: Кейзерлинг извещал о французско-пруссских намерениях завести смуту в Польше. Литовский стольник Сапега, который прежде бывал подкупаем Швециею и Пруссиею, получил письмо от чигиринского старосты Яблоновского: Яблоновский уговаривал его составить конфедерацию, причем обнадеживал, что прусский король будет сильно ее поддерживать; имения Сапеги будут охранены, а если он потерпит какие убытки, то получит за них вознаграждение. Сапега показал это письмо королю, который дал ему за такую благонамеренность орден. Французский министр Шавиньи писал воеводе мазовецкому графу Понятовскому, что теперь наступило самое благоприятное время исполнить то, чего прежде нельзя было сделать для их вольности. Эти внушения происходили оттого, что французский двор в случае нападения австрийцев на Лотарингию намерен был отказаться от обязательств 1738 года относительно Станислава Лещинского. Кейзерлинг писал, что внимание поляков поглощено движениями прусских войск, об этом только и говорят; но как ни старается граф Валленрод обнадеживать поляков насчет дружеских намерений своего двора, внушения его принимают с недоверием, которое возрастает с каждым днем. Валленрод был с визитом у великого гетмана, причем объявил, что король его питает такую преданность к польской нации и такое уважение к республике, что если бы ее вольность, ее благо, ее интерес были нарушены или грозила бы им какая опасность, то он явился бы к ней на помощь и защищал бы ее всеми своими силами. Гетман отвечал: «Мирные и дружеские обнадеживания со стороны соседей могут быть только приятны республике, которая сама любит мир и тишину, но нельзя полагаться на дружеские обнадеживания прусского короля: три прусских посольства уверяли в дружеских намерениях королеву венгерскую, а

с четвертым посольством, состоявшим из многочисленной армии, прусский король сам пришел и Силезию отнял». Скоро и сам Кейзерлинг услышал от Валленрода любопытные для себя новости: 24 августа прусский посланник подошел к нему при дворе и объявил, что получил рескрипт от своего государя; король пишет, что так как он, Кейзерлинг, сильно отдалается от прусских интересов, то он, король, велел своему министру при петербургском дворе просить императрицу сделать такое перемещение: к польско-саксонскому двору назначить брата канцлера Мих. Петр. Бестужева-Рюмина, а его, Кейзерлинга, перевести к римско-императорскому двору, что уже и решено в Петербурге. Кейзерлинг написал канцлеру: «Ваше сиятельство мне особенную милость покажете, если объявите: насколько я должен верить этим словам?»

Известие оказалось справедливо: Михаил Петрович Бестужев был назначен к польско-саксонскому двору, но Кейзерлинг должен был вместе с ним присутствовать на сейме в Гродне и уже по окончании сейма должен был отправиться во Франкфурт к римско-императорскому двору.

Бестужев приехал в Гродно 23 сентября, накануне открытия сейма. В первом разговоре с ним граф Брюль, приглашая Россию к союзу с Саксонию, Англию, Голландию и королевою венгерскою, высказал уверенность, что императрица как одна из первых коронованных глав в Европе по известному своему великодушию и справедливости не будет равнодушна к той опасности, которая угрожает всем частям Европы, ибо французские и прусские виды велики и их следствие могло бы распространиться гораздо далее, чем теперь человеческий разум предусмотреть или потом отменить мог. Победоносное оружие Петра Великого некогда избавило северную часть Европы от завоевания и даровало ей мир и тишину; он, Брюль, надеется, что благословенное оружие императрицы положит надлежащие пределы дальновидным замыслам тех, которые стремятся ко владычеству в Европе и хотят по своей воле располагать благополучием или злополучием народов и государств. Брюль окончил разговор словами кардинала Ришелье: «Нет ничего вреднее для государства, как снести хладнокровно, когда какой-нибудь государь завоюет самовольным насильством земли соседнего государства, ибо это завоевание может служить ему мостом к дальнейшему движению; поэтому союзники обиженного государя должны употребить все свои силы для его поддержания, ибо, воюя за него, стоят сами за себя, а когда неприятель уже у ворот – несвоевременно требовать защиты». Относительно сейма Бестужев доносил, что прусский министр Валленрод и резидент Гоерман, получа из Берлина 20000 червонных, стараются этими доказательствами, даваемыми из рук, удостоверить поляков в добром расположении к ним своего двора. Прусские деньги раздаются земским послам, чтоб сделать сейм бесплодным.

Бестужев должен был хлопотать, чтоб на сейме не было речи о Курляндии. Это дело было трудное; всего легче было бы освободить Бирона и отпустить его в Курляндию; об этом просил императрицу король Август, но Бестужев должен был отвечать, что по государственным причинам Бирон и потомство его не могут быть освобождены и выпущены из пределов России. Императрица предлагала в герцоги принца Гессен-Гомбургского; на этот счет король велел сказать Бестужеву, что лучше бы императрица соизволила ходатайствовать за кого-нибудь другого; по мнению почти всех польских вельмож, этот кандидат невозможен; принц

Гессен-Гомбургский во время последней революции в Польше приобрел здесь более неприятелей, чем друзей. Тогда Бестужев и Кейзерлинг предложили другого кандидата – принца Августа Голштинского, и это предложение было принято с удовольствием.

Но от Курляндии постоянно отвлекала Пруссия. В октябре Бестужев и Кейзерлинг доносили, что Валленрод предлагал польскую корону сендомирскому воеводе Тарло, а если он не хочет, то обещал возвести на престол Станислава Лещинского, лишь бы только Тарло принял за конфедерацию и отказал в повиновении королю Августу. У Тарло с Валленродом начались ночные совещания; король велел Брюлю сказать Тарло, что он удивляется этим ночным беседам, которые не могут иметь целью благо и спокойствие государства, ибо доброе и позволительное дело дня и света не боится, и если сейм желаемого конца не получит, то король найдет принужденным заявить об этом поведении воеводы в Сенате и в депутатской камере. Испуганный Тарло просил быть представленным королю, рассказал сам, о чем у него шло дело с прусским посланником, и обещал, что не позволит чужестранным обольщениям отвести себя от верности. Ждали, что французский посланник С. Северин привезет деньги, назначенные для возбуждения конфедерации на Волыни, и Бестужев с Кейзерлингом писали, что французский двор должен в этом случае действовать по соглашению с прусским королем. Оба посланника писали: «Из всего можно признать, как Франция и Пруссия стараются иметь в Польше такого короля, который бы зависел от них, именем которого были бы оживлены все прежние договоры с Франциею, Швециею и Пруссиею и решительная власть над Европой могла быть утверждена. Люди, проникающие во вредные следствия французских и прусских внушений и показавшие свою благонамеренность относительно интереса вашего величества, желают и требуют от нас, чтоб мы именем вашего величества объявили, что Россия никак не будет спокойно смотреть на конфедерацию и волнения в Польше, но постарается прекратить их в самом начале, никак не допустит, чтоб в соседстве ее разгорелся такой же пожар, какой свирепствует в остальной Европе». Послы указывали своему правительству на родословную, изданную в Бреславле, в которой значилось, что Юрий Подеброд и Владислав были похитителями венгерской и богемской короны, а законное наследство принадлежало курфюрсту Иоанну Бранденбургскому, от которого происходит нынешний король прусский.

В конце октября сейм был приведен в чрезвычайное движение: депутат Вильчевский объявил всей посольской избе, что прусский министр деньгами склонял его к разорванию сейма, дал тысячу ефимков и обещал три тысячи червонцев; при этом Вильчевский вынул из кармана полученные деньги и бросил на пол избы. По примеру Вильчевского и другие депутаты объявили о том же. Но Валленрод, не дожидаясь никаких сообщений об этом от польского министерства, потребовал удовлетворения. Так как сношение с Тарло окончилось неудачно, то Валленрод обратился с предложением польской короны к форшнейдеру Потоцкому. Брюль уверял Бестужева и Кейзерлинга, что сам читал обнадеживания, сделанные прусским королем Потоцкому. Послы доносили, что число прусских и французских приверженцев ежедневно умножается. Вельможи и мелкая шляхта больше прежнего друг против друга раздражаются, и, таким образом, огонь уже тлеет под пеплом. Послы советовали на границах у Киева и

Смоленска собрать несколько тысяч войска и объявить, что Россия не допустит нарушения спокойствия в Польше. Решительные средства, казалось, были необходимы, потому что вскрытие подкупа Вильчевским не помогло: девять земских послов, подкупленных прусскими деньгами, не допустили до соединения земской избы с сенатом, и сейм прекратился за истечением срока; с французской и прусской стороны было внушено подкупленным вельможам и шляхте, что если они не уничтожат сейма, то имена их будут обнародованы. После этого Мих. Петр. Бестужев счел нужным написать из Варшавы такое письмо графу Михаилу Ларионовичу Воронцову:

«Пребывающий здесь прусский министр фон Валленрод и президент Гоерман по возвращении своем из Гродно полякам чрез приятелей своих под рукою внушают, коим образом Мардефельд с Москвы писал, что он от вероятной персоны словесное обнадеживание имел, что объявленную декларациею токмо учинена проформа, дабы тем польский и саксонский двор некоторым образом успокоить и чтоб они, следовательно, на оную не смотрели и ничего бы не опасались. Сему подобные внушения, как с ласкою, так отчасти угрозами чинимые, немалое действие и у поляков уже великую импрессию причиняют. Какую же сильную инфлюенцию ныне прусский двор к очевидному умалению нашего прежнего здесь в Польше супериоритета и кредита в здешних делах уже имеет, о том интригами его разорванный сейм в Гродно довольно показывает, да и нам больше бы еще сия инфлюенция к крайней российского интереса вреде и предосуждению не было бы, ежели бы его предвосприятия в Богемии лучший успех получили или ежели ему впредь удастся сию от всего света нечаянную войну по желанию своему окончить: в таком случае заподлинно верить должно, что он по окончании оной не токмо Гданск, Варминское епископство, но и все польские Прусы без великого труда державе своей присовокупить может; и хотя в таком случае по сущим нашим интересам за Польшу вступитья необходимо принуждены будем, то, однако ж, тогда сему пособить, не токмо уже поздно, но и понеже между тем в наивящшую силу себя приведет, то ему в произведении таких России зело опасных видов препятствовать гораздо труднее будет. Россия тогда истинно в крайней опасности находиться будет, ибо как французскому, так и прусскому дворам, которые всегда токмо то ищут и желают, как бы российскую силу так умалить, чтоб она в прочих европейских делах участие принимать никогда в состоянии не была, тогда весьма легко будет, с одной стороны, шведов, обещая им Лифляндию и все нами завоеванные провинции, возвратить, а с другой стороны, поляков, обещая сим Смоленски Киев аки непостоянному народу, который чрез деньги и угрозы ко всему без великого труда склонить можно, на нас напустят, пока между тем прусский двор сам в средину чрез Курляндию нас атаковать и тако обще с ними Россию в прежние ее границы привести стараться будут, не упоминая еще притом о турках и татарах у которых уже как французские, так и прусские эмиссары действительно имеются. Необходимо нужное и зрелое рассуждение не точию нашей предбудущей безопасности, но и нынешних российской славе и интересу толь удобополезных конъюнктур подали мне повод вашему сиятельству, яко верному ее имп. величества подданному и сущему сыну отечества, а моему милостивому патрону вышеизображенное мое искреннее мнение по совести и по всегдашней моей верно-рабской ревности ко всевысочайшей чести, славе и службе ее имп. величества, сколько моего смыслу

есть, сим откровенно сообщить. Всему свету известно, в какой великой зависимости прусский двор при жизни Петра Великого от нас зависел и что тогда здесь, в Польше, никакой инфлюенции не имел, напротив того, в какую оный двор ныне великую и наипаче нам весьма опасную силу пришел. Прусский двор нас ныне притворством токмо для того уласкать и усыпить ищет, дабы мы по нашим натуральным интересам нынешними нам толь удобными конъюнктурами не пользовались, ибо он совершенно удостоверен, что токмо ее имп. величество в состоянии находится в непродолжительном времени все нынешние и единственно токмо от него и Франции произведенные европейские замешательства и невинной крови пролитие пресечь и прежний систем и баланс в Европе (при котором Россия всегда в благосостоянии находилась) восстановить и все дальновидные, их и нам всемерно опасные замыслы вдруг прекратить, притом же с утверждением общего в Европе покоя бессмертную себе славу, а государству своему существительную пользу получить. Толь немалое число обретающихся ныне при нашем дворе чужестранных послов, чему в древних временах никакого примера сыскать неможно, довольно показывает, коль прилежно почти всякая потенция дружбу нашу получить старается и что, следовательно, при нынешних дел обращениях токмо от нас самих зависит не токмо наших натуральных друзей сохранить, но и при восстановлении нарушенной французским и прусским дворами вышешепянутой европейской системы и балансу собственную нашу предбудущую безопасность на добром основании в вечные времена утвердить. Притом же всякой благоразумной и здоровой политики главнейшая максима всегда сия быть имеет; чтоб заблаговременно не допускать, дабы сосед мой в наибольшую и, следовательно, мне самому не иначе, но весьма предосудительную силу не приходил; ибо коль больше оный себя усиливает, толь вяще я себя сам в бессилие и очевидную опасность привожу».

Для восстановления равновесия в Европе нужно было поддержать Австрию против Пруссии, а для этого прежде всего нужно было прекратить неприязненные отношения русской императрицы к королеве венгерской, возникшие по делу Ботты.

Январь и февраль месяцы 1744 года прошли в Вене у Ланчинского в бесплодных требованиях скорого и точного ответа насчет сатисфакции по делу Ботты: ему отвечали прежде, что наряжен суд, что в дипломатических переговорах можно гнуть и поворачивать дела в ту или другую сторону, но в суде другое – по законам поступать надобно, а законы гнуть и переломить нельзя. В марте по указу из Петербурга Ланчинский объявил на это, что передача дела Ботты в суд неприлична и излишня, что императрица по естественному праву ожидает сатисфакции, явной и соразмерной тяжкому преступлению Ботты. В таких затруднительных обстоятельствах венский двор прибег к посредничеству саксонского: король Август III предложил свои дружеские услуги для прекращения дела Ботты; но Ланчинский должен был объявить, что иностранные державы как вначале не имели участия в деле Ботты, так и теперь не имеют; пусть на посредства не полагаются, дают должную сатисфакцию, а императрица не вступается в то, каким порядком королева прикажет судить Ботту. При этом Ланчинский прибавил, что следствием упорства венского двора будет отзыв его, посла, из Вены. Ботте был объявлен домовый арест; министры обходились с Ланчинским ласково, но постоянно уклонялись от разговоров о деле Ботты. В

июне Улефельд предложил Ланчинскому присутствовать при допросе Ботты; тот отвечал, что так как Ботта во всем запирается, то он не может быть свидетелем таких *отлыганий* и вступаться в судебные порядки, ибо императрица прямо объявила, что она в них не вступается, а требует удовлетворения на основании несомненных свидетельств виновности маркиза. Через несколько времени Улефельд объявил Ланчинскому, что комиссия по делу Ботты кончила свои занятия, но никакого приговора не положила, а подала письменно свои мнения, которые и посылаются ко двору императрицы, между тем королева, перенесши дело снова на дипломатический путь, велела Ботту перевезти за арестом в замок города Граца на шесть месяцев и долее, если императрице будет угодно; если же такой способ удовлетворения не примется при русском дворе, то из Вены потребуют сообщения полных следственных актов вместе с допросами и ответами преступников, в таком случае Ботту опять сюда привезут из Граца и процесс против него будет возобновлен. Ланчинский отвечал, что отвезение Ботты в Грац не составляет достаточного удовлетворения и что он, Ланчинский, получил указ выехать из Вены. Улефельд изумился и просил подождать извещения, как будет принято императрицею распоряжение королевы относительно заточения Ботты в Грац. Ланчинский согласился ждать на том основании, что отсылку Ботты в Грац можно почитать началом удовлетворения.

В Вене должны были спешить окончанием дела Ботты, потому что новые движения прусского короля опять ставили Марию Терезию в опасное положение. В начале августа Ланчинский писал: «Дела здешние вдруг в великую опасность пришли: ежечасно ожидается ведомость о вступлении многочисленных прусских войск чрез Саксонию в Богемию, без всяких околичностей говорят, почти публично, что если ваше императорское величество здешнему двору руки помощи не подадите, то этот двор вместе с саксонским придет от Пруссии в крайнее разорение и оба будут раздавлены. Прусский король издал манифест, что он против королевы ничего не имеет и об его интересе дело нейдет, но он принимает на себя защиту императора и хочет быть посредником между воюющими сторонами. Здесь знают подлинно, что между императором, королем прусским, курфюрстом Пфальцским и принцем Гессеи-Кассельским заключен договор, по которому король прусский обязался императору доставить Богемию, а император обещал ему из нее уступить три округа. Король польский, как курфюрст Саксонский, должен потом ожидать своей очереди: король Прусский присвоит себе Лузанию на том основании, что прежде она принадлежала к Силезии; потом доберется и до ганноверских земель под каким-нибудь предлогом и так одного соседа за другим будет обирать и над всеми ругаться; теперь, например, не ожидая от саксонского двора ни позволения, ни указания пути, прямо прислал ему описание дороги, какую прусские войска пойдут чрез саксонские владения». В это самое время Ланчинский объявляет министрам, что он отъезжает из Вены в Дрезден вследствие дела Ботты. Сначала ответом было «изумление и плечами пожимание». Потом министры начали говорить: «Будет от вашего выезда нашим неприятелям утеха, а приятелям уныние. Печально, что союзники, имеющие с нами естественные и общие интересы, так осязательно нас покидают, особенно при нынешнем нападении от Пруссии. В третий раз приходится призвать на помощь, бога и самим обороняться по крайней возможности. Что могла сделать королева более, как отправить графа Розенберга послом с пространнейшими

инструкциями дать императрице полное удовлетворение». Министры подавали вид, чтоб посланник остался в Вене. «Но я, – писал Ланчинский, – рабски рассуждая, что в последнем указе явно и повторительно безо всякого условия предписано мне выехать, и не зная, с чем к вашему величеству королевин министр придется, не мог обратить внимания на их внушения: не мое рабское дело в то вступаться, чего рассмотрение ваше величество сами себе предоставить соизволили».

31 августа Ланчинский выехал из Вены в Дрезден; а между тем Розенберг уже был в Москве и 22 августа подал канцлерам промеморию, в которой говорилось: «Из всех неприятностей, какие ее величество королева испытала со времени вступления своего на престол, ни одна не была ей так прискорбна, как нечаянное известие, что ее министр при дворе ее императорского величества обвинен в мерзостном и проклятия достойном преступлении. Ее королевино величество тотчас заметила, что ее столь многочисленные, частью явно злобящиеся, частью для вида только примирившиеся неприятели воспользуются этим случаем для возбуждения несогласия и холодности между императрицею и королевою, зная, что ее императорское величество, славы достойная и неизреченными великими качествами одаренная монархиня (не так, как они с презрением всякого страха божия договоры, обязательства, клятвы, ручательства и все то, что только святым в обществе человеческом назваться может, ногами попирают привыкли), как христианская богобоязливая государыня и достойная дочь и наследница Петра Великого и Екатерины, по окончании победоносной финляндской войны весьма легко могла бы припомнить ту великую дружбу, которую государь-родитель ее имел с римским императором Леопольдом, и то торжественное обязательство, которое в 1726 году императрица Екатерина дала за себя и за своих наследников относительно австрийского наследства и своим святым императорским словом утвердила; зная все это, неприятели опасались, что императрица великодушно будет защищать королеву венгерскую, отдающуюся в ее руки и препорученную императрицею Екатериною своим наследникам. Моя все милостивейшая государыня отнюдь не стыдится признать, что она связана законами тех земель, которыми владеет, следовательно, не может поступать так, как другие самодержцы. Несмотря на то, королева из высокого почитания к ее императорскому величеству, узнав, что саксонское посредничество не принято, сколько возможно время и предписанные законами формальности сократила и обвиненного после предварительного долговременного ареста велела посадить в замок Грац, где обыкновенно содержатся государственные арестанты, а время заключения предоставила определить прославленной в свете милости ее императорского величества».

29 августа Розенберг объявил канцлеру, что королева прислала его затем, что она, не имея никакой надежды, кроме ее императорского величества, совершенно предает в ее волю и руки себя и благополучие своего дома. И после этого объявления канцлер и вице-канцлер старались избегать свидания с Розенбергом и отклонять под разными предлогами его просьбы о скорейшем ответе на его промеморию и о допущении его на аудиенцию к императрице. Так прошло два месяца; только 22 октября Елисавета подписала проект объявления Розенбергу, где говорилось, что для полного удовлетворения необходимо правительству королевы оговориться насчет сделанных им печатных заявлений по делу Ботты,

которых содержание далеко не согласно с заявлениями его, Розенберга, ибо в них дело показывается ничтожным и Ботта оправдывается. Розенберг с радостью согласился на это условие и подал декларацию, что «означенные заявления сочинены не для какого-либо хотя малейшего предосуждения русского двору, еще менее высочайшей персоне ее величества, но явились вследствие необходимости опровергнуть неприятельские разглашения и вследствие незнания тогда всех обстоятельств дела, и потому теперь, когда королева почитает преступление маркиза Ботты мерзостным и проклятия достойным, эти заявления сами собою совершенно недействительными, уничтоженными и всегдашнему забвению преданными признаваемы быть имеют. В доказательство справедливости всего вышеупомянутого я именем ее величества накрепчайшим образом обнадеживаю, что всемилостивейшая моя государыня циркулярный рескрипт в точной силе сей декларации ко всем своим министрам послать и немедленно в печать издать повелеть изволит. В сущее уверение того я, уполномоченный королевин посол, сию декларацию за собственноручным моим подписанием и природною графскою печатью дал. Москва 23 октября (3 ноября) 1744. Филипп Иосиф Орсини граф Розенберг».

Когда после того Розенберг попытался внушить Бестужеву и Воронцову, что преступление Шетарди едва ли не превосходит преступление Ботты, то получил ответ, что преступление Ботты несравненно сильнее: преступление Шетарди состояло только в том, что он домогался низвергнуть министерство и подкупить некоторых особ; а Ботта действовал против императрицы: возмущения произыскивал и людей злонамеренных поощрял в их предприятиях; и хотя ее величество нынешнею декларациею королевы изволит быть довольна, однако была бы еще довольнее, если б такая декларация была сделана за три четверти года назад. Розенберг получил аудиенцию у императрицы и в ответ на свою речь выслушал объявление, что императрица «вследствие присланного королевою нарочного посольства и декларации, сделанной послом, предает дело Ботты совершенному забвению и, не желая упомянутому Ботте никакого отмщения и зла, освобождение его оставляет на благоусмотрение королевы».

Самое трудное дело наконец уладилось. Легче стало делать внушения о необходимости помочь венгерской королеве против прусского короля; усилилась надежда, что от Брюммера, Лестока и Мардефельда можно отделаться, как отделались от Шетарди. Могущественным средством для успешной борьбы против них оставалось по-прежнему прочтение их заграничной переписки, и Бестужев 1 сентября писал Воронцову: «Хотя я желал и ваше сиятельство ее императорского величества всемилостивейшее соизволение исходатайствовать изволили, чтоб министерских писем более не просматривать, то, однако ж, я запотребно нахожу при нынешних обстоятельствах за баронами Мардефельдом и Нейгаузом посматривать, яко они (особливо же последний, как из приложенного перевода с его письма, наипаче же что в цифрах написано, которым искусством господина Гольдбаха ключ имеется, пространнее усмотрите) часто провираются». Вскрыта и прочтена была следующая депеша Нейгауза от 13 июля: «Вчера по окончании куртага принцесса Цербстская вручила мне письмо к вашему императорскому величеству, прибавив, что она не только как имперская вассалка всякую должную венерацию к высочайшей вашей особе, но и свою собственную персоною врожденную ее дому особенную покорность и венерацию имеет, к чему

она и свою дочь, которая с своим будущим супругом и без того к тому склонна, с прочими окружающими людьми ревностнейше будет привлекать».

Мардефельд также сильно *провирался*, относительно принцессы Цербстской, ее дочери и будущего зятя. От 14 сентября он писал в Берлин: «Я должен отдать справедливость принцессе Цербстской, что она истинно радеет интересам королевским. Она сильно желает возвратиться в Германию, но я не вижу, чтоб она с благопристойностью могла оставить Россию прежде брака ее дочери». Поход Фридриха II в Богемию был удачен – он взял Прагу. Поздравляя короля с этим торжеством, Мардефельд писал ему: «Великий князь мне сказал: я сердечно поздравляю». Молодая великая княжна многократно повторяла: «Слава богу!» Принцесса-мать не могла найти довольно сильных выражений для своей радости; другие многие меня также поздравляли; но число тех, которые от этого морщатся, превосходит». В конце октября Мардефельд писал: «Тому около 15 дней, как принцесса Цербстская меня просила, чтоб я помешал приезду сюда ее супруга, ибо ей хорошо известно, что императрица ему Курляндии не даст. Я отвечал, что уверен в желании вашего величества видеть принца герцогом Курляндским, тем более что вы не имеете видов на это княжество для своего дома, но что я вижу два больших затруднения: первое, императрица всем заинтересованным державам рекомендовала принца Гомбургского; второе, что она не захочет потерять получаемые оттуда доходы».

Елисавета не хотела отдать Курляндию принцу Цербстскому; назначала ее принцу Гомбургскому или Голштинскому; Бестужеву все эти претенденты были одинаково неприятны; и он стоял за старого своего благодетеля – Бирона, который по-прежнему жил в Ярославле в почетной ссылке. В декабре писал он Бестужеву: «Узнав, что ваше сиятельство оставляете Москву, не мог я преминуть, чтоб не уверить вас в вечном моем почтении, пожелать счастливого пути и поблагодарить за любовь, расположение и сожаление, вами ко мне показанные, – господь бог да будет вам воздателем! Не погневайтесь, что я в своей долговременной и жестокой бедности постоянно надеюсь на ваше испытанное усердие. Боже, ты видишь сердце мое! И если бы я знал, что в моем намерении и действии было какое-нибудь зло, за которое и осужден на бедствие, то готов был бы страдать; но сначала и до сих пор не знаю за собою никакого преступления, кроме того, что со всяким честно я поступал; богу известно, что я и вы вместе с моими братьями были жертвою свирепых людей. Нам поставлено было в вину, что ты нынешнюю самодержицу и великого князя на престол возвести хотели, и за то я в ссылку послан. Что же я сделал и в чем состоит мое преступление? Ее имп. величество есть сама милость и щедрота, однако я уже три года бедствую. Ваше сиятельство меня 26 лет во всяких обстоятельствах знаете: у кого я что похитил, кто мною обижен? Все, что имелось у меня движимого, из рук самодержицы получил; Курляндию не обманом и не хитростью добыл, но божьим провидением и по милости короля, который имел право мне ее пожаловать; Россия же не способствовала мне в этом ни единым словом ни у короля, ни в королевстве и ни малейшего иждивения не употребила. Теперь я нахожусь с семейством в таких обстоятельствах, что насущный хлеб свой со слезами вкушаю и моя герцогиня часто и на человека похожа не бывает, и почти на всем своем теле опухоль имеет; я также подвержен припадкам, которые мучительнее самой горькой смерти, семейство мое страшно бедствует, так что не было бы удивительно, если б я в

отчаянии сам на себя наложил руки; из дому выйти мы не можем, потому что не в чем, так что почти живые гнием; видим при себе постоянный караул, так что через порог не можем переступить без караульных. Куда ж мне бежать и для чего? Ваше сиятельство, покажите милость, исходатайствуйте, чтоб меня отсюда отправили в Нарву».

Елисавета, узнав о болезни Бирона, послала в Ярославль доктора Шмидта. Благодаря за это, Бирон писал императрице: «При виде, как дети мои проводят время без всякого обучения, забывая и то, что знали, я так сильно сокрушаюсь, что и камни могли бы умилосердиться. Если бы бог дал им такое счастье пожертвовать жизнью на службе вашего величества и вашей империи, я бы с радостью их на это посвятил! Всемилостивейшая государыня императрица! Услышь наконец моление, воздыхание и рыдание наше. Никогда б я не дерзнул просьбу мою к стопам вашим повергнуть, если б я знал за собою какое-нибудь преступление; но призываю бога во свидетели, что во всех случаях поступал я честно и верно; да и будучи в пропасти, я не преклонился ни на какие угрозы и обещания и не нарушил своих обязанностей к вашему величеству».

Двадцать второй том

Глава первая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1745 год

Дело Грюнштейна. – Судьба Татищева. – Вятский архиерей Варлаам. – Насильственные поступки против духовенства. – Обращение инородцев в христианство. – Старание Елисаветы о поддержании православия. – Дело о продаже церковных книг. – хлопоты об издании Библии. – Мысль об иностранной цензуре; канцлер не дает ей осуществиться. – Хозяйственные заботы Сената: забота о соли, дела о железном, полотняном, суконном и шелковом производствах. – Разбои, пожары. – Ревизия. – Семейные хлопоты императрицы. – Свадьба великого князя. – Раздражение против принцессы Цербстской и отъезд ее из России. – Брюммер и Лесток теряют влияние. – Перемена в отношениях Воронцова к Бестужеву. – Отношения России к Западной Европе по поводу войны Фридриха II с Саксониею. – Совецание в Петербурге о том, должно ли сдержать прусского короля поданием помощи Саксонии. – Решение двинуть русское войско на помощь Саксонии. – Дела шведские. – Дела датские. – Дела турецкие.

Не все лица, отправившиеся с императрицей в Москву, возвратились с нею назад в Петербург: недоставало человека очень заметного. Мы упоминали о Петре Грюнштейне, который выставился на первый план между преданными цесаревне гвардейцами во время переворота 25 ноября и в приготовлениях к нему. Успех дела отуманил голову Грюнштейна. Несмотря на богатое награждение за свою услугу, он был недоволен, выказывал притязания на большее значение и старался

напомнить о себе самым неприятным образом. Мы упоминали о недостатке соли и о причинах его; но толпа обыкновенно не углубляется в исследование причин и любит складывать всю вину на одного человека; так и тут посыпались упреки на генерал-прокурора князя Трубецкого, и Грюнштейн явился представителем толпы: он пришел к Алексею Григорьевичу Разумовскому и начал ему говорить, что если тот, пользуясь расположением государыни, не убедит ее удалить генерал-прокурора, то он, Грюнштейн, убьет на месте этого явного изменника, спасая императрицу и государство от самого зловредного человека. Трубецкого Грюнштейн не убил – от слова до дела далеко, но скоро он столкнулся с самим Разумовским.

По возвращении императрицы из путешествия в Киев она получила следующую жалобу: 19 сентября в Нежине во втором часу ночи бунчуковый товарищ Влас Климович с женою своею Агафьею Григорьевною со двора от матери Алексея Григорьевича Разумовского, а от своей тещи ехал на свою квартиру и в темноте столкнулся с Грюнштейном, который, выскоча из коляски, начал кричать: «Что за каналы ездят и для чего генералитету чести не отдают, а с дороги не сворачивают?» После чего велел стащить с лошади ехавшего перед коляскою Климовича слугу его Дегтяренко, который сказал, что едет сестрица графа Разумовского с мужем. Услыхав это, Грюнштейн начал бранить Разумовского скверными словами, кричал: «Я Алексея Григорьевича услугою лучше, и он чрез меня имеет счастье, а теперь за ним и нам добра нет, его государыня жалует, а мы погибаем!» – и, крича это, ударил в лицо кучера Климовича и столкнулся с козел, велел бить и других слуг Климовича. Когда сам Климович вступился в дело, то Грюнштейн ударил и его по лицу и начал бить палкою; перестал бить только после униженной просьбы жены Климовича. Но когда избитый Климович, садясь в коляску, велел Дегтяренку ехать к теще Разумихе и рассказать ей, как ее зятя лейб-компания избила, то Грюнштейн закричал: «Лейб-компания, принимайтесь!» Лейб-компанцы принялись, схватили Климовича за волосы, повалили на землю и начали бить, и Грюнштейн кричал: «Ваш бог Разумовский воскрес чрез меня, а мы теперь страждем!» И жену Климовича ругали и били дубиною. Между тем Дегтяренко дал знать о происшествии в дом Разумихи, и служня ее прибежала выручать Климовичей. Тогда Грюнштейн закричал: «Нам Разумовских и надобно!» – и велел команде своей бить наповал, насмерть. Тут выбежала на улицу сама Разумиха и стала упрашивать не драться, но вместо того и ее чуть не прибили. На другой день, когда горячка уже прошла, Грюнштейн пришел к Разумихе и требовал письменного заявления, будто зять ее Климович его бранил и намеревался бить тростью. Разумиха отвечала: «Как забойство начали делать, так и расписку в Москве берите». Грюнштейн сказал на это: «Меня государыня жалует: я не только зятю вашему, но хотя бы и сыну вашему не уступил» – и с этими словами вышел.

До сих пор Грюнштейну все сходило с рук, его государыня жаловала, в нем заискивали как в человеке опасном для врагов и при случае очень полезном для друзей. Но столкновение с фаворитом и в такой форме не могло пройти даром. Немедленно по возвращении в Москву Грюнштейн попал в Тайную канцелярию, потому что вспомнили о других делах, о которых, может быть, и позабыли бы без нежинского происшествия. Грюнштейна спрашивали: 1) до киевского похода ты объявил императрице, что тебе в окно подкинули письмо, где было сказано, что

лейб-компания ее величеству ненадежна, и сказал императрице, что ты это письмо изодрал, тогда как ты его и распечатывать не смел, а должен был отдать куда следует. Грюнштейн отвечал: «Письмо было не запечатано, и в нем было написано, что француз прислал в Москву деньги, чтоб перевести лейб-компанию, а сказал я императрице, что лейб-компания ей ненадежна в этом смысле, и когда Шетарди выслали, то я письмо разодрал как ненужное больше». 2) К камер-юнгфере Беате Андреевне ты приходил и сказывал, что компания великая собирается и тебя звали. Грюнштейн отверг это показание, но объявил следующее: «Я был в ссоре с князь Никитою Трубецким, и помирил нас Брюммер в комнате принцессы Сербской (Цербстской). Брюммер давно мне говорил: „Помиришь с князь Никитою, потому что он человек добрый“. „Как добрый? – сказал я. – Он интересан!“ „Если б не он, – говорил Брюммер, – то мы таких проклятых дел не знали бы: надеялись (враги наши), что великий князь не женится на молодой принцессе (Цербстской). И старая принцесса упрашивала меня помириться с Трубецким. После мира, отведши меня к окну, Трубецкой говорил: „Вот когда б ты болен не был, то увидел бы ты, как российский генералитет и сенаторы веселы были, когда прибыла великая княжна; они смотрят в землю и прибытия великой княжны не желали, хотели принять польскую принцессу“. „Все ли они таковы?“ – спросил я. Трубецкой отвечал: „Голицыны добрые люди, особенно князь Михайла. Через архиереев ее величеству толковали, что свадьбе быть нельзя – родня! А ты сам рассуди, что на мне польской кавалерии нет; я растолковал ее величеству, что свойства нет; понеже лютерская вера еретическая, а когда великая княжна приняла уже православную веру, то уже за свойство признавать не надлежит“. И при том Трубецкой весь генералитет и Сенат уничтожил и объявлял, что свадьба великого князя чрез него одного сделана“. 3) Ты говорил лейб-компании вице-сержанту Ивинскому, что теперь, кроме бога, служить никому не хочешь; в какой силе такие слова говорил? Грюнштейн отвечал: „В той силе, что болен; думаю, что скоро умру, и думал проситься в отставку“.

Наконец дело дошло и до нежинского происшествия. На вышеизложенное обвинение Грюнштейн отвечал, что начали ссору люди Климовича, требовавшие, чтобы он очистил дорогу, ругали его и замахивались плетью. Климович бил его палкою, он только оборонялся; Климович замахивался на него с обнаженною саблею, но другие лейб-компанцы отводили удары. У матери Разумовского он был и докладывал, что зять ее его бил, причем отнято у Климовича оружие, и не хочет ли она это оружие взять под расписку; говорил, что для Разумовского он на Климовиче искать не будет, но чтоб Климович впредь так не поступал, генералов не бил.

Дело перешло в 1745 год. 18 февраля был дополнительный допрос Грюнштейну, который объявил, что утверждает в прежде сказанном. Свидетель лейб-компанец Журавлев показал, то Грюнштейн с командою остановился ночью в Нежине на большой киевской дороге и люди мазали колеса при свечах, как вдруг на дороге показалась коляска с двумя верховыми наперед; один из вершников кричал, чтоб очистили дорогу, и всех бранил непристойными словами; Грюнштейн стал отругиваться; тогда Климович, вышед из коляски и подойдя к Грюнштейну, ударил его палкою по голове раза три или четыре; Журавлев ухватил палку, а Грюнштейн, усмехнувшись и перекрестясь, ударил Климовича по щекам раза три или четыре. Через день после этого допроса Грюнштейна привели в

застенок: он признался, что о подкинутом письме донес ложно, но относительно ссоры с Климовичем утвердился на прежних показаниях.

Следователи Ушаков и Александр Ив. Шувалов подали мнение, что Грюнштейн не только подозрителен, но и очень виновен оказался, потому что делал ложные доносы. У Грюнштейна с Журавлевым, должно быть, стачки; надобно бы допросить других свидетелей – лейб-компанцев, но у них должна быть также стачка; надобно будет пытаться, от чего может произойти немалое кровопролитие, а истины найти нет надежды, и потому следствие надобно оставить. Императрица велела сослать Грюнштейна с женою и сыном в Москву, где он содержался в Тайной конторе, потом отправлен в Устюг.

В том же 1745 году произнесено было осуждение гражданской деятельности одного из птенцов Петровых, одного их самых видных членов «ученой дружины», созданной временем преобразования. Мы оставили Татищева в 1739 году, когда он был отдан под суд. Жалобщиков на злоупотребления Татищева легко было найти, когда против него был Бирон. Во время регентства Бирона Татищев, разумеется, не мог ждать для себя ничего хорошего; но после падения регента дела его не поправились, потому что при новой правительнице близким человеком был враг его граф Михайла Головкин. Татищев обратился к сопернику Головкина Остерману, и тот присоветовал ему просить прощения в винах; не видя другого выхода, Татищев исполнил совет, но подвергся только напрасному унижению: судная комиссия по его делу не прекратила своих работ. 31 июля 1741 года состоялся указ о назначении Татищева к калмыцким делам, поручение трудное и важное в то время, но сановник, на которого оно было возложено, оставался по-прежнему под судом.

Мы видели, как много хлопот было русскому правительству с калмыками при Петре Великом и его преемнице, видели здесь деятельность Волынского и жалобы его на трудность дела. Волнение не прекращалось между варварами. В 1731 году Дундук-Омбо поразил наместника Черен-Дундука, принудил его бежать в Саратов и овладел 15000 кибиток, но, не смея вступить в борьбу с русским войском, ушел в крымскую сторону. Черен был восстановлен, но русское правительство убедилось окончательно в его неспособности и решилось отослать его в Петербург, вызвать Дундук-Омбо и дать ему ханство. Дундук-Омбо служил верную службу во время турецкой войны, опустошая кубанские владения татар, но после смерти этого энергического хана начались опять в степях волнения, для прекращения которых и был отправлен Татищев. В то время как он исполнял свое трудное поручение, мирил калмыцких князьков, так, однако, чтоб оставалась всегда возможность ссор, т.е. чтоб новый наместник ханства Дундук-Даши не мог усилиться окончательно, в это время в декабре месяце приезжает к нему из Петербурга капитан Приклонский с известием, что воцарилась дочь Петра Великого, что Головкин под арестом, а Трубецкой, Черкасов и Бестужев, с которыми у Татищева была старая дружба, в большой милости. Новая императрица велела сказать Татищеву, что она его помнит. Татищев отвечал ей «Присланный от вашего имп. величества капитан Приклонский объявил мне словесное вашего имп. величества всемилостивейшее о мне, недостойном рабе вашем, напоминание. А понеже я чрез так многие годы за мои верные и радетьельные к их величествам и государству службы от злодеев государственных тяжкое гонение и разорение терпел и в таком отчаянии находился, что ничего,

кроме крайней гибели, ожидать не мог; ныне же нечаянно яко во тьме сидячего оставший свет Петра Великого паки на меня воссиял и единою печаль и страх отрешил: того ради наипаче сего вашего имп. величества показанную ко мне, недостойному, милость чувствуя, хотя возблагодарить и заслужить до гроба моего не могу, но только прошу всещедрого бога, да умножит лет живота вашего имп. величества и утвердит престол в наследии Петра Великого в бесконечные веки неподвижно».

Радость Татищева была, впрочем, непродолжительна: его не вызвали в Петербург, оставили при прежней трудной калмыцкой комиссии, присоединив к ней не менее трудное управление пограничною Астраханскою губерниею; судная комиссия над ним не была закрыта, следовательно, печаль и страх не были отрешены. Причиной было то, что Татищеву из Астрахани трудно было следить за петербургскими отношениями, поддерживать дружбу сильных людей и отражать удары могущественных врагов. Злой враг Татищева Головкин был сослан, но на его место с важным значением сенатора и председателя Военной коллегии в большой милости при дворе явился из ссылки старый фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий, который не мог простить Татищеву за ревностное участие в уничтожении замысла верховников, что повлекло падение Долгоруких. Надеясь на старую дружбу с князем Никитою Трубецким, одним из членов «ученой дружины», как видно из отношений к нему Кантемира, Татищев вел деятельную переписку с генерал-прокурором, не зная, что между Трубецким и Бестужевым непримиримая вражда. Бестужев сердился на Татищева и вредил ему по Иностранной коллегии, куда астраханский губернатор должен был постоянно обращаться по делам калмыков и других пограничных народов. Наконец, Татищев имел неосторожность вооружить против себя принца Гессен-Гомбургского, оспорив его проект о построении астраханской крепости. Мы должны привести переписку Татищева с Черкасовым, потому что она имеет далеко не один биографический интерес.

21 января 1742 года Татищев уже писал Черкасову: «Понеже я, как вам, чаю, уже небезызвестно, за мои верные к государям и государству услуги от злодеев государственных так гоним и разоряем был, что уже не рад был животу, и хотя многократно об отставке просил, токмо и того к большому мне огорчению не улучил, ее же имп. величество о том неизвестна, и, опасаясь, чтоб мои злодеи не нашли способа более меня оскорблять, принужден вам, как моему другу, обстоятельно донести. Вам, чаю, памятно, как государыня Екатерина Алексеевна в 1724 году с великим обнадеживанием изволила меня определить в Монетную канцелярию, где я столько труда моего изъявил, что ее имп. величество всемилостивейше изволила письмом обнадежить, что мой труд без награждения оставлен не будет; однако же за скорою кончиною ее величества того лишился. Потом я в учреждении монетном хотя явные великие пользы приобрел, но по злости на меня бывшего графа Головкина и лакомством Бирона от того отрешен; компания передела мелких денег невинно разорена, и немалая сумма с монетных дворов под именем новой прибыли потеряна, причем Головкин с Дудоровым довольно получили, в чем явно обличиться могут дела их. В 1734 году ее имп. величество повелела меня отправить в Сибирь для размножения заводов, где я чрез три года так оные размножил и старые исправил, что без сомнения надеялся высочайшую милость ее имп. величества и довольное награждение получить,

особливо видя всегда в указах всемилостивейшие обещания, ни о чем более, как о пользе государственной, прилежал, токмо и в том обманулся тем, что Бирон, увидя от заводов так великую государству пользу и прибыль každогодную, вознамерился себе доход похитить, и вначале определили начальником саксонца Шомберга, который ничего о железных заводах и о пользе нашего государства не разумеет, и оному меня подчинили, а вскоре потом меня отлучили и чрез имя болохонца Осокина главные заводы Благодать похитить вознамерились, чему я явно с твердыми доводами противное мнение представил; они же, оставя ту околичность, явно отдачу Шомбергу или паче тому бывшему герцогу отдали, а на меня крайне озлобились и заводы оные с великим государству вредом разорили.

Сия его злоба хотя мне довольно видима была, и видел, что искали порока, но не нашли, в 1737 году перевели меня в Оренбургскую комиссию, которую, как видно, по обману Тевкелева и Кириллова для частного великого прибитка начали, я ж, прибив, усмотрел, что оное вымышлено более для собственной, нежели казенной, пользы, стал истину доносить и те обманы обличать, которым того бывшего герцога и Остермана наипаче озлобил. За сие, как они скоро сведали, что Тевкелев и другие за их неправости и беспорядки смиряемы, жаловались на меня, то Остерман велел им бить челом и представил ее имп. величеству, по оному велели меня спросить, то секретарь бывший Яковлев сочинил мне вопросные пункты, противные форме суда и точным указам, ибо имя челобитчиков не показал, из челобитья избрал непорядком, но смешивали один пункт разбил на многие, а многое от себя прибавил, чего в челобитье нет. Получаю они мои ответы и видя, что все те клеветы с доказательством опровергнуты, а доносители плутовства обличены, наипаче озлобясь, доносили ее величеству, будто тяжкие преступления мои явились, и, учредя особливую комиссию, и велели для учинения мне обиды судить, выбирая из гражданского и военного прав, и хотя комиссия или за страх, или собственными прихотями чрез три года прилежно и разными образы трудилась, токмо обвинить меня чем не нашла; потом как милостивые указы от бывшего герцога курляндского и потом от принцессы Анны объявлены и все комиссии велено оставить, но по моей велено накрепчайше следовать; и хотя я не одну челобитную подавал, прося о скором и справедливом того решении, но, видя, что то не успевае, по совету от Остермана чрез его креатуру подал повинную, прося в винах прощения, ибо я, видя себя в крайнем разорении, принужден то учинить, но никакой милости не получил. Затем я, хотя не скоро, как для важного дела отправлен, но вместо мне поохочивания, жалованья удержанного не выдано и определенного на сей год выдана половина, а в комиссии подтверждено, чтобы накрепчайше следовали за мной. Сие как мне огорчительно и страшно ни было, ибо видел, что меня в такое трудное дело определили без всякой помощи, а особливо и без инструкции отправили, прилежал колико возможно верность мою засвидетельствовать и благодатию божию сделал столько, чего господа министры не чаяли, и калмыцких ханов в такое подданство и порядок привести, в каком не бывали. За сей мой труд получил от ее имп. величества всевысочайшую грамоту с похвалою и высоким обнадеживанием, но на той же почте указ от бывшего Кабинета с великим мне оскорблением и обидою, которым мне повелено по затейному челобитью ведомого вора и публично наказанного Семена Иноземцова против уложения и формы суда ответствовать. И хотя я присягать готов в том, что невинен, и

челобитья так бездоказательного, а паче, что он бил челом на меня, перво в держании невинном под караулом, а спустя четыре года стал показывать взятки и свидетеля представляет казанского купца Микляева, о котором я слышал, что г. камергер Брылкин, как обязанный друг явного плута Иноземцова, принудили письмо дать, того ради посылаю при сем челобитную и прошу вас, моего государя, оную при удобном случае подав ее импер. величеству, решение исходатайствовать, а наипаче просить господ министров о выдаче мне невинно удержанного жалованья и чтоб меня отсюда взяли, ибо я для пользы и чести импер. величества в великий убыток напрасно вошел, которое прежде всем было давано казенное, и для того ныне принужден здесь занять 1000 рублей, надеясь, что от ее величества оставлен не буду, и на вас, как на моего друга, надеясь, пребываю всегда» и проч.

В феврале того же года Татищев так описывает Черкасову состояние Астраханской губернии и на свое назначение туда губернатором смотрит как на заключение в тюрьму без объявления вины:

«По воле ее импер. в-ства, хотя и без объявления вины, в сие узилище я определен, где и чрез несколько дней, рассматривая с прилежанием, вижу, что сия губерния так разорена, как недовольно сведучей поверить не может, понеже люди разогнаны, доходы казенные растеряны или расточены, правосудие и порядки едва когда слыханы, что за так великим отдалением и недивно. Причина же сего есть главная что неколико губернаторов сюда вместо ссылки употреблялись и, не имея смелости, или ничего, или боясь кого по нужде, неправильно делали, а. может, и то, что, не имея достаточного жалованья, принуждены искать прибытка, невзирая на законы; особливо здешняя канцелярия более от того беспорядочна, что секретарям и подьячим дел таких, от которых достаточный доход иметь можно, мало, а жалованья нет, то принуждены коварствами и беспорядками доставать; купцы сильнейшие чем более торгуют или от чего им великое обогащение, как токмо от хищения казенных и разорения бессильных, они же, не желая к защищению их, как мню, не скупко предстателей закупили, то и видя их непорядки, нужно губернатору смотреть сквозь пальцы, опасаясь, чтоб и за верность, как я в том искусился и так равномерно о себе рассуждаю, что и от меня ее импер. в-ство и сия губерния пользы видеть не могут, ибо мне, не имея надежды и смелости, более прежде бывших трудиться невозможно».

1743 год Татищев начинает теми же жалобами и просьбами об освобождении из тюрьмы.

«Я твердо уверен, что вы к показанию ко мне милости и ко освобождению от сего узилища труд прилагать изволите». Причины своего желанья освободиться из Астрахани Татищев выставляет следующие: «1) губернские дела и сборы, или доходы, весьма упущены и люди разорены, и хотя б поправить можно, только надобно снабжение людьми и власть, без которого исправить не можно, а Камер-коллегия, не рассматривая обстоятельств, бранит и штрафами грозит, мне же, видя такое упущение, весьма небезгорестно, что имея к исправлению смысл и желанье, да не могу. 2) Пограничные дела тако ж не в надлежащем порядке находятся, а паче как дознаюсь оттого, что господам министрам Иностранной коллегии к рассмотрению времени недостает, а я оное писать опасаясь, чтоб более злобы не нажить, к тому же мимо коллегии о тех делах писать запретили. 3) Вы уже довольно известны, что я за мой труд и немалую по Калмыцкой комиссии

услугу вместо милостливого награждения терплю обиду и стыд, но чтобы вам при случае можно обстоятельнее говорить, для того оные пространнее представляю. По губернии имеем токмо три канцеляриста: один у иностранных, один у прокурора, один у судебных (дел) и прихода; подканцеляристов и копиистов с пьяницами и негодными – девять, коими никак по указам исправить не можно. Татарский судья Шахматов хотя более вреда, чем пользы, приносит, и татары более от его лакомства и несмотрения разбежались, токмо он под протекциею коллегии ни на кого не смотрел; однако ж я, несмотря на то, велел его судить и на место его иного определить. Сборы кабацкие, таможенные и прочие от того упущены, что здесь за малостью купцов или посадских принуждены, переходя от одного сбора к другому, все у дел (быть), а никто не считан и считать нельзя, от неимения же страха крадут как хотят, и вы, как чаю, известны, как невероятно великая доимка со здешних прошлого года сложена, почему и впредь не меньше, если не усугублена будет. Не упоминаю о рыбной и соляной конторах, которые особо правятся, и армян, что от посада уволены, а торги имеют более посадских, чрез что здесь русским купцам в состояние придти не можно. Мне же, видя, что каждый своих протекторов имеет, а в Сенате, по моим представлениям, злоба бессовестная, или недосуги ко внятному рассмотрению несходные резолюции, или молчание вижу: и так принужден молчать. По коллегии Иностранной ныне я получил указ, чтоб комиссию калмыцкую оставить и служителей в Москву отпустить: оное хотя, мнится, не довольно рассматривая поспешили, но я рад, что тех хлопот избавился. В Персии, как вижу, интересы весьма в презрении тем, что в такое нужное время определен мальчишка переводчиком Братищев, который, кроме беспутно многоречивой реторики, весьма мало дела знает и пишет такие обстоятельства, что смотреть иногда стыдно. Правда, что он, видя предков своих Аврамова и Калущкина из такого ж убожества, хотя чрез многие годы, и не знаю, если с пользою российскою сходно, великое богатство по 100 или 200000 рублей нажили, не ленится собирать и друзей или протекторов искать, да как сие полезно государству, не знаю, а я бы мнил послать человека надежного, несмотря что языка не знает, ибо у нас в Турках и Персии никакой министр, знающий их языка, не был, а дела лучше знающих правили; мне же видится, что ныне посланного советника грека туда норовят, токмо не знаю, с каких рассуждений такому доверять. Что моей обиды принадлежит, то известны вы, что я при его импер. в-стве Петре Великом пожалован советником в Берг-коллегию с жалованием полным по 600 рублей; потом был в Сибири и оренбургской миссии у военной команды, жалование полное против армейских получал; при отправлении же сюда в указе из Кабинета в Сенат написано – жалование выдать полное, но Головкин, послав рентерею, велел выдать половинное за прошлый год, а за сей уже никакого не имею, и хотя я не могу сказать, чтоб мне без онаго жить было нечем, токмо тяжка обида: генерал-поручик Бакар и генерал-майор Долгорукий без меня делать ничего не могут, я должен им советом и делом помогать, наставлять и за ними надзирать; они полное жалование получают, но мне ничего. Да и просить уже более ничего не смею, токмо увольнения от всех дел, дабы единою от таких беспорядков и досад, а паче пред богом и государственных ответов свободиться».

Чем начал Татищев 1743 год, тем и кончил. В декабре он писал Черкасову: «Ныне, видя себя в крайней горести, принужден вас, моего государя, яко

надежного благодетеля, просить, чтобы меня отсюда взять и, если я ни к какой услуге не гожусь, в дом отпустить, ибо от клевет ненавидящих никакого полезного дела начать, ни прилежно на поступки подчиненных смотреть и от продерзостей удерживать не можно, терпеть же видимые беспорядки и вреды, мнится мне, против должности и присяги моей. С великою мне горестью слышу рассеянные на меня от моих злодеев сущие клеветы, якобы я персидских денег ни в казну, ни другим купить не допускал, а купил на себя многие тысячи; другое, якобы я с английским капитаном Элтоном, который в Персии, общий торг имею; третье, якобы я у пойманной мною ханши Джины (вдовы Дундук-Омбо) насильно шубу соболью отнял».

Если было много людей, которые отзывались неодобрительно о поведении Татищева, распускали о нем «сущие клеветы», по его выражению, то и сам он в постоянном раздражении не щадил других; ни одно распоряжение правительства не заслуживало его одобрения. Самолюбие последнего «из ученой дружины» было страшно оскорблено; он считал себя способнее многих, а между тем эти многие, находясь у источника власти, распоряжались, не спрашивая его совета, а он был загнан в «узилище», откуда голоса его не было слышно. В октябре 1744 года он писал Черкасову:

«Рыбный промысел здесь в полной конфузии, что промышленникам отказали, а Раевскому вступить не можно, прибыльщики или откупщики ничего не знают, работников нет, деньги растеряют и, чаю, прибыли не сыщут, только я не вступаюсь. Слышу, что князя Михайлу Голицына послом в Персию посылают, а как довольно знаю, что человек хотя не глуп, да не развязен, опасно более худа, особливо что мы при настоящем случае могли бы многую пользу приобрести, если человек способный, и лучше князь Алексей или Иной кто проворный и ласковый, особливо не скупой». Тут же Татищев писал Черкасову, что может принять на себя составление истории Петра Великого, и представлял условия: «О Гистории Петра Великого хотя мне сама государыня императрица Анна Иоанновна изволила говорить и госпожа Чернышева по приказу ли или собою неоднократно говорила, но я, ведая намерение, отговорился тем, что лгать не хочу, а правду писать может кому противно будет, ибо много тех, которые сущую правду за обиду почтут; ныне же тех многие уже пресекились или под защитою ее имп. в-ства будут безопасны, то приняться можно, если потребное к тому не оскудеет и суще: 1) люди не столько для письма, сколько для искания времен тех по чужестранным гисториям и совета, каким порядком, согласно с правилами гисторическими, изъяснить, ибо славный гисторик Пуфендорф, сочиняя шведскую, а потом бранденбургскую гисторию, знатных и в немалом помощи и кон имел. 2) Денег к тому немного надобно, кроме жалованья, но и те более от других услуг получают. 3) Чтоб потребные известия отовсюду давали, о чем и прежде во все губернии, помнится, в 1736 году указы посланы, чтоб к сочинению географии мне требуемые известия прислали, и многое получено, но туне осталось. 4) Дом, и более ничего, и, если ее имп. в-ство за способна меня к тому усмотреть изволит, я с охотою трудиться готов, и ваше превосходительство произведением так полезного всему государству дела немалую честь приобрести можете, а ее величество более, нежели великим иждивлением древле в Египте и Риме музолеями или надгробными великими строениями, таковою гисториею вечную память и славу родителю своему и отцу всея империи бесконечно

устроить, следственно, и ее величеству слава и благодарение бессмертное умножится; но за всем тем я, помня приказ мне последний отца моего ни на какое дело не напрашиваться, но от тягчайшей услуги не отбиваться, так единственно остаюсь в воле и повелении ее импер. величества».

Вслед за этим письмом написал, он другое, в котором представил перечень своих заслуг, а вместе и неприятностей, претерпенных им с самого начала служебного поприща: «Что моей здесь горести и едва сносной трудности принадлежит, то я воистинно рад бы как можно отсюда освободиться, ибо вижу, что, хотя много трудился и верную услугу мою показал, яко вся Калмыцкая комиссия, в персидских, кабардинских, салтонутских и киргизских делах столько сделал, чего более требовать не могли, и в указах вижу, чего не надеялись; внутренние же: канцелярию весьма в лучший порядок привел, дела трудные, чрез много лет тянувшиеся, по крайнему разумению, не лстяся ни на какие посулы, по правости и законам перевершил, обиженных прилежу оборонить, и воров, и разбойников надлежаще осудил, здешнему городу Многие пользы открыл и показал, доходы казенные умножил и тягостные народу или вредительные частью отставил, частью и рассмотрению представил, но за все оное не токмо награждения не вижу, но и надежды не имею, паче же от злодеев горестное оклеветание и поношение терплю, и, мой труд другим приписав, награждение и милость у ее величества исходатайствовали, мне же и жалованья дать не хотят. Ваше превосходительство довольно зная прежние мои приключения, сколько я терпели, несмотря на злость сильных и чинительные мне препятства, верно государю и государству служить прилежал: 1) Демидов чрез адмирала графа Апраксина так меня пред его величеством (Петром В.) оклеветал, что все думали о моей гибели, но я, ведая мою правду, надеясь, что его величество сам дело внятно рассмотрит и неправую клевету наказать не оставит, смело поступал и, оправдався, большую его величества милость получил. 2) По смерти его величества сколько Меншиков за вымышленные им вредительные деньги на меня озлобился, что в ссылку послать указ в Сенат записал, но, устыдясь сам, и милостью ее величества тогда я избавился, яко невинный. 3) Долгорукие перво с вами в ссылку послать определили; потом, как они вознамерились честь государя и целость отечества разрушить, которым я, сильно воспротивясь, с прочими удержал, они, мне виселицу и плаху суля, сами посрамились. 4) Бирон, ища себе ненадлежащей власти и силы, вздумал, что я ему в том, яко же и в похищении великого от сибирских заводов дохода, препятствовать буду, разными образы искал меня губить, перво ссоривал с Черкасским, Салтыковым и Головкиным, что всем было известно; но, видя, что недостаточно, принудил на меня плутов бить челом и незаконно судить велел, дважды без всякой вины под караулом держали; но бог по невинности моей меня избавил. Ныне Долгорукий, вспомня ту злобу, смертельно меня обидит, поносит и бранит и может что и ее величеству клеветает; токмо я не ужасаюсь, ведая, если б я его злобу ему явно истолковал, то как он, так и другие со стыдом принуждены были меня в покое оставить».

Но враги не хотели оставить Татищева в покое, и в начале 1745 года он мог ясно увидеть, что человек, на дружбу которого он больше всего полагался, Черкасов, счел нужным для себя уклониться от посредничества между ним и императрицею: он дал знать Татищеву, чтоб он доносил о делах прямо императрице. Старик, однако, не понял намека и по-прежнему отвечал Черкасову

длинным письмом: «Хотя я многим письмом на сей почте вам скучен явлюся и, может, осердитесь, токмо сейчас услыша от Кобякова приказ ваш, чтоб я о делах нужных прямо ее импер. величеству доносил, и сие бы весьма ее величеству полезно быть могло, ибо такими случаи можно бы многие пользы произвести и вредные упущения пресечь; но противу тому к государю надобно с доношением дерзнуть такому, кто б довольно на собственную ее милость или на сильных защитников надеялся, в чем я наипаче всех недостаточествую, и хотя подлинно имел бы нужду всеподданне донести, но за страх большее злодейство на себя нанести принужден с терпением оставлять. Два дела, которые весьма требуют внятного рассмотрения: 1) калмыки сначала поручены были мне в полную власть, и оное я начал было в такое состояние приводить, чтоб Россия вечную пользу от них иметь, а опасностям, как прежде происходили, никаких страхов иметь не могла, к чему главный способ, чтоб, у хана власть отняв, более вверить губернатору; но ныне оное все превращено, и наместник Дундук-Даши, как человек великого коварства, такую силу и власть получил, что уже не малой опасности виды показались, и хотя я многократно о том с различными представлении доносил и требовал скорой резолюции, також и он, наместник, послал посланца, а ответы чрез 4 месяца получить не можем, чрез что он более в сумнительстве остается, и я что делать не знаю, жаловаться же самое было бы мое безумие. 2) Я многие вижу здесь в тягость и неправильно положенные сборы, яко орешной, свешной, извозной, водовозной, дворянской, все без указов от губернаторов в тягость и разорение народа прежними губернаторы введены; противно тому, подлежащие в казну доходы беспорядками весьма упущены, а наипаче кабацкие и таможенные хотя гораздо умножил, но если бы дали в полную власть, то б чаял еще столько умножить, о чем в разные коллегии и Сенату представлял, которое оставлено было от приехавшего слышать неповинные на меня сумнительства и злостные оклеветания, яко первое дружба или переписка с Трубецким поистине никакому сумнительству подвержено быть не может, ибо в том никакой противности пользе ее величества нет, но паче для умножения пользы нужное, ибо мне часто случается о скором по посланным доношениям решения просить, и, вместо того что другие у обер-секретарей того ищут, я по старой дружбе его просил, когда же он за представление мое о рыбных промыслах озлобился, також увидав, что другие меня перепискою тою бранили и за то, хотя неповинному, мне злодействовали, то я оную пресек и сего года ни одного письма не писал и писать не буду. Другое, о взятках: сие наипаче удивительно; во-первых, от подрядов, какого они звания есть, я подписаться готов, что никто копейкою не обличит, и, когда соленые приносили, отказал и не принял. Судебных дел весьма мало, и в тех такой обычай имею, ни от кого обещания не слушая, меньше же прошу, в чем меня никто обвинить не может; но когда кому благодеяние сделаю, то я по закону божескому принять приносимое без зазрения могу. Что же о армянах упоминал, что я в их пользу и увольнении от магистрата старался, оное по должности, яко о пользе государственной, писать имел причину и ничего от них за то не бирал, в чем под смертью подписаться готов. Сие довольно видимо, что я, их тем обнадежа, знатных капиталистов в подданство российское призвал и фабрики знатно чрез них умножил; но ныне, как от Главного магистрата указ услышали, весьма опечалились».

Письмо было написано 23 апреля, а уже двадцатью днями прежде, 3 апреля, в Сенате было решено дело по докладу старой следственной комиссии над Татищевым. Решение состояло в следующем: употребленные тайным советником Татищевым без указов, произвольно в ненадлежащие расходы казенные деньги и полученные взятки и подарки взыскать с него, а именно: 1) издержанные на строение им в Самаре дома и канцелярских покоев 2645 рублей; а всем ли обывателям за сломанные у них дворы деньги Татищевым безобидно выданы, о том Оренбургской губернской канцелярии, исследовав, прислать в Сенат доношение. 2) Если не заплатил 1050 рублей за взятую им казенную золотую и серебряную посуду, то взыскать и эти деньги. 3) Взыскать 195 рублей за полученные им с русских купцов взятки овчинками, волчьими мехами и лошадьми. 4) Взыскать за упущенную сумму в отдаче им в новостроящихся городках питейной продажи на откуп с уменьшением оклада против акцизного сбора. 5) Взыскать 30 рублей за передаточные деньги при покупке лошадей в казну. 6) Взыскать 126 рублей за взятки лошадьми с инородцев. 7) Взыскать 36 рублей за взятых у донского атамана и есаула лошадей. 8) За взятые с них же волчьи меха и лошадей 76 рублей. 9) 300 рублей, взятые с купца Кубышкина за немедленную выдачу казенных денег при подряде вина. 10) 50 рублей за двойное взятие из казны денег на покупку красных юфтей. 11) 36 рублей за лошадей, взятых с воров-башкирцев за отпуск их из-под караула на поруки. 12) 1441 рубль, издержанные на канцелярских служителей, курьеров и на канцелярские принадлежности, тогда как эти издержки велено было производить на счет виноватых по Оренбургской комиссии. Татищев явился виновным также: 1) в отправлении при ташкентском караване собственных товаров. 2) По смене брата своего родного Никифора Татищева, бывшего комиссаром по Оренбургской экспедиции, не считал его в канцелярии, но отправил к нему нарочно бухгалтера и протоколиста Маркова без канцелярского определения сек плетьюми. 3) Во время приезда в Оренбург к присяге киргиз-кайсацкого хана Абулхаира выдал жалованье непорядочно: прежде хану, салтанам и старшинам и Средней орде, что Меньшая орда поставила себе за обиду, и при раздаче жалованья киргизы поссорились, а главный старшина Меньшей орды. Буксибай-батырь без присяги уехал, да и киргизов Средней орды Татищев привел к присяге не всех, а только старшин; жалованье раздавал один, без общего согласия и канцелярского определения, протокол сочинил сам и закрепил один спустя не малое время. 4) Отпустил главных заводчиков воровства, башкирских старшин, не отослал в комиссию башкирских дел к следствию и розыску. 5) Не исполнил решения консилиума 1736 года, не ыслал воинских команд для скорейшего прекращения башкирского бунта раннею весною и в распределении по границе войск учинил оплошность. 6) В 1737 году подал неосновательное представление, что полковник Бардекеевич брал башкирских лошадей, скота и прочее, и тем привел Бардекеевича к следствию напрасно; в 1740 году комиссия оправдала его, с чем согласились и кабинет-министры. Поэтому взыскать с Татищева жалованье, которое не получил Бардекеевич во время следствия над ним.

Татищев прислал оправдание: строение в Самаре производил он не без указа, ибо в инструкции Кириллову и ему велено поступать по своему рассмотрению и в строении городов дана полная власть. Относительно казенной посуды все вычтено из жалованья тогда же, на что он имеет квитанцию. Юфть требовалась в казну, и

он продал свою с уступкою против торговой цены. Относительно взяток овчинами, волками и лошадьми челобитчиков нет и судить нельзя, о цене, кроме доносителя, никто не показал, но таких дорогих лошадей у кайсаков, где они куплены, никогда не бывало. С отпущенного башкирца лошадей он не брал, а что ханские дети дарили лошадей, то не брать было нельзя по обычаю, и он отдал их гораздо богаче. Козаки также дарят лошадей по обычаю своему, за что командиры их угощают, и это известно всему генералитету и Военной коллегии. По совести, он не помнит, чтоб взял с Кубышкина. По форме суда и указам Петра Великого доносителям и челобитчикам должно к суду явиться со всеми документами; Тевкелев, Бардукевич и Иноземцев ничего не доказали, справки вожены, и курьерам прогоны даваны напрасно. Чтоб судьям и приказным служителям, кто с суда платил жалованье, о том в указах и уложениях нет.

Между тем 21 мая Бестужев доложил императрице, что необходимо переменить астраханского губернатора, потому что он в ссоре с наместником Калмыцкого ханства; сам Татищев просит об увольнении от астраханского губернаторства, а наместник просит об отрешении Татищева от калмыцких дел. Императрица согласилась и назначила преемником Татищева обер-прокурора Брылкина. Но указ об этой перемене не подписывался целый месяц. 22 июня Бестужев опять доложил, что Татищева надобно поскорее переменить, потому что Дундук-Даши по вражде к нему может уйти на Кубань или в Персию. Елисавета отвечала, что перемена уже решена, но исполнена будет после свадьбы великого князя.

В самом Сенате приговор над Татищевым не обошелся без протеста. Обер-прокурор Брылкин объявил, что имеет сумнительства: 1) присужденные комиссиею ко взысканию с прочих деньги взыскать велено с одного Татищева, а те люди на него по нескольким пунктам не доказали; 2) вина ему отпущена по милостивым указам 1741 и 1744 годов, и губернатором быть не велено, тогда как в этих указах повелено возвращенных из ссылки годных определить по-прежнему в службу и к делам.

После брачных торжеств указ написан в таком смысле, что Татищеву, сдав дела своему преемнику, ехать из Астрахани и для излечения болезни жить в деревнях. Татищев рапортовал в Сенат, что за высочайшую милость рабски благодарствует, что у него есть деревни в Дмитревском уезде, но за тяжкою болезнью доехать до них не может, а будет зимовать где случится на пути. Зимовать пришлось ему в симбирской деревне его сына, откуда он написал последнее из дошедших до нас письмо к Черкасову. Татищев умирал для служебной деятельности, и последние слова его были о Петре Великом:

«О себе вам доношу: из Астрахани выехал я 17 ноября, а сюда, в симбирскую сына моего деревню, прибыл 22 декабря, и хотя мне дом приготовлен был в Симбирске, который я, будучи в Самаре, для приезда построил, но, избегая от людей беспокойства, рассудил жить здесь; однако ж и тут хотя благодарю бога, что в своем доме и от дел приказных досад не вижу, но другие не меньше досады наносят, во-первых, что такую трудною ездою болезнь паки отяготила, и для пользования не токмо доктора, но лекаря достать не могу; второе, хотя здесь недалеко драгуны на квартирах стоят, но разбои в самой близости чинятся: за пять дней до моего приезда близ моей деревни разбили завод винный, где вблизи стоял капитан с ротою, но никакого взыскания не учинил, и если сие для великой

здесь в житах дороговизны происходит, то к весне, бесспорно, гораздо оных умножится, понеже многие крестьяне чем сеять не имеют. Третье, многие купцы и шляхетство, яко же и прочие, по знаемости приезжая, в разговорах с великою горестью и слезами приносят жалобы на воевод, полицеймейстеров, поставленных для искоренения воров по Волге и по винтер-квартирам офицеров и рядовых, и хотя я от них молчанием и рассуждениями причин отхожу, но по ревности моей к пользе отечества не могу без горести остаться, а паче видя, что за отдалением бедные люди скоро справедливости сыскать не могут, доходы же государственные невидимо умаляются, и притом, как вспоминаю намерение его импер. в-ства (Петра В.) о учреждении коллегии государственной экономии, чрез которую надеялся правосудие восстановить, а наглые немощные обиды и коварные ябеды пресечь, доход государственный без отягощения народа умножить и расход по достоинству и потребности уравнять, чтоб войско жалованьем и прочим удовольствовать, а народ оному разорять способы и случаи пресечь, рассмотрение по пределам, где какие подданным пользы умножить, а вреды отвратить; о училищах, чрез которые б во всех обстоятельствах рассуждениями государству пользы приносились. Сие сначала, мнится, князь Яков Федорович сочинял, потом граф Брюс с Фиком и старым Любрасом изъяснял и дополнял, что я у него с немецкого на русский переводить давал. Начало оно было письмо в поллисте и на многих местах приписывано рукою его величества, токмо мне оно, кроме заглавия, читать не давал, а из перевоженных, может, нечто у меня осталось, все же оное, к великому государственному сожалению, кончиною его величества не токмо яко еще неизвестное угасло, но паче то сожалетельно, что весьма государству полезные дела, которые уже при его величестве в действо произведены были, по нем разными образы уничтожены и пременены, так что горшие коварства и ябеды в судах, а немощных от сильных обиды и разорения происходить начали было, что всякому верному подданному вспомнать не безгорестно, ибо ее импер. в-ству неудобно о всем том ведать. Для избежания таких в отдалении горестных обстоятельств намерен я весною, если жив буду, переехать в дмитровскую деревню, которая от Москвы 50 верст, где я надеюсь всех тех тягостей и недовольств избежать; токмо прошу вас, государя моего, дать мне знать, не будет ли то противно: хотя в указе, где мне жить, точно не написано, но ваше было рассуждение, чтоб мне здесь жить».

С астраханским губернатором порешил Сенат, но от прошлого года оставалось дело о вятском архиерее Варлааме, с которым не легко было порешить. В первое же заседание по возвращении из Москвы, 11 января, Сенат выслушал донесение обоих, Варлаама и воеводы Писарева, и приказали: в св. Синод сообщить копии и написать, что для исследования дела надобно назначить достойную духовную особу, а Сенат со своей стороны назначит достойную светскую особу. Но дело замолкло на целый год. Синод хотел непременно отстоять архиерея в его ссоре с воеводою, несмотря на явную неправость и архиерея, позволившего себе расправиться с воеводой вовсе не по-архипастырски. Между тем Синод не переставал требовать от Сената удовлетворения по другим случаям насилия светских властей над духовными лицами; Синод жаловался, что в Петербурге в полночь объездной из полицеймейстерской канцелярии подпоручик Малер с драгунами разломал двери в доме дьякона Сергиевской церкви Иванова; драгуны, взявши дьякона с собою и привязав его к лошади на аркане, погнали на

лошадях; в такой скорой езде, не могли бежать наравне с лошадьми, дьякон пал от бессилия и разбился о камень, но драгуны, не обратив на это внимания, поволокли его на аркане по земле и притащили в полицию под караул с великим ругательством, и от такого увечья дьякон едва через долгое время начал приходить в память. Так было в столице; что же в областях? В Старице в церковь св. Параскевы пришел ко всенощной подьячий Григорьев, и в то же время пришел к церкви прикащик дворянина Чоглокова Семенов с несколькими людьми и дожидаясь выхода Григорьева, чтоб его бить, потому что у Григорьева с помещиком Чоглоковым была ссора, неизвестно почему-то Семенов хотел прибить также и дьякона церкви св. Параскевы Федорова; зная об ожидавшей их участи, Григорьев и дьякон по отправлении всенощной из церкви не вышли и были в ней заперты священником. Во время литургии вошел в церковь сам Чоглоков; увидевши его, Григорьев ушел в алтарь, где и стоял безвыходно. После обедни Чоглоков из церкви вышел, но прикащик его с товарищами остался. Видя, что Григорьев не выходит из алтаря, они подошли к алтарю, начали заглядывать туда, потом врываются; один из них, чтоб схватить Григорьева, ходил прямо между престолом и царскими дверьми, а Григорьев оборонялся от него обнаженным кортиком, держась другою рукою за престол. Семенов с товарищами подавали голос сквозь царские двери, вызывали Григорьева с великим сквернословием и шумом. Дьякон стал было в северных дверях, чтоб не пускать нападающих в алтарь, но один из людей Чоглокова ударил его рукою в висок, другие схватили его за волосы, вытащили вон из церкви и отдали стоявшим подле нее крестьянам Чоглокова под стражу. Явился староста поповский, но освободить Григорьева не мог; ходил за помощью к воеводе, но тот никакой помощи не дал, вследствие чего Григорьев с женою, дочерью и племянницею, вошедшими во время литургии, оставался около суток запертым в церкви, окруженной толпою народа с дубьем; наконец пришел коллежский асессор Сытин, отогнал от церкви крестьян Чоглокова и выпустил Григорьева с семьею.

Приходили жалобы с востока по поводу обращения инородцев. Синод давал знать Сенату, что Ярцев по-прежнему жалуется на несносные обиды новокрещеным: так, в одном сельце разорили их драгуны, которые даже забрали лес, приготовленный на строение церкви, и употребили его на конюшни. Новокрещены уже не требуют за обращение в христианство денежного награждения, просят только милостивого указа об охране их от обид. Сенат распорядился как мог: приказал Военной коллегии исследовать, взятое насильно взыскать с виновных и впредь насилий не делать. Нижегородский архиерей Димитрий все не ладил с мордвою; он доносил, что в Терюшевской волости в деревнях Романихе, Березниковой, Ключихе мордва имела многочисленное собрание и посланного для крещения желающих в селе Сарлей попа Алексея Мокеева били смертно, а на посланного с командою для взыскания доимок дворянина Безделкина нападали многолюдством; команда заперлась в избе, все исповедались и причастились, готовясь к смерти. Послана была другая команда, но и ее начальник донес, что не сладит, мордва собралась многолюдством с рогатинами, бердышами, стрелами и дубьем, взять себя не дают и помощь к ним идет из других деревень, все некрещеная мордва. Отправлен был драгунский капитан Иван Аксаков с 75 человеками, и скоро губернская канцелярия известила, что вся мордва приняла крещение, и потому надобно ли следовать дело о попе

Мокееве? Сенат отвечал, что не нужно следовать и объявить мордве, что хотя она подлежала жесточайшим истязаниям и смертной казни, но за восприятие христианства прощается. Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости подала просьбу императрице, что епископ Димитрий насильно принуждает ее к принятию христианства, держит многих под крепким караулом в кандалах и колодках, бьет мучительно, смертно; многих и в купель окунали связанных и крест надевали на связанных же; кладбища их и моленные амбары архиереев все пожег и дома разорил, от чего многие разбежались и живут в лесах, оставшиеся пришли в конечное разорение, так что податей и помещичьяго дохода стало платить нечем. По выезде своем из их волости Димитрий оставил протопопа, который бьет их и мучит, а губернская канцелярия правит на них подушные доимочные деньги 7000 рублей будто за принявших православную веру. Сенат приказал: так как в Терюшевской волости осталось мало некрещенных и 7000 заплатить нельзя, то подождать взыскивать до будущего разрешения; в Синод сообщить ведение, чтоб отнюдь принуждения к вере не было, и Синоду рассмотреть дело по мордовской челобитной. Но кроме мордвы роковой Терюшевской волости и чуваша Ядринского и Курмышского уездов подали просьбу императрице на игумена Неофита, на курмышского протопопа Киприанова, на двоих дьячков и крестьян Дудина монастыря, что били их мучительно, разоряли и крестили неволею. Кроме мордвы и чуваш обращаемы были в христианство калмыки, крещенные владельцы которых увеличивали собою число русских княжеских фамилий: крестившейся ханше, вдове Дундук-Омбо, названной Верою, велено называться княгинею, двум ее дочерям – Надежде и Любви – княжнами, сыновьям – Петру, Алексею, Ионе и Филиппу – князьями Дундуковыми. На востоке распространяли христианство между инородцами; на западе хотели охранить православие у своих русских и соплеменников православных. 15 июня Елисавета при докладе канцлера с удовольствием говорила о дворянах посольства в Париже, о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при этом велела туда отписать, чтоб они особенно веры и закона не забывали, а так как русской церкви и священника в то время там не было, то велела отправить в Париж церковь с утварью и священником как для дворян посольства, так и для других русских людей, которые там временно бывают; также велела отправить церкви и ко всем дворам, где министрами были русские. Еще прежде, будучи в Иностранной коллегии для слушания дел, императрица приказала, между прочим, хотя не теперь, но со временем приложить старание, чтоб в Вене находящимся там единоверным греческого исповедания людям позволено было иметь публичные церкви и при них колокола, взаимно, как в России такое позволение дается для римских церквей.

Сильно продолжала занимать Синод секта вертящихся, которую начали называть хлыстовщиною и христовщиною, указывали также на сходство ее с квакерской сектой. Так как открывали все более и более членов этой секты, то в начале года учредили особую следственную комиссию в Москве из троих светских членов (Берг-коллегии советника Казаринова с двумя ассессорами) и из троих духовных (московской Славено-греко-латинской академии ректора архимандрита Порфирия с двумя белыми священниками). Армянам отказано было в позволении отправлять богослужение в старых их церквях. В описываемое время у Сената с Синодом происходила любопытная переписка относительно

продажи церковных книг по более дешевым ценам. На желание Сената понизить цены Синод отвечал, что возвышение цен происходит от торгующих книгами в Москве вне типографии на Спасском мосту (у Спасских ворот) и в рядах, и хотя Синод прилагал всевозможное старание, чтоб не торговали книгами вне типографии, и запрещал, однако продажа эта все продолжается. Тогда Сенат приказал сообщить св. Синоду ведение, что нельзя запрещать продажу книг из лавок вне типографии, потому что от такого запрещения многим людям может произойти большое отягощение и обида; так не соблаговолит ли св. Синод положить книгам продажные цены умеренные и чтоб продавались они всегда безостановочно. Когда цены будут положены умеренные и книг будет в продаже достаточно, то никто не захочет покупать их в лавках по более высокой цене, все станут обращаться в типографию, и, чтоб купцы в Москве и в городах на ярмарках не продавали книг дорогою ценою, за этим будут смотреть Камер-коллегия и Главный магистрат.

Сенат хлопотал о дешевизне церковных книг, но в продаже все не было той книги, о скорейшем издании которой заботилась императрица по завещанию отца своего. Мы видели, что пересмотр библии замедлился в Синоде в 1744 году и старший член его, Амвросий Юшкевич, отказался от пересмотра. 8 ноября описываемого года Синод опять получил именной указ – библию, исправленную Феофилактом Лопатинским, непременно издать в этом году для народного употребления; если же члены св. Синода это исправление считают в чем-нибудь недостаточным или кто-нибудь из них в чем сомневается, то представили бы письменно свои мнения. 18 ноября члены Синода подписали определение, в котором о той библии «рассудили, что она без должного тех, кои ее исправляли, заручения находится чрез многопрошедшее время и сумнительно есть, нет ли в ней каковой попорчки, чего ради оную без оговорения печати предать опасно, и определили оную с печатною словенскою прочесть и исправить». Исправление было поручено архимандриту Илариону. Дело затянулось еще на несколько лет. Кроме издания библии Синод получил чрез своего обер-прокурора князя Шаховского еще повеление императрицы, чтоб проповедники, назначаемые в придворную церковь, говорили проповеди наизусть, а не по тетради. К описываемому времени относится первая мысль об иностранной цензуре, которую также должен был бы взять на себя Синод. 11 ноября при докладе канцлера Елисавета приказала: привозимые на кораблях и сухим путем книги отбирать и объявлять Синоду, нет ли в них противностей вере. И когда указ был написан и Елисавета выслушала его, то Бестужев представил, что такое распоряжение будет очень тяжело, так что никому нельзя будет достать из чужих краев никаких нужных для обучения и исторических книг, ибо когда все такие книги будут свидетельствовать, то для прочтения каждой потребуется немалое время, и, кому она будет надобна, тот дожидаться может. Пусть таким образом свидетельствуются только церковные книги, а прочие, исторические и другие, пусть свободно привозятся и в народе употребляются. Императрица оставила указ у себя для рассуждения с архиереем крутицким.

Из забот по хозяйству империи Сенат по-прежнему тяготила забота о правильном снабжении областей солью. Эти продолжительные хлопоты о соли любопытны для нас потому, что вскрывают главную беду древней и новой России – недостаток рабочих рук. В январе Сенат уже представлял императрице, что он

определил выдавать заимообразно баронам Строгановым немалую сумму денег для вывозки и доставки соли, но они денег не берут, говоря, что входить в казенные долги не желают, и ждут решения императрицы на поданное ими прошение о взятии их варниц в казну, а Сенат опасается, что соли доставлено не будет. В следующем месяце Строгановы объявили, что соль готова, но как ее провезть? Работников с печатными паспортами нет, а письменными не велят брать. Приготовляться к выварке на 1746 год им нельзя, потому что денег нет вследствие прошлогодних убытков, а послать к марту месяцу надобно до 70000 рублей. Соляная контора дает им займы до 30000 рублей, но они боятся взять, потому что не надеются отдать. Всего нужно теперь им денег 199437 рублей, но такую сумму едва можно будет получить от продажи через год. Прибавка по копейке на пуд вознаградить их не может, тем более что продажа с прибавочною копейкою будет происходить в 46-м и 47-м годах и деньги возвращаться будут разве через два года; да и не в одних деньгах дело: подрядчики отказались везти соль за неимением работников и за другими озлоблениями, почему поставку соли из Нижнего в верховые города они, Строгановы, ни за какое награждение производить не в состоянии. Делать нечего, надобно было приниматься за старину, и генералу Юшкову велено было весною озаботиться поставкою работников на суда с солью, как было в 1744 году. Губернаторы и воеводы будут отвечать, если к сроку не вышлют людей. Денег должны были платить Строгановы и другие промышленники столько же, сколько платили бы вольным работникам.

Прошло два месяца. В мае Строгановы опять доносят, что к отпуску 745 года соли у них свезено сколько было возможно, суда под нее и приписаны, и приготовлены, но в рабочих людях при промыслах великий недостаток, так что по 1 апреля ни вольных с печатными паспортами, ни подрядных по указу к промыслам ни одного человека не явилось. Также из Нижнего Новгорода приказчик пишет, что посланный им в Казанскую губернию служить с готовыми деньгами для найма на устье Камском прибавочных для волжского верхового хода работников отыскал только из иноверцев 300 человек, и то без паспортов. Подрядчики для отправления соли из Нижнего до верховых городов просят за провоз цену несносную, и, зная свое совершенное изнеможение, они, Строгановы, в дальнейшие договоры с подрядчиками вступать опасаются. Строгановы требовали, чтоб назначена была особенная комиссия для освидетельствования всех их доходов и расходов как при выварке, так и при поставке соли. Требовали освидетельствовать заключение подрядов, путевые страхи, усышку и утечку. Требовали, чтоб подрядчикам для обороны от обид, наносимых разными командами, дать от Сената печатные охранные указы, ибо подрядчики вносят в договор, что если случатся им приметки или обиды от какой-нибудь команды, то обязательства их недействительны. Сенат велел послать указы губернаторам и воеводам выслать рабочих, подрядчикам препятствий не делать, оказывать всякую помощь, но велел также отвечать Строгановым, что они не имеют права требовать денег на разные расходы, потому что им прибавлено по копейке с пуда и по прежнему освидетельствованию видно, что они получают немалую прибыль и награждены освобождением от пошлин.

По донесению Юшкова в отпуску пермской соли было 4264077 пудов. Но Строгановы в июне опять подали жалобу в Сенат, что подряженные и

обздаточенные ими люди нечаянно от работ отлучаются по нарядам от правительства, а иные задатки приносят обратно во время крайней нужды и к работе их неволею принудить никак нельзя, вместо же их других сыскать негде, притом нанимают и задатки раздают на работников годных, а во время отпуску на ладьи приходят малолетние и в работу негодные, которых за неимением других переменить уже некем. Сенат приказал выслать на строгановские суда работников, взявших задатки. Сенату, видимо, наскучили постоянные жалобы Строгановых, и потому он определил: впредь Строгановым о соляных делах представлять и решения требовать от соляной конторы и, чего конторе самой делать нельзя, о том она должна представлять в Сенат. Но как нарочно, только что, казалось, отделались от Строгановых, как с противоположного угла является жалоба на то же самое и по тому же поводу. Астраханская губернская канцелярия прислала донесение, что в поставке соли с озер к Астрахани и до верховых городов препятствует недостаток в рабочих людях; при торгах подрядчики объявили, что рабочие люди, взяв задатки, бегут; притом холст на паруса и мешки дорог: прежде покупали тысячу аршин по 18 и 20 рублей, а ныне покупают по 32 и по 33 рубля. В верховых городах сыщики на заставах берут рабочих людей. В 1744 году с судна подрядчика Курочкина сыщик взял 60 человек и приказчика, по этим причинам подрядчики поставили провозные цены чрезмерно дорогие: до Нижнего по 19 копеек за пуд, чего никогда не бывало. Соляная контора подтвердила астраханское донесение, что в Нижнем и других местах подрядчикам и рабочим, везущим соль, обиды, задержки и взятки от комиссии розыскных дел, отчего в найме рабочих на суда немалое помешательство. Сенат приказал прекратить эти притеснения под страхом воинского суда, но полковник Фраундорф донес из Нижнего, что на соляных судах явилось немалое число беглых крестьян, рекрут и разбойников, а теперь запрещено эти суда задерживать; как же быть? Сенат отвечал: осматривать, но не задерживать; кто явится подозрителен, того брать, но судно не останавливать.

Кончились хлопоты насчет 745 года; пришла осень, и начались хлопоты относительно поставки в будущем, 746 году. Григорий Демидов отказался вываривать соль, потому что нет денег на заготовку дров. Сенат приказал принудить его к выварке соли, потому что он от продажи соли и данных ему в ссуду денег получил более 44000 рублей с небольшим в один год, несравненно более других промышленников; притом же Демидов и в промысел вступил с немалым награждением от отца. Строгановы опять объявили, что не в состоянии вывозить прежнего количества соли. Сенат велел обязать их поставить соль в указные места около трех миллионов пудов, потому что они прибыли получают от каждого пуда по 4 копейки без некоторых долей, за поставку соли в Нижнем получают по 9 копеек с пуда, и хотя при провозе от Нижнего до верховых городов могут случиться некоторые убытки, однако они вознаграждаются барышом от выварки соли и поставки ее до Нижнего. Но Строгановы представили показания своих приказчиков: крестьянам – поставщикам дров наперед роздана немалая сумма на 72 варницы, но поблизости леса уже вырублены, надобно доставлять дрова издалека, а тут разные беды, маловодье, жестокие бури, так что пропало 17783 сажени, чего вознаградить уже никак нельзя, ибо дрова ставили вверх Камы за несколько сот верст и на поставщиках задаточных денег в доимке немалая сумма, которой за их крайним изнеможением взыскать никак нельзя; от этого

промыслам конечная несостоятельность, и выварить указанного числа – 3 миллионов пудов – нельзя, потому что дров будет только 139187 сажен, которыми можно выварить 2780000 пудов. Соляная контора представила Сенату, что надобно непременно заставить Строгановых выварить три миллиона пудов, иначе грозит страшная опасность. Мелкие соляные пермские промышленники не в состоянии доставить требуемого числа соли. Демидов, у которого в год вываривалось до 264000 пудов, прекратил работы с мая месяца. Отпуск бузуну из Астрахани явился неполный за недостатком рабочих людей. Сенат приказал: принудить Строгановых вываривать соль и дрова пусть вывозят зимой.

Соляные промышленники отказывались вываривать и доставлять соль. Содержатели железных заводов Балашов, Миллер, Данилов и Миляковы представляли в Берг-коллегию, что не в состоянии выплачивать доимку. Мнения членов коллегии разделились: президент и вице-президент считали представления заводчиков основательными, но остальные члены и с ними прокурор думали иначе, и прокурор жаловался Сенату, что президент и вице-президент не обращают внимания на его протест. Тот же прокурор Суворов доносил, что многим заводчикам под железные и минеральные заводы отведены государственные земли и угодья, они лес и дрова употребляют из этих угодий, но за земли, за лес и дрова ничего не платят вопреки берг-привилегии и берг-регламенту.

Еще со времен Петра Великого, как мы видели, шел важный для русской промышленности вопрос о выделке широких или узких холстов. По господствовавшему тогда повсюду правилу старалось выпускать за границу как можно более уже выделанных товаров, и так как за границу требовались широкие холсты, то запрещалось выделывать узкие; но чрез такое запрещение производство останавливалось, потому что крестьянам трудно было вдруг перейти от одного способа выделки к другому, и холста не доставало для удовлетворения внутренних потребностей. Главный комиссариат представил, что ежегодно требуется большое количество холста для войска, и холст этот обыкновенно покупался не с фабрик, а у крестьян, и так как выделка узкого холста запрещена, то и небольшого количества холста достать негде и в полках может последовать большой недостаток. Вследствие этого представления разрешено выделывать широкие и узкие всяких рук полотна и холсты.

Относительно сукон комиссариат продолжал жаловаться на фабрикантов и Мануфактур-коллегию, заступавшуюся за фабрикантов. Комиссариат доносил, что фабриканты доставили 1940 половинок сукна и из них 1188 несходных с образцами. Сенат велел своей московской конторе призвать всех фабрикантов и объявить, чтоб впредь сукно ставили по образцам, и хотя нынешней поставки сукна у них приняты по самой крайней нужде, но если в другой раз они поставят такие же, то подвергнутся не только штрафу, но и наказанию непременно, без всяких отговорок. Призвать также в контору президента и всех членов Мануфактур-коллегии и сделать выговор, что смотрят за фабрикантами очень слабо. Сам Сенат видит из доставленных комиссариатом образцов, что сукна очень плохи, иные недовалены и шишковаты, за что коллегия подлежит жестокому штрафу. Быть может, не без участия комиссариата, желавшего иметь фабрики в одном своем заведывании, в конце года фабрикант Суровщиков объявил, что он положенное количество сукон поставить не может, потому что фабриканты

состоят под двумя ведомствами – комиссариата и Мануфактур-коллегии – и фабрики не могут быть исправны за частыми отлучками содержателей их в разные командировки, и если он, Суровщиков, в ведении одного главного комиссариата не будет, то пусть возьмут его фабрику в казну.

Выделка шелковых материй шла вперед благодаря мастерам, посланным за границу Петром Великим. Елисавета дала поруческие чины мастерам из дворян Ивкову и Водилову, которые были отправлены отцом ее в Италию и Францию и теперь жили на московской шелковой мануфактуре и завели здесь бархатные, грезетные, штофные и тафтяные станы; Ивков научил делать травчатого дела бархат, какого прежде в России не делалось, а Водиллов научил делать английские штофы, грезеты, тафты, которых прежде не было.

Из Перми и из Астрахани по поводу доставки соли приходили жалобы на недостаток людей; но такие же жалобы приходили и из других мест, недоставало людей в канцеляриях. Определенный для сыску воров и разбойников подполковник Львов доносил о крайнем недостатке приказных служителей, вследствие чего 200 колодников ждут решения своих дел; он требовал приказных служителей от казанской губернской канцелярии, а та прислала ему тех, которые в канцелярию генеральной ревизии не приняты за негодностью. Сенат велел казанской губернской канцелярии удовлетворить Львова без отговорок. Дело было важное, и дел было много у Львова с товарищами. Опять обнаружили разбой в 25 и 35 верстах от Москвы. Определенный для сыску разбойников полковник Греков доносил, что разбойники появились по Оке, в уезде Переяславля Рязанского. В Сибири колодники, назначенные в ссылку, более 200 человек, когда их везли в судах по Иртышу, взбунтовались, стали разбойничать по Оби, хвалясь разорить город Сургут, а в Сургуте не было и полфунта пороху, пушки ни одной. Решения по разбойным делам замедлялись не по одному недостатку приказных служителей. Юстиц-коллегия прислала в Сенат экстракт из дела, которое тянулось лет тридцать. Воровские люди, в том числе крестьяне стольника Милославского, разорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском уезде. Преображенский приказ решил взыскать с Милославского 3000 рублей, но в 720 году по челобитной Милославского и по письму князя Ромодановского, управлявшего Преображенским приказом, этих денег на Милославском до указа править не велено; в 1724 году по приговору Ромодановского дела и колодники отосланы для следствия в шацкую провинциальную канцелярию; в 1728 году по указу из Сената велено дело взять в воронежскую губернную канцелярию, но отсылки дела туда не значится, и потому Юстиц-коллегия спрашивала, что делать? Сенат приказал отослать дело в воронежскую губернную канцелярию. Если недостаток в людях так чувствовался в разных отправлениях государственной и народной жизни, то оказалась и польза от него: он отстранял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так, уже известный нам полковник Львов доносил, что отправленные им на поиски офицеры прислали ему беглых солдат и рекрут более 70 человек, которые показали, что в бегах покупали фальшивые паспорта у разных неведомых бурлаков, а более подозрительными себя не показали; они очень молоды и видные собою люди, и если их за покупку паспортов разыскивать, то уже они к службе будут негодны. Сенат приказал: наказав их плетью, отослать для определения в службу в Выборгский и Кексгольмский гарнизонные полки.

Кроме разбоев в городах и деревнях терпели от пожаров. Были большие пожары в Москве, Новгороде, Смоленске, Ельце. На пожарах бывали иногда любопытные случаи: казанский полицеймейстер Маматов жаловался на губернатора Загряжского, что тот во время пожара, приехав со псовой охоты, наезжал на него, Маматова, на лошади, при всем народе бил по голове и бранил шельмою, канальею и пьяницею. Губернатор, оправдывая себя, жаловался на слабые поступки полицеймейстера. В описываемое время некоторые части России страдали еще от скотского падежа; меры, употреблявшиеся для прекращения бедствия, были следующие: лошади приезжающих из зараженных мест должны были выдерживать карантин; палые животные зарывались в дальних местах в глубокие ямы, кожи с них снимать не позволялось; около зараженных мест учреждены были заставы. В Петербурге правительство по-прежнему должно было охранять жителей от степной привычки скорой езды. Императрица дала полиции изустный указ: 1) извозчикам ездить на возжах, только бы лошади были взнузданы и ездили бы рысью, тихо, и не скакали и сани были бы подкованы; извозчикам быть в серых кафтанах неразодранных, в кушаках красных, в сапогах и в одинаковых шапках зеленых, а на левых руках были бы номера. Тут же разрешено ездить цугами.

Ревизия продолжалась. Определенный к этому делу в Новгородскую губернию генерал-майор кн. Черкасский доносил, что в названной губернии по прежней переписи считалось жителей 594313 душ, из них обревизовано 198583, в которых против прежней переписи явилось прибылых 32694 души; за прописных с 724 года подушных и прочих денег к взысканию положено 73605 рублей. Такие донесения Сенат признал очень полезными и нужными, но их, кроме Черкасского, никто не присылал; поэтому приказали потребовать подобных же донесений от всех, чтобы присылали через каждые три месяца, и таким образом можно было бы знать, какое число душ мужского пола в каждой губернии обревизовано, сколько прибыло и убыло и с каким успехом ревизия производится. Это было в январе, а в марте Сенат получил неприятное объявление: «Ее импер. величеству стало известно, что астраханские и прочие по Волге рыбные промыслы взяты от частных людей в казенное содержание, также при ревизии в Астрахани явилось много простых людей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не знают, где родились, таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в Петербург на поселение, но они по привычке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и бусурманятся, также на реку Куму и на бухарскую сторону за Яик и там питаются звериным промыслом, в отчаянии живут зверски. Обо всем этом ее импер. величество не знает, о рыбных ловлях Сенат от ее величества никакого повеления не требовал, и о происходящих по ревизии делах, где что сделано, ее величеству донесено не было. Поэтому ее величество повелевает Сенату: рыбные промыслы частных людей и воды, которые они откупали от казны, немедленно им возратить, а дела, имеющиеся об этом в Сенате, прислать к ее величеству для рассмотрения; о ревизии, что в ней произошло по сие число во всем государстве, подать ее величеству известие, где показать, в каких местах против прежней ревизии сколько явилось прибыли и убыли в людях; а из Астрахани в Петербург людей до указа высылать не велеть: по рассмотрении дела, может быть, сочтется удобным там же, в Астрахани, внести их в перепись и поселить по Волге на пустых местах, которые, будучи пустыми местами, никакой пользы не приносят».

Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, разбежались от ревизии и высылки в Петербург; но на верхнем Хопре, в поселке Турках, обыватели, человек 200, встретили ревизоров с ружьями, копьями и дубьем, квартир им не дали, напали на улице на определенных к ревизии драгун и подъячего и били их смертным боем. Ревизоры доносили, что причиною сопротивления жителей поселка было большое количество беглых между ними. Донской атаман Данила Ефремов объявлял, что по высылке с Дону беглые на прежние свои жилища нейдут, бегут опять на Дон, шатаются в лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому ревизорам было велено начать перепись с тех мест, которые лежат близко от козачьих городков, и начать перепись в зимнее время, когда беглым холодно шататься и они поневоле живут в городах и селах. Но не в одних степных укрainaх ревизия встретила препятствия. В Москве многие обыватели не сказывались дома, отговаривались неисправностями; служитель дома графа Головина Иванов по многим посылкам к ревизии не явился, посланному солдату запретил впредь приходить и поставил у ворот караульного с приказанием бить солдата, если он посмеет опять прийти. Берг-коллегия прислала ведомость, где на некоторых заводах имен работников не показано и, в каких местах находятся заводы, не объявлено. В Калуге с магистрата взыскано было штрафа 10 рублей за неподачу сказки о калужском купечестве, но и это не помогло, сказка не подавалась. В Смоленской губернии в деревнях подполковника Ушакова утаено было при переписи 87 душ; староста, священник и крестьяне показывали, что утаить велел помещик.

Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в Сенате: она была очень занята делами внешними; по ним были частые доклады канцлера, происходили в дворце советы или собрания в присутствии императрицы, которая также иногда присутствовала инкогнито и при конференциях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными. Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник престола, великий князь Петр Федорович, вовсе не отличался крепким здоровьем. До поездки в Москву, в 1743 году, у него был сильный припадок: вдруг оказалась чрезвычайная слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым удовольствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племяннику, будучи сама нездорова, ужаснулась перемене, которую нашла в нем, залилась слезами и потеряла язык. Петр лежал без движения; наконец показался пот на лбу; доктор Боэргав был в восторге, увидав в этом хороший признак, и действительно благоприятный перелом совершился. В Москве в ноябре 1744 года великий князь заболел корью; когда он выздоровел и санная дорога установилась, в декабре императрица отправилась в Петербург; за нею спустя несколько времени выехал и великий князь с невестою и ее матерью. На дороге за Тверью в селе Хотилове ему сделалось дурно, и на другой день оказалась оспа. Императрица, которая уже приехала в Петербург, получив известие о болезни племянника, немедленно отправилась в Хотилово и оставалась здесь весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился и она вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было в начале февраля. 10 числа этого месяца праздновали день рождения великого князя, которому минуло 16 лет: зажжена была иллюминация, «представляющая храм Гигеи, т.е. здравия и долгих лет, внутри которого статуя радости и увеселения держала вензелевое имя его импер. высочества».

После этого начались приготовления к свадьбе великого князя, которая совершилась 21 августа с необыкновенным торжеством: празднество продолжалось 10 дней. Английский посланник писал своему двору, что свадьбою спешили, чтоб приличным образом избавиться от некоторых бесполезных особ обоего пола, эти особы были прежде всего принцесса Цербтская и потом гофмаршал великого князя Брюммер, который шел наперекор канцлеру Бестужеву в своей приверженности к Пруссии и Франции. Раздражение, возбужденное в императрице против принцессы Цербтской делом Шеварди, не могло исчезнуть и высказывалось при каждом удобном случае. При этом неприятный, мелочный характер принцессы возбуждал против нее всеобщее неудовольствие, и, в то время как дочь старалась, и с успехом, привязать к себе, мать отталкивала от себя всех, начиная с дочери: поссорилась из-за пустяков и с нареченным зятем, великим князем. Раздражение против принцессы увеличивалось еще делами голштинскими и шведскими. Управлявший Голштинским герцогством во время малолетства Петра Федоровича дядя его, избранный потом в наследники шведского престола, успел составить в Голштинии сильную партию, к членам которой принадлежал и Брюммер. Эта партия хотела удержать за собою господство и по отъезде герцога-администратора в Швецию надеялась, что настоящий герцог, т.е. великий князь Петр Федорович, как достигший совершеннолетия, пришлет своим наместником Брюммера. Но поведение кронпринца шведского, который под влиянием жены своей, сестры Фридриха II, совершенно предался франко-прусским интересам и тем вооружил против себя русский двор, считавший себя вправе упрекать его в крайней неблагодарности, – такое поведение заставляло наблюдать относительно Голштинии большую осторожность и не позволять здесь господствовать партии бывшего администратора, тем более что явилось подозрение относительно добросовестности этой администрации. Принцесса Цербтская ревностно поддерживала интересы своего брата кронпринца, который в августе писал ей по поводу голштинских дел: «Стараются очернить людей, мне преданных, и недостает только одного, чтобы назвали меня по имени. Я не боюсь никакого следствия; напротив, буду рад, ибо уверен, что следствие обратится в мою пользу. Признавая охлаждение между мною и великим князем чрезвычайно опасным для нашего дома, считаю необходимым предупредить все внушения, которые, как видно, сделаны были ему против меня. Я уверен, дражайшая сестрица, что вы приложите к тому все свои старания; я требовал того же и у великой княгини по вашему совету. Я при первом надежном случае пришлю вам два экземпляра с цифирью, которые вы и великая княгиня можете употреблять; но я вас усерднейше прошу внушать ей, чтобы она в этих случаях поступала со всевозможным благоразумием и осторожностью. Брат мой Август приносит на меня несправедливую жалобу».

По поводу этого брата Августа раздражение против принцессы Цербтской стало еще сильнее в Петербурге. Принцесса еще в 1744 году в Киеве получила от него письмо, в котором он изъявлял желание приехать в Россию. Ей дали знать, что Август хочет приехать в Россию с целью получить управление Голштинии именем совершеннолетнего великого князя и что об этом хлопочет голштинская партия, враждебная прежней администрации. Принцесса отвечала брату из Козельска, что лучше ему вступить в голландскую службу и пасть с честью на

поле битвы, чем интриговать против брата и присоединиться к врагам сестры в России. Под этими врагами она разумела канцлера Бестужева, который вел все это дело, чтоб повредить Брюммеру и всем приверженцам кронпринца шведского. Письмо попало в руки Бестужеву и было им прочтено императрице, которую особенно поразило это жестокое слово сестры родному брату, что лучше ему быть убитым. Понятно, что это нежелание принцессы Цербстской видеть принца Августа в России заставило поспешить вызовом его в Петербург; он приехал, был дурно принят сестрою, и это еще более повредило ей. А между тем Бестужев поднес императрице перехваченное письмо наследного принца шведского к Брюммеру, где принц горько жаловался на стеснительное положение сестры своей в России относительно денег, жалел, что не может помочь ей, потому что сам кругом в долгах, и просил как-нибудь довести до сведения императрицы о безденежье принцессы Цербстской. Препровождая это письмо Елисавете, Бестужев по обычаю снабдил его своим примечанием, что непонятно, куда принцесса могла истратить столько денег, подаренных ей в разные времена императрицею, и, кроме того, успела наделать много долгов; канцлер не упустил случая напомнить императрице, что и сам наследный принц получил 120000 рублей русских денег для утверждения своего в Швеции и вообще благодетельствован в ущерб Российской империи. Еще при докладе канцлера 22 июня императрица «в рассуждении каких-либо могущих быть неугодностей и толкований о нынешнем вступлении великого князя в голштинское правительство изволила указать корреспонденцию принцессы Цербстской секретно открывать и рассматривать, а буде что предосудительное найдется, то и оригинальные письма удерживать».

28 сентября принцесса Цербстская выехала из Петербурга, получивши на прощанье 50000 рублей да два сундука с разными китайскими вещами и материями; свита ее была также богато одарена; великий князь послал тестю свои бриллиантовые пуговицы с кафтана, бриллиантами украшенную шпагу, бриллиантовые пряжки и несколько других подобных вещей. Прощаясь, принцесса пала на колени пред императрицею и со слезами просила прощения, если в чем-нибудь оскорбила ее величество. Елисавета отвечала, что теперь уже поздно об этом думать, лучше было бы, если бы она, принцесса, всегда была так смиренна.

Отъезд принцессы Цербстской должен был показывать Брюммеру, что и ему надобно собираться в дорогу, тем более что он сумел окончательно озлобить против себя своего воспитанника, великого князя, с которым решительно не умел обходиться: то выходил из себя, причем забывался до неприличной брани, то начинал униженно ласкаться. Однажды он забылся до того, что бросился на Петра с кулаками; тот вскочил на окно и хотел позвать часового; профессор Штелин, бывший свидетель сцены, удержал его, представив, какие будут следствия; тогда великий князь побежал в спальню, выхватил шпагу и сказал Брюммеру: «Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, то я прокалю тебя шпагою». С этих пор между воспитателем и воспитанником воцарилась совершенная холодность. Лесток толковал, что намерен проситься в отставку и ехать на воды в Германию. Замечали, что он лишился всякого влияния на дела, и хотя императрица по старой привычке и памяти о старых услугах не удаляла его от двора, но при случае безо всякой церемонии давала ему чувствовать, как он сильно упал в ее мнении.

Однажды когда он стал хвалить перед нею графа Воронцова, то она сказала ему: «Я имею о Воронцове очень хорошее мнение, и похвалы такого негодяя, как ты, могут только переменить это мнение, потому что я должна заключить, что Воронцов одинаких с тобой мыслей». Обер-церемониймейстер граф Санти мимо Коллегии иностранных дел обратился к Лестоку за наставлением, какое место назначить Брюммеру и Бергхольцу при будущих торжествах бракосочетания наследника. Лесток по старой привычке обратился к императрице с докладом об этом деле, но получил в ответ, что канцлеру неприлично вмешиваться в медицинские дела, а ему в канцлерские, и при первом докладе Бестужева велела ему сделать выговор Санти, чтоб он со своими делами не обращался ни к кому мимо канцлера или вице-канцлера, иначе может потерять свое место. Бестужеву это поручение не могло быть неприятно, потому что он не любил Санти как человека противной партии и называл его в насмешку «обер-конфузионсмейстером». Шетарди обещал Лестоку королевским именем подарок в 12000 рублей, а Лесток просил, чтобы на эти деньги были сделаны ему в Париже кареты и ливрея. После высылки Шетарди о каретах и ливрее замолчали. Наконец Лесток через Мардефельда напомнил преемнику Шетарди Дальону о 12000, но Дальон дал знать своему двору, что Лесток вследствие победы Бестужева не может быть полезен и потому не для чего на него тратиться, при том же он предпочитает прусские выгоды французским.

Бестужев победил; врагов, которые до сих пор вели против него такую сильную борьбу, – одних уже нет в России, другие готовы удалиться – потеряли значение: Но в это самое время против торжествующего канцлера поднимается новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, – вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта перемена? До назначения своего вице-канцлером Воронцов принадлежал к числу тех русских вельмож, которые старались высвободить Россию из-под влияния Франции и утвердить национальную политику, состоявшую в поддержании слабейших 12 государств против сильнейших – Австрии и Саксонии против Франции и Пруссии, причем по единству интересов морские державы Англия и Голландия были естественными союзницами России. До сих пор Воронцов действовал заодно с Бестужевыми. Сильный своим приближением к императрице, родством с нею по жене, участием в перевороте 25 ноября, дружбою с фаворитом Разумовским, Воронцов, естественно, играл роль покровителя в отношении к Бестужевым, что и видно из переписки обоих братьев с ним. Но теперь Алексей Петр. Бестужев стал канцлером, а Воронцов – вице-канцлером, покровитель должен играть второстепенную роль подле покровительствуемого, и стоило только Воронцову стать официально подле Бестужева, как второстепенность, незначительность его роли обозначились резко в глазах всех своих и чужих. Бестужев сделал все, Бестужев поборол противников своей системы. Воронцову оставалось быть скромным спутником блестящей планеты, но для его самолюбия это положение было тяжело, а тут искушения со всех сторон: враги канцлера ухаживают за вице-канцлером, он теперь их единственная надежда, им необходимо сделать его соперником ненавистного Бестужева, они утешают друг друга тем, что Воронцов свергнет Бестужева; такие утешения не могут скрывать ни от канцлера, ни от вице-канцлера и, естественно, кидают между ними нож. Единственное средство для Воронцова выйти из подчиненного положения, выделиться, получить

самостоятельное значение, засветить собственным светом – это порозниться в мнениях с канцлером, а это легко и выгодно: недавно окончена шведская война, ни императрица, ни большинство людей знатных не хотят новой войны, а канцлер слишком рьян, он непременно хочет употребить сильные средства, двинуть войска, грозить ими Пруссии; легко сказать – двинуть войска: чего это будет стоить и где взять денег? А если Пруссия не испугается одного движения войск и нужно будет действительно начать войну? Для чего подвергаться такой опасности? Изменять системы не нужно; можно помогать Австрии и Саксонии, сдерживая Пруссию сильными представлениями. Такое мнение очень понравится императрице и многим другим, а между тем нельзя было забыть и внушений Шетарди: благоразумно ли вооружать против себя молодой двор, идя резко наперекор его привязанностям? Елисавета может вдруг умереть...

Таким образом, Бестужев в проведении решительных мер против Пруссии должен был встретить в своем товарище не помощника, но противника, который вначале имел возможность действовать с успехом. Кампания 1743 года кончилась неудачно для Фридриха II: он должен был очистить Богемию, а в январе 1745 года умер союзник его император Карл VII, что еще более затруднило его положение. Еще в конце 1744 года Фридрих II обратился к Елисавете с требованием помощи на основании оборонительного союза; не надеясь, однако, чтобы это уж слишком наглое требование было уважено, Фридрих велел Мардефельду просить императрицу принять на себя посредничество для умирения Европы. Чернышев оставшийся один в Берлине по отъезду Мих. Петр. Бестужева в Дрезден, отвечал Подевилльсу, что императрица не считает себя обязанною помогать прусскому королю в этой войне, которую он сам начал, тогда как никто на него не нападал, принять же на себя посредничество для водворения мира в Европе она согласна. Поэтому 23 января в Петербурге посланник Марии Терезии граф Розенберг был позван к государственному канцлеру, который ему сообщил, что прусский король приглашает императрицу принять на себя посредничество в примирении всех воюющих держав. Розенберг должен был уверить свою государыню, что императрица будет ждать только ответа от венского двора, чтобы приложить самое усердное старание о всеобщем примирении и подать новые опыты своего высокопочитания ее величеству королеве. Розенберг отвечал, что его государыня, предав свою судьбу в руки ее импер. величества, примет за благо все, что императрица ей ни изволит присоветовать, будучи уверена, что такая правосудололюбительная монархиня не может одобрить поведение прусского короля, частого нарушения им трактатов, также обиды и разорения, причиненного им землям королевы.

Но в начале 1745 года Чернышев донес, что прусский двор желает одного – выпутаться из этой войны с сохранением Силезии – и домогается посредничества России с тою целью, чтобы эта держава, занявшись мирными соглашениями, не могла предпринять ничего против Пруссии; притом берлинский двор представлял дело так, как будто Россия сама предложила свое посредничество, без требования со стороны Пруссии. Это произвело раздражение в Петербурге, которое усилилось, когда узнали, что Турция предложила свое посредничество к умирению Европы и что это предложение сделано по внушениям Франции и Пруссии! Вследствие этого 30 марта Чернышев получил от своего двора рескрипт с объявлением, что Мардефельду отказано относительно посредничества. «Нам не

для чего, – говорилось в рескрипте, – такого авансу делать и посредство наше навязывать. Сверх же того, когда с другой стороны не точию нам, но, как известно, в Гаге и Лондоне почти подобные представления сделаны, да и Порта Оттоманская свое посредство предъясняет, то мы как ни желательны скорейшего восстановления повсюду покоя, однако более в то вступаться за несходно для нас признаем. При изъяснении всего вышеписаного по поводу каких-либо прусских на здешнюю записку ответов вы не преминете прилежно избегать всякий досадительный вид, но просто прилежать станете при удобовозможной учтивости, правость сего нашего поступка им внятно истолковать и дать уразуметь, с какою умеренностью сей наш ответ о медиации им учинен, довольно причины имея оный с выговором учинить, понеже его величество сам оную медиацию предложил и по склонности уже нашей на то ответствовал, что будто мы оферировали».

Итак, несмотря на раздражение, сами не хотели раздражать, старались избегать «всякий досадительный вид»: понятно, что должны были стараться избегать всякого досадительного для прусского короля дела, к какому старались побудить Россию Австрия и ее союзники. В начале 1745 года был заключен в Варшаве договор между морскими державами, Австриею и Саксониею, по которому последняя обязывалась за английские субсидии выставить значительное войско для соединенного действия с Австриею против Пруссии. Для обеспечения успеха союзным державам необходимо было склонить к тому же и Россию. Когда Ланчинский по окончании дела Ботты возвратился в Вену, то был принят министрами Марии Терезии «с оказанием особого удовольствия». При первом же свидании канцлер граф Улефельд вручил ему печатный экземпляр циркулярного рескрипта королевы к министрам ее при иностранных дворах, уничтожающего силу прежнего рескрипта по делу Ботты, после чего стали внушать Ланчинскому, что на русской императрице лежит обязанность поддержать европейское равновесие, не говоря уже о Франции, король прусский один в состоянии нарушить спокойствие севера; он уже знает дорогу и в Константинополь, потому необходимо силу его поубавить и не только Силезию, но и другие земли у него отнять, чему Россия легко может содействовать. Если же прусский король останется при настоящих своих владениях, то хотя и нежелательно пророчествовать неприятное, однако нельзя не предсказать, что Фридрих II, исполненный завоевательного духа, скоро доберется до польской Пруссии, потом до Курляндии, а потом получит аппетит и на Лифляндию.

В Вене делались внушения: в Петербурге с апреля месяца у канцлера и вице-канцлера происходили конференции с английским посланником лордом Гиндфордом, австрийским графом Розенбергом, голландским Дедье и саксонским резидентом Пецольдом о приступлении России к Варшавскому договору. 29 апреля лорд Гиндфорд, жалуясь, что от императрицы нет ответа на их предложение, писал своему двору: «Воронцов снял с себя личину и смело противится приступлению России к Варшавскому договору, но я надеюсь, что мы в этом деле успеем. Друг мой (Бестужев) намерен подать свое мнение в самых сильных выражениях, если соперник осмелится подать свое в таких же. Все старые сенаторы на нашей стороне». Прошел еще месяц, и только 30 мая канцлер сообщил послам союзных держав ответ на их предложение; в этом ответе говорилось, что для отстранения всяких затруднений и для скорейшего окончания

дела необходимо откровенное объяснение. В предложении сказано, что от России не требуется что-либо новое, требуется только исполнение старых союзнических обязательств, но императрица считает себя обязанною признать случай союза (*casus foederis*) только относительно одного короля великобританского; относительно короля польского случай союза еще не представился, что же касается королевы венгро-богемской, то у нее нет никакого права полагаться на прежние союзные договоры со здешним двором, потому что союзный договор с императором Карлом VI в 1733 году изменен в предосуждение великого князя-наследника как герцога голштинского, почему союз от ныне царствующей императрицы не признан, формально до сих пор не возобновлен и не ратификован, впрочем, императрица готова заключить новый союзный договор. Императрица не отрекается также заключить конвенцию с державами, подписавшими Варшавский трактат, конвенция эта должна заключаться в следующем: Россия выставляет 30000 войска, за которые ей должно быть заплачено по миллиону двести пятидесяти тысяч албертовых ефимков ежегодно. Если на Россию нападут турки, персияне или какие-нибудь другие нехристианские народы, то 30000 войска возвращаются назад в Россию, но деньги продолжают уплачиваться во все время продолжения войны; если же на Россию нападет христианская держава, то кроме уплаты денег союзники обязаны сделать диверсию в пользу России или оказать ей выговоренную в договорах помощь, наконец, союзники обязаны гарантировать все немецкие владения великого князя-наследника.

Послы отвечали, что переданная им бумага тем более для них горька и прискорбна, что противна интересу России и славе ее величества: они не станут говорить о том, что случай союза с королем польским существует очевидно, равно не станут говорить о том, что неслыханно в свете и неизвестно ни одному народу, что договор должен подтверждаться при каждой перемене правления. Неизвестно Европе, что если по требованию императрицы Анны изменен один параграф договора между Россиею и Австриею, то и весь договор потерял силу. Опасные последствия такого принципа скоро ниспровергли бы человеческое общество, ибо каждый государь мог бы тогда сказать: мой предшественник не мог уступить таких-то городов или таких-то областей, не заключать такого договора, потому что это предосудительно для моего наследника. Послы и министры не коснутся также жестоких и неслыханных условий, требуемых за русскую помощь, ибо в целом свете не найдется договора, в котором бы подобные условия были предложены и приняты. Впрочем, послы и министры признают ответ 30 мая отговоркою в исполнении обязательств и полным отказом на все их предложения.

Ланчинский получил приказание передать устно министрам Марии Терезии, что его государыня согласна возобновить союзный договор на основании договора 1726 года, но с исключением обязательства подать помощь королеве в настоящей войне и ручательства за прагматическую санкцию, при этом Ланчинский должен был жаловаться на Розенберга, который позволил себе слишком резко высказать свое неудовольствие на конференции 30 мая. Граф Улефельд отвечал, что, наоборот, Розенберг обижен, потому что он один обьярляется виноватым, а голландский и английский министры в стороне, тогда как все дело в том, что с русской стороны обьявлены невозможные условия. Утопающий вопит о помощи, а приятель говорит ему: подожди до завтра. «Кажется, – продолжал Улефельд, –

при вашем дворе утверждено мнение, что России никакие союзы не надобны, что нашему двору в русском больше нужды, чем русскому в нашем. Но как можно это предвидеть?» «Дело понятное, – сказал Ланчинский, – на австрийский дом бывают частые нападения, и в настоящее время он выдерживает войну». «Поэтому-то мы и помощи просим, – возразил Улефельд, – но относительно будущего нельзя сказать ничего решительного. Вы, может быть, думаете, что теперь Порта находится в упадке благодаря персиянам и Россия поэтому долгое время будет покойна, но надобно обратить внимание на причину упадка, которая случайна. Если настоящий султан будет низвержен и сядет на престол один из его племянников, который поразумнее и пободрее, и если новый султан, помирившись с Персиею, нападет на Россию, то наша королева, которую допускают теперь до обессиления и разорения, будет ли тогда в состоянии подать помощь России?» «Пассаж, о котором вы упоминаете, не в ту силу клонится, – отвечал Ланчинский, – турки, оправившись, скорее всего нападут на Венгрию, которая к ним близка, а в подстрекателях к этому не будет недостатка».

Но прусский король не был доволен тем, что Россия уклонялась от союза с его врагами, он потребовал, чтобы Россия удержала польского короля как курфюрста Саксонского от враждебных действий против Пруссии. На это Чернышеву приказано было отвечать, что русский двор сначала был того мнения, что смерть императора Карла VII и выбор нового главы империи соединят важнейших имперских членов, но вышло иначе – между членами империи, равно как между ними и другими державами, продолжают прежние отношения, и потому русский двор должен также смотреть на дело по-прежнему. Если король прусский по-прежнему хочет исполнять обязательства к своим союзникам, то и король польский как курфюрст Саксонский может точно так же поступать относительно своих союзников. Предосторожности, принимаемые королем польским для собственной безопасности, и исполнения этим государем своих обязательств к союзникам не могут быть признаны враждебными действиями против Пруссии, и потому саксонские земли не могут за это ничего потерпеть, тем более что король польский обнадежил русский двор, что не хочет нарушить своего нейтралитета и предпринять что-нибудь прямо против прусского короля. Если же Пруссия подвергнется нападению по какой-нибудь новой причине, а не вследствие ее прошлогоднего нападения на Богемию, то Россия своею предупредительною помощью докажет, как она намерена держать свое слово.

Подевилльс отвечал на это «со смутным и недовольным видом», что он никак не может понять причину, почему дрезденский двор имеет счастье пользоваться дружбою русской императрицы предпочтительно пред берлинским. Непонятно, почему русский двор не хочет предотвратить лишнее кровопролитие, тогда как может это сделать одним своим словом, сказанным дрезденскому кабинету, чтобы тот не помогал венгерской королеве. «Кровопролитие последует, – продолжал Подевилльс, – потому что мой государь принял твердое решение считать этот поступок Саксонии за военное действие против Пруссии и в надежде на свое правое дело и на своих союзников отомстить за это дрезденскому двору впадением в собственные его владения, не признавая его нейтралитета, ибо мы имеем верные известия, что между Саксониею и Австриею уговор разделить между собою Силезию, когда она будет отвоевана у Пруссии». На это велено было Чернышеву отвечать, что прусский король прошлого года сам в своих манифестах

объявил, что хотя он, вступаясь за главу империи, напал на Богемию, однако с венгро-богемскою королевою никакой ссоры не имеет и при бреславском договоре держится; точно так же и король польский может помогать Марии Терезии, а с берлинским двором продолжать доброе согласие, а если бы от нашего произвола зависело считать помощников врагам нашим также и нашими врагами и последовать прусскому принципу, то между Голландиею и Франциею давно бы уже велась война, но мы видим другое: французский министр живет в Гаге, а голландский – в Париже. Чернышев должен был объявить, что его двор не думает, чтоб прусский король решился что-нибудь предпринять против Саксонии, ибо в таком случае он будет нападчиком и союзники Саксонии, в том числе и Россия, принуждены будут подать ей помощь.

Между тем Франция сильно хлопотала, чтобы Россия не дала войска Англии за субсидии, чтоб не соглашалась на избрание в императоры германские мужа Марии Терезии герцога Тосканского Франца, а содействовала избранию Саксонского курфюрста (короля польского) Августа III, чтоб вошла в четверный союз с Франциею, Пруссиею и Саксониею или, если уже этого нельзя, оставалась бы совершенно нейтральной. В это время, как мы видели, место русского министра в Париже занимал Гросс, но императрица думала, что французский двор будет недоволен назначением Гросса, что надобно будет отправить кого-нибудь познатнее, «да и лучше, чтоб там кто из российских был». В начале года министр Людовика XV маркиз Даржансон толковал Гроссу, что будет противно мудрости императрицы послать войско на помощь Англии, ибо в таком случае Елисавета не будет более беспристрастна и лишится своего высокого значения посредницы при умиротворении Европы. В апреле Даржансон начал внушать, как невыгодно для России поддерживать избрание герцога тосканского в императоры: он будет сильнее всех своих предшественников из старого австрийского дома, что для Елисаветы опасно по естественной склонности венского двора к Брауншвейгской фамилии; хотя Ботта и умер, но его вредные замыслы могут возобновиться в России. Если б Россия вступила с Франциею и Пруссиею в такой тесный союз, чтоб было три головы под одною шапкою, то ей нечего было бы бояться никакой державы. На донесения об этих речах Гросс получил в ответ из Петербурга приказание не входить с Даржансоном в дальнейшие объяснения и ограничиться только наблюдением «сентиментов» французского двора относительно Саксонии. Эту сдержанность Гросса французское министерство, естественно, приписывало Бестужеву, и Даржансон в разговорах с Гроссом даже не мог удерживаться, чтоб не называть Бестужева англичанином и не замечать, что действия русского министерства не согласны с видами самой императрицы.

Это раздражение против Бестужева поддерживалось донесениями Дальона, который жаловался на холодность русского канцлера, на невозможность его подкупить. Дальон старался объяснить себе такое поведение Бестужева или тем, что в бумагах маршала Белиля, захваченных австрийцами, найдены какие-нибудь выходки, озлобившие русских министров, или тем, что Порта предложила свое посредничество для заключения всеобщего мира, когда этого посредничества желала для себя Россия. «Если справедливо первое, – писал Дальон, – то надобно вытерпеть последствия, а второе может принести пользу, ибо если русские думают, что мы своим влиянием могли побудить султана к предложению посредничества, то граф Бестужев должен опасаться, чтоб мы не довели турок и

до чего-нибудь большего, а Россия не без причины ничего так не боится, как турецкой войны. Мне кажется, что в Турции можно сделать очень много хорошего: несколько татарских набегов, от которых Порты всегда могла бы отречься, произвели бы между здешним народом большую тревогу. 30000 янычар, которые бы расположились лагерем со стороны Белграда или начали бы усиливать пограничные гарнизоны, могли бы препятствовать выходу такого большого войска из Венгрии. Ослепить Бестужева можно только знатною суммою, и потому надобно ее ему дать, иначе от меня требовать ничего нельзя. Вице-канцлера гораздо легче можно склонить к принятию пенсии; женатый на двоюродной сестре императрицы, он свергнет Бестужева. Россия вовсе не так сильна, как кажется издали, да и то если слушать людей, которым выгодно представлять ее сильною. В деньгах страшный недостаток». В начале июня Дальон писал: «Я вторично сделал канцлеру те приятные предложения, которые особенно могли бы его подвигнуть, но он выслушал их равнодушно. Вице-канцлер сказал мне: не делайте нам зла, а мы вам его делать не будем, я взял его за руку и, смотря прямо ему в глаза, спросил: может ли мой двор полагаться на все то, что в этих четырех словах заключается; он, пожимая мне руку и также прямо смотря мне в глаза, сказал: да. Итак, в настоящее время о союзе толковать нечего, и я должен стараться об одном: препятствовать, чтоб Россия не давала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь успеть, не истративши ничего из королевских денег. До сих пор и другие иностранные министры не больше меня успели, с тою только разницею, что они деньгами сыплют, а я деньги королевские сберег. Все хотят что-нибудь при здешнем дворе сделать, но никто ничего не делает».

Даржансон отвечал Дальону: «Ваше письмо от 8 числа подает мне большую надежду на русский нейтралитет, и, как видно, никто ничего и не сделает. Мы знаем важность этого нейтралитета, знаем, что он может вести к миру. Но еще важнее для блага Европы заключение четверного союза между Франциею, Россиею, Саксониею и Пруссиею, и по заключении такого союза кто бы осмелился возмутить покой Европы? Мы стали бы предписывать справедливые и умеренные законы. Знаю, что не легко согласовать этот четверной союз с союзным договором между Россиею и Англиею, но средства нашлись бы, если б было доброе желание. Венский двор подал теперь новый пример своего тиранства относительно баварского дома: он обманул молодого курфюрста, обещал ему помощь и оставляет беззащитным; позволил ему нейтралитет, а между тем хочет посылать его войска в Италию для защиты своего собственного дела; города его удерживает, хочет захватить его курфюрстский голос, чтоб распорядиться им согласно со своими видами, контрибуции требует, хочет разорить Баварию окончательно. Венский двор управляет Германиею железным жезлом, гессенцев и палатинцев обижает; хочет принудить всех курфюрстов на императорских выборах подать голос в пользу великого герцога тосканского; но годится ли этот принц для ношения императорской короны? Неужели императрица, столь великодушная, мудрая и щедрая, пожелает содействовать возведению на императорский престол принца столь малодостойного, который не приобрел себе в Европе никакого значения и который не имеет никакого права, кроме силы венского двора. Вице-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение ни помогать, ни препятствовать избранию великого герцога тосканского: такое равнодушие неприлично столь великой государыне, она упускает случай

приобрести великую славу в Германии. Петр Великий поступал не так, он ревностно искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намерены твердо и навсегда соединиться с Россией. Мы чувствуем, что русские всегда будут неприятелями турок, но упомянутый выше союз повел бы к тому, что турки не могли бы пошевелиться в Европе. Вы говорите, что вследствие союза с Англией Россия вышлет только 12000 войска, не более, новы знаете, что мнение светом владеет; в Европе не преминут объявить, что вслед за 12000 против нас пойдут еще 60000. Вы должны противиться всем этим проектам и не пренебрегать ничем для склонения к полному нейтралитету. Я не думаю, чтоб Англия стала давать субсидии России; эта империя так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет давать деньги только канцлеру, которому мы предлагаем более значительные почетные подарки, и притом более согласные с интересами и славою России. Англичане хотят эту державу вовлечь в войну, а мы хотим соединиться с нею только для примирения Европы».

Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе между Францией, Россией, Пруссией и Саксонию, представляя, что при таком союзе никто не осмелится нарушить покой Европы; при этом Дальон просил, чтоб императрица продолжала стараться о примирении Пруссии с Саксонию. Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом, на котором выражалось больше удовольствия, чем холодности. Он пожелал знать, имеет ли Дальон точный указ говорить ему об этом проекте; Дальон отвечал, что имеет. Тогда Воронцов обещал вместе с канцлером доложить императрице, обнадеживая, что прилагаются всевозможные старания о примирении польского и прусского королей. Для ускорения дела Мардефельд советовал Дальону предложить канцлеру и вице-канцлеру по 50000 рублей. Так как депеши Дальона перехватывались и прочитывались, то Воронцов написал по этому случаю заметку: «Когда Дальон вздумает подлинно 50000 предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что и в 100000 я ему отказал, и теперь нехоти будет принять 50000». Но перехвачена была другая депеша Дальона, которая поставила Воронцова в большее затруднение. Дальон писал: «Почти нет сомнения, что Воронцов свергнет Бестужева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, если б, по несчастию, нездоровье г. Воронцова не принуждало его ехать на несколько времени за границу. Он мне сказал, что намерен ехать тотчас после свадьбы великого князя; чтоб сделать и дурное к лучшему, я его почти уговорил провести зиму в Монпелье или Париже, чтоб дать вам способ совершенно расположить его к Франции». Воронцов заметил на этой депеше: «Кроме собственного его, Дальонова, желания (свержения Бестужева), от меня он нималого виду или признаку о сем иметь не мог, как и в существе самом, кроме прямой дружбы, от меня ничего инаго не будет (т.е. канцлеру). Никакого увещания и присоветования от него не было (насчет Монпелье и Парижа), ибо я сам ему сказал, что доктора мне советуют зиму препроводить в Монпелье, также что и ни у котораго двора более трех дней пробыть не намерен. В котором бы краю света я ни был, кроме действительной рабской верности как делом, так и советом, инако поступлено не будет».

Старания Франции о союзе с Россией должны были остаться безуспешны, потому что интересы обеих держав продолжали сталкиваться. Так, Россия старалась воспрепятствовать непосредственной войне Пруссии с Саксонию, чтоб не быть принужденною в силу договоров подавать помощь стране, которая

подвергнется нападению; Франция также хлопотала о примирении Саксонии с Пруссией, но с тем чтоб Саксонского курфюрста и польского короля Августа III сделать императором германским, чего никак не хотела Россия.

Мих. Петр. Бестужев по прибытии своем в Дрезден в начале 1745 года был встречен важным известием о смерти императора Карла VII. 1 февраля он был приглашен к графу Брюлю, у которого застал и духовника королевского, патера Гварини. Разговор пошел о настоящих *деликатных* германских замешательствах, причем Брюль в конфиденции объявил о внушениях прусского посланника, что его государю было бы непротивно, если б король польский сделался германским императором, на что и все другие курфюрсты согласны. При этом Брюль заметил, что так как его король ничего не предпринимает без согласия русской императрицы, то и в этом случае желает в непродолжительном времени быть уведомлен о *сентиментах* ее величества. Потом Брюль и Гварини начали рассуждать, что достоинство польского короля и римского цесаря совместимы, если императрица великим своим кредитом захочет сделать так, чтоб Август и ставши императором продолжал быть польским королем, ибо этим предотвратятся междоусобия и распри, которые будут следствием избрания нового польского короля. Король Август сам собою цесарского достоинства получить не желал бы, но если все курфюрсты будут к тому склонны, то он думает, что его избранием может быть восстановлено общее спокойствие в Европе. Саксонский министр, находящийся в Париже, доносит, что и там не имеют ничего против избрания польского короля в императоры.

Елисавета прочла сама донесения Бестужева об этих разговорах и послала ему приказание удерживать короля Августа от принятия императорской короны. Но внушения Бестужева имели мало успеха. Брюль никак не понимал его представлений, что цесарское достоинство с саксонским интересом не сходно и с короною польскою не *компатибельно*, причем Брюль заявлял, что если хотят, чтоб его король уклонился от избрания в императоры и действовал в пользу герцога тосканского, мужа Марии Терезии, то Август III без вознаграждения сделать этого не может. Брюль, между прочим, представлял, что король Август, сделавшись императором, получит более возможности помогать России против турок. Но относительно этого Бестужев писал, что «авантаж весьма невелик и скуден: король польский, ставши цесарем, больше власти от этого в Польше не получит, и в случае войны у России с турками не будет в состоянии заставить принять в ней участие ни Польшу, ни империю; тогда как Россия имеет основание ожидать сильнейшей помощи от австрийского государя, которому достанется императорская корона».

Посланники английский и голландский заодно с Бестужевым отговаривали саксонский двор от принятия императорской короны. В России смотрели на предложение Августу III императорской короны со стороны Франции и Пруссии как на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу, и Бестужев уже счел своею обязанностью представить своему двору, какого кандидата на польский престол можно иметь в виду. «Между польскими магнатами, — писал он, — я не нахожу ни одного, на кого бы можно было совершенно положиться по известному этому народу непостоянству; но так как из зол надобно выбирать меньшее, то представляю следующее: дом Потоцких, которого глава великий гетман коронный, всегда бывший злым врагом России; теперь гетман стар и дряхл, но весь дом его

недоброжелателен к России. Сендомирский воевода граф Тарло всегда был нам противен и предан Станиславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь исчез; только один из него знатен – великий канцлер литовский; но и тот для престола не годится и в народе никакого кредита не имеет. Князь Сангушко, великий маршалок литовский, человек знатный, но простоват и также никакого кредита не имеет. Великий маршалок коронный Белинский богат, да лукав и непостоянен, сверх того, не имеет кредита. Воевода мазовецкий Понятовский, человек разумный и постоянный, и хотя несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет прежние его поступки, едва ли можно на него положиться. Из князей Чарторыйских вице-канцлер литовский человек умный, но без кредита и ненавидим между поляками; брат его, воевода, русский человек острого разума, честный, постоянный, по жене своей (Сенявской) очень богатый; он во всех революциях постоянно держался русской стороны, он имеет немалый кредит. Из князей Радзивиллов только один великий гетман литовский человек добрый и к России был всегда склонен; он по своему чину в Литве немалый кредит имеет. Гетман польный коронный граф Браницкий, человек изрядный, честный и богатый; также ничего противного России от него не примечено. Вице-канцлер коронный Малаховский, человек умный и добрый, кажется, нам доброжелателен, по крайней мере во время последней революции постоянно при нашей стороне был и между мелким шляхетством немалый кредит имеет. Между этими четверыми – Чарторыйским, Радзивиллом, Браницким и Малаховским – Чарторыйского, воеводу русского, признаю самым способным: это человек твердый и постоянный, что редкость между поляками, знатен и богат (больше 200000 талеров годового доходу имеет). Несмотря на то, если б дело дошло до избрания, то по обычной друг к другу зависти и ненависти, кроме великого беспокойства и смуты, между ними ничего доброго ожидать нельзя. Они лучше саксонского принца, нежели природного Пяста, в короли себе пожелают, и эти выборы могут произойти без всякого беспокойства, если ваше и в-ство к саксонскому принцу склонность явите и его поддержать соизволите. Кажется, и русский интерес требует на польском престоле саксонского принца предпочтительнее пред Пястом, ибо Пяст по природной к России ненависти будет иметь сношения с французами, шведами, турками и татарами ко вреду России; а чужестранный принц для собственного охранения и для получения большего значения между поляками всегда будет держаться русской стороны».

Между тем Фридрих II велел объявить Августу III, что если вспомогательные саксонские войска вступят вместе с австрийскими в Силезию, то Пруссия почтет это за объявление войны. Эта угроза заставила еще более саксонский двор просить русскую императрицу о подании немедленной помощи. Поражение, претерпенное австро-саксонскими войсками в Силезии от пруссаков, подало повод Бестужеву писать:

«Король прусский, пользуясь своим торжеством, без сомнения, вступит в Саксонию, которую скоро и легко можно разорить, и король польский силою прусского оружия и страхом пред неминуемым разорением своих наследственных земель принужден будет, оставя польскую корону, принять императорскую, следовательно, покинув союз с морскими державами, предать себя в руки Франции и Пруссии. Крайне опасные из этого для русских интересов следствия, возбуждение замешательств в Польше и возведение на тамошний престол либо

Станислава Лещинского, либо другой какой-нибудь французской и прусской креатуры заставляют меня всенижайше представить, каким образом теперь наступило настоящее время заблаговременно бодрым решением сдержать прусского короля, чтоб не усилился чрез меру и не принудил польского короля оставить Польшу, принять императорскую корону, ибо если со стороны России не примутся немедленно сильные меры, то после уже будет поздно помочь беде». Извещая, что после своего торжества прусский король исполнил угрозу, отозвал своего посланника из Дрездена, Бестужев прибавил: «Обстоятельства показывают, что между королями польским и прусским непременно дело дойдет до опасных и очень неприятных *дальностей*, если ваше величество за здешний двор как можно скорее вступиться не соизволите». В июле, уведомляя об успехах французов в австрийских Нидерландах и Италии, о колебании Голландии, уstraшенной этими успехами, о постоянных требованиях с французской стороны, чтоб король польский принял императорскую корону, Бестужев писал: «Французская и прусская державы пришли уже в такую силу, что невозможным становится малейшее промедление в отвращении вредных последствий этого усиления».

Но вместо извещения о *серьезном демарше*, которого требовал Бестужев, ему сообщили из Петербурга, что Чернышеву велено сделать при берлинском дворе наисильнейшие увещания, чтоб не предпринимали ничего враждебного против саксонских земель; а между тем Бестужев продолжал доносить, что министры французский и испанский употребляют все меры, чтоб отлучить польского короля от его союзников, примирить с прусским королем и потом склонить к принятию императорской короны; в случае невозможности соединить эту корону с польскою обещают возвести на польский престол одного из саксонских принцев, наконец, обещают присоединить к Саксонии всю Богемию. Русские представления при берлинском дворе не имеют силы, Фридрих II готовится напасть на Саксонию, и есть известие, что в Берлине уже печатается объявление войны. Саксонское правительство просило, чтобы императрица велела двинуть корпус войск в Польшу и стать на немецких границах: король Август обязывался продовольствовать эти войска до тех пор, пока прусский король не объявит войны Саксонии, но одного движения русского корпуса в Польшу будет достаточно, чтобы удержать Фридриха II от объявления войны.

24 августа французский посланник подал промеморию, в которой склонял польского короля к принятию императорской короны, обещая от своего двора знатную сумму денег и другие выгоды для поддержания императорского достоинства; если же Август III никак не согласится быть императором, то по крайней мере пусть своим влиянием замедлит избрание нового императора. Граф Брюль обнадежил Бестужева, что король Август, не желая получить императорскую корону интригами французского и прусского дворов, твердо решился не дать себя поймать в расставленные ему сети и не отступать от своих союзников. Вогренан при дворе и в частных домах внушил, что Саксония против прусского короля никакой помощи от России никогда не получит, ибо в противном случае Фридрих II не стал бы действовать так решительно. В то же самое время распушен был по всему Дрездену слух, что в России произошло восстание против императрицы, наследника и его супруги, потому что последние не приобщались публично св. таин по уставу восточной церкви. По мнению Бестужева, эти слухи были распространены от французского и прусского дворов. Из Константинополя

приходили известия, что прусский и французский дворы – первый чрез своих эмиссаров, а второй чрез своего посланника – беспрестанно и всеми силами стараются склонить Порту, чтобы послала сильное войско в Венгрию, где турки могут без всякого труда делать завоевания по неимению там австрийских войск; прусский король особенно домогается союза с Портою. Наконец прусский король объявил войну Саксонии.

Петербург был встревожен этими известиями в самое неудобное время, во время приготовлений к свадьбе великого князя. 19 августа в присутствии канцлера и вице-канцлера Елисавета говорила, как было бы желательно каким-нибудь образом оба двора примирить; если бы теперь по союзному обстоятельству послать польскому королю на помощь 12000 войска против прусского короля, то, пожалуй, это может навлечь на Россию дальнейшие следствия тяжкой войны; а, напротив, если и король польский при своих малых силах будет принужден вступить в французские и прусские виды и принять предлагаемую ему этими дворами императорскую корону, то для русских интересов также продолжительные и тяжелые следствия произойдут. Для решения этого вопроса императрица велела немедленно собрать совет. Тут Воронцов поднес свое письменное мнение, которое Елисавета оставила у себя. Бестужев испугался и объявил, что он также подаст свое письменное мнение.

Воронцов в своем мнении говорил, что, по-видимому, нужно было бы послать войско на помощь королю польскому, чтобы отвратить его от искания императорской короны; но этою посылкою Россия обнаружит явную вражду к королю прусскому, своему союзнику, безо всякого неудовольствия с его стороны, безо всякой причины и должна будет ждать от него всякого неприятельского поступка. Если этой посылкою войска не достигнем желаемого, т.е. не отвратим прусского короля от неприятельских действий против Саксонии, то честь и слава императрицы заставят употребить все свои силы для достижения этой цели, от чего зайти можем очень далеко, навлечь на себя войну, окончание которой неизвестно. Войска наши иначе не могут достигнуть Саксонии как через польские или прусские земли. В первом случае поляки тронутся и заведут конфедерацию против своего короля, которую Франция и Пруссия будут поддерживать для низвержения Августа III и возведения на престол своей креатуры. Если же идти через прусские земли, то это признано будет за явное нападение и нарушение союза, и, конечно, пруссаки не допустят наше войско до соединения с саксонскою армиею, нападут на него с превосходными силами и могут нанести поражение. Для укомплектования войск нужен рекрутский набор и чрезвычайные расходы; но состояние империи позволяет ли такую трату людей и денег, а денег и без того очень мало в нашем государстве. Для избежания явного нарекания в неисполнении договора с Саксониею не лучше ли вместо посылки войск дать деньгами по 450000 рублей в год; на войско истратим столько же; и тут по крайней мере люди останутся целы. А всего было бы лучше помирить Саксонию с Пруссиею таким способом: объявить решительно прусскому министру, чтобы король его удержался от нападения на Саксонию, в противном случае русские войска немедленно пойдут к ней на помощь, по желанию же его короля обещается ему полное обнадеживание, что саксонцы не тронут его земель, и действительно вытребовать это обещание от дрезденского двора.

13 сентября Бестужев подал свое мнение: «Ваше величество находитесь в союзе с разными державами. Самый древний союз с королем великобританским, ибо он основан на взаимной безопасности обеих корон относительно Швеции, Дании, Пруссии и Польши, на взаимном благе обоих государств и на торговле: англичане ежегодно продают и покупают здесь товаров более чем на миллион рублей, и так как покупают более, чем продают, то более полумиллиона оставляют здесь чистыми деньгами. Петр Великий так уверен был в необходимости постоянной дружбы с Англиею, что и во время ссоры своей с английским королем Георгом I по мекленбургским делам старался соблюдать дружбу с Англиею. В царствование вашего величества заключен с Англиею союзный договор, потому что приведенные причины и интересы остаются неизменными. Второй союз, в царствование вашего величества возобновленный, — это союз с Пруссиею, который мог быть также очень полезен, если бы мы не были научены опытом, как мало прусский король держит свое слово и свои обязательства и как мало, следовательно, можно положиться на все его ласкательные обнадеживания. Я вместе с покойным Бреверном советовал заключить союз с Пруссиею именно для того, чтобы удержать прусского короля от подания помощи Швеции деньгами или людьми, ибо извещали, что государь этот дал значительную сумму денег графу Потоцкому для подкрепления польской конфедерации, о которой так хлопотала Швеция для отвлечения внимания России от себя. Но теперь, когда прусский король посредством брака своей сестры со шведским наследным принцем, чего я всегда опасался, приобрел там такие сильные связи и влияния, сомневаюсь, чтоб он в случае нашей ссоры со Швециею захотел быть нам полезен; напротив, более причин опасаться, что связи и влияния этого горделивого государя и сестры его произведут действия, очень противные интересам вашего величества, если вскоре не положатся этому пределы; он уже и теперь имеет в Швеции более власти и кредита, чем мы когда-либо имели; без сомнения, он сам внушает сестре своей мысли об отмене нынешней формы правления в Швеции, о восстановлении там самодержавия, не говоря уже о том, что в Польше и при самой Порте Оттоманской он составляет себе сильные партии и входит в тайные соглашения, которые с интересами вашего величества и вашей империи вовсе не сходны. Третий союз у нас с королем польским как с курфюрстом Саксонским, союз полезный для взаимной безопасности от Пруссии и Швеции; кроме того, курфюрст полезен нам как викарий империи: так, при его содействии великий князь Петр Федорович, несмотря на перемену вероисповедания, признан способным оставаться в числе имперских владельцев.

Благодаря этим союзам Россия наслаждалась миром при всеобщей войне; но при настоящем положении дел осудить себя на бездействие нельзя по святости договоров; таким бездействием можно потерять дружбу и уважение всех держав и союзников. Нужно, следовательно, избрать которую-нибудь сторону, и всего лучше принять мнение вице-канцлера, поданное им 11 сентября 1744 года. Мое мнение состоит в том, что интерес вашего величества, честь и безопасность империи требуют принять такие меры, которыми древняя, истинная европейская система могла бы быть подкреплена и восстановлена без принятия Россиею непосредственного участия в войне; примером служит Голландия, которая помогает Англии и королеве венгерской деньгами и войском, не принимая, впрочем, прямого участия в войне и считаясь только помощницею. Теперь война

между двумя союзницами России – Пруссией и Саксонией; обе имеют право требовать от нас исполнения договоров: на которую же сторону склониться? Разумеется, на саксонскую, ибо Фридрих II – нарушитель всеобщего спокойствия: он без всякой причины напал на Саксонию и на королеву венгерскую, разорвал бреславский мир, гарантированный Россией и Англией. Фридрих II, несмотря на все увещания со стороны России, несмотря на собственные его обнадеживания, сделанные здесь через Мардефельда, что он ничего не предпримет против наследственных земель короля польского и против спокойствия в королевстве Польском, воспользовался неудовольствием сендомирского воеводы Тарло и предложил ему польскую корону или если он ее не желает, то обещал возвести на престол Станислава Лещинского, во всяком случае обещал поддержку со стороны Пруссии и Франции, если Тарло образует конфедерацию и откажет в повиновении королю Августу. Если бы принято было мое мнение, сообщенное вице-канцлеру в Киев 6 августа прошлого года, что надобно приготовить к походу 10000 козаков, или если бы принято было представление брата моего из Дрездена и саксонского резидента Пецоляда об отправлении 12000 войска, за которые король польский обязывался платить субсидные деньги, то, конечно, король прусский никогда не отважился бы напасть на Саксонию, нам бы теперь меньше было труда, а субсидными деньгами пользовались бы. Итак, если ваше импер. величество не желаете, чтобы король прусский еще более усилился к очевидному вреду всех своих соседей, а король польский, самый верный ваш союзник, предан был ему в жертву со своими наследными землями, если не желаете, чтобы он, не будучи в состоянии обороняться собственными силами, перешел на сторону Франции и принял императорскую корону, отчего в Польше произойдут неминуемые замешательства, для успокоения которых потребуется вдвое больше войска, то необходимо подать королю польскому немедленную помощь».

Говорили, что императрица была недовольна мнением вице-канцлера. 29 августа Елисавета подписала паспорт Воронцову в чужие края. Канцлер доложил, что свадебные торжества препятствовали собранию совета по прусско-саксонским делам; но, по всем вероятностям, он откладывал собрание, чтобы приступить к совещанию по отъезде Воронцова. Бестужев объявил императрице, что Розенберг отзывается своим правительством; Елисавета спросила: что это значит? Бестужев отвечал, что тут нет ничего удивительного: Мария Терезия отзывает своего посла, потому что Россия не хочет признать существования договора с Австрией в такое время, когда последняя крайне нуждается в помощи. И другие послы – датский, голландский, английский – уедут, видя, что им незачем жить и, вероятно, дворы будут присылать в Петербург только посланников или даже резидентов. Елисавета весь тот день была очень задумчива и вечером, уже очень поздно, велела на другой день собраться чрезвычайному совету.

К совещанию были приглашены фельдмаршал князь Долгорукий, фельдмаршал граф Леси, канцлер граф Бестужев, генерал граф Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал граф Румянцев, тайный советник барон Черкасов, тайный советник Юрьев, тайный советник Веселовский, статский советник Неплюев (Адриан). Предложен был для обсуждения вопрос: «Надлежит ли ныне королю прусскому, яко ближайшему и наисильнейшему соседу, долее в усиление приходить допускать, или несходственнее ли будет королю польскому,

яко курфюрсту Саксонскому, по действительному настоящему с ним случаю союза помощь подать и каким образом?»

На другой день, 20 сентября, члены совета представили свои мнения. Канцлер Бестужев написал: «Еще в 1744 году саксонскому министру Флемингу было объявлено (в Киеве), что ее импер. величество всегда верною и истинною союзницею короля польского пребывает и в случае нападения на него скорою помощью поспешить не оставит: я на ее величества соизволение предаю, каким образом с королем польским поступать повелит». Мнение барона Черкасова: «Нельзя допустить короля прусского более усиливаться; королю польскому помочь тем, что находящиеся в Лифляндии и Эстляндии полки ввести в Курляндию и там им зимовать, а на весну и все полевые полки придвинуть к границам. Этот способ всего удобнее даст понять королю прусскому увещания императрицы; а если и это его не исправит, то ее импер. величество может употребить войско по своему усмотрению, что, может быть, и неминуемо». Румянцев представил такое же мнение. Куракин думал, что должно по договору послать на помощь польскому королю 12000 войска, а по надобности и больше. Ушаков – послать эти 12000 и, кроме того, сделать диверсию в Курляндию. Леси стоял за диверсию в Курляндии. Фельдмаршал Долгорукий также; он писал, что надобно положить пределы замыслам прусского короля, иначе он может овладеть Лифляндиею и Эстляндиею для себя или для шведов.

3 октября было снова собрание совета. Все поданные мнения были выслушаны в присутствии императрицы; читан был также перевод с письма Мардефельда к канцлеру и мемория, в которой он снова просил помощи против Саксонии. По выслушании всех этих бумаг императрица начала говорить:

«Хотя король прусский и требует нашей помощи по союзному трактату, но случай союза (*casus foederis*) здесь признан быть не может, потому что он сам наступлением своим на Богемию нарушил бреславский договор и навлек на себя следствия нынешней войны с Австриею; силы его превосходят саксонские, и он объявил Саксонии войну за то только, что ее войска помогли австрийским; поэтому кажется справедливее подать помощь Саксонии. Сверх того, для русских интересов усиление прусского короля не только не полезно, но и опасно: приходя от времени до времени в большую силу, он может когда-нибудь согласиться со Швециею по своему там влиянию и предпринять что-нибудь против здешней империи, а с другой стороны возбудить и турок. На дружбу его отнюдь полагаться нельзя: пример его обмана виден в предложении нам посредничества, от чего потом отрекся, а в то же время появилось посредничество от турок, как видно, по его же наущению».

Сказавши это, императрица спросила присутствующих, как они думают; те сослались на свои мнения и повторили, что нельзя допускать прусского короля усиливаться и надобно подать помощь королю польскому. Тогда императрица приказала отправить из Лифляндии и Эстляндии в Курляндию такое число полков, какое можно будет расположить на зимних квартирах в секвестрованных герцогских имениях; на их место в Лифляндию и Эстляндию подвинуть другие полки из ближних мест и нарядить к весне несколько нерегулярных войск; королю польскому дать знать об этом движении войск к нему на помощь и поручить русскому министру в Дрездене условиться с саксонским правительством насчет направления и пропитания вспомогательного войска, а королю прусскому чрез

министра его представлять, чтобы он от нападения на Саксонию удержался и склонился на мир с королем польским; в противном случае последний получит русскую помощь.

Когда канцлер сообщил Мардефельду декларацию императрицы о движении русских войск, тот онемел от досады или удивления. Говорили, что Елисавета, подписав эту декларацию, стала на колени перед образом, призывая бога в свидетели, что поступает по совести и справедливо, и молила бога благословить ее оружие. Она спросила у фельдмаршала Леси, как он думает о принятых мерах. Леси, несмотря на то что подал свое мнение в совет, отвечал сначала, что он не министр и что его долг исполнять только повеления. Когда же императрица настояла, чтобы он говорил откровенно, то он сказал, что спокойствие ее царствования и личная безопасность требуют немедленного обуздания короля прусского, что для безопасности России у него необходимо отнять Пруссию и если не оставлять ее за собою, то отдать Польше, которой опасаться нечего. Елисавета была раздражена против Фридриха II, называла его шахом Надиром прусским, но сильно досадовала также и на короля английского, который вошел в соглашение с Фридрихом, заключил с ним так называемую ганноверскую конвенцию, на которой Силезия должна была остаться за Пруссией. Она упрекала канцлера за то, что он слишком дружелюбно расположен к Англии; не раз отзывалась, что Воронцов ей часто говорил не полагаться на англичан, которые заключат с прусским королем отдельный мир. Так по крайней мере рассказывал Бестужев Гиндфорду, и тот писал в Англию: «Теперь наступило время, когда морские державы должны или утвердить дружбу русской императрицы с собою, или навсегда ее лишиться, удержать в силе или привести в упадок Бестужева, единственного друга, которого мы имеем при этом дворе. Он воспользовался отсутствием Воронцова, чтобы побудить императрицу решиться на такой смелый шаг, в надежде, что морские державы вновь предложат знатные субсидии, ибо хотя русский двор нашел довольно денег для приведения армии в движение, однако он не в состоянии продолжать эти издержки без субсидий».

Бестужев пользовался отсутствием Воронцова, а Воронцов писал императрице о своем разговоре с прусским королем 22 октября: «Его величество по принятии сей день моего первого поклона, ретируясь уже к себе, приказал меня позвать в другую камору, где, будучи наедине со мною, изволил мне говорить начать, во-первых, о всегдашней своей дружбе и высокопочитании к вашему импер. величеству, которые он всегда непременно содержать со своей стороны изволит, и что он притом же совершенную надежду полагать изволит, что ваше импер. величество против его никакой резолюции, противной в пользу его неприятелей, принять не изволите; что его величество притом скрыть мне не хочет, что он опасен находится, дабы вашего императорского величества к нему дражайшая дружба чрез столь многие старания и разные оклеветания венского и саксонского дворов не могла наконец отмениться; что его величество из единого высокопочитания к вашему импер. величеству удержал свое оружие против саксонского двора, довольно имея к тому причин на сие поступить, ибо совершенно известен находится о заключенном между саксонским и венским дворами договоре, дабы земли его величества отобрать и между собою разделить, того ради принужденна себя нашел против саксонского двора равномерно недружески поступать, только действительного нападения не учинил для вашего

импер. величества, дабы тем не причинить вашему величеству какого неудовольствия, наконец, изволил говорить о склонности своей к миру и учиненной для того конвенции с королем английским. – Я на все его величеству только отвечал, что ваше императ. величество совершенную дружбу к его величеству иметь изволите и всегда с приятностью слышать изволили о имеющемся добром согласии между его величеством и королем польским, а притом же его величеству и сие не донести не могу, что в случае нападения на Саксонию ваше импер. величество по обязательству своему, может быть, против своей вои помощи дать принуждены будете. Наконец, его величество изволил говорить, что понеже ваше императорское величество желать изволите, дабы до неприятельства с саксонским двором не дошло, то изволили бы употребить свои дружеские старания, как то и английский король чинить намерен, дабы саксонский двор на сию (ганноверскую) конвенцию склонился, и тем бы окончены быть могли все нынешние замешательства».

Но Фридрих II, как сам говорит, считал ошибкою, раз вооружившись, щадить неприятеля с целью склонить его к миру; он думал, что одни победы могут заставить врага помириться. Слова Воронцова и более решительные заявления Чернышева его не беспокоили, потому что Россия, думал он, могла что-нибудь сделать не ранее шести месяцев, и он решился разгромить Саксонию, объявляя, что Брюль собирается разгромить Пруссию, взять Берлин и потому надобно предупредить его, хотя прусский главнокомандующий принц Ангальт и прусский министр Подевилльс первые отказались верить словам своего короля, что у Брюля открылся вдруг такой воинственный жар.

Фридрих вступил с войском в принадлежавшую тогда Саксонии землю лужицей (Лузанию), разбил саксонский отряд, взял город Герлиц. Прусские отряды стали уже появляться за Будишиным, тогда как австрийская армия, не чувствуя себя в силах бороться с пруссаками, отступала к Богемским горам. Ужас напал на жителей Дрездена; король решил, что в случае приближения пруссаков он уедет в Богемию, а между тем требовал от Бестужева, чтоб императрица при таких горестных обстоятельствах велела немедленно своему союзному корпусу вступить в Пруссию. Бестужев, разумеется, немедленно передал в Петербург королевскую просьбу, причем очень искусно, для возбуждения негодования против Пруссии, кончил свое донесение такими словами: «Я не могу словами изобразить печали и отчаяния здешнего двора, ибо он после признания вашим величеством случая союза (*casus foederis*) ласкал себя надеждою, что прусский король окажет гораздо более внимания к предложенным от вашего величества добрым услугам и вдруг неприятельски действовать не отважится».

Прусский король взял Лейпциг, и его гусары уже начали появляться в трех милях от Дрездена. 20 ноября король, простившись с плачущим народом, уехал в Теплиц, а оттуда в Прагу. Бестужев остался в Дрездене. Между тем Фридрих II прислал в Дрезден предложение, что готов помириться с Саксонию, если она приступит к ганноверской конвенции без сношений с венским двором, и когда английский посланник просил его, чтобы он ввиду мира велел своему войску остановиться, то он отвечал, что несправедливо от него требовать, чтобы он остановил победоносное движение своей армии, ибо теперь ему всякая минута дорога. На донесение брата об этих событиях канцлер Бестужев сделал для императрицы заметку:

«Что по требованию дрезденского двора за субсидные деньги десять тысяч человек здешнего войска в прошедшем мае или июне месяце не отправлены, весьма о том сожальительно, ибо король прусский, усмотря тогда ее и. в-ства серьезность и рассуждая, что впредь и более войска на помощь в Саксонию или для диверсии в Пруссию прислано будет, чаятельно не осмелился бы равномерно, яко в Богемии подкравшись, в такое ныне позднее время, когда скорой помощи подать невозможно, в Саксонию впадение учинить; и хотя его прусское величество, к английскому курьеру оказывая наружную храбрость, о российском помощом войске с посмеянием отзывался, однако ж осязательно приметить можно, что внутренно стоящих в Курляндии российско-императорских войск страшится, дабы иногда в Пруссии диверсия учинена не была, инако бы при толь великих прогрессах с таким менажементом в Саксонии поныне поступлено не было, но уповательно предвещание прусского обермаршала Валленрота, учиненное саксонскому советнику Саулю, что король его государь в Саксонии камня на камне не оставит, города деревнями сделает, а селы совсем запустошит, исполнить не преминул бы, чем ее и. в-ство как дрезденский двор попремногу одолжить, так и додержанием своего обязательства отличную себе в свете славу и кредит приобрести соизволила».

Фридрих II сам признается, что спешил покончить саксонскую войну с целью не допустить Россию до вмешательства в нее; но Мих. Пет. Бестужев, чтоб побудить свой двор к решительному действию против Пруссии, не толковало *менажементе* Фридриха II относительно Саксонии. Он писал 2 декабря: «Я крайнее сожалею, что всегдашняя моя о таком прусского двора поступке опасность ныне в действе самом сбылась, а именно что он, пока вашего и. в-ства союзническое вспоможение сюда дойдет, здешние земли вовсе разорить может и что он, следовательно, поныне как притворными своими ласканиями, так и всякими хитрыми внушениями токмо ваше и. в-ство усыпить и тем прямые свои дальновидные и зело опасные замыслы елико возможно скрыть старался. Немилосердо король прусский как от города Лейпцига, так и от прочих крейзов (округов) к крайнему подданных разорению в краткие термины выписанные несносные контрибуции под угрозением огня и меча требует; все королевские казны и денежные доходы забрал и учрежденных при оных служителей себе присягать приневолил; неслыханным между христианами образом природных подданных против собственного своего государя и отечества оружие носить принуждает; одним словом сказать, повсюду крайнее бедство и разорение причиняет».

Король прусский вступил в Дрезден; Бестужев выехал в Прагу, откуда доносил императрице о речах Фридриха II, публично сказанных, что если Август III не поспешит примириться с ним и не откажется от русской помощи, то он не оставит в Саксонии камня на камне, прибавив к этому, что вовеки не забудет, что Россия признала случай союза с Саксониєю, и не упустит отмстить за это со своими союзниками, при этом он взглянул на шведского посланника.

Саксония принуждена была помириться; в Дрездене заключен был мир между Австриєю, Пруссиєю и Саксониєю: Австрия подтверждала бреславский мир, уступая Пруссии Силезию; Пруссия признавала императором Франца I, мужа Марии Терезии; разоренная Саксония должна была заплатить Фридриху II значительную сумму денег и оставить всех захваченных им саксонцев в прусской

службе. Граф Брюль тут же объявил Бестужеву, что они не будут сохранять мира, заключенного с ножом у горла. Бестужев, донося о причинах торжества пруссаков над саксонцами, писал: «И того забывать не должно, что здесь с самого начала о движениях неприятельских и настоящих его силах никогда прямого известия не имели; напротив того, король прусский о малейших и секретнейших поступках здешнего двора имел подробные сведения». Подле этих слов канцлер Бестужев сделал замечание: «Всещедрый боже, да сохрани, чтоб о здешних предвосприятых не сведал и не предупредил бы, как и саксонцев». Какие же это были предвосприятые?

20 декабря, когда канцлер донес императрице о взятии Дрездена пруссаками и что король польский просил о скорейшей диверсии в Пруссию, она изъявила сожаление о таком несчастье Августа III, прибавив, что с ее стороны сделано все возможное и русские полки отправлены на помощь, но что дальше Курляндии в такое время года им идти нельзя было. «Так как король прусский, – продолжала Елисавета, – теперь час от часу все более и более усиливается, что и для здешней империи безопасно быть не может, и так как надобно ожидать, что при настоящих обстоятельствах польский король согласится на всякий мир, какой только ему предпишет король прусский, а после объявит мир вынужденным и будет искать удовлетворения, то и с нашей стороны по соглашению с королем польским и двором венским можно будет действовать против короля прусского, чтоб сколько возможно силы его сократить. Для такого случая надобно уже гораздо больше войска приготовить и теперь же велеть ему собираться в Лифляндии и Эстляндии, чтобы в нужном случае и с одними своими силами можно было сладить с королем прусским». Для надлежащего об этом рассуждения и распоряжения насчет войска Елисавета на завтрашний же день назначила быть при дворе совету.

21 декабря к 9 часам утра в Зимний ее импер. величества дом собрались на совет канцлер граф Бестужев-Рюмин, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-аншеф граф Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал-аншефы Бутурлин и князь Репнин, генерал кригс-комиссар Апраксин, тайные советники Черкасов, Юрьев и Веселовский. Барон Черкасов объявил им указ императрицы: подать свои мнения по довольном рассуждении и уважении таких критических обстоятельств, что король прусский, не обратив никакого внимания на дружественнейшие отсоветования со стороны ее величества и предложения добрых услуг в примирении его с королем польским, под предлогом предупреждения своих неприятелей-австрийцев сделал нечаянное впадение в Саксонию, разорил все это курфюршество, взял столицу, пленил двоих принцев – одним словом, всю Саксонию подвергнул своему игу. Какие надобно принять меры для возвращения королю польскому его наследственной земли, для удержания его на польском престоле и для сокращения сил короля прусского ввиду собственной безопасности Российской империи? За этим указом прочтена была особливая присяга о содержании секрета и подписана всеми присутствующими. Потом начали слушать прежние, касавшиеся того же дела мнения канцлера и вице-канцлера, протокол совета 19 сентября, рескрипты к послам и реляции их, что продолжалось до половины 12 часа. В это время вошла в залу заседания императрица, села в кресла и слушала рассуждения членов совета; рассуждения эти продолжались до двух часов, и ничего еще не было решено. Императрица встала и отправилась обедать, пригласив к своему столу всех

присутствующих. После обеда в 5 часов они все опять собрались и занимались слушанием относящихся к делу бумаг до 11 часов, когда снова вошла императрица и с полчаса рассуждала с членами совета о том же деле, после чего члены совета разъехались. 23 числа было новое заседание совета в том же порядке, и в этом заседании составилось единогласное мнение; 24 числа это мнение было написано, подписано и бароном Черкасовым поднесено императрице на утверждение; 25 в 5 часов пополудни императрица подписала мнение совета в присутствии всех его членов в аудиенц-камере.

Мнение состояло в том, что необходимо подать деятельную помощь Саксонии против Пруссии. Спешили загладить прежнюю медленность, и Бестужев торжествовал. Он объявил Гиндфорду, что если морские державы дадут России немедленно шесть миллионов, то императрица выставит 100000 войска и в одну кампанию кончит войну в Германии. Дальон еще до известий о дрезденском мире предложил канцлеру 50000 рублей и получил отказ; Бестужев сделал по этому случаю заметку для императрицы: «Когда Дальон прежде сулил двоекратно канцлеру полмиллиона ливров, то при этом никаких условий не предписывал; и, несмотря на то, оба раза был так отпочтиван, что удивительно, как он опять осмелился предложить 50000 рублей с условием, чтоб назначенные на помощь курфюрсту саксонскому русские войска остались без движения в Курляндии».

Мы видели, что дела в Швеции уже начали идти не так, как бы хотелось императрице и как она могла надеяться по отношениям своим к благодетельствованному ею кронпринцу. Но если Адольф Фридрих получением наследства шведского престола был обязан Елисавете, то действительно получить престол по смерти дряхлого короля он надеялся только приобретением популярности в Швеции, а популярность эту он не надеялся приобрести, являясь пред народом покорным слугою России. Влияние сильной характером жены, сестры Фридриха II прусского, всего более содействовало утверждению его в этом взгляде на отношения свои к шведскому народу и России.

В январе 1745 года Любрас доносил, что когда он увещевал наследного принца содержать всегдашнюю истинную дружбу и откровенность с императрицею и великим князем, то Адольф Фридрих обнадеживал его, что, невзирая на все противные внушения, он постоянно будет держаться общего интереса Швеции и России, будет поступать всегда с согласия императрицы и ее наследника и что тех людей, которые советуют ему противное, не признает своими друзьями. «Надеюсь, – писал Любрас, – что его высочество слово свое держит, хотя он постоянно окружен молодыми людьми, питающими совершенно противоположные чувства. Я стараюсь посредством малого числа благонамеренных, имеющих доступ к принцу, поддерживать в нем чувства, соответствующие его собственному интересу».

Любрас доносил императрице, что в Стокгольме уже готов проект союзного договора с Россией, а секретарь посольства Чернев писал к канцлеру Бестужеву: «Мне от одного моего приятеля в крайней конфиденции сообщено, как здешняя наследная принцесса недавно получила письмо от брата своего, прусского короля, в котором он просит приложить все старание о скорейшем заключении оборонительного союза между Швециею и Пруссиею с гарантиею Верхней и Нижней Силезии и дачею от 6 до 8000 шведского войска, также просит помогать министру императора Карла VII, в чем принцесса и обнадежила своего

брата. Принцесса обо всех здешних делах королю прусскому подробно сообщает, будучи руководима в своих поступках здесь графом Тессинем, который с женою своею, родственниками и креатурами находится у нее в великой милости; но так как Тессин коварный человек и враг России, то не вышло бы из этого каких-нибудь вредных следствий». Русский двор потребовал, чтоб переговоры о заключении союза происходили в Петербурге, а не в Стокгольме, и по этому случаю Чернев писал Бестужеву: «Статс-секретарь Нолькен очень недоволен, что переговоры о союзе продолжаются не в Стокгольме, и приписывает это вашему высокографскому сиятельству, но это очень полезно сделано, ибо этим его неопisanному шильничеству лучшие способы вовсе пресечены. Король очень недоволен поступками кронпринцессы, которая вмешивается в государственные дела и персонально очень пренебрегает его величеством. Вследствие своего чрезвычайного честолюбия она неусыпно старается установить здесь самодержавие и надеется достигнуть своей цели с помощью Франции и Пруссии; поэтому не только покровительствует франко-прусской партии, но и старается ее усиливать, для чего учредили особый орден. Патриоты при дворе принимаются с большою холодностью и, не имея себе никакой опоры, легко могут обессилеть, поэтому было бы очень полезно поддержать их обнадеживанием помощи из России». На это при докладе Бестужев сделал такое замечание: «Генералу Любрасу предписано всех патриотов обнадеживать и через них недоброжелающих в случающихся делах и особливо в недопущении суверенства преодолевать. А он, Любрас, вместо доброжелательных из противной партии, а именно графа Гилленборга, всевысочайшею милостью и конфиденциею без указа обнадежил».

Императрица предупредила наследного принца, чтоб не очень сближался с Тессинем, и вдруг узнает, что наследный принц сделал Тессина своим обер-маршалом. Когда Любрас напомнил ему о предостережении, бывшем из Петербурга, то Адольф Фридрих отвечал, что имел случай удостовериться в усердии Тессина содействовать всему, что клонится к утверждению дружбы между Россиею и Швециею; впрочем, если бы Тессин паче чаяния и обнаружил враждебные намерения, то это нисколько не может иметь влияния на чувства высокого уважения и благодарности, которые он, наследный принц, до конца жизни будет питать к императрице. После этого разговора пришел к Любрасу от наследного принца голштинский советник Гольмер и объявил, что принц долго медлил назначением Тессина, но принцесса с членами франко-прусской партии ни днем ни ночью не давали ему покою и так ему наскучили, что принужден был согласиться.

Между тем Чернев в своей переписке с канцлером выставял Любраса человеком неблагонадежным, преданным франко-прусской партии. Так, от 2 апреля он писал: «Здесь, исключая Минерву (наследную принцессу) и главных учителей эпикурейской философии, почти все чуду морскому (Любрасу) скорейшего возвращения отсюда в прежнее его жилище желают, и если это случится, то антагонисты (т.е. преданные России люди) устроят хороший праздник. Но сам он, почитая это место за прямой соломоновский Офир, ни малой охоты к тому не показывает, особенно потому, что еще не освободился от своей жестокой болезни, которая его день и ночь терзает, эта болезнь – *великопосольская немощь* ». Чернев при этом жаловался канцлеру, что ему «многие угрозы и зело чувствительнейшие разглашения чинятся». Но еще 12 марта императрица, призвав

к себе канцлера, объявила ему: из открываемых известным образом секретных писем она усмотрела, что генерал Любрас будто по указу обнадежил графа Гилленборга в ее милости и совершенной доверенности, о чем ему и никому никогда повеления не было; кроме того, он обнадежил Гилленборга и совершенною дружбою канцлера. Все это он сделал самовольно, и в рассуждении таких его продерзостных, равно как и прочих его сомнительных поступков она приказывает приискать на его место способного человека и отправить посланником в Швецию, а его, Любраса, отозвать. Бестужев указал на Корфа, бывшего посланником в Копенгагене.

Шведский посланник в Петербурге Цедеркрейц объявил, что его правительство согласно на заключение союза с условием субсидий и уплаты обещанных 400000 рублей. Канцлер, разумеется, поднес императрице на утверждение ответ с отказом. Елисавета сначала согласилась отказать, говоря, что действительно субсидий давать не за что, да и в обычай этого вводить отнюдь не надобно, но потом переменяла мысли: разве уже дать им 400000, чтоб не выпустить их из рук? но дать не вдруг, а в несколько лет, смотря между тем на их поступки и обстоятельства, и чтоб дача эта не имела вида субсидий, а признавалась бы только благодеянием, но и об этом до времени молчать. Канцлер заметил, что не надобно шведам русскими деньгами на Россию же подавать оружие, лучше их содержать во всегдашней скудости, чем обогащать. Но Елисавета осталась при своем. 4 апреля в доме вице-канцлера происходила конференция с Цедеркрейцем, при котором сама императрица присутствовала инкогнито. Цедеркрейц не соглашался на союз без уплаты 400000 рублей. По окончании конференции Елисавета объявила, что соизволяет уплатить 400000 рублей в четыре года, чтоб не порвать дело о союзе, но повторила, чтоб дачу эту не признавать за должную по прежнему обещанию, а только следствием благодушия и склонности ее к дружбе с Швециею по случаю нового союза с этою державою.

В мае в Стокгольме получено было известие, что в Петербурге принят союзный договор и согласились платить субсидии на четыре года, по 100000 рублей ежегодно, но с тем, чтоб дача этих субсидий содержалась в секрете. Это условие всех удивило: зачем скрывать то, что могло бы произвести на шведский народ благоприятное впечатление? Между тем прусские победы радовали членов франко-прусской партии; кронпринцесса показывала Любрасу письмо брата: «Я искал неприятелей и, нашедши, напал на них и совершенно побил, иначе в день Ульрики и случиться не могло; все принцы в добром здоровье, войска мои преследуют неприятеля, и я, обнимая вас, собираюсь к ним ехать». Король при этом известии обнаруживал совершенное равнодушие, не зная, какую сторону принять; но прусская партия не довольствовалась равнодушием, и Чернев в начале июня писал канцлеру: «Приверженцы Франции и Пруссии стараются всеми силами уговорить короля ехать в Германию, ибо во время его отсутствия правление поручится коронному наследнику, который будет иметь тогда в Сенате три голоса и по горячей привязанности к жене и по коварным советам графа Тессина будет содействовать исполнению их планов». Одним словом, писал Чернев, «здешнее положение дел час от часу становится серьезнее и требует бдительной осторожности». Такого рода известия заставили императрицу написать наследному принцу 6 июля такое письмо:

«Светлейший кронпринц, дружески любезный племянник! Колико я во всем том, что до вашего королев. высочества касаться могло, интересовалась и как лучшую вашу пользу поспешествовать рачительно искала, о том, уповаю, вы сами больше, нежели кто, удостоверены. Мои о вашем королевском высочестве сентименты как всегда единственно в виду имели ваше благополучие, так ныне безотменны, наиглавнейше о вашем постоянном благосостоянии усердствуя. Оным бы ущерб причинен был, когда б я не так откровенно с вами изъяснялась, как существительный ваш интерес натурально научает, и я по ближнему свойству обязанною к тому себя признаваю. И тако, я скрыть от вас не хочу, что от некоторого времени слышу, каким образом ваше королев. высочество всю вашу доверенность на таких людей положили, кои, как известно, во время вашего на рейхстаге обирания, толь явно о биркенфельдском князе труды прилагая, всеми удобовозможными образами хотели мои старания ни во что обратить, следовательно же, ваше возвышение не допустить, и ныне прилежать и все то непрестанно своими вымышлениями вселять стараясь, еже бы ваше королев. высочество от меня отдалить могло. По таком опыте их доброжелательства все употребляемые от них ласкательства не иначе, но за скрытные хитрости справедливо признаваемы быть имеют, яко же, как о том сюда подтвердительно известие подано, не для чего, но вам во вред между королем и вашим королевским высочеством холодность воспричинствовали и вашу ко мне вначале оказанную конфиденцию умалили. А притворными своими происками в Швеции суверенство восставить и показанием легких вам к тому способов ищут, обнадежась вашею к себе доверенностью, шведский народ толико о своей вольности и нынешней форме правительства ревнующий против вас возбудить, и тем коварства свои соверша, толь легче давнего их злого намерения к невозвратному вашему предосуждению достигнуть.

Сия ведомость мне к особливому и толь большему об вас сожалению и возчувствованию касается, ибо сверх предвидения тех крайностей, каковым ваше королев. высочество желанием абсолютизма при нарушении прав целого народа, которому непременно оных додержание торжественно обещали, себя неминуемо подвергнете, я даже до наименьшего вида убежать хочу того мнения, которое легко каждому придет и в существе от моего намерения весьма далеко отстоит, будто бы я в том какое-либо соучастие имею, понеже как всегда думала, так и ныне со основанием нахожу, что главнейший поступков ваших предмет в том состоять имеет, дабы благосклонность его величества короля и любовь тех подданных, над коими вы в свое время при сохранении их вольности правительствовать станете, удобовозможно к себе культивировать, оные генерально привлекать и радетьельных сынов о благе своего отечества вашею милостью и конфиденциею удостоивать. Что же касается до меня и ожидаемого за прошедшее признания, о том и упоминать излишно для того, что само в себе дело добровольное, будучи опытов о моем к вам усердии довольно, и ваше королев. высочество истину того сами впредь лучше учувствовать, яко же при всяком случае опознать изволите, что дружба моя к шведской короне по своей нелицемерности всем другим, какие б ни были, предпочтительна, да и сие мое конфиденциальное изъяснение и совет имеют вас наивяще и вяще удостоверить о той искренности, с каковою наивсегда пребуду вашего королев. высочества и любви дружески-охотная тетка Елисавет».

Наследный принц отвечал устно Любрасу обычными уверениями в своей признательности к императрице-благодетельнице и долго думал, сообщить ли Сенату увещательную грамоту благодетельницы; наконец решился сообщить, ибо если бы каким-нибудь образом разнесся слух о грамоте, в которой говорилось о самодержавии, то принцу было бы это очень предосудительно. 5 августа принц объявил Сенату о грамоте с уверениями, как он далек от тех намерений, какие приписывают ему его неприятели, и с просьбою подать ему совет. Сенаторы поблагодарили принца за доверие, а граф Тессин подал письменное оправдание, после этого в Сенате принято было решение, чтоб принц засвидетельствовал русской императрице свою благодарность за доверие и благожелательное увещание; сенаторы объявили, что в этом деле надобно поступать с большою осторожностью и правдою, чтоб не было возбуждено холодности между Россиею и Швециею; положили также советоваться, как лучше отнять у императрицы причины к подозрению. Ответная грамота от кронпринца к императрице была сочинена в Сенате. Кроме того, Адольф Фридрих имел устное объяснение с Любрасом, просил, чтобы императрица продолжала к нему свою милость и откровенную дружбу. «Я, – говорил принц, – могу своею совестью обнадежить (тут у него навернулись слезы на глазах), что всегда буду поступать так, чтоб отдать ответ пред богом и ее императ. величеством, которую одну за все свое счастье должен благодарить. Беру смелость испрашивать у ее величества два пункта: 1) чтоб императрица никаким противным внушениям не верила до тех пор, пока не получит ясных доказательств против меня; 2) чтоб при всяком случае изволила объявлять мне точно свою волю, которую я и буду стараться исполнять».

В начале октября Любрас донес, что как скоро получена была из Петербурга ратификация союзного договора между Россиею и Швециею, так сейчас же прусский посланник объявил предложение своего короля заключить оборонительный союз между Швециею и Пруссиею и получил ответ, что король очень рад союзу, но что по этому делу надобно открыться России как державе, находящейся в тесном союзе со Швециею и заинтересованной в сохранении тишины на севере. Любрас доносил, что только можно под рукою препятствовать переговорам о союзе. Ему нужно было обессиливать внушения членов прусской партии, которые толковали, что Россия будет очень охотно смотреть на союз Швеции с Пруссиею, потому что императрица, несмотря на старания разных дворов, постоянно держится прусской стороны. Против этого Любрас внушал, что Россия в отношении к Пруссии соблюдает только внешнюю учтивость, но никак не дает усыпить себя комплиментами, никак не согласится содействовать усилению беспокойного и властолюбивого соседа. Только 18 ноября решено было назначить комиссаров для переговоров с прусским посланником о союзе; король, объявив об этом Любрасу, прибавил: «Посланник мой мне дал знать из Петербурга, что там дурно смотрят на союз между Швециею и Пруссиею; но это будет только простой дружественный договор, и я никогда не допущу, чтоб было что-нибудь постановлено против интересов или видов императрицы; только б ее величество конфиденцию ко мне иметь изволила, повелела свободно и чистосердечно изъясниться, чего она желает».

Король действительно не раз говорил в Сенате, что надобно все хитрости отложить в сторону и во всех делах поступать истинно и откровенно с русской императрицею как их надежнейшею союзницею. Несмотря на то, члены прусской

партии пересиливали в министерстве: так, *патриоты* настаивали, чтобы не назначать особой комиссии для переговоров с прусским посланником, пусть прямо сносятся с министрами и через них с королем; и, однако, комиссары были назначены, и именно из людей, преданных Пруссии. Любрас писал: «Так как вследствие успехов оружия Фридриха II прусская партия чрезвычайно усиливается, то доброжелательные очень унывают и прекословием своим не смеют выставиться. Они мне прямо говорят, что если ваше величество не выскажетесь решительно против прусского союза, то они препятствовать ему не будут в состоянии и навсегда погибнут, старики уедут в деревни и остаток жизни будут проводить в уединении, а дети их принуждены будут уступить силе».

В декабре Сенат постановил весь проект прусского союзного договора, со всеми подробностями, сообщить русской императрице. Ввиду всех этих движений франко-прусской партии, которая деятельно приготавлилась к будущему сейму подкупам, замещением вакантных мест своими членами и привлечением к себе большей части людей, окружающих кронпринца, Бестужев представил императрице: «Как шведы датчан злостно ни марают, то, невзирая на то, канцлеру необходимо потребно быть видится с Даниею без потеряния времени оборонительный союз возобновить, который против шведов России не меньше полезен быть может, как альянция королевы венгерской, как она ныне ни разорена и ни разграблена, против короля прусского и потому здравая политика требует заключением оных обоих как возможно спешить. Ее императорское величество уже давно о слабейшем канцлеровом мнении всевысочайше известна, чтоб ко времени начатия сейма камергера Корфа из Копенгагена в Стокгольм, а на его место за неимением в датском дворе великой нужды камергера Пушкина послать; на генерала же Любраса в таком важном обстоятельстве, каков он искусен ни есть, хотя он, по-видимому, прежнюю свою систему отменять начинает, совершенно положиться никоим образом невозможно, будучи ее импер. величеству довольно памятно, какими персонами он рекомендован и что он, яко урожденный швед, всегда явным французским и прусским партизаном был. Напротив же того, вышеупомянутый камергер Корф при всяком случае похвальную ревность и верность к службе ее импер. величества оказывал, не упоминая об особливом его в делах искусстве».

Ревность и верность Корфа обнаружилась не в одном Копенгагене. Летом он отправился в Киль для устройства голштинских дел. Герцог голштинский, великий князь наследник Петр Федорович, был объявлен совершеннолетним, вследствие чего прежняя администрация, во главе которой все еще считался дядя герцога, наследный принц шведский, должна была прекратиться. Корф писал императрице, что без умиления видеть нельзя, какую преданность оказывают голштинцы своему земскому государю, и хотя шляхетство явно не смеет выражать своих чувств, опасаясь датчан, однако тайком заявляет такую же преданность. Все о прежней администрации говорят не иначе как о разорительном и тяжком иге, от которого теперь избавились, впрочем, виноватым считают не администратора, а Гольмера, Плессена и других второстепенных людей; говорят, что они старались лишить великого князя земель и людей. Когда великий князь садился в коляску при выезде из Киля в Петербург, то Гольмер, трепля по плечу надворного канцлера Вестфалена, говорил: «Слава богу! Он уехал, и мы его более не увидим». Администраторская партия приведена в уныние нечаянным объявлением

совершеннолетия герцога, которого они вовсе не считали так близким. Госпожа Брокдорф, принадлежавшая к администраторской партии, уверяла сначала, что Корф приехал в Киль вовсе не для провозглашения совершеннолетия герцога; но когда кильский батальон был собран на площади, приведен к присяге и три раза выпалил из ружья с криком «виват», то она, всплеснув руками, сказала: «Боже мой, что это в Петербурге делается! Граф Брюммер еще на последней почте ко мне писал, что о совершеннолетию ничего не упоминалось, и боюсь, что надежда его получить звание наместника не сбудется». Ни один доброхот администратора не сделал Корфу ни малейшего приветствия, не выразил никакой радости, что герцог сам принимает правление, как будто все сговорились друг с другом. Радость противной стороны была уменьшена разглашением той же Брокдорф, что Брюммер может быть назначен наместником. Люди благонамеренные говорили Корфу, что если управление страной будет поручено частному человеку, кто бы он ни был, то это очень повредит интересам великого князя, потому что этот человек будет находиться под влиянием то шведских, то датских интриг и будет безнаказан, потому что в случае неудовольствия на него в России может перейти сейчас же в датскую службу.

По мнению Корфа, штатгалтером в Голштинию необходимо было назначить принца крови, именно принца Августа, качества которого одинаково превозносят и шляхетство, и горожане, а помощником ему определить надворного канцлера Вестфалена по его опытности в делах, за которую он может быть назван живым архивом; главные недостатки Вестфалена – боязливость и нерешительность – не будут вредить, когда штатгалтером будет не частный человек, а принц, и именно такой проникательный и бодрый, как принц Август. Корф писал, что по вопросу об устройстве нового правительства в Киле нет недостатка в конференциях и совещаниях, которые клонятся к тому, чтоб удержать на местах приверженцев прежней администрации. Большие съезды бывают у госпожи Брокдорф; эти съезды подозрительны тем, что в них участвует слуга Дании камергер Бухвальд. Интерес великого князя, по мнению Корфа, требовал, чтоб разом пресечь иностранные интриги и удалить от дел всех приверженцев прежней администрации, потому что если они предпочли наследника шведского престола великому князю, то надобно опасаться, что они и впредь не оставят своих прежних связей. Голштинские финансы, по донесению Корфа, находились в самом жалком положении: вовремя администрации нажито было 200000 ефимков с лишком новых долгов, прибавилось на 192000 ефимков чрезвычайных расходов. Жид Мусафия, посредством которого делались займы, скрылся, как скоро было объявлено о совершеннолетию великого князя. Расход 1745 года превосходил доходы на 241398 рейхсталеров, кредит совершенно упал, и для поправления дел требуется помощь русской государыни.

Корф переслал императрице полученную им в Киле записку неизвестного автора о дурном воспитании великого князя Петра Федоровича во время бытности его в Голштинии. Здесь говорится, что ребенок часто должен был дожидаться кушанья до двух часов пополудни и с голоду охотно ел сухой хлеб, а когда придет Брюммер и получит дурные отзывы учителей, то начинал грозить строгими наказаниями после обеда, отчего ребенок сидел за столом ни жив ни мертв и оттого после обеда подвергался головной боли и рвоте желчью. Ребенка держали точно за караулом, так что и в прекрасную летнюю погоду едва позволяли иметь

движение на свежем воздухе, вместо того заставляли быть два раза в неделю на вечерах с шести часов, а в летние дни вместо прогулок играть в кадрилию с дочерью госпожи Брокдорф: таким образом, до 6 часов его заставляли учиться, от 6 до 8 – играть в кадрилию с дочерью Брокдорф, а в 8 ужин – и потом спать. Великий князь говаривал: «Я уверен, что они хотят меня сделать профессором кадрили, а другого ничего мне знать не надобно».

Однажды великий князь в ассамблейный день был сильно нездоров, и, несмотря на то, Брюммер заставлял его идти в ассамблею; доктор Лишвиц представлял, что у ребенка лихорадка, но Брюммер не смотрел ни на какие представления, толковал, что одна знатная дама, родственница госпожи Брокдорф, нарочно приехала в Киль, чтоб видеть великого князя. Таким образом, полумертвый принц, несмотря на свою болезнь и прекословие лейб-медика, принужден был одеваться, чтоб показать себя свойственнице госпожи Брокдорф. Тут наконец Лишвиц сказал: «Если вам, господин Брюммер, угодно пожертвовать принцем, то мне до него уже больше дела нет». Эти слова произвели то, что герцога на этот вечер пощадили от ассамблеи.

Все были уверены, что Брюммер не питал к принцу ни малейшей любви. Это было видно из таких, например, слов его, обращаемых к воспитаннику: «Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут; как бы я был рад, если б вы сейчас же издохли». Обыкновенные наказания были: стояние голыми коленями на горохе, ношение книг, привязывание к столу и к печи, сечение розгами и хлыстом. Незадолго перед отъездом в Россию, в то время как придворные кавалеры обедали, молодой герцог, имея на шее нарисованного осла и в руке розгу, смотрел на обед из своей спальни, двери в которую были отворены. Молодой человек, именем Тирен, родственник госпожи Брокдорф, во время ярмарки сильно напился; молодой герцог, найдя знаки его пьянства в ассамблейном зале, сказал его родственнице, фрейлине Блюмен, дочери Брокдорф, чтоб она уговорила Тирена уйти домой. Фрейлина отвечала герцогу, что он не смеет ей приказывать и не смеет никого высылать вон, все это принадлежит обер-гофмаршалу, которому она и будет жаловаться. Молодой герцог обратился к одной знатной даме, госпоже Боркгорст, с просьбою сходить к госпоже Брокдорф и потребовать, чтоб она сделала выговор своей дочери, а в случае несогласия сказать ей, чтоб она и дочь ее впредь не являлись при дворе. Боркгорст исполнила поручение, но Брокдорф вместо выговора своей дочери пожаловалась Брюммеру, который совершенно находился под ее влиянием, и Брюммер приговорил наказать молодого герцога хлыстом, а после наказания заставить его просить прощения у госпожи Брокдорф.

Мало того, что Брюммер выказывал таким образом в Киле свою антипатию к молодому герцогу, вне Голштинии, в Ганновере и Пирмонте, он расславлял, что этот принц есть вместилище всех пороков. Однажды в ассамблее, когда герцог разговаривал с камергером Брокдорфом, неизвестно каким образом подкатилось к его ногам яблоко; герцог, бывший большим охотником до фруктов, взял яблоко и положил в карман; но Брокдорфу яблоко показалось подозрительным, он почти силою вынул его из кармана у герцога; яблоко разрезали и нашли внутри черным, бросили свиньям, свиньи издохли – ясно, что отравы, но Брюммер постарался затушить это дело. Французский учитель Миле говорил о Брюммере, что он способен лошадей обучать, а не принца воспитывать. Этот Миле представлял Брюммеру, что его присутствие необходимо при уроках герцога, что при других

дворах воспитатели принцев постоянно присутствуют при их уроках; на это Брюммер со смехом отвечал, что он не столько получает вознаграждения, как воспитатели других принцев. Впрочем, Брюммера можно оправдать тем, что, будучи с малолетства в военной службе, он не имел ни о чем понятия; при уроках верховой езды он присутствовал, ибо понимал дело, будучи кавалеристом. При жизни покойного герцога к сыну его был приставлен легационрат Рихард для обучения русскому языку; но, как скоро старый герцог умер, Брюммер сейчас же уволил Рихарда, говоря: «Этот подлый язык пригоден только собакам да рабам», и вообще с малолетства внушал молодому герцогу отвращение к русскому народу. Нолькен пригласил Брюммера в Висмар и там сделал ему такое предложение, что если захотят молодого герцога послать в Швецию, то шведы готовы его провозгласить русским императором в своей армии, стоящей на русских границах. Брюммер принял предложение с радостью. Шведская поездка состоялась бы, если б в голштинском совете не нашелся человек, который догадался, что шведы в этом деле руководятся только собственным интересом, стараются возбудить в России распри и несогласия и хотят употребить герцога голштинского в России, как французы употребляют претендента в Англии.

Желание Корфа, т.е. Бестужева, было исполнено: принц Август был назначен штатгалтером в Голштинию. Было исполнено наконец и другое желание Бестужева: Корф был назначен на место Любраса в Швецию, чтоб успешнее противодействовать там прусско-французскому влиянию. Французскому влиянию нужно было противодействовать также и на противоположном конце Европы – в Константинополе.

Здесь дело русского посланника облегчалось тем, что Турция была в войне с Персией. Предвещание русских дипломатов, находившихся при шахе Надире, исполнилось: победитель Великого Могола не мог ничего сделать лезгинцам и с радостью должен был схватиться за предлог окончить тяжкую и бесславную борьбу, начавши новую войну, более легкую и выгодную. Шах Надир спешил помочь арабским племенам, жившим близ Бассоры и отложившимся от турецкого султана. Надир вошел также в сношения с изменившим султану багдадским губернатором Ахмед-пашою. Персидские войска двинулись к Бассоре и Багдаду, и война с Турциею началась, к великому прискорбию Франции и ее союзников. Прямо втянуть Порту в европейскую войну для отвлечения австрийских и русских сил было нельзя, и потому придумали заставить султана предложить свое посредничество в примирении европейских держав – дело небывалое, постыдное для христианских государств и не принесшее никакой пользы.

В начале февраля Вешняков доносил, что приходил к нему переводчик Порты и по христианской преданности и ревности объявил о получении султаном письма от короля французского, который настоятельно требует турецкой помощи: неприятели Франции делают к будущей кампании такие приготовления, что сил к сопротивлению у нее может недоставать, и если неприятели Франции возьмут верх, то Порты почувствует гибельные следствия этого. Если короли французский и прусский за приязнь свою к другу Порты, императору германскому, потерпят поражение, то равновесие в Европе ниспровергнется, ибо тогда австрийский дом со своими союзниками Оттоманскую империю беспрепятственно разделят и с большею частью Европы подчинят своему игу. Королю известно, что теперь сама Порты обременена персидскою войною, и потому он просит у султана не явного

содействия, но посредничества для прекращения войны европейской. По поводу этого письма было составлено много проектов; французский посланник Пейсонель и шведский – Карлсон вместе с Бонневалем имели с министрами Порты частные конференции, причем Карлсон действовал как уполномоченный прусского короля, превозносил его силу и толковал, как Порте нужно приобрести дружбу Пруссии, которая вместе с Швециею может сдерживать русское могущество. Доказательством служит нынешняя кампания. Несмотря на угрозы со стороны России, прусский король предпринял войну против венгерской королевы и вел ее с успехом; кроме того, нанес России удар в Польше разрушением сейма, на котором русские партизаны настаивали на необходимости помочь венскому двору против Франции и Пруссии. Такими внушениями заставили Порту решиться предложить воюющим державам свое посредничество, причем султан обещал вступить в европейскую войну, если получится возможность к тому со стороны Персии. Не участвующим в войне державам Порты предлагала ей помогать в посредничестве.

Вешняков, давая знать своему двору об этих движениях, внушал, что они не будут иметь никакого важного последствия благодаря персидской войне и расстройству внутренних дел Порты. Он даже писал: «От вашего и. в-ства зависит без крайних усилий сие злоехидное сонмище разорить и крест восстановить: кажется, все к тому промысл божий предустроил и приуготовил. Все бедные православные христиане ждут избавления от вашего и. в-ства; стоит только нынешнею осенью явиться врасплох российской армии к Дунаю с запасным оружием, то она в короткое время удесятерится; Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия, Славония, Далмация, Черногорцы, Албания, вся Греция, острова и сам Константинополь в одно время возьмут крест и побегут на помощь вашему и. в-ству; провианта, фуража и денег нашлось бы чрезмерное количество. Европейские державы, будучи в распрях и все истощены, помешать России не в состоянии. Теперь для этого такое удобное время, какого не бывало и впредь не будет. Я пишу это не от себя, но по представлению начальников всех сих бедных христиан; со слезами просят, что, если бы хотя малый луч надежды просиял, они бы уже все устроили и к ним бы пристала и большая часть лучших турок, потому что множество между ними христиан, называющихся тринитариями, т.е. исповедниками Св. Троицы: таков Кизляр-ага и муфтий Есад-ефенди и множество других; все они только по наружности магометане и скучают такую смуту бездною сего правления; чернь была бы изгублена или покрестилась, ибо ее во всей Румелии и пятой доли против христиан не будет».

В конце мая Вешняков писал: «Недавно приходило ко мне несколько бедных молдаван, которые, пришедши в крайнюю бедность от несказанного гонения и грабежа правителей, принуждены были покинуть дома и бежать под покровительство вашего и. в-ства как единственной их законной государыни-защитницы, но их отогнали от русских границ, потому что пришли без паспортов, а сенатский указ запрещает таких принимать; многие их братья смотрели на Россию как на верное убежище в бедах, но теперь, услышав, что в Россию дорога закрыта, бегут в Польшу, Трансильванию, в глубь турецких владений, в Болгарию; я этих явившихся ко мне отправляю на Дон и считаю долгом представить, что такое запрещение произведет в здешних народах великую отмену в древней и особенно нынешней их склонности к нам: поэтому

необходимо, если есть такой указ, отменить его и тайно повелеть таких беглецов пропускать бесшумно; можно быть уверену, что от них никакого зла не будет; народ промышленный и работающий, могут размножиться и впоследствии великую пользу приносить; все здешние народы, особенно славные далматы, черногорцы, маниоты, сербы и болгары, с нами единокровные и сходные жизнью, много возвеселятся и ободрятся и будут к нам бегать, особенно когда принимать их будут ласково, будут давать им несколько лет свободу от податей. Побежит к нам народу множество, ибо кто здесь смотрит? Какой здесь порядок? Кто запрещает, кто дает паспорт? Все на гибель оставлено. Почему же вашему величеству не пользоваться собиранием расточаемого сего стада, законно вам принадлежащего? А турок это привело бы в большой страх, внушило большее к нам уважение».

Вешняков не ограничился этими представлениями императрице; он писал длинное письмо канцлеру, указывая на сильную привязанность турецких христиан, особенно славян, к России. Говорил, что лучшие их речи – в беседах о России, самое приятное чтение – жизнь Петра Великого, которую они имеют на разных своих наречиях не только в прозе, но и в стихах и дают богатые награды тем, кто лучше напишет такую жизнь. В последнюю войну бились о большие заклады, что русские победят турок, и уже намеревались пробираться к русской армии, если б она явилась на Дунае; не будучи в состоянии скрывать своих чувств к России, они подвергались страшным бедствиям и умирали с именем России на устах. Одинаковую привязанность оказывают славяне к России как в турецких, так и венецианских областях. В Турции привязанность эта остается непоколебимою, несмотря на старания Франции приобрести любовь греческого народа покровительством, ласками, заведением школ, даровою раздачею книг, употреблением в службу. Такая любовь их к нам требует взаимности. Россия должна подражать Испании и Франции, которые из политических побуждений всюду так усердно помогают своим единоверцам. Но у нас Военная коллегия пренебрегает гусарскими и влахомолдавскими корпусами и в 1743 году разослала пограничным командирам указы не принимать турецких христиан в службу и не пропускать за границу без паспортов. Вешняков настаивает на необходимости завести поселения из турецких христиан, что можно сделать без нарушения договора, ибо турки принимают своих единоверцев – магометан, бегущих к ним из России. Бояться Порты нечего, а надобно еще ей страху задать. От бесчеловечных поступков валахского господаря Михаила более 14000 семейств ушло в австрийские владения, и венский двор их принял, несмотря на то что в его договоре с Портою есть условие о непринимании беглых; так же поступают венециане и поляки, а Порта молчит. В заключение Вешняков указывает на выгоды для России и Европы от разрушения Турецкой империи и основания на ее месте сильной христианской державы: «Если б каким-нибудь образом могло случиться, чтобы это варварское сонмище, находящееся в таком расслаблении, искоренилось подобно изгнанию арабов из Испании: какая б от того произошла великая слава ее импер. величеству и какое было бы это спасительное дело! Мы приобрели бы себе на многие века покой и несказанную пользу установлением такой державы, которая без погибели своей не могла бы отстать от России по единству интересов и отдаленности границ. Тогда бы много сократилась гордость австрийского дома; морским державам было бы выгодно: Австрия была бы сохранена для обуздания Франции, но та же самая Австрия была бы удержана от

прежних своих великих замашек. Таким образом, европейское равновесие зависело бы от России да от этого нового государства на Балканском полуострове».

Это письмо было завещанием Вешнякова. В июле он умер. В это время находился в Константинополе приехавший с депешами поручик Никифоров; иерусалимский патриарх Парфений и терапийский митрополит Самуил говорили ему: «Донесите господам министрам, чтобы для замены Вешнякова прислали сюда русского, умного, в делах бывалого и надежного человека, такого, как прежде был Неплюев, и чтоб при нем переводчики были русские же: турки будут их больше уважать, а России вернее и надежнее будет; они, патриарх и митрополит, и другие доброжелатели России будут тогда безопасно объявлять тайны, природный русский этих тайн иностранцам открывать не посмеет, и, когда будут все русские, тогда русскому двору честнее. Французы, немцы, венециане в Константинополе как министров, так и переводчиков для чести и надежности всегда своих имеют. Находящиеся в русской службе иностранцы хотя верными и усердными себя показывают, а на самом деле на пользу России никогда не будут иметь ревности, будут искусным образом больше о своих интересах усердствовать; таких иностранцев как турки, так и другие недоброжелатели России легко подкупить могут».

Глава вторая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1746 год

Веселости и печальные происшествия в Петербурге в начале 1746 года. – Кончина Анны Леопольдовны. – Судьба Брауншвейгской фамилии. – Деятельность Сената. – Смоленская Шляхта. – Финансовые распоряжения. – Промышленность. – Старые заботы о соли. – Усиление внешней торговли. – Столкновение белгородского купечества с Главным магистратом. – Ревизия. – Столкновение эстляндских привилегий с общими распоряжениями правительства. – Дела церковные. – Отношения Синода к его обер-прокурору князю Шаховскому. – Дела внешние. – Отношения канцлера к вице-канцлеру. – Возвращение графа Воронцова в Петербург. – Холодность к нему императрицы. – Денежные затруднения Бестужева. – Союзный договор с Австриею. – Дела саксонские и польские. Неприятности с Пруссиею. – Дела шведские. – Дела датские, турецкие и персидские.

1746 год начался весело в Петербурге. Особы первых двух классов давали маскарады, на которых присутствовала императрица; собирались в шесть часов, играли в карты и танцевали до десяти, когда императрица с великим князем, великою княгинею и несколькими избранными садилась ужинать; остальные ужинали стоя. После ужина опять танцевали до часу или двух пополуночи; хозяин не встречал и не провожал никого, даже императрицу; кто сидел за картами, те не вставали для нее. Но февраль начался неприятностями: на маслянице великий князь простудился на маскараде, который был дан на Смольном дворе. Ночью ему

сделалось дурно, императрицу разбудили: «Великий князь болей, и опасно!» Она вскочила с постели и прямо к больному, которого нашла в сильном жару. В день рождения Петра Федоровича (10 февраля) Елисавета пришла к нему, и когда Брюммер, Бергхольц и гофмаршал Миних встретили ее в передней с поздравлениями, то она отвечала со слезами на глазах и на другой день из предосторожности велела пустить себе кровь. И февраля умер фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий: Елисавета плакала на похоронах старого слуги и опального отцовского царствования; в марте пришло известие о кончине принцессы Анны Леопольдовны.

Мы видели, что в первое время вступления своего на престол Елисавета хотела отправить Брауншвейгскую фамилию за границу; но скоро начались внушения и от своих, и от чужих насчет опасности этой меры; внушения, что державы, враждебные России, будут употреблять сверженного императора орудием для нарушения спокойствия императрицы и империи; эти внушения были подкреплены делом Турчанинова, потом делом Лопухиных, и несчастную фамилию остановили в Риге, потом начали удалять от западной границы и завозить внутрь России и, наконец, завезли на беломорскую окраину. Мы видели, что с Брауншвейгскою фамилиею отправился генерал Василий Федорович Салтыков; но мимо его императрице дали знать, что принцесса Анна бранит Салтыкова, а маленький принц Иоанн, играя с собачкою, бьет ее плетью, и когда его спросят: «Кому, батюшка, голову отсечешь?» – то он отвечает: «Василию Федоровичу». Елисавета в раздражении писала Салтыкову: «Буде то правда, то нам удивительно, что вы нам о том не доносите, и по получении сего пришлите к нам о сем ответ, подлинно ли так или нет, понеже коли то подлинно, то я другие меры возьму, как с ними поступать, а вам надлежит того смотреть, чтоб они вас в почтении имели и боялись вас, а не тако бы смело поступали». Салтыков отвечал: «У принцессы я каждый день поутру бываю, токмо, кроме одного ее учтивства, никаких противностей как персонально, так и чрез бессменных караульных офицеров ничего не слыхал, а когда что ей потребно, о том с почтением меня просит, а принц Иоанн почти ничего не говорит».

13 декабря 1742 года Брауншвейгскую фамилию перевезли в Дюнамюнде, в январе 1744 года последовал указ о перевезении ее в Раненбург, причем ее едва не завезли в Оренбург, потому что капитан-поручик гвардии Вымдонский, которому поручена была перевозка, принял Раненбург за Оренбург. Когда членам фамилии объявили о выезде в Раненбург и что их рассадят в разные возки – мужа, жену и детей, то они с четверть часа поплакали, но вида сердитого не показали. В Раненбурге фамилия пробыла недолго, 27 июля того же 1744 года последовал указ перевезти их в Архангельск, из Архангельска в Соловецкий монастырь и там оставить. Перевезти поручено было камергеру Николаю Корфу, который получил наказ ввести фамилию в Соловецкий монастырь ночью, чтобы их никто не видал, и поместить в приготовленные им покои особливо. На пищу и на прочие нужды брать от архимандрита за деньги, а чего у него нет, то где что сыскать будет можно по настоящей цене, чтоб в потребной пище без излишества нужды не было; как в дороге, так и на месте стол не такой просторный держать, как прежде было, но такой, что можно человеку сыту быть тем, что там можно сыскать без излишних прихотей. Принца Иоанна поручено было везти особо майору Миллеру, который получил такой наказ: «Когда Корф вам отдаст младенца четырехлетнего, то оного

посадить в коляску и самому с ним сесть и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для бережения и содержания оногo; именем его называть Григорий. Ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с собою какогo младенца, того никому не объявлять, иметь всегда коляску закрытую».

30 августа Корф писал Воронцову: «Третьего дня я объявил известным особам о их отъезде из Раненбурга; эта новость повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состояние принцессы, они отвечали, что готовы исполнить волю ее величества. Ее болезнь главным образом происходит от беременности». Когда Корф объявил, что все зараз не могут ехать и что фрейлина Юлия отправится после, то это известие поразило принцессу как громом: вероятно, она догадалась, что их хотят разлучить навсегда. Анна Леопольдовна и муж ее не знали, что их везут в Соловки, думали, что местом ссылки их будет Пелым, где прежде был Бирон. В октябре они приехали к беломорскому берегу, но за льдом в это время года нельзя было проехать в Соловки, и Корф остановился в Холмогорах, где архиерейский дом был очень удобен для помещения. В следующем, 1745 году он настоял, чтобы ссыльных оставить навсегда в Холмогорах: это будет, писал он, гораздо секретнее, чем еще везти их по Двине и по морю; притом содержание в Соловках будет стоить гораздо дороже, чем в Холмогорах, окруженных деревьями. Сам Корф уехал из Холмогор, сдавши надзор за ссыльными майору гвардии Гурьеву. 19 марта 1745 года Анна Леопольдовна родила сына Петра; в марте 1746 года родила сына Алексея и скончалась. На донесения о кончине принцессы и об отправлении тела ее в Петербург Гурьев получил ответ императрицы от 17 марта: «Репорты ваши о рождении принца и о кончине принцессы Анны мы получили и, что вы по указу тело принцессы Анны сюда отправляете, о том известны. Приложенное при сем к принцу Антону наше письмо отдай и на оное ответ дай ему своею рукою написать и, как напишет, то оное к нам немедленно пришли. Скажи принцу, чтоб он только писал, какою болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца». Письмо, отданное Гурьевым принцу Антону, заключало в себе следующее: «Светлейший принц! Уведомились мы от майора Гурьева, что принцесса, ваша супруга, волею божиею скончалась, о чем мы сожалеем; но понеже в репорте оногo майора Гурьева к нам не написано потребных обстоятельств оногo печального случая может быть, затем, что ему невозможно всегда при ней быть, а ваша светлость неотлучно при том были; того для требуем от вашей светлости обстоятельного о том известия, какою болезнью принцесса, супруга ваша, скончалась, которое сами изволите, написав, прислать к нам. *Елисавет* .

Императрица сама распоряжалась насчет похорон принцессы. Погребение происходило с большим торжеством в Александро-Невской лавре, где была погребена и мать Анны Леопольдовны царица Екатерина. Елисавета плакала.

Доскажем и о последующей участи осиротевшей семьи в царствование Елисаветы. Юлия Мегден была разлучена с принцессою Анною в Раненбурге; но сестра ее, Бина Мегден, отправилась в Холмогоры, и донесения офицеров, стороживших несчастную фамилию, наполнены известиями о буйствах Бины, ссоре ее с принцем Антоном и романе с лекарем Ножевщиковым. После сцен с принцем Антоном, брани и даже драки Бина выхватила однажды из-за пояса ключи и ударила ими солдата. Когда Вымдонский, сменивший Гурьева, стал выговаривать ей за это, то она закричала: «Когда меня принц Антон давить хотел,

я тебе говорила, чтоб ты к государыне о том писал». Но государыня взяла сторону принца Антона и указала: «Оную фрейлину, ежели она от таких продерзостей не уймется, держать в той палате, в которой ныне живет, безысходно и никуда из той палаты не выпускать, також и к ней в палату никого не пускать, а ежели иногда для какой болезни своей потребует лекаря, то оного допускать при прапорщике Зыбине, а одного отнюдь не допускать». Безысходное заключение усилило раздражительность. По письму Вымдонского Черкасову, Бина проломала стекло в окончинах и много раз бросала за окно серебро. Когда пришли вставлять окно, то она сначала заперлась и не пускала; когда же офицер Зыбин вошел силою, то она встретила его ругательствами, называя всех изменниками и колдунами, а потом бросилась на Зыбина, ударила его по уху и схватила за волосы, так что едва могли отнять. Принц говорил Вымдонскому и Зыбину: «Когда я бываю в саду, то мне можно узнать, едет или идет мимо архиерейского двора лекарь Ножевщиков, потому что тогда Бина наденет на себя красное или на руках держит, стоя у окна, чтоб он ее видел, и когда возвращусь в покои и спрошу у слуг, то непременно скажут, что лекарь ехал или шел».

Бина, по донесению Вымдонского, продолжала буйствовать, бросала тарелки, ножи и вилки в приносившего ей кушанья солдата, выливала суп на голову служившей ей женщине. Но она нашла себе защитника, потому что другой офицер, приставленный к принцу Иоанну, Миллер, поссорился с Вымдонским, и оба в своих письмах к Черкасову доносили друг на друга. Их поделили: у Вымдонского взяли хозяйственную часть и отдали Миллеру, оставив первому только военную. Миллер поставлен был в затруднительное положение, потому что деньги на содержание ссыльных высылались из Петербурга неаккуратно. Однажды вышел кофе, который подавался в день раза по три принцу Антону и его детям; Вымдонский прислал к Миллеру с сильным выговором, что принц Антон без кофе, как ребенок без молока, жить не может, и потому надобно непременно достать как-нибудь. Миллер послал солдата в Архангельск и велел просить у тамошних купцов кофе в долг; но купцы отказали, говоря, что сомневаются, заплачены ли будут деньги и за прежде взятые товары. «Благоволите рассудить, мне делать, – писал Миллер Черкасову, – г. капитан (Вымдонский), конечно, напишет, что я морю без кофе известных персон, теперь же вижу, что и у поставщиков столовых припасов нет денег от долговременного неплатежа, и каждый день опасаясь, что откажутся ставить провизию, и что в таком случае делать, не знаю, ибо не кормить известных персон нельзя, а мужиков хоть сожги, и взять им негде. Думаю по некоторым обстоятельствам и по известному единомыслию г. капитана с известною персоною и его камердинером, знатным интриганом, что я безвинно оболган высочайшему Кабинету, а может быть, и ее импер. величеству. Посылал я к г. капитану каптенармуса за маленьким делом; он, оставя это дело, по своему велеречию начал читать каптенармусу, что я не только их морю без кушанья и питья, но и известных персон, наварил такого полпива, что бока все промоет, у него, капитана, да и у известной персоны колики смертельные были от полпива, и потому известная персона теперь не пьет и умер бы без питья, если б он, капитан, не посылал к нему своего; при этом говорил каптенармусу: „Скажи ты Миллеру, что я его не боюсь, посылаю и впредь посылать буду, и о том не только высочайший Кабинет, но, может быть, и ее импер. величество теперь знать изволит“. Слыша такую на меня в полпиве нанесенную небылицу,

принужден призвать к себе мундшенковского и тафельдекерского помощников, которые поутру и ввечеру при столе известных персон живут неотходно, и спросить их по чистой совести, кушают ли все известные персоны полпиво, которого отправляется ежедневно по 40 бутылок и больше, и хулят ли, когда его кушают. На это они мне сказали, что все кушают и не оуждают. А это дело уже известно, – оканчивал Миллер, – что и небесное полпиво, ежели только от меня отпускаться будет, как известная персона, так и г. капитан с сообщниками преисподним, конечно, называть будут».

В своей борьбе с Вымдонским Миллер решился выставить Бину Менгден жертвою клеветы капитана и принца Антона. «Дерзаю донести, – писал Миллер Черкасову, – что Бина по его клеветам, мню, что с согласия учиненным, теперь целые два с половиною года уже содержится бесчеловечно; ибо, выключая то, что одна в такой большой и пустой палате заперта и кроме кушанья, которое, как собаке, в дверь подают, и рубашки во все два с половиною года мыть не сносят, пьяные солдаты и сержанты, там живущие, в угодность капитану и прочим всячески обижают». В отчаянии Бина ударила однажды ножом в висок солдата и задушила женщину, говоря: «Я на то пошла, чтобы кого-нибудь уходить ножом или вилками; скорее получу резолюцию, которой третий год нет».

Ссора офицеров кончилась тем, что Миллера перевели в Казань полковником Свияжского полка; в Холмогорах ему нечего было больше делать, потому что в начале 1756 года принца Иоанна перевели в Шлюссельбург. Сержант лейб-компания Савин вывез его из Холмогор тайно в глухую ночь, причем Вымдонский получил указ: «Оставшихся арестантов содержать по-прежнему, еще и строже и с прибавкою караула, чтоб не подать вида о вывозе арестанта, о чем накрепко подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе арестанта, чтобы никому не сказывал; в Кабинет наш и по отправлении арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде репортовали; а за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть накрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки». В Шлюссельбурге надзор за Иваном Антоновичем был поручен гвардии капитану Шубину, который получил такую инструкцию от Александра Ив. Шувалова, ведавшего тайные дела после Ушакова:

«Быть у онаго арестанта вам самому и Ингерманландского пехотного полка прапорщику Власьеву, а когда за нужное найдете, то быть и сержанту Луке Чекину в той казарме дозволяется, а кроме же вас и прапорщика, в ту казарму никому ни для чего не входить, чтоб арестанта видеть никто не мог, також арестанта из казармы не выпускать; когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли. Где вы обретаться будете, запрещается вам и команде вашей под жесточайшим гневом ее и. в-ства никому не писать; когда же иметь будете нужду писать в дом ваш, то не именуя, из которого места, при прочих репортах присылать, напротив которых и к вам обратно письма присылаются будут от меня чрез майора Бередникова (шлюссельбургского коменданта). Арестанту пища определена в обед по пяти и в ужин по пяти же блюд, в каждый день вина по одной, полпива по шести бутылок, квасу потребное число. В котором месте арестант содержится и далеко ли от Петербурга или от Москвы, арестанту не сказывать, чтобы он не знал. Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать,

каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертною казнию, коли кто скажет».

За болезнью Шубина отправлен был капитан Овцын, к которому Шувалов писал 30 ноября 1757 года: «В инструкции вашей упоминается, чтобы в крепость, хотя б генерал приехал, не впускать; еще вам присовокупляется, хотя б и фельдмаршал и подобный им, никого не впускать и комнаты его императ. высочества вел. князя Петра Федоровича камердинера Карновича в крепость не пускать и объявить ему, что без указа Тайной канцелярии пускать не велено». Приведем любопытнейшие донесения Овцына о вверенном ему арестанте. В мае 1759 года он писал: «Об арестанте доношу, что он здоров и, хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, что его портят шептаньем, дутьем, пусканьем изо рта огня и дыма; кто в постели лежа повернется или ногу переложит, за то сердится, сказывает, шепчут и тем его портят; приходил раз, к подпоручику, чтоб его бить, и мне говорил, чтоб его унять, и ежели не уйму, то он станет бить; когда я стану разговаривать (разубеждать), то и меня таким же еретиком называет; ежели в сенях или на галереи часовой стукнет или кашлянет, за то сердится». В июне: «Арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде, не могу понять, воистину ль он в уме помешался или притворничествует. Сего месяца 10 числа осердился, что не дал ему ножниц; схватив меня за рукав, кричал, что когда он говорит о порче, чтоб смотреть на лицо его прилежно и будто я с ним говорю грубо, а подпоручику, крича, говорил: „Смеешь ли ты, свинья, со мною говорить?“ Садился на окно – я опасен, чтоб, разбив стекло, не бросился вон; и когда говорю, чтоб не садился, не слушает и многие беспокойства делает. Во время обеда за столом всегда кривляет рот, головою и ложкою на меня, также и на прочих взмахивает и многие другие проказы делает. Стараюсь ему угождать, только ничем не могу, и что более угождаю, то более беспокоит. 14 числа по обыкновению своему говорил мне о порче; я сказал ему: „Пожалуй, оставь, я этой пустоты более слушать не хочу“, потом пошел от него прочь. Он, охватя меня за рукав, с великим сердцем рванул так, что тулуп изорвал. Я, боясь, чтоб он не убил, закричал на него: „Что, ты меня бить хочешь! Поэтому я тебя уйму“, на что он кричал: „Смеешь ли ты унимать? Я сам тебя уйму“. И если б я не вышел из казармы, он бы меня убил. Опасаюсь, чтоб не согрешить, ежели не донести, что он в уме не помешался, однако ж весьма сомневаюсь, потому что о прочем обо всем говорит порядочно, доказывает евангелием, апостолом, минеею, прологом, Маргаритою и прочими книгами, сказывает, в котором месте и в житии которого святого пишет; когда я говорил ему, что напрасно сердится, чем прогневляет бога и много себе худа сделает, на что говорит, ежели б он жил с монахами в монастыре, то б и не сердился, там еретиков нет, и часто смеется, только весьма скрытно; нынешнее время перед прежним гораздо более беспокоит». В июле: «Прикажете кого прислать, истинно возможности нет; я и о них (офицерах) весьма сомневаюсь, что нарочно раздражают; не знаю, что делать, всякий час боюсь, что кого убьет; пока репорт писал, несколько раз принужден был входить к нему для успокоения, и много раз старается о себе, кто он, сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вон».

По приказанию Шувалова Овцын спросил у арестанта, кто он? Сначала ответил, что он человек великий и один подлый офицер то у него отнял и имя переменял, а потом назвал себя принцем. «Я ему сказал, – писал Овцын, – чтоб он

о себе той пустоты не думал и впредь того не врал, на что, весьма осердись, на меня закричал, для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку. Я ему повторял, чтоб он этой пустоты, конечно, не думал и не врал и ему то приказываю повелением, на что он закричал: я и повелителя не слушаю, потом еще два раза закричал, что он принц, и пошел с великим сердцем ко мне; я, боясь, чтоб он не убил, вышел за дверь и опять, помедля, к нему вошел: он, бегая по казарме в великом сердце, шептал, что – не слышно. Видно, что ноне гораздо более прежнего помешался; дня три как в лице, кажется, несколько почернел, и, чтоб от него не робеть, в том, высокосиательнейший граф, воздержаться не могу; один с ним остаться не могу; когда станет шалить и сделает страшную рожу, отчего я в лице изменяюсь; он, то видя, более шалит». Однажды Иван Антонович начал бранить Овцына неприличными словами и кричал: «Смеешь ты на меня кричать: я здешней империи принц и государь ваш». По приказу Шувалова Овцын сказал арестанту, что «если он пустоты своей врать не отстанет, также и с офицерами драться, то все платье от него отберут и пища ему не такая будет». Услышав это, арестант спросил: «Кто так велел сказать?» «Тот, кто всем нам командир», – отвечал Овцын. «Все это вранье, – сказал Иван, – и никого не слушаюсь, разве сама императрица мне прикажет».

В сентябре 1759 года арестант вел себя несколько смиреннее; потом опять стал браниться и драться, и не было спокойного часа; с ноября опять стал смирен и послушен. В апреле 1760 года Овцын доносил: «Арестант здоров и временем беспокоен, а до того всегда его доводят офицеры, всегда его дразнят». В 1761 году придумали средство лечить его от беспокойства: не давали чаю, не давали чулок крепких, и он присмирел совершенно.

О родных Ивана Антоновича, оставшихся в Холмогорах, сохранилось следующее известие Зыбина: «Принц Антон Ульрих сложения толстого и многокровного и нередко подвержен разным припадкам, особенно страдает грудью, однако не очень сильно и продолжительно; по заявлению лекарскому имеет начало цинготной болезни; нравом кажется тих и ведет себя смиренно. Дети его: дочери – большая, Екатерина, сложения больного и почти чахотного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого; другая его дочь, Елисавета, которая родилась в Дюнаминде, росту для женщины немалого и сложения ныне становится плотного, нрава несколько горячего, подвержена разным и нередким болезненным припадкам, особенно не один уже год впадает в меланхолию и немало времени ею страдает. Сыновья: старший, Петр, родился в Холмогорах в 1745 году, сложения больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног; меньшей сын, Алексей, родился в Холмогорах в 1746 году, сложения плотноватого и здорового, и хотя имеет припадки, но еще детские. Живут все они с начала и до сих пор в одних покоях безысходно, нет между ними сеней, но из покоя в покой только одни двери, покои старинные, малые и тесные. Сыновья Антона Ульриха и спят с ним в одном покое. Когда мы приходим к ним для надзирания, то называем их по обычаю прежних командиров принцами и принцессами».

В год смерти Анны Леопольдовны отозвался и враг ее Бирон из Ярославля, отозвался горькою жалобою на свое бедственное положение. 18 марта 1746 года он писал императрице: «К здешнему воеводе указ прислан из высокого Кабинета, в котором изображено, якобы по моему приказу козацкого полка полковник Ливен

одного здешнего мещанина арестовать и бить велел. Всемиловейшая императрица! Сколь велико мое бедствие ни есть и сколь долго оно не продолжается, однако ж моего разума не лишен, чтоб я в такие дела вмешался. Я знаю, в каком состоянии я нахожусь. Все наказания, кои выдуманы быть могут, претерплю я с радостью, ежели я правильно в чем изобличен быть могу, а полковник Ливен должен отчет и отповедь дать. Оного человека я не знаю, он же ни мне, ни моим домашним никакой беды не сделал: что же бы меня к тому побудило! Но я такими людьми здесь окружен, от которых ежедневно многие утеснения претерпевать принужден без всякой моей вины, итак, ваше императ. величество прошу не допустить, чтоб я безвинно мучим был».

К Бестужеву Бирон писал по тому же случаю: «Несчастье мое ежедневно умножается; я желал бы все то претерпевать, ежели б я в чем виновен был; но о сем приключении я столько знал, сколько о часе моей смерти; я того человека никогда не знал. Я здесь между львами и змеями нахожусь. Здешний воевода и его жена известны суть; они на меня озлобились, потому что я их больше не дарю, как то прежде делал, когда я еще нечто имел. Майор Лакастов с фабрики, который с воеводою в ссоре был, добрым приятелем сделался. Сей человек нам всякую досаду причиняет; я не могу, да и не смею упомянуть, что мы от сего человека без причины претерпеваем.

От этих печальных известий обратимся к обычной правительственной деятельности 1746 года. Передвижение войск, вызванное событиями прошедшего года, готовило Сенату новые заботы, а между тем надобно было приводить в порядок пограничных служилых людей, удержавших среди преобразований свой особый характер, внесенный из XVII века. То была смоленская шляхта, обязанная нести военные повинности на польской границе и вместе с названием удержавшая, как видно, и дух своих собратий в Польше, ибо до нас дошли известия о частых столкновениях между нею и назначаемыми для начальства над нею генералами. Генерал-майор Вонлярлярский доносил Сенату, что при разборе смоленского шляхетства является много неспособных к службе по старости, дряхлости и увечью; вместо них определяются поротно шляхетские недоросли. Только некоторые годные в службу недоросли по многократным посылкам к этому разбору в Смоленск к нему не едут, особенно пять сыновей полковника Корсака да сын хорунжего Вонлярлярского и прочие, и от форпостной службы ухораниваются и живут в домах при отцах праздно. У некоторых из шляхетства отписаны за доимки движимые и недвижимые имущества, и они скитаются между чужими дворами, питаются милостынею, а служба их была без жалованья от вотчин; другие вследствие челобитья их на него, Вонлярлярского, Сенатом от команды его отрешены, находятся в команде смоленской губернской канцелярии до указа, к разбору не являются и форпостной службы не служат; смотря на них, и офицер команды его, поручик Александр Иванов Потемкин (отец знаменитого потом князя Григория Александровича), оставя форпост без отпуску его, самовольно съехал в дом свой. Сенат приказал скрывающихся и съехавших с форпостов штрафовать по обыкновению смоленского шляхетства, а пока явятся, отписать у них деревни, людям и крестьянам не велеть их слушаться.

Сенат отмолчался насчет тех шляхтичей, которые, не получая жалованья и лишившись вотчин, питались милостынею. Старались избежать новых расходов, которые и без того увеличились, и требовали чрезвычайных доходов: для

вооружения и приготовления к движению всех войск велено было во всем государстве собрать с тех, кто в семигривенном окладе, по гривне с души, а кто в сорокаалтынном – с того по пяти алтын. Императрица распорядилась, чтоб в Петербурге по большим знатным улицам не было кабаков и харчевен; кабакам быть только в переулках, а харчевни свести на рынок; но Камер-контора представила Сенату, что когда кабаки были на знатных улицах, то в сборе было на 24500 рублей в год, а теперь уже столько не собирается и недобору с 1743 года 55321 рубль. Уже 17 лет, как в Московской губернии питейные сборы откупали компанейщики, платя 222812 рублей в год, но теперь отказались; магистрат и купечество также отказались; наконец явились охотники-купцы Пастухов, Емельянов и Мещанинов и предложили взять питейные сборы на 6 лет за ту же цену с наддачею на каждый год по 10000 рублей, а если отдадут без пошлин, то будут платить по 250000 рублей. В то время в Москве было австерий и фартин 173 да в уезде 32, при которых служило 672 человека. Муку казна покупала в военные магазины по 2 р. 25 коп. за четверть, крупу – по 3 рубля за четверть. Писчая бумага второго номера стоила по 1 р. 50 коп. за стопу, третьего номера – по 1 р. 20 коп., сургуч – по 80 коп. фунт. С 1743 по 1745 год становили подрядом на войска рубашечный холст по 26 р. 90 коп., для нижнего платья – по 22 р. 90 коп., подкладочный – по 18 р. 90 коп., крашенину – по 23 р. 90 коп. за тысячу аршин, ни в 1746 году, по публикациям, подрядчики не явились: отпускать за море было выгоднее. В 1745 и 1746 годах холста разных сортов было привезено в Петербург 1901007 аршин: москвичами – 108050 аршин, переяславцами – 347500, ростовцами – 618750, ярославцами – 82029, угличанами – 94552, костромичами – 523927, суздальцами – 20100, вологжанином – 45799, из пригорода Плеса – 35250, кашинцем – 23050, торопчанами – 2000. Эти купцы требовали с казны по 48 рублей за тысячу аршин. Тогда товары их были остановлены. Купцы подали прошение, чтоб завезенный ими к петербургскому порту в заморский отпуск холст позволено им было теперь продать в заморский отпуск, потому что Главный комиссариат дает им цену малую, а потом пусть правительство запретит привоз холста ко всем гаваням из внутренних городов для лучшего удовольствования армии: тогда холсты подешевеют и купцы употребят капиталы свои в другие торги и промыслы. Но Сенат отказал в пропуске за море холста, пока вся армия им не удовольствуется.

В Сенат поступали на рассмотрение образцы произведений русских фабрик. Когда в описываемом году присланы были образцы разных шелковых материй и бархатов, то сенаторы усмотрели, что некоторые материи, например бархат травчатый – по малиновой земле алые травы, ленты пунцовые кавалерские, – цветами очень нехороши, и потому приказали послать указ в Мануфактур-коллегию такого содержания: Сенат, видя, что на российских мануфактурах те работы продолжаются, доволен, только подтверждает, чтоб коллегия над заводчиками и фабрикантами имела крайнее смотрение, пусть стараются шелковые материи делать самым хорошим мастерством, по образцу европейских мануфактур, употребляя цветы хорошие, прибирая оные по приличности.

Насчет соли продолжались прежние хлопоты. Строгановы явились в Сенат с жалобой на Пыскорский монастырь, что он отбивает у них рабочих, платя им дороже, просили, чтоб это было запрещено монастырю. Сенат приказал в просьбе

отказать: рабочие – люди вольные, от кого себе хорошую плату получают, к тому больше и в работу нанимаются; поэтому и баронам Строгановым надобно крепкое старание прилагать и рабочих людей добывать, беря пример с Пыскорского монастыря. Но этим нравственным внушением Сенат не отделался. Летом братья Строгановы Александр, Николай и Сергей подали доношение; высочайшей резолюции на их просьбы не последовало, а между тем указом Сената велено соляной конторе понуждать их к выварке и доставке соли, несмотря ни на какие невозможности, отчего пришли они в такую несостоятельность, что уже нетолько чем бы соль из Нижнего в верховые города ставить, но и лодейным работникам по прибытии в Нижний с солью чем остальную расценку учинить капитала у себя не имеют, притом и подрядчиков к поставке соли до верховых городов отыскать не могут. Калужские подрядчики говорят, что в 1745 году соль в провозе до Калуги стала по 7 коп. с 1/4 пуда, отчего понесли они поносное разорение и в подряд потому не вступили; а московские говорят, что взяли они за провоз до Москвы по 6 1/4 коп. с пуда, а стало им по 8 коп. и подряжаться не хотят, а из прочих городов никто не явился. По таким высоким провозным ценам на остальную лодейным работникам разделку и на задатки подрядчикам надобно будет в Нижнем до 100000 рублей, а у них своего капитала уже нет; пусть соляная контора приготовит в Нижнем эту сумму заблаговременно.

Сенат приказал соляной конторе, рассмотря, надлежащее и немедленное определение учинить, объявив Строгановым, чтоб они отпущенную в 1746 году соль до верховых городов, не упустя летнего пути, отправили и поставили, в чем их накрепко принуждать, не принимая от них никаких отговорок. Соляная контора доносила, что в 1746 году приготовлено соли: у Строгановых в Орловских промыслах – 2406274 пуда, в Чусовских – 231436 пудов, у Пыскорского монастыря – 103809 пудов, у Демидова – 67902 пуда, у Турчанинова – 138345 пудов, Ростовщикова – 135193, Суровцова – 108496, всего – 4126028 пудов. Относительно требуемых Строгановыми ста тысяч рублей соляная контора донесла, что такой большой суммы в Нижнем она не может дать Строгановым, ибо здесь у нее всего 3221 рубль, а в самой соляной конторе налицо 96811 рублей. Сенат приказал выдать Строгановым из соляной конторы в Москве медными деньгами 42399 рублей, прибавя все деньги, которые в Нижнем и Нижегородской губернии в сборе из таможенных, кабацких и канцелярских доходов. Кроме Перми и Астрахани соль добывалась еще на Бахмутских казенных заводах, но и здесь были тоже хлопоты по недостатку работников. Сенат велел высылать туда работников из Воронежской и Белгородской губерний, из ближних к Бахмуту городов и уездов поселившимся там на великороссийских землях малороссиянам по 600 человек в год. Но бахмутская заводская контора представила, что рабочих на заводах за недосылкою и побегом всего в Бахмуте 63 да в Тору 6, итого 69 человек, отчего при обоих заводах в приготовлении дров и в прочих работах следует остановка. Сенат приказал подтвердить накрепчайшими указами, чтоб высылались сполна по 600 человек.

Сенат получил известие об усилении торговли со стороны Европы и со стороны Азии. Камер-коллегия подала мнение: петербургская торговля усилилась вследствие заключения контрактов. Многие из разных городов купцы, которые прежде за неимением капитала к порту товаров не привозили, те охотно теперь ведут заграничную торговлю, заключивши контракты и взявши наперед у

иноземцев деньги; эти русские купцы сами по городам и по ярмаркам ездят и прикащиков посылают, закупают и привозят сюда товары, и, наоборот, покупая в долг у иностранных купцов заморские товары, отвозят внутрь государства и таким образом приобретают себе кредит и пользу, усиливают привоз товаров к здешнему порту, так что русских товаров, привезенных по контрактам, бывает на 900000 рублей, отчего и пошлинному сбору явное приращение, и русским купцам небогатым, которые на поставку товара к порту капитала своего не имеют, также и крестьянству немалая от заключения контрактов польза, ибо крестьяне, продавая им свои рукоделия, пеньку, лен и прочее, получают по множеству купцов цену настоящую, а не принужденную. Если же контрактам не быть, то весь здешний портовый торг останется в одних руках знатных капиталистов, товары и крестьянское рукоделье принуждены будут небогатые купцы и крестьяне продавать им одним по такой цене, по какой они захотят. Поэтому коллегия думает, что надобно удержать в силе указ 1720 года, позволяющий заключение контрактов, и брать с товаров одну портовую пошлину, без внутренней; а чтобы ныне иноземцам заключение контрактов запретить, того коллегия не считает полезным, ибо могут ли одни российские купцы своими капиталами здешние торги к лучшему размножению производить – того нельзя надеяться, потому что в России число капиталистов очень невелико. Сенат не принял мнения коллегии и приказал всем российским иногородним купцам заключать контракты с *российскими* же иногородними купцами, кто с кем пожелает, о поставке к петербургскому порту для заморского отпуску российских товаров и внутренние пошлины брать.

С востока оренбургский губернатор Неплюев писал об усилении торгов в Оренбурге и Орске: усиливается ввоз азиатских товаров, но вывоз русских стал превышать ввоз азиатских. Привезено было из русских городов товара в Оренбург на 33388 рублей, в Орск – на 75215 рублей, а в русские города отпущено из Оренбурга на 10343 рубля, из Орска – на 95364 рубля; пошлин собрано в 1745 году против 1744-го на 3523 рубля больше. Неплюев доносил, что езда в Оренбурге для русских купцов безопаснее, чем в Орске; но трудно заставить киргизов переменить старое место на новое.

Любопытны некоторые подробности о положении торговых и промышленных людей в городах, об их отношениях друг к другу, об их столкновениях в общей деятельности по магистрату. Белгородский купец и селитряный заводчик Щедров, купцы Ворожайкин и Турбаев с товарищи потребовали отрешения определенных Главным магистратом президента белгородского магистрата Осипа Морозова, бурмистров Нижегородцева и Лашина, потому что они выбраны фальшивым некоторыми купцов выбором и недостойны занимать свои места: Морозов поступал противозаконно, будучи у таможенных кабацких и других сборов; Лашин находится под следствием в приводе с неявленным и утаенным от пошлин товаром; он же, Лашин, будучи в 1741 году в белгородской ратуше бурмистром, не только не старался охранять купечество от всяких нападков и налогов, но и сам отягощал его неуказными поборами; да и потому Морозову и Лашину в магистратском правлении быть не следует, что они по нынешним конъюнктурам и производству судных дел и к прочим приказным поступкам не способны, и если им в правлении магистратском велено будет остаться, то уже они, Щедров с товарищи, которые к их выбору были

на большем совете несогласны, принуждены будут, оставя дома, идти врознь. А теперь они с общего согласия на место Морозова с товарищи выбрали из других достойных и неподозрительных людей Андреева президентом, Мурныкина, Денисова – бургомистрами. Сенат вытребовал дело из Главного магистрата и приказал: Морозова с товарищи от магистратского правления отрешить, ибо из дела явствует, что в белгородском купечестве состоит 516 дворов, в них 1350 душ мужеского пола, а к выбору Морозова подписались только 74 человека; почему другие не подписались, об этом Главный магистрат не спросил и определил Морозова с товарищи неправильно, ибо на них было представлено подозрение. После указа белгородскому губернатору Морозова с товарищи отрешить, а чтоб дела не остановились, быть в магистрате представленным от 134 купцов Михайле Андрееву с товарищи до указа, а потом по силе магистратского регламента, призвав в губернскую канцелярию всех купцов, кроме Морозова с товарищи и их избирателей да кроме отлучных и малолетних, и спросить, желают ли они Андреева с товарищи, и если желают, то утвердить, если же нет, то пусть выбирают других. В Белгороде жаловались, что бурмистр не защищал купечество от нападков, а в Москве купцы Автомонов, Иванов и крестьянин Матвеев объявили прямо в сенатской конторе, что обер-полицеймейстер Нащокин, приехав с командою на Полянку, приказал у торгующих съестными припасами и мелочью в шалашах ломать шалаши и обирать товары, причем кричал команде: «Берите что помягче!» – и у купца Иванова лавку и пять шалашей, которые построены по приказу самого Нащекина, разломал до основания.

Ревизия подняла вопрос, могут ли торговые и промышленные люди владеть крепостными людьми. Разумеется, правительство исстари должно было стараться ограничить право иметь земли и потом крепостных на них крестьян одними служилыми людьми, сохраняя таким образом для себя возможность содержать войско. Но искони существовало холопство; холопы могли быть у всех, и при первой ревизии за посадскими и мастеровыми были записаны дворовые их люди. Теперь на запрос, следует ли сделать то же и в настоящее время, Сенат отвечал утвердительно. У архиерейских и монастырских слуг и детей боярских, у разночинцев, которые сами в подушном окладе, у казаков и ямщиков велено дворовых людей отобрать, ибо в прежнюю перепись не было указа писать их за ними. За раскольниками новокрещеных и никаких людей отнюдь не писать и немедленно отбирать, чтоб они не могли привлечь их к раскольничьему суеверию. Сделано было исключение в пользу смоленских мещан, которым позволено было иметь не только дворовых, но и крестьян на основании привилегий, данных польским королем и подтвержденных царем Алексеем Михайловичем.

Ревизия продолжала вскрывать любопытные явления, например в Вологодском уезде в поместье Колтовского крестьяне утаили 29 человек; в Сольвычегодском уезде Ношульской волости написали 52 человека живых мертвыми да утаили рожденных после прежней переписи 146 душ. Пришлых и беглых приписывали вместо умерших чужими именами. На одних казенных сибирских заводах найдено беглых 16391 душа, и дано знать, что применить к ним закона о возвращении беглых нельзя, потому что приемщики, заводские управители, на свой счет отвезти их на прежние жилища не в состоянии, а для провожания их потребуется столько войска, сколько во всей Сибирской губернии нет, без провожатых же никто не пойдет, разойдутся по лесам или и за границу

убегут, особенно те, которые на заводах мастерствам обучились. Они хотя б и с провожатыми были вывезены, но так давно уже от пашни отстали, что на прежних местах не уживутся, но еще и других подговоря, опять в Сибирь убегут, где могут быть без платежа подушных денег, а на прежних землях будет доимка. Если же оставить их в Сибири, то платеж подушных денег будет исправный. Сенат рассудил не высылать, а приемщики должны были заплатить деньги прежним владельцам по 50 рублей за семью и по 30 рублей за холостых; что же касается беглых на казенных заводах, то вместо их выдать прежним владельцам крестьян в Европейской России из выморочных и отписных деревень.

Смоленским мещанам позволено было иметь крестьян в силу старых привилегий, подтвержденных царем Алексеем, но не обращено внимания на эстляндские привилегии, когда во имя их хотели пойти против решения, особенно важного для императрицы. 17 мая 1744 года велено было всем коллегиям, канцеляриям, губерниям, провинциям и командам присылать в Сенат обстоятельные выписки о колодниках, осужденных на смертную казнь или политическую смерть, и не приводить в исполнение приговоров до получения указа; указа о приведении в исполнение смертных приговоров ни одно ведомство с тех пор не получало, и распоряжение 17 мая считается на деле отменой смертной казни за преступления неполитические. В описываемом году Ревельская губернская канцелярия представила Сенату, что ландраты и магистрат, ссылаясь на древние привилегии, считают своим правом приводить в исполнение криминальные сентенции без дальней конфирмации со стороны высокой короны и потому просят о возвращении этого права. В противном случае колодники будут умножаться и на пропитание их не будет ставить средств. Но Сенат приказал послать в Эстляндию указ отнюдь не приводить в исполнение смертных приговоров.

Ревизия возбуждала также некоторые вопросы, входившие в область церкви. Так, было постановлено: иноземцам, находящимся в русском подданстве и службе, кроме идолопоклонников и магометан, позволяется держать у себя русских крепостных людей с тем только, чтоб не вывозить их за границу; иноземцам разным христианских исповеданий, живущим временно в России, позволяется иметь русских крепостных людей, если они представят добрых порук, имеющих деревни, что тех крепостных людей из России не вывезут и подушные за них деньги будут платить бездоимочно. Калмыков, башкир, татар и тому подобных иноверцев можно обращать только в православную веру и по крещении из государства не выпускать.

В начале описываемого года церковь и государство опять заявили, что последователей душепагубной ереси (христовщины) сыскано уже более 200 человек, но другие укрываются, и между прочим три московских купца, два петербургских с сестрою, два крестьянина и между ними один лжехрист, Степан Васильев, Ярославского уезда из деревни Поздеевки. Благодетельная императрица очень любила, когда кто-нибудь из других исповеданий обращался в православие. Все эти случаи обращения, довольно нередкие, объявились в ведомостях. Понятно, что она дала особенную торжественность возвращению к православию известной княгини Ирины Долгорукой. 15 августа, в день успенья, в церкви летнего дворца в присутствии императрицы княгиня Ирина с детьми, сыном Николаем и дочерью Анною, пред литургиею отреклась от католицизма.

Елисавета велела Синоду статского советника князя Сергея Долгорукого за несмотрение о жене своей и детях в содержании их в законе и страхе божии послать в монастырь, где быть ему неисходно год, да при нем сыну его Николаю по 1 января 1747 года. Долгоруких сослали в Саввин-Сторожевский монастырь. *Мамзель* Бере, которая считалась виновницею отступничества княгини Долгорукой, осталась под стражею в Синоде.

Только в 1751 году вследствие промемории голландского посланника Шварца императрица указала выслать ее за границу, «хотя она за превращение помянутой фамилии в законе жестокому наказанию подлежала б». Елисавета приказала канцлеру заняться следующим делом: в Курляндии было много пленных турок, мужчин и женщин, которые по обращении их в лютеранство были поселены в имениях бывшего герцога Бирона, а как они все, рассуждала императрица, полонены русским оружием, то их вывезть в Россию и по пристойности распределить, но чтоб турки не стали их назад требовать, как находящихся не в греческом законе, то постараться всех их привести в греческий закон. Елисавета настаивала также на возвращении русских солдат (великанов) из Пруссии. Фридрих II отвечал, что они подарены; Елисавета возражала, что Петр Великий давал их покойному королю, с тем чтоб за каждого было дано по три человека матросов; после отпускали и безусловно, но теперь она требует их назад как потому, что они ее подданные, так и потому, чтоб они остальную жизнь могли окончить в своем законе и отечестве; притом с прусской стороны ни одного матроса в России не получено, да теперь они и не требуются. Как видно, в это время забыли, что Петр Великий переменял великанов, посылаемых в Пруссию, и не позволял им оставаться там постоянно.

Сношения правительствующих учреждений, Сената и Синода, по-прежнему имели главным предметом столкновение духовных и светских начальств, жалобы духовенства на дурное обращение с ними светских начальств. Мы видели соблазнительное дело вятского епископа Варлаама с воеводою. Варлаам по приезде своем в Петербург нашел сильных защитников, и Сенат решил: хотя вятский епископ Варлаам по уложению, генеральному регламенту и указу Петра Великого 1724 г. января 27 и св. отец правилам за свою явную продерзость подверг сам себя по снятии сана жесточайшему истязанию, но только он епископ сана немалого, и для того Сенат без особенного ее им. в-ства указа в том деле об нем, епископе, далее уже поступать не может, а предает в высочайшее ее им. в-ства соизволение, и хотя в ведении св. Синода и объявлено, чтоб о показанных ссорах как архиерею, так и воеводе подать по форме челобитные, произвести надлежащий суд и для доказательства воеводу Писарева прислать в св. Синод, но так как в том, что он, архиерей, его, воеводу, в канцелярии ударил, сам себя уже виновным показал, то не для чего быть суду в том, что он против указов поступил, ибо он, епископ, сам себя виновным показал не в партикулярном каком-нибудь деле, но в противных указам и св. отец правилам поступках.

Епископ воронежский Феофилакт донес Синоду о следующем с ним происшествии: в крестовой палате при многих людях поп Ефимов, подавая доношение о пострижении одной купчихи, приложил при доношении завернутый в бумажку рублевик. Он, архиерей, пришел в «зазрение и беспамятство» и бросил рублевик и отношение попу в глаза. Вслед за тем воронежская консистория донесла Синоду, что губернская канцелярия заарестовала епископа Феофилакta и

для караула приставила к нему прапорщика с командою, присутствующие в консистории архимандрит и священник взяты в губернскую канцелярию и содержатся под караулом же. Архиерей велел иподиакону словесно донести Синоду, что он содержится по делу попа Ефимова, бумаги, пера и чернил ему давать не велено. Сенат приказал выпустить архиерея и консисторских членов, если они схвачены не по первым двум пунктам. Из экстракта, присланного воронежскою губернскою канцеляриею, Сенат усмотрел, что в арестовании епископа Феофилакта виновен канцелярист Дмитриев, который подал запечатанное доношение по первому пункту на епископа и указал свидетелей – архимандрита и священника, почему и те арестованы. По определению канцелярии велено доносителя и обвиняемых по силе указа 1730 года послать в Тайную канцелярию, но не посланы потому, что из поданного доношения попа Ефимова и из рассказа Дмитриева обнаружилось содержание его доношения по первому пункту: он обвинял епископа в том, что тот бросил рублевик на землю, а на монете было изображение императрицы. Дмитриева за ложный донос высекли кнутом нещадно и сослали в Оренбург.

В самом Синоде происходили частые столкновения его членов с обер-прокурором кн. Шаховским. Шаховской заметил, что духовные особы берут над ним верх разумом и красноречивым объяснением своих действий, поэтому небезопасно было вступать с ними в споры без приготовления, без изучения духовных дел и всего связанного с интересами духовного начальства. Другая опасность борьбы состояла в том, что Синод при благочестивой императрице получил большее значение, чем имел прежде; духовник Елисаветы протоиерей Дубянский и фаворит Разумовский были всегда готовы заступиться за него перед Елисаветой. Главным поводом к столкновению были интересы материальные. По указу Петра Великого синодальные члены должны были получать определенное им жалованье только в том случае, когда доходы их (архиереев с епархий и архимандритов с монастырей) были меньше этого жалованья, и тогда им должно было добавить из него к сумме доходов, для чего они прежде всего должны были объявить эту сумму. Но они, не объявляя доходов, потребовали себе полного жалованья. Шаховской не соглашался и требовал со своей стороны, чтобы члены Синода или объявили свои доходы, или просили себе жалованья у императрицы с отменой закона Петра Великого. Синодальные члены подали императрице жалобу на Шаховского, что он незаконно препятствует выдаче им жалованья. Елисавета потребовала объяснения у обер-прокурора и признала его поведение вполне законным. Шаховской хвалится в своих записках, что сберег таким образом более 100000 рублей.

Синодальные члены отомстили ему за такое сбережение, отказавшись выдавать ему самому жалованье из синодальных доходов на том основании, что не имеют точного на этот счет указа. Шаховской в свою очередь жаловался императрице на письмо; прошло два месяца – никакого ответа. Он подал вторично письмо; прошло четыре месяца – никакого ответа. Шаховской обратился тогда к фавориту Разумовскому, и тот обещал свое ходатайство. Через несколько недель случился церковный праздник, и Шаховской отправился ко всеночной в большую придворную церковь, где была и Елисавета. Императрица обыкновенно становилась позади правого клироса, недалеко от певчих; поговоря немного с ними и взявши одну богослужебную книгу, она подозвала к себе обер-прокурора и

показала ему, как книга была неисправно напечатана. Шаховской воспользовался удобным случаем, чтоб в очень некрасивом виде представить поведение людей, лишающих его жалованья. Императрица милостиво его выслушала и потом, чрез несколько времени подозвавши его опять, сказала: «Я виновата: все позабываю о твоём жалованье приказать». Но прошло еще более двух месяцев, а указа о жалованье не было, как случился другой праздник, и Елисавета, увидавши его, опять сказала: «Вот я забыла о вашем о жалованье», но на этот раз она подозвала сенатского обер-прокурора и велела ему завтра же ехать в Синод и объявить, чтоб не делали более препятствий к выдаче жалованья обер-прокурору из суммы, из которой он и прежде получал.

Другое столкновение у обер-прокурора с членами Синода произошло по поводу одного архимандрита, замеченного недалеко от монастыря, крестьянами в безнравственном поступке. Члены Синода старались замять соблазнительное дело. Шаховской настаивал, чтоб с преступником было поступлено по всей строгости законов. Члены Синода нашли средство внушить императрице, что крестьяне оклеветали архимандрита, что обер-прокурор излишне строг и что от разглашения этого дела происходит всенародное посмеяние всему монашеству, что теперь им, архиереям, нельзя по улице ездить: пальцами на них показывают и вслух говорят оскорбительные слова. Внушение подействовало, крестьяне, как клеветники, были наказаны, архимандрит только переведен в другой монастырь, чтоб уничтожить память о деле, Шаховской подвергся немилости. Но он дождался своего времени. Однажды, когда ему случилось быть во дворце, императрица подозвала его к себе и с неудовольствием сказала: «Чего Синод смотрит? Я вчера была на освящении церкви в конногвардейском полку, там на иконостасе вместо ангелов поставлены разные болваны наподобие купидонов, чего наша церковь не дозволяет». Шаховской воспользовался случаем и с печальным видом повел речь о неустройствах, допускаемых Синодом, что он, обер-прокурор, подает беспрестанно предложения об уничтожении этих неустройств, но этим возбуждает против себя только неудовольствие синодальных членов, которые под видом добродетели, истины и справедливости красноречиво закрывают ложь, как недавно случилось в деле архимандрита. Тут Елисавета с особенным любопытством спросила: «А разве дело решено не так, как следовало?» Шаховской постарался изъяснить и удостоверительно доказать злоковарные происки. На глазах у Елисаветы показались слезы, и она со вздохом сказала: «Боже мой! Можно ль мне было подумать, чтоб так меня обманывать отважились! Весьма о том сожалею, да уж пособить нечем». И после она не раз повторяла эти слова при своих приближенных, отзываясь с похвалою о Шаховском.

Тогда члены Синода решились на сильное средство, чтоб отделаться от невыносимого обер-прокурора. Генерал-прокурор князь Трубецкой призывает к себе Шаховского и объявляет ему великое неудовольствие императрицы, ибо синодальные члены, стоя на коленях перед ее величеством, со слезами просили, что им нет более возможности сносить докучные, дерзкие и оскорбительные письменные и словесные предложения и непристойные споры обер-прокурора, просили, чтоб или всех их уволить от присутствия в Синоде, или взять от них Шаховского. Елисавета, как обыкновенно с нею бывало под первым впечатлением, велела представить кандидата на обер-прокурорское место в Синод, и Трубецкой советовал Шаховскому не ездить туда более. Но Шаховской знал

хорошо Елисавету и потому спросил у генерал-прокурора, имеет ли он точный указ, что ему не ездить более в Синод, и если имеет, то дал бы ему указ на письме. Трубецкой отвечал, что указа нет, а что он, принимая в соображение обстоятельства, только советует не ездить более в Синод. Но Шаховской не принял совета, на другой же день поехал в Синод и представил к решению затянутые дела, объявив, что если они не будут решены немедленно, то он доложит об этом ее величеству. Легко себе представить изумление членов Синода, один из которых сказал ему: «Знать вы спокойно прошедшую ночь спали, что теперь вдруг за такие хлопотливые дела принялись?» «Очень спокойно», – отвечал Шаховской. И так как дела не были решены, то он и исполнил свое обещание: при первом удобном случае донес императрице, как много важных церковных дел по пристрастиям остается без решения и частые напоминания о них обер-прокурора только умножают ненависть к нему. Елисавета выслушала благосклонно и обещала помочь ему. Тогда Шаховской обратился к генерал-прокурору с просьбой представить его кандидатом на президентское место в одну из коллегий. Трубецкой исполнил просьбу немедленно, но получил в ответ от императрицы: «Он мне в Синоде надобен, и я его оттуда не отпущу, я довольно уже узнала его справедливые поступки».

Елисавета, как мы видели из рассказов князя Шаховского, откровенно признавалась, что забывала о делах. Люди нерасположенные обыкновенно приписывали это рассеянности, страсти заниматься мелочами, но нельзя не признать, что причиною забывчивости были и заботы о делах важных, о делах внешней политики, связанных с отношениями к людям близким. Не видя долго обер-прокурора Синода, легко было забыть о его борьбе с членами Синода, когда занимал важный вопрос войны и мира, когда канцлер по поводу этого вопроса боролся с вице-канцлером, когда вследствие того же вопроса надобно было зорко следить за отношениями великого князя-наследника и жены его. Мы видели торжество Бестужева над противниками в прусском вопросе. Воронцов был за границею. В переписке своей с ним Бестужев называл вице-канцлера своим искренним и нелицемерным другом, а себя вернейшим и усерднейшим его слугою, извещал, что императрица всегда милостиво отзывается об нем и его жене, писал: «Я без похвалы сказать могу, что редко такой день проходит, когда б я с прочими вашего сиятельства приятелями за здравие ваше не пил». Но Воронцов был оскорблен тем, что канцлер не согласился сообщать ему за границу известия о важных секретных делах. Еще более огорчился он, когда узнал об удалении из Петербурга человека, который был его правою рукою и, как говорят руководителем в коллегии Иностранных дел, Адриана Неплюева, назначенного резидентом в Константинополь: Воронцов не скрыл своего неудовольствия в письме к Бестужеву, и тот отвечал ему: «Что ваш сиятельство принятой резолюции в представлении Адриана Ивановича к отправлению в Царьград удивляетесь, то я, сие в своем месте оставляя, к тому прибавить за потребно нахожу, что каков он, по мнению вашего сиятельства, нашей коллегии надобен быть ни казался, то, однако ж, я вам могу засвидетельствовать, что ежели дела не лучше, то по меньшей мере не хуже прежнего исправляются, как ваше сиятельство по благополучном своем сюда возвращении о том сами из дел удостоверены будете, и я не примечаю, что отъезд его отсюда наималейшую какую остановку или отмену в делах причинствует и впредь причинствовать мог

бы. Что же ваше сиятельство об усердии и преданности его ко мне упоминать изволите, то я уповаю, что вы сами засвидетельствовать можете, какое я взаимно еще прежде вступления вашего сиятельства в министерство и во время оногo рекомендованиeм его в вашу милость и крайнeйшим о его благополучии усердствованием попечение имел, так что я не думаю, чтоб отец за сына горячее вступаться мог, и потому, ежели у него такие ко мне сентименты были, я оные уповательно заслужил, да и поныне еще никакой причины к жалобе не подал».

Из писем Бестужева ясно видно, как он боялся Воронцова, как льстил ему, желая войти с ним в прежние дружеские отношения, в прежнее политическое единомыслие, старался напоминать ему об его киевском мнении, направленном против Пруссии. Говоря о мире между Австриею, Саксониею и Пруссиею, Бестужев пишет: «Ежели бы киевское вашего сиятельства мнение в действo произведено было, то, всеконечно, всего того не воспоследовало бы. Труды же и убытки, причиненные движением войск наших, мне ни малейше излишними быть не видятся, ибо там по меньшей мере резонабельнейший мир заключен, нежели бы того при столь полезных короля прусского авантажах, когда б и мы в оплошном состоянии были, ожидать надлежало. Такие со стороны ее импер. величества премудрые предосторожности еще вящим усилением войск неотменно продолжаютcя, ибо вашему сиятельству довольно известно и вы представлениями своими ее импер. величеству неоднократно напоминали, какого мы опасного соседа имеем, который ничего более за свято не поставляет».

Воронцов проехал Италию, Францию. Отовсюду он писал своему двору, как его принимали. Бестужев не упустил случая возбудить в нем неудовольствие против французского правительства, выставив не очень почетный прием, ему сделанный. «Подлинно, – писал он, – вашему сиятельству во всех французских городах толико чести, как коронованной главе, оказано, ибо для вас гарнизоны в ружье ставили, и из пушек стреляно, и капитаны с целою ротою для караула придаваны бывали, почему я ожидал, что потому ж и в Париже прием для вашего сиятельства распоряден будет. Но в какое я удивление пришел, когда я весьма противное тому усмотрел, особливо же, что ее сиятельству дражайшей вашей супруге табурета у королевы не дозволено, которая честь, однако ж, всем знатным гишпанским дамам и посольским женам, которых ее сиятельство как по рангу своему, так наипаче по природе не меньше чинится, и, по моему слабому мнению, лучше было б королевы совсем не видать, нежели только мимоходом приветствованною быть».

Бестужев удивлялся также, что министр Людовика XV маркиз Даржансон не говорил с Воронцовым о делах. Но канцлер не мог заметить ничего против приема, какой сделан был Воронцову в Пруссии на возвратном пути. Воронцов писал о разговоре своем с Фридрихом II в Потсдаме 10 июля: «Его величество по принятии моего поклона мне говорить изволил, что как донныне общая дражайшая дружба с ее император, величеством с начала счастливого вступления ее на престол толь благополучно взаимно содержана была, так ныне с немалым прискорбием оную видит совершенно алтерировану, что с своей стороны к тому. никакого повода никогда не подал, кроме что его неприятели и зломыслящие, завидуя сей тесной дружбе, всячески стараются оную испровергнуть и в ссору привести разными лживыми внушениями и о которых никто доказать не может, чтоб он, король, какие-нибудь неприятельские виды до ее император. величества и

до государства Российского имел, но ниже что впредь учинить хочет, еже ее императ. величеству в противность быть может, в чем детестирует всякого, кто б против сего правильно сказать мог. Я на сие его величеству ответствовал, что по отъезд мой, сколько мне известно было, ее императорское величество с своей стороны всегда соизволила желать с ним, королем, в непрременной дружбе пребывать: того ради надеюсь, что и поныне в тех же полезных сентиментах находиться изволит. Его величество на сие репликовал, что он по обращениям дел видеть может, что оные до такого экстремитета доводятся, чтоб или ее императ. величество прямо недружески на него наступить имела, или его, столько огорчивши, принудить, чтоб он сам на действие поступил, к чему с своей стороны никогда не намерен сие учинить, разве бы с обеих сторон напрасно себя разорить хотели, но все происшедшие неудовольствия сколько возможно терпеливо снести имеет. Я спросил его величество, в чем состоять имеют сии наущения неприятелей его величества? На то его величество сказать изволил, что внушено было, будто он при турках и в Польше разные возмущения против России производил, что в Швеции наступательный трактат заключить хочет, по которому завоеванные от Швеции провинции им назад возвратить обещает, что все сие такая мерзкая ложь, что ее император. величество ни единого человека как в Швеции, так и инде сыскать не изволит, который бы о сем деле доказать мог, в чем он меня своим королевским словом обнадежить может, что все вышеупомянутое ложно затеяно, а что с Швециею оборонительный трактат заключить намерен, о том уже давно при дворе ее импер. величества объявил».

Фридрих II подарил Воронцову богатую шпагу с бриллиантами и велел даром возить по всем своим областям. Мардефельд в своих письмах к Воронцову называл его наидостойнейшим министром и наичестнейшим человеком во всей Европе. Это очень не понравилось в Петербурге. Очень не нравилось также сближение Воронцова с принцессою Ангальт-Цербстскою, хотя Бестужев отправил от имени императрицы приказ Воронцову, чтоб жена его не целовала руки у принцессы. Принцесса дала Воронцову письмо к дочери, но Воронцов по какой-то удивительной рассеянности отправил его по почте, и оно попало в руки Бестужеву. В письме своем принцесса жаловалась, что Екатерина редко пишет к ней и это производит дурное впечатление. Жаловалась, что великий князь удалил от себя Брюммера и Берхгольца, людей вполне ему преданных; жаловалась, что в Голштинии преследуют доверенных слуг брата ее, бывшего администратора, теперь наследного принца шведского; дурное впечатление производит то, что первое время вступления великого князя в управление ознаменовано гонениями; по мнению принцессы, во всем виноваты датчане, которые стараются перессорить родственников принцев голштинских. «Я в графе Воронцове, – писала принцесса, – нахожу человека испытанной преданности, исполненного ревности к общему делу. Я откровенно сообщила ему свои мнения, что всеми мерами надобно стараться о соглашении. Он мне обещал приложить об этом свое старание. Соединитесь с ним, и вы будете более в состоянии разобрать эти трудные отношения, но будьте осторожны и не пренебрегайте никем. Поблагодарите вице-канцлера и его жену Анну Карловну, что они для свидания с нами сделали нарочно крюк. Усердно прошу, сожгите все мои письма, особенно это».

Бестужев, представляя письмо Елисавете, по обычаю снабдил его своими примечаниями: «Когда принцесса Цербстская отсюда поехала, то сближение вице-канцлера с Лестоком, Трубецким и Румянцевым еще не было вполне утверждено, что, по моему мнению, и означает соглашение, *примирение духов* (reconciliation des esprits). Вице-канцлер мог обещать приложить свое старание, ибо, как показал племянник Лестока Шапизо, Воронцов во время путешествия своего уже производил с Лестоком конфидентную переписку. *Соединитесь с ним* : если б это только означало низвержение канцлера, то не было бы нужды в такой таинственности, не было бы нужды принимать так много мер. *Сожгите, прошу прилежно, все мои письма, особливо же сие* . Прилежная просьба о сожжении всех писем показывает, что и прежние письма не меньшей важности были, как и это». Бестужев жаловался императрице, что от великого князя и великой княгини ходят письма мимо его, пишутся они и к подписанию носят Олсуфьевым, тогда как сделано распоряжение изготовлять их в Иностранной коллегии и член коллегии Веселовский должен носить их к их высочествам для подписания.

Много также вредили Воронцову перехватываемые депеши Дальона. «Императрица, – писал Дальон, – прекрасная, чрезвычайно приятная, величественная, разумная и проникательная, составила бы благополучие народов и приводила бы иностранцев в удивление, если б не была слишком предана забавам. Она скрытна и подозрительна, крайне горда, не знает, что такое благодарность: это испытала на себе Франция. Ни к какой иностранной нации она не показывает пристрастия, свой народ чрезвычайно любит, но еще более боится его. Бестужев ненавидит французов, особенно по внушениям брата. Он продает императрицу за чистые деньги англичанам, австрийцам и саксонцам, не отнимая от себя, впрочем, свободы подбирать и где-нибудь в другом месте; он им обещает употреблять в их пользу русские силы, но им не служит. Воронцов – человек небольшого ума. Неопытность вовлекла его в большую часть проектов Бестужева, однако он имел силу многие из них не допускать до осуществления. Нация вздыхает больше всего о покое и тишине, иностранцев ненавидит, и имеет право, ибо если они принесли многие знания, зато и употребляли их во зло. Барон Черкасов чрезвычайно насильственный и грубый, но притом умный и искусный человек, особенно в науке пользоваться слабостями своей государыни; этими качествами он придает чрезвычайно важное значение своему месту, которое само по себе невысоко. Он правая рука канцлера и чудное в глазах нации качество имеет всех вообще иностранцев ненавидеть». Дальон решился даже написать своему двору о возможности, что канцлер возьмет сторону принца Иоанна (бывшего императора) против существующего правительства. На это известие Бестужев делает очень важное замечание, из которого видно, что он чрез Воронцова и Лестока вошел в сношения с Елисаветой до ее восшествия на престол: «Ее величество о несомненной канцлеровой верности еще прежде всерадостного восшествия на прародительский престол чрез графа Михайлу Ларионовича и Лестока удовлетворительные опыты получила и о том всемиловитейше вспомнить изволит».

Несмотря на не очень лестные отзывы о способностях Воронцова, Дальон с нетерпением ждал его возвращения, продолжая ласкать себя и своих надеждою, что вице-канцлер свергнет канцлера. Дальон в своих депешах делал сильные

выходки против великого князя, который сначала публично, и не раз, говорил о канцлере Бестужева как о величайшем плуте и бесчестнейшем человеке, а теперь допустил его к себе как довереннейшего человека. Принц Август, брат и неприятель кронпринца шведского, и Пехлин, бывший голштинским министром в Стокгольме, – вот главные орудия, которые употребляет канцлер, чтоб войти в приближение к наследнику. Дальон ходатайствовал о возобновлении годовой пенсии в 4000 ливров княгине Долгорукой (Ирине) и графине Румянцевой. Долгорукая, урожденная Голицына, находилась в свойстве со всею знатью при дворе; сын ее, возвращающийся из Парижа, верно будет употреблен в Иностранной коллегии; Румянцева в большой милости у императрицы. Явное торжество Бестужева приводило в отчаяние Дальона; он видел все в черном свете и ждал спасения от приезда Воронцова. «Все зло состоит в том, – писал он, – что больше уже не знают, каким путем доводить до государыни свои мнения, всякий держит себя в величайшей скрытности, и если граф Воронцов не приедет для скорейшего поправления дел, то здешний двор скоро будет походить на султанский, при котором видят только верховного визиря и разговаривают только с ним; впрочем, здешний двор довольно уже походит на султанский по другим обстоятельствам, которые вы без труда отгадаете. Не знают ныне здесь ни веры, ни закона, ни благопристойности». На это Бестужев заметил: «Сии и сему подобные Далионом чинимые враки ему неприметным образом путь в Сибирь приуготавливают, но понеже оные со временем усугубятся, да и по приумножающейся Мардефельдовой к нему конфиденции нечто и о прусских происках иногда свелено быть может: того ради, слабейше мнится, ему еще на несколько время свободу дать, яд его долее испущать».

Удаление Брюммера и Бергхольца от великого князя и из России было новым ударом для французских интересов. Дальон пишет: «Брюммер и Бергхольц отъезжают – первый с пенсиею около 3000 немецких талеров, а другой и меньше того. Князь Репнин, один из приятнейших и умнейших людей в России, сделан обер-гофмейстером двора великого князя, а госпожа Чоглокова, племянница императрицы, объявлена обер-гофмейстериною великой княгини, ибо они в совершенной зависимости от канцлера. Этим переменам предшествовало заарестование одного старого камердинера великого князя, к которому он питал большую доверенность. Арестовали его в час пополуночи с женою и детьми и, верно, отвели в крепость, где, без сомнения, находится и секретарь Брюммера. Весьма строго запрещено всем приближающимся к великому князю говорить ему об этом заарестовании. Постановлено, что лакеи великого князя будут еженедельно перемещаться. Брюммер и Бергхольц, люди, преданные французским интересам, удалены от великого князя с его позволения; в этом принце ежедневно происходят перемены к его невыгоде; он совершенно предался канцлеру Бестужеву, дознанному и самому опасному врагу Голштинского дома. Довершая свое ослепление, великий князь делает или своим именем делает допускает все, что может повести к полному несогласию между ним и кронпринцем шведским. Поступают наперекор Петру Великому относительно духовенства, допускают его день ото дня приходить в большую силу, и здешняя страна походит на страну инквизиции. Императрица делает это для прикрытия некоторых обстоятельств своей жизни, но страна придет в прежнее варварское состояние, ибо духовенство не может получить верха без помощи невежества и суеверия».

Об удалении Брюммера и Бергхольца Мардефельд таким образом донес своему двору: «Принц-администратор дал знать Брюммеру и Бергхольцу, что великий князь не признает удобным, чтоб долее они здесь жили, тогда они стали просить отпуска и тотчас его получили». Бестужев заметил на это донесение: «Весьма ложно Мардефельд доносит, будто великий князь Брюммера и Бергхольца выслать хотел, но им определения о пожаловании амтов и пенсий вручены, на что они, однако ж, грубым и непристойным образом абшидов своих требовали, не прося ни словом о пенсиях, следовательно, с достоинством и честью его импер. высочества не сходствовало б им милость свою пожаловать».

Наконец Воронцов возвратился в Петербург в августе описываемого года, и Дальон дал знать во Франции, что доволен визитом, который он сделал вице-канцлеру. Он выслушал сообщенные мною известия о бывших в его отсутствие приключениях с таким видом, из которого можно понять, что перемена сцены за ним не стала бы. Воронцов, очевидно, огорчен на Бестужева и сказал мне, что зло происходит некоторым образом оттого, что отовсюду писали в Петербург о скорой перемене, имеющей последовать по возвращении его в Россию. На этой депеше, захваченной, прочитанной и отданной Воронцову, тот писал: «Хотя ваше импер. величество и изволили повелеть нарочно подавать повод, дабы чрез то можно более что выведать о намерениях Дальоновых, токмо сие не без опасности кажется с ним вступать в дальний разговор, ибо и без того разных неосновательных рассуждений и толкований много происходит. На сей пассаж более от меня ничего не сказано было, как токмо что как о отъезде моем отсюда, так и о приезде много напрасных толкований в иностранных государствах происходило, равномерно как и о пустых ожиданиях какой-либо перемены здесь».

Но Бестужев сделал такую заметку: «Сие с учиненным Далионом Даржансону в прошлом, 1745 году предварительным обнадеживанием, а именно что вице-канцлер для обучения своего разные европейские дворы посещать, а потом сюда для опровержения своего товарища приехать и главное правление дел себе присвоить намерен, весьма сходствует. Ее импер. величество по природной своей прозорливости из того без затруднения рассудить может, какое бедное и сожалительное канцлерово житье есть, будучи уже двадцать шестой год в министерстве и коль легко малый остаток слабой памяти его поврежден быть может, ежели всещедрейшим ее импер. величества защищением от того освобожден не будет, ибо канцлер почти ежедневно принужден или неприятные известия от французских министров о своем низвержении не за что иное, как токмо за то, что он ее импер. величеству всею душою своею предан и, несмотря на все препятствия и прекословия о благе империи, крайнейше старается слышать, или же иногда вместо отправления прямых дел невинно начатую и впредь ожидаемые явки очищать, еже при случае посылки галер в Ревель учинилось, хотя оное собранным в Петергофе советом для потревоживания в Стокгольме французско-прусской партии, а для одобрения добронамеренных патриотов, следовательно, в пользу ее императ. величества всевысочайших интересов на мере постановлено, а потом ее императ. величеством апробовано и подписанием указа подтверждено было. И потому канцлер как из предыдущего, так и из сего последнего заключить основательную причину имеет, что неприятели его вице-канцлера на него преогорчили и с ним ссорили, потому что канцлер в делах ее императ. величества с покойным князем Черкасским и тайным

советником Бреверном никогда таких споров не имели, и дабы от таких споров и прекословий и невинного преогорчения избавленным быть, то канцлер всеглубочайше просит его от такого печального в пятьдесят четвертом году своей старости жития защитить и освободить».

Канцлер был защищен и освобожден.

В конце года Дальон с отчаянием писал Даржансону о чрезвычайном усилении Бестужева: «В обхождении моем с графом Воронцовым я в точности последую вашим намерениям. Я с великим старанием его приласкаю; внушаю ему опасения для будущего как относительно императрицы, так относительно его лично; я побуждаю его к принятию сильных предосторожностей; я заставляю действовать в нем самолюбие. Если что можно сделать, то помощи надобно ожидать от времени. Вице-канцлер находит на пути своем такие препятствия, которые преодолеть очень трудно. Бестужев в последнее время такое дело сделал, которое ему упрочивает милость и доверенность и разрушает планы графа Воронцова: он женил своего единственного сына на племяннице графа Разумовского. Очень прискорбно для меня и вредно для королевской службы, что препятствия день ото дня умножаются, так что я теперь не усматриваю, что нам больше делать при этом дворе, как только продолжать борьбу с господствующею партией, пользоваться обстоятельствами и всеми способами беспокоивать Россию».

Воронцов, видя холодность со стороны императрицы, в декабре решился написать ей: «Всенижайше у вашего импер. величества позволения испрашиваю, как вашему верному рабу донести бедное и мучительное состояние моего сердца, которое от самого приезда моего денно и ночно столько страждет и печалится, видя дражайшую милость вашего и. в-ства к себе отменну. Какую ж я от того скорбь и печаль терплю, о том всевидящему богу известно, а мне здесь никак писать не можно. Я должен думать, что тонкая и хитрая злость только умела не приметно вкрасться и так бессовестно повредить меня у вашего и. в-ства и такими красками написать, что я ежели уже неверным вовсе, то хотя по малой мере сумиительным пред глаза вашего и. в-ства представлен нахожусь. Бог свидетель сердца моего, сколько много я сверх моей всеподданнической должности ваше и. в-ство люблю и за вас живот мой во всяком случае отдать хочу: того ради не знаю, за что б мне лишиться дражайшей вашей милости и прежней поверенности? О партикулярной же чьей верности и услуге к высочайшей вашей персоне я готов со всяким счастьем, кто б он таков ни был, ежели б похотел лучшею ревностию и доброжелательством к вашему и. в-ству персонально и к интересам вашим радетьнее быть, нежели я, с которым намерением и до конца жизни моей пребуду».

Это письмо служило лучшим доказательством торжества Бестужева, но торжествующий канцлер находился в затруднительном положении: он был небогат, а место, им занимаемое, требовало жизни на широкую ногу. Он жаловался, что не может принимать и угощать иностранных министров в своем бедном и тесном доме; императрица подарила ему большой дом, но его нужно было отделать, а средств не было. Канцлер обратился к английскому посланнику лорду Гиндфорду; прежде деланы были ему предложения от лондонского двора насчет подарков, но он не принимал; теперь, имея крайнюю нужду в деньгах, разорившись на отстройку великолепного дома, просит взаймы 10000 фунтов без

процентов под залог дома. Гиндфорд отвечал, что король не может исполнить этой просьбы по причине убыточной войны, так что министры и послы королевские около двух лет не получают жалованья, но Бестужев настаивал, чтоб Гиндфорд отписал об этом своему двору. Статс-секретарь по иностранным делам Гаррингтон справился, что происходило во время посольства Вейча, относительно подарков Бестужеву и нашел, что Вейч никаких денег Бестужеву не давал, хотя имел на то полномочие. Гиндфорд предложил канцлеру 5000 фунтов в виде подарка, но тот подарка не принимал, продолжал просить денег взаймы, говоря, что желает навсегда сохранить руки и совесть свою чистыми, в принятии же денег взаймы без процентов может оправдать себя, потому что в России это случается каждый день. Наконец английский консул Вульф дал ему взаймы 50000 рублей под заклад дома. Так как тогда требовался особый свидетель на каждую тысячу рублей, то Бестужев собрал в свидетели 50 человек из своих неприятелей, чтоб отвратить подозрение, будто деньги ему подарены, показать, что он очень беден, и побудить императрицу заплатить за него долг.

4 января при докладе канцлер имел удовольствие услышать от императрицы, что надобно постараться без замедления заключить союзы с венским и датским дворами. Со стороны венского двора нельзя было ожидать медленности.

От 15 числа февраля Ланчинский доносил из Вены, что граф Улефельд сказал ему: «Правда, прежняя система переменилась, но для будущего времени на всякий случай надобно обоим дворам принимать меры». И скоро потом Улефельд объявил, что желается союз 1726 года перелить в другую форму к общему благу обоих дворов и государств. Это желание усиливалось особенно сближением Саксонии с Францией, заключением между ними договора, по которому Франция должна была платить субсидии Саксонии. Особенно взволновало Вену известие о браке дофина на саксонской принцессе Марии. «В публике бесконечно о том резонируется, – писал Ланчинский 8 ноября, – что супружество это как немецкой империи вообще, так и здешнему дому в особенности фатально: Франция до сих пор распоряжалась в империи по произволу посредством Пруссии и отчасти Саксонии, а теперь и подавно будет предписывать законы. Король неаполитанский уже имеет в супруестве старшую дочь польского короля, а теперь уже другая замашка Бурбонского дома на австрийское наследство. Теперь надобно смотреть, как саксонский двор употребит свои полки, а французские субсидии, без сомнения, ему удвоятся. Правда, в этом супруестве два благоприятных обстоятельства: прусский двор по своей недружбе к саксонскому не будет так расположен к Франции; потом это супружество произведет досаду в Испании, которая прочила за дофина вторую свою принцессу, но все это – слабое утешение: найдет Франция способы все согласить, всех удовлетворить».

В России были согласны на возобновление союзного договора 1726 года с некоторыми изменениями: так, в проекте выключено было обязательство подать помощь Австрии в нынешней ее войне с Францией, и когда уполномоченный Марии Терезии барон Бретлак жаловался на это ограничение договора, то канцлер отвечал, что такая помощь была бы для России в очевидную тягость без всякой взаимности. Бретлак объявил, что он имеет два полномочия для заключения союза: одно от императрицы-королевы, а другое от супруга ее как императора германского; кроме того, двор его желает вместе с русским пригласить к союзу короля польского и республику, также короля английского в качестве курфюрста

ганноверского; последний самым тайным образом велел внушить венскому двору, что как скоро будет заключен союз между императрицами русскою и римскою, то он приступает к нему с обязательством выставить 18000 войска, и если король прусский нападет на Россию или Австрию, то он обещает не только все свои силы, но и всю лежащую в Ганновере казну употребить на усмирение этого опасного соседа. Бретлак уведомил, что имеет известие, будто прусский король старался заключить четверной союз с Франциею, Швециею и Даниею, но будто от последней державы еще мало к нему склонности оказывается. От Швеции же Фридрих II домогается уступки остальной Померании, чтоб сделать Пруссию морскою державою, и обещает за это не только большую сумму денег, но и 9000 войска в полное распоряжение Швеции.

Бретлак сообщил также копию письма Бонневаля к прусскому министру Подевилльсу от имени великого визиря. В письме говорилось об общих интересах Турции и Пруссии, говорилось, что Порта безмерно уважает заявления дружбы, полученные от берлинского двора, что она с честью и удовольствием примет прусского министра, в каком бы характере он ни явился, если его прусское величество имеет еще пространнейшие мысли, то султан и визирь с радостью сделают все, что будет служить к удовольствию его прусского величества, к безопасности и благополучию обеих империй; все будет сделано по инструкциям того министра, который приедет из Пруссии с публичным ли характером или для большого секрета и без характера, как простой путешественник. На это письмо Бестужев написал замечания: «В чем общий прусский и турецкий интерес иначе состоять может, как в обессилении российского и венгерского дворов? Такие королем прусским Оттоманской Порте учиненные авансы о заключении с ним тесного союза нисколько с поданными Мардефельдом здесь письменными декларациями о неимении будто никаких с турецким двором корреспонденций не сходятся, но паче усматривается, что чинимыми им повсюду и при самой Оттоманской Порте происками об усилении себя союзами и партиями он ничего иного в виде не имеет, как чрез долго или коротко всемерно что-либо против России предпринять и с сей стороны себя безопасным учинить, как и подлинно сущий его интерес в том состоит, но дабы взаимно для будущей безопасности своей, колико возможно, надежные меры принять, то необходимо потребно было, видится, совет собрать для рассуждения в оном о том, каким образом государственные доходы прибавить, а излишние издержки убавить, дабы в состоянии быть еще 50000 человек перед прежним более войска содержать, которые кроме нынешних опасных обстоятельств по обширности здешней империи всегда потребны».

Бретлак доставил канцлеру перехваченное австрийцами письмо маркиза Даржансона к французскому министру в Берлине Валори. В письме говорилось, что прусский король главное препятствие своим замыслам встречает в России, которая мешает ему и в Швеции, и в Польше, и потому надобно принять сильные меры для воспрепятствования петербургскому двору держать в своей зависимости такие значительные государства, как Швеция и Польша. Мы, писал Даржансон, имеем надежду при Оттоманской Порте найти способы занять царицу с этой стороны и со стороны Персии. По-видимому, мир между Турциею и Персиею скоро будет заключен, и было бы естественно соединиться им против той державы, которая становится им все опаснее, особенно если они дадут ей время

еще усилиться союзами с другими державами. С этой целью в Константинополе сделаны проекты для завязания сношений и заключения союза между Турциею и Пруссиею. Ищите всех способов для занятия и тревожения царицы. Король для достижения этой цели не упустил ничего в согласном действии с королем прусским. Последний государь имеет все нужные для этого политические и военные качества. Мы сильно были встревожены известием о его болезни; нам нужно, чтоб он жил и здравствовал, он один своими великими качествами может обеспечить вольность империи, равновесие на севере и во всей Европе.

Все эти сообщения, разумеется, могли содействовать только ускорению переговоров о союзе. 22 мая договор был подписан императрицею. Он состоял в следующих условиях: в случае нападения на одну из договаривающихся сторон другая высылает на помощь через три месяца по востребовании 30000 войска, 20000 пехоты и 10000 конницы, исключая нападения на Россию со стороны Персии, а на Австрию – со стороны Италии, и во всяком случае Россия не помогает Австрии в войне ее с Испаниею, а только держит наготове 30000 войска, равно как и Австрия в случае нападения на Россию с персидской стороны. Помощь не подается, если обе державы в одно время подвергнутся нападению. Ни мир, ни перемирие не заключаются без взаимного согласия. Король и республика польские приглашаются к союзу, равно как и другие государи, особенно король английский как курфюрст Ганноверский. Договор заключается на 25 лет. В случае нападения турок на одну из договаривающихся сторон другая немедленно объявляет войну Порте и вступает с войском в ее владения. Австрия гарантирует герцогу Голштинскому, великому князю Петру Федоровичу, все его владения в Германии. Настоящая война Австрии с Франциею из договора исключается, но если б по заключении мира Франция снова объявила войну Австрии, то Россия обязана выслать на помощь Австрии 15000 войска или дать полмиллиона денег; такое же обязательство имеет Австрия в случае объявления шведами войны России. На случай нападения со стороны Пруссии обе договаривающиеся стороны держат наготове по 30000 войск в пограничных областях: Австрия в Богемии, Моравии и ближних венгерских уездах, а Россия в Лифляндии и Эстляндии; а когда прусское нападение действительно последует, то обе державы в самоскорейшем времени выставляют по 60000 войск, до тех пор пока уступленные Пруссии часть Силезии и Глац будут возвращены Австрии, которая в благодарность обязывается в один год выплатить России два миллиона рейнских гульденов.

Новая союзница, как мы видели, сильно беспокоилась насчет Саксонии. После заключения Дрезденского мира Мих. П. Бестужев счел необходимым обратиться к графу Брюлю с вопросом: что намерен теперь делать саксонский кабинет? Брюль отвечал, что после разорения их земель, армии, купечества, мануфактур они принуждены были заключить мир с прусским королем и теперь не в состоянии начертать какой-нибудь твердый план своей будущей политики; все дальнейшие меры короля главным образом зависят от союзнических и дружеских советов ее императорского величества, ибо король при нынешнем его деликатном относительно Пруссии положении ничего не предпримет без ведома и сношения с ее величеством. Бестужев доносил своему двору о словах Фридриха II, сказанных в Дрездене саксонским вельможам: «Я знаю, что вы надеялись на русскую помощь, но вы сами теперь видели, что помощь эта скоро подана быть не

может, а если б Россия мне действительно сделала диверсию в Пруссии, то не думайте, чтоб я, испугавшись, покинул мои операции здесь: напротив, разоривши до конца всю вашу землю, я принудил бы вас к миру и привел бы в такое состояние, что вы потеряли бы всякую способность вредить мне. Я внутреннюю силу и слабость России знаю очень хорошо, как свои пять пальцев; у ней людей довольно, да денег нет, почему сильную помощь союзникам своим дать не может, и так как я всегда должен опасаться этой державы, то и Саксонии в отношении к ней надобно действовать заодно со мною, особенно если ваш государь хочет, чтоб будущий польский сейм состоялся». По поводу этих слов Бестужев писал: «Вследствие побед прусского короля влияние и кредит его в Польше чрезвычайно умножаются, и потому вероятно, что будущий сейм будет немало от него зависеть. Имея такую сильную армию, он долго покоен не останется, но либо в империи, либо на севере вдруг что-нибудь предпримет, также и Швеции не оставит без внимания».

23 января Бестужев по приказанию от своего двора внушал королю Августу, что императрица крайне соболезнует о приключившемся несчастьи с Саксониею и принимает в нем истинно дружеское участие. Как усердно она старалась исполнить свои союзнические обязанности, король может видеть из того, что как скоро прусский манифест против Саксонии был издан, то русские полки двинулись в Курляндию, но позднее время года не позволило им прямо идти в Саксонию. И вперед императрица будет свято исполнять свои обязанности. Так как быстрые успехи прусского короля над саксонскими и австрийскими войсками ясно показывают, что в советах и принимаемых против него решениях или весьма плохой секрет был содержан, или, может быть, при здешнем дворе находятся некоторые подозрительные особы, которые о всем сообщали в Пруссии и таким образом обращали в ничто все принятые меры, то императрица по союзнической дружбе не могла не предостеречь короля в этом отношении. Король отвечал благодарностью за участие и признался, что действительно прусский король обо всем знал заранее, чему преимущественно способствовал находящийся при саксонском дворе шведский министр, давая известия о каждом движении саксонских войск; а в австрийской армии два человека находятся в подозрении. Саксонские министры передавали также Бестужеву, что в Потсдаме ежедневно происходят конференции с шведским министром, которого особенно там ласкают. Происходящее теперь усиление прусской армии не оставляет сомнения, что Фридрих II, заключив союз с Швециею, хочет что-нибудь предпринять, тем более что со стороны обессиленных Австрии и Саксонии не ждет себе помехи. В величайшем секрете давали знать Бестужеву, что Фридрих II имеет в виду Торн, Эльбинг и Данциг; кроме того, велел двинуться корпусу войск к курляндским границам, во-первых, для того чтобы наблюдать за движениями русского войска, а главное, для того, что желает возвести на курляндский престол принца Брауншвейгского Фердинанда. Бестужев, сообщая эти известия, писал, что рано или поздно все это сбудется, потому что прусский король, видя, что его усиление несовместимо с безопасностью России (и Петр Великий имел твердым правилом не допускать до усиления Пруссии и Швеции), должен нападением на Данциг и польскую Пруссию умять опасные ему силы России, причем получить помощь от своей сестры, от французских интриг и совершенно преданного ему шведского министерства, если Россия не поспежит расстроить его планов в Швеции.

Саксонский двор, жалуясь, что невыгодный мир заключен им из-под ножа, и указывая на разорение страны, твердил, что не может сам предпринять ничего, а будет смотреть на Россию; но будет ли подобно своему королю смотреть на Россию Польша – вот был самый важный вопрос для России. Приближался польский сейм, а Бестужев писал в Петербург, что по обыкновению надобно выслать к сейму деньги, меха и китайские камки для подкупа поляков. О расположении польских вельмож Бестужев отказывался дать верные известия из Дрездена: «По известному сего народа непостоянству и сребролюбию кто более денег даст, того партию и держат, может быть, те, которые на прошлом сейме были русскими приверженцами, теперь, будучи подкуплены прусским королем, держат его сторону». Когда Бестужев обратился к графу Брюлю с вопросом, на кого из польских вельмож надежнее положиться в общих интересах, тот отвечал: «Так как теперь многие из них находятся в прусской партии, то почти ни на кого с совершенною благонадежностью положиться нельзя; впрочем, постояннее, честнее и патриотичнее всех воевода русский князь Чарторыйский: с ним можно откровенно поступать; но от великого гетмана коронного Потоцкого и всей его фамилии, также от воеводы сендомирского графа Тарло надобно всячески остерегаться». Бестужев также доносил своему двору о французском эмиссаре Кастера, который определился в услужение к сендомирскому воеводе Тарло, ездил во Францию и теперь через Берлин, где пробыл несколько времени, возвратился в Польшу.

По предписанию из Петербурга Бестужев внушал королю, чтоб поспешил отъездом своим в Польшу, ибо поляки ропщут на долговременное его отсутствие. Король отвечал: «Мне известно, как меня поляки бранят, и вы сами знаете, как они прошлого года на сейме ругательски поступали, и хотя я целую ночь, сидя на троне, уговаривал их и милости обещал, но ничего из этого не вышло. Поляки сами так мало о своих собственных интересах пекутся и междоусобные их ссоры до такой степени не позволяют ничего полезного сделать, что на этот непостоянный, легкомысленный и корыстолюбивый народ никак положиться нельзя». То же повторяли и министры.

Но кроме поляков Брюль жаловался на венский двор. Из Вены посылали в Петербург известия, что Саксония заключает с Франциею субсидный договор. Бестужев требовал объяснения, Брюль постоянно отпирался и говорил: «Мы здесь с великим прискорбием видим, что императрица подозревает наш двор и верит лживым против него внушениям. Венский двор, забыв все наши благодеяния, забыв, что мы спасли Богемию, жертвуя собою, возбуждает подозрения между вами и нами в противности собственным интересам. Он злится за то, что здешний двор слепо по его воле и прихотям не поступает. Для доказательства того, что мы не вступали ни в какие обязательства ни с какою державою, король готов сейчас же приступить к союзу, заключенному между Россиею и Австриею, как скоро вы его пригласите к тому, хотя мы имеем известие, что такое приступление наше к договору королю прусскому будет чувствительно и он будет стараться привлечь наш двор к своим обязательствам; но мы его угроз не боимся и пребудем верно при своих обязательствах с Россиею. Положим, что мы приняли французские субсидии, на что имели право, потому что морские державы отвергли нас почти с презрением; но в интересах ли венского двора поступать с нами так повелительно и грозно, отлучать от дружбы с вами, приводить в подозрение? Напротив, ему

надобно было бы стараться утверждать доброе согласие и отводить нас от Франции ласкою».

Бестужев по этому случаю писал брату, канцлеру, что, по его мнению, не следует верить внушениям венского двора и оскорблять саксонский: «Вы, дражайший братец, мои сентименты знаете, что мне все дворы индифферентны, но едино смотрю и сколько смышлю высочайшей славы нашей всемилостивейшей государыни и благополучия и авантажу отечества нашего». На это дражайший братец отвечал ему следующее: «Я с немалым удивлением усматриваю, что вы неотменно *дюпом* (обманутым) господина Бриля быть продолжаете; но не думайте вы, чтобы он меня поныне *дюпировал*, или бы впредь в том преду спеть какую надежду иметь мог. Не нагло ли и не бессовестно ли есть, что граф Бриль, а по инструкции его и все прочие при иностранных дворах саксонские министры явно отрицаются, будто ни малейшего чего тайного с Франциею не постановлено, но вы из следствия явно и осязательно усмотрите, что ныне Брилево коварство, о коем мы здесь не по внушениям венского двора, как вы то неосновательно думаете, но по прямым и надежным каналам с самого начала ведали, наружу вышло. Вы можете уверены быть, что мы здесь прямо о первом начале трактования саксонским министром Лосом в Париже субсидиального и неутрального трактата да и о том уведомяны были, что король французский прусского авертировал (уведомил), чтоб он ни малейшего омбража (подозрения) от трактования с саксонским двором не имел и для того его не токмо о прямой силе и содержании оногo, но и об имеющих политических причинах уведомил, а именно что сущий вид к тому распространяется, дабы курфюрста Саксонского, как с венским, так и с российским императорскими дворами таким тайным соглашением в несогласие приведя, его дружбы и союза короля прусского поневоле искать заставить, и как по поводу того король прусский пребывающего при дворе своем саксонского, министра Бюлау о часто реченном тайном с Франциею соглашении сондировал (допрашивал), то он по имевшему указу и его величеству прусскому в том на партикулярной аудиенции не признался.

Такой поступок, которым саксонский двор французского лживцем учинить хотел, уповательно его величество французское принудил здешнему своему министру Дальону повелеть здесь объявить, что действительно с Франциею (т.е. у Франции) с Саксониею субсидный трактат настоит, еже Дальон в последнюю со мною и вице-канцлером конференцию и учинил, но я для неподания французскому двору ни малейшего вида, что мы с саксонским по причине того в каком-либо недоразумении находимся, ему, не останавливаясь, ответствовал, что саксонский двор с нашего ведома и согласия на заключение субсидного с Франциею трактата в рассуждении плохих своих обстоятельств поступил и что ее имп. величеству не неприятно было б, если б его величество король французский дачу субсидий, хотя б еще толиким же числом, усугубил. Рассудите из всего вышеописанного, не имеем ли мы достаточную причину на саксонский двор по причине такой между союзниками необыкновенной и непозволительной скрытности негодовать и не основательно ли ее в-ство римская императрица на оный недовольною есть, толь наипаче, что такое тайное заключение субсидного и неутрального трактата с явным ее неприятелем учинено и по натуральному следствию того перепущение войск морским державам под всякими неосновательными и ложными претекстами не воспоследовало. Кто Саксонии в

случае нужды, и когда б король прусский, взяв в претекст непризнание саксонским двором тайно заключенного с Франциею обязательства войну объявить и давно в виду имевшую Лузацию отнять похотел, более и существительнее, кроме ее импер. в-ства всероссийской и императрицы римской помогать, и в случае преставления ныне владеющего короля польского курсаксонскому дому действительнейшие услуги показать мог бы? И потому заслуживают ли сии две саксонского двора дружеские державы такого с стороны оного к ним поведения?»

В сентябре сцена действия перенеслась из Дрездена в Варшаву, и польские дела стали на первом плане. Бестужев извещал, что виделся с Понятовским, воеводою мазовецким, князем Чарторыйским, воеводою русским, с братом его подканцлером, с Залуским, епископом краковским, и Малаховским, подканцлером, и всех их нашел в добром расположении к России, все говорили, что сохранение их отечества зависит от защиты русской императрицы и собранная в Лифляндии русская армия. удерживает прусского короля от нападения на них, но при этом говорили, что по поводу Курляндии будут большие крики на сейме. Бестужев писал, что французский посол старается восстановить кредит своего двора, потерянный при последнем королевском избрании, и составить партию для принца Конти в случае смерти королевской, а саксонский двор ласкает его в надежде брака дофина на саксонской принцессе Иозефине. Прусский посол хлопочет, чтоб Польша вступила в союз с его королем, а не с Россиею. Коронный гетман Потоцкий и воевода сендомирский Тарло в случае разорвания сейма думают поднять конфедерацию и посредством нее достигнуть умножения войска. Бестужев говорил об этом с воеводою русским князем Чарторыйским, самым постоянным и разумным из всех поляков, по его отзыву. Чарторыйский сказал, что слух не без основания, но он всеми силами будет стараться до этого не допустить, ибо такое дело приведет республику к крайнему разорению и гибели. Граф Брюль объявил Бестужеву, что мало надежды на успех сейма. О гетмане польном Браницком, гетмане литовском Радзивиле и товарище его Масальском Бестужев писал, что они показывают себя доброжелательными к России и не притворяются, особенно Радзивил, да и вся Литва доброжелательна к России; но другого духа гетман великий коронный Потоцкий со своею фамилиею, также Сапега, Яблоновские и Тарло, которые все склонны к Франции и Пруссии. Тарло прямо сказал Бестужеву, что республике не должно ни с кем вступать ни в какие обязательства.

Бестужев писал, что партия Чарторыйских, в которой находятся Понятовский, Радзивил, Браницкий, Масальский, сильнее партии Потоцкого по личному достоинству своих членов и потому ее необходимо еще более прикрепить к России. Князь Радзивил – человек богатый и бескорыстный, и потому его можно привлечь только особенным отличием, дарить соболями, китайскими вещами, но всего лучше подарить ему саблю, осыпанную алмазами. Князь Чарторыйский, воевода русский, богаче всех поляков, но ему хочется Андреевского ордена, о чем он уже два раза напоминал Бестужеву; князь Чарторыйский, вице-канцлер, и Понятовский, воевода мазовецкий, хотя люди небедные, но обременены семейством и потому возьмут пенсии в 5 или 6000 рублей; Браницкого, человека богатого, надобно дарить соболями или какими-нибудь галантерейными вещами. Радзивил рассказал Бестужеву, что приезжал к нему посол французский и

уговаривал не отдаваться России, которая держит войско в Лифляндии только для того, чтобы напасть на Польшу и оторвать от нее Литву. Радзивил отвечал, что у России много земель, подобных Литве; в последнюю революцию вся Польша была в русских руках, и, однако, ничего у нее не взято; мы бы желали, прибавил Радзивил, быть в такой же безопасности и от других соседей, как от России.

11 октября Бестужев писал, что сенаторы в своих речах королю постоянно говорят о Курляндии; примас и некоторые другие заявляли, что если герцог курляндский, будучи русским министром, в чем провинился и заслужил ссылку, то пусть дети его будут отпущены; другие требовали, чтоб Бирон, как польский подданный, был судим в Польше. Относительно сейма Бестужев писал, что на умножение войска нет никакой надежды, ибо хотя все этого желают, но пожертвовать чем-нибудь на содержание войска никто не хочет. Из всего было видно, что прусский король имел немалую партию, особенно в Великой Польше; наверное известно, что сюда прислано 24000 прусских денег, и так как одни боятся, а другие подкуплены, то на сейме против Пруссии ничего не говорится, хотя очень обижены насильственным вербованием поляков в прусское войско. Когда одни жаловались на это частным образом, то приверженцы Пруссии возражали, что прусское войско еще ни разу в Польше не было, а русское уже два раза побывало, и с великим вредом, особенно во время похода к Хотину, когда козаки били и разоряли шляхту и больше всего грабили и ругались над церквями. Бестужев справился у бригадира Ливена, бывшего тогда членом комиссии, назначенной по поводу этих жалоб, и Ливен отвечал, что действительно так было. «Того ради, – писал Бестужев, – я стараюсь оное заглазить и у них из памяти вывести. Хотя мы здесь приятелей имеем, однако ж весьма за потребно нахожу партию нашу здесь умножить, которая бы противной партии баланс держать могла. По моему мнению, лучше, кажется, поляков оставить в тех беспорядках и слабости, в которых они ныне находятся, и в том их содержать и до аукции (умножения) войска не допускать, ибо от оной никогда пользы интересам вашего имп. величества не воспоследует, потому что ежели она состоится, то токмо их в большую гордость, а гетманов в большую силу приведет, и ежели в потребном случае надобно будет впредь российскому войску через здешние земли против кого идти, то в том от них препятствия и затруднения ожидать должно; ежели б паче чаяния какой России дезавантаж (невыгода) случился, то и они, памятозлобствуя бытность наших войск в Польше и прочее, может быть, и сами против нас замыслы иметь будут, и для того весьма потребно их в нынешней конфузии оставить и не токмо до аукции войска не допускать, но и сеймы до состояния не допускать же, чрез что ваше имп. величество всегда свою инфлюенцию (влияние) в здешних делах иметь будете». Но для всего, повторял Бестужев, нужны деньги.

Деньги (10000 рублей) были отправлены, но опоздали. 25 октября Бестужев писал, что до сейма остается одна только неделя и потому не надеется употребить присланные деньги с пользою: перед концом сейма деньги такого действия не имеют, как вначале, да и сейм, по всем вероятностям, не состоится, а хлопотать, чтоб он состоялся, не нужно.

Сейм расползся, то есть истечение законного срока не допустило ни до каких решений. Бестужев не истратил ни копейки из присланных ему денег. Но Бестужева озабочивало другое дело – объявленное супружество дофина на

саксонской принцессе, что грозило тесною связью Франции с Саксониєю. В Польше оставалось одно важное дело – защита православных. 2 декабря Бестужев писал: «Я, сколько по человечеству возможно было, старался исходатайствовать православным церквам и людям удовлетворение в причиненных им обидах и гонениях, представлял об этом самому королю, графу Брюлю, кроме разговоров подал промеморию и наконец добился того, что король велел возобновить гродненскую комиссию и чтоб она начала свои действия еще во время его пребывания в Польше. Коронный канцлер Малаховский приезжал ко мне с проектом, на каком основании должна быть учреждена эта комиссия; я нашел проект неудовлетворительным и составил свой, но Брюль, Малаховский и Чарторыйский (подканцлер литовский) велели сказать мне, что мой проект может вооружить всех католиков на короля и на них, и обещали составить новый проект. Когда этот проект был прислан, то я призвал резидента Голембовского (заменившего в Варшаве посла, когда тот жил в Дрездене), архимандрита Оранского и священника Каховского; рассмотрели проект все вместе и рассудили, что лучше его принять, ибо в нем утверждено, что все дальнейшие гонения и отбирания церковей прекращаются и православные остаются при полном отправлении своей веры, и по крайней мере от него та польза, что если впредь начнутся гонения, то будет к кому обращаться, а без комиссии во время отсутствия короля и министров обращаться было не к кому. Что же касается возвращения четырех епархий, означенных в указе св. прав. Синода, то это дело чрезвычайно трудное, на которое поляки добровольно никогда не согласятся, ибо эти епархии уже 60 или 70 лет как отданы униатам. Жаль, что, когда в последнюю революцию русские войска во всей Польше были, ничего не было сделано в пользу православных, а теперь трудно».

В конце декабря уже из Дрездена Бестужев доносил, что двор поглощен заботами о свадьбе принцессы Иозефины, что до отъезда ее во Францию о серьезных делах говорить нельзя. Французский посол герцог Ришелье старался о сближении Саксонии с Пруссиею, но имел мало успеха.

В сношениях со всеми дворами первое и последнее слово было о Пруссии. В самом Берлине 1746 год начался неприятными объяснениями между Чернышевым и Подевилем, который позволил себе сказать, что императрица не имела права разбирать, на чьей стороне справедливость – на стороне Саксонии или Пруссии, и считать Бреславский договор нарушенным. По приказанию своего двора Чернышев должен был сказать Подевилю, что императрица имела полное право разобрать этот вопрос: она приступила к Бреславскому договору по просьбе самого же прусского короля; оба двора, и прусский и саксонский, находятся в союзе с Россиею, оба требовали по союзному договору помощи, следовательно, императрица должна была решить вопрос, кто прав, чтоб подать помощь правому; но прежде предложены были добрые услуги для примирения Саксонии с Пруссиею, и когда, несмотря на это, прусский король напал на Саксонию, то Россия обязана была помочь последней по смыслу союзного договора, и потому Подевильс вперед должен удерживаться от подобных нареканий, которые могут вести только к обоюдной холодности. Подевильс отвечал, что он все это говорил не министерально, а в простом разговоре, но и теперь скажет, что императрица оказала большее расположение к Саксонии, чем к Пруссии, и не имела полного права считать Бреславский договор нарушенным, ибо хотя она к нему и

приступила, но его не гарантировала. Чернышев отвечал, что имеет приказание императрицы опровергать такие несправедливые и неприличные нарекания на поступки русского двора. Эти слова так рассердили Подевильса, что он, возвыся голос, сказал: «Король мой государь знает, с каким пристрастием относились вы к делу в последнее время, и уже послал указ Мардефельду принести на вас жалобу императрице». Чернышев, также возвыся голос, отвечал: «Эти нарекания на меня имеют столь же мало основания, как и те, о которых шла речь прежде, и можно было бы от них и удержаться, ибо я отдаю отчет в своем поведении одной своей государыне». Разговор этим кончился, но следствием его было то, что когда Чернышев на третий день приехал ко двору вместе с другими министрами, то король даже и не взглянул на него.

Чернышеву после этого трудно было оставаться в Берлине, но в Петербурге давно уже хлопотали о том, чтоб освободиться от Мардефельда. Принцессе цербстской при ее отъезде из России дано было поручение побуждать Фридриха II к отозванию Мардефельда, но принцесса медлила исполнением вдвойне неприятного для нее поручения. 10 января императрица подписала рескрипт Чернышеву, чтоб напомнил принцессе цербстской об отозвании Мардефельда. Наконец из Петербурга пошло прямое требование; Фридрих II отвечал, что отзовет, когда императрица отзовет Чернышева. Чернышев получил указ переехать посланником в Лондон, и, не дожидаясь распоряжений из Берлина, Мардефельду объявили, что не будут сноситься с ним. Когда Бестужев дал прочесть Мардефельду это объявление, тот сказал ему: «Я очень хорошо знаю, что вы один этому причиною; вот почему я не премину воспользоваться первым случаем показать вам свою благодарность и равномерные добрые услуги». Гиндфорду Мардефельд сказал: «Канцлер поступил умно, постаравшись удалить меня до возвращения вице-канцлера, ибо тогда я был бы в состоянии низвергнуть Бестужева».

После этих перемен в Берлине был обвинен в измене и казнен советник Фербер; этот Фербер просился в русскую службу и имел сношения с Витингом, посылавшимся из России в Пруссию для разведываний, а в настоящее время находившимся в Петербурге. Прусский секретарь посольства Варендорф 10 ноября приехал к вице-канцлеру с объявлением, что курьер привез ему цифирные азбуки и копии с двух статей, которые найдены в бумагах казненного Фербера; из этого можно видеть, говорит Варендорф, какие имелись злые намерения поссорить короля с императрицею. Фербер сообщал в Россию подполковнику Витингу о замыслах Фридриха II. Так, 2 июля он писал, что король за столом сказал: «Я не обращаю внимания на русские приготовления и ничего более не желаю, как чтоб императрицыны войска выступили против Пруссии: тогда бы я их, как лисиц, на воздух взбрасывать стал». Потом Фридрих говорил своему любимцу шведскому министру Руденшильду: «Этот Брюммер вел свои дела по-дурацки: сколько раз он мог свергнуть канцлера, а теперь, как осел, голову себе сламывает. Каким образом теперь его дело можно поправить!» Руденшильд отвечал, что теперь это трудно, ибо Шетарди истребил при русском дворе всех благонамеренных, да и главная опора их теперь в особе Брюммера рушилась; бедный Трубецкой один остался и принужден подлаживаться под мнение Бестужева, хотя наружно, тем более что граф Лесток, как слышно, с некоторого времени в государственные дела мешаться не смеет. Впрочем, не надобно

совершенно отчаиваться. Если бы можно было оставить там Мардефельда или же по крайней мере заменить его искусным Каниони, который знает отлично русский язык и все тамошние дела, а между тем в Швеции на сейме надобно стараться о заключении ею союза с Франциею и Пруссиею. «Как ваше величество, так и Швеция, – говорил Руденшильд, – должны радоваться, что правление в России в руках Сената, а у министерства руки связаны, чего прежде не было при кабинете, который давал большую силу самодержавию. Главная цель сенаторов состоит в том, чтоб ни в какие чужие ссоры не вмешиваться, не играть в Европе никакой роли, – одним словом, жить, как жилось до Петра Великого. Эта цель может быть достигнута, потому что императрица не следует примеру своего отца (которого правилом было царствовать с жестокостью и изнурением народа), императрица относительно народа оказывает большую умеренность». Король согласился с его мнением и сказал: «С великим удивлением и удовольствием под рукою я уведомился, что все русские войска вторичный указ получили новые экзерциции оставить и употреблять старые; таким образом, я надеюсь, что через несколько лет русская военная сила дойдет до крайнего варварства, так что я буду побеждать русских своими рекрутами; и так как эта нация, по-видимому, теряет дух, внедренный в нее Петром I, то, быть может, близко время, когда погребется в своей древней тьме и в своих древних границах. Имею причину очень сердиться на генерала Бисмарка, который ввел при русской армии все прусские манеры». Фербер сообщил, что известный полковник Манштейн, оставивший, русскую службу, обедал у Фридриха II, который спросил его, как он думает: один пруссак по меньшей мере уберет четверых или пятерых русских? Манштейн отвечал, что если дело дойдет до драки, то пруссак и с одним русским будет иметь полны руки дела. Король очень рассердился и в утешение свое сказал: «Мне очень хорошо известно, что Россия имеет по крайней мере большой недостаток в достойных офицерах».

Но эти откровенности не улучшили отношений между двумя дворами. Главная дипломатическая борьба между ними была в Стокгольме.

В начале января доверенный человек наследного принца голштинца Гольмер, подозрительный в Петербурге, получил указ от своего герцога великого князя Петра Федоровича в 8 дней выехать из Стокгольма в Киль. Наследный принц был в отчаянии; глотая слезы, он говорил Любрасу, что он здесь между чужими людьми, на которых по их пристрастиям положиться не может; к Гольмеру он привык, в верности его совершенно убежден, может уверить, что Гольмер всегда старался, чтоб все происходило по желанию императрицы. Принц умолял Любраса ходатайствовать у императрицы, чтоб Гольмера оставили еще на несколько времени при нем. Старый король просил о том же; Любрас с своей стороны писал, что Гольмер – человек благонамеренный: сенаторы, приверженные к России, признают его таким; он, по их мнению, противодействует графу Тессину и Нолькену и склоняет принца на русскую сторону. Но Бестужев заметил на реляцию Любраса: «Сие не что иное, как притворство, а ежели Гольмер долее в Швеции оставлен будет, то интересы его импер. высочества в Голштинии весьма от того претерпеть могут и в прежней плохой администрации никто без него отчета дать не в состоянии. Барон Любрас во многих своих прежних реляциях неоднократно доносил, что Гольмер вредительный и для здешних высочайших интересов в Швеции негодный человек

и потому об удалении его оттуда сам представлял; ныне же непонятным образом его вдруг отменившимся и надобным описует». Еще сильнейшему нападению Любрас подвергся со стороны Бестужева, когда в донесении своем выставил в виде просьбы русских приверженцев, чтоб императрица в самых решительных выражениях гарантировала шведский престол наследному принцу и его потомству: «Это вовсе не шведские патриоты просили барона Любраса, это пламенное желание пруссаков и французов. Такой гарантии не было дано и тогда, когда мы заключали союзный договор с Швециею и когда еще была надежда удержать наследного принца в добром расположении к России; для чего же давать такую гарантию теперь, когда, по несчастию, довольно известно, что наследный принц, по наущению своей супруги, предпочитает французскую и прусскую дружбу всем самым доброжелательным советам императрицы? Такая гарантия послужит только к тому, чтоб совершенно связать руки на будущее время».

Между тем прусский посланник в Стокгольме Финкенштейн вел переговоры об оборонительном союзе между Швециею и Пруссиею; Любрас по указам из Петербурга должен был препятствовать заключению этого союза. На его представления король отвечал: «Надобно смотреть, как бы это прусское требование добрым манером менажировать; надеюсь, что дело кончится к удовольствию императрицы; я своим господам рекомендовал потише поступать». В Швеции боялись заключить этот договор без согласия России, а в Петербурге нарочно медлили ответом. Наконец в марте шведский министр в Петербурге Барк прислал извещение, что императрица не одобряет прусский союз. Король и министры были приведены этим известием в сильное смущение. Король стал уверять Любраса, что этим союзом России не будет нанесено никакого предосуждения: он будет заключен самым простым и безвредным образом. Любрас заметил, что, каким бы образом союз ни был заключен, нельзя избежать, чтоб он и Швеции, и России не нанес вреда: если Пруссия хотя малую силу приобретет, то своими происками будет умалять дружбу Швеции с Россиею, а потом возбудит и холодность. «Пока я жив, этого не будет, – отвечал король. – Я от этого прусского союза охотно бы отстал и работаю против него, но не все так думают, как я, интриги идут сильные. Я вас обнадеживаю, что употреблю в этом деле все свои старания». Любрас поблагодарил его, но напомнил, что прежде при сенаторах король ему говаривал, что если Россия и Швеция будут поступать согласно и откровенно, то будут сохранять равновесие на севере и в большей части Европы. Так как это мнение его величества неоспоримо, то для чего он хочет для сохранения этого равновесия призвать еще третью державу, которая до сих пор не только не помогала России и Швеции в получении каких-нибудь выгод, но еще причиняла им большой вред; по великой поспешности, с какою Пруссия без нужды хочет навязать свою дружбу Швеции, видно, что она имеет одно в виду – возбудить недоверие между прежними истинными друзьями. «Вы правду говорите», – сказал король и, давая Любрасу руку, повторил прежние обещания, но прибавил, показывая рукою на комнаты наследной принцессы: «Вы знаете, как здесь ведут дела?» «Как бы другие ни разнились во мнениях, однако мнение вашего величества, серьезно высказанное, всегда будет иметь главную силу», – отвечал Любрас. «Да, да, – заключил речь король, – так бы и следовало быть». Часа через два король опять подошел к Любрасу и начал говорить: «Знаете, что мне пришло в голову: если б заключить с Пруссиею простой дружественный

договор, то это было бы дело очень невинное, а король прусский не мог бы быть очень раздражен, что вы думаете?» – и, сказавши это, подозвал к себе государственного секретаря Нолькена и задал ему тот же вопрос.

«Господа, – сказал он обоим, – я откровенно поступаю; скажите мне прямо, что вы об этом мнении думаете?» Нолькен отвечал, что он не приготовился дать отзыв на такое предложение, но ему кажется, что форма такого трактата была бы нова и король прусский доволен им не будет. «Будет ли король прусский доволен, я не знаю, – сказал Любрас, – но, что такие договора прежде часто заключались, – это дело известное; впрочем, в такой договор могут быть внесены параграфы и выражения, которые могут дать союзу значение оборонительного». Король, глядя на Нолькена, сказал: «Надобно постараться это предупредить; мы об этом еще потолкуем и ее величеству императрице дадим знать». Донося об этом разговоре, Любрас замечает; «Хотя в речах королевских высказывается благонамеренность, однако на них полагаться нельзя, потому что король не в силах противостоять внушениям людей, враждебных России. Партия этих людей ежедневно усиливается, а патриотическая партия становится все слабее, боязливее и оплошнее». Бестужев заметил на этом донесении: «Весьма удивительный и непонятный барона Любраса ответ, что он сам заключение с Пруссией трактата апробует (одобряет) и тем королю повод подает о дозволении на заключение оно у ее импер. в-ства домогаться, а ему многократно отсюда дано знать, что ее имп. в-ство толико от того удалена находится, что и в рассматривание сообщенного графом Барком проекта трактата вступить не повелела».

В самом конце апреля заведовавший иностранными делами граф Тессин объявил Любрасу, что король ввиду опасных европейских обстоятельств считает надежнейшим способом относительно предложенного прусского союза следовать дружественному совету русской императрицы и потому для предупреждения всякого подозрения, которое этот союз мог бы возбудить в других государствах, и особенно в России, приказал остановить дальнейшие переговоры. Король особенно благодарен императрице за добрый совет и просит держать в тайне его решение, чтоб не поссорить его с королем прусским, как он держал в тайне советы императрицы. Сам король говорил Любрасу: «Я императрицу обнадеживаю не только как король, но как честный офицер и чистосердечный человек, что, пока буду жив, не забуду оказанной ею мне и государству дружбы присылкою войска и всегда с нею одного мнения буду; я убежден, что Швеция найдет в этом свое благополучие и те, которые думают иначе, отдадут ответ богу».

Мы видели, что, по соображениям русского канцлера, ко времени сейма Любраса должен был сменить Корф. Корф приехал в Стокгольм во второй половине июля и сейчас же должен был заняться приготовлениями к сейму, т.е. набором голосов в пользу русской партии. Один из самых видных членов этой партии, купец Спрингер, объявил ему, что выборы депутатов из стокгольмских горожан не удались: французская партия взяла верх. Напротив того, он уверен, что между провинциальными депутатами городского и сельского сословия русская партия возьмет перевес, но для окончательного успеха нужны деньги. Французские приверженцы употребляли такую хитрость: купец Пломгрэн всюду показывал золотую, осыпанную бриллиантами табакерку, будто бы полученную от русского двора за услуги, оказанные им Швеции. Это навело ужас на благонамеренных; они не знали, что думать о настоящих намерениях России, ибо

Пломгрэн был одним из главных виновников прошлой войны. Для свержения преданного Франции и Пруссии министерства Спрингер советовал объявить, что Россия вместе с Англиею и Австриею имеет сделать важные для Швеции предложения, но не может начать дела, пока в Швеции существует враждебное ей министерство. «Нельзя описать, – доносил Корф, – какие вымышляются здесь известия: я едва успел выйти из коляски, как уже объявлены были известия из Шонии и из других мест по моей дороге о речах, которые будто бы я держал вследствие моей инструкции и которые касались ни более ни менее как совершенного раздробления и разорения Швеции». На этом донесении Бестужев сделал любопытную заметку о Пломгрэне: «Сей купец Пломгрэн – свойственник графа Лестока и в последнюю с Швециею войну России многие пакости делал». Приверженный к России сенатор Окергельм высказал Корфу очень неутешительное мнение о характере двух партий – французской и русской: он отдавал преимущество первой по ее смелости и энергии. Она уже и теперь держала чрез своих эмиссаров публичные столы в провинциях для приласкания жителей. Причина вялости благонамеренной партии состояла в том, что ее члены уже несколько лет не получали подкрепления от иностранных дворов; так они, имея большинство на прошлом сейме, должны были уступить противникам по скудости денежных средств. Сначала у них было собрано около 133000 рублей на русские деньги и они содержали провинциальных депутатов, но потом, когда все эти деньги вышли, депутаты, не имея чем жить, разъехались и большинство голосов было потеряно. Это произвело такое впечатление, что теперь на будущий сейм благонамеренные люди не хотят ехать, отговариваясь, что денег нет, а на помощь иностранных дворов нельзя надеяться. Кроме того, самые видные члены патриотической партии по оплошности, от страха или по малозначительности своей при дворе не доставляют выгодных мест своим, тогда как приверженцы Франции действуют совершенно иначе; наконец, приверженцы Франции имели ту выгоду, что располагали всеми государственными доходами.

Английский посланник Гюдекенс объявил Корфу, что его правительство разделит с Россиею денежные издержки, необходимые для подкупа депутатов; что так как генерал Любрас дал купцу Спрингеру 10000 купфер-талеров для подкупа в провинциях, то и он, Гюдекенс, выдал тому же купцу такую же сумму; что время снабдить эмиссаров деньгами, чтоб благонамеренные могли явиться на сейм в достаточном количестве; однако не надобно соглашаться на все требования, потому что шведские государственные чины привыкли торговаться, как купцы. Главы благонамеренной партии уже присылали к нему генерала Дюринга с требованием 8000 рублей на подкупы в провинциях; он отвечал, что сумма очень велика, ибо значительнейшие издержки еще впереди, когда чины соберутся в Стокгольме, но Дюринг возразил, что означенная сумма необходима, потому что он уже дал слово, что она будет доставлена, и если он ее не получит, то ни за что не примется. К Корфу с тем же требованием от благонамеренных явился полковник Левен. Корф сказал ему тоже, что сумма очень велика; на это Левен отвечал, что если Россия и Англия хотят достигнуть своих целей, то должны сообща истратить триста тысяч рублей, да еще держать сто тысяч про запас на всякий случай. Наконец вместе с английским посланником сторговались на 9000 платов, которые Корф и Гюдекенс выдали пополам. Сенаторы Окергельм, Цедеркрейц и Левен внушали Корфу, что надобно непременно задарить барона

Унгерн-Штернберга, который легко может быть выбран в сеймовые маршалы и уже непременно в члены секретного комитета, и Бестужев доложил императрице, что Унгерн-Штернберга надобно подарить, только не из тех 20000 рублей, которые назначены на сеймовые подкупы в Швеции. Корфу внушали, что Унгерну надобно подарить 2000 червонных, и Бестужев был согласен на эту сумму. Корф писал, что не надобно ничего жалеть, потому что как скоро злое министерство будет свержено, то Швеция будет в полной зависимости от России. Было бы желательно, чтоб венский, датский и саксонский дворы также снабдили своих министров деньгами.

Для подкупа депутатов в Петербурге назначили 20000 рублей; для расположения к себе целого народа шведского позволено было беспошлинно вывезти из России в Швецию 1000 ластов хлеба. По мнению Бестужева, надобно было позволить шведскому королю вывезть беспошлинно еще 1000 ластов, «еже между патриотами лучшее действие, нежели множество тысяч рублей произвести могло б». С противной стороны действовали теми же средствами; кронпринцесса заложила свои бриллианты в банк за 30000 платов на подкуп голосов в пользу избрания графа Тессина в сеймовые маршалы.

22 августа Корф и английский посланник ездили за город на совещание с вождами патриотов – Окергельмом, Врангелем, графом Белке, графом Бонде, генералом Дюрингом и полковником Левеном. Патриоты запросили с России и Англии 250000 платов (160000 рублей) – сумму, необходимую на содержание столов для благонамеренных депутатов. Английский министр возразил, что этого уже очень много, что уже выдано 83000 купфер-талеров (8333 рубля), чтоб дать возможность благонамеренным депутатам приехать в Стокгольм на сейм для составления большинства голосов; на этой выдаче можно было бы и остановиться до начала сейма; мой двор, продолжал посланник, позволил мне Истратить известную сумму, но она не так велика, как требуется. Патриоты отвечали, что они заранее не могут определить с точностью сумму, какая понадобится для успеха их дела, только напоминают, чтоб с деньгами поступали осторожно, выдавали бы их не всякому, кто выставит свою благонамеренность на продажу, давали бы только тем, кто будет рекомендован ими, главами патриотической партии, и которые для этого должны иметь известный знак. Самим себе они, главы партии, не берут ни копейки, то же сделают и другие шведы, любящие отечество; речь идет только о людях, которые так бедны, что во время сейма по дороговизне жизни не могут сами себя содержать в Стокгольме, и о тех, которых надобно отвлечь от противной партии. Граф Белке сказал при этом: «Патриоты надеются, что Великобритания употребит все усилия поправить то, что было ею испорчено в 1740 году: тогда между русским посланником и английским было условлено, что они оба дадут по 50000 ефимков, но первый сдержал слово, второй нет, что повело к известным печальным последствиям; теперь надобно хлопотать об избавлении шведского народа из рук Франции и ее тиранских сообщников. По ведомостям из провинции, можно надеяться большинства голосов между дворянством, но мало иметь здесь людей – главное – содержать их тотчас по прибытии сюда, чтоб французские приверженцы обещаниями и действительною помощью не перетянули их на свою сторону, а французский посланник ничего не жалеет. Надобно назначить несколько человек, которые будут содержать столы на 6, 8, 12 и даже 15 особ, ставя от четырех до пяти блюд, и наблюдать, чтоб при таких столах пьянства не было,

ибо хуже всего, когда пьяные станут подавать голоса. Тем, которых за такие столы приглашать нельзя, надобно давать еженедельно деньгами. Необходимо, чтоб министры обоих дворов по последней мере имели 50000 фунтов стерлингов наготове». Патриоты клялись, что не введут посланников ни в какие напрасные издержки и себя жалеть не будут, если увидят, что можно действовать, а действовать можно только тогда, когда будет решен вопрос, будут ли готовы оба посланника выдавать деньги через десять дней.

Английский посланник отвечал, что он такой большой суммы теперь при себе не имеет, да, по известиям из Петербурга, и русскому посланнику деньги пришлются не сейчас, а потому он, английский посланник, известит об этом свой двор и будет дожидаться дальнейших приказаний. «Время не терпит, – отвечали патриоты, – и пока он получит эти приказания, большинство голосов на сейме уже обозначится». Генерал Дюринг говорил, что если нет денег, то надобно объявить прямо об этом в провинциях и в то же время действовать смело и наступательно против французской партии; Россия по поводу заключенного ею союза с венским двором должна объявить, что не может иметь с Швециею откровенные сношения, не доверяя настоящему министерству; Англия должна представить с своей стороны жалобы на министерство. Это объявление России произвело бы тем сильнейшее впечатление, что теперь Россия находится в вооруженном положении. Корф отвечал, что императрица и ее союзники употребят все свои средства для успеха доброго дела на сейме и что он немедленно даст знать в Петербург о предъявленном плане, но не должно спешить объявлением в провинциях, что денег нет, надобно отписать к благонамеренным депутатам, чтоб ехали на сейм, а деньги между тем будут присланы. Дюринг и Окергельм возражали, что если приятели в Стокгольм приедут, а денег на их содержание не будет, то придется содержать их тем, кто их вызвал, а лучше оставить их дома, чем увеличивать ими противную партию, к которой по крайней нужде они непременно перейдут. Корф просил, чтоб по крайней мере пропустили один или два почтовых дня, обещая сейчас же отправить курьера в Петербург с представлением положения дел. Патриоты согласились. На этом донесение Бестужев написал для императрицы: «По слабейшему мнению видится необходимо потребным быть в Швецию ежели не тридцать, то по меньшей мере столько же, как недавно, а именно двадцать тысяч рублей к камергеру Корфу как наискорее отправить, и на то незамедлительная всевысочайшая резолюция толь наипаче потребна, ибо ежели прямое время в раздаче достаточной денежной суммы упустится, то воспоследуемый из того вред не явною войною поправлен быть не может. А при пересылке же таких денег к Корфу ему повелено будет свое старание приложить, дабы со стороны английского министра Гюдекенса по меньшей мере равная сумма раздавана, и притом всевозможная экономия наблюдаема была».

Корф сообщил, будто граф Тессин обнадеживал, что, по верным известиям, с прибытием графа Воронцова в Петербург дела получают другой вид, ибо Воронцов будет идти против системы канцлера. На это Бестужев заметил: «Тессин весьма пристрастно и с истинностию несходно разглашает, ибо нынешняя система не канцлерова, но государя Петра Великого, по которой во время нынешнего славного ее и. в-ства державствования совершенно последуется и премудрым ее и. в-ства проницанием к всевысочайшей славе, чести и благополучию Империи ее, а к крайнему преогорчению недоброжелательных России с благополучным успехом

в действо производится, канцлер же только малым орудием есть во исполнении толь премудрых ее величества распоряжений и повелений».

Благонамеренные депутаты уже находились на дороге в Стокгольм; для их содержания английский посланник выдал купцу Спрингеру 3150 рублей на русские деньги и камергеру Песту 420 рублей, что произвело благоприятное впечатление, ибо деньги были выданы от имени английского и русского послов прежде французского. Противная партия старалась поддержать свое значение тем, между прочим, что выставляла своим главою наследного принца, о котором Корф писал: «Сей государь совершенно изволением своей супруги (которая его ни на минуту не оставляет, когда я при нем нахожусь) и графа Тессина как безжизненная, искусственно составленная статуя движется. Французская партия разослала своих забияк по кофейным, питейным и другим домам, где бывают народные сборища, внушать, что Швеция находится в зависимости от России, от которой может освободиться только с помощью Пруссии и Франции. Противная министерству партия, сначала стыдившаяся действовать такими средствами, узнав, что французская партия получила чрез это большой успех, выбрала также семерых говорунов, притом же видных и сильных физически, которые должны были внушать, в каком бедственном состоянии находится государство сравнительно с прежним временем, когда управляло благонамеренное министерство. Говоруны министерской, т.е. французской, партии провозглашали, что цель „колпаков“ – изгнать кронпринца и наследником престола объявить русского великого князя Петра, что для этого в России сделаны уже все нужные приготовления. Внушения эти производили сильное впечатление в Стокгольме и провинциях. Так как опасались, что Финляндия особенно будет противиться разрыву с Россией, то при дворе наследного принца определили, что каждый депутат из Финляндии, какого бы звания ни был, может без доклада являться к наследному принцу и жене его. С Корфом оба королевские высочества обращались чрезвычайно холодно и невежливо. Корф подал самому королю промеморию, опровергавшую нелепые слухи о намерениях России, и Бестужев в своей заметке представил императрице, что Корф поступил „яко весьма искусный министр, подав промеморию прямо королю, а не министерству, которое нарочно замедлило бы вручением ее королю, а между тем противная францужско-прусская партия своими злостными внушениями толико предупела бы, чтобы оное более и поправить не можно было, приписывая молчание его (Корфа) о том подлинности оных разглашений“. Корф велел перевести промеморию на шведский язык и во множестве экземпляров распространил между депутатами, которые от себя распространили ее по провинциям.

От 12 сентября Корф писал, что до сих пор вместе с Гюдекенсом он издержал около 20000 рублей частью на переезд надежных людей из провинции, частью на закупку полномочий, частью на приобретение сеймовых голосов и учреждение столов. Корф сочинил особую записку, в которой указывал на вред для Швеции от прусских замыслов на Померанию. «Дела, по всему видно, изрядно происходить будут, – писал Корф в Петербург, – если б только деньги были; если в них недостатка не будет, то министерство непременно спрыгнет». Король тайно прислал просить Корфа, чтоб ради бога не жалел денег для приобретения большинства голосов при избрании сеймового маршала, от чего зависит успех дела на сейме; король обещал в случае нужды дать Корфу тайком займы из казны

три тысячи червонных. В приемной Корфа с утра до вечера толпились люди, из которых каждый рассказывал, что он или привез, или выписал из провинции своих друзей и содержит на свой счет, не зная, каким образом их пропитать и не дать перейти к французской партии. «Но я бы обнищал, – писал Корф, – если б каждому давал то, что он требует». Поэтому он отправлял их к сенатору Окергельму для проверки. Окергельм с приятелями дал ему знать, что для образования большинства голосов в дворянском сословии при избрании маршала надобно истратить 12000 рублей, да сверх того 2666 рублей надобно держать про запас для тех, которые ежедневно приезжают из провинции и которых противная партия ловит; для мещанского и крестьянского чинов нужно 6000 рублей, для духовного – 3333 рубля. Корф поехал к английскому посланнику, но тот отвечал, что больше 6666 рублей дать не может. Корф принужден был занять денег, потому что вожди патриотической партии слали к нему гонца за гонцом, торопя высылкой потребованной суммы. Патриоты требовали от Корфа, чтобы он непременно подкупил гофмаршала Бромана, человека очень сильного; Броман просил 25000 платов, Корф давал 15000.

15 сентября открылся сейм, и в тот же день Корф получил из Петербурга 10000 червонных, а 22 числа сеймовым маршалом был избран кандидат патриотов Унгерн-Штернберг, которому за прежние его услуги России уже отправлены были из Петербурга 2000 червонных. Унгерн-Штернберг перебил маршальство у Тессина только большинством 18 голосов, но Корф утешал свой двор тем, что противная партия понесла поражение, имея все выгоды на своей стороне: много лет имела на своей стороне большинство; имела в своих руках все денежные доходы; от нее зависели все чины и милости; кронпринц с женою явно стояли за нее, обещаниями и угрозами привлекали людей на сторону графа Тессина; они уговаривали и короля объявить себя за Тессина, но тот отвечал: «Я никогда не вмешивался в сеймовые дела незаконным образом и этому приписываю свое благополучие; советую и вам последовать моему примеру». Одержана была одна победа; но главное дело было впереди – избрание членов в секретный комитет; здесь победа была сомнительна именно потому, что при избрании маршала большинство оказалось таким ничтожным. Борьба партии усилилась, патриоты потребовали от Корфа еще 13000 рублей, и Корф дал, опять занявши. Французская партия кроме раздачи денег употребляла и другие средства, разглашала, что чувства императрицы русской и ее министерства относительно Швеции совершенно различны, что в указах, которые присылаются Бестужевым Корфу, Елисавета не имеет никакого участия. Употреблялись средства и с русской стороны. Корф подал министерству промеморию, в которой говорилось, что императрица приказала перевести из Петербурга в Ревель четыре полка инфантерии, и если галеры, на которых перевозилось это войско, будут прибиты ветром к шведским берегам, то она надеется, что войско ее будет здесь принято как союзное по Абовскому договору. Граф Тессин не мог скрыть своего ужаса при получении этой промемории, и хотя главы французской партии и поспешили разгласить, что Корф выдумал это нарочно для своих целей, однако промемория произвела сильное впечатление: члены русской партии во множестве являлись к Корфу и с радостью давали знать, как бы они желали, чтоб число 26 (число галер, на которых отправлялись русские войска) переменялось на 86, ибо это единственное средство, каким императрица может низвергнуть враждебное

министерство, и как бы они желали, чтоб господь бог повелел ветрам пригнать русские галеры к шведским берегам.

Для ободрения патриотов Корф, по его словам, не пропускал никакого случая атаковать противную партию в ее ретраншементах; из дворца наследника престола ему дали знать, что там составлен план тотчас по образовании секретного комитета арестовать самых деятельных членов русской партии, причем Тессин говорил: «Я знаю колпаков, их легко можно сдержать: стоит только с одним из них поступить строго, и они все сейчас отстанут от русского министра, который не будет тогда знать, куда обратиться». Корф спешил предупредить Тессина и подал королю две промемории. В одной говорилось, что известный купец Пломгрэн в обществе горожан осмелился говорить следующее: «Те хорошо делают, которые к русскому послу не ходят, ибо те, которые его посещают, носы свои обожгут и пальцы у них будут отбиты; уже взяты на замечание те, которые часто у него бывают и его именем держат столы». Корф, выставляя оскорбление, нанесенное его двору старанием посредством угроз отогнать посетителей от его дома, просил немедленно арестовать Пломгрэна и наистрожайше допросить: кто ему сказал, что Корф – министр подозрительный, что все, которые ходят к нему в дом, будут наказаны, что он устроил трактиры, где его именем держатся столы? В другой промемории Корф жаловался на генерала Вреде, который в самом дворце говорил, что Корф ведет себя неприлично и на крыльце дворянского дома в день выборов велел раздать 1400 червонных. Корф требовал, чтобы против Вреде начато было судебное следствие. Враждебная партия старалась всеми средствами выпутать Вреде из этого дела, требовала, чтоб все дворянство вступилось за него, но ландмаршал Унгерн-Штернберг с твердостью отвечал, что это дело вовсе не касается всего дворянства. Некоторые обратились к королю с просьбою заступиться за Вреде, но получили ответ: «Оставьте меня в покое; зачем вы хотите меня прельстить? Когда Вреде зажать свой рот не может, то пусть и отвечает за следствие». Корф имел объяснение и с кронпринцем. Как верный и ревностный слуга Голштинского дома, он просил принца не слушать тех, которые внушают ему недоверие к императрице, чтобы отделить его интерес от русского интереса. Принц отвечал, что он постоянно старается оказать себя достойным милости императрицы и не знает из окружающих никого, кто бы этому противодействовал, и вверяет себя только таким, которых хорошо знает. Но он надеется также, что императрица по милости своей не будет требовать, чтоб Швеция связала себе руки и не могла вступать в союзы с другими державами, когда бы нашла эти союзы для себя выгодными. «Швеция теперь мое отечество, и я должен иметь в виду одни шведские интересы, в чем и присягу дал». «Государи, – отвечал Корф, – не всегда имеют возможность узнать вполне людей, окружающих их, ибо эти люди показывают им только свою хорошую сторону. Но ваше высочество имеете надежный способ получить точные сведения о людях, стоит только вам просмотреть акты вашего избрания; в этом верном зеркале вы в одну минуту увидите своих друзей и врагов. Императрица вовсе не старается связывать руки вольному государству в чем бы то ни было, и только злонамеренные люди хотят возбудить народ разглашениями о русской зависимости; государство находится в зависимости только от своих собственных интересов и согласно с ними определяет, в какие союзы оно должно вступить; впрочем, само собою разумеется, что если Швеция вступит в такие союзы, которые будут в противоречии с союзом,

существующим между ею и Россиею, то должна будет произойти перемена и в мерах ее импер. величества. Императрица с удовольствием услышит заявление вашего высочества, что вы считаете Швецию своим отечеством и по присяге должны стараться о ее благе. Это заявление утвердит императрицу в приятной надежде, что ваше высочество будете допускать к себе только истинных патриотов». «Я, – сказал принц, – ни за французскую, ни за английскую партию не стою, а только за прямых шведов, и что хорошего сделала та партия, чтоб мне объявлять себя в ее пользу?» «Я, – отвечал Корф, – говорю не о какой-либо партии, но о настоящих патриотах; если же ваше высочество заставляете меня сказать, что хорошего сделала эта партия, то позвольте припомнить, что после бога и моей государыни эта партия наиболее способствовала доставлению престола вашему высочеству; она помешала приступлению к франкфуртскому союзу и недавно еще заключению другого союза, который вовлек бы Швецию в очень затруднительное положение, готова и теперь служить вашему высочеству, если вы к ней приклонитесь, а без ее доброго совета и помощи надобно опасаться, чтоб неверные слуги не завели вас на скользкую дорогу». Принц пожал плечами и сказал: «Тогда и увижу, как мне сойти с этой скользкой дороги». В тот же день на вечере у наследника подошел к Корфу король и жаловался, что в комнатах жарко, а потом сказал ему на ухо: «Не жарко ли и вам? Я слышал, что вы сегодня были в сильном огне; если императрица этих людей исправить не может, то пусть они остаются неисправимыми на собственную голову». Когда Корф пересказал свой разговор с принцем сенатору Окергельму, тот обнял его, поблагодарил за услугу и прибавил: «Как было бы хорошо, если б вы тотчас по отъезде честного и благонамеренного генерала Кейта были здесь: тогда принц не попал бы в те руки, в которых теперь, к нашему несчастью, находится; отпусти, боже, грех тому, кто вначале мог это отвратить, но не отвратил, а может быть, еще помог». Тут Бестужев написал на депеше: «Когда не в глаз, то в самую бровь Любрасу мечено». Окергельм, расхваливая Кейта, может быть, не знал, что как масон Кейт был связан с людьми, вовсе не принадлежавшими к русской партии, именно с Нолькеном. Масонство и в это время уже имело значительную силу в Швеции, так что наследный принц счел нужным для себя сделаться масоном. В апреле Нолькен писал Кейту о вступлении принца в масонскую ложу и высказывал надежду, что это событие даст новую силу ордену в Швеции.

Торжество русской партии при выборе ландмаршала или председателя сейма было помрачено поражением при выборах в члены секретной комиссии, куда засели люди противной партии. Оставалось хлопотать о большинстве в общем собрании сейма; на городское сословие Корф более не надеялся, надеялся на крестьянское. Чиновник русского посольства Симолин доставил ему ночное свидание с тальманом, или оратором, крестьянского сословия в третьем месте, куда Корф пришел переодетый. «Никогда, – писал он, – не встречал я крестьянина такого умного, проницательного и знающего». Оказалось, что тальман совершенно согласен со взглядом русского посланника. «Мы имеем причину, – говорил крестьянин, – считать императрицу своею матерью и благодетельницею: кто бы мог ей запретить оставить Финляндию за собою, если б она этого захотела? Средства, которые надобно употреблять на сейме, могут быть умеренные и строгие; если первые окажутся недостаточны, надобно приступить ко вторым. Промемория о галерах принесла большую пользу: патриотическая

партия была бы совершенно низложена, если б не подкрепила ее надежда на это вспоможение; мы все желаем, чтобы русские галеры уже были у наших берегов: тогда все французы пришли бы в ужас и все благонамеренные стали бы помогать галерам для ниспровержения тяготеющего над нами тиранства. Всем известно, в каком плачевном положении находится государство: полки не пополнены, оружия, мундира, лошадей, хлеба в магазинах нет, нет и денег в банке и во всей земле, а министерство, доброхотствующее французам, хочет еще завлечь Швецию в опасные предприятия; движение русских войск на финляндских границах изменило бы весь состав секретной комиссии. Что касается умеренных способов, то надобно заручиться в полном собрании большинством по крайней мере трех чинов; духовенство надежно благодаря стараниям пробста Серениуса; о крестьянском сословии я буду заботиться; но дворянство до сих пор еще сомнительно. Первое предложение, которое я сделаю от имени крестьянства, будет состоять в том, чтоб восстановить прежде изгнанных сенаторов; второе, чтоб крестьяне допущены были в секретную комиссию, и если последнее нам не удастся, то протестуем против всего, что могло бы быть сделано на сейме, и разоидемся; духовный чин, который получает от нас пропитание, принужден был бы последовать за нами, сейм разрушился бы, что произвело бы страшное неудовольствие в провинциях на французскую партию».

Корф советовал ему разделить эти два предложения и сначала настоять на восстановлении старых сенаторов, чтоб в случае если сейм разорвется, то в Сенате осталось бы большинство благонамеренных членов. Крестьянин согласился. Относительно прусского союза тальман говорил, что не только крестьяне, но и большая часть французских приверженцев будет противиться этому союзу, как могущему повести к разрыву с Россией. Корф покончил разговор уверением, что императрица не оставит его без щедрого награждения, тем более что он как патриот отвергнул лестные предложения противной стороны. Тальман отвечал, что действительно от него зависело выучиться французскому языку и говорить на нем так, как говорят Гилленбург и Тессин; но, как бедный крестьянин, он хочет довольствоваться и своим природным языком. Потом Корф имел также ночное свидание с протопопом Серениусом, который говорил, что лучше всего разорвать сейм удалением крестьян за недопущение их в секретную комиссию; тогда нужно было бы созывать новый сейм, на который можно было бы приготовиться. И протопоп высказывал желание, чтобы русские галеры приблизились к шведским берегам и 10000 войска вступили в Финляндию с провозглашением, что не уйдут до тех пор, пока шведский народ не освободится от французского тиранства; вся Финляндия выскажется в пользу России. Большинство голосов между дворянами приобрести будет трудно, ибо дворяне обольщены тем, что молодой двор их дружески принимает. Многие из патриотов огорчены презрительным обхождением с ними кронпринца и кронпринцессы. Когда более 250 патриотов пришли для совещания к генералу Врангелю, то он пришел в большое смущение и сказал: «Господа, вас уже слишком много! И что скажут об этом их высочества?» – тогда как члены французской партии публично совещаются не только у своих начальников, но и в покоях кронпринца.

От 24 октября Корф писал, что хотя сейм приведен в такое сомнительное состояние, что ни одна партия не может получить успеха, однако французская партия имеет немалую выгоду в том, что кронпринц на ее стороне, что удерживает

патриотов от энергических действий; при этом французская партия не пренебрегает никакими средствами для устрашения членов русской партии. Чтобы отнять у них надежду на помощь из России, распространили слух, что там готовится революция и жизнь великого князя в опасности, здоровье его становится день ото дня хуже; сочинили такую историю, будто бы великий князь на балу упал в обморок, и когда ему хотели переменить белье, то одна дама предостерегла, чтоб не употребляли его собственного белья, потому что оно все отравлено. Не надеясь на большинство голосов в дворянском чине, вовсе не полагаясь на духовный и крестьянские чины, французская партия хлопотала, как бы привлечь на свою сторону последний чин и произвести разлад между ним и другими чинами. Для этого генерал Вреде вступил в сношения с крестьянским директором Гедманом, суля ему, что если перейдет на французскую сторону, то будет жить по-графски, и внушая, что честь Швеции требует избавления от русского властолюбия посредством союза с Пруссией; внушал также, что русский наследник еще имеет виды на шведский престол, что императрица навязала Швеции кронпринца, и так как теперь он не хочет исполнить ее воли, то стараются лишить его наследства шведской короны, чины же должны его защищать. Получена подлинная ведомость, что десять русских галер разбиты бурей, а прочие возвратились в Кронштадт. И действительно, Корф узнал, что кронпринц за обедом в присутствии своих приверженцев провозгласил тост за счастливую гибель русских галер. Гедман остался непреклонен; так же вел себя и ланд-маршал Унгерн-Щтернберг: тогда когда членам секретного комитета сделано было предложение о необходимости прусского союза и предложение это подкреплено рекомендациею кронпринца, то Унгерн прекратил заседание, отправился к кронпринцу и представил ему дурные последствия его вмешательства в сеймовые дела. Кронпринц заперся, что не поручал делать предложения о прусском союзе. «Ландмаршал, – писал Корф, – поступает как честный человек и ведет дело так, что французы не могут двинуться с места; поэтому Вреде в разговоре с Гедманом сказал, что плут Унгерн головою заплатит за те препятствия, какие он им причинял».

В ноябре Корф донес, что французская партия начинает употреблять средства устрашения. Так, схвачен был поручик Лагергельм будто за то, что говорил неприличные слова против кронпринца, в сущности же для того, чтоб показать что-нибудь против патриотов. Корф писал, что если императрица не сделает заблаговременно надлежащую по этому делу декларацию, то надобно опасаться, чтобы боязливый граф Бонде не передался, чины крестьянский и духовный не потеряли твердости. Сенат не наполнился бы французскими доброхотами и сейм не кончился бы по желанию их партии. Такою декларациею должно было служить объявление, сделанное Корфом кронпринцу: «Всему свету известно, что настоящим своим благополучием ваше величество обязаны ее императорскому величеству. Грамота императрицы от 6 июля прошлого года была новым опытом старания ее о вашем благополучии: в ней она остерегала вас от тех людей, которые внешними льстивыми заявлениями старались снискать ваше доверие, но этим доверием пользовались только на пагубу королевства, что необходимо должно иметь вредные следствия и для вашего высочества. Но ее импер. величество после того, к прискорбию своему, уведомила, что граф Тессин и его партия умели удержать в своих руках склонность и сердце вашего высочества,

хотя для вашего высочества не тайно, что он старался из всех сил воспрепятствовать согласию между Россией и Швецией, старался продлить беспокойства на севере и действовал явно против особы вашего высочества, в пользу другого принца. Разнесся слух, что императрица намерена лишить вас коронного наследства и она подлинно уведомила, что слух этот разглашен графом Тессинем и его сообщниками, чтобы отвратить ваше сердце от ее императ. величества. Поэтому императрица считает необходимым искреннейшим образом советовать и дружественнейшим образом просить, чтоб вы не допустили этого опасного человека довести вас до таких мер, которые находятся в противоречии с прямым благополучием вашего высочества, и обратили бы вашу доверенность к таким людям, которые усердствуют пользе отечества и союзу между Россией и Швецией. Если же ваше высочество соизволите и после этого содержать графа Тессина и его сообщников в своей милости и его злым советам следовать и потому от ее величества отдаляться, то и ее величество принуждена будет свое искреннее старание о вашем высочестве не только сократить, но и вовсе пресечь».

Смущение французской партии вследствие этого объявления было чрезвычайное по словам Корфа, тем более что король и добрая партия начали поступать бодрее. В секретном комитете дела остановились, граф Тессин ходил в глубоком унынии и не знал, за что приняться, сенатор Розен заболел от страха. Король дал знать Корфу, что он обязан утверждением своим на престоле декларации, сделанной кронпринцу, потому что если бы французская партия склонилась к себе крестьянский чин и наполнила Сенат своими членами, то королевская власть подверглась бы опасности; король проведал, что у кронпринца сделаны были все распоряжения выслать его, короля, в Гессен или какую-нибудь шведскую провинцию, но декларация Корфа все остановила. Король надеется, что так как дорога уже очищена, то императрица сильно поведет дело далее, и он, король, станет по возможности тому содействовать; он уже подал свой голос в Сенате, объявил изменником отечества всякого, кто не будет стараться сохранить дружбу императрицы, и этим показал путь, по которому должен идти кронпринц; и если бы можно было привлечь на свою сторону городское сословие, то сейм имел бы счастливый исход. Французская партия стала хлопотать, чтобы из дела Тессина, как оно было поставлено русскою декларациею, сделать личное дело кронпринца и вместе национальное, но крестьянский чин объявил, что шведское государство получило столько опытов истинной дружбы со стороны русской императрицы, что интерес Швеции требует не только самым добросовестным образом сохранять эту дружбу, но и старательно отстранять все, что может подать повод к какому-нибудь неудовольствию и холодности. Поэтому крестьянский чин просит не отказать русской императрице в справедливом удовлетворении, если она чувствует себя чем-нибудь обиженною. Затем крестьяне прямо указали на бесполезность прусского союза, представляя бедственное положение Швеции, сильное вооружение соседей, и если другие чины решатся на какой-нибудь поступок, который повлечет за собою опасные следствия, то крестьянский чин считает себя освобожденным от тягости, которая бы в таком случае выпала на его долю. Наконец, крестьяне выражали мнение, что декларация, сделанная Корфом наследному принцу насчет Тессина, не заключает в себе никакой обиды ни кронпринцу, ни нации. В Сенате относительно этого вопроса большинство сенаторов согласилось с голосом короля против голоса

кронпринца, который был, разумеется, за Тессина; сенатор Кронштет прямо объявил Тессина зачинщиком всего зла Для государства.

В такой беде кронпринц пригласил к себе 26 человек крестьян; вынесли новорожденного принца Густава, которого «нескладная» голова была прикрыта особым убором, и кронпринц говорил по-шведски, что он находится в опасности; графа Тессина, вернейшего патриота, оказавшего государству такие великие услуги, гонят; он надеется, что крестьянский чин ему и сыну его окажет такую же помощь, какую оказывал прежним своим государям. Кронпринц говорил эту выученную наизусть речь так смутно, что крестьяне ничего не поняли. Но принцесса повторила ее явственнее по-шведски и кончила тем, что если крестьяне пристальнее посмотрят на принца Густава, то найдут, что только злые языки могли выдумать, будто у него нескладная голова. Граф Тессин и капитан Шехта заключили акт своими речами, а крестьяне отвечали на все одними низкими поклонами.

В декабре умер граф Гилленбург, и началась борьба за очистившееся его смертью место президента государственной канцелярии; французская партия хотела доставить его графу Тессину, чему русская, разумеется, противилась всеми силами. Приближались святки, на которые депутаты разъезжались домой. Патриоты прислали к Корфу генерала Дюринга с просьбою, чтоб он их не оставил и отпустил депутатов в провинции с доброю надеждою и для этого нужно 50000 платов (около 30000 рублей) одному дворянскому чину, а крестьянский и духовный чин могут быть удовлетворены суммою от осьми до десяти тысяч платов. Надобно Корфу сделать дальнейший шаг, пользуясь ужасом, наведенным на французскую партию декларациею о Тессине, иначе Корф будет отвечать за последствия, ибо нельзя думать, чтоб императрица решилась погубить сенаторов Окергельма и Левена, а гибель их неизбежна, если Тессин сделается президентом канцелярии и французская партия получит верх. Обратясь к портрету императрицы с заплаканными глазами, Дюринг продолжал: «Я уверен, что если императрице представлено будет о наших нуждах и беспокойствах, то она не откажет нам в помощи, причем может быть уверена, что все прямые шведы прославляют ее в сердцах своих. Вы сами слышали, что крестьяне произносят ее имя с благоговением и упоминают чаще, чем имя собственного государя».

Но в то время когда колпаки заботились о ходе дел после праздников, шляпы воспользовались тем, что много из их противников разъехалось, возбудили вопрос о замещении вакантных сенаторских мест и провели своих кандидатов, так что в Сенате стало теперь 9 голосов, принадлежавших русской партии, включая в то число два королевских, а на французской стороне, считая голос кронпринца, десять.

Чем затруднительнее становились шведские отношения, тем нужнее казалось сблизиться с Даниею. Императрица еще в 1745 году навевывалась у канцлера, скоро ли начнутся переговоры с датским послом о заключении союза; но препятствием тому служили интересы племянника ее как герцога голштинского. Елисавета считала не деликатным заставить племянника принести голштинские интересы в жертву русским, хотя в разговоре с канцлером при докладах заявляла, что великому князю следовало бы заниматься более своим русским наследством, чем голштинскими делами. В начале 1746 года, когда она снова спросила Бестужева, делается ли что-нибудь для начатия переговоров с датским послом, и

когда канцлер отвечал, что призванные в Петербург голштинские министры Пехлин и Пфенинг толкуют, что датский король не только должен возвратить Шлезвиг, но и заплатить многие миллионы Голштинии, то императрица сказала: «Я в это дело с датским двором не вступлю, потому что оно, собственно, принадлежит великому князю, однако голштинским министрам можно сказать, что для этого дела я не остановлю переговоров с датским двором о возобновлении союза, нужного для интересов здешней империи: так они бы не медлили решением шлезвигского дела». Елисавета велела канцлеру начать переговоры с датским послом, причем должен был присутствовать и принц Август как штатгальтер голштинский и голштинские министры.

В первой конференции датский посол Голштейн предложил голштинскому герцогу миллион ефимков за вечную уступку Шлезвига, но голштинские министры не согласились. Тогда Голштейн подал ноту, в которой просил не останавливать переговоров о возобновлении союза между Россией и Даниею и заключить его на прежнем основании с такими сепаратными артикулами: 1) владение Шлезвигом выключить из гарантии императрицы до будущего соглашения между королем датским и великим князем Петром Федоровичем; 2) гарантировать это владение против всех других родственников (агнатов) Голштинского дома; 3) не допускать никогда Голштинское герцогство во владение тому государю, который будет на шведском престоле. Но императрица, выслушав ноту, заметила, что вместо сепаратного артикула о выключении Шлезвига из русской гарантии надобно внести это условие прямо и явственно в самый договор с целью дать знать и другим дворам, что императрица не пренебрегает интересами своего племянника; в остальном же она совершенно согласна с проектом договора.

Преемник Корфа в Копенгагене был камергер Алексей Пушкин, который в одном из первых своих донесений уведомил о кончине датского короля Христиана VI, последовавшей 26 июля, и о восшествии на престол Фридриха V. Но после этого донесения Пушкина были так ничтожны, что из Петербурга должны были прислать ему внушение прилежнее следить за отношениями Дании к иностранным державам и подробнее сообщать о том своему двору. Другим характером отличались донесения нового резидента в Константинополе Адриана Неплюева. Турецкие министры прежде всего наведались, какие подарки привез им новый резидент. Неплюев отвечал, что резиденты подарков не привозят, и когда переводчик Порты заметил, что по крайней мере рейс-ефенди нужно что-нибудь дать в знак дружбы, то Неплюев сказал, что когда этот министр действительно окажет России услуги, то получит награждение. Новый резидент обратился за вестями к старому приятелю Миралему, который объявил ему, что на мир с Персией нет надежды и что Турция находится в самом бедственном положении, будучи подобна старому бескровному телу, в котором все кости раздроблены и которое находится при последнем издыхании. На днях приснилось султану, что шах напал на него; страшно испугался, послал за муфтием, чтоб растолковал сон, тот кое-как успокоил его. Султан и от природы неумен, а видя себя окруженным глупыми и злонамеренными людьми, со страха и печали находится вне себя и часто заговаривается.

При свидании своем с рейс-ефенди Неплюев начал с того, что у буджакских и крымских татар и в других местах еще много находится русских пленных, и

требовал посылки нарочных для их освобождения. Рейс-ефенди отвечал, что нарочные были отправлены и возвратились с известием, что нигде уже более нет русских пленных, кроме обратившихся в магометанство; новых нарочных посылать не для чего; но если резидент именно покажет, в каком месте и у какого хозяина еще остаются русские пленные, то немедленно будут отправлены об них надлежащие указы. Со стороны Порты даны были записки о турецких пленных в России; но получен был ответ, что таких не имеется, тогда как известно, что они находятся в Петербурге, Москве, Нежине и Киеве, визирский посланец Али сам их видел, слезные письма от них привез, а другие бегством спаслись от неволи и подали ведомость об оставшихся. Неплюев отвечал, что был бы рад, если бы русское представление о пленных было основательно не более турецкого; к сожалению, в проезд свой он сам видел русских невольников; если турки хотят послать нарочных в означенные русские города, то он готов дать паспорта; но рейс-ефенди сам хорошо знает правду. Рейс-ефенди повторял уверения в непременном исполнении договора, говорил, что Порта не отрекается освободить пленных и пошлет указ об этом крымскому хану, пусть только Неплюев подаст письменное представление. Неплюев продолжал, что кроме пленных крымскому хану надобно внушить о соблюдении доброго соседства: он не высылает из Крыма козаков, называемых аргатами, не высылает беглых ногаев и калмыков; под предлогом сыска своих беглых татары подъезжают к русским границам. Рейс-ефенди обещал сделать внушение хану и говорил, что все это дела маловажные и не могут произвести холодности между двумя империями; что он не понимает, зачем с русской стороны запрещается подданным ходить в дружеское государство для зарабатывания денег, ведь это плоды мира. Неплюев возражал, что плоды мира состоят во взаимном распространении купечества, а не в приеме беглых, и спрашивал, приятно ли было бы для Порты, если б в России приняли несколько сот буджакских или других татар, подданных турецких, и настаивал, чтоб непременно выслали из Крыма аргатов. «Я с вами согласен в маловажности всех этих дел, – говорил он, – но если этим народам немного спустить, то они по своему непостоянству и хищничеству скоро из малых большие дела сделают, которые труднее будет исправить. Согласен, что неприятно, скучно слышать беспрестанные жалобы на такие мелкие дела; но от этого вы можете избавиться, если при хане будет находиться русский консул; это особенно нужно и для торговли, если Порта желает ее распространения; если теперь французам, а прежде и шведам без всякого торгового и пограничного дела позволено было держать в Крыму консулов, то русскому консулу там должно быть по всем причинам». Рейс-ефенди отвечал, что Порта не может вмешиваться в собственно ханские дела, а Россия должна сделать предложение о консуле прямо хану.

В октябре Неплюев сообщил важную новость о неожиданном заключении мира между Турциею и Персиею на условии остаться при том, кто чем владеет (*uti possidetis*). Вследствие этого Неплюев сейчас же заметил австрийскому интернунцию Пенклеру, что нельзя держать границ так обнаженными, как до сих пор было с австрийской стороны, что турки могут решиться на внезапную нападение вследствие постоянных подстреканий с французской стороны. Неплюев писал, что и в России нужно произвести передвижение войск в украине. Успокаивало безденежье Порты, ибо многие доходы были уже взяты за год вперед; но тревожные слухи не прекращались. Так, курьеры из Киева дали знать

Неплюеву, что ногайские татары лошадей кормят и молва идет, что хотят предпринять что-то против Запорожья. Неплюев сделал запрос рейс-ефенди об этих приготовлениях, тот отвечал, что ногаи кормят лошадей для проезда крымского хана в Константинополь. Неплюев писал в Петербург, что хотя он и без рейс-ефенди знал, что ногаи кормят лошадей для ханского проезда, но сделал запрос нарочно, чтобы показать туркам, как с русской стороны следят за малейшими движениями у них и врасплох им ничего сделать не удастся. Резидент следил внимательно за французскими интригами. «Подлинно, – писал он, – нет того, что бы французы постыдились выдумать и предложить туркам». Так, они представили Порте, что новый император Франц не имеет никакого права титуловаться королем иерусалимским; представили также, что он великий магистр ордена св. Стефана, а каждый кавалер этого ордена присягает никогда не мириться с неверными.

Так же внимательно следили за французскими интригами англичане. В конце марта лорд Гиндфорд сообщил в крайней конфиденции о надежном и несомненном известии, полученном английским королем, что Франция употребляет все способы отвлечь шведский двор от России и для того спешит заключением договора между Швециею и Пруссиею с исключением России и надобно стараться, чтобы виды Франции не клонились к тому, чтоб обязать прусского короля помогать Швеции к завоеванию уступленных ею России земель с условием уступки ему шведской Померании; кроме того, Франция старается привлечь и Данию в этот союз, для чего старается наследного принца шведского склонить к уступке всех его претензий на Голштинию в пользу Дании, за что Швеция должна получить вечное освобождение своих кораблей от зундской пошлины. Английский король, как искренний друг и верный союзник императрицы, не хотел медлить ни минуты в сообщении ей этого известия, усердно желая действовать заодно с императрицей во всем, что касается благополучия обоих государств; король очень желает знать о намерениях императрицы относительно общих европейских дел, и особенно дел на севере; его величество примет за особенное одолжение, если его сиятельство великий канцлер граф Бестужев благоволит известить о том в секрете посла королевского. Канцлер отвечал именем императрицы, что начатые в прошлом году в Петербурге переговоры с послом английским и министрами других держав, соединенных Варшавским договором, уничтожают всякое сомнение в добрых намерениях императрицы и если эти переговоры кончились ничем, то вина не на русской стороне, ибо король великобританский с исключением императрицы и не давши ей знать вступил в Ганновере в соглашение с прусским королем. Несмотря на то, ее величество без труда откроется конфиденчно королю, что она нисколько не изменила своих взглядов; несмотря на издержки и неудобное время года, продолжающаяся передвижка армии служит тому доказательством. Цель этой передвижки троякая: 1) безопасность России; 2) сохранение тишины и существующего порядка на севере вообще, и особенно в Польше; 3) подание помощи союзникам. Но как эти три цели могут быть достигнуты, об этом ожидается обстоятельнейшее изъяснение со стороны британского величества.

Своим докладом о необходимости сближения с Англиею канцлер встречал помеху в известиях с востока, из Персии, которые приводили императрицу в сильное раздражение. 24 апреля при докладе об иностранных делах она

рассуждала, что английские купцы действуют в Персии так, что для России могут быть от этого дурные следствия, что они там уже построили два корабля на шаха и еще строить хотят, а для России было бы очень вредно, если бы у персиян заведен был флот. Англичанам позволено торговать с Персиею чрез Россию; но от этой торговли великая прибыль только англичанам, а здешней империи, особенно купцам и фабрикам, помешательство и убытки происходят; очень жаль, что такое позволение дано, и всеми мерами надобно эту английскую торговлю прекратить. Канцлер отвечал, что такие известия и в коллегии Иностранных дел получены, что один военный корабль в Персии построен, а другой заложен и что в этом один из англичан, недобрый человек, именем Элтон, упражняется, а беглые из России разбойники помогают; от коллегии английскому двору сделаны представления, чтоб этот Элтон вызван был из Персии, и объявлено, что если он вызван не будет, то и торговля англичан с Персиею вся пресечена будет. От английской компании к тому Элтону писано, чтоб выехал из Персии, за что обещана ему погодная пенсия по смерти до 2000 рублей; но он, несмотря на то, оттуда не едет, а иначе поступить с ним английскому двору нельзя, ибо известно, что английский народ вольный. Торгующие с Персиею англичане держали два собственных корабля; но так как было усмотрено, что на этих кораблях из России парусные палатки и другие такелажи, к вооружению судов принадлежащие, туда привозили, то эти корабли в Астрахани задержаны, ходить в Персию им более не позволено и англичанам объявлено, чтоб они товары свои на русских судах перевозили, а свои корабли продали бы русским же купцам; и один корабль уже продан, а другой еще нет. На эти представления Елисавета заметила: так как эта коммерция для здешней империи не только не полезна, но и опасна быть видится, то о поправлении этого дела надобно прилагать старание, а лучше эту коммерцию отклонить и вовсе прекратить. В августе вопрос возобновился вследствие известия, что один персидский корабль с пушками, уже совсем построенный и оснащенный, виден был у Дербента и требовал салютации от русских судов, а командир его и команда били и другие озлобления делали русским купцам. Императрица объявила канцлеру, что все это оттого, что англичанам позволено производить торговлю из России в Персию, и еще хуже будет, когда у персиян морской флот заведется и размножится, и потому английскую коммерцию в Персию теперь непременно пресечь и английскому послу о том объявить; а каким бы образом это заведенное у персиян строение судов вовсе искоренить, о том в Сенате вместе с коллегиею Иностранных дел советоваться и меры без упущения времени принимать.

Глава третья

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1747 год

Отношение канцлера Бестужева к Сенату. – Усиленные заботы Сената о финансах вследствие политических обстоятельств. – Старые хлопоты о соли. – Меры против корчемства. – Табак. – Недостаток в деньгах и рабочих руках. – Результаты ревизии. – Записка графа Петра Шувалова о способе умножения доходов. – Препятствия для торговли. – Магистратские беспорядки. – Препятствия для внешней торговли со стороны Польши. – Промышленность. –

Разбои и пожары. – Полиция. – Областное управление. – Коллегии. – Дела церковные. – Дело о госпитале. – О Пыскорском монастыре. – Противоположные мнения иностранцев о России. – Переговоры о «перепущении» русского войска для морских держав. – Успех переговоров. – Дела австрийские. – Дела саксонские. – Отношения к Польше по поводу гонения на православие. – Дела прусские. – Дела шведские. – Дела турецкие. – Самозванец Федор Иванов. – Дела персидские.

Мы видели, что берлинский двор сообщил петербургскому бумагаи несчастного Фербера, касавшиеся русских дел. Вероятно, в Берлине думали, что письмо Фербера достигло своего назначения, и хотели выказать свое чистосердечие. Но в Петербурге приняли находившиеся в бумагах известия за верные, и Бестужев воспользовался выходкою Руденшильда против Сената, чтобы высказаться и со своей стороны против этого учреждения. Против слов Руденшильда он сделал такое замечание: «Канцлер ее император. величеству слабейшее свое мнение всенижайше представлял, что как для облегчения ее императ. величеству государственного правления решением спорных в Сенате и иных коллегиях случающихся дел, так и для пользы самодержавной империи не бесполезно было бы Кабинет из верных и надежных подданных сочинить, при котором мнению канцлер и поныне остается, не имея притом никакого о себе вида, ибо ему и без того дел довольно и едва оными исправиться может». Действительно, Алексей Петрович никогда не бывал в Сенате, отговариваясь постоянно иностранными делами. Сенат в своем правительствующем значении мог не нравиться канцлеру при настоящем составе: виднее других были в нем два члена – генерал-прокурор Трубецкой и Румянцев – оба враги Бестужева; в последнее время особенной деятельностью начал отличаться в Сенате граф Петр Ив. Шувалов, тоже человек враждебный Бестужеву. Но мнение канцлера не могло произвести впечатление на Елисавету: отказаться от восстановленного ею отцовского учреждения и возвратиться к Кабинету, напоминавшему ей самое ненавистное время, она могла считать крайним для себя унижением.

Сенат был обеспечен при ней и продолжал заниматься главным делом – «денег как можно более собирать, ибо деньги суть артерию войны», а война казалась неизбежна по европейским отношениям. В начале года уже был издан указ о наборе 50000 рекрут, также драгунских и подъемных лошадей. Вопрос о соли продолжался в прежнем виде: в Астрахани подрядчики объявили условия: 1) если рабочим за побег с судов будет положено жестокое наказание и будут их ссылать в каторжную работу зарабатывать взятые ими от подрядчиков деньги; 2) если рабочим наемная цена определена будет законом, то они, подрядчики, за поставку соли возьмутся по прошлогодним ценам; в противном случае ни по какой цене подрядаться не станут, опасаясь, чтобы им от побегов рабочих не прийти в совершенное разорение.

Медицинская канцелярия по запросу Сената объявила, что взятая с Элтонского озера соль и соляной тузлук по всем химическим регулам исследованы и явилось, что она без литрования для человеческого употребления не вредна, а затем к экономической потребе без всякой опасности и повреждения здоровья в пищу и к солению мяса и рыбы полезна быть может. Поэтому

вследствие донесения посланного осмотреть Элтонское озеро полковника Чемодурова приказали: 1) с озера соль заготавливать и вывозить в Дмитриевский город, что на Камышенке, и в Саратов и заготовлением и отправлением заведовать комиссарству, имеющему состоять из Чемодурова и двоих других членов. 2) Для защиты от набегов калмыков и прочих народов и чтоб, кроме казенной поставки, никто с озера тайно соль не вывозил, построить земляной городок. 3) Для возки соли сделать к весне 1748 года в Казанском и Вятском уездах десять судов. 4) Печатными указами вызвать поставщиков, которые бы взяли возить с озера соль и ставить в казну. Заботиться об элтонской соли заставило Сенат донесение Строгановых и других пермских солеваров, что леса около их варниц истребляются; а это все будет более и более препятствовать выварке соли в достаточном количестве, и потому то обстоятельство, что доставлять бузун из Астрахани далеко и дорого, и потому относительно этой соли надобно ограничиться только ближними к Астрахани местами. Но пользование элтонской солью было еще впереди, и баронам Строгановым послали указ, чтобы к отпуску 1747 года непременно выварили три миллиона пудов. Строгановы в мае отвечали жалобой на крайнее свое изнеможение, к тому же потерпели большой убыток от пожара в Твери, где у них сгорели дом, амбары и соль, а в начале июня Соляная контора донесла, что в настоящем году недоварено соли у Строгановых до миллиона пудов; а у других четверых заводчиков – до 300000 пудов; другой солью, кроме пермской, верховые города удовлетворять нельзя, потому что бузуном довольствуются города Астраханской, Нижегородской и Воронежской губерний, а далее Нижнего Новгорода в другие города отпускать бузун за высокими ценами нельзя: в Нижнем Новгороде пермской баронской соли истинная цена – 9 копеек, а с вычетом таможенных пошлин – 8 коп. за пуд, бузуну же истинная цена – 18 копеек пуд; а если Строгановы третьего миллиона пудов не выварят, то может произойти конечный недостаток в соли. Послали Строгановым указ с крепчайшим подтверждением выварить до трех миллионов пудов. Строгановы объявили, что ни одна просьба их не исполнена, а между тем убытки так увеличились, что капитал их весь утратится без остатка. Велено им варить соль на 1748 год, но для этого им нужно 509577 рублей на один завар; но когда первый завар начинается, на другой заключаются подряды и деньги в задатки выдаются; а когда первый завар кончился и в Нижний соль пошла, то второй завар начинается; денег они не выручают, потому что деньги идут на уплату казенных долгов. В ответ послан указ: выварить и поставить без отговорок.

Кроме продажи соли у казны был еще доход с продажи вина, но этот доход уменьшался от корчемства. Корчемная контора послала в дворцовую Куньевскую волость двоих обер-офицеров с командою для забрания оговоренных корчемников, и велено им было заехать в село Измайлово, взять для подмоги тамошнего управителя и служителей. Но управитель Изволов указа не принял, сам не поехал и никого не послал. Когда команда пришла в деревню Кузнецы, то жителей в домах никого не нашла, а в других деревнях и лесах сыскано 43 варницы, на которых по два и по три очага и дрова горят, да нашли вина до 1000 ведер, 14 кубов, 3 котла железных; кроме того, на каждой варнице по два великих чана с брагою. Поймано было 8 человек и отдано под караул в одной деревне на крестьянском дворе; но, когда команда занималась в других местах сыском корчемников, пришли крестьяне Куньевской волости в большом числе, забрали

караульщиков, колодников, вино, кубы и ушли неведомо куда. Но не одни крестьяне так защищали свой вольный промысел: корчемная контора доносила, что посланный ею обер-офицер с командою для выемки вина в дом подполковника Дохтурова должен был выдержать бой с хозяином.

Табачный сбор отдан был на откуп во всем государстве московскому купцу Матвееву на шесть лет за 42391 рубль ежегодно. Но денег было мало, особенно ввиду издержек на усиление и передвижение войска; малороссиянам, поставлявшим в прошлые годы провиант и фураж в военные магазины, по недостатку денег велено заплатить парусными полотнами с казенной почепской фабрики. Денег мало, и рабочих рук мало. Адмиралтейство доносило: Сенату известно, как в привозе корабельных лесов была остановка за недостатком рабочих с указными печатными паспортами; на пристанях оставалось множество леса, от долговременного лежания пропадало, а в строении и починке флота происходил недостаток. Сенат разрешил: если с печатными паспортами потребного числа рабочих не сыщется, то позволить нанимать и с письменными на один 1746 год. Но теперь Адмиралтейство опять представляет: хотя в 1746 году многим больше лесов в отвоз забрано и в пути зимовало, однако на пристанях немало их осталось, ибо вдруг всего забрать в один год было нельзя, а подрядчиков никого не является, тогда как в лесах крайняя нужда: нет лесу на 40 галер; некоторые корабли строены в давних годах и сильно повреждены, надобно их чинить, а для доставки леса нельзя надеяться набрать рабочих с печатными паспортами. Сенат разрешил и на 747 год нанимать с письменными паспортами. Адмиралтейство потребовало, чтоб то же было позволено и на 748 год, и Сенат согласился.

Ревизия оканчивалась, количество народонаселения оказывалось больше против прежней переписи, следовательно, больше должно было собираться подушных денег, и указом 27 января вновь учрежденные батальоны велено довольствоваться из новопробылых по последней ревизии подушных денег. Но по новой ревизии, оказывалось с прибылых душ в полугодовом окладе в 32 провинциях прибыли 317329 рублей, а в 8 провинциях убыли 41941 рубль, за исключением этой убыли прибылых денег было 275388 рублей, а в остальных пяти провинциях за неприсылкою ведомостей неизвестно было, имеется ли прибыль или убыль; на новые же батальоны требовалось более, именно недоставало 115810 рублей. Сенат приказал взять верные ведомости из Берг-конторы, сколько теперь в Петербурге налицо и в пути железа и какая по последнему торгу его цена.

31 июля граф Петр Ив. Шувалов представил Сенату записку о способе умножения дохода казенного: «Всевидящее око, особливим смотрением руководствуя вечной славы достойного государя, отца отечества, великого Петра, которого трудами слава Российской империи процвела, к вящей же ее славе многие беспримерные дела благословил бог старанием и трудами матери Отчествa государыни всемилостивейшей пред глаза свету произвести, а чтоб благословенная слава империи не была где-либо занозою в завидливых сердцах, сумнительства нет, следственно, дальние виды, заключенные в зависти, чрез оное не закрытны быть стали. Ее император. величества августейшей государыни нашей все виды те суть, из которых слава и польза, безопасность и целость государства состоит; к оному освященному ее импер. величества виду и вящей

пользе и безопасности государства и подданных предприятием потребно, дабы доходы государственные были умножены. Конечно, полезнее быть ничто может, как в государстве иметь такой пункт, который бы во время надобности бесспорно доход государственный умножил, а оный не токмо к тому служить может, как самое его действие есть пользы поиск, о целости надлежащей отпор в защищение учинить, но довольную опасность поставить в тех, которые буде в рассуждении не довольных доходов наших, завиствуя благословенной славе, что-либо противное покою проискывают, и сим уповательно все дальновидные происки, противные покою, конец свой примут в том рассуждении, что в благословенной державе ее императ. величества дал Вышний довольно того есть, которое многие государства тем преимуществует, а особливо люди – пропитание, к тому же весьма против всех государств дешевое войск содержание, и оное окрестным державам небезызвестно; притом самонужнейшее для содержания умноженных и впредь в потребных случаях умножаемых на довольно содержание войск учрежденный способ доходов казенных весьма верные повседневно в сбор к течению готовы известны будут же, которое вящше нежели бы капитал лежащий, понеже по продолжению нужных обстоятельств из него вынимая без возвращения, достатков добратся можно, а, напротив того, наш порядок новоучрежденный быть имеет такой, который умаления в себе вовсе иметь не может, но будет единое обращение циркулярное бесконечное».

Порядок должен был состоять в том, чтобы уравнивать повсюду цену соли и вина, в нужном случае увеличивать эту цену и лишек обращать на войско в дополнение к подушному сбору. Известно, что соли в государстве расходится 7474078 пудов и вина не менее 2000000 ведер; следовательно, если б, например, потребно было получить денег 2028815 рублей, то сверх разверстки на соль прибавить по 13 3/4 копейки, и придет 1028815 рублей 85 1/2 копейки, а на вино сверх разверстки прибавить по 50 копеек на ведро, получится миллион, или прибавить больше на вино, а меньше на соль, как угодно. Этот излишек за соль станет приходить и со всех тех, которые ничего не платят в помощь положенных в подушный оклад; если же вышеписаную сумму собрать с положенных в подушный оклад, то придется с числа ныне обревизованных душ, именно 6491381, сверх обыкновенного подушного сбора положить на душу по 31 1/2 копейки, что будет им чрезвычайно тяжело, да и нельзя надеяться, чтоб бездоимочно можно было собрать; а если б и собрано было со взысканием обыкновенным порядком, то без содержания под караулом и прочих строгостей обойтись нельзя будет; в последующем же за тем годе не только нельзя надеяться получить вновь такой же сбор, но сомнительно, чтобы и настоящий оклад можно было выбрать по причине такой значительной накладки, а, конечно, останется доимка немалая; а за вино станут платить не сохраняющие впрок себе своих денег, которых как ни унимать, а все нельзя удержать от пьянства.

Шувалов подавал мнение об уравнивании цен на соль еще в 1745 году; Сенат согласился, но императрица не утвердила, склонясь на противное мнение фельдмаршала князя Долгорукого. Теперь ввиду увеличивающихся расходов Сенат опять принял мнение Шувалова, рассуждая, что соль продается неравными ценами от 3 1/4 копеек до 20, 30 и 40 копеек, а в некоторых местах до 50; в 1742 году соли продано 7484708 пудов, денег в сборе 1587111 рублей, из которых чистого дохода 755600 рублей, и если для уравнивания продавать соль во всех

местах по 35 копеек пуд, то прибыли будет 1028815 рублей. Объявил несогласие один сенатор, князь Ив. Вас. Одоевский, который представлял, что если увеличить цену на вино, то винные откупщики откажутся, и требовал, чтоб запрещено было частным людям курить вино. Генерал-прокурор Трубецкой подал мнение, в котором опровергал Одоевского, и последний согласился. 9 декабря Шувалов представил новое мнение: поташные казенные заводы становятся в убыток, а крестьян к ним определено 27610 душ; надобно у поташных заводов крестьян взять, а вместо того приписать ближайших крестьян к добыванию элтонской соли, иначе это добывание не пойдет как следует. Окончательно Сенат решил доложить императрице, чтоб продавать соль по 35 копеек везде, исключая Астрахань и Красный Яр, где продавать по 17 1/2 копеек за пуд, чтоб рыбные промышленники не очень много наложили на соленую рыбу, без которой народу пробыть нельзя.

Для сокращения расходов Сенат, разумеется, должен был хлопотать, чтобы подрядчики брали подешевле; но 33 купца, с которыми был торг о подряде на провиант в петербургские магазины, объявили пред Сенатом, что в провозе провианта происходят разные затруднения и убытки: тверской воевода Ивин поставил по реке Тверце капрала с солдатами и останавливает идущие с Волги и других рек суда, которых в лето пройдет около двух тысяч; капрал берет прикащиков и работников и отводит к воеводе, который кроме съестных и других припасов берет с идущих вверх с грузом по рублю, а с плывущих вниз порожних по полтине с судна, да капрал с солдатами и воеводскими людьми берут на себя по полтине и больше, а без того не пропускают. Подобное тому делает и ладожский воевода Чеблоков. По указам велено от Вышнего Волочка по Тверце, Волге и другим рекам, повеем берегам, по которым с бичевою ходят, не запахивать, а теперь во многих местах запахивают, тянуть судов не допускают, и притом бьют насмерть. По Волге, Оке и другим рекам суда находят на камни, карши и пески, для снимания с которых обыватели на берега не пускают, отчего суда получают повреждения, хлеб и прочие товары водою разносит, и обыватели тех мест, перенимая, развозят по своим дворам и от них скрывают, а оставшийся подмоклый хлеб и товары на берега для пересушки и поправки без знатной платы не пускают и бьют. В тех городах, откуда суда отпускают, покупают вино, на которое и ярлыки берут, для угощения работников и призываемых на помощь обывателей во время бедствия; но в городах осматривают барки и, где сыщут вино, начинают следствие и разоряют.

В Нижнем, Костроме и других городах останавливают суда для пересмотра работничьих паспортов и, пока офицерам, подьячим и караульным взяток не поднесут, бьют и суда держат долгое время. Указами коллегиям и губернаторам запрещено самовольно накладывать пошрины; а орловский магистрат грубым своим смыслом берет сверх указной пошрины по копейке с рубля с товаров, а с указных пошлин берет по копейке с рубля, будто на лекаря, берет с извозщиков, перевозящих провиант, по копейке с лошади. Извозщики, которые возят провиант на гжацкую пристань и в другие места, в дороге из кулей крадут муку и вместо нее кладут песок, золу и другие непотребности, а приемщики ставят это в вину поставщикам, поносят и убытчат их. Иногда, спеша исправною поставкою, наскоро нанимают подводы по ямам, где – особенно в Бронницах и на Крестцах – ямщики составляют заговоры и, возвышая чрезвычайно цену, раскладывают между собою по очереди; у очередных случаются лошади худые, а иногда в полях,

и затем происходит замедление и передача напрасная деньгами, а других посторонних наниматься не допускают и бьют, а управители ямов, участвуя в этих взятках, суда не дают. Разных городов купцы, которые в Петербург на продажу хлеб судами привозят, жаловались, что на реке Неве, у Невского монастыря, где определено стоять их баркам, монахи и служки собирают с каждой барки по копейке в сутки.

Началось дело по жалобе купца Арефьева, что в Тверской провинции секретарь Башилов на обывателей – помещиков, духовенство и купечество – делает нападки и в делах проволочку; весною при нагрузке барок для отвоза хлеба в Петербург отсылают собственный хлеб, отдавая муку ржаную весом в полосма пуда, а с купечества берет петербургскую высшую цену за девятипудовый куль и за провоз ничего не дает. Сенат решил дело в пользу Башилова, во-первых, потому, что купцы не должны были брать хлеб на суда, а между тем брали; потом когда Башилов отдал дело на веру (присягу), то челобитчики к присяге не явились и не сысканы. Следователь капитан Ильин стоял за челобитчиков и написал в донесении: «Хотя челобитчиков следовало привести к присяге, но Башилов объявил, что челобитчики при подписке были в бородах и в неуказном платье и чтоб к присяге допущены были без бород; он сделал это нарочно, не имея оправдания и зная, что челобитчики не сбреют бород и потому не явятся к присяге; но следствие производится не о бородах, а о взятках». Сенат заметил, что Ильин написал это неправильно, а Башилов сделал свое объявление правильно, ибо русское платье и бороды носить запрещено, и поэтому Ильин за необращение внимания на указы, как военный, должен отвечать пред Военною коллегиею. По другим многочисленным челобитьям на Башилова, Ильин везде обвинял его, а Сенат отверг все мнения Ильина и решил взыскать с него штрафа 500 рублей.

К этим неблагоприятным условиям для торговли в некоторых местах по-прежнему присоединялись магистратские беспорядки. Белгородское дело продолжалось, ибо Главный магистрат не хотел признавать себя побежденным и донес Сенату, что он принужден взять нового президента белгородского магистрата Андреева к ответу в непорядочных поступках. Но Сенат по тем или другим побуждениям не захотел посмотреть на это равнодушно и приказал: в Главный магистрат послать указ – велеть прислать в Сенат известие немедленно: определенный по удостоении белгородского купечества от правит. Сената президент Андреев в Главный магистрат к следствию по каким именно делам потребен? Ибо хотя из Гл. магистрата в доношении и объявлено, что Андреева нарочно посланному взять велено будто бы за непорядочные его поступки, а за какие именно, того не показано; белгородское же купечество объявляет, что Андреева в Глав. магистрат требуют по проискам Морозова с товарищи; Глав. магистрат имеет злобу на Андреева и на все белгородское купечество за наложение из-за них на Глав. магистрат штрафа Сенатом; кроме того, желает взятием Андреева прикрыть воровство Морозова с товарищи, именно чтоб Андреев не был при следствии и этим самым следствие остановилось бы; наконец, желает Андреева бездельно проволочить и от дел белгородского магистрата удалить; поэтому до рассмотрения дела в Сенате Андреева в Глав. магистрат не брать. В челобитии белгородских купцов Сенату было показано также, что Морозов с товарищами как скоро вступили в управление, то теми купцами, которые доносили на них в похищении казенного интереса, всего до 60

человек, безо всякого суда разыскивали, иных публично плетьюми и батожьями наказывали, а некоторым и уши резали и вымучили дать Морозову векселя, а у иных, сбив от лавок замки, товары и деньги выбрали; просить в Глав. магистрате, зная там защиту Морозову и товарищам его, они не смеют, в белгородский магистрат челобитий их не принимают за тем, что нынешний президент Андреев на Морозова доносил в похищении интереса и, следовательно, не может быть беспристрастным судьей. Сенат велел это дело производить в белгородской губернской канцелярии с участием одного члена из белгородского магистрата, на которого от истцов и ответчиков не будет показано подозрения, и хотя купцы губернаторам и воеводам судом не подчинены, но теперь купцы сами просят, чтоб их дело производилось в губернской канцелярии.

Калужский купец Софрон Лобов бил также челом Сенату, что когда в настоящее царствование возобновлены были магистраты, то калужское купечество выбрало несколько персон в бургомистры, в том числе Осипа Шемякина, а других в ратманы, в том числе брата его, Софронова, родного Никиту да двоюродного Василия Лобовых; Шемякин, будучи в Москве, произыскав у Глав. магистрата кредит, без ведома мирского исходатайствовал себе новый чин президентский и как приехал из Москвы в Калугу и вступил в магистратское управление, то в надежде на Главный магистрат прочих членов и до дел не допускал, а делал немалое время всякие дела один, и когда прочие члены о том с учтивостью стали ему предлагать, то Шемякин, озлясь, подал в Глав. магистрат несправедливое доношение и происками своими склонил Глав. магистрат, что без всякого следствия его товарищам разными штрафами нанес тягость несносную.

На западе сухопутная внешняя торговля терпела от польского безнарядья. Смоленский шляхтич Николай Потемкин, бывший на пограничной комиссии для разбора дел по долговым искам между русскими купцами и жидами, представил Сенату, что по затруднениям, которые испытывают русские купцы в Польше, и разорениям от своевольных поляков лучше вести с Польшею торг на границе по тому примеру, как он ведется с китайцами и зюнгарцами. Лучше шли дела на степном востоке: Неплюев писал, что он перевел торг из Орской крепости в Оренбург, и в 1746 году привезенного русскими купцами товара с объявленными для торгу деньгами было на 112000 рублей, а вымененного от азиатцев – на 67000.

С самого Дальнего Востока явился в Сенат иркутский купец Югов и от имени своих товарищей – Мальцова, Трапезникова и Соловьева – объявил, что в Камчатской экспедиции у Нижнего Камчатского устья и против Олюторского устья, близ Караганского острога в море, не в весьма дальнем расстоянии от берега, сысканы в 1741 году *пустовые* острова, а на них усмотрено множество разных зверей – песцы, бобры, лисицы; и приняли они, Югов с товарищами, намерение на этих островах звериный промысл взять на себя с платежом в казну пошлины, а для промысла нужно иметь четыре мореходные судна, которые они построят на свой счет. Югова спросили: кем эти острова отысканы и почему он знает, какие на них звери водятся? Югов отвечал, что на этих островах Беринг был и чуть со всею командою не умер, а они, купцы, ходили на острова два раза на двух лодках компаниею и в разных партиях на каждой лодке по 18 человек, и получили в первый раз по 30 бобров на человека, а в другой раз – по 90, и продавали зверя хорошего от 40 до 50 рублей, а похуже – от 30 до 20. Сенаторы

предложили, чтоб они платили половину добычи в казну; но Югов стоял за треть. Сенат решил доложить императрице с мнением, что следует отдать Югову с товарищами из третьей части.

Сенат представил императрице и другое мнение относительно мануфактурной промышленности: люди и крестьяне на фабриках положены в подушном семигривенном окладе, и этот оклад они должны платить из заработных денег; но заработная цена платится малая, только для пропитания, чтоб не возвысить цены сукнам при казенной поставке; следовательно, подушного оклада из нее платить нельзя, и работники за скудостью разбегутся. Фабриканты платить за них также не могут: казна платит за сукно по 58 копеек, а за каразеи – по 14 1/2 аршина, и от повышения цены на материал фабрики приходят в крайнее разорение. Третьяков за долги всего имения лишился; фабриканты поэтому не могут ничего прибавить к заработной плате, и если за сукно им прибавки не будет или мастеровые люди не будут освобождены от подушного оклада, то они принуждены будут фабрики закрыть. По мнению Сената, так как сукна и материалы долгое время в одной цене стоять не могут, то следует на сукна цену возвысить, чтоб из этой прибавки подушные деньги могли платиться бездоимочно; кроме того, с фабрикантов, поставляющих сукна в казну, не брать рекрут и лошадей. Для поддержания московской шляпной фабрики Черникова и Сафьяникова, поставлявших шляпы на армейские полки, запрещен вывоз из России за море бобрового пуху; запрещено во всей России, кроме их фабрики, делать пуховые шляпы; позволено делать только шерстяные шляпы; Черников и Сафьяников обязались выделывать на продажу ежегодно до 8000 пуховых шляп.

Разбои тогда только и затихали, когда государство употребляло значительные военные силы против них; когда же в описываемое время войска должны были стягиваться к западным границам, то о разбоях опять становится слышно; по Оке снова собираются шайки человек по сорока, выше и ниже Переяславля Рязанского. Из Перми пришло известие, что разбойники разбивают крестьян станицами в 40 человек; по Каме проехали воры в двух стругах; в другом месте показались воры конные и пешие человек с 50; в третьем месте – 25 человек; в четвертом – 56 человек с ружьями и штыками разбили строгановское село Рождественское и вовсе разорили; в пятом месте пришло с 30 человек, сожгли двоих крестьян и прочих жгли и грабили. По реке Сиве явились воровские партии человек до 80, жгли деревни и намеревались разграбить село Серапуль, обыватели в страхе покинули дома и скитаются по лесам; умножались также воры в Соликамском и Чердынском уездах. В городах не только некого послать для преследования, но и городов самих охранять нечем, если разбойники вздумают напасть на них, как уже и случилось с Кайгородком: 42 разбойника приплыли под него и разграбили денежную казну. Шайки получили вождей в старых опытных разбойниках: с казанского тюремного двора ушло 20 человек колодников, убийц, разбойников и беглых с каторги, подкопавшись под стену.

В некоторых местах крестьяне боролись с военными командами по наущению разбойников. Премьер-майор Веревкин и поручик Павлов донесли Сенату: посланы они были против крестьян Боровенского монастыря, воров и разбойников Моисея и Полуехта Никитиных с товарищами, забрали 79 человек и провели в Гжацкую пристань, да прежде взято 10 человек, прочие укрываются; захваченные крестьяне объявляют, что они командам троекратно сопротивлялись,

посланных против них солдат били и ружья отбивали по приказу Никитиных, потому что в 1744 году была прислана команда для взятия их крестьян ко взысканию за держание беглых. По поводу забранных нужно еще забрать много, ибо в сопротивлении было более 700 человек; следствие скоро окончиться не может, и вотчина может прийти в крайнее разорение. Сенат приказал возмущившихся крестьян разделить на три части: от 15 до 20 лет – бить батожем, от 20 до 40 – плетьюми, от 40 и выше, которые в службу негодны, пущих заводчиков – кнутом, а прочих – плетьюми и взыскать с них издержки командирования и за испорченные ими ружья.

С весною по рекам разъезжают разбойники; с весною в городах пожары и вслед за пожарами жалобы на полицию и магистраты. 27 апреля в Твери во время большого пожара воевода с товарищем и секретарь до конца находились безотлучно; обыватели и ямщики не помогали; тогда воевода собрал рекрут и потушил пожар с великой трудностью. Хотя определенный главною полициею в Тверь прапорщик Тархов полицмейстером и числился, только в Твери никогда не бывал, жил в деревнях своих, и хотя в отсутствие Тархова полицейское правление находилось в ведомстве магистрата, только никакого исполнения не было. Беда могла грозить не от одного пожара в городах: московская полиция доносила, что на Кожевном дворе, ниже Каменного моста, отвалились от стены городовые зубцы числом 12 и упали на обывательские дворы, причем задавили младенца до смерти да двух человек поранили; также по Кремлю, Китаю и Белому городу городовые стены и башни в немалой ветхости; у Яузских и Всесвятских ворот городовые стены упали, отчего учинились и смертные убийства; у Сретенских ворот башня первая в крайней опасности, Мясницкие ворота в немалую ветхость пришли, и проезжать в них опасно. Сенат приказал поручить починку означенных ветхостей коллежскому асессору Попову, который должен был находиться в ведомстве московской губернской канцелярии; производить работы он должен был вольнонаемными людьми чтобы обошлось дешевле подрядного, если же нельзя вольнонаемными, то подрядами.

В столице полиция только тогда донесла об опасности, когда отваливающиеся от стен камни убили ребенка; тверской полицмейстер живет в деревнях своих, и воевода должен исполнять его обязанности; важно для области иметь деятельного воеводу, который в опасном случае не сошлется на разделение должностей, на самом деле не существующее. Умер в Туле воевода Маслов; разных чинов люди тульской провинции и помещики подали две челобитные; в одной, подписанной 23 человеками, просили назначить воеводой воеводского товарища Лопатина; в другой, подписанной 21 человеком, просили Ивана Маслова. Сенат отказал и назначил из представленных Герольдмейстерскою конторою кандидатов Квашнина-Самарина. Непристойные поступки воеводы в пьяном виде имели следствием удаление его от воеводской должности; но вообще смотрели на это не очень строго. Так, белевский воевода Шеншин, будучи в компании и напившись пьян, обижал словами дам, придирался к мужчинам, потом велел ударить в набат, встревожил всех жителей, по его приказанию схватили на улице подпоручика Возницына, жестоко избили, шпагу изломали и посадили в тюрьму. Императрица простила Шеншина и велела определить его к делам, к каким годен, кроме воеводства, и велела Сенату впредь такие самовольства воеводам запретить.

Относительно коллегий замечательно в описываемом году донесение прокурора Юстиц-коллегии, что в ней советниками Сабуров и Юшков, ассессорами Тарбеев и Извеков. Извеков определился в дворцовую контору и с того времени в Юстиц-коллегию не ездит, отговариваясь делами дворцовой конторы; Тарбеев по болезни не ездит; Юшков ездит чрезвычайно редко; остается Сабуров, который один спорных дел решить не может, и дела в коллегии остановились.

Духовная коллегия (Синод) продолжала жаловаться Сенату на притеснения новообращенным. Известный Ярцев доносил: Курмышского уезда новокрещенные чуваша бьют челом, что по указу императрицы Анны велено им для суда в малых делах выбрать между собою трех человек и судиться словесно, как производится суд между купцами в таможенных, и у них такие выборные старосты есть; но, несмотря на указы, всяких чинов люди делают им великие обиды и разорения, а курмышская канцелярия привлекает их судом и расправою между собою в ссорах, долгах и т.п. и держит их под караулом, отчего им убыток; а они не только приказных порядков не знают, но и по-русски говорить не умеют; теперь они желают для лучшего своего охранения и в малых делах разбора разбираться у курмышского посадского бургомистра Брюханова, потому что он человек добросовестный, богобоязненный и всегда их по бедности награждает, ссужает всякою ссудою и чувашский язык знает довольно. Сенат приказал: исполнять указы, а о том, на что имеются точные указы, утруждать Сенат весьма не надлежало; о обидах же произвести следствие.

Были и старокрещенные народцы, на которых светское правительство указывало Синоду как на полудиких, требующих снисхождения относительно требований христианской нравственности. Воронежская консистория потребовала к следствию сына донского атамана Данилы Ефремова старшину Степана Ефремова и других незаконно женившихся людей. Военная коллегия донесла по этому случаю Сенату, что люди Донского войска не похожи на внутренних регулярных народов, весьма не обычны к правам и регулам, но больше застарелого простого обхождения и обычаев; а так как правит. Синод требует отсылки в архиерейскую консисторию атаманского сына, который там между другими знатными старшиною, то Военная коллегия сама собою сомневается так строго поступить.

Из дел по церковным отношениям замечательны были в этом году два следующие. Медицинская канцелярия донесла Сенату, что в московском госпитале Экономическая синодская канцелярия не делает никаких починок, отчего больные претерпевают великое беспокойство, в пользовании больных остановка и невозможность, и больных принимать нельзя, потому что в палатах, где лежат больные, и в ученических бурсах окончины и печи очень ветхи, топить их опасно; также и строение, где живут служители, очень ветхо; иное и попадало, а в ином зимою жить нельзя. Синод отписывался, что его Экономическая канцелярия не обязана делать починки в госпитале: указа для этого нет; хотя по указу Петра Великого госпиталь построен из сборов Монастырского приказа, но, чтоб его чинить из сборов того же приказа, не изображено, а в табели 1710 года не написано, а положено в той табели только жалованье доктору с товарищи и на покупку лекарств 3797 рублей, что из доходов Экономической канцелярии и производится.

Учреждены вновь три епархии: Московская, Переяславская, Костромская, и еще назначено быть Владимирской и Тамбовской; на содержание архиереев и домов их отданы монастыри: московскому Чудов, переяславскому Горицкий, костромскому Ипатский, и потому доходы с этих монастырей, платившиеся в Экономическую канцелярию, выбыли; на починку ветхостей в архиерейских домах, соборных церквях, монастырях Экономическая канцелярия определила не только на настоящие 1744, 45 и 46 годы, но за неимением такой большой суммы и на будущие 47, 48, 49 и 50 годы более 30000 рублей, и еще Экономическая канцелярия представляет о крайних ветхостях во многих монастырях, а на исправление их по сметам архитекторским потребно более 60000 рублей; итак, починки госпиталя из доходов синодальных исправлять никак не следует, а имеется на содержание госпиталей собственная, с вечных памятей собираемая в Военную коллегия сумма, и требует св. Синод, чтобы госпитальную починку и постройку производить из этих лазаретных денег. Но Сенат приказал в св. Синод сообщить ведение, что госпиталь исправить надобно непременно из доходов Экономической канцелярии в непродолжительном времени, чтобы больным от стужи не помереть, ибо если уже госпиталь строен на деньги Монастырского приказа и содержится на деньги Экономической канцелярии, то и чинить его надобно из тех же доходов.

Мы знакомы уже с вятским епископом Варлаамом, который вышел невредим из дела по столкновению своему с воеводою и возвратился в свою епархию. Но по поводу этого возвращения Сенат снова должен был услышать о Варлааме. Пыскорского монастыря стряпчий Карпов объявил, что в монастыре было денег, собранных с мельниц, 1030 рублей. Епископ Варлаам наложил на Пыскорский монастырь 600 рублей для вознаграждения за употребленные им в Петербурге и Москве расходы и путевые издержки; но так как подобных платежей никогда не бывало, то монастырь денег не отпустил, за что архимандрит взят был в Вятку и отпущен только по указу из Соляной конторы, ибо монастырь владел солеварнями, находившимися в ведении Соляной конторы. Так как для управления соляными монастырскими промыслами назначено было особое комиссарство, то архимандрит отослал туда же и мельничные деньги вместе с приходными книгами; за это консистория наложила на архимандрита штраф в 50 рублей, велела потребовать книги из комиссарства обратно и запретила впредь отправлять туда деньги и книги. Епископ Варлаам приехал в монастырь, денег и штрафа спрашивал, и хотя ему поднесено было в почесть 200 рублей, да пушным товаром и прочими вещами 40 рублей, да бывшим при нем духовным и светским лицам 106 рублей, только он мельничные деньги и штраф взыскивал, угрожая жестоким наказанием, и из оставшихся от расхода мельничных денег 477 рублей забрал себе, причем бил казначея плетьюми так жестоко, что тот лежал без памяти; архимандрит дал архиерею своих и заемных еще 50 рублей.

Внутреннее состояние России, особенно состояние финансов, представляло явления, которые могли дать повод иностранным посланникам толковать о слабости этой державы. В самом начале года Дальон писал Даржансону, что Россия слаба, что королю прусскому нечего ее бояться. Но любопытен ответ Даржансона. «Фридрих II другого мнения, – пишет министр, – потому что больше чем когда-либо боится поспорить с Россией и навязать на свою шею силы этой державы. В 1733 году Россию также представляли бессильною, стараясь побудить

нашего короля к доставлению польского престола тестю своему Лещинскому; но потом оказалось, сколько Россия могла сделать в Польше и Германии, доведя войска свои до самого Рейна; и в скором времени та же самая держава взяла такой верх над турками, что если бы венский двор умел держать себя только в оборонительном положении, то турки в одну кампанию могли бы потерять все свои европейские владения».

Даржансон недаром пророчил о новом походе русского войска к Рейну. Успехи французов в австрийских Нидерландах и опасность, какую грозили эти успехи голландцам, заставили морские державы снова попытаться, нельзя ли склонить Россию на более сходных для них условиях дать им свое войско, причем выставлялось, что это будет единственным средством ускорить всеобщее замирение Европы. В самом конце 1746 года возобновились переговоры о «перепущении» русского войска для морских держав. 8 декабря лорд Гиндфорд подал об этом промеморию; 22 декабря дан ему ответ с согласием на перепущение войск и с объявлением условий, относительно которых Гиндфорд отвечал, что дорого просят. Тогда 29 декабря в Зимний ее величества дом перед полуднем приглашены были для совещания генерал-фельдмаршал Леси, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов и член коллегии Иностранных дел тайный советник Веселовский. В это заседание выслушаны были только относящиеся к делу бумаги, после чего во втором часу разошлись; а после обеда, в 6-м часу, собрались опять, уже впятером, потому что по воле императрицы явился генерал кригс-комиссар Апраксин, для которого снова прочитаны были все бумаги; после рассуждения составили проект конвенции. Тридцать тысяч русского войска, по мнению фельдмаршала Леси, должны были действовать на Рейне вместе с союзниками. Идти они должны были от Курляндии чрез Литву и Польшу на Краков в Силезию по маршруту, данному австрийским посланником бароном Бретлаком, одною дорогою, разделяясь на три колонны. Проход чрез Польшу в 162 мили, полагая на третий день роздых, продолжится не меньше трех месяцев; на содержание корпуса против внутренних цен надобно положить вдвое, и потому выйдет на три месяца 145525 рублей 83 коп.; надобно, следовательно, требовать у английского двора уплаты наперед 150000 ефимков наличными деньгами, чтоб для приготовления провизии и фуража в Литву и Польшу прежде вступления туда войск могли быть отправлены нарочные комиссары; а если эта сумма английскому двору покажется велика, то пусть пришлет своих комиссаров, которые будут заготавливать и выдавать войску провизию и фураж. В землях римской императрицы продовольствие войскам должно быть приготовлено также от английского двора или от римской императрицы, по их соглашению. Войска отпускаются на два года, считая с выступления их за границу, если мир будет заключен до этого срока, то войска отпускаются ранее назад, в Россию; если же нужно будет удержать их долее срока, то об этом дастся знать за полгода до истечения двух лет для новых соглашений. Если английский двор не примет войска на этих условиях, то императрица соглашается содержать на лифляндских границах от 80000 до 90000 регулярного войска во все время продолжения настоящей войны и 50 галер в Курляндии с 12000 войска за полмиллиона голландских ефимков. Начальником корпуса назначен был генерал-фельдцейгмейстер князь Василий Репнин, для которого фельдмаршал Леси написал инструкцию.

Между тем прошло два месяца – январь и февраль 1747 года, и 12 марта Гиндфорд прислал промеморию, что после подания им первой промемории (8 декабря) пропущено несколько недель понапрасну, что войско не может выступить в поход заблаговременно и может быть употреблено только на половину кампании; кроме того, данные парламентом королю деньги на субсидии текущего года по большей части уже издержаны на наем войска в других ближайших местах, и потому король желает заключить другую конвенцию, а именно чтобы Россия обязалась в течение 1747 года держать тридцатитысячный корпус войска на курляндских и лифляндских границах, 12000 в Курляндии и 18000 на лифляндских и литовских границах, сверх того 60 галер в курляндских портах, чтобы все это готово было действовать по первому требованию английского короля, который обязывается на этот год одновременно заплатить 100000 фунтов стерлингов, как скоро ратификации будут разменены. Если же войска действительно должны будут выступать в поход, то о содержании их должно быть дальнейшее соглашение.

Канцлер переслал промеморию и проект конвенции в коллегия на рассмотрение, давая знать, что императрица вообще согласна на конвенцию, но что по его, канцлерову, мнению согласиться на содержание войска в Курляндии нельзя, а надобно выразиться так, что войско пробудет там до тех пор, пока будет возможно, ибо со стороны поляков могут быть сильные крики. Члены коллегии Воронцов, Юрьев и Веселовский подали мнение, что в английском проекте очень темно сказано, «чтоб по первому требованию короля войска и галеры готовы были действовать». Необходимо знать, одним ли русским войскам действовать или вместе с союзниками и под каким именем, вспомогательных войск или данных за 100000 фунтов, также в каком месте должны действовать, а без точного знания всех этих обстоятельств глухо обязываться на письме кажется непристойно. Также и то надобно выговорить в конвенции, что если будет заключен мир между Франциею и Англиею, то деньги все же должны быть заплачены и войска с галерами не были бы понапрасну продержаны целый год. Недолжно обязываться держать войска и галеры в Курляндии, не имея права держать войска в чужой земле: и так уже поданы курляндцами горькие жалобы по поводу введения только трех полков. Наконец, надобно постановить, что в случае нападения на Россию с какой бы то ни было стороны можно было взять эти 30000 войска и галеры.

Тогда Бестужев подал свое «слабейшее мнение, которым он по поводу вице-канцлерова и обоих тайных советников мнения ее императ. величество поневоле утруждать принужден». «Вице-канцлер и тайные советники не заметили, – говорит Бестужев, – что в проекте ясно сказано: если войску понадобится выступить в поход нынешним годом, то о содержании его должно быть дальнейшее соглашение, прямо поэтому следует, что войска прежде в поход не выступят, пока не будут определены условия, как их содержать. Вице-канцлер и тайные советники хотят постановлять, чтобы деньги были заплачены, если бы даже и мир был заключен; но в проекте прямо сказано, что деньги выплачиваются немедленно после ратификации, и потому, что хотя бы мир заключен был по прошествии одного или двух дней по размене конвенции, деньги были бы выданы. Если же они думают, что хотя бы мир был заключен во время переговоров о конвенции, однако 100000 фунтов должны быть заплачены за одно сочинение контрпроекта, то английский двор не был бы так прост, чтоб стал давать деньги

даром, а между тем утвердился бы в своем мнении, что здесь никакого дела к концу приводить не хотят. Если из уважения к королю прусскому войска от границ совершенно отвести и ему невозбранный путь в Лифляндию очистить, то это будет несогласно с интересами вашего императ. величества; чтоб не вносить в конвенцию о содержании войск в Курляндии – это было мое мнение. Но если принимать в уважение горькие жалобы курляндцев, то русским войскам никогда из своих границ трогаться нельзя будет; Петр Великий, невзирая на все их прошения и жалобы, не только войска свои там содержал, но и шведам сражения давал.

Что же касается до совета выговорить, чтоб в случае нападения на империю эти 30000 войска могли быть отведены от границ, то это противно прежнему решению, объявленному Англии, что ваше величество соглашаетесь содержать на границах от 80000 до 90000 войска во все продолжение войны, а теперь английский двор за 30000 войска предлагает почти такую же сумму, какую согласились взять за 90000. Разве вице-канцлер и тайные советники предварительно уверены в праводушии и миролюбивых чувствах короля прусского, что он русские области всегда в покое оставит? Хотя бы ваше величество со Швециею, Турциею или Персиею в войне были, то, по моему слабому мнению, необходимо до того времени, пока у короля прусского не будет миролюбивого преемника, иметь на лифляндских границах до 30000 войска, дабы в случае какого замысла со стороны Пруссии хотя первое нападение выдержать». 29 марта Гиндфорду было объявлено, что императрица согласна на новую конвенцию с одним условием, чтоб в случае польских криков войска могли быть отодвинуты из Курляндии в Лифляндию. Английский двор принял это изменение, и 12 июня последовала ратификация.

24 августа Гиндфорд вручил канцлеру новую промеморию, в которой предлагалось отдать тридцатитысячный корпус русской пехоты на жалованье морским державам, обеим вместе или одной из них отдельно, для употребления на Рейне или в Нидерландах, с тем чтобы прежняя конвенция 12 июня оставалась ненарушимой, т.е. чтобы 30000 войска находились по-прежнему на лифляндских границах. Затем 12 сентября Гиндфорд объявил, что он получил от своего двора приказание договариваться непременно вместе с голландским резидентом Шварцом, ибо войска должны быть даны Англии и Голландии вместе. Императрица велела отвечать, что согласна на это, но с условием, чтоб отправленный корпус всегда действовал нераздельно, и если одна из держав захочет отстать, то другая исполняет все обязательства, именно выплачивает в год по 300000 фунтов, всегда за 4 месяца вперед наличными деньгами; кроме того, морские державы обязаны выдать тотчас по размене ратификаций в Риге наличными деньгами 150000 голландских ефимков для содержания войска во время прохода его чрез Польшу; а когда корпус дойдет до границ Верхней Силезии, тогда морские державы возьмут его на свое содержание, будут доставлять припасы натурою на пищу людям и лошадям, именно каждому солдату ежедневно по два фунта хлеба, по фунту мяса или в постный день рыбы, по 1/4 фунта круп, на каждый месяц по два фунта соли, а на каждую лошадь в день по 6 2/3 фунта овса или по 16 2/3 фунта сена; кроме того, квартиры на зиму и дрова должны быть доставлены безденежно.

Морские державы приняли эти условия, и 4 декабря Военной коллегии дан был секретный указ, что для поддержания европейского равновесия и ускорения мира Россия посылает морским державам тридцатитысячный корпус для действия на Рейне, Мозеле или в Нидерландах; этот корпус должен состояться из полков, находящихся в Курляндии, Лифляндии и Эстляндии, и должен выступить в поход в последних числах января будущего 1748 года под главным начальством генерал-фельдцейхмейстера князя Репнина. Так как нынешние обстоятельства европейских дел необходимо требуют, чтоб по вступлении в поход означенного корпуса на лифляндских границах и в Курляндии наших войск оставалось не меньше, как прежде было, но по возможности и более, то на место отправляемых перевести столько же из находящихся при С.-Петербурге и около его полков и новоучрежденных батальонов, также из Выборга, а в Выборге дополнить новоучрежденными батальонами; к находящейся в Пскове тысячной команде прибавить еще к лифляндским границам 3000 донских казаков да из слободских и малороссийских по тысяче самых исправных.

Какое важное значение придавали в Англии этому договору морских держав с Россией, видно из следующих слов в письме английского посланника в Константинополе Портера к лорду Гиндфорду: «Я должен начать поздравлением с успехом в важном деле отправления русских войск. Этот шаг спасает все и принуждает неприятеля к уступчивости; вашему превосходительству будет принадлежать бессмертная честь за обращение весов войны или мира в нашу пользу».

Легко понять, как в Вене дорожили утвердившимися дружескими отношениями к России. В феврале посол Марии Терезии барон Бретлак подал грамоту, в которой его императрица писала к своей «многочестивой приятельнице и сестре», что хочет распространить драгоценную дружбу Елисаветы и на свое потомство, а так как время к разрешению ее от бремени приближается, то она просит русскую императрицу быть восприемницею имеющего родиться ребенка. Родился эрцгерцог и назван Петром (Петр Леопольд Иосиф).

У Австрии по-прежнему не ладилось с Саксониєю, а Саксония становилась очень нужна союзникам. 18 декабря Мих. Петр. Бестужев-Рюмин объявил графу Брюлю в крайней конфиденции о заключении морскими державами конвенции, в силу которой им посылается тридцатитысячный корпус русского войска; этот корпус в январе будущего года вступит в поход чрез Литву и Польшу. О пропуске его морские державы будут просить позволения; и в свою очередь императрица надеется, что так как русские войска отправляются для общего блага всей Европы и для скорейшего прекращения настоящей войны, то король проходу этих войска не только побудет противен, но еще будет содействовать успеху требования морских державу Речи Посполитой, несмотря на домогательства французского двора о непропуске их; императрица надеется, что король предпочтет русский, венский и лондонский дворы французскому. Брюль отвечал, что король для оказания императрице особенного внимания и дружбы сделает все, что от него зависит и сколько пристойно и возможно, чтоб не подать полякам на себя подозрения. Бестужев писал, что французский посол в Дрездене употребляет все способы для воспрепятствования пропуску русского войска, а резидент французский в Польше Кастера интригует там с тою же целью. На просьбу

английского посланника о пропуске войска король отвечал, что без согласия всей Речи Посполитой он ничего сделать не может. Чтобы получить согласие Речи Посполитой, надобно было получить согласие значительнейших вельмож. Вице-канцлер коронный с жаром отвечал Бестужеву, что от прохода русских войск беспорядки и убыток будут жителям, как случилось и во время прохода из-под Хотина. Бестужев возражал, что во время хотинского похода беспорядки были от нерегулярных войск, но и за то жители получили вознаграждение, а теперь нерегулярных войск не будет. Вице-канцлер говорил, что не все потерпевшие получили удовлетворение; Бестужев повторял, что назначенные в нынешний поход войска все будут покупать на чистые деньги и будет за ними строгий надзор, чтоб не позволяли себе никакого насилия. Граф Брюль, бывший при этом разговоре, сказал со смехом, что желал бы иметь теперь деревни в Польше, потому что от похода русских войск получил бы большие деньги. Наедине Бестужеву Брюль говорил, что поляки по своему обычаю поднимут большой крик и шум против похода, но покричат да и перестанут; опасно одно, чтоб не устроили конфедерации по французским и прусским наущениям.

В Польше по-прежнему тянулось бесконечное дело о притеснениях православных католиками и униатами, дело чрезвычайно трудное, как видно из донесений русского резидента в Варшаве Голембовского. На последнем сейме было постановлено составить комиссию, на которой должно было выслушать все жалобы православных и удовлетворить им. Бестужев и Голембовский думали, что они сделали все для православных, и вдруг узнают, что православные вовсе не довольны комиссиею и вовсе не готовы явиться на нее. Голембовский в сильном раздражении писал императрице жалобу на белорусского епископа Волчанского, который будто бы выставляет разные неосновательные затруднения, стараясь уклониться от комиссии, а слуцкий архимандрит Оранский пишет, что другие игумены не дают ему никакого ответа на его внушения и не хотят быть послушны указам киевского митрополита. Таким образом, писал Голембовский, можно понять, какую они все оказывают охоту явиться в комиссию с теми жалобами, которыми они беспрестанно утруждали ваше величество и о которых королю и министрам так много внушено; однако без этого они не могут получить никакого удовлетворения и привести свои дела в лучшее состояние. Громадная переписка посла Бестужева и моя свидетельствуют ясно, что с нашей стороны все сделано; теперь они сами должны приняться за дело, и я очень боюсь, что если они в назначенный срок не явятся на комиссию со своими жалобами и доказательствами, то магнаты, которые нарочно приедут издалека в Варшаву для комиссии, рассердятся и отложат комиссию в дальний ящик или совсем оставят, объявив все жалобы и претензии православных ложными, мало того, неявившихся, как непослушных подданных, приговорят к какому-нибудь штрафу; тогда уже мы с послом лишимся всякой возможности в чем-нибудь помочь им.

Но выслушаем и другую сторону, что нам легко сделать, ибо Голембовский переслал в Петербург письма епископа могилевского. «Вы меня спрашиваете, — пишет епископ, — приготовлен ли к предстоящей комиссии список обидам и озлоблениям, также имели ли мы с архимандритом слуцким и другими начальными людьми монастырей и братств совет и соглашение насчет приготовления доказательств, основанных на правах и конституциях, и уполномоченные на комиссии в состоянии ли вести порученные им дела? На это

как прежде отвечал, так и теперь отвечаю: 1) что я во всей моей епархии не имею ни одного способного к тому человека, потому что кто и где мог научиться правам? Ни в Польше, ни в Литве никого из наших ни в школы, ни в канцелярии не пускают; а католик хотя бы и мог за это взяться, но боится отлучения от церкви, как я уже несколько раз пробовал; у нас даже нет человека, который бы мог искусно написать позыв к суду и полномочие. 2) Звать к суду трудно, потому что в Польше крестьяне не могут жаловаться на своих господ, равно как духовные на землевладельцев, в имениях которых находятся их церкви. В позывах надобно точно показать, от кого именно какие были обиды, а когда помещик прочтет такие позывы, то попа и холопа прежде комиссии велит повесить или убить. В Польше что жбан, то пан, шляхтич на загороде равен воеводе и одним правом с ним судится; а магнаты здешние всегда вольное право над своими подданными имеют, не так, как в абсолютных государствах, в которых господину и крестьянину одинакая справедливость. Они не очень испугались универсала, выданного из королевской комиссии, и какие делали прежде, такие и теперь продолжают делать обиды, церкви на унию отнимают, священников бьют, вяжут и обидают.

Например, если послать позывы к князю воеводе русскому за насильное отнятие на унию церковей в графстве Шкловском, а к Сапеге за отнятие церковей в графстве Домбровенском, то, значит, обоих этих знатных магнатов прежде озлобить, а потом у них же на других справедливости просить, ибо они оба в комиссию судьями определены? Также надобно будет позвать в суд князя подканцлера литовского, Огинского, воеводу витебского, Соллогуба, воеводу бржеского, и Сапегу, воеводу подляшского, с которыми так же трудно тягаться, как трудно защитить себя от громовой стрелы. Не только ни одно духовное лицо не может явиться в комиссию со своими жалобами, но и ко мне являться с жалобами им запрещают; духовенство боится бывать у меня и со своими церковными нуждами; а которые прежде письменно доносили мне о своих обидах, то теперь очень об этом жалеют, боясь за свое здоровье и жизнь, видя пример священника расенского Цитовича, который для сохранения жизни оставил церковь, дом, жену и детей, ушел в Могилев, скитается здесь теперь и для спасения от смерти сбирается уйти за границу. Огинский, надворный маршалок литовский, в нынешний проезд свой в Вильну для открытия трибунала заехал в Борисов, где приказал всем обывателям стать пред собою, склонял их к унию и наконец приказал борисовскому своему подстаросте, что если кто подаст мне жалобу на религиозное гонение, то для таких челобитчиков поставить колья и виселицы, причем запретил починку церкви и колокольни, венчание, крещение младенцев и прочие обряды. Сам он министр государственный и все права знает, однако ж поступает против них. Таким образом, и другие, когда будут раздражены нынешними позывами, еще больше озлятся и нашу религию в своих местностях совсем искоренят. Комиссия на время, а господин всегда господином останется».

Оранский, архимандрит слуцкий, писал то же самое: «Перо выпадает из рук, ибо не знаю, что написать вам насчет людей, искусных в правах. И сам Диоген со свечою такого человека между нашими духовными не сыщет, ибо между ними большая часть таких, которые только имя свое подписать умеют. В последнюю бытность мою в Варшаве мнение графа Бестужева было, чтоб об этом представить высшей команде и просить сыскать двоих пленипотентов, совершенно искусных в правах польских, и заключить с ними контракт. Поэтому прошу вас повторить

вышней команде прошение об этих двоих пленipotентах, иначе никакого успеха от комиссии ожидать нельзя».

Голембовский написал Огинскому с выговором за его поступок, обозначенный в письме Волчанского, причем напоминал ему о благодарности, которою он обязан за милости императрицы. Огинский отвечал ему наглым письмом: «На ваши выговоры я отвечаю умеренно и без оскорбления вашей особы, с выражением, однако, удивления, что вы, будучи уже совершеннолетним, дали себя обмануть баснями Волчанского, который забавляется донесениями о таких делах, каких никогда не бывало, с явным намерением нарушить мир, господствующий между обоими государствами. Увлечшись излишнею доверчивостью, вы заносчивым слогом упрекаете меня в неблагодарности и других качествах, от которых я далек по природе моей. Пусть эта ложь останется при том, кто ей верит и кто ее выдумал. Я питаю всякую благодарность к пресветлейшей государыне, подданных своих имею право наказывать и стращать как хочу и в этом ни у кого спрашиваться не обязан; дело же веры принадлежит одному богу, который сам просвещает совесть. Соизвольте предпочесть мою правду пустым донесениям».

Вместо того чтобы рассердиться на Огинского, который позволил себе отделаться одною наглостью, не привел ни одного доказательства в свою пользу и подтвердил только показание Волчанского словами: «Подданных своих имею право наказывать и стращать как хочу и в этом ни у кого спрашиваться не обязан», – вместо того чтобы рассердиться на Огинского, Голембовский рассердился на Волчанского и жаловался на православных духовных, что они «преждевременными и часто весьма неосновательными жалобами сами возбуждают ненависть к себе, а нам причиняют беспокойство, нас из-за них обвиняют в легковерии». С такими жалобами Голембовский обращался в Петербург и в своих сношениях с западнорусским духовенством не скрывал своего неудовольствия на него. Тогда епископ Волчанский обратился в Синод с жалобой на резидента как на неверного слугу государыни; Синод принял сторону епископа, и резидент получил предписание не беспокоить более духовенства своими наставлениями, не вмешиваться в его дела, разве оно само потребует его помощи. Дело о комиссии кончилось по желанию духовенства: из Дрездена пришел приказ королевский, что комиссия откладывается до приезда самого Августа III в Варшаву. Понятно, что православные могли получить удовлетворение не от какой-нибудь польской комиссии, а только от русского комиссара, каким был Рудаковский, присланный отцом Елисаветы. Но теперь обстоятельства были не те: хотели противодействовать прусскому влиянию в Польше, хотели провести чрез ее земли войска и потому не хотели ссориться с поляками.

В Берлине ничего не выиграли от удаления Чернышева, ибо его место занял вызванный из Франкфурта Кейзерлинг, известный враг франко-прусской политики. От 7 февраля Кейзерлинг известил свой двор об аудиенции, которую он имел у Фридриха II в Потсдаме. Кейзерлинг начал тем, что истинное намерение императрицы – ненарушимо сохранять дружбу между обоими дворами и усиливать ее, для чего он, Кейзерлинг, и прислан. Король отвечал, что и он ничего так не желает, как еще больше затянуть этот узел дружбы, признавая драгоценность последней. Кейзерлинга пригласили к столу, оставили ночевать в

Потсдаме и на другой день опять пригласили к столу. На место Мардефельда в Петербург отправлен был министром граф Финкенштейн, о котором Кейзерлинг прислал не очень лестные отзывы как о мастере подольщаться и всякого привлекать на свою сторону, интригане, человеке лживом, необразованном и небольшого ума и потому употребляющем мелкие средства.

И в Петербурге мало выигрывали от смены Мардефельда Финкенштейном. Первым делом нового посланника было сблизиться с Воронцовым, которого в депешах своих он обыкновенно называет «важным приятелем». От 3 июля он писал королю: «Я нахожу здесь дела в самом неполезном состоянии для интересов вашего величества. Канцлер остается все тот же относительно вашего величества; но хуже всего то, что он теперь сильнее и пользуется большим против прежнего доверием императрицы. Он так хорошо воспользовался всеми обстоятельствами, случившимися по отъезде барона Мардефельда, что неприятелям его ничего другого не остается делать, как держать себя в оборонительном положении и ожидать лучших времен. Подкуп канцлера кажется мне делом очень трудным, даже невозможным, ибо при его пламенном усердии к делу союзных дворов можно было бы только подать ему этим новое оружие в руки, которое он стал бы употреблять против вашего величества. По моему убеждению, я должен вести себя так, чтоб не подать ему ни малейшего повода ко мне привязаться; я должен оказывать ему уважение, притворствоваться и не возбуждать ни малейшего подозрения, что я нахожусь в каких-либо сношениях с его врагами, а между тем под рукою входить с ними в соглашения, каким бы образом предупредить и отвращать удары, которых от него всегда должно опасаться, и с терпением ожидать, пока фортуна утомится служением злодею».

Вскоре затем Финкенштейн доносил, что дружба между «важным и смелым приятелями» (Воронцовым и Лестоком) неизменно очень велика; они нашли способ приклонить на свою сторону тайного советника Веселовского, самого умного человека в России и знающего тайны канцлера. Смелому приятелю Лестоку Финкенштейн дал денег, и тот просил обнадежить короля в его усердии.

В августе важный приятель рассказал Финкенштейну, что канцлер со своею шайкою обвиняет его, Воронцова, будто бы он все тайны открывает прусскому королю; чтоб дать большую силу этому обвинению, они несколько смягчают его, внушая, что вице-канцлер – человек честный и предан интересам государыни, но не умеет хранить тайны и, питая любовь к Фридриху II, иногда с самыми добрыми намерениями открывает такие дела, которые могут иметь важные последствия. Воронцов открыл также Финкенштейну, что последнее пребывание его в Петергофе дало ему возможность разговаривать о многих важных предметах с императрицею и открыть ей глаза относительно множества вещей, от чего она пришла в большое удивление; он указал ей на самовластие канцлера, который в коллегии один сам собою дела отправляет, не давая знать об них ни вице-канцлеру, ни другим членам. Он предложил императрице и способ сократить чрезмерную власть первого министра, именно дать ему указ все дела производить чрез коллегия и ни о чем не докладывать прежде, чем дело будет известно всем, кому об нем знать надлежит. Письменное мнение об этом Воронцова Елисавета оставила у себя, сказавши, что просмотрит его. В благодарность за такую откровенность Финкенштейн сообщил важному приятелю известие, что канцлеру приписывается обширный замысел, касающийся ниспровержения

наследственного порядка в России и восстановления принца Иоанна на место великого князя Петра Федоровича. Воронцов заметил на это, что канцлер в состоянии все предпринять.

Воронцов внушал Финкенштейну, чтоб тот был осторожнее в своих донесениях королю, потому что депеши его в цифрах могут перехватить, ибо для этого не жалеют труда. Финкенштейн сначала приписывал эти внушения трусливости вице-канцлера, но приведен был в крайнее изумление, когда тот рассказал ему содержание одной его депеши. Когда узнали об отправлении тридцатитысячного корпуса к Рейну, то Финкенштейн стал внушать Воронцову, нельзя ли склонить кого-нибудь из духовенства представить императрице с религиозной точки зрения непозволительность этой меры. Но Финкенштейн имел мало надежды на успех, ибо, писал он, канцлер держит большую часть духовенства в своих руках, так что оно чрез него обыкновенно делает свои внушения. Финкенштейн сообщил королю, что Воронцов подал мнение против похода на Рейн, но императрица не обратила на него внимания.

Фридрих II, обеспокоенный этою решительностью петербургского двора принять участие в войне, боялся, что может оказаться такая же энергия и относительно Швеции, и дал знать Финкенштейну, что это было бы противно интересам Пруссии.

В начале января шведский король объявил Корфу, что французская партия, по его мнению, не успеет провести прусского союза; если же она будет на это настаивать, то он никак не согласится и велит внести в протокол свой протест с подробным изложением причин, заставляющих его так действовать, и с указанием на присягу свою, которою он обязался пред государством. Король при этом высказал свое неудовольствие на слабость действий патриотической партии на сейме, что подвергло его самого опасности и заставило назначить сенаторами людей, ему неприятных, которые в тайном комитете предлагали потребовать у него отречения от короны за умеренную пенсию. «Прошу обнадежить императрицу, – заключил король, – что я никогда не отступлю от главного моего принципа – утвердить доброе согласие между обоими государствами». Корф заметил, что при настоящем положении дел императрица не может ожидать добра от большинства голосов в Сенате. Король отвечал, что на будущее время по русским делам будет подавать свой голос не иначе как письменно: это должно сдержать злые намерения большинства, которое подвергнется ответственности на сеймах. Корф нашел в наружности короля большую перемену к худшему и дал знать своему двору, что печаль от несчастного сенаторского избрания может иметь опасные следствия для здоровья короля.

Тайный комитет, не опасаясь теперь никакого противодействия со стороны Сената, вознамерился было дать инструкцию шведскому послу в Петербурге графу Барку, чтоб он ревностно защищал Тессина и переменил к нему отношения петербургского двора; если же это не удастся, то французская партия надеялась выиграть в том, что неприятный ей Барк возбудил бы этим против себя нерасположение императрицы. Но это намерение было оставлено, когда из Берлина пришли известия, что в России делаются сильные вооружения, не могущие иметь никакой другой цели, кроме войны шведской. Тогда решили, чтоб король написал грамоту императрице, выставил бы все свои старания о поддержании дружбы, но если вместо нее обнаруживается холодность между

двумя дворами, то виноват барон Корф, который вовсе поступает не так, как следовало бы поступать министру тесно союзного двора, а именно: не так часто бывает при дворе, как другие иностранные министры; о чем поговорит с королем, сейчас расскажет мещанам; подает мемориалы свои королю не чрез министерство, а чрез других особ; в этой же грамоте король должен был оправдать Тессина. Это подало повод в Сенате к жестокому спору между членами русской и французской партий. Король сказал, что он отечески советует Сенату не подавать русской императрице повода к жалобе на Швецию, прекратить торговлю хлебом, льном, пенькою, удержать субсидии – одним словом, предоставить Швецию ее судьбе. Но французское большинство объявило, что если король откажется подписать грамоту, то по уставам может подписать и кронпринц. Тогда король отвечал, что подпишет, слагая ответственность на Сенат.

Корф, объясняя свое поведение по поводу этой грамоты, писал императрице, что при королевском дворе он бывает часто, при дворе кронпринца реже, потому что там не обращают на него должного внимания, приглашают к столу, когда никто не приглашен из знатных, тогда как король всегда приглашает вместе двоих или троих сенаторов; вечером при дворе кронпринца все садятся играть в карты, а русский посланник должен разговаривать с каким-нибудь прапорщиком или поручиком. На придворных балах кронпринцесса до тех пор не танцует, пока Корф не отойдет прочь, чтобы только не танцевать с ним.

7 февраля собрался секретный комитет в чрезвычайном множестве членов, и бургомистр небольшого городка Эрегрунда Боберг потребовал, чтоб арестован был купец Спрингер за то, что во время сейма часто ходит в дом русского посланника, следовательно, замышляет что-нибудь опасное. Предложение это подало повод к жестоким и продолжительным спорам; но члены французской партии заперли двери и приступили к подаче голосов, рассчитывая на успех при своем большинстве, а между тем духовные встали и удалились с протестом. Когда большинством голосов решен был арест, то депутация секретного комитета, обойдя короля, который об этом ничего не знал, отправилась к кронпринцу с просьбою дать с гауптвахты офицера и 14 человек солдат для арестования Спрингера. Кронпринц, давно уже с нетерпением ожидавший этой депутации, немедленно дал караул, и Спрингера арестовали, захватили все его бумаги. Кроме Спрингера хотели схватить еще канцелярии советника Рангштета. Корф, зная, что арест человека, игравшего одну из самых видных ролей в русской партии, приведет членов ее в совершенное бездействие, тем более что они сильно уныли и от Спрингерова ареста, – Корф поздно вечером отправился к королю, объявил, какой слух в городе носится о Рангштете, и прибавил, что он принадлежит к русскому посольству, заведует хозяйством посла, ибо прочие служители, как иностранцы, по незнанию местных условий не могут вести выгодно хозяйство. Король в тот же вечер велел позвать к себе Пальмштерна и Горлемана и в присутствии генерала Шталя сделал им жестокий выговор. «Вы, – говорил он, – обнадружили меня словесно и письменно, что не предприимете ничего, что бы могло нарушить дружбу с русскою императрицею; а теперь вы позволяете себе такие поступки, в которых едва ли можете оправдаться. Арестование Спрингера, в котором я никакого участия не имею, я отдаю на вашу совесть; а теперь уже носится слух, что невинного Рангштета хотят также схватить на улице, хоть

известно, что он принадлежит к русскому посольскому дому и ни одному иностранцу не запрещено держать слуг из шведов».

На другой день король прислал к Корфу статс-секретаря Нолькена с объявлением, что слух о Рангштете неоснователен. Но Корф дал знать своему правительству, что французская партия хочет схватить крестьянского предводителя на сейме Гедмана, и писал по этому случаю: «Если члены французской партии этих трех человек достанут в свои руки, то намерены по примеру испанской инквизиции хитростью, насилством, обещаниями и угрозами, как они это сделали в 1741 году с бедным Гильденштерном, заставить того или другого оговорить сенаторов Окергельма, Левена и Цедеркрейца, также двоих надворных советников, Аркенгольца и Вормгольца, чтобы их можно было также арестовать, а за ними арестовать генералов Дюринга и Сталя, канцлера юстиции Сильфершильда, надворного суда советника Фрединштирна, молодого камергера барона Пехлина; тогда они легко могли бы управиться и с графом Белке, ниспровергнуть всю патриотическую партию, и ваше величество в рассуждении своего интереса уже ни на что положиться не могли бы, и потому надобно употреблять всякие способы у духовного и крестьянского чина, чтоб отвратить этот опасный подкоп. Кронпринц играл в карты, когда капитан гвардии Флемминг из тайного комитета сообщил ему, что из писем канальи Спрингера ничего нельзя извлечь для его обвинения. Принц переменялся в лице, карты выпали из рук; он велел позвать к себе Пальмштерна и долго с ним разговаривал».

Между тем, несмотря на силу французской партии, арестование Спрингера произвело сильное волнение, ибо здесь затронута была безопасность каждого; духовенство 22 голосами против 14 решило, что назначенные из секретного комитета в следственную комиссию над Спрингером три члена из духовенства не должны в ней присутствовать. Французская партия со своей стороны разгласила в народе, что в руках у секретного комитета список тех лиц, которые подписали просительное о вспоможении письмо к русской императрице. Это было сделано с тем, чтобы испугать членов русской партии и зажать им рот. Однако благодаря решению духовенства следственная комиссия над Спрингером не могла состояться. Тогда кронпринц решился на отчаянное средство: отправил в секретный комитет письмо, где все те, которые откажутся присутствовать в комиссии над Спрингером, названы бунтовщиками и государственными изменниками. Секретный комитет приказал предводителю (тальману) духовенства архиепископу созвать свой чин в чрезвычайное собрание, что и было исполнено; но когда предводитель изустно предложил, чтобы чин отменил прежнее свое решение относительно комиссии над Спрингером, ибо этого требует безопасность короля, кронпринца и государства, иначе духовный чин, по письму кронпринца, сделается виновным в государственной измене, то протопоп Серениус обвинил архиепископа в незаконности действия, ибо тот сделал такое важное предложение изустно, тогда как должен был представить извлечение из протокола секретного комитета. После сильных споров собрание разошлось, ничего не постановивши; но архиепископ самовольно приказал троим депутатам из духовенства присутствовать в комиссии. В это самое время Упсальский университет избирал нового канцлера вместо умершего графа Гилленборга; граф Тессин очень добивался этого почетного и влиятельного места, ибо большая часть молодого дворянства воспитывалась в Упсале; но университет выбрал сенатора Окергельма.

Чтобы не допустить одного из главных членов противной партии усилить свое значение, Тессин уговорил кронпринца искать канцлерского места, вследствие чего назначены были вторые выборы, но и на них снова был избран Окергельм. Но Окергельм не радовался этой победе; он боялся, что если французской партии удастся овладеть крестьянским чином, то это будет грозить страшною опасностью существующей правительственной форме; он просил Корфа ради самого бога не жалеть никаких денег для подкрепления крестьян; но Корф отвечал, что уже издержал последние деньги и теперь ждет указа императрицы, а между тем надеется, что патриоты при таких сомнительных обстоятельствах сами постараются собрать сколько-нибудь денег.

Не имея денег, Корф действовал другими средствами: подал правительству промеморию против задержания Спрингера, чем затруднил французскую партию, не знавшую, что отвечать на промеморию, ибо за Спрингером не оказывалось никакой вины; кроме того, Корф распространил в народе напечатанную в Германии брошюру «Разговор двух шведов»; брошюра была направлена против прусского союза. Корф писал своему двору, что французская партия сильно домогается установления самодержавия и все к тому приготовлено. Когда сенатор Окергельм представлял кронпринцу, что если б он имел малейшее известие, что его высочеству угодно быть канцлером Упсальского университета, то никак бы не позволил внести себя в число кандидатов, то кронпринц отвечал ему презрительным тоном: «Я это звание хочу иметь и получу». Составляют план, чтоб кронпринцу привести в свое распоряжение стокгольмских горожан; для этого склоняют обер-штатгольда барона Фукса уступить это место кронпринцу за деньги. Составлен также план в полках, находящихся в осьми ближайших к Стокгольму провинциях, заставить полковников за деньги уступить свои места, которые раздать членам французской партии, а полк лейб-гвардии отдать самому принцу и, таким образом, приготовить корпус войска, который бы по первому сигналу мог произвести в действие насильственный план французской партии. Помехою для осуществления этого плана служит старый король, и потому сильно хлопочут, каким бы образом лишить его престола; духовный и крестьянский чины тут больше всего препятствуют. Король дал знать Корфу чрез генерала Сталя, что если будут сделаны ему предложения об отречении от престола, то он отвергнет их с твердостью, если только не будет употреблено насилия. Подозрительность дошла до такой степени, что король принимал меры за столом, чтобы не съесть или не выпить чего-нибудь отравленного.

Члены французской партии прямо говорили в секретном комитете: «Благодаря деятельности комитета, благодаря избранию новых сенаторов Швеция освобождена от русской зависимости, а если б мы позволили себе испугаться поступков русского посла, то государство наше навеки должно было б повиноваться повелениям его двора. Все известия единогласно подтверждают, как ошиблись заблудшие дети шведского отечества, которые полагались на русскую помощь. Известен обычай русского двора на сеймах гордо говорить, но при этом и остаться. Удивительно, что друзья России так упорно ее держатся, хотя они горьким опытом дознали, что, кроме обещаний, они от нее ничего не получили». Кронпринц сказал одному преданному человеку, который обнаружил сомнение насчет полезных следствий его поступков: «Не думаешь ли ты, что я не получал никаких известий о состоянии русского двора? Если колпаки надеются получить

от него помощь, то они обмануты; мне надобно пользоваться настоящими обстоятельствами или навсегда отречься от своего плана. Когда я был любским епископом, то нуждался в помощи русской императрицы; а теперь, будучи кронпринцем шведским, должен сам себе помогать». Кронпринц главным средством поставить себя на твердую почву считал привлечение на свою сторону крестьянства для чего разослал по областям преданных себе людей. Но крестьянские депутаты на сейме крепко держались против французской стороны, и Корф писал, что причину такого поведения их должно приписать королю, ибо хотя русская партия и собрала небольшую сумму денег на содержание крестьян, но так как эта сумма оказалась недостаточною, то король дал значительную сумму как на крестьян, так и на духовенство. «Старый мудрый государь, – писал Корф, – принял при этом такие хорошие меры, что только три человека знают тайну, так что члены французской партии никак не могут угадать, каким образом крестьяне оказываются им противны, несмотря на большие деньги, розданные кронпринцем». Так как у крестьянского оратора были в руках доказательства интриг, которые производились для склонения крестьян к французской стороне, в его же руках находился и список лиц чрез которые производились эти интриги, то преданный русской партии ландмаршал уговорил оратора и еще одного крестьянина объясниться откровенно с графом Тессинем. Крестьяне прямо объявили графу, что он во всем государстве считается виновником всякого беспорядка; что преданные французской партии крестьяне во всех публичных местах хвастают, будто кронпринц объявил себя главою сеймовых дел, и они под таким покровительством и разумным руководством графа Тессина надеются иметь полный успех. Но неудовольствие в большинстве крестьян от нарушения их вольности и привилегий так усилилось, что может быть опасно ему, графу Тессину. Конечно, ему известно мнение большинства народного, что, пока правление будет в его руках, до тех пор ни на какой надежный мир с Россиею надеяться нельзя, ибо Россия оскорблена поступками его и его партии на сейме, и если Дания, увидав слабость Швеции вследствие потери русской дружбы, начнет неприятельские действия, то на кого падет ответственность? Он, граф Тессин, напрасно думает, что те крестьяне, которые известным образом его посещают, ему друзья: в случае опасности они первые обратятся против него. Смущение Тессина при этих словах было величайшее; он мог только отвечать, что все это русский посланник внушает народу дурные об нем слухи, но время покажет его невинность. Тут оратор, чтоб еще более напугать Тессина, объявил ему решение крестьян отправить депутацию к кронпринцу с представлением, что крестьянский чин никак не может думать, чтоб его высочество позволил так употреблять во зло свое имя, чтоб позволил объявить себя главою некоторых мятежных крестьян, и потому крестьянский чин просит позволения исследовать, кто распустил подобный слух. Тессин начал усердно просить оратора, чтоб он уговорил крестьян не приводить в исполнение своего решения, и со своей стороны дал честное слово донести кронпринцу обо всем и переменить все дело.

Король при первом свидании спросил Корфа, слышал ли он о разговоре крестьянского оратора с графом Тессинем. «Кое-что слышал», – отвечал Корф. «Я, – продолжал король, – сегодня в Сенате свое прямое мнение объявил, а еще прежде в своем кабинете графу Тессину сильный выговор сделал». Тут король подозвал к себе сенатора Окергельма и сказал ему: «По моим ведомостям,

французское большинство в секретном комитете начало уменьшаться, и надеюсь, что наконец дела благополучно пойдут. Этим мы обязаны русской императрице; что бы теперь с вами, бедными колпаками, сделалось, если б русский посол не оказал твердости и противную вам партию не держал в страхе и трепете? Были бы вы совершенно уничтожены, потому что насилия уже начались». Корф сказал на это: «Я сердечно желаю обращения злой партии, но чтоб это обращение последовало не от страха, а из сознания истинных шведских интересов».

Корф предложил шведскому правительству приступить к союзу, заключенному между Россией и Австрией. Русская партия требовала этого приступления, указывая на датские вооружения, которые кончатся ничем, как скоро узнают о тройном союзе между Россией, Австрией и Швецией; тогда французская партия начала распускать слухи, что Россия не будет в состоянии помочь Швеции, ибо на нее вооружается Турция, и потому единственное спасение Швеции – просить предлагаемые Францией субсидии и, теснее соединиться с Пруссией. Корф вместе с австрийским резидентом опровергали слухи о враждебных движениях Турции, а король в Сенате прочел и велел записать в протокол мнение, где он указывал на необходимость приступить к австро-русскому союзу и отвергнуть прусский.

Этот вопрос о союзе подал повод к страшным спорам в секретном комитете. Приверженцы прусского союза выставляли преимущественно опасность, которая будет грозить кронпринцу, если состоится приступление к австро-русскому союзу, и потом указывали на состояние внутренних и внешних дел России, цитую тайные известия из Петербурга, Копенгагена, Лондона. По этим известиям, будто бы состоялось соглашение между Россией, Даниею и Англией о низвержении наследного принца шведского; но Россия сама находится в опасном положении: неудовольствие между императрицею и великим князем усиливается день ото дня и народ разделился на партии; образовалась и третья сильная партия в пользу принца Ивана: она поддерживается некоторыми иностранными дворами. Персияне с сильным флотом приближаются к русским берегам, на кораблях у них 72000 войска. Граф Тарло обещал генералу Штейнфлихту, что как скоро будет заключен союз между Швецией и Пруссией, то он образует конфедерацию в пользу короля прусского и выставит польскую конницу, которая будет защищать Пруссию от русских нерегулярных войск. В России ни о каких вооружениях не помышляют, в Финляндии только пять галер и три полка, между которыми обнаружались болезни; при таких обстоятельствах Швеция поступила бы крайне неблагоприятно, если б не обеспечила себя сильным союзом прусским.

23 апреля Сенат получил извещение из тайного комитета, что в нем решено вступить в союз с королем прусским и отклонить предложение императорского двора о приступлении к австро-русскому союзу. Король, поддерживаемый сенаторами русской партии, потребовал было, нельзя ли об этом решении сообщить наперед русской императрице; но французская партия восстала против этого, говоря, что это покажет какую-то зависимость Швеции от России. Когда Корф выговаривал колпакам за слабость, оказанную ими в этом деле, то они отвечали, что они в меньшинстве и на противной стороне кронпринц, который действует как самодержец; так как противная партия мало уважает совесть, законы, честь и стыд, то они должны опасаться арестов, гонений и самой пытки по обвинению во враждебных замыслах к кронпринцу и государству, если б они

оказали дальнейшее сопротивление прусскому союзу, не будучи наверно обнадежены в помощи иностранных держав. Они даже не знают, какой предстоит им жребий во время сейма, а крестьянский чин хотя довольно постоянен и мог бы вместе с духовным чином много добра сделать, но опасно, чтоб и в нем не произведено было движений интригами противной партии, а противиться этим интригам нельзя без денег.

Торжествующая французская партия приступила теперь к оправданию графа Тессина от взведенных на него русским двором обвинений, потому что ей хотелось доставить ему место президента Канцелярии иностранных дел; говорили: «Граф отнесся с презрением к разглашенным против него неосновательным слухам; теперь не только шведы, но даже иностранцы знают о его невинности из напечатанных в его пользу сочинений». Корф молчал; тогда начали говорить: «Если б русский посол мог доказать что-нибудь против графа Тессина, то не упустил бы сделать это теперь; его молчание показывает, что русский двор, затрагивая графа Тессина, хотел затронуть не его, но кронпринца». Тогда Корф препроводил канцлеру Нолькену промеморию, в которой излагал содержание пересланного ему из Петербурга письма Тессина к известному ренегату Бонневалю. Русский двор, недовольный поведением шведского министра в Константинополе Карлсона, требовал его отозвания, что и было исполнено; но при этом Тессин писал Бонневалю, что Карлсон призывается в Швецию только для необходимых донесений сейму о состоянии дел, по окончании чего возвратится в Константинополь, что король очень доволен поведением Карлсона и богато наградит его. Мало того, преемника Карлсона Целзинга граф Тессин не усомнился поручить милости и руководству Бонневаля, т.е. такого человека, который издавна оказывал себя врагом России. «Императрица, – заключил Корф в своей промемории, – никак не хочет приписывать этого королю; она обвиняет только министра, который для прикрытия своих тайных замыслов употребил во зло имя государя и государства, и потому императрица представляет просвещенному рассуждению, может ли при министерстве этого сенатора соблюдаться и укореняться доброе согласие между Россией и Швецией».

Когда промемория прочтена была в Сенате, то французская партия пришла в ужас, зная, что в раздаче копий с нее недостатка не будет. Граф Тессин совершенно растерялся и поспешил объявить, что при таком состоянии дел никогда не примет звания президента Канцелярии иностранных сношений. Так как не могли понять, каким путем письма достались в руки Корфу, и опасались, что, пожалуй, у него есть и оригиналы, если Неплюев нашел средство по смерти Бонневаля достать некоторые его бумаги, то и не имели духа отрицать подлинность писем.

Шведский посол при петербургском дворе граф Барк действовал не так, как бы хотелось господствующей партии, а потому на его место назначен был Вульфенстерн, который перед отъездом имел совещания с членами тайного комитета. Содержание этих совещаний не осталось тайною для Корфа. Вульфенстерну было поручено, во-первых, стараться о свержении канцлера Бестужева и потом о свержении настоящего правительства. Не надобно упускать времени для свержения Бестужева, пока еще война идет в Европе, ибо после мира королю прусскому еще крепче будут связаны руки: ему нужно будет тогда ласкать те дворы, которые теперь, находясь в войне, принуждены его ласкать. У Бестужева

много врагов в России, и Вульфенстерн должен с ними сблизиться, особенно надобно ему получить основательное сведение, кто из дам в наибольшей силе при дворе; их он должен приводить в движение двумя способами, в которых ошибиться не может и которые он с успехом употреблял при дрезденском дворе, а именно свое красивое лицо и волокитство; страсть к игре должна ему также помочь. Хотя граф Барк и назвал некоторых мужчин и женщин, которые при случае показывали свое расположение к Франции и, следовательно, к Швеции и Пруссии и находятся в сильной вражде с Бестужевым, но так как Барк поступал двоядушно, то Вульфенстерн не обязан слепо следовать его указаниям, не подвергнувши их прежде поверке, в чем граф Финкенштейн и Дальон не откажут ему помочь. Если он при движениях против Бестужева будет нуждаться в деньгах, то ему стоит только дать знать об этом французскому министру, которого двор не откажется доставить надобную сумму. Пока дело не достигнет зрелости, он должен содержать виды шведского правительства в глубочайшей тайне, особенно не должен он иметь явных сношений с людьми, преданными принцу Ивану, хотя под рукою может обещать им всякую помощь со стороны Швеции. Что касается Корфа, то Вульфенстерну причтено будет в особую услугу, если он добьется его отозвания. Во что бы то ни стало его должно выжить из Стокгольма: ему одному надобно приписать то, что колпаки так упорно держатся и не хотят уступить. Настоящий сейм был самый трудный из всех и по введении в Сенат благонамеренных членов давно уже должен был бы кончиться, если бы колпачная партия не была подкреплена хитростями Корфа при ее вредных видах. Кроме того, самые тайные советы и меры не могут укрыться от Корфа, а каналы, которыми доходят до него сведения, до сих пор открыть нельзя. Вульфенстерн должен стараться, чтоб в случае отозвания Корфа на его место не был назначен граф Михайла Бестужев-Рюмин: он так знает шведские дела и так всеми любим в Стокгольме, что при такой перемене нельзя ничего выиграть. Вместе с Корфом должен быть удален и канцелярии юнкер Симолин, подозрительный своим знакомством со всеми людьми, враждебными настоящей системе.

Самым видным из этих людей был сенатор Окергельм, и шляпы решились поднять против него обвинение; так как Окергельм пользовался большим уважением, то вопрос, наряжать ли против него следствие, прошел утвердительно только большинством трех голосов. Колпаки обратились к Корфу с представлением, что благодаря такому расположению к Окергельму можно еще выиграть дело, что они сложились и собрали несколько денег, но мало и потому не может ли он дать им 4000 рублей для соблюдения интересов ее величества, так тесно связанных с сохранением Окергельма. Корф отвечал, что пошлет за указом в Петербург. План французской партии состоял в том, чтоб, управясь с Окергельмом, в продолжение сейма вытеснить из Сената и других сенаторов русской партии, именно Кронстета, Левена, Врангеля и Цедеркрейца, а чтоб сделать приятное Елисавете, ввести снова в Сенат члена русской партии графа Бонде и даже сделать его президентом Канцелярии иностранных дел. Но Корф писал, что Бонде неумен и трусоват, без подкрепления и наставления Окергельма никакой помощи России оказать не может; граф Тессин со своими сообщниками в Сенате стали бы совершенно им управлять. Все благонамеренные усердно молятся, чтобы благоприятным ветром принесло русские галеры к шведским

берегам: тогда французская партия ослабеет, благонамеренные приедут из провинций и дела примут другой ход.

Так как граф Барк дал знать, что Корф сообщает своему двору самые тайные дела, то положили канцелярскую переписку разделить на внутреннюю и внешнюю и последнюю поручить только самым надежным секретарям. Корф, донося об этом распоряжении, замечал: «Это мне не помешает иметь верные известия обо всем. Шведские молодые люди так испорчены, что деньгами их ко всему склонить можно. Надобно опасаться одного, что когда те люди, которыми я до сих пор пользовался, в иностранном отделе не останутся, то надобно будет отыскивать новых, и так как их будет меньше, то потребуют и большого вознаграждения, поэтому, ваше величество, не соизволите ли малую сумму, около 1500 рублей, определить». Корф имел возможность донести своему двору об ответе кронпринца одному вельможе, который говорил, что долгие сеймы всегда бывали вредны для Швеции. «Сделай только, – отвечал принц, – чтоб Окергельм уволился из Сената и дал по себе поруку, что впредь никогда в сеймовые дела мешаться не будет; также пусть русский посол отсюда уедет, и я обещаю, что сейм в восемь дней окончится; по все истинные патриоты такого мнения, что они и принятые ими на нынешнем сейме полезные меры не могут быть обеспечены, пока эти два человека будут вместе».

Чтобы поддержать Окергельма, Корф велел раздать крестьянам 5000 талеров; но это не помогло, большинство оказалось не за Окергельма, и последний, испугавшись, согласился подать в отставку от сенаторской и обер-маршальской должности. В Петербурге граф Барк подал императрице жалобу на Корфа за его вмешательство во внутренние дела Швеции, за представления настоящего министерства злонамеренным и т.п., но жалоба, разумеется, не произвела никакого действия.

В русском ответе говорилось, что императрица «не без удивления усмотреть принуждена, что некоторая партия, которая была причиною прежних несогласий по своекорыстным своим видам, сильно старается не только доброе соседственное согласие, сколько возможно, нарушить, но и свое отечество *в новые дальности* привести. Эта партия по своему превратному намерению никакого надежнейшего предмета изыскать не могла, как его величество короля склонить на ее императ. величества посла барона Корфа жалобы приносить повелеть. Ее величество не может не выразить своего удивления, что со шведской стороны хотят сочинять жалобы, к которым сами повод подали». По опровержении всех жалоб ответ заключает: «Ее императ. величество по любви его величества короля и справедливости таким образом обнадежена пребывает, что его величество без труда сим неосновательство всех на ее посла принесенных жалоб усмотреть, еже его королевскому величеству и толь легче будет, понеже он посла при каждом случае особливо отличал и многие знаки своего милостивого удовольствия об нем оказал. Ее императ. величество имеет потому основательную причину чаять, что его величество король во всех сих жалобах весьма никакого участия не принял, но оные только некоторыми персонами, кои охотно приватной своей корысти при поссорении дворов ищут, умышленно составлены».

Не имея возможности отделаться от Корфа, тем сильнее начали хлопотать о том, чтобы добить членов русской партии, чем наносился самый чувствительный удар Корфу. Тайный комитет решил отказать Окергельму в увольнении из Сената,

а призвать его пред особо назначенную депутацию к ответу в взводимых на него обвинениях, равно как и единомысленных с ним сенаторов Кронштета, Поссе и Врангвля. Те самые люди, которые напугали его и присоветовали подать в отставку, теперь начали его уговаривать, чтоб он для избежания беды подал в тайный комитет мемориал, где бы признал себя виновным и предал себя великодушию тайного комитета; в таком случае он может быть обнадежен, что с честью выйдет из дела и получит увольнение. Но Окергельм показал себя не совсем колпаком и не согласился на это предложение, увидав ясно, что его нарочно уговорили подать в отставку, чтоб накинуть на него подозрение в народе. В русской партии было решено, чтоб Окергельм обратился ко всем четырем чинам, а между тем духовный и крестьянские чины привести к тому, чтоб они его поддерживали; обратились и к мещанскому чину, но бургомистр Боберг потребовал за услугу 10000 платов, какой суммы достать было неоткуда; тогда сам король взялся ее доставить, занявши за 12 процентов. Тайный комитет настоял, чтоб Окергельм отвечал пред депутациею, после чего в комитете он был оправдан и решено дать ему увольнение из Сената; но духовный и крестьянский чины потребовали, чтобы Окергельм за его великие заслуги оставлен был в Сенате, за что получили от Корфа обещанные им 7000 талеров (медною монетою). «Таким образом, – писал Корф, – из назначенных вашим в-ством для Окергельмова дела 4000 рублей издержано до 1800 рублей; а что французская партия не заметила, как дело делалось в духовном и крестьянском чинах, это видно из смущения ее членов, когда они узнали о решении духовного и крестьянского чинов. Ландмаршал велел тотчас позвать к себе крестьянского старшину (тальмана) и старался ему внушить об опасных следствиях поступка обоих чинов, прося его изменить дело на будущем полном собрании чинов; послал и за Окергельмовым секретарем и просил его склонить сенатора, чтоб он настоял на своем увольнении, ибо иначе французская партия к нему вновь придерется и вторично поднимет его дело. Секретарь отвечал, что он не может вмешаться в это дело, да и не видит, как можно взвести на Окергельма новые обвинения, когда он уже оправдан Секретным комитетом.

Между тем комитет собрался в превеликой ярости. Пальмстерна угрожал Окергельму конечною погибелью, и все вообще нападали на духовный чин, особенно на епископа Альстрина, крича, что он хотел воспалить огонь несогласия во всех четырех частях государства; старик приведен был в такое волнение грубыми выражениями противников, что больной отвезен был домой. Принято решение начать переговоры с Окергельмом, в которых проведен целый день. Перед домом Окергельма вдруг появилось множество людей, одна карета отъезжала, другая подъезжала; сперва налегали на него с угрозами, что если он своего увольнения не примет, то неминуемо придет в гораздо опаснейшее состояние. Так как угрозы оказались недействительны, то употребили сладкие слова, обещая ему со стороны тайного комитета такое вознаграждение, которое заменит всякую пенсию, какую бы он мог получить, и потому в его воле состоит возвратить государству согласие. Окергельм отвечал, что он никак не хочет умножить раздор в государстве; но тайный комитет передал его дело чинам, и потому он будет ожидать их решения; он подал в отставку поневоле, и, несмотря на то, против него начали дело, и некоторое время его репутация подвергалась пересудам народным, от пенсии же он отказаться не может. Переговоры еще

продолжаются, а между тем я стараюсь поддерживать его смелость и постоянство, и он обещает мне быть твердым. Некоторые из твердейших патриотов думают, что не будет никакого вреда их делу, если Окергельм при настоящих обстоятельствах выйдет из Сената: его невинность и злонамеренность противников ясны, и на будущем сейме можно легко действовать в его пользу, маршалский жезл его не минует, и, таким образом, он больше будет иметь случая показать свои услуги в рыцарском доме, чем в Сенате, где большинство голосов на стороне враждебной; останется он в Сенате, то все злонамеренные соединятся против него вместо того, чтобы ссориться между собою, что непременно последовало бы, если б они не имели общего предмета ненависти в нем».

Подучили самого короля, чтоб и тот уговорил Окергельма выйти из Сената; но старик не принял и королевских представлений. Тогда французская партия подкупила придворного проповедника Троилиуса, одного из лучших друзей Окергельма. Троилиус пошел в собрание духовного чина, благодарил его за желание удержать Окергельма в Сенате, но вместе с тем объявил его именем, что он для общего блага и для восстановления согласия между государственными чинами не хочет оставаться сенатором. Духовный чин, не подозревая нисколько Троилиуса, сильно рассердился на Окергельма за его непостоянство и определил дать знать прочим чинам, что так как Окергельм настаивает на своем увольнении, то духовный чин приступает к решению дворянского и мещанского чинов. Таким образом, дело об оставлении Окергельма сенатором и было покончено; враждебная партия не замедлила разгласить, что, значит, у Окергельма нечиста совесть, когда он не посмел остаться в Сенате, находясь в таком выгодном положении, имея на своей стороне духовенство и крестьян. Вслед за тем французская партия одержала и другую победу – провела Тессина в президенты Канцелярии иностранных дел. Сейм кончился в декабре.

Гросс из Парижа доносил в Петербург, что Франция так же сильно интригует против России в Константинополе, как в Стокгольме. Неплюев в начале года писал из Константинополя: «Хотя теперь с турецкой стороны чего-нибудь опасаться и нечего, хотя все приятели обнадеживают, что Порта ни о чем против вашего импер. величества не помышляет и хану внушено сохранять спокойствие, однако уменьшать предосторожности не следует, а надобно прибавить на Украине несколько полков; это послужит в пользу венского двора и против французских подущений, которые не только не перестают, но еще умножаются, впрочем, по благости божией, без успеха». Так, французский посол Каstellлан внушал, что в России на Украине вспыхнул бунт, несколько козаков ушло в Польшу и вообще вся Малороссия ждет только удобного случая к восстанию, что Порта должна воспользоваться этими обстоятельствами и сделать диверсию в пользу Швеции, которой Россия хочет предписывать законы.

21 января явились к Неплюеву три человека: венецианский подданный корабельщик Макри, александрийский грек Пери и русский подданный Федор Иванов. Пери, служивший у последнего толмачом, объявил следующее: Федор Иванов называет себя сыном царя Ивана Алексеевича, будто в самых молодых годах поручен для скрyтия матерью его, царицею Прасковьею Федоровною, греческому монаху Евфимию вместе с одною женщиною-голландкою по имени Мария. Евфимий, одев его в женское платье, провез из Москвы в Астрахань, а оттуда чрез Персию в Бассору, где Мария умерла, а монах с Федором Ивановым

переехал в окрестности Дамаска. Между тем монах будто бы три раза ездил в Россию, жил там по два и по три года и привозил много денег и драгоценных камней, полученных будто бы от царицы Прасковьи Федоровны. Евфимий пропал в Иерусалиме, а Иван Федоров странствовал по разным местам Азии, содержа себя продажей драгоценных камней, оставленных ему Евфимием, потом объявил себя лекарем и взял себе в толмачи Пери, потому что не знал никакого другого языка, кроме арабского, был в Кипре, где открыл свое происхождение архиепископу, который посоветовал ему отправиться на Афонскую гору; здесь монахи приняли его дурно, объявивши плутом и лжецом, и он отправился в Константинополь. Неплюев стал увещевать самозванца, чтоб объявил о себе сущую правду; тот отвечал, что от роду ему 40 лет и что все сказанное Пери – правда. Тогда Неплюев принялся за другое средство – велел сечь его нещадно плетьюми и заставил объявить, что он действительно русский подданный, а из которого места, как выехал и кто его отец, о том ничего не знает, кроме того, что монах Евфимий и жена его Марья ему объявили, а если они все затеяли ложно, то и он лжет. Неплюев велел его сковать и отправить в Россию сухим путем с поручиком Обрезковым, наказав последнему употребить все средства, чтобы не дать колоднику уйти. Самозванец притворился, что сильно желает возвратиться в Россию; но, приехав с Обрезковым в Айдосы, закричал, чтобы турки освободили его как султанского подданного и что он хочет принять магометанство. Обрезков выстрелил в него из пистолета, но не попал и, не успевши выручить его из турецких рук никакими посулами и домогательствами, поспешил возвратиться в Константинополь. Неплюев, чтоб спасти теперь Обрезкова от опасности и не завести неприятного дела с Портою, отправил его немедленно опять в Россию на Киев. После Неплюев узнал, что турецкое правительство отправило Федора Иванова в Алеппо, откуда он объявил себя родом.

Новое значение турецким отношениям грозил дать переворот, происшедший в Персии. Назначенный сюда полномочным послом князь Голицын в начале описываемого года вступил в персидские границы; но в апреле писал императрице из Ряща, что от самых границ до этого города, кроме обид, наглости и неудовольствий, от персиян ничего не видал и на будущее время лучшего надеяться нельзя; притом во многих местах начались бунты, потому что правительство обходится с подданными безо всякого милосердия. «Если отважиться в дальнейший путь, – писал Голицын, – то не предвидится никаких средств к охранению моего значения и самой жизни; нет надежды, чтоб я мог достать подводы даже и за свои деньги, и потому без указа я опасаюсь ехать дальше. По нынешним дурным обращениям и обстоятельствам в Персии не повелите ли мне, рабу вашему, морем возвратиться в Россию?» К умножению неприятностей Голицыну дали знать, что резидент Братищев «в пьянстве упражнялся и такие сумасбродства, драки и прочие непотребные поступки чинил, которых не только резидент, но и самый бы бурлак чинить не мог». В бытность свою в Ряще вместе с резидентом Голицын заметил, что «такое его пьянство и в пьянстве сумасбродство по ночам случается». Мало того, получены были известия от персиян, что Братищев просил шаха принять его в персидское подданство.

Голицын писал жалобы и на консула Бакунина, который представлял, что жители Ряща хотят отложиться от шаха и принять русское подданство, и требовал,

чтобы посол принял их в свое покровительство, страшая, что в противном случае ему предстоит от них большая опасность, в случае же согласия на их желание прельщал тем, что в городе находится шаховых денег триста тысяч рублей. Голицын отвечал ему, чтоб он не только делом, но и словом не смел вмешиваться в такие дела. Но и после этого Бакунин, по словам Голицына, продолжал действовать по злодейским и коварным вымыслам, чтобы только поскорее отпустили его в Россию.

15 мая Голицын известил императрицу, что принужден, но дожидаясь указа, возвратиться на судах в Астрахань. Ему давали знать из Петербурга, что из Крыма пронесли на Украину ведомости, будто между султаном и шахом условлено напасть в одно время на Россию. Голицын отвечал, что слухи невероятны, потому что как бы Надир ни был зол на Россию и как бы французы ни старались усиливать эту злобу, только теперь и на будущее время он ничего сделать не в состоянии: повсюду мятежи, войско от постоянного голода так изнурено, что и с внутренними врагами управиться не может; новое войско набрать неоткуда, да хотя бы вооружил всех персиян поголовно и двинул на Россию, то последней это не опасно: от реки Куры до Дербента места пустые, где хлеба ни зерна; к Дербенту пройти трудно, потому что встретит препятствия от изменивших ему шемахинских и генджинских жителей и грузинского владельца Теймуразмирзы, которые будут действовать заодно с лезгинцами. Голицын, впрочем, оставался в Ряще до 5 июля, когда получил известие о смерти Надира, убитого взбунтовавшимся войском, после чего посол возвратился в Астрахань.

Уведомленный им об этих событиях, канцлер доложил императрице: «Нынешним в Персии генеральным бунтом, разделением парода на многие партии, мором и голодом предвещается упадок этого государства; но так как для России очень опасно, чтобы Оттоманская Порта, пользуясь слабостью Персии, не овладела ею и не сделалась для России опасным соседом, и так как главная цель Петра Великого в завоевании Гиляни и других персидских областей была та, чтобы отдалить соседство турок, а не та, чтоб удерживать эти области за собою, то канцлер представляет, не соизволит ли ее величество указать для рассуждения о персидских делах как можно скорее собрать совет; а между тем канцлер думает, не потребно ли иногда будет под командою доброго генерала послать в Гилян несколько войска на помощь персиянам против турок в случае внезапного нападения последних или под предлогом успокоения междоусобных замешательств; а чтобы отнять всякое подозрение, то, нагрузя несколько судов хлебом, разменивать его там на шелк, отчего вследствие свирепствующего там голода казне будет большая прибыль. Совету же быть может предложено и прежнее канцлерово мнение о сожжении построенных в Персии кораблей и о захвачении Элтона». Императрица 21 августа указала пригласить в коллегия Иностранных дел для рассуждения и советования о персидских делах генерала графа Румянцева, генерал-прокурора князя Трубецкого, генералов Бутурлина, Апраксина и тайного советника барона Черкасова.

27 августа совет постановил: 1) удостовериться в смерти шаха Надира; 2) пригласить горских дагестанских владельцев ко вступлению в русское подданство, пославши к ним небольшие подарки из сукон и камок; 3) в Астрахани держать наготове достаточное число морских судов, на которых в случае нужды перевозить войско и провиант, отправить туда готовые суда из Казани и строить

новые; 4) заготовить в Астрахани провиант; 5) отправить нынешней же осенью как можно скорее к гилянским берегам до 1000 четвертей пшеничной муки для продажи тамошним жителям на деньги или для мены на шелк; 6) воспользоваться смутю в Персии и смертью шаха для искоренения корабельного строения, заведенного Элтоном: для этого предписать находящемуся в Гиляни резидентом Черкасову подкупить из бунтовщиков или других персиян, чтоб сожгли все корабли, построенные или еще строящиеся, сжечь также заведенное там адмиралтейство, анбары, парусные и прочие фабрики и инструменты, что можно будет, то бы все сожгли, а иное разорили б до основания, к чему хотя несколько их разных людей уговорить, чтоб они это сожжение как можно скорее сделали, и за то им хотя бы и знатную сумму из казенных денег выдать. Если б это не удалось, можно тем командирам, которые на судах с продажным хлебом к гилянским берегам будут отправлены, поручить, чтоб они как на походе в море, так и в бытность при берегах всегда примечали и, где им персидские корабли попадутся, всячески старались, если возможно, скрытно, а по нужде хотя и явно зажечь и таким образом сделать, чтоб они вовсе пропали; также командиры приложили бы старание, будучи там на малых судах, тайно или под видом разбойников съездить в Ленгерут и случая искать находящиеся там корабли и всякое адмиралтейское строение сжечь и до основания разорить. Равномерно и о том стараться, чтоб заводчика этого корабельного строения Элтона оттуда достать, или уговорить, или тайно схватить, или у персиян за деньги выпросить и немедленно в Астрахань отослать. Императрица апробовала этот доклад, подписанный графом Алексеем Бестужевым, графом Румянцевым, Бутурлиным, графом Воронцовым, Апраксиным, бароном Черкасовым, Юрьевым и Веселовским.

В сентябре было получено достоверное известие, что шах Надир убит и шахом сделался племянник его Али-Кулы-хан, умертвив детей и внука Надировых. Поэтому 6 октября императрица велела опять собраться совету, который решил войти с новым шахом в дружеские сношения; впрочем, прежнее решение совета остается во всей силе, с исключением одного, чтоб командиры судов, отправляемых в Гилян, явно не жгли персидских кораблей, чтоб не озлобить нового шаха, а стараться сжечь корабли самым скрытным образом под видом разбойников или как будет удобнее. И это мнение было апробовано.

Глава четвертая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1748 год

Распоряжения относительно войны. Финансовые меры. – Новый характер консульства в Персии. – Страшные пожары. – Состояние полиции. – Разбои. – Сельское народонаселение. – Коллегии. – Иностранная коллегия; отношения между ее членами. – Падение Лестока. – Сношения с Англиею, Австриею, Саксониею, Польшею, Швециею, Франциею. – Отъезд императрицы в Москву.

Россия приняла участие в войне, войска ее двинулись на помощь морским державам; при этом имелось целью прекратить европейскую войну, но считалось

возможным и обратное действие, что война вспыхнет с новой силой, что нужно будет переводываться с опасным соседом, прусским королем. Нужно было подготовиться, и в тот же день, когда подписан был указ Военной коллегии об отправлении тридцатитысячного корпуса на помощь морским державам, 4 декабря 1747 года поднесен был императрице для подписания указ Сенату по поводу записки, составленной со слов генерала Апраксина, в которой указывалось на затруднение и медленность со стороны Сената во время последней шведской войны. В указе говорилось, чтоб впредь в Сенате по представлениям Военной и Адмиралтейской коллегий давались немедленно резолюции, не отлагая изо дня в день, как некоторым образом доньше происходило; чтоб Сенат в таких делах не делал никаких затруднений и излишних запросов и, кроме того, что от этих двух коллегий будет представлено, более ни в какие до них касающиеся дела не вступался. Елисавета, читая указ, велела зачеркнуть слова «как то некоторым образом доньше происходило» и написать именно: чтоб впредь не так поступали, как в минувшую шведскую войну происходило, и что Сенату всегда надлежит об отечестве своем ревностное попечение иметь и о таких делах, в чем государственная нужда есть, с верным радением поступать, дабы никакого упущения и вреда не произошло.

Затруднения оказались и не по вине Сената. Назначен был рекрутский набор со 121 души; по последней ревизии, оказалось 6580715 душ, подлежащих рекрутской повинности, а за исключением 433325 содержащих ландмилицию однодворцев – 6147390 душ, с которого числа надлежало взять рекрут 50804 человека, но, по присланным в комиссариат ведомостям из губернских и воеводских канцелярий, выходило другое число жителей обязанных рекрутскою повинностью, именно 6122185 душ; в Шацкой провинции, например, от ревизора было показано 121359 человек, а от провинциальной канцелярии – 182041. После неоднократных требований Камер-коллегия прислала ведомости о приходе и расходе 1742 года, спрашивая: ведомости других городов в такой же ли точно форме приказано будет оканчивать?

В Сенате рассмотрели эту ведомость, сравнили с присланною в 1743 году о сборе и расходе того же, 1742 года и нашли значительное несходство, а как оно явилось, неизвестно: 1) в прежних табелях показано остаточных от 1741 года, кроме остзейских губерний, 832700 рублей, червонных – 12, ефимков счетом 3683, весом три пуда тридцать девять фунтов четыре золотника три четверти, песцов шесть, а по вновь присланным ведомостям, того же остатка написано 620606 рублей; червонных – 11, ефимков весом 14 пуд. 23 фунта 45 золотников да счетом 23, разница – 212093 рубля, червонных один, а ефимков больше 10 пудов 24 фунтов 41 золотника. 2) Окладным сборам написан оклад 2217075 рублей, а по новой ведомости – 2263877 рублей, разница – 46802 рубля. 3) Окладных написано в сборе 1864483 рубля, а по новой ведомости – 1874542 рубля, в приходе, следовательно, показано больше 10059 рублей. 4) По прежней ведомости, написано неокладных в приходе 1242601 рубль, ефимков – 82 пуда 27 фунтов 88 $\frac{3}{4}$ золотника, а по новой ведомости – 1302408 рублей, ефимков 89 пудов 34 фунта 69 золотников да счетом два ефимка, в приходе показано больше 59807 рублей весом больше на 7 пудов 6 фунтов 76 $\frac{1}{4}$ золотника да счетом 2 ефимка. 5) В первой ведомости показано в расходе 2430343 рубля, а в новой написано 3252601 рубль, ефимков 99 пудов 16 фунтов 70 золотников, червонных – 11, в расходе,

следовательно, показано больше на 822258 рублей, кроме того, ефимки и червонцы. б) В прежней ведомости показано в остатке от 742 на 743 год 1509441 рубль, червонных 12, ефимков 6 пудов 29 фунтов 92 3/4 золотника да шесть песцов, а по новой – 545137 рублей, ефимков 2 пуда 27 фунтов 94 золотника да счетом 25. Кроме того, один сбор в два месяца разнесен; сборы, идущие в другие места, написаны вместе с доходами Камер-коллегии, например доходы синодального ведомства, также с государственных крестьян четырехгривенные и с купечества подушные, которые отсылаются в комиссариат.

В доход прибавили субсидии от морских держав; насчет их было сделано распоряжение: так как отправленные в службу морских держав войска будут содержаться на их иждивении и жалованье им будет выдаваться из субсидий, то деньги, которые будут оставаться в воинской казне вследствие отсутствия этих расходов, также деньги, которые останутся от субсидий, отдать в коллегию Иностранных дел для сбережения их налицо, чтоб в готовности были к нужному случаю, если понадобится, войско умножить и на другие нужнейшие воинские расходы употребить.

Но в нужном случае нельзя было надеяться на одни субсидии; надобно было приготавливать другие средства, которые находить было очень трудно. В июне Сенат имел рассуждение, что многие разные присутственные места считают друг на друге многие и неоплатные долги и долгое время не платят; поэтому приказал из всех присутственных мест в Сенат подать ведомости, сколько какое место кому должно на нынешний 1748 год и для чего тот долг не в платеже. Штатс-контора объявила, что она имеет долг на Главной полицмейстерской канцелярии с 732 года 80140 рублей, на Сибирском приказе с 731 года – 261660 рублей, на Соляной конторе с 727 года – 676326 рублей, всего – 1018127 рублей. Тогда же президент Штатс-конторы Шипов доложил, что прислан из Сената указ об отпуске в Швецию на минувшие три срока 150000 рублей, но Штатс-конторе отпустить такой суммы не из чего; по именным указам за неимением денежной казны исполнения еще не учинено; по именным указам надлежит отпустить 99572 рубля, да за прошлые годы и настоящий 1748-й на январскую и майскую трети в определенные расходы Штатс-контора заплатить должна 3234440 рублей, а с вышеозначенными это составит 3334013 рублей, а губернии высылкою денег всеконечно безнадежны, у них и на тамошние расходы недостает. Сенат приказал в Штатс-контору послать указ: требуемую сумму отпустить в Иностранную коллегию в самой скорости и не имея никаких отговорок. Это было в июле, а в сентябре Штатс-контора прислала доклад: по именным указам Штатс-конторе надобно отпустить теперь денежной казны: для взносу в комнату их высочеств на будущую сентябрьскую треть – 26666 рублей 66 1/2 копейки, которые велено отпускать в начале каждой трети. На дачу лейб-компаний на эту майскую треть жалованья 28221 рубль 19 1/2 коп., которые велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более недели; в Камерцалмейстерскую контору на дачу придворным на майскую треть – 47305 рублей 29 1/2 коп., что велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более трех дней; да сверх того, обретающимся в Петербурге министрам, сенаторам и всем служащим на майскую треть – 47806 рублей 84 1/2 коп., итого – 150000 рублей, а в петербургской рентерее денежной казны ничего нет; не повелено ли будет 150000 отпустить из Монетной канцелярии под образом займа? Сенат согласился. 1 декабря опять доклад той же

Штатс-конторы, что в петербургской рентерее денег нет, а нужно платить в комнату их высочеств, и лейб-компании, и придворным, и всем служащим в Петербурге. Сенат приказал: Монетной канцелярии из капитальных денег в Штатс-контору под образом займа отпустить 200000 рублей немедленно, а возвратить из присылаемых в Штатс-контору для передела на Монетный двор ефимков и серебра первых присылок.

Обратили внимание на уменьшение сборов на Макарьевской ярмарке и решили поручить надзор над верными сборщиками губернатору или определить знатную особу, ибо когда ярмарка была под смотрением губернии, то в сборе было до 34000 рублей, а при нарочно определенных с 1744 года сбор уменьшился от 27 до 18000. Оказалось: за январскую треть в питейной продаже недобор на 20687 рублей. Сенат приказал: Камер-конторе подтвердить, чтоб она за определенными выборными ларешными и прочими сборщиками крайнее и неусыпное смотрение имела и подтвердила, чтоб в нынешней майской и в будущей сентябрьской третях против сборов прошлых лет собрано было не только с пополнением, но чтоб и происшедший в январской трети недобор заменен был, под опасением взыскания этих недоборов на сборщиках. Другая важная доходная статья, соль, по-прежнему не давала покоя.

В самом начале года Соляная контора уже представила, что у Строгановых к надлежащей выварке соли никакой надежды нет, недоваривают и против 1746 года, когда они целого миллиона пудов не выварили. Последовало обычное решение: послать указ с крайним подтверждением. В марте барон Александр Строганов явился с просьбою, чтоб ему с братьями выдано было заимообразно 30000 рублей; Сенат согласился. Но и это не помогло: в половине года Сенат убедился, что Строгановым нельзя вести дела по-прежнему при возвышении цен, и решил доложить императрице, не соизволит ли, чтоб Строгановы отправляли соль за свидетельством от Соляной конторы, сколько лишнего в известном месте и в известное время заплачено ими будет сверх прежнего положения, и этот лишек доплачивать им из казны, которая потом выручит свое возвышением продажной цены. Но Строгановы объявили, что и эта приплата, которой надобно еще дожидаться, не покроеет их убытков. Тогда Сенат решил представить императрице, чтоб снять с Зырянских промыслов Строгановых оброк во 100000 пудов соли, пусть ставят они и эту соль, только за деньги.

Сальные промыслы (рыбные) у Архангельска и Колы, находившиеся в описываемое время в казенном содержании, отданы были на 20 лет графу Петру Шувалову с единовременною выдачею из казны 6000 рублей и на условиях, на каких прежде содержал эти промыслы купец Евреинов, плативший только настоящие пошлины. Смола продана была от казны английским купцам по одному полновесному ефимку и по II/2 копейки за осьмипудовую бочку.

Относительно внешней торговли замечательно было распоряжение насчет консульства в Персии. На место бывшего там консулом Бакунина Сенат велел Коммерц-коллегии вместе с Главным магистратом выбрать из московского купечества достойного человека. Гл. магистрат поручил выбор знатным московским купцам Роману Журавлеву с товарищи, и они выбрали московского же купца Ивана Данилова, потому что он «пред прочими достаточнее комерцию знающ». Коммерц-коллегия объявила согласие на выбор, и Сенат утвердил с жалованьем по 2000 рублей в год персидскою монетою, но жалованье это должно

было производиться сбором с купцов по рассмотрению Гл. магистрата, ибо этот консул отправлялся теперь не от коллегии Иностраннных дел, но от купечества, для их купеческой пользы, для защиты приказчиков и проч. Относительно внутренней торговли Сенат был уведомлен, что в настоящем году из едущих через Боровицкие пороги судов 300 было разбито, тогда как по репортам, присланным в Сенат, показано с 17 апреля по 1 июня только 36 разбитых судов, а с 1 июня нет донесений, и потому Сенат приказал потребовать обстоятельных донесений.

Страшный вред городам в описываемом году был нанесен пожарами. В Москве 10 мая во 2-м часу пополудни загорелось в Белом городе между Ильинскими и Никольскими воротами в доме княжны Куракиной, загорелось от кузницы; сильный ветер перебросил огонь к Златоустову монастырю и к церкви Всех Святых на Кулишках, отсюда к Яузским воротам, на Яузский мост, от которого огонь пошел налево по Николаямской улице и Алексеевской слободе вплоть до Андроньева монастыря, который был истреблен, чем пожар на этой стороне и кончился; но с другой стороны от церкви Всех Святых огонь пошел к городской стене и, перекинувшись через городовую стену, пошел до церкви Ильи Пророка на Воронцовом поле, потом по Покровской улице. Пожар прекратился в 1-м часу пополуночи. Сгорело 96 человек, 1202 дома, обгорело 25 церквей, 15-го числа за Яузою в Гончарах сгорело 25 дворов. 23 мая опять большой пожар в Москве, в селе Покровском (теперь улица) и Новонемецкой слободе сгорело 196 дворов. На другой день пожар в противоположном конце города, на Стоженке и Пречистенке, сгорели три церкви и 72 дома. 25 мая погорела Покровка и пламя перекинулось за Земляной вал в Басманную слободу и на Красные ворота, сгорело 62 дома, Триумфальные ворота, комедиальный дом, находившийся между Красными воротами и церковью Петра и Павла в Новой Басманной. Указали на зажигателей, но когда чиновники приехали для сыску оговоренных, то в двух местах, у Новинского монастыря и в селе Покровском, они были встречены жителями, которые бросились их бить. Пожары не ограничились Москвою: в тот день, когда был самый большой московский пожар, 10 мая погорел Воронеж, истреблен 681 дом, осталась соборная Благовещенская церковь, архиерейский дом, две приходские церкви да весьма малое число обывательских дворов. 24 мая в Глухове сгорело 275 домов, в том числе школ и *шпиталей* (госпиталей) – 15. 19 июня Главный магистрат объявил Сенату, что в Можайске погорели без остатка 94 лавки и 35 домов, отчего купечество разорилось и уплатить подушных денег не в состоянии. 17 июня был большой пожар во Мценске, сгорело 205 домов, и воеводская канцелярия объявила, что он был делом злодеев: подле воеводской квартиры зажигали разные двory, только тушили, а при третьем поджоге найден в соломе с пухом и в хлопьях зажженный трут, отчего жители перепугались и с пожитками вывезлись на поля и на берега реки. Кроме того, в Ярославле сгорело 140 дворов, в Бахмуте – 150, в Орле – 16, Сапожке – 122, Михайлове – 385, Рыльске – 11, Костроме – 26, Севске – 57, Нижнем – 10; Переяславль Южный и Венден выгорели все; в Болхове сгорело 1500 дворов. В Петербурге приняли предосторожности: пикеты из гвардейских полков стояли на площадях и на улицах; в Москву был отправлен генерал Федор Ушаков, который должен был председательствовать в особой комиссии для исследования о причинах пожаров; гвардейские офицеры разосланы были для того же и по другим городам.

Найдено было, что полицейские команды действовали очень плохо, и вообще, как мы уже видели, положение полиции было очень печально. Главная полицмейстерская канцелярия объявила Сенату, что в Киеве на Подоле в рядах чистоты никакой нет, потому что скот бьют в рядах, а не в *бойницах*, и мясо продают к пище негодное, и от нечистоты в рядах смрадный воздух, да и рогаток нет, и хотя от полиции запрещение и принуждение сделаны относительно чистоты, однако по причине малой команды не исполняют, магистрат не помогает и рогаток до сих пор не делает. В Нижнем Новгороде ямщики по приказанию ямского управителя Кучинского рогаточных караулов не содержат и полицейской должности не исправляют; оттого в самонужнейших местах семь рогаток запустело и происходит немалое воровство. Архангельский магистрат сотских и десятских из купечества для полицейской должности не присылает, не присылает и ведомостей о съестных припасах для смотрения, чтоб цен не возвышали. Сверх того, из многих полицейских контор представляют сильные жалобы на магистраты, которые в должности полицейского правления сами вступают, а учиненным полициям препятствуют.

Препятствия эти иногда заключались в следующем: упомянутый ямской управитель в Нижнем прапорщик Кучинский, собравшись с ямщиками, бил дубьем определенного к исправлению полицейской должности квартирмейстера Баранщикова, держал двое суток в цепи и водил по улицам, чтоб в ямские дворы не ставил постоя. В 1747 году Сенат велел губернской канцелярии исследовать о своевольствах ямщиков, но ничего не было сделано. После этого уже когда несколько ямщиков взято было в полицию за нехождение в рогаточный караул, то Кучинский и ямской староста Долинин пришли в полицию с ямщиками человек сто, схватили полицмейстерского служителя и, вытаща за волосы на двор, проббили голову, причем Кучинский и Долинин кричали: если вперед на караул будут наряжать, то быть великой беде! Полиция жаловалась в губернскую канцелярию, но та ничего не сделала. Кучинский и Долинин не допустили печатать печи у ямщиков, Долинин вытолкал сотника, пришедшего за этим. Губернская канцелярия с своей стороны доносила, что 20 июня у ямщика случился пожар и погорело 10 дворов, вероятно от несмотрения нижегородского полицмейстера Метревелева и особенно ямского управителя Кучинского, между которыми большое несогласие, ибо полицмейстер жалуется на Кучинского, а Кучинский показывает, что он у ямщиков печи печатает сам только позволяет топить в указные дни надворные печи, а на рогаточные караулы ямщикам ходить не приказал, потому что по указу из Ямской канцелярии ямщикам ходить на эти караулы не велено. Губернская канцелярия о сохранности города полицмейстеру беспрестанно подтверждает, но он, видя, что состоит в ведомстве Главной полицмейстерской канцелярии, приказаниями губернской канцелярии пренебрегает; то же самое делает и ямской управитель. Из других городов такие же жалобы: в полицмейстерской инструкции велено смотреть, чтоб строения не выдавались в улицу и оставляли проезд не менее пяти сажен, но в Воронеже ямщик в торговую площадь прибавил двора своего и выставил городьбу на 10 сажен. Полицейстер городьбу сломал, но ямщик опять загородил, а при ломании ямской управитель Сиверцев приказал ямщикам бить до смерти посланных от полицмейстерской конторы солдат и десятских, отчего ямщики и прочие обыватели пришли в бесстрашие и полиции не слушаются. Тут же

полицмейстерская контора доносила, что в Воронеже архитектора нет. Главная полицмейстерская канцелярия доносила, что в Москве после пожара 1737 года стоят ветхие каменные строения, которые вместо украшения такого знатного города дают дурной вид, и в них может быть пристанище ворами и другим непотребным людям; сверх того, находится в них множество помету и всякого скаредства, отчего соседям и проезжающим людям, особенно в летнее время, может быть повреждение здоровью, и хотя полиция неоднократно понуждала обывателей достраивать их, однако не достраивают и трудно надеяться, чтоб скоро достроили, а потому главная полиция думает, что надобно положить срок – полгода, по истечении которого отдавать это строение другим желающим. Сенат приказал: принуждать достраивать, кроме тех, которые в армии или других отдаленных местах. Кто объявит, что достраивать не в состоянии, таким велеть продавать охочим людям за вольную цену, обязывая их в том подписками, а желающим из выстройки этих домов отдавать не следует, ибо от такой отдачи домовладельцам последует крайняя обида; также и полугодичный срок невозможен по короткости его. Главная полиция предлагала в Москве на Тверской-Ямской для большей красоты, так как это первая улица для приезжающих из Петербурга, насадить березки, как на Невском проспекте. Сенат и на это не согласился, так как слобода за Земляным городом; к тому же в ней бывает великая грязь и многих разных чинов людей приезды, от которых деревьям всегда может происходить повреждение, особенно от скота, ямщики принуждены будут беспрестанно новые деревья садить, отчего будут терпеть напрасный убыток.

Против пожаров известна была самая действительная мера: замена деревянных строений каменными. По просьбе петербургского купечества императрица приказала вместо деревянного гостиного двора строить купцам на свой счет каменный в один *апартамент* на каменных погребках с наружными и внутренними галереями, покрыть черепицею или железом, полы наместить камнем или кирпичом. Оброчные деньги брать с лавок и погребов по 75 коп. с погонной сажени. Труднее было придумать средства для улучшения личного состава полиции. Полиция жаловалась на магистраты, а Главный магистрат доносил Сенату, что присутствующий в московской полиции советник Воейков обижает и берет взятки с московского купечества, купца Тимофеева бил плетьюми, отчего тот чрез двое суток умер. Сибирский воевода Колударов доносил, что худые поступки управителя полицмейстерских дел Обухова «преодолели общенародную терпеливость».

При описанном печальном состоянии общественной охраны случилось, что разбойники приехали в Одоев, взяли из тюрьмы четверых колодников и благополучно уехали. Воры и разбойники в калужской провинциальной канцелярии показывали, что они пограбленные вещи отвозят за польскую границу на Ветку, а форпост на границе объезжают лесами; также приезжали в Калугу и живали у многих посадских людей в домах недели по две и больше без паспортов, причем домохозяева знали, что за люди их жильцы. Полицмейстер поручик Волков ни за чем не смотрит, в надлежащих местах караулов и рогаток нет. Прислано для поимки воров 20 солдат пеших, но надобны конные. Села Грибцова крестьяне, собравшись многолюдством, напали на дом ротмистра Дурнова в Калужском уезде, в сельце Незамаеве, мать его мучительски били, деньги и

пожитки побрали, потом пришли в другой раз, мать его закололи ножами и дом зажгли. Люди и крестьяне Дурнова нашли в Калуге разбойничью партию, троих схватили и привели в калужскую провинциальную канцелярию, но воевода отпустил их. Олонецкая провинциальная канцелярия доносила о появившихся в Олонецком уезде двух воровских партиях и большом числе беглых из службы людей и крестьян, а для поимки злодеев посылать некого. Порховская воеводская канцелярия писала, что для сыску воров и разбойников сыщика и команды никакой нет и беспрестанно из запольского рубежа выходят беглые солдаты, матросы, рекруты, беглые крестьяне и имеют пристани у помещичьих крестьян. Несколько церквей пограблено без остатку, а у жителей крадут лошадей. В Новгородском уезде в разных местах, особенно по московской дороге и близ нее, появились воры и разбойники. Епископ сарский и подонский (крутицкий) жаловался Синоду, что Белевского уезда вотчины капитана Левшина управитель Семенов, да села Троицкого приказчик Павлов, да староста Кириллов с 30 человеками крестьян пришли в церковь села Троицкого с ружьями, дубьем и цепями, выбили северные двери и выстрелили в алтаре, священника из алтаря выволокли, ризы на нем изодрали, на престоле и жертвеннике одежды подрали, прочие ризы, которые висели в алтаре, стаща, топтали ногами и измарали все без остатку; священника отволокли на помещичий двор и, разложив среди двора, били кнутом, а управитель бил дубиною мучительно, так что священник едва жив.

Относительно быта крестьян заметим следующие распоряжения и случаи. Граф Петр Шувалов словесно предложил Сенату, что во многих городах и уездах, на заводах и Торжках при покупке у крестьян хлеба употребляют хлебные меры, в которых сверх указной осмичетвериковой меры больше от четверика до осмины, а деньги платят за четверть и от таких неровных мер крестьяне несут немалую обиду: поэтому не соизволит ли Сенат подтвердить указом во всех местах иметь хлебные меры ровные и заклеянные, чтоб в четверти было восемь четвериков. Сенат согласился. В ближних к Дону местах крестьяне не отвыкали от бегства: ряжская воеводская канцелярия донесла, что из разных помещиковых вотчин людей и крестьян бежало человек 270 с женами, детьми и пожитками; некоторые пойманы и показали, что бегут на житье в козачьи городки. Бегство крестьян – явление очень для нас знакомое, но в описываемом году случилось бегство особого рода: бежал воевода Черньской провинции Ляпунов, с ним бежали с приписью подьячий и канцелярист, не сдавши никаких дел определенному на его место воеводою майору Хитрову.

Мы видели, что в высших учреждениях, коллегиях прокуроры указывали на неправильность действий членов, но в описываемое время президент Камер-коллегии Кисловский донес Сенату, что он не согласен с мнением вице-президента и членов, с общим определением членов Камер-коллегии и Главного магистрата, ибо видит упущение интересов ее имп. величества и явную потачку вору, утаителям товаров от пошлин чрез наглый разбойнический проезд в пограничную брянскую заставу. Он записал в протокол особливое свое мнение, но эти мнения присутствующими уничтожены; прокурор Философов не обратил на них внимания, и исполнено по голосам вице-президента и членов.

Любопытное явление в конце года произошло в коллегии Иностранных дел. 8 декабря канцлер призвал к себе в дом тайного советника Веселовского да обер-секретаря Пуговишникову, показал им присыпанные к нему от времени до

времени из коллегии экстракты из министерских реляций, которых накопилось очень много и по которым резолюции требуются, и начал говорить: «Удивляюсь, для чего в коллегии о таких делах, между которыми есть и нужные, господа члены по должности своей старания не прилагают, ибо известно им, что по силе регламента в делах мнения свои членам наперед с нижних голосов президенту предлагать надобно».

«Я, – отвечал Веселовский, – как и другие члены в коллегии, всегдашнее сидение имеем и по возможности своей в делах упражняемся, и которые дела предложены были нам к решению, как старые, так и новые, по тем всем недавно мы, сколько ума нашего было, рассуждение свое дали». *Канцлер* : «Однако мне весьма мало таких дел видно было, которые бы по вашим рассуждениям изготовлены были, и мне небезызвестно, что некоторые дела по полугоду и больше в коллегии без резолюции лежали, хотя вы, господа члены, все входящие в коллегия дела один за другим вкруговую читаете, но о резолюциях притом ничего не помышляете. Если вы думаете, чтоб я сам наперед на всякое дело свои рассуждения давал, то это не моя должность, да мне и не растянуться стать во всех делах одному, ибо для меня довольно исправлять такие нужнейшие дела, которые времени не терпят и о которых без замедления ее импер. величеству докладывать надобно. *Веселовский* : Мне не известно, какие бы дела так долго без резолюции в коллегии лежали, разве которых я не видал. *Канцлер* : И такие дела, которые я уже сам, хотя и сверх должности своей, чтоб не потерять времени, к высочайшей апробации у себя дома сочинял и в коллегия на рассмотрение посылал, долговременно безо всякого действия лежали, между ними поданный со стороны саксонского двора ответ на сделанное ему призывание приступить к союзному договору с венским двором с полгода в коллегии лежал; я, видя, что ничего об нем не помышляется, сочинил у себя ответ и на рассмотрение в коллегия отослал, но и после того он три месяца в молчании пролежал. *Веселовский* : Я и другие члены этот ответ саксонскому двору читали, а зачем он потом в коллегии пролежал, мне не известно. *Канцлер* : Если б вы, прочтя, свое мнение объявили, так ли тому быть или что в нем переменить надобно, то следовало бы вам мне о том знать дать, но этого не сделано; с таким же молчанием и во всех других делах происходит; но когда от меня для напаметования о каких-нибудь делах записки в коллегия присылаются, то, как слышно, на меня же нарекают и такие записки указами моими называются. Принужден я был вас нарочно теперь к себе позвать и персонально напаметовать, чтоб о делах в коллегии лучшее старание приложено было. *Веселовский* : Я со своей стороны в делах столько тружусь, сколько сил и ума у меня есть, а если в чем ума недостает, то где же мне его взять? Я бы рад его купить или в кузнице сковать, ежели бы возможно было. *Канцлер* : Вам самим известно, что покойный Бреверн не хуже вас, но также тайным советником и кавалером да и конференц-министром был, однако он всякие дела на апробацию канцлерову всегда своеручно сочинял; а от вас не только какого сочинения, но с начала сидения вашего в коллегии до сих пор еще не видно было, чтобы вы когда-либо одно слово для поправления в делах своею рукою написали, кроме подписания своего имени в готовых делах; а товарищ ваш, тайный советник Юрьев, хотя и в крайней старости находится, однако часто случается, что он своею рукою в сочиненных делах поправки делает. *Веселовский* : Если б у меня силы и лета

такие же были, как у Бреверна, то и я также бы мог трудиться. *Канцлер* : Когда за старостью не можете в сочинениях дел себя употреблять, то и не требуется от вас, однако что принадлежит к рассмотрению и решению дел в коллегии, то вам, как и другим членам, можно входящие дела хотя каждому про себя читать или всем вдруг слушать и, не откладывая вдаль, тогда же рассуждать и самим кратко записать или секретарю приказать, что по оным исполнить надлежит, особливо ж по реляциям министерским рассматривая, какие наставления им подать надобно, и такие свои рассуждения написав, ежели вице-канцлер не присутствовал, то ему, а потом и канцлеру показывать, что и с регламентом согласно будет. *Веселовский* : Ежели бы давно таким образом сказано, то и б поступали по тому; но случаются такие важные дела, о которых лучше при собрании всей коллегии советовать. *Канцлер* : Хотя и при собрании всей коллегии, однако мнения по делам наперед с нижних голосов подавать надлежит; а впрочем, вам самим неизвестно, что я прежде часто в коллегиях приезжал, но никакой пользы в делах от того не видал, ибо вы, господа члены, в таких моих присутствиях только и делали, что один за другим вкруговую читали, а никакого предложения или рассуждения не чинили; а когда я, видя ваше всегдашнее молчание, хотя мне этого и не следовало и наперед ваши мнения слышать надлежало, о некоторых делах свои мнения предлагал, в таких случаях одни только критические рассуждения от вас слышал, а как бы иначе, по вашему мнению, дело окончить надлежало, того никогда от вас добиться не мог; наскучивши такими бесплодными сидениями в коллегии и жалея о времени, что напрасно в том проходило бы, я и приезжать в коллегиях перестал, потому что я гораздо больше у себя дома, нежели сидя в коллегии, нужнейших; дел исправлять могу».

Этот любопытный разговор вскрывает нам ход дел в Иностранной коллегии. Президент ее, канцлер, не ездит в коллегиях, нужнейшие дела исправляет у себя дома, а между тем слышит, что его упрекают в деспотизме, в присылании указов членам коллегии; он призывает к себе Веселовского и оправдывается в своем поведении, складывая вину на него, на то, что не находит помощи в коллегии, жалуется, что там ведут дела не так, не по регламенту, а между тем сам признается, что приучил вести дела неправильно, делал чего не следует, предлагал свое мнение, не собирая голоса с младших. Веселовский наивно и грубо отвечает: давно бы сказал, что надобно поступать по регламенту, так бы и поступали. Бестужеву особенно чувствительны были нарекания на его поведение в коллегии потому, что вице-президентом ее был Воронцов, его враг. Бестужев удалил из коллегии воронцовского клиента Неплюева, пославши его в Константинополь, но теперь получались известия, что и Веселовский, выведенный Бестужевым по старым приятельским отношениям, перешел на сторону Воронцова.

О поведении врагов канцлера, Воронцова и Лестока, мы продолжаем узнавать из депеш Финкенштейна. Воронцов уверял Финкенштейна, что прусскому королю нечего опасаться ни от последнего заключенного Россией трактата, ни от похода тридцатитысячного русского корпуса. «Я, – доносил Финкенштейн своему королю, – имевши много случаев находить сообщаемые им известия справедливыми и хвалиться добрым его расположением к интересам вашего величества, я не могу думать, чтоб он меня в этом случае хотел обмануть. Он, правда, боязлив, но эта боязливость заставляет его скрывать от меня некоторые подробности только, и я никак не думаю, чтобы он захотел представить мне не то,

что на самом деле». Но кроме Воронцова, приятеля важного, у Финкенштейна был еще приятель неустрашимый – Лесток. Этот объявлял ему о всеобщем неудовольствии, которое возбуждено походом тридцатитысячного корпуса за границу. «Боюсь одного, – говорил Лесток, – чтоб канцлер нарочно не замедлил походом с целью не допустить войско прийти вовремя и вступить в дело с неприятелем, потому что если случится противное дело дойдет до битвы, то можно биться об заклад, что русские потерпят неудачу: прежняя дисциплина исчезла и командующий генерал Ливен не любим войском; поражение войска составляет теперь желание всех благонамеренных генералов; многие из них говорили мне, что нет другого средства заставить императрицу открыть глаза насчет канцлера; если дела пойдут хорошо, то нечего и думать о перемене; надобно получить пощечину, и тогда нетрудно будет свергнуть канцлера». По поводу этой депеши Бестужев заметил: «Такою изменническою о войсках ее импер. величества хулою король прусский столько ободрится, что с ее величеством равняться думает, вместо того что дед и отец его и зависимости государя Петра Великого были. Совсем ложь: генерала Ливена не только солдаты, но и офицеры все любят и почитают. А как долго сии изменники не искоренятся, то и помышлять нечего, чтоб они к присяжной своей должности обратились, ибо злость их и ненависть на канцлера не допускает их чувствовать, что они, желая его погубить, вредят интересам своей монархии и отечества».

Воронцов старался отстранять причины неудовольствия Елисаветы на Фридриха II. Одною из причин неудовольствия был отказ Фридриха отдать русских солдат-великанов, присланных отцу его прежними правительствами. Воронцов внушал Финкенштейну, что если Фридрих возвратит несколько из них в Россию, то нет сомнения, что это произведет самое полезное впечатление в мыслях императрицы; он, Воронцов, знает наверное, что это дело представлено ей с религиозной точки зрения и всякий день толкуют ей об этом, чтоб раздражить ее против прусского короля. Воронцов в разговорах с Финкенштейном укорял Бестужева, что тот посылкою тридцатитысячного корпуса вовлекал Россию в европейские замешательства. Бестужев по этому случаю замечает: «Ее и. в-ства слава и интересы требуют в европейские дела мешаться. Петр Великий столько о том старался, что помощный корпус на своем собственном иждивении отправить рад был бы. Инако же разве турками или персианами быть запертыми в своих границах? Пример тому недавно сделался, что когда король прусский в чужие дела вмешался, а с здешней стороны никакого движения против того чинено не было, то он до такой силы дошел, что подлинно наиопаснейшим соседом есть».

В конце марта месяца Финкенштейн доносил своему двору об опасной грудной болезни генерал-прокурора князя Трубецкого, прибавляя: «Смерть князя Трубецкого подлинно была бы великая потеря, и канцлер избавился бы от самого опасного неприятеля, какого он в здешней земле когда-либо имел. Графы Лесток и Воронцов, которые связаны с ним дружбою, очень беспокоятся». Бестужев заметил: «Из сего ее имп. величество усмотреть изволит, в каких людях сия шайка состоит».

Бестужева очень обрадовала депеша Финкенштейна от 23 июля, из которой оказалось, что Воронцов получает пенсию от прусского двора. Финкенштейн писал королю: «Так как срок пенсии, которую вашему величеству угодно жаловать важному приятелю, истек 1 сентября прошлого года, то я считаю долгом

испросить приказаний вашего величества относительно ее, тем более что приятель, не называя вещь ее именем, однако, дал мне знать, что надеется на продолжение к нему милостей вашего величества. Я должен также прибавить, что хотя настоящее положение дел не дает ему возможности быть полезным в той же степени, в какой он был прежде, однако он продолжает быть одинаково благонамерен и сообщать мне от времени до времени то, что, по его мнению, может быть полезно службе вашего величества». Бестужев замечает: «Христос во евангелие глаголет, не может раб двума госнодинома работати, богу и мамоне; а между тем из сего видно, что сия сумма еще прежде бытности его в Берлине знатно чрез Мардефельда назначена. Сие же теперь толь больше вероятности подает подаванным от казенного в Пруссии тайного советника Фербера к полковнику Виттингу известиям, которых оригиналы из коллегии скрадены, и тому письменному известию, каково камергер Чоглоков при проезде своем чрез Берлин от бывшего там секретаря Лоренца получил, а именно что вице-канцлер сообщил королю прусскому из Дрездена о плане саксонцев; король прусский их предупредил и тем Саксонию разорил».

В конце августа Лесток дал знать Финкенштейну, что императрица сильно раздражена против морских держав, говорила, что, по-видимому, хотят уничтожить ее войска; но впрочем, венский двор не перестает быть любимым двором. Уведомляя об этом, Финкенштейн писал королю: «Выходит из этих слов, что возникло охлаждение между русским двором и морскими державами, которым благонамеренные могли бы воспользоваться, если б они имели мужество и способны были к деятельности. Говорят сильнее прежнего о путешествии в Москву. Канцлер, впрочем, еще не отчаивается отклонить его и сильно хлопочет об этом под рукою». Бестужев замечает: «Ее импер. величеству лучше известно, изволила ли такие разговоры при Лестоке держать; но преступление его в том равно, лгал ли он на ее величество или верный рапорт делал министру короля прусского. Ее императ. величество из прежних писем уже усмотреть изволила, что Лесток советовал, чтоб ни министра ее величества на конгресс не допускать, ни же России в мирный трактат не включать».

Вслед за тем Финкенштейн писал: «Я внушил обоим приятелям, что такое положение дел в соединении с раздражением императрицы мне кажется благоприятным случаем, которого не должно упускать, что именно теперь надобно раскрыть пред императрицею недостойное поведение ее первого министра, что затруднения, которые делают России в Ахене, чтоб не допустить ее до участия в деле умиротворения Европы, и печальное состояние русского войска доставляют страшные доказательства против канцлера и можно сделать эти представления так, что тщеславие императрицы не будет затронуто, ибо она, быть может, сочтет делом своей чести поддерживать и ложные меры своего министра: надобно ей внушить, что величайшие государи имели иногда несчастье быть обманутыми безо всякой вины со своей стороны; надобно напомнить ей пример родного отца, который, несмотря на свой гений и всю свою деятельность, часто находился в таком положении и избавлялся из него посредством розысков и примерных наказаний, и тем не менее он считался во всей Европе государем мудрым, правосудным, правителем самостоятельным. Важный приятель, казалось, принял мои внушения и сказал, что не преминет воспользоваться ими при первом удобном случае; но в то же самое время я нашел его в таком душевном

расслаблении вследствие обхождения с ним императрицы, что я не могу много на него рассчитывать, если только государыня сама не сделает первого шага. Я был более доволен графом Лестоком, который решился объясниться с императрицею при первом случае. Я говорил им также о поездке в Москву, на которую я смотрю как на проделку партии; я их уговорил приложить свое старание при этом и надеюсь, что они успеют, потому что императрица страстно желает этой поездки».

Не известно, объяснился ли Лесток с императрицею; известно только, что в ноябре он был арестован, и ему предложены были следующие допросные пункты: 1) зачем водил компании со шведским и прусским послами? 2) От богомерзкого человека Шетардия табакерки к тебе присланы, и именно написано было, чтобы оные герою отдать: ты, ведая, кому он сие имя давал (Елисавете) и будучи сие уже по высылке его отсюда учинено, то сие от него дерзостно сделано, а ты, как присяжный человек, таку ль верность к государю своему имеешь, что о сем утаил? Любя Шетардия, такого плута на государя своего променял! Не мог ли ты себе представить, что ежели б и партикулярной даме, в ссоре находящейся, кто-либо подарок прислал, то оный ни от кого принят быть не может, кольми же паче чести ее величества предосудительно. 3) Ты в некоторое время ее имп. величеству самой говорил, что ежели б де принцесса цербстская послушала твоих и Брюммеровых советов, то б она великого князя за нос водила: так объяви, в чем советы твои состояли? 4) Ты хочешь переменить нынешнее царствование, ибо советуешься с министрами шведским и прусским, а они ко дворам своим писали, что здешнее правление на таком основании, как теперь, долго оставаться не может. 5) Финкенштейн писал, что для произведения перемены удобным случаем была б ссора между императрицею и великим князем: не учинено ль от тебя каких откровений? 6) В тех же письмах усмотрено, что генерал-прокурор князь Трубецкой главным сообщником всех твоих злодейских замыслов был, да и то еще об нем упомянуто, что в случае воспоследуемого происшествия перемены он таким между твоею шайкою признается, который в состоянии теми приятелями предводительствовать, кои теперь в спячке находятся, а тогда все восстанут. 7) Ты сам Финкенштейну говорил, что тебе с вице-канцлером удалось тайного советника Веселовского на свою сторону преклонить, так что он, учиня тебе весьма много откровений, и отстать не может. 8) Во время негоциации с морскими державами о перепущении им помощного корпуса ты старался все тайности у вице-канцлера сведать и о всем Финкенштейну пересказывал; уже доказано, что и сам вице-канцлер прусскому министру такие открытия чинил, с тобою же был в тесной дружбе. 9) Шапизо (капитан Ингерманландского полка, племянник Лестока) показал, что ты чрез Мардефельда от короля прусского 10000 рублей получил. Лесток ни в чем не признался; его сослали в Углич.

Падение Лестока произвело сильное впечатление при иностранных дворах; оно показывало несокрушимую силу Бестужева, показывало, следовательно, и будущее направление русской политики после важного события в Западной Европе, замирения ее на Ахенском конгрессе.

10 мая в Петербург съехались к канцлеру австрийский посол барон Бретлак, английский лорд Гиндфорд, голландский посланник Шварц, и Бретлак жаловался на медленность князя Репнина, который в Гродне напрасно жил три недели, а 13 апреля был не далее местечка Гуры. Князь Репнин, будучи болен, нарочно задерживает войска из одного желания все их вместе самому показать императору

и императрице римским. По словам Бретлака, он получил от своего двора выговор, ибо твердо обнадежил, что русские войска в исходе апреля вступят в австрийские владения: теперь же, как по всему видно, они прежде июня туда не придут. Гиндфорд и Шварц жаловались еще сильнее, представляя, что французы, зная о медленном движении русского войска, которое потому в нынешнюю кампанию не может сделать им большого вреда, без малейшего опасения устремляют все свои силы против союзников, отчего общее дело очень страдает. Чернышев доносил из Лондона, что как при дворе, так и в народе главным предметом разговора служат движения русского вспомогательного корпуса. вычисляя, по скольку миль он должен делать в день и когда придет к месту назначения.

Но движение этого корпуса способствовало только скорейшему заключению мира, переговоры о котором уже начаты были в Ахене. В апреле Чернышев уведомил о заключении прелиминарных статей, по которым воюющие державы обязывались возвратить друг другу все завоевания; прусскому королю была гарантирована Силезия; Франция признавала императором германским мужа Марии Терезии. Английское министерство жаловалось Чернышеву, что Англия принуждена заключить этот мир вследствие дурного действия своих союзников, Австрии и Голландии, что король не иначе смотрит на него как на вынужденный силою и потому намерен остаться непоколебимым в своей прежней системе, т.е. находиться в теснейшей дружбе со своими собственными союзниками, особенно с русским двором; в знак чего велел отослать к графу Гиндфорду копию с прелиминарных статей и всех пьес, относящихся к мирным переговорам, для представления императрице с уверением, что король в точности исполнит все обязательства. Чернышев получил также уверение, что английское правительство не намерено вступать ни в какие теснейшие обязательства с королем прусским. Но в конвенции о перепущении русского войска было внесено условие, что в случае мирных переговоров Россия принимает в них участие, почему теперь Чернышев потребовал, чтоб русский министр был допущен на Ахенский конгресс или по крайней мере Россия была включена в окончательный трактат, дабы не испытать какой-нибудь мести со стороны держав, против которых она подала помощь своим союзникам. Чернышеву отвечали, что английский уполномоченный на конгрессе граф Сандвич предложил об этом, но получил решительный отказ со стороны французского уполномоченного графа Сан-Северина и потому Англия, нуждаясь в скорейшем заключении мира, не может более настаивать ни на допущение русского министра на конгресс, ни на включение России в окончательный договор. Но если императрица пожелает, то Англия употребит все свое старание, чтоб Россия была приглашена приступить к окончательному договору после его заключения; притом Англия обязывается не входить с Австриею и Голландиею ни в какие теснейшие союзы без предварительного сношения и согласия с русским двором. Князю Репнину, находившемуся в Элберфельде, послано было требование, чтоб немедленно возвращался назад, ибо под этим условием французы обязывались вывести из Брабанта 35000 своего войска. Но не князь Репнин привел назад русское войско: он умер 30 июля, и начальство над корпусом принял генерал-поручик Ливен.

В октябре между Чернышевым и английским министром герцогом Ньюкестлем были разговоры об Австрии по поводу столкновений ее с сардинским

двором. Ньюкестль обвинял венский двор в неполитичности его действий, настаивал, что необходимо щадить сардинский двор, ибо иначе он передастся на сторону Франции; Чернышев защищал венский двор, ибо враждебность отношений к Пруссии заставляла в Петербурге поддерживать австрийские интересы во что бы то ни стало. Ньюкестль говорил, что поведение венского двора может нарушить настоящую систему и равновесие Европы; Чернышев возражал, что Австрия неоспоримо более в состоянии поддержать европейское равновесие, чем Сардинское королевство, и Ньюкестль должен был с этим согласиться, хотя продолжал выражать раздражение против Австрии.

В Вене раздражение против Англии было еще сильнее. Ланчинский еще от 30 марта сообщил своему двору о словах канцлера Улефельда, что относительно примирения Англия, кажется, благоприятствует Пруссии и что есть намерение заключить мир на одних проторях Австрии. И в апреле Улефельд пел ту же песню, жаловался на англичан, что слишком поздно заключили конвенцию с Россией, говорил, что не заключили бы и этой конвенции, если бы не штатгалтер голландский принц Оранский, утверждал, что англичане непременно хотят ввести на конгресс прусского уполномоченного. В мае Улефельд, говоря об ахенских прелиминариях, объявил, что они чрезвычайно странны и заручены Англией, Францией и Голландией в предосуждение венскому двору, которому в Италии очень мало остается; Силезия гарантируется прусскому королю, которого англичане и голландцы стараются усилить на помощь себе впредь. «Вашему и нашему двору, – говорил канцлер, – ненадобно надеяться ни на Англию, ни на Голландию и ни на какую другую державу, но твердо держаться вместе: у нас одни интересы и наши системы всех других постояннее». Но теперь при таком смутном положении дел посылается указ графу Кауницу в Ахен, чтобы подписал прелиминарии. В июне Улефельд уже толковал, что теперь необходимо стараться не только не допускать прусского короля до теснейшего соединения с Францией, но всячески их разделять. Английские министры, говорил канцлер, объявляют другое несостоятельное мнение, что России надобно соединиться с Англией, Пруссией и здешним двором против Франции; но на самом деле они хотят принести нас в жертву и усилить прусского короля. Они хотят удержать субсидию, чтоб наше войско в Нидерландах голодом поморить. Нашим постоянным неприятелям, французам, мы обязаны тем, что прусского министра на конгресс не допускают. В Вене употребляли все средства, чтоб вооружить Россию против Пруссии, рассказывали Ланчинскому, что Фридрих II хочет принять католицизм для получения императорской короны, что имеет виды на Польшу; в то же время внушали, что Россия не должна настаивать на допущении своего министра на Ахенский конгресс, ибо в таком случае Англия будет настаивать на допущении прусского министра. Улефельд продолжал бранить англичан: «Не только противности, но и неучтивости их к нашему двору умножаются; и с нами-то не за что так поступать, а русские вспомогательные войска чем провинились? Для чего так странно отсылаются, не дождавшись решения их императрицы? Смехотворно объявляют, что Франция требовала их отсылки, обещая отпустить и со своей стороны такое же число войска; но французам возвращаться близко, а русским полкам 300 миль идти надобно без отдыха. На то не обратили внимания, что одно движение этих войска заставило Францию спешить с прелиминариями, если же

англичане приняли эти прелиминарии себе без пользы и нам ко вреду, то русские войска к тому причины не подали».

В Дрездене Мих. Петр. Бестужева прежде всего занимал вопрос о проходе русского вспомогательного отряда через Польшу. В марте граф Брюль сообщил ему, что перенято письмо французского резидента Кастера, из которого видно, что он пишет к польским магнатам и великому гетману, как бесчестно и стыдно, что дозволяется пропуск чужим войскам через Польшу. Король очень рассердился, и решено жаловаться французскому двору на Кастера. В апреле Бестужев писал императрице, что в Польше довольны дисциплиною и исправным платежом проходившего через нее репнинского корпуса; но так как на будущем сейме без крику и шуму против прохода русских войск не обойдется, то надобно прислать к сейму несколько денег и мягкой рухляди для успокоения этих криков. Надобно было ожидать на сейме поднятия и другого неприятного для России вопроса – курляндского, предвиделось, что поляки потребуют или освобождения Бирона и его сыновей, или объявления герцогского престола праздным и выборов на него; Мориц Саксонский, прославившийся как маршал французской службы, не переставал называться герцогом курляндским, и носились слухи, что он сам приедет в Польшу к сейму. По всем этим обстоятельствам Бестужев представлял своему двору необходимость разорвать сейм, а для этого надобились деньги и мягкая рухлядь. По этому представлению переслано было в Польшу для сейма 11000 рублей деньгами.

Касательно Саксонии Бестужев должен был хлопотать о том, чтоб она приступила к союзу, заключенному между Россиею и Австриею. На предложение со стороны Бестужева Брюль отвечал, что это дело великой важности, ибо Саксония, будучи окружена владениями короля прусского, первая подвергается его нападению, как в последнюю войну и случилось: за исполнение обязательств Варшавского трактата король подвергся великой опасности, почти вся Саксония была завоевана и разорена и не получила ниоткуда ни помощи, ни вознаграждения за понесенные убытки. Поэтому желательно, чтоб здешнему двору были показаны безопасность и выгоды; а без того его величество приступление к договору не находит согласным со своими интересами; наконец, между Россиею, Австриею и Саксониею и без того существуют союзные договоры.

Осенью начался сейм в Варшаве. 8 октября Бестужев писал: «Двор продолжает желать, чтоб сейм состоялся; князья Чарторыйские в угодность королю, особенно же для показания своей силы в Речи Посполитой, стараются об этом всеми средствами и почти никого противников себе не находят. Правда, воевода сендомирский Тарло, как богатейший здесь после князей Чарторыйских, мог бы им противиться, но его, как человека корыстолюбивого, король каким-нибудь обещанием может задобрить, а великий гетман коронный (Потоцкий) так устарел и одряхлел, что уже и себя почти не помнит, так что теперь сейм состоит совершенно из креатур Чарторыйских. Великий гетман литовский князь Радзивил просил меня, чтоб я вашему имп. величеству засвидетельствовал о его доброжелательности и усердии к русским интересам, и притом ко мне отзывался, что хотя он с князьями Чарторыйскими и в дружбе находится, однако неохотно может видеть, чтоб они приходили в большую силу; и я сам усматриваю, что у главных магнатов к фамилии Чарторыйских большая

зависть, да и правда, эти князья вместе с воеводою мазовецким Понятовским многих из них умнее и в делах гораздо поворотливее и расторопнее».

9 октября после обеда королевского, к которому был приглашен и Бестужев, Брюль подошел к нему и как бы шутя сказал, что король желает, совершения сейма, а слышно, что он, Бестужев, хочет противного и не имеет ли он об этом указа императрицы? Бестужев признается, что был смущен этими словами, но принял также шутливый тон и отвечал, что указа нет и никому никаких внушений о том не сделано. После этого Брюль попросил его приехать к нему на другой день, чтоб переговорить серьезнее и обстоятельнее. На другой день Брюль начал разговор просьбою, чтоб Бестужев прямо и откровенно объявил, есть ли у него указ императрицы разорвать сейм, ибо если так, то король и трудов своих употреблять не станет, зная, что императрица по своему кредиту в Польше и посредством денег не допустит сейма до окончания, хотя король и желал бы противного единственно для чести и для утверждения своего кредита в Польше, что императрице может быть не только не противно, но по общим интересам и приятно, и если б она прислала указ о разорвании сейма, то это было бы поступлено несоюзнически.

Бестужев отвечал, что точного указа не имеет, но, слыша, что в Посольской избе раздаются крики о курляндском деле, за которым сюда и депутаты присланы, считает своею обязанностью и без указа разорвать сейм, чтоб не было внесено в конституцию чего-нибудь противного русским интересам; впрочем, до сих пор не сделал еще ни одного шага и ни с кем из своих друзей не изъяснялся, и потому подозрения Брюля напрасны. Что же касается до желания короля о завершении сейма, то он до сих пор ничего об этом не знал, а теперь, когда ему королевское намерение объявляется, то оно императрице нимало противно быть не может, лишь бы только в конституцию не было внесено ничего противного русским интересам. Разговор кончился тем, что Брюль дал слово не вносить ничего о курляндском деле в конституцию, лишь бы императрица со временем покончила это дело, и Бестужев известил свой двор, что в сеймовые дела больше мешаться не будет, вследствие чего 10000 рублей останутся в казне. Сейм расползся и без русских денег. Говорили, что причиною этому были французские и прусские интриги, но Бестужев писал, что чужих интриг не было, а были интриги завистников фамилии князей Чарторыйских, усиления которых не хотят допустить. Литовский гетман Радзивил, приехавши к Бестужеву проститься, просил его от имени всей Литвы уверить императрицу в истинной преданности и в том, что Литва в случае какого-нибудь происшествия полагает надежду на помощь России, при этом жаловался он на Чарторыйских, что поступают деспотически, что сношения двора с домом Чарторыйских во время последнего сейма клонились к тому, чтоб на сеймах вести решение дел по большинству голосов, а *liberum veto* уничтожить. «От этого, – говорил Радзивил, – вольность республики была бы истреблена вконец, и я скорее дам себя на части изрубить, чем позволю на введение такой вредной новости». Бестужев извещал, что этот замысел Чарторыйских увеличил число их врагов, поднял против них Радзивилов, Огинских, Сапег, Сангушек, Потоцких, Тарлов; великий канцлер коронный Малаховский показывает им только вид приязни, негодуя, что двор доверяет им более, чем кому-либо другому. Бестужев внушал своему двору, что введение большинства голосов на польских сеймах будет вредно русским интересам.

Прусский двор во время движения русского вспомогательного корпуса и во время ахенских переговоров хранил глубокое молчание. В Швеции в апреле месяце Корф был сменен действительным камергером Никитою Ив. Паниным. Новый посланник должен был начать свои донесения печальными известиями о состоянии королевского здоровья. «Хотя жизнь его величества и не пресечется, – писал Панин в мае, – однако по причине старости и невоздержания час смерти не может быть далек, и бдительная французская партия давно уже принимает свои меры; кронпринц почти ежедневно присутствует в Сенате, куда преданные Франции сенаторы приезжают постоянно, носящие же имя патриотов – очень редко. Эти патриоты здраво судят о дурных последствиях смерти королевской, но плохая надежда, чтоб они могли принять какие-нибудь меры, все единогласно признают слабость и трусость своих единомышленников; один из них, Вормгольц, откровенно сказал мне, что их партия без помощи посторонней державы не двинется».

В письме к канцлеру Панин изложил свое мнение, как России надобно действовать после смерти королевской. Она должна иметь в виду три задачи: 1) не допустить до установления самодержавия; 2) низвергнуть настоящее министерство; 3) возведением на места прежних министров добрых патриотов связать руки у молодого двора. Достигнуть этих целей посредством старой русской партии (колпаков) нельзя; надобно из французской партии выбрать сильного человека и склонить на свою сторону. Действовать в полном согласии с Даниею по единству интересов и подкрепить сейм оружием, раздача же денег никакой пользы не принесет. Королевская болезнь затянулась надолго. Панин требовал, чтоб решительные меры, именно вооруженное вмешательство, были приняты прежде смерти королевской, ибо после будет уже поздно; он настаивал на том, что Швеция решительно не в состоянии сопротивляться нападению с двух сторон – русской и датской.

19 октября в Петербурге был написан Панину секретный рескрипт: «Усмотря из разных ваших доношений несумненные доказательства старательствами проискама поверхнствующей в Швеции французско-прусской партии о введении, по преставлении его величества шведского, самодержавства, мы, по неутомленному нашему о благе и целости нашей империи и об отвращении всего того, еже интересам оной вредительно быть может, всегда имеющему попечению, уже пред давным временем канцлеру нашему поручили с пребывающим при нашем дворе датским министром Шезом о таком важном и до обоих государств равно существительно касающемся предмете потребные сношения иметь, дабы такой предосудительный оной шайки замысел соединенными силами в ничто обратить и тем покой в севере постоянным и надежным учинить. И мы на верность и искусство ваше полагаемся, что вы сию деликатную материю с надежнейшими из патриотов так тайно трактовать будете, что о том ничего наружу не выйдет». Но Дания медлила, и Панин был недоволен министром ее в Стокгольме Винтом. Последний открыл ему, что он уведомлен от своего двора о сношениях России с Даниею по поводу шведских дел и получил указ поступать с ним, Паниным, откровенно и ободрять шведских патриотов. Панин с своей стороны открыл ему только то, что датский министр в Петербурге предложил принять общие меры против восстановления самодержавия в Швеции и что он, Панин, будет обнадеживать патриотов в сохранении их свободы как от имени

императрицы, так и от имени короля датского, но в дальнейшие изъяснения с ним не вошел, «потому что, – писал Панин, – до сих пор от него ничего сходного с его инструкциями не вижу; это такой человек, что свои забавы и спокойствие предпочитает делам».

7 ноября Панин был приглашен наследным принцем, который начал ему говорить: «По окончании несчастной войны у Швеции с Россией недоброжелательные обоим дворам люди постарались против меня лично вооружить ее импер. величество и внушить подозрения, будто я во время европейской смуты вместе с шведским народом действовал вопреки интересам ее величества и даже прямо принял неприятельские меры против России. Я боюсь, чтобы эти подозрения рано или поздно не причинили горести моему отечеству и чтоб я не был первою причиною несчастья. Так как теперь вследствие общего замирения Европы несправедливость таких подозрений сама собою оказывается, то я прошу вас дружески донести императрице о моей истинной преданности и высокопочитании, уверить, что я почел бы себя за неблагодарнейшего человека в мире, если бы когда-нибудь забыл милости и благодеяния ее величества». «Эта штука внушена Тессинном, – писал Панин, – он заставил принца свою *ватагу* шведскою нациею назвать и свои действия вымышленными будто от неприятелей. Что за вздор – общим замирением доказывать свои добрые намерения относительно России и ставить себе в заслугу свою невозможность действовать прямо против нее! Я отвечал, что о подозрениях, о каких он изволил упоминать, никаких сведений не имею». Панин приписывал эти заявления принца страху перед движением русских в Финляндии и датских в Норвегии, тем более что Тессин рассыпался пред ним в ласкательствах. Дело дошло до того, что Тессин издалека через других стал внушать Панину, что ему нетрудно будет французские интересы принести в жертву русским. Панину пришла в голову мысль, что между Тессинном и другими членами французской партии должен быть разлад, и потому России можно употребить Тессина орудием для достижения своих целей. Он выражался на этот счет так: «Питая в Тессине надежду успеха, не невозможно найдется ныне господствующую партию разделить надвое и тем Тессина с молодым двором в брани и битве с своими упражняемыми учинить, еже несказанно мудрому предприятию вашего импер. величества для перемены здешних дел поспешествовать может, ибо во время того действия оный Тессин достаточною лозою служить может, которая обычайно после наказания других в огонь ввергается». По мнению Панина, даже и в том случае, если б все эти улаживания имели целью отвлечь Россию от Дании, то и тогда следовало пока держать шведов между страхом и надеждою и тем выиграть поболее времени, ибо наставшая зимняя пора неудобна для военных действий и нельзя надеяться, чтобы датское войско могло получить эту зимою значительный успех, ибо не имеет магазинов.

Таким образом, кронпринц и его, или так называемая французская, партия, достигнувшая своими жалобами в Петербурге отозвания Корфа, ничего не выиграли, получив на его место Панина. Корф отправился на свое прежнее место в Копенгаген склонять Данию действовать заодно с Россией.

16 декабря отправлен был к нему рескрипт: «Мы наперед обнадежены пребываем, что его величество король чиненные ему с нашей стороны толь откровенные авансы с предварительным сообщением о нашей в Швеции чинимой

декларации и о сделанных уже действительно в Финляндии распоряжениях за удостоверительные опыты нашей союзнической и истинной дружбы купно с тою надобностью, чтоб оным равным образом чрез откровенное объявление его при том имеющих сентиментов соответствовать, совершенно признает, следовательно же, далее и не отречется чрез своего министра Шеза у нас первые предложения учинить и его достаточными инструкциями к неотлагательному заключению формальной конвенции снабдить повелеть, дабы сие зело важное дело, в совершении которого, в рассуждении зело слабого состояния здоровья короля шведского, ни единого часу упускать более не должно, без дальнего отлагательства к совершенному состоятельству приведено было. Польза же, которая датскому двору при сем произрастет, видится гораздо вящей важности быть, нежели для нас, ибо мы, как упомянуто, ничего более, как ненарушимое сохранение тишины в севере, не желая притом чего-либо завоевать, предметом имеем; напротив же того, оному двору насчет Швеции охотно некоторые аванжаги дозволяем».

И относительно других дворов произошли перемещения русских министров: граф Мих. Петр. Бестужев-Рюмин из Дрездена переместился в Вену; на его место в Дрезден назначен Кейзерлинг из Берлина; на место Кейзерлинга переведен в Берлин Гросс из Парижа. В Париж не назначен никто, потому что охлаждение между Россией и Францией достигло высшей степени вследствие перепущения русского вспомогательного корпуса морским державам для действия против Франции. Дальон был отозван еще в конце 1747 года, но так как его отъезду было дано значение временное, то Гросса немедленно не отозвали и он должен был выслушивать неприятные выходки от заведовавшего иностранными делами маркиза Пюизие. «Такой великой державе, как Россия, – говорил маркиз, – неприлично свое войско за деньги отдавать другим державам; приличнее было бы ей прямо объявить войну против Франции». Гросс получил из Петербурга приказание «При всяком таком случае разговоров продолжительно доказывать, что сия нашим союзникам чинимая помощь никому в обиду причтена быть не может, да и мы в том никому же отчета давать не обязаны». Год проходил, но французское правительство ни кого не назначало в Петербург на место Дальона, и 9 декабря императрица подписала Гроссу рескрипт, в котором приказывала ему немедленно выехать из Франции:

«Мы из разных реляций ваших усмотрели, – говорилось в рескрипте, – что маркиз Пюизие в некоторый реванш за отправленные нами к обеим морским державам 30000 человек войска отзыв от нашего двора французского министра Дальона почитал, оказывая притом, что король его – государь и совсем не намерен кого-либо другого на место его к нам прислать. Сверх же того, по поводу помянутого перепущения наших войск весьма неприятные и всевысочайшему нашему достоинству предосудительные разговоры вам держаны. И яко нам вкорененное французскому двору к нашей императрице недоброжелательство и произведенные издревле при разных дворах да при самой Оттоманской Порте нам предосудительные происки и возмущения, которые по приобретенной Францие несправедливыми и богомерзкими войнами в свете знатности от большей части и успех получают, довольно известны, мы же для обессиления такой знатной инфлюенции лучших способов не изобрели, как верным и натуральным нашим союзникам посторонним образом против оной державы сильно вспомогать, чрез

который способ наконец и пожеланный мир в Европе восстановлен. Тако мы, как в рассуждении того, что французский двор причиненною посылкою наших войск препятствия прогрессом оружия оною, нам не скоро позабыть может, так и для неподания о нас в свете мнения, яко бы сия корона столько нам надобна, что мы и собственную всевысочайшую нашу честь из глаз выпускаем, оставляя вас тамо, невзирая на то что при нашем дворе французского министра не находится и что хотя, почитай, ко всем другим новые послы и министры назначиваются, а о нас не помышляется, за весьма нужно изобрели вам повелеть, чтоб вы оттуда со всеми у вас находящимися канцелярскими делами, как скоро токмо собратся можете, в Гагу под таким претекстом выехали, что вы по прошению вашему о распоряжении некоторых домашних дел в отечестве вашем всевысочайшее от нас позволение получили».

Желанный мир был восстановлен, и, по общему признанию, одною из причин его ускорения было движение русского войска к Рейну. Таким образом, уже в третий раз движение русского войска останавливало завоевательные замыслы, сдерживало победителя, вело к миру в Европе: появление русского войска на Рейне повело к Венскому миру, окончившему войну за польское наследство; движение русского войска в 1745 году заставило Фридриха II ускорить Дрезденским миром, и, наконец, последнее движение репнинского корпуса заставило спешить ахенскими переговорами. Новое могущество, появившееся на Востоке с начала века, оказывало свое влияние на европейские дела новым, особенным образом; политическое равновесие получало для себя сильное ручательство.

Дело кончилось, по-видимому, страшным раздражением между Россиею и Франциею, заставившим их прекратить дипломатические сношения. Но это раздражение России против старой Франции было последнее. Старая Франция теряла свою силу и вовсе не была так опасна, что ясно сказалось при окончании войны за австрийское наследство: с какими надеждами вступила в нее Франция? С надеждами окончательного низложения, раздробить Австрию, после чего вся Германия представляла бы ряд мелких, слабых государств, подчиненных влиянию Франции. Но сбылись ли эти надежды? Нисколько. Австрийские владения не раздробились; но дело было не в Австрии: в Германии явилась держава гораздо опаснее Австрии; Франция вела войну для Пруссии, ибо одна Пруссия воспользовалась войною, одна усилилась, одна приобрела от Австрии богатую область, потерю которой Австрия не могла забыть; конец войны должен был убедить Францию в том, в чем русские государственные люди были давно уже убеждены: они были убеждены в том, что Пруссия опаснее Франции. Франция должна была убедиться, что для нее Пруссия опаснее Австрии: в этом убеждении, естественном и необходимом, лежала главная причина перемены старых вековых отношений, которая была следствием войны за австрийское наследство и причиною Семилетней войны.

Но пока вся Европа замиралась, и Елисавета стала приготавливаться к своей любимой поездке, поездке в Москву. Мы видели, что вопрос об этой поездке стал вопросом партии, Бестужев вы ставил сильное сопротивление, указывая на необходимость оставаться двору в Петербурге ввиду шведских событий, в которых не преминут принять участие Пруссия и Франция. Канцлер основывался на депешах Панина, который настаивал на том же, указывая, как обрадовалась в

Стокгольме французская партия при известии об отъезде русской императрицы в Москву. Но сопротивление Бестужева заставляло противников его тем сильнее утверждать Елисавету в ее намерении ехать в Москву.

17 октября Сенат получил указ: в будущем декабре императрица едет в Москву и повелевает учинить наряд подводам, чтоб было на каждый стан по 725 подвод, в том числе ямских и градских – по 300, уездных – по 425. Для Сената, Синода и коллегий подводы нанимать вольные и что ненужное отправлять другими трактами; а чтобы за множеством проезда, за дороговизною кормов наемщики цен безмерно не возвышали, того ради отпуски партикулярным людям своих товаров до января месяца как здесь, так и в Москве велеть удержать, также расставленных по почтам в разных местах ямских лошадей, кроме московской отсюда дороги, велеть убавить на весь декабрь месяц. 15 декабря императрица выехала в Москву.

Глава пятая

Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны

Образованность в России в первые семь лет Царствования Елисаветы. 1741–1748 гг.

Царствование, занимающее последнее десятилетие первой половины XVIII века и первое десятилетие второй половины, царствование Елисаветы представляет заметную перемену во внутренней жизни русского общества. Употребляя общепринятое выражение, историк имеет право сказать, что нравы смягчаются, к человеку начинают относиться с большим уважением и умственные интересы начинают находить более доступа в обществе, которое начинает чувствовать потребность высказаться, вследствие чего являются начатки литературы и попытки обработать, облагодзвучить орудие выражения пробивающейся мысли, язык. Эта перемена должна была произойти от разных причин: прежде всего от естественного роста, естественного развития русского общества по тому направлению, которое было усвоено в эпоху преобразования; каковы бы ни были препятствия, развитие должно было совершаться в сильном и живом народе; во-вторых, Россия, вошедшая в общую жизнь европейских народов, должна была подчиняться влияниям, среди них господствовавшим. Сильное литературное движение на западе, охватывавшее всю Европу при господстве французского языка, содействовало повсюду возбуждению вопросов о человеке и обществе, соседняя Германия почувствовала это влияние, почувствовала его и Россия; наконец, многое зависело от условий времени и в государстве самодержавном зависело от характера царствующего лица.

Описываемое время оставило по себе приятное воспоминание в народе, несмотря на то что за ним почти непосредственно следовало блестящее екатерининское время. Этому, разумеется, содействовало печальной памяти предшествовавшее царствование Анны, бироновщина и слабое, бестолковое правление Анны Леопольдовны, не дававшее обеспечения ни в чем. Елисавета

подняла славное знамя отца своего и успокоила оскорбленное народное чувство ясным для всех стремлением неуклонно следовать главному и самому важному для народа правилу – нисколько не ослабляя связей с Западной Европой, давать первенствующее значение русским людям, в их руках держать судьбу государства. Восстановление учреждений Петра Великого в том виде, в каком он их оставил, постоянное стремление дать силу его указам, поступать в его духе сообщали известную твердость, правильность, систематичность действиям правительства, а подданным – уверенность и спокойствие, тем более что следование правилам и указам Петра не было рабским, мертвым подражанием чему-то отжившему или отживающему, ибо не являлось новых потребностей, которые бы вызывали новый дух и новые формы. Напротив, известная, хотя и бессознательная, реакция, известные отклонения от духа и форм Петровых, сделанные с 1725 года, оказывались вовсе не бесполезными для государства. Становились на твердую почву, указавши, какому образцу будут следовать, а между тем это следование по стопам преобразователя было спокойное и легкое, чуждое волнений преобразования, как уже совершившегося. Правительство отличалось миролюбием, а между тем войны, им веденные, ознаменовались блестящими успехами. Это спокойствие, довольство, удовлетворение главным потребностям народным заслужило елисаветинскому времени приятную память, особенно по сравнению со временем предшествовавшим, чему много способствовал, как уже было сказано, характер императрицы, который выразился всего резче в том, что народ должен был отвыкнуть от ужасного зрелища смертной казни. Закона, уничтожавшего смертную казнь, не было издано: вероятно, Елисавета боялась увеличить число преступлений, отнявши страх последнего наказания; суды приговаривали к смерти, но приговоры эти не были приводимы в исполнение, и в народное воспитание вводилось великое начало.

Мы хорошо знаем препятствия правильному ходу народного воспитания в России в XVIII веке, и наше дело – следить по возможности, во сколько, откуда и в какой форме являлось противодействие этим препятствиям. Восточные дикари, вступавшие в русскую службу, продолжали разделяться друг с другом по своему старому обычаю. В 1744 году генерал-лейтенант грузинский царевич Бакар велел своим людям схватить служившего в астраханском гарнизоне капитаном грузинского же князя Назарова, бить и волочить его за ноги по улице. Бакара призвали в Сенат и объявили ему указ государыни, что ему не только в резиденции, но и нигде такой своевольной продерзости чинить не надлежало, и хотя он, царевич, по указам подлежит тягчайшему штрафу, но ее имп. в-ство из высочайшей милости указать соизволяет, чтоб он князя Назарова во всем удовольствовал немедленно, а если не удовольствует, то поступлено будет с ним по указам. В 1745 году прокурор Коммерц-коллегии Самарин представил в Сенат, что ассессор Красовский отказался подписать журнал, ибо в нем не сказано, как президент князь Юсупов в судейской ударил солдата по щеке, причем и сам Юсупов говорил, что солдата ударил. Государство нуждалось в деньгах, и явились люди, которые предложили средство добыть деньги. В начале 1748 года двое белгородских купцов, Ворожайкин и Турчанинов, донесли, что, несмотря на указы Петра Великого, многие носят бороды и русское платье, и просили, чтобы позволено им было таких преследовать, обещаясь доставить в казну на 1748 год более 50000 рублей от штрафов с бородачей. Но Сенат решил Ворожайкину и

Турчанинову отказать, ибо смотреть за исполнением указов о бородах и русском платье поручено губернаторам, воеводам и Раскольничьей конторе.

В семейных отношениях даже в высших слоях общества сильно отзывалась иногда старина. В 1746 году жена экипажмейстера Конона Никитича Зотова, Марья Прокофьевна, по смерти мужа осталась беременна и родила сына Конона; но после родин дворовые ее люди, мужчины и женщины, убежали из Петербурга в Москву к падчерицам ее Зотовым и подали челобитную, что вдова Зотова родила мертвую дочь, а мальчика принесли подставного, чтобы лишить падчериц наследства. По всему оказывается, что челобитье было ложное.

Вне дома правительство должно было вооружиться также против старого явления: в декабре 1743 года Сенат велел в Камер-контору подтвердить указом, чтоб в торговых банях мужчинам и женщинам париться вместе было запрещено, и смотреть за этим накрепко, а кто будет допускать, таких штрафовать безо всякой пощады. Подле старых бань условия новой жизни выставили *герберги*, или трактирные дома; в Петербурге было таких гербергов 25 с трактирами и постелями, столом, кофе, чаем, *чекулатом*, биллиардом, табаком курительным, виноградными винами и водками, заморским эльбиром и полпивом легким петербургского варенья, которое употребляется вместо квасу. В 1746 году Сенат дал указ: если кто из русских купцов пожелает содержать герберги с платежом акциза, то явились бы в Камер-контору. Кроме гербергов с их вином, кофе и чекулатом в Петербурге публика приглашалась еще к другим удовольствиям. В январе 1745 года в Ведомостях встречаем следующее объявление от 4 числа: «Сегодня пополудни в начале 6 часа в Морской, недалеко от Синего моста, начнут играть комедии с выпускными куклами, и она в каждой неделе по понедельникам, средам и пятницам продолжаться имеет». В августе другое объявление: «Сего месяца 5 числа начнется немецкая комедия и по вся дни впредь продолжаться будет». В Москве существовал также комедийный дом, сгоревший в 1748 году.

В других городах о подобных удовольствиях не упоминается, и, вероятно, эти вечерние удовольствия, если бы существовали здесь, нередко обходились бы дорого. Мы видели, что государство должно было вести постоянную борьбу с разбойниками, для которой надобились значительные военные средства. В городах мы слышали сильные жалобы на плохое состояние полиции, что позволяло даже в Москве совершаться грабёжам в самых обширных размерах. Это печальное положение – с одной стороны, возмутительные грабежи, а с другой – недостаток средств для их преследования, безнаказанность грабителей – заставляло для сыску преступников употреблять людей из преступников же, которые, по-видимому, приносили пользу, предавая злодеев в руки правосудия, но эта польза перевешивалась вредом, происходившим от самих сыщиков, вовсе не забывавших старых привычек.

Представителем таких сыщиков был знаменитый Иван Каин. Иван был крепостной человек; с ранней молодости повадился он воровать, в кабаке подружился с опытным уже мошенником, который уговорил его бежать, что Каин и сделал, покравши господина. В священническом платье, также украденном, он прошел мимо рогаточных сторожей и приведен был своим руководителем в притон мошенников, собиравшихся у Каменного моста. Новые товарищи приветствовали Каина словами: «Поживи здесь в нашем доме, в котором всего

довольно: наготы и босоты изнавешены мосты, а голоду и холоду анбары стоят; пыль да копать, притом нечего и лопать». На другое же утро неопытный беглец, вышедший днем погулять по Китаю-городу, был схвачен и возвращен господину, который, по тогдашнему обычаю, вместо собаки держал на дворе на цепи медведя. Беглеца приковали к медведю, не велели кормить два дня и потом высесть. Каин избавился от последнего наказания доносом на господина, закричавши «слово и дело». Выпущенный на волю из Тайной канцелярии за основательный донос, он пристал к уже знакомой шайке от Каменного моста. Промышлял Каин не в одной Москве, ездил и на Макарьевскую ярмарку обворовывать армянских купцов. Он искал все более широкой деятельности и пристал к большой разбойничьей шайке, состоявшей из 70 человек и бывшей под начальством атамана Зори. Это была одна из тех страшных шаек, известия о подвигах которой мы уже встречали в жалобных донесениях из приволжских и приокских областей в Сенат. Шайка разбила большой винный завод, село, в другом селе на реке Суре отдыхала, жила «в смирном образе» месяца с три; покинув «смирный образ», разграбила армянское судно. Узнавши о сильной погоне за собою, разбойники отняли у татар лошадей и отправились к монастырю Боголюбову подле Владимира, откуда Каин поехал в Москву для приискания квартиры.

По природе и воспитанию Каин не был отважным волжским разбойником, был столичный мошенник, и потому, естественно, пришла ему мысль заняться другим ремеслом, побезопаснее. В конце 1741 года он явился в Сыскной приказ и подал челобитную, в которой приносил повинную богу и ее импер. в-ству, что, «будучи на Москве и в прочих городах, мошенничал денно и ночью, в церквях и разных местах, у всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и прочее вынимал; а ныне от того прегрешения престал, а товарищи мои не только что мошенничают, но ездят по улицам и грабят, которых я желаю ныне искоренить, и дабы высочайшим указом для сыску и поимки означенных моих товарищей дать конвой». В приложенном реестре Каин написал имена 32 своих товарищей. Каину дали конвой, 14 человек солдат и подьячего, и в одну ночь он захватил всех означенных товарищей своих в Зарядье.

С этих пор «доноситель Иван Каин» ежедневно ходил с солдатами по публичным местам и ловил мошенников; в два года он сыскал 298 человек воров, становщиков, беглых солдат. Между тем он женился достойным образом: обговорил, застрашал пытками, подвел под кнут солдатскую вдову, которая не хотела было выходить замуж за мошенника; из-под кнута он взял ее на поруки и повел в церковь. У Каина был свой дом – полная чаша; наполнял он эту чашу таким образом: он составил себе шайку из опытных воров и с ними ловил других, причем пойманных приводил прежде к себе и страхом Сыскного приказа заставлял откупаться; промышлял также игрою и фальшивыми деньгами и, чтоб обезопасить себя от доносов, объявил в Сенате, что он в поимке воров и разбойников проведывает чрез таких же воров и с ними принужден знаться, почему имеет опасение, что когда эти злодеи, будучи пойманы, будут на него показывать, то не подвергся бы он какому истязанию. Сенаторы уверили его, что никакому показанию на него не будет дана вера и что он будет за свою службу награжден, если только не будет заодно действовать с преступниками и привлекать невинных. Но Каин не мог выполнить этих условий: он являлся к богатым раскольникам, забирал у них детей и заставлял отцов выкупать их;

захватил у одного богатого крестьянина племянницу под предлогом, что она была раскольница, плетью заставлял ее признаться в расколе и оговорить дядю, потом освободил за 20 рублей.

Но это не прошло ему даром: по доносу в Тайную контору он был арестован, бит плетьюми нещадно и «хотя подлежал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, однако освобожден, дабы впредь в сыске разбойников и воров имел крепкое старание, только отдан под надзор». Но ему трудно было переменить свое поведение, потому что трудно было отказаться от доходов. Он подговорил товарища среди белого дня на Москве-реке разграбить струг богатого купца. Наконец он попался, увезши дочь у солдата; отец пожаловался полиции, а на беду Каина тогда приехал сам генерал-полицеймейстер Татищев в Москву по поводу прибытия туда императрицы в 1749 году. Каин принужден был рассказать Татищеву подробно все свои похождения, и вследствие этого рассказа генерал-полицеймейстер донес императрице, что по делу Каина надобно нарядить особую комиссию, ибо в его сообщничестве были секретари и другие чиновники Сысного приказа, полиции, Раскольничьей комиссии и Сенатской конторы. Каин был приговорен к смертной казни; но смертные приговоры не приводились в исполнение: его наказали кнутом и сослали в тяжкую работу.

Безнравственные явления прекращались правительственною властью; если не топор палача, как прежде, то ссылка освобождала общество от Ваньки Каина с товарищи. Взглянем теперь на состояние церкви и школы, какие у них были средства освобождения общества от безнравственных явлений. Число священников, получивших школьное образование, увеличивалось, но недостаточно; и это недостаточное количество ученых священников, необходимо имевших преимущество пред неучеными, должно было ограничивать право прихода избирать себе священника: Синод требовал, чтоб к лучшим церквам определялись окончившие школьный курс, вследствие чего местные власти распорядились, чтоб на упразднившиеся места не обученных в школах не представлять и заручных прошений о них не собирать, а требовать ученых; таким образом, епархиальное начальство стало указывать достойных кандидатов, ибо оно одно знало, кто учен и кто неучен, кого следует определить на лучшее место и кого на худшее. От этого столкновения прав епархиального начальства и прихода происходили следующие случаи: студент Московской академии Некрасов по приказанию своего архиепископа Платона (Малиновского) отправился в церковь Спаса в Наливках, куда хотел поступить в дьяконы, чтоб взять себе заручную от прихожан; но священник церкви объявил ему, что прихожанин купец Азбукин, который имеет старание о церкви, склонил всех других прихожан и его, священника, дать заручную одному дьячку-горлану. Некрасов, однако, не отстал от своего намерения, и когда священник сказал Азбукину, что студент богословия хочет к ним в дьяконы, то Азбукин отвечал: «Я плюю на богословию, и что нам есть от богословии?» Через несколько дней Некрасов Опять пришел в церковь и стал на клирос, но Азбукин согнал его с клироса, и он ушел в алтарь; а когда после обедни священник начал говорить прихожанам, что Некрасов – человек хороший и Синод по указу Петра I определяет ученых людей на священнические и дьяконские места, то Азбукин и его приятели стали кричать, что им школьничков отнюдь не надобно, пусть школьники идут в села и учат там деревенских мужиков, а московские жители до них еще переучены, да и лучше их, и если

школьник вперед придет в их церковь, то они определили – метлой его выгнать. Архиепископ Платон велел вызвать Азбукина в консисторию и, объявив ему регламент духовный о студентах, допросить: «Для чего он противится именному указу государеву и для чего мужик простой, бесстыдный в церковное наше дело вступает?» Азбукин объявил, что без воли Главного магистрата в консисторию не пойдет; потом одумался и подал архиерею донесение, в котором записался в своих словах о школьниках. Архиерей велел ему объявить с подпискою указ Петра I о студентах; Азбукин подписался, и Некрасов попал в дьяконы к Спасу в Наливки.

Для введения образования среди духовенства необходимым средством был признан вызов ученых монахов из Малороссии на архиерейские кафедры в Великой России. Необходимость продолжалась и после Петра Великого; но мы видели темную сторону этого явления; на архиереев смотрели враждебно, как на чужих, втершихся и оттеснивших великороссиян; их упрекали, что они благоприятствуют только своим, наполняют значительнейшие места малороссиянами же. Неудовольствие было сильное и простиралось не только на лица, но и на дело, для которого были призваны лица, на школы; вместо того чтобы спешить сравняться с малороссиянами в образовании и таким образом сделать последних ненужными, оказывали нерасположение к тому, чем были малороссияне выше их, – к науке, к школе, притом же смотрели на школу как на учреждение, которое дорого стоит, уменьшает доходы архиерейские. Мы видели уже гонение на школу и учителей в Казани, воздвигнутое архиереем из великороссиян. Печальное явление не было единственным. Архангельский архиерей Варсонофий говорил о большой, хорошо выстроенной школе: «Чего ради такая не по здешней епархии школа построена? Да и школам в здешней скудной епархии быть не надлежит; к школам охоту имели бывшие здесь архиереи-черкасишки, ни к чему негодницы». Экзаменатора Венедикта Галецкого Синод велел произвести в архимандриты в Антониев-Сийский монастырь; но Варсонофий из ненависти к нему, как малороссиянину, не произвел его в архимандриты и пищу давал очень скудную, напитков ничего не давал и в келью к себе редко допускал. Галецкий, не вынесши такого обращения, уехал, а Варсонофий обрадовался и говорил: «Слава богу, черкашенина отсюда избыли!» Неохотник до школы отличался грубостью и жестокостью. В 1742 году в Архангельске на святой неделе, 17 апреля, в праздник св. Зосимы Соловецкого, архиерей служил обедню, а пред церковью против алтаря стояли босые на снегу соборные протопоп со священниками и дьяконами за то, что не служили накануне всенощной. Приехав в Николаевский корельский монастырь и подгулявши, неизвестно за что жестоко прибил своими руками соборного ключаря и велел водить вокруг монастыря на цепи в жестокий мороз; ставил в священники людей моложе двадцати лет, волочил ставленниками, брал с них взятки.

Архиереи, заботливые о школах, встречали препятствие к их заведению в недостатке денег, действительном или мнимом. В 1748 году тобольский митрополит Антоний просил Синод, и Синод представил в Сенат, чтоб в Тобольске при архиерейском доме учредить славяно-латинского учения семинарию для двухсот студентов, с тем чтоб студентов, учителей и проповедника по примеру Московской славяно-греко-латинской академии содержать из казны императорской, кроме учеников и учителя русской школы, которые по силе духовного регламента должны быть содержаны – ученики на собираемую с

знатнейших монастырей двадцатую часть хлеба и на готовых книгах архиерейских, а учитель – на домовом архиерейском коште. Антоний указывал, где взять деньги на новый расход: собираемые в Тобольской епархии с венечных памятней на содержание лазаретов деньги (которых в сборе бывает до 500 рублей в год) определить на новую семинарию, ибо на содержание гошпиталей после 1714 года сверх денег, собираемых с венечных памятней, изобретены и другие немалые сборы, а именно вычеты за повышение рангов месячного жалования, вычеты при выдаче жалования у всех служащих по копейке с рубля, с неисповедующихся всяких чинов людей положенные штрафы. Если с венечных памятней сумма определится на семинарию, то она пойдет на платье и обувь студентам и на жалование учителям и проповеднику, а кормовые деньги пусть велено будет производить против студентов Московской академии вполтину, т.е. по 1 1/2 копейки каждому на день из неокладных доходов Сибирской губернии, а хлебом их Синод определит довольствоваться из архиерейских житниц, также и о снабжении семинарии библиотекою Синод промыслит. На это представление Сенат отвечал: на содержание семинарии доходов определить нельзя по причине многочисленных расходов, уделить не из чего, и потому св. Синод благоволил бы определить из доходов своего ведомства, ибо, как уповательно, при домах архиерейских, и монастырях, и в канцелярии экономического правления за расходами денежной казны и хлеба остается немалая сумма.

В Тобольске хотели заводить славяно-латинскую семинарию, а между тем в Москве было не более 40 ученых священников и дьяконов, включая сюда и не кончивших академического курса. Цель их учения было наставление прихожан, но на допрос консистории, кто сколько в год говорил проповедей, некоторые отозвались, что проповедей своего сочинения не говорили за неимением нужной для того библиотеки, чтоб без справки с книгами «вместо пшеницы правого учения не сказать плевел мерзкие ереси». Обучавшиеся в риторике объявляли, что и сложить проповеди не могут; некоторые показывали, что не говорили проповедей, потому что еще продолжают учиться в Академии. Пред поставлением в священники архиерей отсылал кандидата в школу или к экзаменатору, который преподавал ему нужное учение по букварю и по особо изданной тетрадке, а потом писал аттестат: «Такой-то силу символа православной веры, десяти заповедей божиих и церковных, седми таинств церковных, добродетелей богословских и евангельских, и советов о гресех и всего надлежащего до катехизиса изустно сказал». Несмотря на то, ученые архиереи объявляли, что в их епархиях духовенство, в давних и недавних летах произведенное, надлежащего по его должности учения ничего не знает, узнанное у экзаменатора после посвящения совсем забывает, умышленно не прилагая никакого радения для удержания того в памяти, а некоторые, произведенные в давних летах, никогда ничему и не учились.

Теперь посмотрим, чему и как в школах учились, и начнем со старой московской школы – Славяно-латинской академии.

Здесь явно стремились к тому, чтобы учителями были постоянно одни монахи. В 1744 году в Академии был только один светский учитель Кондаков, и то в низших классах, но и относительно его по представлению ректора последовало такое определение Синода: «Кондакова из учителей, понеже он монашеского чина поныне не приемлет, исключив, ни к каким школам не определять». По штату

1745 года на Академию выдавалось ежегодно 4450 рублей; ректор получал 300 рублей жалованья, учителя – по 150 рублей; старшие ученики получали по 4, младшие – по 3 копейки в день; учеников, не получавших жалованья, было очень немного. Духовный регламент требовал, «чтоб при школах быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки, как без души, Академия». Несмотря на то, на библиотеку денег не выдавалось, учителя и ученики пользовались книгами синодальной и типографской библиотек, академическая же библиотека наполнялась с течением времени книгами, оставшимися после умерших архиереев и архимандритов. Академию составляли ректор, префект, или инспектор, и от 6 до 7 учителей. Префект по регламенту должен быть «не весьма свирепый и не меланхолик». Низший, или приготовительный, класс носил название славяно-русской школы; в ней учили азбуке, часослову, псалтырю и письму, учил студент высших классов, которому за то давалось двойное студенческое жалованье. За славяно-русскою школою следовало *фара*, где учили читать и писать по-латыни, за фараю – *инфима*, где преподавали первые грамматические правила славяно-русского и латинского языков, также историю и географию, катехизис и арифметику. Затем следовали синтаксима, риторика, философия и богословие. В преподавании богословия господствовала схоластика, занимались решением, например, таких вопросов: где сотворены ангелы? могут ли они приводить в движение себя и другие тела? как они мыслят и понимают – посредством соединения, различения или как-нибудь иначе? каким образом они сообщают друг другу свои мысли? как велико по объему место, которое может занимать ангел? в чем состоит сущность света славы в жизни будущей? и т.п. В богословие входила глава о договорах, и здесь говорилось о договорах с дьяволом, о колдунах, которые могут переставлять с места на место целые поля, обращаться в невидимок:

Феофан Прокопович восстал против схоластики, которая, по его словам, занимала учеников пустыми спорами, поселяла в них ложную уверенность в приобретении мудрости, делала из науки комедию; несмотря на то, новое направление, указанное Феофаном, начало пробиваться в Московской академии только в сороковых годах благодаря особенно богословскому преподаванию ректора Кирилла Флоринского (умершего в 1743 году). Профессор философии преподавал физику, метафизику, психологию и метеорологию; в психологии после главы о душе следовал трактат о волосах, где решались вопросы: отчего у стариков выпадают волосы, отчего у женщин не растет борода? и т.п. Физика оканчивалась уранографией, где решались вопросы о числе небес, жидкости неба, о движении небес, о расстоянии неба от земли и, между прочим, вопрос, росла ли в раю роза без шипов. Целью преподавания риторики было заставить ученика выражаться как можно высокопарнее, вычурнее, как можно более разниться в своей речи от речи простой, разговорной. Вот образец риторического упражнения в описываемое время. Предмет сочинения: цари мудрые и воинственные одинаково знамениты:

«Еще доселе Фемида на своих не ложных весех сей не объяви правды, яко едали кровавой Беллоны или премудрые Паллады славнейшие суть дела и вящие у мира приобретают ли славы, и во правду яко где-либо Марс язвоносным своим поорет железом, где-либо мужественная Беллона избыточную воинства своего кровь истощит, всегда тамо, аще бо бы были и алпейские каменя, неувядаемые

победителей процветут лавры; обаче весь свет исповести нужду иметь, яко и Паллада подобная паче является Беллоне, яко во славе, тако и в победоносиях. Не всегда бо по истощении кровен моря к блаженному торжеству и блаженные славы пристанищу Марс свой корабль препровождает, но безопаснее седше у кормила Палладова корабля и без малейших обуреования страстей намеренного туллиановыми волнами достигает брега, неутолимое восклицая веселье: се совершенно ладия приста ко брегу».

Так медленно и с такими уклонениями приобретались средства, указанные преобразователем русскому духовенству для его поднятия согласно с новыми условиями быта. Но мы видели, что Петр обратил внимание и на материальные средства белого духовенства, и на отстранение тех затруднений, которые мешали правильности занятия духовных мест. Мы видели, что Петр освободил духовенство от обязанности покупать и поддерживать дома; но в царствование троих первых его преемников указ его совершенно потерял силу; в Москве на места были определяемы только те, которые давали большую цену за дома своих предместников. Только второй архиерей Московской епархии, Платон Малиновский, счел своею обязанностью требовать исполнения петровского указа. Тот же архиепископ старался и об исполнении другого указа Петрова, чтоб количество священнослужителей соответствовало средствам прихода, чтоб духовенство, таким образом, получало обеспеченное содержание. Несмотря на строгие меры против безместных священников, нанимавшихся на площадях или крестцах отправлять церковные службы, этот наем продолжался. Консистория посылала на крестцы забирать священников, их наказывали плетьюми, но они все не переставали ходить на крестец. Грубости нравов соответствовали жестокие наказания, наказывали плетьюми за пьянство и буйство, наказывали плетьюми даже монахинь, сажали на тяжелые цепи; но скоро мы услышим, как лучшие люди станут вооружаться против жестокости наказаний, употреблявшихся в монастырях.

От учителей церковных перейдем к светским. Мы видели состояние высшего учено-учебного учреждения, Академии Наук, или, по-тогдашнему, Десьянс-Академии, в первое время ее существования, видели, что очень скоро возникает в ней борьба между лучшими академиками и библиотекарем Шумахером, который, умея находить поддержку во всех президентах, забрал власть в свои руки. Бреверн оставил президентское место, и Шумахер управлял делами Академии как советник канцелярии. Лучшие ученые оставили Академию и Россию. Молодой Миллер, обещавший неустомимого труженика, хотя не оставил России, но принужден был бежать от Шумахера в Сибирь, в Камчатскую экспедицию. По удалении лучших немцев главным врагом Шумахера оставался француз Делиль, попытка которого побороться с могущественным библиотекарем не имела никакого успеха. Делиль, однако, остался в Петербурге и дождался воцарения Елисаветы. Его одноземец Шетарди хлопотал о возведении на престол дочери Петра Великого, чтоб этим возведением низложить поднявшихся при Анне немцев, которым приписывал участие России в делах Европы. Понятно, что, когда Шетарди считал себя вправе думать о близком исполнении своих желаний, когда Остерман, Миних и Левенвольд отправились в ссылку, француз Делиль не хотел терять времени и выступил в поход против Шумахера и немцев, разумеется, под знаменем науки и России. В январе 1742 года он подал в Сенат донесение, в

котором обвинял Шумахера в обременении Академии разными учреждениями по части искусств и ремесл, в искажении, таким образом, характера Академии и лишении ее необходимых средств; русский народ немало потерпел от этого, русских не старались обучать и двигать в науках, употребляли и повышали одних почти немцев, которые немного принесли пользы государству; профессора не имеют возможности управлять Академиею по намерению Петра Великого.

Француз доносит на немца, что тот поступал против русских интересов, а что же русские? Мы видели, что русских, которые бы имели важное ученое значение, занимали профессорские места, в Академии не было. Ададуров был только адъюнктом; Тредьяковский числился секретарем и потому должен был держать себя в стороне, когда профессора ссорились с Шумахером и президентами. Был в Академии один значительный человек из русских, известный токарь Петра Великого Андрей Константинович Нартов, которого сведения в механике, как видно, очень уважались современниками; в конце царствования Анны он определен был в Академию к инструментальным делам, учреждена особая механическая экспедиция. Нартов сделан вторым советником академической канцелярии и столкнулся с Шумахером, который видел в нем лишнего и мешавшего ему человека.

Нартов слышал от своих русских, мелких людей в Академии, переводчиков, студентов; приказных и мастеровых сильные жалобы на дурное обращение с ними Шумахера, на его своеволие, казнокрадство и решился выступить в поход в союзе с Делилем. Время было самое благоприятное: немцы попадали сверху, на престоле была дочь Петра Великого, знавшая хорошо Нартова как близкого человека к отцу. 2 августа 1742 года, когда двор и Сенат были в Москве, Сенатская контора в Петербурге получила от советника Академии Наук Андрея Нартова представление, что он подал в Сенат проекты «при экспедиции лабораторий механических и инструментальных наук, главной артиллерии и о прочих высочайших, государственных дел для пользы отечества и интересов ее импер. величества денежной казны поданы от него в прав. Сенат проекты и. требовал, чтоб его для исходатайствования по оным резолюции, також и для объявления в Москве ко артиллерии секретных дел отпустить и по отбытии его порученные ему дела исправлять имеющемуся при той же Академии профессору Делилю». Нартова отпустили, к чрезвычайной досаде Шумахера, который уже проведал, что Делиль и Нартов жаловались на него Сенату. Он писал Штелину в Москву: «Г. советник Нартов получил из Сенатской конторы паспорт на проезд в Москву, конечно, для подтверждения поданных Делилем пунктов и своих собственных клевет. Я не обращаю на то внимания, потому что у меня совесть чиста. Делиль уже более двух лет не имеет сношений с Академией, а теперь Сенатская контора по представлению Нартова без ведома Академии передала этому Делилю экспедицию инструментальных и лабораторных наук – так титулуется теперь инструментальная мастерская! Это позор!»

Нартов взял с собою в Москву донос на Шумахера академических служителей – комиссара Камера, канцеляриста Грекова, копииста Носова; кроме них послали донос на того же Шумахера студенты Пухорт, Шишкарев и Коврин, ученик гравера Поляков, переводчики Горлицкий и Попов. Переводчик Горлицкий писал Нартову в Москву: «Что же о нас, благодатию божиею до сего числа здравы пребываем, ожидая тщением вашим милости всещедрого бога чрез помазанницу

его получить, а супостатов ходатайством пресв. богородицы и всех святых под ноги верных рабов и сынов российских покорить дай боже».

Сначала успех соответствовал ожиданиям: императрица назначила следственную комиссию над Шумахером и его сообщниками, вследствие чего Шумахер был арестован. Все академические дела поручены были Нартову, который стал заботиться о том, чтоб как-нибудь вывести Академию из ее печального положения. В марте 1743 года он жаловался в Сенат, что Штатс-контора вместо 24912 рублей выдала только 10000 рублей, отговариваясь отсутствием денег в рентерее, тогда как вся Академия и за прошлый 42 год жалованья не получила. При этом Нартов заявлял, что Академия не может пробыть более без президента и без утверждения штата, составленного еще в 1735 году и не подтвержденного; также, что Академия сама долгов своих заплатить не может. Сенат приказал отпустить всю сумму немедленно и всегда отпускать сполна в начале года. 27 июня того же года Нартов от имени Академии подал доношение в Кабинет, жаловался на долги и недостатки Академии, выставляя главною причиною их то, что в Академии два учреждения – Академия Наук и Академия Художеств и вторая истощает первую. При этом Нартов доносил, что канцелярия отрешила излишних и вопреки указам пенсии и двойное жалованье получающих неподобных людей, т.е. танцмейстера, также беспашпортных и тому подобных служителей. Из гимназии отрешила трех немецких учителей: первый из них, Миллер, родной брат профессору Академии Миллеру, почти всегда больным сказывался; он и другой учитель, Герман, русского языка вовсе не знают и потому больше учили иноземческих детей, а русские дети почти напрасно к ним в гимназию и ходили, ибо Герман и Миллер недели по две и по три туда не являлись, но учили на дому за деньги, а вместо них один только информатор Фишер в гимназии учил, да и тот русского языка почти ничего не знает, к тому же глух и плохо видит. На место отрешенных Академия имеет русских людей, а именно Василия Тредьяковского и Ивана Горлицкого, которые в гимназии могут обучать русских детей грамматическим порядком латинскому и французскому языкам, а для немецкого языка, будет определен переводчик Гронинг, который не только в немецком, но и во французском и в русском языках очень силен. А в гимназии главное дело, чтоб русской нации дети грамматическим порядком на всех языках учились, без чего, право, писать и говорить не могут; сверх того, может над гимназиею смотрение иметь адъюнкт Ломоносов и другие. Нартов спрашивал, не угодно ли будет в Академии для каждой науки оставить по одному профессору и по одному адъюнкту; почетным членам, пребывающим в иностранных землях, пенсии не давать; художественные департаменты убавить, ибо никакого плода Российскому государству не приносят.

От Академии представлен был длинный список учреждений и лиц, должных ей за напечатание указов и забранные книги: на самом Сенате числилось 6501 рубль, на бывшем Кабинете – 75, на Синоде – 577, на императорском дворе за забранные книги, комедии и прочие вещи – 813, на принцессе Анне – 260, на принце Антоне – 135, на бароне Менгдене – 270, на Брюммере – 102. Особенно значительные суммы числились на бывших президентах: на Блюментросте за книги – 179, да чистыми деньгами взял 5061 рубль, на Кейзерлинге – 217, на Корфе – 4339, на Бреверне – 355; на всех учреждениях и лицах числилось 32203 рубля. В сентябре 1743 года Нартов подал просьбу Елисавете, что императрица

Анна в разные годы пожаловала Академии 110000 рублей, а по ее кончине до сего времени никакой дачи не было, отчего Академия пришла в совершенную нищету, и все ее служители не только за этот 1743 год, но и за несколько месяцев прошлого 1742 заслуженного жалованья не получали, и как профессора, так и все служители с женами и детьми, дневной пищи лишаясь, голодом тают, а мастеровые и художники просят увольнения в другие места.

Чтоб побудить к скорейшему отделению от Академии художественных департаментов, Нартов подал в Сенат доношение, где говорилось: «В прошлом 1742 году подан был от меня его импер. величеству письменный проект об учреждении Академии Художеств, который и соизволил его императ. величество за благо принять и собственною своею рукою расписание Академии Художеств по классам написал, по которому намерение имел определить на содержание помянутой Академии Художеств денежную сумму сверх Академии Наук под надзиранием особого директора». В собственноручном расписании Петра Великого было означено: I класс: 1) мастер архитектуры цивилис; 2) мастер механики всяких мельниц и слюзов; 3) мастер живописных всяких дел; 4) мастер скульпторных всяких дел; 5) мастер грядорованных всяких дел. II класс: 6) мастер иконных дел; 7) мастер штыхованных всяких дел; 8) мастер тушеванных дел; 9) мастер граверных дел, который отправляет шпейтели. III класс: 10) мастер оптических дел; 11) мастер фонтанных дел, что надлежит до гидролики; 12) мастер токарных дел, что надлежит до токарных машин; 13) мастер математических инструментов; 14) мастер лекарских инструментов; 15) мастер слесарских дел железных инструментов. IV класс: 16) мастер плотнических дел, что надлежит до шпиков; 17) мастер столярных дел; 18) мастер замочных дел; 19) мастер типографических дел; 20) мастер обронных медных дел; 21) мастер литейных медных дел; 22) мастер оловянных всяких дел; 23) мастер медных мелких гарнитурных дел; 24) мастер серебряных всяких дел. Всего мастеров 24 человека, учеников – 240 человек, покоев академических – 115. Петр велел архитектору Земцову сделать чертеж здания Академии Художеств.

Наконец, Нартов вошел с жалобою, что учрежденное в 1734 году Российское собрание разрушилось.

Все эти движения со стороны Нартова показывают в нем человека добросовестного, хотевшего принести возможную пользу Академии и не позволяют нам легко отнестись к этому токарю, повторять об нем отзывы людей, явно ему враждебных. Предположение, что он мог иметь хорошего советника в человеке более даровитом, только может увеличить его заслугу. К сожалению, Нартов не мог оставаться долго на своем месте и спокойно отдаться заботам об Академии, потому что дело по жалобам на Шумахера с самого начала приняло неблагоприятный для него и союзников его характер. Исследование дела было поручено особой комиссии, которая состояла из петербургского коменданта генерала Игнатьева и президента Коммерц-коллегии князя Юсупова под председательством адмирала Головина. Почему-то главным деятелем в комиссии явился князь Юсупов, что не обещало хорошего исхода для жалобщиков. Мы уже не раз встречались с этим Юсуповым, слышали жалобы вице-президента Коммерц-коллегии на его нападки и ругательства, слышали прокурорское извещение, как тот же Юсупов в присутствии ударил солдата по щеке. Пред такого-то господина являются теперь несколько мелких, ничтожных людей,

которые осмеливаются обвинять своего начальника: да это неслыханное дело, это просто бунт, вроде недавнего нападения в Петербурге на святой под качелями на немецких офицеров или недавнего же бунта солдат в финляндской армии; эти явления надобно прекращать как можно скорее арестами, плетью и ссылками. Не говорим уже о том, что со стороны Шумахера и его друзей были употреблены все средства, чтоб в глазах людей сильных представить это дело именно таким образом. Еще прежде разразившейся над ними бури Шумахер успел заискать расположение Лестока, Черкасова, гофмаршала Миниха, Воронцова; есть известие, что к Юсупову писал за Шумахера какой-то сильный тогда при дворе человек иностранный. Жалоба на Шумахера была, собственно, жалоба на бывших президентов Академии, а эти президенты, именно двое последних, Корф и Бреверн, были люди сильные, пользовавшиеся большим уважением; обвинить Шумахера значило обвинить их. И в каких злоупотреблениях обвинялся Шумахер? В том, что он был любезный, услужливый человек, не спрашивал денег с тех, кто забирал книги в Академии? В упомянутом списке лиц, должных Академии за забранные книги, находим имена двоих членов комиссии – Головина, на котором числилось 97 рублей, и Игнатьева, на котором числилось 5 рублей.

С другой стороны, характер обвинений против Шумахера был такой, что ему легко было оправдаться. В обвинениях выразилось самым сильным образом долго подавляемое оскорбленное национальное чувство, как оно высказывалось в одах и проповедях, но в одах и проповедях оно высказывалось по поводу падших, осужденных Бирона и Остермана с товарищами; тогда как обвинители Шумахера, высказывая свою вражду, забыли, что имеют дело не с сибирскими и ярославскими заточниками, а с людьми сильными, забыли, что они будут обязаны вести дело юридически, доказывать каждую выходку свою, каждое слово. Шумахер обвинялся в том, что от его злого умышленного непорядка сущее бесславие, поношение, уничтожение и иссякновение наук и вместо пользы вред происходит, что в 18 лет ни одного профессора из русских нет и что отсюда явно Шумахерово на Россию скрежетание. Шумахеру легко было оправдаться, указавши, что он был человек подначальный, исполнял волю президентов, а с другой стороны, дело научное было не в его руках, а в руках профессоров. Таким образом, он защищался именами президентов, тем более что в обвинениях была выходка и против них. Горлицкий писал: «Ежели бы (по проекту Петра В.) директор и два его товарища были российского народа, православные и добросовестные, то бы сии три человека не допустили до таких его злоковарных и вредных отечеству нашему умышлений; к тому же президент вельми ученый и не супостат был бы православию, понеже таковые люди не верны, да и разнствие закона по нужде друг другу противиться понуждает». Шумахер отвечал, что президенты были определены по именным указам, люди искусные и науки знающие, которые и ныне обретаются в службе ее величества: Блюментрост в Москве при медицинских делах, Кейзерлинг при польском дворе, Корф при датском министрами, а Бреверн в Иностранной коллегии тайным советником, и, чтоб из них кто был супостат православия, не знает, и злоковарных и вредных Российскому отечеству умышлений никаких от него, Шумахера, не было. Обвинители доставили также Шумахеру самых ревностных союзников в людях, которые прежде были его врагами, именно в профессорах Академии; последние увидали, что обвинения, направленные на Шумахера, еще более направлены на

них, из распоряжений Нартова относительно гимназии увидели ясно, к чему дело идет, и сочли необходимым в собственных интересах поддержать Шумахера против Нартова, жаловались в комиссию, что Нартов пишет к ним в форме указов, чего и прежние президенты никогда не делали, и Шумахер такой власти себе не присваивал. Миллер сам признавался, что все эти движения против Нартова в пользу Шумахера делались по его советам, что он писал все представления и просьбы.

Уже 24 декабря 1742 года следственная комиссия доносила императрице, что она никакого важного преступления Шумахера не видит, а потому не соизволит ли ее величество Шумахера из-под ареста освободить и отдать ему шпагу. По отзывам комиссии, доносители не привели ни одного доказательства и требуют, чтоб их допустили до всех дел академических, о которых не доносят, из чего видно, что они только хотят продолжать время, ибо о чем не имеют доносить, то не для чего таких посторонних дел им и требовать. Гридоровального дела подмастерье Поляков в комиссии при генерале Игнатъеве, Нартове и Делиле кричал и неучтиво говорил, что у него на допрос Шумахеров доказательство готово, только объявлять не будет и судом комиссии недоволен, секретаря Иванова называл вором, потому что по его, Полякова, доношению по третьему пункту Шумахер не допрашивай о самовольных и непорядочных расходах, за что комиссия велела заключить Полякова в оковы.

12 марта 1743 года комиссия объявила, что все доносители показывали ложно из злости, не исключая Нартова и Делиля; а что Нартов представлял проект и собственноручное расписание Петра Великого об учреждении Академии рукодельной, то ему надлежало объявить об этом в Сенате или в Кабинете требовать исполнения, но этого до сих пор им не сделано и намерение Петра Великого не осуществлено от него, Нартова, за что он подлежит суду. А Делиль доносит за то, что Шумахер ему жалованья не давал, по. следствию же явилось, что он, Делиль, в конференцию к профессорам не ходил и ничего не сообщал, а на Нартова Шумахер в 742 году Сенатской конторе представлял, что он большую часть своего времени на артиллерийские работы употребил и употребляет, тогда как президент Корф требовал его в Академию Наук для того, чтоб начатый триумфальный столб всем славным баталиям, и акциям, и героическим делам Петра В. окончить, Нартов же, несмотря на многократные ему от Академии Наук напоминания, этого великого и важного дела не только не кончил, но в шесть лет и не начал. Он же, Нартов, с профессором Делилем по вступлении комиссии в следствие архив ученых бумаг и шкафы географического департамента запечатали самовольно безо всякой причины и тем остановили ученые занятия, а профессорам нанесли крайнюю обиду, из чего можно заключить, что Делиль желал на такую славную в свете Академию навлечь бесславие и поношение. Поэтому комиссия полагает профессора Делиля уволить за то, что он в конференцию к профессорам не ходит и никаких изобретений им не сообщает. О советнике же Нартове комиссия передает в высочайшее соизволение, но притом представляет, что он Академиею Наук управлять не может, потому что наук не знает, необходимо определить президента, а к нему в помощь советника Шумахера, который этого вполне достоин, к тому же он служит в Академии с самого ее основания, его трудами кунсткамера и библиотека приведены в порядок,

а так как в проекте Петра Великого повелено назначить директора и двоих товарищей, то директором быть Шумахеру, а товарищами Ададурову и Тауберту.

Нартов, узнавши о таком донесении комиссии, подал императрице челобитную: «В именном указе велено при разборе и рассмотрении канцелярских дел – все ли по силе указов происходило, равно и в прочих делах – для разъяснения и доказательства всех не порядков и похищения казны быть мне с профессором Делилем, также и доносителям безотлучно; ясно, что требуемые от них изъяснения и доказательства должны быть представлены по наличным делам, а не на память, и если б комиссия поступила по силе именного указа, то разбором запечатанных вещей и академических дел при нас, депутатах, и при доносителях выведены были бы наружу не только показанные в доношениях не правые поступки Шумахера и похищения казны, но и противные интересу вашего величества не порядки. Но комиссия начала не разбором и свидетельством академических дел вместе с нами, а судом, как будто бы это было партикулярное челобитчиково дело. Ныне уведомился я, что комиссия предложила вашему величеству доклад, не объявляя нам, депутатам, не исследовав подлинно, не допустив доносителей к рассмотрению и свидетельству составленных выписок и экстрактов и к прикладыванию рук, подлинные дела при нас, депутатах, и при доносителях не свидетельствованы, а свидетельствовали и рассматривали их члены комиссии без нас и по требованиям доносителей ничего не объявляли, представляя, что доносители доказательств не имеют, несмотря на то что Шумахер ими обличен и по некоторым пунктам сам виновен. Комиссия полагает, будто бы все то делано было не им, Шумахером, а президентами и будто бы он, Шумахер, при президентах воли не имел, несмотря на то, что многие определения им одним креплены, и сам он, Шумахер, в книге „Краткое изъяснение о состоянии Академии Наук“ на немецком и русском языках о себе во весь свет объявил, что с самого начала Академии Наук правил канцеляриею и прочими академическими делами, чего без одобрения прав. Сената печатать ему о себе не следовало; да и в той же книге в начале в фигуре у фамы на значке изобразил, будто бы Анна (правительница) совершила то, что Петр I начал; что начало Академии от Петра Великого – это всем известно, а что бывшая принцесса Анна будто бы ее совершила, то он приписал ложно, потому что и до сих пор Академия в несовершенстве: в 19 лет ни одного русского профессора не произведено, а денег истрачено на нее более полумиллиона».

Попов, Горлицкий, Камер, Пухорт и Греков подали также просьбу на высочайшее имя, также жаловались, что комиссия, оставя следствие, начала суд между ними и Шумахером, что они обличили Шумахера в похищении казенного интереса. Они просили освободить их от комиссии и допустить к академическим делам, потому что в этих делах такие скрытые подлоги находятся, которых никто не знающий академических порядков без них разобрать и показать ясно не может. Поляков подал жалобу, что один допросный пункт был в комиссии утаен; он завел об этом спор и отдан под караул по приказанию генерала Игнатьева; когда же он объявил, что судом его превосходительства недоволен, то приехавший в это время в комиссию князь Юсупов называл его плутом и шельмою в противность стоящего на столе зеркала, и когда он, Поляков, объявил, что комиссиею недоволен, то князь Юсупов велел посадить его на цепь как злодея.

Комиссия требовала для Шумахера директорского места, хотя и признала его виновным в растрате казенной собственности; для доносителей его требовала плетей, батогов и ссылки. За Шумахера хлопотал при дворе его приятель профессор Штелин, находившийся в это время наставником при великом князе-наследнике. В декабре 1743 года последовал указ императрицы: Шумахеру быть в Академии у дел по-прежнему, Нартову быть также у прежнего дела, у которого он был до отрешения Шумахера. По свидетельству Ломоносова, «уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, кои от Нартова наказаны были за пьянство, чтоб, улуча государыню где при выезде, упали ей в ноги, жалуюсь на Нартова, якобы он заставил терпеть голод без жалованья. Сие они сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона указала Нартова отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему».

Комиссия закрывалась, но все дело было передано на рассмотрение и решение в Сенат. Сенат признал справедливым заключение комиссии о неосновательности доносов на Шумахера в государственных преступлениях, хотя и смягчил наказания для доносителей, но жалоб на академические беспорядки и казнокрадство разбирать не стал, прося императрицу назначить президента, который и должен рассмотреть все эти дела. Императрица велела освободить доносителей от всякого наказания. Из бумаг, оставшихся после знаменитой комиссии об Академии Наук, сохранилась ведомость о колодниках, содержащихся по этой комиссии; имена колодников оканчиваются следующим именем: «адъюнкт Михайла Ломоносов».

Мы уже видели, что в первое пятнадцатилетие существования Академии русский элемент не мог иметь в ней значения. На первом плане были иностранцы более или менее знаменитые; русских было очень немного, и те не выдавались своими дарованиями; виднее других был Тредьяковский, но русские не могли им похвалиться, указывать на него как на своего представителя в науке и литературе. Дела пошли иначе, когда в Академии явился Ломоносов. Нам неизвестно время рождения отца русской науки и литературы: очень может быть, что он и сам с точностью не мог определить этого времени, но нам известно место его рождения: поморская, или беломорская страна пустынная, холодная, но прилегавшая к морю, которое принадлежало Европе, на котором появлялся европейский корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь, жаждавший моря; эта страна впервые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна, народонаселение которой давно привыкло к трудной и опасной, развивающей силы деятельности, давно привыкло к тем явлениям, которые стояли теперь на очереди. Сильно потребовались – эта страна наполнилась новым духом, новым движением, кто-то сильный, необыкновенный явился, прошел, оставил неизгладимые следы, поразил воображение, овладел памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных силы слышались слова: «Иди за мной, время наступило!» Под такими впечатлениями богатырского времени новой России воспитывался одаренный великою духовною силою сын холмогорского рыбака. Мать, происходившая из духовного звания, выучила его грамоте, и ребенок страстно схватился за книги, разумеется за книги церковные, кроме того, он достал грамматику Смотрицкого, арифметику Магницкого. Работа с отцом, морские плаванья и промыслы укрепляли его физические силы, делали из него

богатыря и телом. Богатырь не усидит в отцовском доме; его тянет на подвиг, а подвиг новой, преобразованной России не разминать в степи плечо богатырское, а развивать ум наукою в школе. Семейная обстановка печальна, выживает из дому: матери, первой наставницы, уже нет, вместо нее мачеха, которая, по старому обычаю, «поедом ест» пасынка за то, что он не работает, как следует крестьянскому сыну, корпит над книгами, точно попович. Богатырь уходит из дому – в Москву, в заиконспасские школы. Мужика не приняли бы по уставу; Ломоносов сказался поповичем, метрических свидетельств тогда не спрашивали. Говорят, после Ломоносов признался в обмане вождю «ученой дружины», оставшейся от петровского времени, и Феофан Прокопович обещал ему покровительство.

Новая жизнь встретила богатыря сильными препятствиями и искушениями. После он писал: «Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как за денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые в мою там бытность предлагали; с другой стороны, школьники – малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латине учиться!» Ломоносов, как не имевший дома никакого приготовления в латинском языке, должен был поступить в низшие классы.

Но богатырь преодолел все искушения. Наука овладевала им все сильнее и сильнее; как представитель новой России, он тяготился односторонностью направления спасских школ, не могших удовлетворить его относительно изучения естественных наук, к которым он чувствовал преимущественно призвание. Учителя-малороссияне нахвастали ему, что у них в Киеве эти науки преподаются гораздо лучше. Ломоносов отправился в Киев, но обманулся в своих надеждах. К счастью для Ломоносова, Петр уже прошел перед ним; при каждой новой потребности делали набор способных, сколько-нибудь подготовленных молодых людей и посылали за границу учиться. В 1736 году отправлен был и Ломоносов с двумя товарищами за границу изучить горное дело, но прежде он должен был заняться в Марбургском университете под руководством знаменитого философа Вольфа. В 1739 году студент, занимавшийся, по отзывам Вольфа, с большим успехом математикою, философию и особенно физикою, прислал оду на взятие Хотина, которая составила эпоху в истории русского языка и литературы. То, чего так сильно желали от русских ученых, от российского собрания и не могли дожждаться от известного пииты и переводчика Тредьяковского, именно живой русской речи и сколько-нибудь гармонического стиха, то было получено от студента, занимавшегося за границею горным делом. Для нас в общей истории России вовсе не важно то, в каком отношении находится первая ода Ломоносова к одам знаменитого тогда немецкого поэта Гюнтера; для нас важны известные мысли, взгляды, высказанные автором по поводу воспеваемого события. Историк

спокойно и беспристрастно смотрит и на то, что в известное время, при известном складе и настроении общества замечательное событие порождает торжественную ли оду или ряд газетных статей и брошюр, оценивающих его значение, ибо газетная статья, брошюра и целая книга может также получить характер похвальной оды: для историка всюду, под какую бы то ни было форму, важны мысли и взгляды, взятые автором из общества или данные им обществу. Так, в первой оде Ломоносова нельзя не остановиться на видении, где Петр является вместе с Иоанном IV: «Кругом его из облаков/ Гремящие перуны блещут,/ И, чувствуя приход Петров,/ Дубравы и поля трепещут./ Кто с ним так грозно зрит на юг,/ Одеян страшным громом вокруг?/ Никак смиритель стран казанских?/ Каспийски воды! Он при вас/ Селима гордого потряс,/ Наполнил степь голов поганских./ Герою молвил тут герой:/ Не тщетно я с тобой трудился;/ Не тщетен подвиг мой и твой,/ Чтоб россов целый свет страшился».

В сопоставлении Петра с Грозным сопоставлены новая и древняя Россия, сопоставлены ровно и дружно. Способность автора сопоставить их таким образом основывалась на изучении им русской истории, которое и дало ему твердую почву, устанавливало его навсегда русским человеком. Новый русский человек не увлекся военным торжеством, победами, завоеваниями; он умел понять смысл русской истории, понять цель русских войн, умел выставить борьбу России с азиатским варварством, азиатским хищничеством и следствия торжества России в этой борьбе:

«Казацких поль заднестрский тать/ Разбит, прогнан, как прах развеян,/ Не смеет больше уж топтать/ С пшеницей, где покой насеян;/ Безбедно едет в путь купец/ И видит край волнам пловец,/ Нигде не знал, пlying, препятства.../ Пастух стада гоняет в луг/ И лесом без боязни ходит».

Тут же, в первом самостоятельном произведении сына преобразовательной эпохи, знаменитого труженика и представителя северных земских людей России, встречаем вынесенное из истории и жизни определение русского народа, встречаем стих:

«Где в труд избранный наш народ».

Мы не будем касаться чуждого для нас вопроса о степени поэтического таланта Ломоносова. Мы видим одно, что Ломоносов по своим способностям был преимущественно ученый и этими способностями служил как нельзя более своему времени и своему народу, пробужденному преобразованием к умственной жизни. Любимым занятием Ломоносова были естественные науки, но по силе своих дарований он не мог быть узким специалистом, и русский человек с возбужденною в высшей степени мыслью не мог не быть остановлен страшным недостатком для выражения мысли, результатов знания, необработанностью языка. Русский человек с возбужденною знанием мыслью испытывал самое тяжкое чувство, чувствовал себя немым. И понятно, почему высокодаровитый русский человек, естествоиспытатель чувствует обязанность, потребность заняться устройством родного языка, без чего успех русских людей в науках был невозможен. Ученые иностранцы были призваны в Россию, и лучшие из них делали свое дело, Академия издала труды своих членов, но что было в этих трудах для русского человека, когда они переводились таким образом: «О силах телу подвиженному вданных и о мере их» (*De viribus corpori moto insitis et illarum mensura*) или «О вцелоприложениях равнения разнственных». Надобно было

создавать литературный и научный язык, создавать не указанием только известных его свойств, но умением пользоваться указанным. Первая ода Ломоносова была ученым опытом, примером лучшего, более соответствующего духу русского языка стихосложения, над которым думал Ломоносов и за границей, будучи возбужден «способом к сложению русских стихов» Тредьяковского. Ломоносов вместе с одой прислал в Академию письмо о правилах российского стихотворства, где, сходясь с Тредьяковским в главной мысли о необходимости тонического стихосложения для русского языка, Ломоносов противоречил ему в подробностях. Василий Кириллович немедленно написал ответ и передал его в канцелярию Академии для пересылки Ломоносову; но адъюнкты Адауров и Тауберт представили Шумахеру, чтобы «сего учеными ссорами наполненного письма для пресечения дальних, бесплодных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж денег напрасно не терять». Для современников вопрос заключался не в том, кто первый указал на тоническое стихосложение, но кто писал:

«Воспевай же, лира, песнь сладку,/ Анну то есть благополучну,/ К вящему всех врагов упадку./ К несчастью в веки тем скучну», – и кто писал: «Шумит с ручьями бор и дол:/ „Победа, Росская победа!“/ Но враг, что от меча ушол,/ Бойтся собственного следа./ Тогда, увидев бег своих,/ Луна стыдилась сраму их/ И в мрак лице, зардевшись, скрыла./ Летаёт слава в тьме ночной,/ Звучит во всех землях трубой,/ Коль Росская ужасна сила!»

Первого автора звали Тредьяковским, второго – Ломоносовым. Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию, уже известный в Петербурге и своею одою, и отличными отзывами некоторых его наставников в Германей, и очень дурными отзывами других, и собственными признаниями в беспорядочном поведении. Подобно великому царю, который начал походы русских людей на Запад за наукою, и Ломоносов должен был явиться здесь и очень хорошим, и очень дурным человеком. У Ломоносова была та же богатырская природа, то же обилие сил; но мы знаем, как любили погулять богатыри, как разнуздывались их силы, не сдержанные воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое, цивилизованное общество для проявления этих личных сил, часто стремящихся нарушить его нравственный строй. Отсутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься в глаза людям из высшего западного общества, и особенно женщинам, которые и оставили нам отзывы об этой неблагоприятности вместе с отзывами о необыкновенных достоинствах царя. Что же касается Ломоносова, то в тех кругах, в которых он находился за границей, его несдержанность, его богатырские замашки могли поражать далеко не всех. Нам тяжело теперь говорить о пороке, которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его *шумства* ; но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки, от него происходившие, гораздо снисходительнее. Французские писатели середины XVII века с радостью отзываются, что пьянство вывелось у них в высших кругах и предоставлено низшим. Германия, отстававшая в это время от Франции во всех других отношениях, отстала и в этом. Университетская жизнь германская, в которую попал наш Ломоносов, далеко не могла иметь сдерживающего значения для его пылкой природы, а скорее разнуздывающее, и Ломоносов в оправдание своих беспорядков имел право указывать на соблазнительное общество. После разных приключений, после

женитьбы на дочери марбургского портного, после завербования под хмелем в прусскую службу, из которой спасся бегством, сопряженным с величайшими опасностями, Ломоносов явился в Петербург, когда Шумахер управлял Академиею.

Могущественный советник, которого собственная университетская жизнь, как мы знаем, была также не без приключений, встретил Ломоносова не очень сурово, тем более что перед приездом он обратился к нему с почтительным письмом, считая его единственным человеком, от которого зависела его судьба. Очень приятно и выгодно было господину советнику иметь под руками даровитого и покорного русского, который по возвращении в Россию написал две оды – одну на день рождения императора Иоанна, другую – на победу при Вильманстранде, а после восшествия на престол Елисаветы перевел с немецкого торжественную оду Штелина. Приятно и полезно было иметь под руками даровитого русского человека при явно враждебных отношениях к профессорам-немцам, с одной стороны, а с другой – при поднявшихся после восшествия Елисаветы нареканиях, что в Академии проводили только немцев и придавливали русских; покровительствуя Ломоносову, можно было выставить свое усердие к русским интересам и сложить всю вину на ненавистных профессоров. Ломоносов действительно первую неприятность в Академии встретил от профессоров, которые от августа до ноября держали его две ученые работы без одобрения, оставляя его между небом и землей без места и без жалованья; несколько раз просил он конференцию об определении его адъюнктом, и все безуспешно; но когда в начале 1742 года он подал просьбу в канцелярию на высочайшее имя, то советник Шумахер определил его адъюнктом физического класса, и в программе было выставлено: «Михайла Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство в физическую географию, чрез Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о рудах, также обучать в стихотворстве и штиле». Таким образом, с самого начала занятия словесностью становятся рядом с преподаванием естественных наук.

Но скоро наступило смутное время для Академии: борьба между Нартовым и Шумахером, поход против немцев. Время борьбы, раздражительно действуя на всех, особенно сильно действует на таких людей, как Ломоносов, и он пристал к Нартову, пошел в поход против немцев, забушевал. Богатырь новой России сдерживался благоговейным уважением к знанию, уважением к людям, славным в науке; если бы в это время в Академии были «Петром Великим выписанные славные люди», по выражению Ломоносова, то, конечно, он не позволил бы себе выходок против них; но «Россия лишилась великой от них чаемой пользы», они уехали, и уехали, как все говорили, от Шумахера; вместо них были люди, не имевшие авторитета в глазах Ломоносова, и он с ними не поцеремонится, тем более что они держали так долго его диссертации и не давали ему адъюнктского звания, которое он получил прямо от канцелярии. Ломоносов стал бывать шумен, по тогдашнему выражению, а в шуму он был беспокоен. В сентябре 1742 г. на него подал жалобу академический садовник Штурм: «Пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что ему отвечивал бывший у меня в гостях лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в

голову ударил и, схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить и слуге своему приказывал бить всех до смерти; и выскочив я из окон и почал караул звать; и пришед я назад, застал я гостей своих на улице битых и жену свою прибитую».

Профессора, видя в Ломоносове сообщника Нартова, объявили ему, чтобы он не присутствовал в их конференциях до окончания академического дела в комиссии. Они уже жаловались в комиссию, что Нартов не раз присылал своих сообщников, Ломоносова и других, с великою неучтивостью и шумом мешать им в их занятиях, будто бы для осматривания печатей. В мае 1743 года профессора подали в комиссию новую просьбу: «Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем он, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессора для конференций заседают и в которой в то время находился профессор Винсгейм и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы, мимо их прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и, крайне поносный знак (кукиш) самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав, пошел в оный географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескот и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякою скверною бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех профессоров бранил и ворами называл за то, что ему от профессорского собрания отказали». По словам свидетелей, Ломоносов говорил: «Что они себе воображают? Я такой же, и еще лучше их всех, я природный русский!»

Вследствие профессорской жалобы Ломоносова вызвали в комиссию к допросу; но он объявил Юсупову: «Я по-пустому отвечать не буду, и надо мною главную имеет команду Академия, а не комиссия; надобно, чтобы Академия от меня потребовала ответа, и без того в допрос не пойду, и ничего со мною комиссия делать не может». «Сверх того, – сказано в протоколе комиссии, – пред присутствием кричал он, Ломоносов, неучтиво и смеялся». Юсупов и Игнатьев велели его арестовать и содержать под караулом при комиссии. Призванный вторично в комиссию Ломоносов объявил, что без воли Нартова отвечать не смеет. Призвали в третий раз и объявили показание. Нартова, что тот не запрещал ему идти в допрос и теперь не запрещает. Несмотря на то, Ломоносов объявил, что отвечать не будет, потому что это дело судное. Приговорили: держать его под караулом по-прежнему. Ломоносов подал просьбу в Академию: «Содержусь под арестом, отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. А понеже от сего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы я других моим учением пользоваться мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит: ибо я, низжайший, нахожусь от сего напрасного нападения в крайнем огорчении. И того ради императорскую Академию Наук покорно прошу, дабы благоволено было о моем из-под ареста освобождении для общей пользы отечества старание приложить».

Нартов приложил старание, но понапрасну. Комиссия представила императрице дело в очень неблагоприятном для Ломоносова виде, привела справку из Академии, что Ломоносов и за границую «чинил непорядочные и беспокойные поступки, и оттуда тайным почти образом уехал, да и по приезде сюда, в С.-Петербург, явился в драке и прислан из полиции в Академию». Комиссия не упустила случая сделать выходку и против Нартова: «Да и правление его, Нартова, по Академии за незнанием его не довольное, ибо он не только какой ученый человек и знающий иностранных языков, но с нуждою и по-русски только может имя свое написать». По мнению комиссии, Ломоносова следовало наказать не только за «противные» поступки его в комиссии и Академии, но даже и в немецкой земле. Но 18 января 1744 года Сенат приказал: «Оного адъюнкта Ломоносова для *его довольного обучения* от наказания свободить, а во объявленных учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения; а что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в конференции яко в судебных местах, за то давать ему, Ломоносову, жалованья год по нынешнему его окладу половинное; ему же, Ломоносову, в канцелярии Пр. Сената объявить с подпискою, что ежели он впредь в таковых продерзостях явится, то поступлено с ним будет по указам неотменно».

В указе причиной освобождения было означено «довольное обучение», но довольное обучение Ломоносова могли оценить очень немногие; гораздо большее число русских и сильных людей могло оценить его оды, которые он представлял одну за другою и каких прежде не читывали на русском языке. Эти-то оды, конечно, и были главною причиной освобождения от наказания. В феврале 1742 года Ломоносов написал оду на прибытие из Голштинии великого Петра Федоровича:

«Дивится ныне вся вселенна/
Премудрым вышнего судьбам,
Что от напастей злых спасенна/
Россия зрит конец бедам/
И что уже Елисавета/
Златые в ону вводит лета,
Избавив от насильных рук/
Красуются Петровы стены,
Что к ним его приходит внук».

В конце года Ломоносов написал оду на прибытие Елисаветы,, из Москвы в Петербург после коронации:

«Какой приятный зефир веет/
И нову силу в чувства льет?/
Какая красота яснее/
Что всех умы к себе влечет?/
Мы славу дщери зрим Петровой,
Зарей торжеств светящу новой;
Благословенна вечна буди,
Вещает ветхий денми к ней,
И все твои с тобою люди,
Что вверил власти я твоей,
Мой образ чтят в тебе народы/
И от меня влиянный дух;
В бесчисленны промчится роды/
Доброт твоих неложный слух.
Тобой поставлю суд правдивый,
Тобой сотру сердца кичливы,
Тобой я буду злость казнить,
Тобой заслугам мзду дарить!»

В оде, написанной в это время, естественно ожидать указаний на шведские отношения:

«Стокгольм, глубоким сном покрытый,
Проснись, познай Петрову кровь;
Не жди льстецов своих защиты,
Отринь коварну их любовь;
Ты всеу солнце почитаешь/
И пред луной себя склоняешь;
Целуй Елисаветин меч,
Что ты принудил сам извлечь.
Свою полтавску вспомни рану/
Народы, ныне научитесь,
Смотря на страшну гордых казнь,
Союзы разрушать блюдитесь;
Храните искренно приязнь;
На множество не уповайте/
И тем небес не раздражайте!»

Мечи, щиты и крепость стен/ Пред божьим гневом гниль и тлен:/ Пред ним и горы исчезают,/ Пред ним пучины иссыхают ».

В 1743 году была написана ода на день тезоименитства великого князя Петра Федоровича; в ней находится знаменитая языческая строфа о Петре Великом:

«Воззри на труд и громку славу,/ Что свет в Петре не ложно чтит;/ Нептун, познав его державу,/ С Минервой сильный Марс гласит;/ Он бог, он бог твой был, Россия,/ Он члены взял в тебе плотские,/ Сошед к тебе от горних мест;/ Он ныне в вечности сияет,/ На внука весело взирает,/ Среди героев, выше звезд».

Конечно, известность, приобретенная одами, немало способствовала Ломоносову в получении места профессора химии в 1745 году; посвящение Ломоносовым перевода своего сокращенной экспериментальной физики графу Воронцову указывает на сношения его с этим сильным при дворе человеком. Когда еще дело о производстве не было окончено, Кабинет ее величества затребовал от Академии извещения, секретарь Тредьяковский и адъюнкт Ломоносов произведены в профессора. Производство Ломоносова шло прямым путем чрез Академию: по его просьбе и по представленным сочинениям профессорская конференция решила, что Ломоносов достоин просимого им места, и дело пошло в Сенат. Но Тредьяковский получил место профессора элоквенции мимо Академии.

В марте 1744 года Тредьяковский подал донесение в Сенат: «Поданным от меня доношением в канцелярию Академии Наук прошедшего 1743 года мая 2 дня я предложил: что, обучаяся языкам, также свободным наукам, а наконец, философическим и математическим знаниям, употребил на то 18 лет, сперва в отечестве моем Астрахани, у римских монахов, потом, оставя мое отечество, родителей, дом и всех сродников, чрез краткое токмо время в Москве в Славяно-латинском училище, напоследок в Парижском университете, куда я прибыл своею охотою, не бывши послан ни от кого и, следовательно, с крайним претерпением бедности, и куда дошел я пеш из самого Антверпена, все ж то для снискания наук и с таким намерением, чтоб я мог потом принести отечеству моему некоторую пользу. Что по должном возвращении моем в Россию уведомился я о родителях моих, нескольких кровных и почитай о всех сродниках, что они волею божиею от язвы померли, и отеческое мое наследие за небытностью там моею, как движимое, так и недвижимое, все по рукам растащено, и, следовательно, увидел я себя тогда еще больше бедным для того, что, лишившись родителей моих, лишился не токмо надлежащего пропитания, но и дневные пищи, и, не имея куда приклониться, стал быть совершенно безнадежен. Что почитай в то же самое время, а именно в 1733 году, определен я в Академию Наук от бывшего тогда в ней президента барона Карла фон Кейзерлинга с достоинством академического секретаря и с получением окладного на год жалованья 360 рублей к следующей должности: 1) чтоб мне по возможности стараться о чистом слоге на нашем языке как простым, так и стихотворным сочинением; 2) чтоб давать при Академии лекции, ежели то от меня потребуется; 3) чтоб трудиться совокупно с другими над лексиконом; 4) чтоб переводить с латинского и французского на русский все, что мне дано ни будет.

Чтоб, исполняя назначенную мне должность во всем вышеупомянутом от того времени, ревностно я трудился и многие опыты несколько моя к тому способности уже подал как простым, так и стихотворным сочинением; а

российское стихотворение и новым изобретением по званию академика первый в правильной порядок привел и правила печатные издал, которые уже подали искусным людям о совершенстве науки сея страться, о чем прежде меня никто и не мыслил, довольствуясь токмо весьма неправильным старинным способом. Что ж до переходу, не считая бесчисленных небольших дел, как с латинского и французского на российский, так и с русского сверх должности моей на оба помянутые языка, буде не больше, то не меньше прочих всех при Академии в том я трудился и труждаюсь поныне, ибо перевел с французского великую книгу, названную родословною историею о татарах, которая для своих примечаний весьма достойна света; перевел также с французского великую книгу графа Марсильи «Военное состояние Оттоманской империи», которая уже напечатана; перевел уже я с французского же и Древняя Истории чрез Ролена (состоящая в 13 великих томах, которых пользу и красоту довольно и достойно выхвалить и не мне не можно) совершенно три тома, а два еще, с божиею помощью, почитай уже к окончанию приведены, и уповаю скоро их отдать в Академию. Перевел и еще небольшую книгу именем Истинная Политика и напечатал ее своим иждивением, положив на то едва не целый год моего жалованья; а сие токмо для пользы российских читателей; напоследок перевел я ныне недавно с латинского уже небольшую же книгу именем Речи краткие и сильные и поднес его импер. высочеству благоверному великому князю Петру Федоровичу. При сей валовой академической работе трудился я и в бывшем при главном командире бароне фон Корфе российском собрании, приходя с прочими трижды в неделю, над Целлариевым лексиконом и над прочими работами, приличными тому собранию. Также я токмо один переводил все перечни итальянских комедий и все бывшие тогда интермедии да одну всю итальянскую первую оперу под именем Сила любви и ненависти, которые все напечатаны. Здесь не упоминаю я похвального слова в 1733 году, речи к членам российского собрания в 1735 году, од в разных годах моего сочинения, также многих и переводных с Юнкеровым и Штелиновым, над чем всем много я пролил пота; одно токмо воспоминаю, что я был, по имянному ее импер. величества указу, и при полномочном французском министре маркизе де ля Шетарди в Москве в 1742 году. Для долговременного моего учения. для употребленного к тому странного способа и великие охоты, для претерпения бедностей, для лишения родителей и всего родительского за науками, для десятилетия при Академии службы, для показанных при ней вышеупомянутых услуг и трудов, для того, что ныне, имея уже жену и содержа бедную сироту, сестру мою родную, вдову и с малолетным ее сыном, не могу содержаться вышеозначенным моим жалованьем, не имея ж ниоткуда ни прибавки, ни надежды и приходя уже в лета, впал я в долги, а следовательно, в бедность же и печаль; для всего сего просил я канцелярию Академии Наук благоволить сравнить мое жалованье с жалованьем секретаря Волчкова, который получает по 560 рублей в год».

«Канцелярия Академии Наук не захотела учинить мне сравнения, просимого от меня, так просто, чтоб я еще какой должности на себя не принял. Я, увидев ее намерение, паки просил ее доношением августа 18 дня прошедшего же 1743 года в такой силе, чтоб благоволить постараться о произведении меня в профессора элоквенции, как латинские, так и российские, и также притом о таком уже мне жаловании, каково получают профессора элоквенции при Академии, а обещался

при профессорской должности отправлять еще по-прежнему и переводы книг, понеже в них великая нужда России. По благосклонном принятии оного моего доношения канцелярии Академии Наук надлежало сообщить того содержание господам профессорам для того токмо, дабы им благоволить меня освидетельствовать, по их должности, в способности к элоквенции, что канцелярия Академии Наук и учинила октября 10 дня прошедшего ж 1743 года. Но господа профессора, вместо чтоб принять меня на свой экзамен, а потом или удостоить меня, или показать к тому мою неспособность, определили письменно ответствовать и ответствовали того ж октября 17 дня: понеже-де при Академии Наук профессия элоквенции латинской поручена господину Штелину, а профессия-де элоквенции на российском языке от императора Петра Великого не учреждена, и для того-де напрасно старание будет о получении при здешней Академии такого профессорского места».

«Видя загражденный мне путь к профессорству сею их отговоркою, прибег я к мужам весьма больше почтенным, а искусным равно в элоквенции латинской, но в российской совершеннейшим, т.е. к членам св. прав. Синода, и просил их покорнейше освидетельствовать меня в такой силе, имею ли я несколько достатка в элоквенции, как латинской, так и российской. Св. Прав. Синода члены благоволили свидетельствовать меня в том чрез надлежащее время и нашли меня несколько, но довольно искусна в обеих помянутых элоквенциях, а в уверение сего мне дали непостыдный аттестат. Получивши такой аттестат, сообщил я оный при доношении в канцелярию Академии Наук, которым еще просил благоволить прописать все причины, изъясненные в первых моих доношениях, для которых я прошу быть профессором и подать о мне удостоверение с мнением в прав. Сенат, ибо я ныне, получа толь твердое и важное от членов св. прав. Синода засвидетельствование, признаваю себя способным к исправлению должности профессора хотя латинский, хотя российские элоквенции, а профессорскую отговорку отразил в оном доношении целым пунктом следующего содержания: 1) хотя и есть профессор элоквенции латинской, однако надлежит ему быть токмо по то время, пока нет к тому способного человека из российских, ибо сия Академия учреждена в пользу российских людей, как то явствует в прожекте Петра Великого и в указе об Академии Наук 1725 года декабря 25 дня. 2) Так, могут быть два профессора элоквенции, как теперь действительно находятся три профессора астрономии. 3) Хотя и не положена профессия российские элоквенции, да не положена ж и латинская, но токмо положена просто элоквенция, которая не привязана к одному латинскому языку, для того что может состоять на всяком: положено токмо, чтоб всякому профессору курс своей науки издавать на латинском языке. 4) Ежели бы элоквенция здесь привязана была к одному токмо латинскому, то бы все профессора элоквенции, обретавшиеся здесь, и ныне обретающийся г. Штелин не издавали своих сочинений стихами и прозою на немецком, которого элоквенция так же не положена в. прожекте, как и российского. 5) Следовательно, российская элоквенция в здешней Академии еще больше имеет права немецкой для наичастейшего и общего во всей России употребления, и толь больше, что сия Академия учреждена в пользу россиянам. 6) Профессорская должность не в том состоит, чтоб не допускать до профессорской степени российского человека, на которой он может стоять с честью и пользою, но чтоб токмо освидетельствовать, достоин ли претендент того, чего требует, ибо им

должно токмо видеть пробу искусства просителя, который наследовать им имеет право по силе прожекта. 7) Для того что господа профессора охотно принимали в 1733 году на свой экзамен переводчика Горлицкого, который также просил быть профессором, и места профессорские все были заняты ж чужестранными, но он сам к ним не пошел, отговариваясь парижским свидетельством, то видно, что меня для того не приняли, что я к ним с радостью сам шел на экзамен, хотя и я также имею парижское свидетельство, ибо ведают те, что им меня не удостоить и трудно, и стыдно, однако надобно было заградить путь российскому человеку как-нибудь, так что, кто к ним нейдет, того принимают, а кто идет, того всячески не хотят. 8) Оный профессорский ответ в канцелярию к непринятию меня на экзамен несколько, кажется, и не в честь толь ученым и благоразумным людям, для того что он не к делу и некстати, ибо не требовала от них запросом канцелярия, что есть ли профессор элоквенции латинской и положена ли профессия российские элоквенции в прожекте, ведая о том известно; но токмо просила их благоволить освидетельствовать меня в искусстве элоквенции.

И посему, истолковав прямо вышеписаную профессорскую отговорку, не знаю, не будет ли она значить точно сие следующее: хотя Третьяковский и достоин быть профессором элоквенции, однако он нам не надобен, ибо в почтенную нашу компанию вмешается русской, чего здесь от роду не бывало да и быть не должно, потому что добрый случай определил сей хлеб точно нашим, а он, вмешавшись к нам, может быть, сего хлеба лишить нашего и потому впредь будет лишать кого-нибудь из наших, который еще не выехал сюда, а за ним то ж учинит другой подобный ему и третий, для того что уже мы их несколько видим готовых. Итак, запрем путь сему Третьяковскому, то потом и прочих отлучать не будет нам труда».

«В такой силе было последнее мое помянутое доношение в канцелярию И. А. Н. от 22 ноября 1743 года. А по силе просьбы, содержащиеся в сем доношении, помянутая канцелярия А. Н. готовила уже доношение с мнением в Прав. Сенат. Но между тем советник Нартов отрешен от помянутые канцелярии, а определен по-прежнему советник Шумахер, которого я многократно просил словесно о произведении моей просьбы в дело. Сей советник многократно ж меня о том и благосклонно обнадеживал, а иногда говорил мне, советуя, чтоб я и не просился в профессора, ибо имеет он намерение выпросить хороший мне ранг и довольное жалованье, а быть бы мне токмо при старом деле, для того что-де России больше в том деле нужды и пользы, нежели хотя бы я был и профессор. Однако напоследок объявил мне генваря 19 дня сего 1744 года, что он ныне не имеет ни времени, ни свободы, и для того буде я желаю, то бы я сам просил Прав. Сенат».

Вследствие этого объявления Третьяковский и подал просьбу в Сенат – повелеть быть ему профессором элоквенции; если же это за благо не рассудится, пожаловать в ассессоры в Академию Наук с 600 рублей жалованья по примеру Адагурова, переведенного из адъютантов в ассессоры; если и это не будет угодно, то дать майорский ранг по примеру секретаря Иностранной коллегии с окладом профессора элоквенции и быть при прежних должностях, которые все касаются до элоквенции же российской и до переводов, для того что в сем состоит великая нужда и «почитай не нужнее ли еще должности профессора элоквенции».

В приложенном к просьбе аттестате, данном Третьяковскому синодальными членами, говорилось, что они «предложенные сочинения его виды как

русским, так и латинским языком рассмотрели и сим свидетельствуют, что оные его сочинения виды по точным правилам элоквенции произведены, чистыми и избранными словами украшены и по всему тому явно есть, яко он не несколько, но толико произшел в элоквенции, си есть в красноречии российском и латинском, что праведно надлежащее в том искусство приписатися ему долженствует».

Сенат на основании синодального аттестата утвердил Тредьяковского профессором элоквенции; но мы видели, что и об нем был запрос из Кабинета, следовательно, имеем право заключить о ходатайстве сильных лиц. Как бы то ни было, 30 июля 1745 года Тредьяковский и Ломоносов присягнули как профессора Академии в церкви Апостола Андрея на Васильевском острове.

Новый профессор химии не переставал напоминать о себе одами. В том же году он написал оду на бракосочетание великого князя:

«Исполнил бог свои советы/ С желанием Елисаветы:/ Красуйся светло, русский род./ Се паки Петр с Екатериной/ Веселья общего причиной».

В конце следующего года в оде на день восшествия на престол Елисаветы читали, что от русской императрицы вся дает восстановления мира:

«От той Европа ожидает,/ Чтоб в ней восставлен был покой».

В оде на день рождения Елисаветы поэт возвестил, что нет более смертной казни:

«Ты суд и милость сопрягаешь,/ Повинных с кротостью караешь,/ Без гневу злобных исправляешь,/ Ты осужденных кровь щадишь».

В конце 1747 года, когда велись окончательные переговоры о движении русских войск на помощь морским державам и когда, несмотря на уверения правительства, что это участие в войне необходимо для ускорения мира, многие думали, что такое участие может иметь следствия противные и завлечь Россию в опасные «дальности», по тогдашнему выражению, Ломоносов пишет знаменитую оду на день восшествия на престол, в которой прославляет мир и его главный плод – процветание наук. Вспомним отношения Ломоносова к противнику воинственного канцлера Воронцову и вспомним, что новый президент Академии, младший Разумовский, не следовал примеру старшего и был другом Воронцову.

Кто из нас в детстве не знал наизусть этих стихов?

«Царей и царств земных отрада,/ Возлюбленная тишина,/ Блаженство сел, градов ограда,/ Коль ты полезна и красна!/ Ужасный чудными делами/ Зиждатель мира искони/ Своими положил судьбами/ Себя прославить в наши дни;/ Послал в Россию Человека,/ Каков неслыхан был от века./ Сквозь все препятства Он вознес/ Главу, победами венчанну,/ Россию, варварством погранну,/ С собой возвысил до небес.../ Тогда божественны науки/ Чрез горы, реки и моря/ В Россию простирали руки,/ К сему Монарху, говоря:/ „Мы с крайним тщанием готовы/ Подать в Российском, роде новы/ Чистейшаго ума плоды“./ Монарх к себе их призывает,/ Уже Россия ожидает/ Полезны видеть их труды./ О вы, которых ожидает/ Отечество от недр своих/ И видеть таковых желает,/ Каких зовет от стран чужих,/ О ваши дни благословенны!/ Дерзайте ныне ободренны/ Раченьем вашим показать,/ Что может собственных Платонов/ И быстрых разумом Невтонов/ Российская земля раждать».

Ода оканчивается обращением к императрице, соответствовавшим тогдашнему положению дел, ожиданию войны, которая могла быть вызвана движением русских войск:

«Тебе, о милости источник,/ О ангел мирных наших лет!/ Всевышний на того помощник,/ Кто гордостью своей дерзнет,/ Завидя нашему покою,/ Против тебя восстать войною».

В конце следующего 1748 года Ломоносов имел возможность прославить восстановление мира в Европе не без содействия России посылкою вспомогательного корпуса. В надписи на иллюминации в день именин императрицы, 5 сентября, он говорил:

«Смущенный бранью мир мирит господь тобой./ Российска тишина пределы превосходит/ И льет избыток свой в окрестные страны./ Воюет воинство твое против войны,/ Оружие твое Европе мир приводит».

В оде на восшествие на престол Елисаветы Ломоносов говорит:

«Европа утомленна в брани,/ Из пламени подняв главу,/ К тебе свои простерла длани/ Сквозь дым, курение и мглу./ Твоя кротчайшая природа,/ Чем для блаженства смертных рода/ Всевышний наш украсил век,/ Склонилась для ее защиты./ И меч твой, лаврами обвитый,/ Не обнажен войну пресек».

Отъезд императрицы в Москву, испепеленную страшными пожарами, заставил Ломоносова окончить свою оду так:

«Москва едина, на колена/ Упав, перед тобой стоит./ Власы седые простирает,/ Тебя, богиня, ожидает,/ К тебе единой вопия:/ Воззри на храмы опаленны,/ Воззри на стены разрушенны,/ Я жду щедроты твоея./ Гряди, краснейшая денницы./ Гряди, и светлостью лица./ И блеском чистой багряницы/ Утешь печальные сердца/ И время возврати златое./ Мы здесь в возлюбленном покое/ К полезным припадем трудам./ Отсутствуя, ты будешь с нами:/ Покрытым орлими крылами./ Кто смеет прикоснуться нам?/ Но если гордость ослепленна/ Дерзнет на нас воздвигнуть рог;/ Тебе, в женах благословенна,/ Против ея помощник бог./ Он верх небес к тебе преклонит/ И тучи страшные нагонит/ Во сретенье врагам твоим./ Лишь только ополчишься к бою,/ Предъидет ужас пред тобою./ И следом воскурится дым».

Вспомним, что поездка в Москву была также предметом раздора между двумя партиями; Бестужев не хотел этой поездки; враги его хлопотали, чтоб она состоялась, чего нетрудно им было достигнуть при сильном желании самой императрицы ехать в Москву. Окончание оды если не было внушено Воронцовым с товарищи, то было для них как нельзя кстати; Елисавете она должна была особенно понравиться: она подарила за нее автору 2000 рублей, сумму по тому времени очень значительную.

Возвратимся к академической деятельности Ломоносова. В октябре 1745 года советник Шумахер донес Сенату, что книга, именуемая «Сокращенная экспериментальная физика», переведенная профессором Ломоносовым, в конференции проф. Гмелиным прочтена и усмотрено, что объявленный перевод по большей части довольно хорош, кроме немногих мест, которые профес. Ломоносовым при проф. Гмелине отчасти тогда же исправлены, а отчасти исправление их отложено до будущего печатания, чтоб письменного экземпляра поправками не испортить. Приказали: книгу по исправлению напечатать, а проф. Ломоносову на русском диалекте показывать лекции. Это донесение и распоряжение были сделаны на том основании, что книга не могла быть выпущена без разрешения Сената: в 1743 году послан был указ в Академию Наук, чтоб она немедленно прислала в Сенат по одному экземпляру всех книг, какие

были напечатаны с начала Академии, с реестром и впредь, какие будут печататься, также присылать с означением цен, а прежде взнесения книги в Сенат для народного известия в продажу не употреблять.

В марте 1746 года бил челом Сенату проф. Ломоносов, чтоб ему положено было годовое жалованье по 660 рублей в год, «ибо химическая наука состоит не токмо в одной теории, но и в весьма трудной практике, которая и здравию вредительна бывает». Просьба была исполнена. В июне того же года в Ведомостях читали следующее известие: «Сего июня 20 дня, по определению Академии Наук президента, той же Академии профессор, господин Ломоносов, начал о физике экспериментальной на российском языке публичные лекции читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских разных чинов слушателей и сам господин президент Академии с некоторыми придворными кавалерами и другими знатными персонами присутствовал».

В то время как даровитейший из членов Академии, первый русский ученый, овладевший вполне европейской наукою и создававший для нее язык, собирал в академической аудитории слушателей из разных чинов, воинских и гражданских, Академия дожидалась решения своих внутренних распрей. Восстановление Шумахера в прежнем значении, разумеется, не могло прекратить этих распрей, ибо он возвратился с прежними стремлениями, законности которых никак не хотели признать профессора, тем более теперь, когда они думали, что, оказав своею поддержкою великую услугу советнику, имеют право требовать от него перемены поведения в отношении к ним. Другой советник. Нартов, успокоился на решении Сената; у него была деятельность вне Академии: в 1746 году Ведомости извещали, что советник Академии Андрей Нартов пожалован деревнями и знатною денежною суммою за новообретенные дела при артиллерии, чего еще поныне не было. Кроме того, Нартов жил воспоминаниями о великом человеке, подле которого судьба привела его работать в начале поприща, и он записывал эти воспоминания для потомства. Все, что осталось от Петра Великого, было драгоценно для его усердного токаря, и в мае 1747 года он представил в Сенат, что в 1723 году трудами Петра Великого сделаны и имеются в Петропавловском соборе два костяные паникадила и один животворящий крест с апостольскими ликами, также и в Троицком соборе костяное паникадило; а ныне он, усмотрев, что такое великое и премудрое дело многотрудных рук Петра Великого от нападающей пыли чрез долгое время весьма повредилось, отчего столь уже оно не удивления, но сожаления достойно, а понеже древних славных государей, наприм. Александра Великого и прочих, токмо по повелению сделанные куриозные вещи хранятся в кунсткамерах с великим присмотром, то кольми паче вышеозначенные вещи, произведенные собственными премудрыми трудами несравненного в сем свете императора Петра Великого, долженствуется всеми мерами хранить и содержать в великом наблюдении; а по мнению его, надлежит сделать из зеркальных стекол в медных рамках футляры и вызолотить в пристойных местах фигуры, на что нужно 2500 рублей. Сенат велел выдать на первое время 1000 рублей. В 1748 году Сенат выразился, что «советником Нартовым в зачинке в пушках раковин совершенное искусство оказано, коих пушек починено многое число».

Успокоился Нартов, но не мог успокоиться товарищ его в походе на Шумахера Делиль. Видя, что комиссия взяла решительно сторону Шумахера,

Делиль в августе 1743 года подал императрице просьбу об увольнении по следующим побуждениям: возвратившись из Сибирской ученой экспедиции, уведомился он, что президент Академии Корф взял его астрономические наблюдения и отдал молодому профессору Гейнзиусу, который выписан трудиться под надзором его, Делиля. Оскорбленный этим, Делиль перестал бывать в конференциях; Шумахер удержал жалованье его за 1741 и 1742 годы, а комиссия решила удержать все жалованье. Делиля не уволили: как видно, Шетарди вмешался в дело. Только в июне 1745 года императрице был представлен доклад об отпуске Делиля. Но у Делиля кроме Шетарди были русские доброжелатели, которые успели представить ей, как вредно для Академии и для России лишиться знаменитого ученого, вызванного отцом ее. Поэтому при докладе «ея импер. величество в рассуждении, что оный профессор при Академии надобен, указала его склонять, чтоб он здесь еще остался».

При этом уговаривании остаться Делиль прежде всего потребовал выдачи всего заслуженного жалованья и отпуска денег на устройство обсерватории; императрица приказала исполнить эти требования.

Потом в сентябре Делиль подал в Сенат доношение: императрице угодно его оставить, но он может остаться только на следующих условиях: чтоб Академия была таким образом установлена, дабы канцелярия не имела никакой власти над профессорами и над принадлежащими вещами до наук, ниже над академическою экономией; а оное установление можно в действо произвести, давши Академии регламент, по которому бы она на разные департаменты, касающиеся до наук, разделена была и чтоб каждый профессор над приличным ему департаментом главным был и в том никому иному ответ не дал, как только Правительствующему Сенату и профессорскому корпусу, и по регламенту Петра Великого выбрать одного из профессоров в президенты или директоры, который бы беспрерывно в оном чину находился, или попеременно каждый год или полгода, а понеже он, Делиль, из профессоров старший и имеет совершенное известие о всех прочих европейских академиях, для того уповает, что директорское избрание сперва бы ему досталось.

Сенат приказал: о определении президента подать ее импер. величеству доклад и до получения указа, что касается до наук и им принадлежащих вещей, то поручить ведать и смотреть и исправлять обще в собрании всем профессорам, а для того и служителям тех наук быть у них же, профессоров, а канцелярии академической ныне, что до наук принадлежит, им, профессорам, не точию какого помешательства, но всякое по их требованиям чинить вспоможение без продолжения времени.

Между тем и остальные профессора выступили в поход против Шумахера.

В июне 1745 года советник получил от профессоров Гмелина, Вейтбрехта, Миллера, Леруа и Рихмана следующее официальное письмо: «Вашему высокоблагородию памятно, что по полученному из прав. Сената прошлого 1744 года июля 10 дня указу о распечатании и ревизии библиотеки и кунсткамеры того ж июля 27 дня в обыкновенный день нашего собрания вы приходили к нам в Академию и о содержании помянутого указа нам в собрании объявили, что указано производить ревизию двумя адъюнктами, назначенными от Академии; и притом ваше высокоблагородие свое мнение предложили, что ревизия очень продолжительна будет, если только двум адъюнктам у того дела быть; к тому же

нельзя положиться на адъюнктов, чтоб они во всех науках достаточную опытность имели, чтоб ревизию производить как следует, скорее и исправнее она будет произведена, если при ней будут присутствовать несколько из профессоров, и можно надеяться, что Сенат на это склонится охотно. После совещания об этом каждый из нас охотно на себя принял производить ревизию таких вещей, которые теснее соприкасаются с его науками. Надлежало тогда вашему высокоблагородию нам сообщить подлинный сенатский указ, чтоб нам можно было обсудить, на каком основании нам поступать при ревизии, ибо нельзя думать, что намерение прав. Сената было такое, как ваше высокоблагородие нас изволили удостоверить, а именно чтоб на печатных каталогах основание положить, потому что ревизия наиболее для того и учреждена, дабы известно было, правда ли то, что на вас донесено, будто во время двадцатипятилетнего вашего правления библиотекарской должности и библиотеки и кунсткамеры много унесено и утрачено, а печатные каталоги сочинены в недавних годах и в них внесено только то, что в то время находилось налицо, следовательно, эти каталоги показать не могут, чему в кунсткамере и библиотеке быть надлежит, это может быть усмотрено по самым старым каталогам и счетам, как каждая вещь куплена и в Академию внесена; но так как мы этому делу не судьи и это могло оскорбить ваше высокоблагородие, то мы по справедливости уклонились и рассмотрению правительствующего Сената оставили, изволит ли такую ревизию за достоверную принять, однако ж еще сверх означенного другая причина есть, почему нам очень обидно, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили.

Ревизию окончивши, услышали мы, что по сенатскому указу велено Юстиц-коллегии Мелисину быть при ревизии, которая адъюнктам была приказана. Правител. Сенат, вероятно, рассуждал, что в таком деле, которое вашего высокоблагородия так близко касается, на одних адъюнктов всю надежду положить нельзя, потому что они для угождения вам легко что-нибудь пропустить могут, также адъюнкту неоскорбительно трудиться в чем-нибудь под смотрением какого-нибудь асессора. Но так как вместо адъюнктов мы в это дело вступили, то вашему высокоблагородию надлежало с нами поступать не так скрытно и важного такого обстоятельства от нас не таить. Вам неизвестно, что профессора при Академиях Наук никогда не ставятся ниже коллежских асессоров, и уже причины не было, зачем господину Мелисину при ревизии присутствовать, ибо надеяться можно, что нам не меньше, как и ему, поверят. Итак, надобно думать, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили для того, во 1) чтобы мы не знали, на каком основании велено сделать ревизию; во 2) дабы к уменьшению чести нашей скрытно нас отдать под надзор асессору юстиции, против чего мы, конечно, протестовали бы, если бы нам о том известно было; однако притом на господина Мелисина жаловаться причины никакой не имеем, потому что он во время ревизии никакой над нами власти не взял. Также мы и того не знали и до сих пор еще очень сомневаемся, что вашему высокоблагородию при ревизии велено главное правление иметь. В сенатском указе написано, чтоб вам при том быть, а чтоб вам над ревизиею дирекцию иметь, того не написано, ибо так как в своем собственном деле никто судьбою быть не может, то и думать нельзя, что намерение прав. Сената было вашему высокоблагородию правление такого дела поручить, которое против вас самих гласит: итак, мы больше рассуждаем, что

вашему высокоблагородию при том быть велено только для того, чтоб об утраченных вещах ответ дать.

Поэтому нам удивительно кажется, как ваше высокоблагородие случай себе нашли при ревизии так поступать, будто бы она и от вас зависела. Ваше высокоблагородие с г. ассессором Мелисином какую-то новую комиссию учредили, в которой вы оба назывались членами, а мы вам подчиненными; вам же довольно известно, что мы ни в наших делах в вашей команде не состоим, ниже при таком чрезвычайном случае вам послушными быть могли; только мы тогда не знали, что труды наши от вашего правления зависят, а как мы теперь о том уведомились и определение видели, которое вы о том с г. ассессором Мелисином составили, то мы уже с позволения вашего о том еще упомянем попространнее. Это определение внесено в журнал академической канцелярии о ревизии прошлого 1744 года июля 16 дня, т.е. одиннадцатью днями прежде, как ваше высокоблагородие о том с нами в собрании советовались. Это определение с сделанным в собрании согласно в том, что каждый из нас ревизию на себя принял, только разнится в том, что в вашем канцелярском определении нам будто повелевается от вашего высокоблагородия и от г. ассессора Мелисина все то, что мы одиннадцать дней спустя своею охотою на себя приняли, и журналист разве пророческим духом одарен был, что 16 июля мог знать о том, что 27 числа сделается. Такими коварствами нам в обиду и чести нашей в повреждение вы величаться хотели. Если правда, что определение написано было уже 16 числа, то для чего ваше высокоблагородие его к нам в собрание не принесли и для чего вы его никому из нас не сообщили? Если бы у вашего высокоблагородия совесть была чиста, то бы вы в том не так скрытно поступали. Хотя все пункты этого определения чести нашей весьма вредны, однако одиннадцатый больше всего подает повод к жалобе: в нем вы надсмотрщиком над нами поставили такого человека, которого мы и в самом малом деле не считаем таким, как вы о нем рассуждаете: речь идет о г. Тауберте. Правда, что по русскому, а отчасти и французскому языкам обучен и в переводах, если постарается, значительное искусство имеет, и он бы мог при Академии служить с пользою, если бы вы его при тех переводах оставили; но, как видно, вашему высокоблагородию этого показалось для него слишком мало. Вы ему, как родственнику своему, титул адъюнкта исходатайствовали, который может быть получен только вследствие занятий науками и их преподаванием; потом вы ему исходатайствовали титул унтер-библиотекаря, дабы ему мало-помалу и библиотекарство и канцелярское правление поручить и таким образом оба чина наследственными в вашей фамилии сделать, а всему свету известно, что для библиотекаря больше требуется знаний, чем г. Тауберт имеет; сверх того, он произведен в адъюнкты и унтер-библиотекари без ведома Академии.

Оттого и происходят такие страшные беспорядки в библиотеке; печатные каталоги свидетельствуют, что нет в Академии человека, который бы мог их составить, как составляются они в других библиотеках. Без труда рассудить можете, что с нашею честью несогласно умолчать о том, что вы изволили нас отдать под надзор г. Тауберта, написавши в определении: что унтер-библиотекарь Тауберт должен смотреть, чтоб все порядочно происходило. И для чего вы определили взять с нас письменный реверс под присягою, что при ревизии честно и совместно поступать будем? ибо во 1) вы не имеете над нами такой власти, чтоб нам это приказывать; 2) в сенатском указе этого и от адъюнктов не требовалось; в

3) ни ваше высокоблагородие того от нас никогда не требовали, в чем и нужды не было, ибо ревность наша и верность и справедливые поступки всякому известны, и никто еще на нас ни в какой погрешности не доносил. Учиненная нам от вашего благородия в этом деле обида так важна, что нам нельзя не требовать удовлетворения, если вы сами не поспешите оказать его нам и тем прекратить наши жалобы. Так как мы ничего более не желаем, как всегда жить с вашим высокоблагородием в покое и согласии, то мы предлагаем вам самый легкий способ, а именно в том же журнале внести новый пункт такого содержания, что в определении 16 июля 1744 года мы, бывшие у ревизии профессора, обижены, будто трудов наших при библиотеке и кунсткамере не было, но что мы все сделали по своей охоте, ревнуя о благополучии Академии по силе состоявшегося в академическом собрании того ж июля 27 дня определения, и что, следовательно, ни ваше высокоблагородие, ни г. ассессор Мелисино, ниже г. Тауберт над нами смотрения никакого не имели; и наконец, что нам это определение не в то время объявлено, но только 7 июня текущего 1745 года, когда мы уже по всеобщему слуху о том известились и от вашего высокоблагородия требовали, чтоб его из канцелярии нам сообщили. А так как ваше высокоблагородие о всем вышеписаном и прав. Сенату от имени Академии Наук представили и не упомянули о нашем определении, состоявшемся в академическом собрании, донесли, таким образом, этому вышнему суду несправедливо, а нашу честь публично повредили, то и требуем, чтоб ваше высокоблагородие в другом донесении пред прав. Сенатом в своей погрешности повинились и о всем деле донесли справедливо. На этих условиях мы готовы сделанную нам обиду предать забвению, и радостно нам будет, если ваше высокоблагородие соизволите как себя, так и нас избавить от дальнейшего ведения дела, чтоб мы для защиты чести нашей не были принуждены утруждать жалобами вышний суд».

Шумахер не дал никакого ответа, и профессора перенесли дело в Сенат, приложивши к своей просьбе и копию приведенного выше письма своего к Шумахеру. Сенат отвечал указом, что о следствиях учрежденной им ревизии до сих пор от Академии ему не репортовано, и потому *приказали* : при осмотре библиотеки и кунсткамеры быть и профессорам, подавшим жалобу, и о следствиях ревизии репортовать в Сенат чаще; относительно же дела, изложенного в профессорской жалобе, подать ответ немедленно. Шумахер отвечал, что прежний сенатский указ о ревизии был сообщен профессорам, они 4 сентября собрались в канцелярию академическую и по общему согласию назначили время для начатия ревизии. Ассессор Мелисино в назначенный срок в канцелярию явился, но из профессоров не явился никто, а прислали за рукою определенного при конференции писца как бы в поругание канцелярии записку, что советник Шумахер оскорбил их, осмелившись вызвать их в канцелярию, которой они нимало не подчинены, что Шумахер обязан подавать в конференцию профессорскому корпусу присылаемые из Сената указы и прочие тому подобные непристойности. Вследствие чего канцелярия требует оборонить честь ее от таких ругательных поступков и самовольства профессоров и принудить их к надлежащему повиновению. Канцелярия доносила, что Мелисино начал немедленно производить ревизию с двумя адъюнктами, уже всю библиотеку пересмотрел, а теперь ожидает сенатского указа, при ком ему новые каталоги сличать со старыми, ибо профессора к этому сличению не являются.

Это дело довело раздражение с обеих сторон до высшей степени. 28 ноября 1745 года в Сенат явилась новая просьба профессоров: они требовали наказания Шумахеру за нанесенное им поругание доктору Гмелину, просили поручить управление Академиею профессорскому собранию, а Шумахера отрешить. Сенат с нетерпением ждал назначения президента в Академию, чтоб избавиться от этих тяжелых, неудоборешаемых для него дел. Наконец президент был назначен.

У фаворита Алексея Григорьевича Разумовского был младший брат Кирилл. Чтoб сделать молодого человека более достойным того положения, на которое фавор Елисаветы поднял малороссийских мужиков, чтoб дать ему возможность получить серьезное образование, чему в Петербурге было, как видно, много помехи, и дать брату даже средства затмевать и родовитых русских людей, граф Алексей решил отправить его за границу учиться. Молодой Кирилл получил перед отъездом от брата инструкцию, написанную, по всем вероятностям, известным Ададуриным, которого Алексей Григорьевич приблизил к себе как необходимого по своему образованию человека. В инструкции предписывалось: во-первых, крайнее попечение иметь о истинном и совершенном страхе божии, во всем поступать благочинно и благопристойно и веру православного греческого исповедания, в котором вы родились и воспитаны, непоколебимо и нерушимо содержать, удерживая себя при том от всяких продерзостей, праздности, невоздержания и прочих, честному и добронравному человеку неприличных поступков и пристрастий. А понеже главное и единое токмо намерение при сем вашем отправлении в чужестранные государства состоит в том, чтобы вы себя к вящей службе ее импер. величества по состоянию вашему способным учинили и фамилии бы вашей впредь собою и своими поступками принесли честь и порадование, того ради имеете вы о действительном исполнении оногo намерения прилагать с своей стороны неусыпное попечение и оное за едино токмо средство всего вашего будущего благополучия признавать, оставя все другие рассуждения и пристрастия. Дабы вы, при сем уже довольно созревшем возрасте, пренебреженное поныне время своим прилежанием в учении наградить и оставшуюся еще, по вашим молодым летам, в вас способность в собственную вашу пользу употребить могли, что к вашей рекомендации впредь тем наипаче служить имеет.

С Разумовским за границу в качестве наставника отправлен был адъюнкт Академии Григ. Никол. Теплов. Именным указом повелено было его для дальнейшего и совершенного обучения и усмотрения в чужестранных академиях установленных наилучших порядков и учреждений отправить в Виртембергское княжество в город Тубинг (Тюбинген), а оттуда в Париж, дабы он, возвратись после четырех или пяти лет, при здешней Академии Наук достойным профессором быть мог, и для того определить ему жалованье по 600 рублей на год. Это требование от Теплова, чтоб он присмотрелся к порядкам, существующим в чужестранных академиях, может обнаруживать намерение сделать Кириллу Разумовского президентом Академии, а Теплова помощником ему в этом звании. То же намерение обнаруживается и в долгом неназначении президента, несмотря на нудящую необходимость, выставляемую и самую Академиею, и Сенатом: кого-то ждали. В 1745 году Разумовский возвратился из-за границы и был пожалован в действительные камергеры, а 21 мая 1746 года назначен президентом Академии с жалованьем по 3000 рублей в год. 12 июня

Разумовский в первый раз явился в Академию и обратился к профессорам с такими словами: «За необходимо вам объявить нахожу, что собрание ваше такие меры от первого нынешнего случая принять должны, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу в сем пространном государстве производить могли. Вы знаете, что слава одна не может быть столь велика и столь благородна, ежели к ней не присоединена польза. Сего ради Петр Великий как о славе, так и о пользе равномерное попечение имел, когда первое основание положил сей Академии, соединив оную с университетом». Профессор элоквенции Тредьяковский приветствовал нового президента: «Академия чрез ваше графское сиятельство, оживотворивши все свои члены и в здравие пришедши, как с одра тяжкие болезни восстала. Академия чрез вас, первую российскую свою главу, всеконечно изобрещет всегда действительный способ, дабы исполнить основателя своего намерение – множиться российскими членами, в российских твердо обращаемыми составах».

В речи нового президента было ясно высказано, что из двух целей, указанных Академии ее основателем, одна, именно университетская, учебная, не достигалась, мало было славы, что в Петербурге существует Академия Наук, что произведения ее членов с интересом читаются учеными Западной Европы; государство хотело еще пользы, хотело, чтоб Академия имела не один ученый, но и учебный характер, преимущественно соответствовавший потребностям тогдашней неразвитой России, хотело, чтоб она была университетом, где бы русские молодые люди знакомились с наукою. Таким образом, правительство устами назначенного им президента признавало справедливость упреков, делаемых Академии в продолжение пяти лет, оправдывало Нартова и Делиля с товарищи; разница была в том, что Нартов, Делиль и другие обличители академических беспорядков складывали всю вину их на одного человека, Шумахера, а теперь упрек правительства обращался не к канцелярии, не к ее советнику, а к профессорскому корпусу. Шумахеру как прежде пред комиссию, так и теперь пред новым президентом легко было оправдаться и сложить всю вину на своих врагов – профессоров; конечно, он воспользовался обстоятельствами чрезвычайно для того благоприятными, выставившими его деятельность в светлом виде и бросившими тень на действия профессоров. Укоряли Академию, что она выводит немцев, заграждает путь русским: но кто в этом виноват? Виднее всех по талантам русский профессор Ломоносов, но, в то время как он возвратился из-за границы и профессорская конференция неизвестно почему не хотела признать его прав, Шумахер назначил его адъюнктом. Шумахер присоветовал и почтенному Тредьяковскому обратиться прямо в Сенат с просьбою о профессуре, зная, что профессорская конференция никогда не согласится сделать его профессором; из иностранцев более других трудился для России Миллер, а кто вызвал и провел Миллера, несмотря на открытое сопротивление профессоров? Шумахер. Что ему платили за его благодеяния, за его старания в пользу России и русских черною неблагодарностью, – это его несчастье, но не вина.

Сенат спешил воспользоваться назначением президента в Академию, чтоб сдать ему все дела, все жалобы на Шумахера. Разумовский переслал в Сенат оправдания Шумахера и свое собственное мнение обо всем этом академическом деле, так долго беспокоившем Сенат. Ответы Шумахера на обвинения состояли в

том, что канцелярия академическая выдумана не им, но Петр Великий в 1724 году пожаловал его секретарем Академии, а президент Блюментрост приказал ему набрать переводчиков, писцов и других служителей; если же он в небытность президентов один канцелярскими делами управлял и профессоров не допускал, то делал он так потому, что о допущении их к делам указа не имел. Шумахер не виноват в задержке жалованья: и в других командах это часто бывает. Профессорские требования канцелярия исполняла: так, Шумахер поданный Ломоносовым рисунок лаборатории из канцелярии в конференцию послал, требуя от профессоров об нем мнения, но они, приславши рисунок назад, объявили, что они об этом деле высшему месту представили, причем так и осталось; а если б профессора ломоносовский проект одобрили, то канцелярия Академии потребовала бы от Строительной канцелярии, чтоб та построила лабораторию. Он, Шумахер, в посторонние и неизвестные ему дела мешаться не привык; также не помнит, чтоб ему от честных и умных людей такие грубые и неосновательные нарекания когда были; не только студентам, но самим профессорам добрым и полезным советом с охотою служил, когда они его о том просили, а что гимназиею управлял и переводчикам приказывал книги переводить, то делал он по чину и званию своему. Другие умные люди никогда никаким упущением должности его, Шумахера, не упрекали: каталоги академическим книгам с такою возможною исправностью сделаны, что всеми посторонними людьми одобрены, а хотя в них некоторые малые погрешности быть и могут, однако профессора и сами признаться должны, что такое дело без частых поправок в надлежащее совершенство привести невозможно. Так как в комиссии справедливые и разумные судьи заседали, то ей не в пользу советника Шумахера окончиться было невозможно: только советник от этого нимало не воагордился и профессорам никакой обиды не делал. Поданного профессором Миллером проекта для того Сенату не представил, что президенты Академии давно разные определения о российской истории сделали, которые Миллерову проекту противны, и для того он, Шумахер, Миллеру советовал этим делом обождать, пока президент определен будет. Что же на советника показано, что он сочиненной профессором Гmeliным книги о сибирских травах переписывать не велел, и то неправда! Гмелин сам представил для переписки информатора Германа, что по его представлению и сделано; но после того Гмелин в конференции ложно объявил, что так как Шумахер списывать не велит, то не прикажут ли профессора эту книгу Герману переписать; за такую ложь Шумахер Гмелина по справедливости плутом назвал. Советник Шумахер невиновен и в том, что великому князю Петру Федоровичу книгу в четверть листа посвятить был намерен, потому что не в форме или величине, но в доброте книги сила состоит: из этого можно явно видеть, с какою злостью профессора с ним, советником, обходились и такими неправдами облыгать старались. Главное намерение их было его от Академии отрешить, а правление ее к себе в руки взять.

Заключение президента Разумовского состояло в следующем: «От каждого из профессоров я требовал письменно, имеют ли что еще в подтверждение или доказательство своих жалоб, и когда каждый письменно объявил, что никакого доказательства в улику приносить не может, а некоторые объявили, что и сами того не знали и не разумели, к чему руки свои прикладывали, но делали это больше по научению других, то усмотрел я, что советник Шумахер во всех своих

поступках пред профессорами прав и ненависть от них одним только тем заслужил, что по ревности своей к пользе и славе государственной в небытность президентов принуждал профессоров к отправлению их должности и к показыванию действительных трудов, за которые им столь знатное жалованье определено. Когда по вступлении моем в правление академических дел рассмотрены труды профессоров, то нашлось, что некоторые из них больше в убыток государству здесь жили и обманывали командиров, нежели старались произвести пользу в народе; притом не по достоинству своих трудов и знания требовали себе жалованья и к получению его всякие происки употребляли, а как потом строгий над ними надзор учрежден, то главный возбудитель всех ссор и несогласий между профессорами и советником Шумахером бывший при Академии профессор Делиль, видя, что дела академические не по его намерению стали происходить и что ему невозможно уже канцелярию обманывать, взял свой абшид (увольнение). И ежели бы описать все прежние поступки некоторых бывших и некоторых ныне находящихся при Академии профессоров, из которых, однако ж, исключаются добрые и достойные, то бы прав. Сенат мог совершеннее видеть ревность к пользе отечества Российского Шумахеру и леность и нерадение к трудам разных профессоров. И тем подтверждаю, что при нынешнем времени многие в порученных им делах так нерадетельно поступали, что насилу возможно было приискать способ, чтоб их привести в надлежащий порядок, и могу уверить прав. Сенат, что между профессорами многими ничего иначе не усматривается, как желание одно – стараться всегда о прибавке своего жалованья, получить разными происками ранги великие и ничего за то не делать и не быть ни у кого в команде и делать собою что кому вздумается под тем прикрытием, что науки не терпят принуждения, но любят свободу».

Сенат успокоился на этом бездоказательном донесении. Содержание отдельных сказок, поданных профессорами о Шумахере по требованию президента, осталось тайною и для членов Академии, по свидетельству Ломоносова. «Но то ведомо, – прибавляет Ломоносов, – что Шумахер остался по-прежнему в своей воле и вскоре получил большое подкрепление». Профессора Крафт, Гейнзиус, Вильде, Крузиус, Делиль и Гмелин оставили Россию.

24 июля 1747 года издан был регламент Академии Наук и Художеств. В нем говорится, что «по сие время Академия Наук и Художеств плодов и пользы совершенно не произвела по тому только одному, что не положен был регламент и доброе всему определение». Регламент замечателен тем, что хотя и в нем Академия Наук и Художеств и университет соединялись еще в одном учреждении, но разделены обязанности собственно академиков от обязанности преподавателей или профессоров. Академия, собственно, называется собранием ученых людей. Сии люди не только о том стараются, чтоб собрать все то, что уже в науке известно, но и далее трудятся в изобретениях поступать. Видно посему, что такие люди заняты беспрестанным трудом, чтоб делать свои примечания, читать книги и вновь сочинять их; чего ради им времени мало остается на то, чтоб обучать других публично. И так определяются особливые академики, которые составляют Академию и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и студентов, и особливые профессеры, которые учить должны в университете. Но ежели нужда востребует и время допустит и академику трудиться в университете, в таком случае отдается на президентское рассуждение, чтоб определить он мог и

академика для чтения потребных лекций в университете. Академиков должно быть десять, и Они, собственно, сим именем называются, а не профессоров; и почетных вне государства десять же. Всяк академик иметь должен при себе адъюнкта, который должность имеет помощника академику; и притом стараться должен как академик об адъюнкте, так и адъюнкт сам о себе, чтоб ему со временем заступить академика своего место. Стараться, чтоб адъюнкты были все из русских. Всем управляет и повелевает президент. Он смотреть должен, чтоб всяк везде у своего звания был прилежен и напрасно на него иждивение не было употреблено. Президент имеет совершенную власть выписать или отпустить надлежащим порядком всякого академика. Россия не может еще тем довольствоваться, чтоб только иметь людей ученых, которые уже плоды науками своими приносят, но чтоб всегда на их места заблаговременно поставлять в науках молодых людей, а особливо что за первый случай учреждение академическое не может быть сочинено иначе как из иностранных по большей части людей, а впредь должно оно состоять из природных российских; того ради к Академии другая ее часть присоединяется, университет.

Университет есть собрание учащихся и учащихся людей. Первые называются профессора, а другие – студенты. Профессоры не обучают языков, но обучают наук. Того ради студенты должны уже искусны быть в языке латинском, дабы лекции в науках, которых на ином ни на каком языке давать не дозволяется, как токмо на латинском и русском, могли они совершенно разуметь: сего ради надлежит выбрать из училищ российских, где президент за лучшее усмотрит, тридцать учеников, способных и знающих уже латинский язык, и оных определить при Академии, дав им жалованье и квартиру такую, чтоб они все могли быть в одном доме. А чтоб впредь сие число студентов могло всегда наполняться, то учредить гимназию, при которой 20 человек молодых людей содержать на коште академическом, и годных производить в студенты, а негодных отдавать в Академию Художеств; вольных людей принимать свыше сего позволяется, сколько случится, а за науку от учеников ничего не требовать. Принимать в университет из всяких чинов людей смотря по способности, кроме положенных в подушный оклад. Профессоры при начинании такого дела могут быть всякого закона люди, только при вступлении в свою должность присягою обязываться должны, чтоб им ни учением, ни советом о законе противного православному греческому исповеданию не внушать ничего учащимся. Чего ради духовник быть должен при университете из ученых иеромонахов, который всякую субботу учить должен катехизиса. Науки в университете отправляются следующие: 1) латинский язык; 2) просодия; 3) язык греческий; 4) латинское красноречие; 5) арифметика; 6) рисовать; 7) геометрия и прочие части математики; 8) география, история, генеалогия и геральдика; 9) логика и метафизика; 10) физика теоретическая и экспериментальная; 11) древности и история литеральная; 12) права натуральные и философия практическая или нравоучительная. Президент при себе должен всякие четыре месяца, когда рапорты принимает от академиков, что они сделали и что их адъюнкты и студенты выучили, экзаменовывать учеников в гимназии и студентов в университете. Канцелярия учреждается по указам ее импер. величества, и она есть департамент президенту для управления всего корпуса академического принадлежащий, в которой члены быть должны по несколько искусны в науках и языках, дабы могли

разуметь должность всех чинов при Академии и в небытность президента корпусом так, как президент сам управлять, чего ради и в собрании академиков иметь им голос и заседание. Ученым людям и учащимся, кроме наук, ни в какие дела собою не вступать, но о всем представлять канцелярии, которая должна иметь обо всем попечение.

Новый регламент не понравился ученым членам Академии: права канцелярии были подтверждены и, что всего более раздражало, этими правами пользовался по-прежнему Шумахер. Ломоносов так отзывается о новом уставе: «В его расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков участника. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духа признаков, а особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды профессорам происходить высшие чины несомненно явствует. Многие жалели, что оный регламент и на других языках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии и в других государствах». В конце 1747 года в Академии произошел пожар, сгорело здание, где находились библиотека и кунсткамера, но президент донес Сенату, что, сколько в скорости узнать было можно, все нужные вещи благополучно вынесены, только лежат в крайнем беспорядке. Императрица велела под библиотеку и кунсткамеру отдать дом дворян Демидовых впредь до указа.

Ломоносов обвиняет (хотя не непосредственно) Шумахера в этом несчастье: «Для большего уважения канцелярии при такой перемене (регламента) надобно было и место просторнее; прежнее рассудилось быть узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтоб не воспользоваться каким-нибудь образом к утеснению своих соперников. И для того присоветовал перенести канцелярию в рисовальную и грядоровальную палату, а рисовальное дело перебраться в механическую экспедицию, где имел заседание Нартов, который для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, а инструменты и мастерские разведены по тесным углам. Сие же было причиною академического пожара, ибо во время сей перемены переведены были некоторые мастерские люди в кунсткамерские палаты, в такие покои, где печи едва ли с начала сего здания были топлены и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены, или совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бревно, кое от топления загорелось. Разные были о сем пожаре рассуждения, говорено и о Герострате; но следствия не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал безызвестно, о коем и не было надлежащего иску. Погорело в Академии кроме немалого числа книг и вещей анатомических вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, астрономическая обсерватория с инструментами, готторпский большой глобус, оптическая камера со всеми инструментами и старая канцелярия с оставшимися в ней старыми делами. Однако повреждение двору и публике показано весьма малое, и о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то что оно в целости ничего не осталось, кроме старой его двери. Для лучшего уверения о малом вреде от пожара в Ведомостях описано хождение по кунсткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Загромызы, в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кои он, Загромыза, видел. Но если б и то объявлено в тех же Ведомостях было, чего уже он в кунсткамере не видал, то бы едва ли меньший реестр из того вышел».

В самое смутное для Академии Наук время, именно в конце 1743 года, Сенат потребовал от нее известия – для надзирания при сочинении истории Петра Великого из ученых достаточный к тому человек имеется ли и кто именно? Академия донесла, что «при ней имеются переводчик Иван Горлицкий, секретарь Василий Тредьяковский и уповательно, что оные в том надзирании способными себя учинить могут». Нашелся в это время для Петра историк незванный и непрощеный. В 1746 году Делиль заявил в профессорской конференции о желании Вольтера быть избранным в почетные члены Петербургской Академии, и желание было исполнено, а в следующем году новый почетный член стал хлопотать чрез Дальона и Разумовского, чтоб ему было поручено писать историю Петра Великого.

Мы видели, что на обязанности Академии Наук лежал перевод и издание нужных для России книг. В конце 1746 года канцелярия Академии Наук донесла Сенату, что переведенная с французского капитаном поручиком Ремезовым Вобанова книга «Об атаке и обороне крепостей» напечатана академическим изданием, а Ремезову выдано за труд 300 рублей и велено те книги пустить в вольную продажу, но до сих пор и 50 книг не продано, потому что они нужны только людям, занимающимся фортификациею и инженерством, для которых она и напечатана, а хотя о взятии этих книг канцелярия Академии не раз просила письменно артиллерийских командиров, однако до сих пор не берут, и Вобанова книга лежит понапрасну, а употреблено на нее 3560 рублей казенных денег. Прежде в артиллерии напечатаны «Артиллерийския записки С. Реми», за которые артиллерия в Академию деньги заплатила, а книги раздала офицерам в жалованье. На этом основании канцелярия Академии просила, чтоб велено было Вобановы книги взять в артиллерию и раздать артиллерийским и инженерным офицерам как принадлежащие к их занятиям, а следующие в Академию деньги заплатить: этим академические служители, терпящие нужду от неполучения вовремя жалованья, могли бы быть довольствованы. Сенат согласился. Потом канцелярия Академии донесла Сенату, что секретарь ее Волчков перевел с немецкого и французского на русский язык в разные годы три нравоучительные книги: 1) Наука счастливым быть; 2) Язык; 3) Житие и дела римского консула Цицерона с тремя частями о должности человеческой, и за то его должно наградить, и так как за перевод книги «Об атаке и обороне крепостей» выдано поручику Ремезову 300 рублей, да от Академии Наук за корректурный труд этой книги дано ему 46 экземпляров, да он же. Ремезов, переименован чином, то, по мнению канцелярии, секретарь Волчков против Ремезова большого награждения достоин.

В начале 1748 года Академия объявила: «Понеже многие и российских как дворян, так и других разных чинов людей находятся искусны в чужестранных языках: того ради по указу ее и. в-ства канцелярия Академии Наук чрез сие охотникам объявляет, ежели кто пожелает какую книгу перевести с латинского, французского, немецкого, итальянского, английского или других каких языков, то б явились в канцелярию Академии Наук с тем намерением, что от них сперва будут пробы взяты их переводов, а потом буде найдется их искусство довольно к переводу книг, то дана будет книга для перевода, а как скоро она будет переведена и, переписав начисто, принесена в канцелярию, то за труды оному, по напечатании с его именем, ежели он пожелает, выдано ему будет в подарок сто печатных экземпляров той же книги».

Сенат прислал в Академию поручика Быкова, как знающего китайский язык. Академия донесла, что Быков в манжурском языке искусен и учеников обучать может, но по-китайски может только говорить в просторечии о всяких делах; за великим множеством китайских литер всего вытвердить не мог, поэтому и в переводах будет недостаточен и учеников ему выучить невозможно, а так как при Академии находится с 1741 года прапорщик Рассохин, который китайский и манжурский языки довольно знает, переводить и учеников учить в состоянии, ученики же надобны такие, которые в латинском и французском языках хорошее начало имели, следовательно, двоим учителям при Академии быть не для чего. На основании этого донесения Быкова велено представить к другим делам.

В заключение приведем объявления от академической книжной лавки, из которых видно, какими книгами и за какую цену снабжались читающие русские люди. Публиковалась книга Марка Аврелия по 1 рублю; Истинная Политика с Катоновыми стихами по 35 коп.; Апофегмата – по 25 коп.; Юности честное зеркало – по 15 коп.; Троянская история – по 50 коп.; География русская и немецкая – по 60 коп.; Основательные примечания на манифест прусского короля против курсаксонского двора – по 30 коп.; Похождение Телемака сына Улисса – по 1 р. 50 коп.

В 1748 год ассессор академической канцелярии Теплов подал Сенату доношение: как для отвращения при Академии казенного убытка (ибо лишние книги гниют), так и для удовольствия всякого чина людей, желающих иметь книги (а из Петербурга по дальности, дороговизне и неудобству не выписывающих), учредить в Москве книгопродавочную палату, в которой имеют быть всякие книги, портреты, ландкарты, календари, российские и немецкие газеты по столько же, сколько и в петербургской книжной лавке, ибо есть совершенная надежда, что тамошняя продажа не меньше здешней плода приносить будет, и потому требует назначить в Кремле в пристойном месте две палаты. Приказали: Сенатской конторе велеть находящиеся в Москве за Спасскими воротами палаты, в которых и прежде купцом Купреяновым продажа книг производилась, осмотреть и если способны и никому не отданы, то отдать в ведомство канцелярии Академии Наук.

Правительство решительно потребовало университета и гимназии от Академии Наук, но мы видели, что в Петербурге существовало учебное заведение, которое по условиям тогдашней России не могло получить специального военного характера, носило смешанный военно-гражданский характер – Шляхетский кадетский корпус, назначенный для приготовления дворян в военную и гражданскую службы. В 1742 году пред собрание Сената представлены были присланные от Академии Наук кадеты Колошин, князь Цицианов, Ляпунов, Попов, которые в Кадетском корпусе обучались юриспруденции, арифметике и другим наукам и были посланы в Академию Наук для свидетельства. Профессора этой Академии в аттестатах показали, что князь Цицианов, Ляпунов и Попов во всей юриспруденции, универсальной истории и географии нарочито упражнялись, по-немецки совершенно говорят и во французском и латинском языках доброе познание получили, в арифметике и геометрии нарочито искусны, а Колошин в натуральном и гражданском праве несколько упражнялся, в универсальной истории, географии, арифметике нарочитое искусство показал, по-немецки хорошо говорит и обратно с него на российский переводит. Сенат приказал определить этих кадет к правлению секретарской должности: Колошина в

Юстиц-коллегию, Цицианова и Ляпунова в Вотчинную, Попова в Судный приказ. Любопытно, что Кадетский корпус находил русских людей, которые могли преподавать науки на иностранных языках, даже учить немецкому языку, и учить так, что Академия Наук признавала в их учениках совершенное знание этого языка. После фельдмаршала Миниха корпус перешел в заведование принца гессен-гомбургского, а преемником принца был князь Репнин, который в начале 1747 года донес Сенату, что велено в корпусе преподавать фортификацию и русским кадетам преподавали капитан-поручик Ремезов и поручик Панов, а иноземцам – инженер-поручик Чернцов. Ремезов умер, и по усмотрению штаб-офицеров корпуса оказалось, что того же корпуса служитель Мошков по особенно ревностным занятиям в этой науке и искусству в состоянии преподавать, и потому Репнин по примеру учителя немецкого языка в корпусе поручика Брыкина просил произвести Мошкова в поручики и назначить преподавателем фортификации. Сенат согласился.

И в Кадетском корпусе в малых размерах происходила борьба вроде той, какую мы видели в Академии Наук, и Сенат должен был решить распрю между преподавателем и канцеляриею. Немецкий ученый Флюг заключил с канцеляриею корпуса контракт на три года с обязанностью быть адъюнктом юриспруденции и обучать натуральному и гражданскому правам, также стилю немецкого языка с жалованием по 300 рублей в год, с квартирою и лечением. Обучал он с 1746 по 1748 год кроме упомянутых наук еще логике и нравоучительной философии, и Академия Наук дала хороший отзыв о его учениках. Но потом инспектор классов в корпусе юстиц-советник фон Сиггейм стал требовать от него преподавания латинского языка; старший класс он принял, но от младшего отказался, представляя, что по штату не адъюнкту юриспруденции, но дьякону велено помогать в обучении латинскому языку. Тогда Сиггейм представил в канцелярию, что Флюгу при Кадетском корпусе никакого дела нет, а по-латыни он учить не хочет. Первоприсутствующий в канцелярии полковник Сиггейм, брат инспектора, сказал Флюгу, что если он не примет обоих классов латинского языка, то должен просить увольнения, а если не будет просить, то уволят и без просьбы. Флюг отвечал, что он контракта нарушать не хочет, но пусть укомплектуют его настоящие классы юриспруденции или дадут ему доучивать оставшихся у него учеников; на это полковник сказал, что не знающими латинского языка укомплектовывать нельзя; Флюг возражал, что философские науки преподаются в корпусе не на латинском, а на немецком языке и что есть кадеты, которые уже четыре года обучаются латинскому языку и к философским наукам приготовлены. Несмотря на это, у Флюга отняли и последние классы немецкого стиля и уволили из службы. Флюг подал жалобу в Сенат, который потребовал объяснения от канцелярии корпуса. Та отвечала, что все учившиеся юриспруденции кадеты выпущены, потому Флюгу и было предложено, не хочет ли он занять латинский класс, но он отказался и потому уволен, а в немецком штите он не весьма искусен, и потому от него ученики взяты и переведены к другим учителям. Но Сенат сильно хлопотал о том, чтоб в Кадетском корпусе постоянно 24 человека обучалось юриспруденции по надобности в них для гражданской службы. Недавно перед тем генерал-прокурор представил о необходимости накрепчайше подтвердить канцелярии кадетского корпуса, чтоб 24 кадета, обучающиеся юриспруденции, впредь в военные экзерциции отнюдь употребляемы не были. И

вдруг Сенат узнает из донесения самой канцелярии, что таких кадет вовсе нет! Поэтому приказали: Флюга оставить в корпусе для преподавания философии и юриспруденции, ибо всегда в корпусе должны этим наукам обучаться 24 русских кадета; кроме того, канцелярия корпуса не исполнила контракта, в котором сказано, что если Флюг не будет надобен, то объявить ему об увольнении за полгода.

В Петербурге существовало высшее специальное учебное заведение – Морская Академия. В 1739 году профессор этой Академии Фарфонсон, обучавший арифметике, геометрии, навигации, астрономии, географии и геодезии, умер; вызывали на его место англичан, те просили по 500 фунтов жалованья и обязывались быть в службе не более 5 лет. В 1745 году математических и навигационных наук учитель Кривов да подмастерья Четвериков, Костюрин и другие объявили, что такие английские профессора в такое короткое время Морской Академии никакой пользы не принесут по незнанию русского языка, а учениками – английского, да и переводчиков сыскать нельзя, знающих математические и навигационные термины, а мореплавание особенно сильно у англичан и книги по этой части больше на английском языке, которых и в Морской Академии немало и будут лежать без употребления за неимением переводчиков: поэтому Кривов и подмастерья просят, чтоб приказано было, наградя их рангом, послать их нынешним летом в Лондон на три года для обучения английскому языку, а как обучат, то и без английского профессора при Академии можно будет справиться, потому что они будут книги переводить и учеников обучать. Адмиралтейс-коллегия представила эту просьбу Сенату, который приказал: Кривова, Четверикова и Костюрина отпустить в Англию с жалованьем по 400 рублей в год да на подъем выдать по 100 рублей.

В 1745 году в московской артиллерийской школе было сверх комплекта учеников дворян и недворян 128 человек, в инженерной – 45 и в артиллерийской школе некоторым сверхкомплектным ученикам по указу 1732 года давалось на пропитание по одному четверику муки да по 30 копеек денег. Теперь Сенат приказал: Артиллерийской конторе разобрать школьников и из них годных определить в службу в число артиллерийского и инженерного штата: они могут и будучи в службе оканчивать свои науки; также способных к науке из шляхетства и детей артиллерийских служителей комплектное число оставить в школе, а из разночинцев и солдатских детей отослать в гарнизонную школу, потому что в артиллерийскую школу, кроме дворян, никого и определять не следовало; если затем сверх комплекта явятся из шляхетства таких присылать к рассмотрению в Герольдмейстерскую контору.

Мы видели, что при госпитале в Москве находилась медицинская школа. В 1748 году госпитальный доктор Блюментрост жаловался Сенату, что из Славяно-греко-латинской академии в госпитальную школу прислано только 8 человек, ибо там разночинских детей более нет, а из священно– и церковнослужительских детей отпускать не велено. Этих 8 мальчиков Блюментрост экзаменовал, и оказались негодны, также в латинском языке неискусны: давал он им переводить самое легкое, и ни один не умел, следовательно, ни один не в состоянии понимать его лекции или какого-нибудь легкого автора о медицине и хирургии; однако по нужде и этих 8 человек приняли. Сенат приказал сообщить в Синод ведение: хотя св. Синод и определил, чтоб в

госпиталь не отпускать священнических и причетнических детей, ибо они обучаются в пользу священства, а отсылать разночинских детей, но так как теперь в Спасской греко-латинской школе разночинских детей нет, то благоволит Синод потребное число учеников отослать хотя и из церковнических детей, которые к тому собственную охоту и натуральную склонность имеют, ибо в учениках медико-хирургической науки состоит крайняя надобность, а в церковнослужителях от такого малого числа недостатка быть не может.

Не надеясь, что из Спасской академии будет присылаться достаточное количество учеников. Сенат в то же время послал запрос в Медицинскую канцелярию: не лучше ли будет при госпитале содержать учителя для обучения начальных госпитальных служителей, также и разночинских детей, которые бы могли быть по обучении определены в медицинские чины. Медицинская контора отвечала, что иметь в госпитале латинского учителя очень надобно; в петербургских и кронштадских госпиталях есть студии для обучения подлекарей и учеников латинскому языку, и в московском госпитале был да умер, а на его место нельзя определить, потому что Синодальное экономическое правление жалованья не дает.

Тесное сближение России с Западною Европою во время войны за австрийское наследство, важное значение, приобретенное Россиею в это время, когда столица русской государыни становилась ареною дипломатической борьбы, когда приобрести союз или даже настоять на нейтралитете России считалось важным дипломатическим торжеством, заставляли русских людей, желавших достигнуть высокого положения, приобретать европейские средства, приобретать образование, чтобы достойно держать себя среди министров иностранных. Вследствие переворота 25 ноября немцы, стоявшие наверху, попадали, высшее правительство очутилось в русских руках, но иностранцы толковали, что этот переворот будет гибелен для России. Русские по своей необразованности, не умея вести дела, погубят то, что было создано искусным немцем Остерманом, или принуждены будут возвратить его из ссылки. Новое поколение русских людей, выведенное Елисаветою наверх, должно было постараться уничтожить мнение, что без помощи иностранцев Россия не может быть управляема, не может поддержать своего значения, данного ей отцом Елисаветы, а необходимое средство для этого было образование. Алексей Разумовский посылает молодого брата своего учиться за границу; вице-канцлер граф Воронцов едет за границу как для поправления здоровья, так и для образования; молодой Иван Шувалов в образовании, в сближении с учеными, писателями готовит себе знаменитое место в истории русского просвещения. Немцы с презрением относились к необразованности русских, но когда русские в поисках за образованностью внимательнее посмотрели на Европу, то увидели, что сами немцы, столь гордые своим учительским характером в России, у себя дома рабски подчиняются влиянию французскому. Отсюда понятно, что русские люди непосредственно обращаются ко Франции, к ее языку, к ее литературе. Граф Воронцов прислал из Берлина гувернантку-француженку для детей брата своего Романа Ларионовича, и сын Романа Ларионовича Александр так говорит о своем воспитании: «Мы нечувствительно выучились по-французски. Я должен сказать, что воспитание, нам данное, не отличавшееся блеском и не стоившее огромных издержек нынешнего воспитания, имело, однако, в себе много хорошего: во-первых, нас

учили по-русски, чего теперь не делают. При дворе два раза в неделю давались французские представления; отец возил нас туда.

Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что оно с самого раннего детства содействовало развитию в нас решительной склонности к чтению и литературе. Отец выписал из Голландии библиотеку, довольно хорошо составленную, где были лучшие авторы и поэты французские и книги исторические, так что 12 лет я уже был хорошо знаком с Вольтером, Расином, Корнелем, Буало и другими французскими писателями».

В заключение скажем о состоянии искусства в России в описываемое время. В 1743 году встречаем известие, что живописцу Ивану Вешнякову за написание для Сената портрета императрицы выдано 200 рублей по примеру живописца Линдина, писавшего портрет императрицы Анны. В том же году императрица велела послать свои портреты ко всем русским министрам при иностранных дворах; написать их было поручено придворному живописцу полковнику Караваку, который за 14 портретов, написанных двумя кунштами, взял 1200 рублей. В 1747 году призван был пред собрание Сената живописный мастер Иван Вешняков и объявлено ему, чтоб он скопировал портрет императрицы Екатерины Алексеевны с вывезенного из немецких краев и находящегося у вице-канцлера графа Воронцова. Вешняков принял поручение, причем ему подтверждено, чтоб он копию снял, с оригиналом сходную, стоячую и платье изобразил по приличности. И за этот портрет он получил 200 рублей. В 1748 году Вешнякову в Петербурге, а в Москве находившемуся при Оружейной палате живописному мастеру Адольскому поручено было смотреть, чтоб портреты императрицы, великого князя и великой княгини писаны и деланы были искусным мастерством. В том же году Вешняков объявил, что велено ему находившийся в Сенате старый портрет Петра Великого исправить, и он исправил его весь вновь с прибавкою длины и ширины против портрета ее величества; его наградили за это 50 рублями.

В 1745 году обер-архитектор граф Растрелли объявил Сенату, что он выливает из меди портрет Петра Великого, сидящего на коне. Упоминается и другой архитектор – Бланк, также Осип и Петр Трезины. В 1747 году академический мастер Иван Соколов вырезал на меди портрет императрицы который и был ею одобрен.

Приложение

Записка графа Петра Ивановича Шувалова о своей деятельности

Хотя всемилостивейшею моею самодержицею и государынею дела мои, которые ее и. в-ству известны, опробованы, но как из оных такого нет, которого бы мои ненавистники не старались порочить и испровергать, а кольми паче те в заключении держать, о которых еще доклады неподаны, не меньше того и то, что в присутствиях от меня предлагаемо было. Какая бы надобность могла быть подкреплять добродетель по причине ее твердости, когда б ненависть не была ее спутник; равным образом велик порок говорить об своих делах, когда надлежащая справедливость им отдается, в противном же случае, не токмо беспорочно, но и долг обязывает то делать, дабы употребленный труд в пучину забвения погружен не был, а чрез то приобретенного не лишит потомков. Достижение армии в такое хорошее состояние, в каком она при начале нынешней войны была, во-первых,

увеличиванием двоекратно, во-вторых, приведением ее в познание движений и установлением способнейшей экзерциции, а чрез то получением проворных добрых офицеров и солдат; третье, исключением неспособных и безнадежных как генералитет, так и штаб-офицеров, а чрез то способнейшим наблюдением авантажей; плоды сего свидетельствуют победы, одержанные над неприятелем. Отчего ж то произошло, суть следующее:

1) До поездки в 748 году в Москву я, будучи удостоен быть в конференции, где открыты мне стали силы нашего неприятеля, за главное тогда основание приняв обширность империи, представя себе вокруг лежащих ей соседей и чаемую от них опасность в рассуждении уменьшения их областей, а присовокупления оных к нам, о умножении войска моя пропозиция и учинена. Следствие сего произвело, что пятьюдесятью батальонами армия увеличена, а полки сделаны трехбатальонные. Потом, когда казалось войне быть необходимою и 749 году собрание при дворе Сената, Иностранной и Военной коллегий было: тогда я представил, что по числу неприятельских сил в рассуждении наших обстоятельств, невзирая на то что пятьюдесятью батальонами армия увеличена, мы не в таком еще состоянии, чтобы безопасно войну производить могли, да и действительно сего ради настоял о умножении войск, которое и последовало прибавкою во всякий полк 450 человек гранодер и знатного числа мушкатер, и так полк вместо одной гранодерской роты получал три, которые составляли 600 человек, а мушкатерские увеличены же, а потом из рот гранодерских от всякого полку по одной отдельно и сочинены гранодерских четыре полка.

2) Когда я получил в команду дивизию, то, приметя людей не токмо весьма худо экзерцированных, но и так великую розницу, что один полк с другим ниже в приемах согласно делал, а офицеры весьма слабо должности свои исполняли и об нужнейшей вещи, касающейся до марширования и обращения корпусами, худое понятие имели, от всех моей команды полков хотя не здесь находились со всякой роты рядовых, от полку офицера и барабанщика к себе взял, экзерцируя их и приведя в соглашение, в полки отправил, а оные потому и поправились. В 753 году, будучи в Москве, истребовал 230 человек, которых не токмо экзерцициею или маршировать, но и разные обращения делать обучил, так что Военная коллегия и генералитет, тогда там находившийся, свидетельствовал: и я доказывал необходимость в том всей армии. Сие было основанием следующего: 755 году по требованию моему дозволено мне в команде моей находящийся с.-петербургский полк взять в Петербург для установления и обучения новой экзерциции, марширования и эволюции; равным образом для кавалерии лейб-кирасирский полк, и как одним для инфантерии, а другим для кавалерии не токмо способнейшая экзерциция в состояние приведена, но эволюции и марши до такого состояния доведены, что по свидетельству Военной коллегии, всего генералитета и высочайшей апробации все милостивейшей государыни, всей армии потому исполнять повелено и печатные с планами книги для того выданы; мне же тогда повелено от всей армии всякого полку по штаб-офицеру в С.-Петербург взять и, их обуча, отправить к их полкам для скорейшего приведения в то ж состояние армии, как и сии полки, что мною и учинено.

3) Реформы генералитета и штаб-офицеров по моему сочинению сделаны, чрез что не токмо негодные, но и неспособные выключены, а способнейшие, от

которых более успеху ожидать было можно, поступили на их места, сии последние пользу сего с успехом и доказали.

4) Артиллерийский корпус до того доведен был, что по причине наступающей войны самое нужное в нем поправление конференцие почтено, признано и представлено было, что в слабое и невыгодное состояние пришедший; к поправлению того полагая надежду на меня, избрали и докладывали оный мне поручить, что высочайшею конфирмациею и последовало, я невзирая на то, что уже при самом начале ройны было, старанием и попечением моим так исправил и в такое состояние привел, что с лучшею, нежели когда бывало, пользою действует, да к тому ж мною изобретенная артиллерия столько силу и преимущество пред прежнею доказала, что как вся наша армия, так разумной свет, да и самый неприятель должную ей справедливость отдает.

5) Как вышеописанное умножение войск ни велико было, однако ж оказалось при самом начале войны недостаточным, чего ради по высочайшему повелению еще корпусом в тридцати тысячах человек армии умножить определено, и как никто на себя сего дела взять не хотел, то поведено мне оное учинить. Мое попечение и ревность не меньше в сем предупела, как и в прочем, ибо не токмо в полугодовое время сформирован, обмундирован новою амунициею и нового изобретения артиллериею снабден, не мешало то, что люди со всего государства для основания рот из гарнизонов были свожены, и три части и более рекрут вступило, однако ж в сражениях с неприятелем самым делом соответствовал моему наставлению и попечению и тем доказал, что он в такое состояние исправное приведен, как только желать можно.

6) Не довольно всего того как умножения армии, так исправления и усиления артиллерийского корпуса, полезными изобретениями, ниже сформирования тридцати тысяч вновь войска, чтоб тем только ограничено было мое к службе моей всемилостивейшей государыни и пользе отечества стремление, но я, обращаясь в государственных изобретениях, видя недостатки доходов и думая быть совершенному от того падению, ибо состояние оных не токмо на умноженное число войск или на произведение войны довольно было, но ниже на тогдашние обыкновенные расходы и прежнее число войска доставало, потому что ежегодный расход превосходил доход государственный миллионом рублей, я изобрел способы, чрез которые доход государственный столько увеличен, что умноженные войска содержать не токмо достаточно из онога навсегда определено, но и многие государству полезные учреждения в состоянии были установить, яко то банк, уничтожение таможен и прочее; какие же от сего полезности, сопряженные с сими изобретениями есть и последуют, оставляю благоразумному и беспристрастному свету заключить, а только то упомяну, что доходу по моим изобретениям казна действительно получила 21427786 рублей и ежегодно во оную вступает 2809164 рубли, а что сию не токмо надобность, но и необходимость я предвидел, о том подробные объяснения в разные времена о разных способах изобретения доходу государственного из поданных в Сенат моих предложений явно, где обо всех нужных к объяснению материях трактовано.

7) В сатисфакцию всех сих трудов моих и попечения представить одно то надобно, каковая нынешняя ройна была без умножения войск, как бы одерживала армия победы без приведения ее в наилучшее пред прежним состояние, и какой бы успех продолжения сей войны был без денег, и, наконец, могла ль бы

супротивляться малая сила толь превосходящему неприятельскому вооружению да еще с малочисленною и весьма посредственною против его бывшею пред сим артиллериею, в мое ж время мною изобретенной доньне, сделано 741 орудие. Показав касающееся до усиления государства, в войске и доходах состоящее, равно важное как и вышеписанное упомяну, т.е. о законах и государственных делах.

Сколько пресветлейший монарх отец и государь Петр Великий ни желал и какой труд к тому ни прилагал, а последующие государи о том же старались чрез сорок лет, а по благополучном восшествии на престол всепресветлейшей самодержицы матери и государыни нашей первое то и было, чтоб законы разобрать и в порядок привести, но, продолжаясь чрез 13 лет бесплодно было, и со всеми попечениями и трудами успех не соответствовал желанию; мне послужило счастье сыскать к тому такой способ, который высочайшей конфирмации удостоен, и по оному в один год две части уложения сделаны, а прочие две изготовлены, материи ж ко всем законам так приготовлены, что ежели б тому помочь была учинена, то б меньше годового времени обитатели пользовались ясными и достаточными законами и чрез то совершенным правосудием.

Сверх того, умалчивая о произведенных мною государственных делах, которые в своем течении находятся, яко то, обмежеванье всего государства, о бесконечной соли вместо той, которая уже не токмо уменьшилась, но и заметным числом пресеклась, отчего народ терпел бедство, и тому подобных; а назначу те, которые поданы близь пяти лет и лежат в Сенате бесплодно, а именно:

1) Об учреждении надежных форпостов в сохранении уменьшения народа и умножения доходов и прочих потребных предосторожностей ради. 2) О сохранении народ положенный в подушный оклад от поборов рекрут такой препорции, какая в комплект потребна, и армия без недостатку б была укомплектована, число ж народа, прежде в то употребляемое, сим способом оставшееся, умножало б народ к земледелию, и о неупотреблении из армейских полков по внутренним делам, отчего они приходят в несостояние, напротив того, об учреждении, кем то исправлять. 3) Для сохранения поселян и притом порядочного удовольствия армии провиантом и фуражом и отвращения вредительных интересу подрядов. 4) Средство охранять поселян и обитателей от грабительств и прочих им притеснений, доньне бываемых, причем и штат прилагается. 5) О полезностях государственных от общества свободное познавать мнение и о экономии, в случае ж недороду хлеба о безнужном пропитании народа, о вспоможении поселянам во время великого урожая возвышением цены на хлеб без принуждения к той кого-либо покупки и без ущерба казенного интереса. 6) О приведении в достойное состояние людей к правлению губерний, провинций и городов, а чрез то довольное число иметь способных к главному правительству без принуждения их к тому. 7) Главная коммерция и пропитание народа в здешнем краю способнее происходит от сделанной водою коммуникаций с рекою Волгою; но, как известно, многие затруднения в сем пути находятся, яко то в сухие времена крайнее маловодье и опасность порогов, отчего многажды с крайним разорением промышленникам, кто что везет, а не меньше того как здешнего края, так и коммерции не токмо отягощение, но и разорение происходит, а паче всего, что барки от пристаней, где нагрузки бывают, дошед сюда, бесповоротно пропадают, а

в тех местах, как по делам явно, столько умалился лес и в такую высокую цену барки становятся, что уже сомнения нет, дабы на продолжение оного стало, и тако хотя б суховодья и опасности порогов и не было, то по пресечении лесов доставлять сюда ни товаров, ни провизей по сей коммуникации будет невозможно. Я, видя неминуемое бедство, которое грозит не токмо убытком, но совершенным разорением, в... году предложил Сенату, назнача к новой коммуникации такие места, которые не подвергнуты ни одному из вышеписанных опасных обстоятельств, а именно что суховодья никогда, порогов ни одного и лесов на бесконечность станет с тем порядком, какой к тому учредить следует, ибо из оных за первый почестся должен тот, дабы суда были по препорции тех вод, таким манером и работою, чтоб много в себя нагрузить и многие годы служить в состоянии были, учредя станции, до которых мест возить и назад до своих мест обращаться: из сего и другая польза, какой ныне нет, для усиления коммерции последует, яко то привозимые товары из иностранных земель к здешнему порту так равномерно водяным путям во все государство возиться будут, как ныне оттуда сюда. Оное так приготовлено, что от единого приказанья зависит, ибо генерал-поручик Рязанов весь тот путь не токмо на планы положил, но профили и смету во сколько станет, которая в... году в прав. Сенат подана, а по оной потребно капитала на приведение в совершенство меньше миллиона рублей.